ФЕНОМЕН МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭТНОЛОГИИ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ
им. Н.Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ

ФЕНОМЕН МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭТНОЛОГИИ

Москва
2016

ББК 63.5
УДК 39
Ф 42

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ
в рамках научного проекта № 13-01-00043а

Рецензенты:
член-корреспондент РАН Ю.В. Арутюнян
кандидат исторических наук Р.А. Старченко

Ф 42 **Феномен** междисциплинарности в отечественной этнологии / Отв. ред. и сост. Г.А. Комарова. – М.: ИЭА РАН, 2016. – 458 с.

ISBN 978-5-4211-0161-1

Издание представляет собой очередной выпуск серии «Отечественная этнография/ этнология как практика междисциплинарных исследований». Книга посвящена опыту интеграции наук в отечественной этнологии второй половины XX – начала XXI вв. Предназначается для широкого круга ученых, преподавателей, студентов и всех интересующихся этнографией, этнологией, социальной и культурной антропологией, историей науки и различными отраслями социогуманитарного знания.

ББК 63.5
УДК 39

ISBN 978-5-4211-0161-1

© Институт этнологии и антропологии РАН, 2016.
© Комарова Г.А., 2016.
© Коллектив авторов, 2016.

СОДЕРЖАНИЕ

В.А.Тишков
Отечественная этнология и симбиоз наук 5

Г.А. Комарова
Взгляд в прошлое как движение в будущее 17

Раздел I. ИНТЕГРАЦИЯ НАУК В СОВРЕМЕННОЙ ЭТНОЛОГИИ

С.В. Соколовский
Дисциплинарная структура российской антропологии и развитие новых направлений 31

М.Ю. Мартынова
Этнология: социальная роль и прикладное значение (по материалам исследований ИЭА РАН) 53

М.Н. Губогло
Этносоциология и этнополитология в системе междисциплинарного знания 70

Ю.В. Арутюнян, М.Н. Губогло, Л.М. Дробижева, Г.А. Комарова
Этносоциология: вчера, сегодня, завтра 78

В.А. Тишков
Новая политическая антропология 100

А.Н. Ямсков
Отечественная этноэкология: история становления и развития 106

Н.И. Новикова
На праве земля держится: юридическая антропология как междисциплинарное исследование 122

А.А. Белик
Экономическая антропология на рубеже XX–XXI веков 136

Ю.Н. Феденок
Этология человека в России: современное состояние и перспективы 161

А.С. Курленкова
О многообразии подходов в отечественной медицинской антропологии 183

Е.С. Данилко
Визуальная антропология в России: анализ истории и терминов 197

П.В. Романов, Е.Р. Ярская-Смирнова
Мир профессий как поле антропологических исследований 209

Г.А. Комарова
Антропология академической жизни: опыт интеграции наук 224

Н.В. Шалыгина
Этногендерные исследования в новейшей истории России (история и перспективы) 246

Раздел II. ОПЫТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭТНОГРАФИИ

В.А. Шнирельман
Междисциплинарный подход и этногенез 258

О.Е. Казьмина
Интеграция этнологии и религиоведения при изучении религиозной ситуации в России 285

А.Д. Коростелев, В.В. Степанов
Этническая статистика в России: исторический опыт и взгляд в будущее 292

Г.А. Комарова
Опыт статистико-этнографических исследований в советской этнографии 301

Л.В. Остапенко
Междисциплинарный подход к изучению социальной структуры народов в отечественной этнологии 322

М.В. Рабжаева
Изучение феноменов пола в отечественной антропологии 333

Г.А. Комарова
Отечественные традиции этнологического изучения мира детства 338

Раздел III. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЭТНОЛОГИЯ КАК ПРАКТИКА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В.В. Степанов
Электронное этническое картографирование: теоретические и практические подходы 359

Н.А. Дубова
Как описать развитие отечественных исследований по физической антропологии: синусом, арксинусом или интегральным синусом? 368

С.В. Чешко
Перспективы и ретроспективы междисциплинарности в этнологии: новое или почти забытое? 388

Д.В. Громов
Этноювенология: всегда ли оправдана междисциплинарность? 397

Е.В. Холлер
Туризм: от коммерческой индустрии до системного объекта исследования 405

А.В. Буганов
Об антропологическом изучении большого спорта 415

А.С. Курленкова
Социальные исследования биомедицинской науки и практики в современной России 425

В.А. Шнирельман
Междисциплинарный подход: соблазны и реалии 434

Н.И. Новикова
Прикладная антропология: на стыке наук 440

Список сокращений 454

Список авторов 456

В.А. Тишков

Отечественная этнология и симбиоз наук

Публикуемый научный труд – результат инициативы и исполненного под руководством д.и.н. Г.А. Комаровой проекта, который стал своего рода продолжением ее интереса к теме антропологии академической жизни (Антропология 2008; Антропология 2010; Комарова 2012; Антропология 2013). Фактически мы имеем дело с еще одним взглядом изнутри профессии с точки зрения не столько эволюции самого знания, сколько судьбы методов, которыми добывается это знание. В каждой научной дисциплине есть свои предмет и метод, которые отличают их от других научных дисциплин. Однако объект изучения, а точнее, содержание самого исследовательского поля всегда сложнее и подвижнее в своих границах и проявлениях, чтобы можно было охватить его во всей полноте для получения удовлетворяющего ответа на поставленную научную задачу. Именно по причине сложности объекта, трудной уловимости самой реальности рождается такой способ организации исследовательской деятельности, который имеет в своей основе взаимодействие представителей различных дисциплин при изучении одного и того же явления или одной и той же проблемы. Это обычно и называется *междисциплинарностью* (Новая 2010: 518). Хотя в более привычном варианте междисциплинарностью называют использование представителями одной определенной дисциплины методик или технических приемов, взятых из других дисциплин и сфер знания. Этот вариант точнее называть междисциплинарным методом научного исследования, и именно он чаще всего используется и цитируется в разговорах по теме междисциплинарности.

Как пример из собственной научной карьеры могу привести свою вовлеченность в 1970–1980-е гг. в использование количественных (математических) методов в исторических исследованиях, в так называемую клиометрию (Тишков 1983; Количественные 1983; Аграрная 1991). Тогда это было очень популярное в западной историографии направление (американский историк Р. Фогель даже получил за эти работы Нобелевскую премию!). Советские историки без особого верхушечного одобрения («кому необходимо, у того в СССР есть эти самые компьютеры», – сказал мне настороженно один из их «кураторов» со Старой площади), но с энтузиазмом занимались этим междисциплинарным направлением и достигли в нем хороших результатов[1]. Сейчас, в эпоху компьютеров, использование вычислительной техники – это уже рутина научного труда и мэйнстрим исторического метода, но сами по себе междисциплинарные методы сохраняются в арсенале современной исторической науки, наряду с «традиционным» методом работы с историческим источником.

Лидерами междисциплинарных методик были и остаются археологи: вначале ленинградские, а затем и московские археологи с конца 1940-х гг. стали использовать в своих исследованиях методы естественных наук (Археология 1965). В последние десятилетия это успешно применяется в рамках новосибирской научной школы и в условиях Академгородка, где раскопки, обработка и «прочтение» артефактов стали производиться с помощью и естественнонаучных методов. Ныне археологические

[1] См., напр., работы В.А.Устинова, И.Д. Ковальченко, Л.В. Милова, Б.М. Миронова, Л.И. Бородкина и других.

методики доведены до самого высокого уровня сложности (использование методов и методик получения, обработки и изучения материалов из десятка разных дисциплин от геологии и палеоботаники до генетики). Именно междисциплинарность в методиках позволила археологам сделать открытия мирового уровня и признание на уровне двух Государственных премий Российской Федерации (В.И. Молодин и Н.В. Полосьмак, А.П. Деревянко)[1].

В ряде научных центров нашлись энтузиасты, которые сделали своим приоритетом именно интеграцию этнографии с археологией. Эти две дисциплины действительно близки друг другу, причем, не только в российской, но и в мировой науке. Например, известный журнал «Current Anthropology» в значительной своей части – это археологический журнал, ибо помещает материалы по ранним этапам истории человеческих сообществ, добываемые археологическим методом, а археологию считает частью антропологии. В СССР и в России интеграция археологии и этнографии происходила по причине решения сверхзадачи теории этногенеза, т.е. определения фазы формирования этносов, с которых начинается собственно этническая история. Другой причиной была зависимость физических антропологов от археологического материала, прежде всего от скелетных остатков, чтобы разработать расовую таксономию и наложить ее на этническую карту. Некоторые сделали тему интеграции археологических и этнографических наук главной темой своих исследований и регулярных конференций и публикаций. Например, это возглавляемый Н.А. Томиловым Омский филиал двух НИИ (в Москве и Новосибирске) на базе университетской кафедры этнографии. Хотя здесь успехи по части «интеграции» были скромными, но симбиоз данных двух дисциплин вполне можно отнести к разряду междисциплинарности. Отметим, что некоторые этнографы уже в советское время выступали критиками безоговорочного восприятия и перенесения этнического в глубокие исторические пласты, когда корректнее было бы говорить о «популяциях» и «культурах», а не о более нагруженной категории «народа» как этнической общности (Шнирельман 1984: 100–113; 1990: 16–19; 1993). Эти полезные коррективы более осторожного отношения археологов к научному арсеналу этнографов (и наоборот) были сделаны уже позднее, к обоюдной пользе для обеих дисциплин.

Если говорить о междисциплинарных методах в области антропологии и этнологии, то здесь также есть своя примечательная история. Ее начало также можно проследить с 1960-х гг. когда этнографы начали использовать метод социологического опроса, а не только довлеющее в дисциплине десятилетиями «включенное наблюдение». В Институте этнографии АН СССР родилось направление, получившее, на мой взгляд, не очень переводимое для остального мира, но понятное советским этнографам название *этносоциология*. Со временем этносоциология как изучение этничности методами социологии (формализованного опроса) стала пониматься более расширительно – как научная дисциплина, которая «ставит своей целью раскрытие этнического многообразия социальных процессов и в тоже время – социальной обусловленности и социального разнообразия функционирования этнических черт культуры и быта в их широком понимании» (Дробижева 1988: 96–97; Междисциплинарные 2004; Комарова 2012б). Фактически этой формулой был обозначен переход от междисциплинарной методики единичной дисциплины этнографии к междисциплинарности на уровне понимания предмета, т.е. междисциплинарная этносоциология презентовала себя как новая дисциплина между двумя

[1] О современных междисциплинарных методах в археологии см.: (Методы 1995; Естественнонаучные 1998; Археология 2005).

(или более) исходными дисциплинами. По крайней мере, именно так это трактовалось в поздней советской этнографии, когда появились многочисленные дисциплинарные «этнокентавры». Это когда к той или иной традиционной дисциплине добавлялось обозначение «этно». Такое приспособление «этно» к другим научным дисциплинам скоро стало обычным делом.

В серии «Свод этнографических понятий и терминов», которую Институт этнографии АН СССР готовил совместно с коллегами-этнографами из ГДР на исходе советского времени, можно было прочитать о большом количестве «отраслей науки на стыке этнографии и …»: этноботанике, этногеографии, этнозоологии, этнодемографии, этноэкологии, этноархеологии, этнолингвистике, этноискусствознании, этномузыкологии, этнорелигиоведении, этнопсихологии, этнопедагогике и других (Этнография 1988: 84–111). Все они определялись как «науки», «научные дисциплины», «области науки» и т.п. именно «на стыке» с этнографией. Этот процесс размножения своего рода поддисциплин в области тогдашней этнографии был сродни бурному расширению предмета социально-культурной антропологии в западной, особенно в североамериканской науке. Тогда же в рамках AAA (American Anthropological Association) появилось большое число разных антропологий и представлявших их ассоциированных комиссий, включая Комиссию по изучению проблем мира (Commission on the Study of Peace). В ее создании на Международном конгрессе антропологических и этнологических наук в 1983 г. в Ванкувере я лично участвовал, и долгое время входил в совет этой комиссии. Именно тогда вместе с набиравшей силу конфликтологией рождается междисциплинарное направление изучения антропологами проблем войны и мира, хотя сама тема войны и насилия уже давно была предметом изучения антропологов (Shnirelman 1988: 3–6; Шнирельман 1992; Першиц, Семенов, Шнирельман 1994).

Кстати, советские этнографы темой войны и насилия до начала 1990-х гг. не занимались (кроме как в истории первобытных обществ), хотя отечественная история и даже советская современность давали для этого более чем достаточно материала. Но идеологический надзор отрицал наличие в СССР нерешенных проблем в национальном вопросе, а этнографические темы двух великих войн XX века были исключительной прерогативой военных историков. Интерес к военному фольклору, тылу, эмоциям и к другим антропологическим сюжетам пришел уже заметно позднее (Тишков 2015). И все-таки, пусть с опозданием, но уже как реакция на начавшиеся в стране этнополитические конфликты и вооруженный сепаратизм в отечественной этнологии формируется междисциплинарное направление по изучению этнических конфликтов, которое, правда, сразу стало полем конкуренции социологов, политологов и историков.

Пожалуй, здесь мы имеем случай междисциплинарного симбиоза вокруг одного предмета или темы. Причем не всегда основанного на взаимообогащении и даже на диалоге, а на вторжении в новую тему с всегда «волнительным» (спасибо Л.Н. Гумилеву и Ю.В. Бромлею) обозначением «этно». Историк В.П. Булдаков публикует огромный опус под названием «Хаос и этнос» (главным образом о насилии в отношении еврейского населения в годы Гражданской войны в России), а также книгу о «народофобии» (вульгарная трактовка межэтнических отношений под углом группового бинарного отторжения) (Булдаков 2012а, 2012б). Социолог А.Г. Здравомыслов с коллегами пишет книги про этнополитический конфликт и про «релятивистскую концепцию нации», так и не преодолев академический этнонационализм, но всё же одним из первых заговорив о национальном самосознании россиян (Здравомыслов 1999;

Релятивистская теория 1998). Социолог Ж.Т. Тощенко открывает для социологов тему этнократии, хотя эмпирические данные основаны исключительно на сообществах меньшинств (власть этнического большинства как бы этнократией не считается) (Тощенко 2003). Наиболее плодотворным диалогом социологии и этнологии можно назвать многочисленные исследования проблем межэтнических отношений, ксенофобии, мигрантофобии и экстремизма, которые выполнялись в Институте социологии АН СССР такими известными специалистами с этнологической подготовкой, как Л.М. Дробижева, Э.А. Паин, В.И. Мукомель, С.И. Рыжова, Е.А. Арутюнова.

В отличие от социологов, этнологам не удалось выстроить столь же плотное взаимодействие с философами; хотя у последних был и остается сильный интерес к феномену этничности, но многие предпочитают трактовать его или в старой марксисткой парадигме (например, Ю.И. Семенов), или с позиции культурологического онтологизма (например, В.М. Межуев). Однако тема культурного разнообразия, конфликтов и миграции появляется в работах многих философов. А.В Дмитриев пишет книгу про миграцию под углом общественных рисков (Дмитриев 2006). В.С. Малахов успешно исследует тему многокультурности, национализма и ксенофобии (Малахов 2007, 2014). Именно с ним нами были проведены две международные научные конференции и по ним опубликованы два сборника статей философов, этнологов, антропологов, которые вышли под грифами двух институтов этнологии и философии (Мультикультурализм 2002; Государство 2011).

Сотрудничество антропологов и политологов в мировой науке имеет давнюю историю. Тем более что политическая антропология и этническая политика – два известных научных направления и поддисциплины – составляют мэйнстрим обеих метадисциплин. В среде российских политологов рождается предмет и даже поддисциплина под названиями «этнополитология», а в системе вузовской подготовки кадров государственных служащих утверждается направление под названием «национальная политика и национальные институты». Одно время даже выдвигалось предложение о конституировании направления под названием «национология»! В этой области, которую я бы предпочел называть этнополитикой, наши две дисциплины и ее представители имеют достаточно давние контакты. Еще с советских и даже с имперских времен этнографы выходили на сюжеты политизации этничности и этнической политики государства, которая в СССР называлась «национальной политикой» и это обозначение сохраняется до сих пор. Предложения отечественных ученых этнографов и антропологов об устройстве многоэтничной и поликонфессиональной империи, о государственном патернализме, о поддержке и защите уязвимых групп меньшинств и аборигенов Севера и Сибири, о формировании общероссийской идентичности хорошо известны (Тишков 2013; Зорин, Вдовин, Никонов 1998; Зорин, Аманжолова, Кулешов 1999).

В постсоветский период российские этнологи вышли на изучение проблем антропологии власти, этнического представительства и лоббирования, самоуправления и самоопределения и другие темы, которые являются центральными и для политологов. Были опубликованы работы как по этнической политике, так и по политике этничности в России, которые активно используются политологами в России и за рубежом (Тишков 2005а, 2005б). Мы с Ю.П. Шабаевым взяли хотя и неуклюжее, но уже включенное в учебные планы название «этнополитология» для учебного пособия, чтобы изложить современное содержание достойной и давней антропологической дисциплины под названием «политическая антропология» (Тишков, Шабаев 2013).

До этого мы вели речь главным образом о междисциплинарности в рамках гуманитарных и социальных наук, а также об использовании в наших дисциплинах методов естественных наук. Здесь как бы всё со временем «устаканилось»: несогласия и критика оказываются в целом взаимопонимаемыми, ибо историк при желании всегда поймет этнографа, а отечественные этнографы вообще вышли из вузовского исторического цеха (по крайней мере, так было до самого последнего времени). Социология стала совсем близким предметом с переносом интереса этнологов на изучение современности, а социологи, устав от массовых опросов, стали чаще обращаться к «включенному наблюдению», т.е. к этнографическому методу, назвав это «понимающей социологией».

Становящаяся на ноги в России политология (в СССР у этой дисциплины была более чем трудная судьба в лице отважных одиночек типа Федора Бурлацкого и Георгия Шахназарова) с удовольствием включилась в тематику межнациональных отношений, хотя чисто антропологических тем природы власти, национализма, ритуала, символики и других схожих сюжетов она (политология – *В.Т.*) все-таки побаивалась. Энтузиазм политологов ушел в поиск национальной идеи, в цивилизационный дискурс, в политические процессы и институты и в другие для социально-культурных антропологов маргинальные темы. До последнего времени российская политология страдала просвещенным журнализмом, экспертным комментаторством, увлеченностью избирательным процессом и технологиями. По этой причине и по причине недостаточной интегрированности в мировую политическую науку добычей нового знания российские политологи занимались недостаточно. Но в целом поворот части этнологов и антропологов к изучению политического, а политологов – к этнической тематике был взаимно интересным и остается обещающим.

Этого нельзя сказать о взаимодействии антропологии и этнологии с некоторыми другими научными дисциплинами как гуманитарного, так и негуманитарного профиля. Сначала разберемся с так называемой культурологией, затем с психологией, и уже «на закуску» – с генетикой и биологией. Напомню, что в СССР не было дисциплины под названием «культурология», но были «институты культуры» и «работники культуры». Нет такой науки и в мировом обществознании, по крайней мере, в его западном варианте, если не считать школьных предметов и курсов для вузовских первокурсников, которые чаще всего так и называются «cultural studies». В России в самом начале 1990-х гг. большое число вузовских гуманитариев в поисках своей новой дисциплинарной идентичности, а заодно и профессиональной занятости, утвердили две новых дисциплины, которые сильно вторглись на дисциплинарное поле трудно вылупляющейся из советской этнографии социально-культурной антропологии. И хотя в 1990 году Институт этнографии АН СССР был переименован в Институт этнологии и антропологии, это еще не означало радикального расширения предмета за пределы «изучения этносов» и «науки о народах». По сути «этнология» прочитывалась как новое слово для этнографии (вместо *графо*-описания – более серьезное *логос*-познание), а антропология прочитывалась в своей привычной коннотации как физическая антропология.

Понимание и становление дисциплины в ее обновленном и приближенном к мировому контексту варианте произошло позднее. Именно это упрямое нежелание академического сообщества этнологов и антропологов расставаться со своей этнографической идентичностью позволило узурпировать социальную антропологию нарождающимся социальным работникам в союзе с некоторыми философами (именно они первыми конституировали дисциплину

с названием «социальная антропология»), а обретшие официальный статус культурологи сделали одним из своих брендов культурную антропологию. Надо признать, что попытки наладить с этнографами диалог и даже совместные обсуждения и публикации у новых социальных антропологов и культурологов были. Наш институт имел неплохие связи как с Московским государственным социальным институтом (здесь был создан факультет социальной антропологии) и с РГГУ (здесь работает одна из зачинательниц постсоветской культурологии профессор Г.И. Зверева), так и с бывшим Институтом культурологи Минкультуры, где его директор К.Э. Разлогов явно желал насытить новую культурологию антропологическим содержанием. Но по разным, порою трудно объяснимым причинам подлинной междисциплинарности у этнологов с культурологами не получилось. Но научные контакты сложились и сохраняются.

Надо сказать, что роман с «этно» готовы были заводить и некоторые другие гуманитарии, причем не из самых близких дисциплин. Им казалось, что именно в этой субстанции «этноса» скрывается что-то такое, что даст приращение или толчок в актуализации собственных наук. Так, например, в этническую тематику бурно вошли психологи, вспомнив романтическое сочинение Г.Г. Шпета 1930-х гг. с названием «Этнопсихология». Этнопсихология в ее новой трактовке, но в рамках советской теории этноса напоминала «психологию народов» и «народный дух» столетней давности (Стефаненко 1999). Со временем психологи внесли кое-какие коррективы в данное междисциплинарное направление, переименовав его в более корректную форму «этнической и кросс-культурной психологии» (Лебедева 1998). Кстати, статья И.С. Кона «Этнопсихология» трактовала это научное направление как синонимичное западной «психологической антропологии» (Белик 2001) и определяло его как «междисциплинарную отрасль знания, изучающую этнические особенности психики людей, национальный характер, закономерности формирования и функции национального самосознания, этнических стереотипов и т.д.». В тоже самое время автор оговаривался, что «все заключения об этнических особенностях подразумевают какое-то сравнение, масштаб которого требует уточнения, чтобы избежать возможного этноцентризма. Абстрактные, необоснованные заключения о психологических особенностях народов вредны и могут оскорбить национальные чувства» (Этнография 1988: 110).

Вообще, история междисциплинарных контактов с психологией у российских этнологов и антропологов, по крайней мере, в столичном разрезе, заключала в себе, как мне кажется, некую драматичность. Советская этнография с психологией взаимодействовала слабо, хотя в определении предмета дисциплины – этноса компонент «психического склада» присутствовал издавна, особенно когда речь шла о его высшей форме эволюции – нации. Более того, истоки изучения «психологии народов», «менталитета наций» и прочих сходных метазадач, не говоря уже об изучении образов и стереотипов, восходят к самым началам обеих дисциплин. Дань «психоментальным комплексам» отдал не только С.М. Широкогоров, создавший именно под этим ракурсом в начале XX в. фундаментальный труд о тунгусах, но и увлеченный немецким романтизмом гениальный Г.Г. Шпет, написавший об этнопсихологии (но по сути это было совсем про другое), а также искушенные и политизированные американские антропологи, взявшиеся по заданию Государственного департамента США изучать ментальный комплекс (этнопсихологию) советских людей. Последний проект был связан с такими выдающимися именами, как Маргарет Мид и Грегори Бэйтсон.

Однако в советской этнографии 1960–1980-х гг. этнопсихология как междисци-

плинарное поле фактически отсутствовала. Положение поменялось в эпоху радикальных перемен и распада СССР. Сюжеты, связанные с коллективной травмой целых этнических общностей и социальных слоев, чрезвычайная эмоционально-политическая нагруженность общественной жизни, бурно растущий интерес к феномену коллективного самосознания, растущие новые межэтнические распри и вражда – все это было в значительной степени по части социальной психологии, а также психологии межэтнических взаимодействий. Но беда наших народившихся этнопсихологов заключалась в том, что у них под рукой были труды Шпета, Гумилева, Широкогорова, а не американца Майкла Коула или канадца Джона Берри с их внеэтнической по сути концепцией кросс-культурной коммуникации. Такова была внутридисциплинарная ситуация, которая вызвала в России к новой жизни этническую психологию в ее жестко эссенциалистской (примордиалистской) форме, что в принципе достаточно чуждо психологии как науке. Но «психология этносов» от примитивной пассионарности до новоизобретенных межэтнических дистанций и этнонигилизма завоевала умы многих обществоведов, включая и академическую этнологию. В Институте этнологии и антропологии был создан сектор этнопсихологии, сотрудники которого начали разработку этого перспективного и актуального направления.

По мере утверждения более современного подхода к этничности как к форме самосознания и отхода от жесткого примордиализма советской теории этноса эволюционировали и корректировались подходы этнопсихологов. Они сами стали чаще самоопределять себя именно как кросскультурные психологи, избавляясь от уязвимой приставки «этно-» и при этом все более приближаясь к интересам социально-культурных антропологов. Уход психологов из ИЭА РАН в другие научные и вузовские учреждения не был выражением конфликта представителей двух дисциплин. Более того, междисциплинарность стала в чем-то более тонкой и чувствительной к сложной материи этнического, а психологические коллективности стали различаться как национально-государственные, так и социо- или этно-групповые.

Самый неудачный роман с «этно-», на мой взгляд, получился у педагогов, которые взяли в свой арсенал вполне корректные названия «этнопедагогика» и «педагогическая антропология» (anthropology of education), но с ортодоксальной начинкой про складывание этнотипов и этнического самосознания у детей чуть ли не с младенческого и уж обязательно с младшего школьного возраста, а также с установкой на якобы идеальные нормы традиционной культуры. Напомним, что этнопедагогика сформировалась во 2-й половине XX века как междисциплинарная отрасль знаний на стыке этнологических и психолого-педагогических наук. С подачи М. Мид ее еще называли этнографией детства и взросления. И.С. Кон определял этнопедагогику как «междисциплинарную отрасль знания на стыке этнографии, социологии и педагогики, занимающуюся сравнительным изучением традиционной народной педагогики, способов воспитания детей и самого мира детства, включая детские игры, фольклор и т.д.» (Этнография 1988: 110). В этнопедагогике рассматривается влияние традиционной культуры, семейно-родственных отношений на становление личности, но сам анализ делается в категориях педагогики. Здесь для ученых всегда был важен учёт потребностей представителей этнических групп в языке и содержании образования, сочетании общих для граждан норм и правил с сохранением этнических языка, культурных традиций и самосознания. Этнологи обращают внимание на использование в учебном процессе традиционных народных представлений о природе и о месте человека в ней. Им

важны воспитательные идеалы и приемы воспитания, воззрения о ценностях семьи, отношения между старшими и младшими поколениями, воспитательные воздействия хозяйственных практик, календарных событий, обрядов, досуга и т.п. В мировой антропологии этнопедагогика ограничивалась сферой семейного воспитания и начального образования, хотя в прошлом ей был свойственен «пеленочный детерминизм», когда из манеры пеленания детей делались выводы об особенностях национального характера. В сложных обществах т.н. народные воспитательные традиции не должны создавать лишние межгрупповые границы между детьми, учащимися, мешая интеграции в культуру и жизнь гражданских сообществ. О национальном воспитательном идеале современная педагогика говорит, прежде всего, в общегосударственном контексте. Что касается российских специалистов, в том числе и многочисленных «этнопедагогов» в российских республиках, то здесь этнопедагогика трактуется как механизм построения именно на этнокультурной основе общего образования, когда «культура этноса» достраивается ценностями общенациональной (в данном случае – российской) и мировой культуры. Вот как со ссылкой на отечественных классиков обозначал этнопедагогику ведущий авторитет в этой области, академик РАО Г.Н. Волков: «Три принципиальные установки К.Д. Ушинского имеют для настоящего пособия определяющее значение: 1) “...народ имеет свою особую характеристическую систему воспитания”; 2) “в душе человека черта национальности коренится глубже всех прочих”; 3) “воспитательные идеи каждого народа проникнуты национальностью более, чем что-либо другое”. Создание подлинно национальной школы – русской, украинской, татарской, якутской, чукотской, любой другой – возможно только на этнопедагогической основе. Народная культура воспитания представляет собой основу всякой культуры. Никакое национальное возрождение, никакое воссоздание прогрессивных народных традиций невозможно без приведения в действие исконных традиций воспитания, народной педагогики» (Волков 2000). Таким образом, изначальная народная педагогика воспитания детей и культуры взросления, отражающие в том числе и этническую составляющую (но не только ее, а также социальную, религиозную и местно-историческую специфику), в постсоветской этнопедагогике зачастую выражалась в расиалистском, народоведческом натаскивании детей и молодых людей с малой пользой для последних[1]. Справедливости ради следует сказать, что более просвещенные в этнологии психологи удержались от впадения в данную крайность[2]. Мудрый И.С. Кон также был сдержан по части возможностей этой междисциплинарной отрасли знания: «Этнопедагогика имеет большое прикладное значение, помогая адаптировать современные методы воспитания и обучения к специфическим особенностям традиционной культуры народов, а также сохранять и использовать ценные методы старой народной педагогики» (Этнография 1988: 111; подробнее см.: Комарова 2010).

Самое любопытное заключается в том, что увлечение «этнокентаврами» в отечественной науке произошло в тот момент, когда в мировой антропологии действительно появилась приставка «этно» в обозначении научных субстанций. Напомним, что никаких этногеографий, этнолингвистик и т.п. в мировой антропологии не было, ибо в ней уже существовали историческая география и этническое картографирование, историческая лингвистика и т.п. Зато в мировом обществознании,

[1] Многие школьные и вузовские учебники по предмету «народоведение» и «этнология» грешат этой крайностью.

[2] См. труды по этнопедагогике и межнациональному воспитанию А.Г. Асмолова, М.Ю. Мартыновой, Г.А. Солдатовой, С.И. Рыжовой

прежде всего в философии, складывается и утверждается понятие *этнометодологии*, мимо которого фактически прошли отечественные этнологи и антропологи. Сборники начала 1990-х гг. под редакцией С.В. Соколовского с названием «этнокогнитология» и «этнометодология» содержали в себе не только инновационные и разъяснительные тексты, но и материалы охранительного характера типа «этносы неприкосновенны» (Этнокогнитология 1994).

Напомним, что этнометодология представляет собой одно из направлений набиравшего силу и ставшего в начале XXI в. доминирующим философско-социологическим и одновременно антропологическим направлением социального конструктивизма, использующего опыт этнографического исследования «примитивных» культур для понимания современной социальной реальности и порождаемых ею культурных форм и проявлений. Здесь в центре находится этнографический момент наблюдения и «плотного описания» повседневных символических взаимодействий, поиск культурных смыслов в самых разных сферах человеческой деятельности, включая, например, «культуру насилия» или «антропологию этнической чистки», которую как бы следовало расшифровать на примере этнополитических конфликтов.

В последние годы этот сложный альянс с философской антропологией у социально-культурных антропологов стал более явным. Он проявляется особенно в исследованиях разных субкультур за пределами привычных этнических групп, а также антропологии времени, пространства, движения, смыслов, памяти, молчания, идентичности и т.д. (Богданов 1998; Антропология 2001; Головнев 2009). Это, между прочим, также один из вариантов междисциплинарности, когда не одна дисциплина использует несколько методов других дисциплин, а несколько дисциплин (или дисциплинарных арсеналов в голове одного исследователя) анализируют один культурный феномен.

И в заключение остановимся на проблеме взаимодействия антропологии и этнологии с генетикой и биологией. Подобно тому, как в конце XIX в. на переднем крае науки оказалась физическая антропология, ровно сто лет спустя в таком же положении оказалась генетика. Обе науки претендовали на особый статус, обе заявляли об особом подходе к пониманию человека и обе со временем вынуждены были умерить свои амбиции и пойти на сотрудничество со смежными дисциплинами там, где на повестке дня стояли сложные вопросы, не поддающиеся решению силами лишь одной науки. Действительно, если развитие одних лишь биологических качеств, их эволюция, возникновение и развитие биологических популяций вполне могут изучаться силами биологов человека (физическими антропологами и генетиками), то этническая проблематика, выходящая далеко за рамки биологии, требует сотрудничества целого ряда научных дисциплин. Ведь, с одной стороны, человечество как биологический вид сохраняет свою связь с биологией, но, с другой, создавая с помощью культуры свою внебиологическую среду обитания и при этом активно пользуясь механизмами символической (вербальной и невербальной) коммуникации, люди выходят далеко за рамки биологии. И поэтому, пытаясь изучать сложные процессы на основе своих специфических данных, биологи не могут с этим не считаться.

Здесь речь идет, прежде всего, об этнических процессах, ибо этническая группа вовсе не является ни биологическим, ни даже социобиологическим (как считал Л. Гумилев) образованием. В то же время само физическое воспроизводство, обусловленное половыми взаимоотношениями и брачностью, разумеется, позволяет ставить вопрос о некоторой сопряженности этнических образований и биологических

популяций. И именно в этой сфере возможно плодотворное сотрудничество между этнологами, археологами и лингвистами, с одной стороны, и генетиками, с другой. Генетики могут предоставлять важные данные о преемственности генетических комплексов или, напротив, о разрывах в этой преемственности, о генетическом дрейфе, о генетическом эффекте первопоселения, о генетической адаптации к новой или меняющейся природной обстановке. Но генетики не способны судить о духовной жизни людей, об их сознании и самосознании, об особенностях языков, на которых говорят те или иные группы людей, и о процессах перехода с языка на язык, что не раз случалось в истории. Именно поэтому, пытаясь сделать вклад в изучение истории тех или иных человеческих коллективов, генетики не могут не поддерживать продуктивные контакты с представителями смежных дисциплин, которые занимаются теми же проблемами, но с опорой на свои собственные материалы и подходы.

Это не сразу было осознано генетиками (как ровно сто лет назад это далеко не сразу осознали их предшественники – физические антропологи), что приводило к некоторым ошибочным представлениям. Так, выдвинутые поначалу термины «этногенетика» и «этногеномика» вызвали обоснованные сомнения и критику со стороны этнологов, ибо такая терминология создавала нежелательные ассоциации с концепциями, биологизирующими этническое. Мало того, такая терминология была с благодарностью подхвачена расистами, посчитавшими генетику человека своей верной союзницей. Поэтому, осознав нежелательные побочные продукты такого подхода, генетики очень быстро отказались от первоначальной терминологии и теперь оперируют термином «геногеография», который гораздо более адекватно описывает цели и результаты их научной деятельности.

Что же касается получаемых результатов, то сегодня они дают нам богатые дополнительные материалы, вносящие важные уточнения в наши представления о сложной истории отдельных человеческих групп, которые обычно описываются как «народы» или «этносы». С ростом количества таких материалов выясняются интересные особенности сложных процессов, которые когда-то вызывали ожесточенные споры между автохтонистами и миграционистами. Сегодня уже не остается сомнений в том, что оба подхода имели свои резоны и отражали определенные реалии. Ведь, если генетики обнаруживают преемственность развития каких-то популяций и их привязанность к определенным территориям, то лингвисты в тех же случаях могут столь же уверенно говорить о смене языка, а этнологи – о важных мировоззренческих сдвигах. Свою лепту вносят и археологи, обнаруживая либо преемственность, либо важные разрывы в развитии материальной культуры. А в совокупности все эти науки помогают понять сложные пути развития как человечества в целом, так и отдельных его сегментов.

Все это вовсе не означает, что полученные данные и выводы отдельных наук хорошо согласуются между собой. Напротив, нередко они вступают в противоречия, ставя перед учеными сложные проблемы, связанные как с недостатками методологии, так и со сложностью самих процессов человеческого развития, которые выступают по-разному в различных своих проявлениях. Но это призывает нас только к одному – к укреплению междисциплинарных связей и сотрудничеству специалистов разного профиля, к плодотворным дискуссиям и взаимопониманию. Собственно говоря, это все то, чему и посвящен данный коллективный труд, представляющий собой первое за постсоветский период обобщающее исследование междисциплинарности в отечественной этнологической науке.

Библиография

Аграрная 1991 – Аграрная эволюция России и США в XIX – начале XX века: материалы советско-американских симпозиумов / Под ред. И.Д. Ковальченко, В.А. Тишкова. М.: Наука, 1991.

Антропология 2001 – Антропология насилия / Под ред. В.А. Тишкова, В.В. Бочарова. СПб.: Наука, 2001

Антропология 2008 – Антропология академической жизни: адаптационные процессы и адаптивные стратегии / Отв. ред. и сост. Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2008.

Антропология 2010 – Антропология академической жизни: междисциплинарные исследования / Отв. ред. и сост. Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2010.

Антропология 2013 – Антропология академической жизни: традиции и инновации / Отв. ред. и сост. Г.А. Комарова М.: ИЭА РАН, 2013.

Археология 1965 – Археология и естественные науки / Под ред. Б.А. Колчина. М.: Наука, 1965.

Археология 2005 – Археология и естественнонаучные методы. Сб. статей / Под ред. Е.Н. Черных, В.И. Завьялова. М.: Языки славянских культур, 2005.

Белик 2001 – Белик А.А. Современная психологическая антропология. М.: Смысл, 2001.

Богданов 1998 – Богданов К.А. Homo Tacens: Очерки по антропологии молчания. СПб.: РХГИ, 1998.

Булдаков 2012а – Булдаков В.П. Хаос и этнос. Этнические конфликты в России, 1917–1918 гг. Условия возникновения, хроника, комментарий, анализ. М.: Новый хронограф, 2011.

Булдаков 2012б – Булдаков В.П. Народофобия. М., 2012.

Волков 2000 – Волков Г.Н. Этнопедагогика. М.: Академия, 2000.

Головнев 2009 – Головнев А.В. Антропология движения (древности Северной Евразии). Екатеринбург: Волот, 2009.

Государство 2011 – Государство, миграция и культурный плюрализм в современном мире: материалы международной научной конференции / Под ред. В.С. Малахова, В.А. Тишкова, А.Ф. Яковлева. М.: Икар, 2011.

Дмитриев 2006 – Дмитриев А.В. Миграция. Конфликтное измерение. М.: Альфа-М, 2006.

Дробижева 1998 – Дробижева Л.М. Этносоциология // Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы / Свод этнографических понятий и терминов. Вып. 2 / Под общ. ред. Ю.В. Бромлея, Г. Штробаха. М.: Наука, 1988. С. 96–97.

Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы / Свод этнографических понятий и терминов. Вып. 2 / Под общ. ред. Ю.В. Бромлея, Г. Штробаха. М.: Наука, 1988.

Естественнонаучные 1998 – Естественнонаучные методы в полевой археологии. М., 1998.

Здравомыслов 1999 – Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты на постсоветском пространстве. М.: Аспект пресс, 1999.

Зорин, Аманжолова, Кулешов 1999 – Национальный вопрос в Государственных Думах России: опыт законотворчества / В.Ю. Зорин, Д.А. Аманжолова, С.В. Кулешов. М.: Русский мир, 1999.

Зорин, Вдовин, Никонов 1998 – Русский народ в национальной политике XX века / В.Ю. Зорин, А.И. Вдовин, А.В. Никонов. М.: Русский мир. 1998.

Количественные 1983 – Количественные методы в советской и американской историографии: материалы советско-американских симпозиумов в г. Балтиморе, 1979 г. и г. Таллинне, 1981 г. / Под ред. И.Д. Ковальченко, В.А. Тишкова. М.: Наука, 1983.

Комарова 2010 – Комарова Г.А. Этнография детства. М.: ИЭА РАН, 2010.

Комарова 2012а – Комарова Г.А. Академическая жизнь: поле междисциплинарных исследований. М.: ИЭА РАН, 2012.

Комарова 2012б – Комарова Г.А. Опыт интеграции. М.: ИЭА РАН, 2012.

Лебедева 1998 – Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию. М.: Старый сад, 1998.

Малахов 2007 –Малахов В.С. Понаехали тут… Очерки о национализме, расизме и культурном плюрализме. М.: Новое литературное обозрение, 2007.

Малахов 2014 – Малахов В.С. Культурные различия и политические границы в эпоху глобальных миграций. М.: Новое литературное обозрение, 2014.

Междисциплинарные исследования в контексте социально-культурной антропологии: Сборник в честь Ю.В. Арутюняна / Отв. ред. М.Н. Губогло. М.: Наука, 2004.

Методы 1995 – Методы естественных наук в археологических реконструкциях. Новосибирск, 1995.

Мультикультурализм 2002 – Мультикультурализм и трансформация постсоветских общества / Под ред. В.А. Тишкова, В.С. Малахова. М.: Наука, 2002.

Новая 2010 – Новая философская энциклопедия. Т. 2. М., 2010.

Першиц, Семенов, Шнирельман 1994 – Война и мир в ранней истории человечества: В 2-х тт. / А.И. Першиц, Ю.И. Семенов, В.А. Шнирельман. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 1994.

Релятивистская теория 1998 – Релятивистская теория нации. Новый подход к исследованию этнополитической динамики России / Под ред. А.Г. Здравомыслова и др. М.: РНИС и НП, 1998.

Стефаненко 1999 – Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М.: Академический проект, 1999.

Тишков 1983 – Тишков В.А. История и историки в США. М.: Наука, 1983.

Тишков 2005а – Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М.: Русский мир, 1997.

Тишков 2005б – Тишков В.А. Этнология и политика: статьи 1989–2004 гг. 2-е изд., доп. М.: Наука, 2005.

Тишков 2013 – Тишков В.А. Российский народ: история и смысл национального самосознания. М.: Наука, 2013.

Тишков 2015 – Тишков В.А. «Ярость благородная… Великая победа и советский народ (антропологический подход) / Исследования по прикладной и неотложной этнологии. № 242. М.: ИЭА РАН, 2015.

Тишков, Шабаев 2013 – Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология. Политические функции этничности. Учебник для вузов. М.: Изд-во МГУ, 2013.

Тощенко 2003 – Тощенко Ж.Т. Этнократия: история и современность. М.: РОССПЭН, 2003.

Шнирельман 1984 – Шнирельман В.А. Этноархеология – 70-е гг. // СЭ. 1984. № 2. С.100–113.

Шнирельман 1990 – Оружие как этнический и/или социальный маркер (этноархеологические заметки) // Проблемы исторической интерпретации археологических и этнографических источников Западной Сибири. Тезисы. Томск, 1990. С. 16–19.

Шнирельман 1992 – Шнирельман В.А. Война и мир в традиционных обществах (по материалам западных исследователей). М.: ИНИОН, 1992.

Шнирельман 1993 – Археологическая культура и социальная реальность (проблема интерпретации керамических ареалов). Екатеринбург: УрО РАН, 1993.

Этнография 1988 – Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы / Свод этнографических понятий и терминов. Вып. 2 / Под общ. ред. Ю.В. Бромлея, Г. Штробаха. М.: Наука, 1988.

Этнокогнитология 1994 – Этнокогнитология: Подходы к изучению этнической идентификации. Вып. 1 / Под ред. С.В. Соколовского. М., 1994.

Shnirelman 1988 – Shnirelman V.A. Primitive warfare and ideology: why the Maring avoid seizing pigs // Human peace. 1988. № 6 (3). P. 3–6.

Г.А. Комарова

Взгляд в прошлое как движение в будущее*

Благодаря своей широте, вариативности методов и медиативной позиции, этнология, без сомнения, играет главную роль в интеграции наук о человеке

Клайд Клакхон

Вряд ли кого-либо из представителей отечественной этнологии застал врасплох призыв В.В. Путина «объединять интеллектуальные ресурсы и научную инфраструктуру, укреплять взаимодействие учёных на стыке отдельных дисциплин, где рождаются прорывные разработки и открытия», высказанный им на заседании Совета при Президенте по науке и образованию, посвящённом преобразованиям в академическом секторе фундаментальных научных исследований 8 декабря 2014 года, в ходе которого было решено, что «важнейшим направлением деятельности академических институтов должны стать междисциплинарные исследования» (Отчет 2014). Профессиональная интеграция, взаимовлияние и методико-методологическое взаимообогащение российских этнографов, этнологов, социально-культурных антропологов и представителей смежных наук (истории, археологии, физической антропологии, демографии, социальной психологии, лингвистики, географии, социологии, фольклористики и др.) издавна составляют важную особенность отечественной этнологии. К опыту смежных дисциплин российские исследователи обращались еще со времен М.В. Ломоносова. Особый интерес к комплексному исследованию народов также глубоко традиционен для отечественной гуманитарной науки, что, в частности, весьма наглядно проявилось еще в дореволюционных трудах С.М. Соловьева, А.П. Щапова, В.О. Ключевского и других исследователей (Лашук 1977).

Наряду с этим общеизвестно, что в истории советской науки был долгий период, когда проведение междисциплинарных исследований было невозможно. И трудности состояли не в том, что не был установлен предмет комплексных исследований, не определены его содержание, источники, методы разработки и т. д. Главная причина, из-за которой в 1930–1950-е годы в советской науке практически не использовался междисциплинарный подход, носила скорее не методико-методологический, а политический характер и затрагивала всю советскую науку, в том числе этнологию, социологию, психологию, педагогику, генетику и многие другие науки, на стыке которых было бы возможно вести междисциплинарные исследования. Сама этнология в начале 1930-х гг. после бурных дискуссий превратилась в этнографию и обрела статус отрасли исторической науки (От классиков 2014). Она была низведена до изучения пережитков первобытнообщинного строя методом этнографического наблюдения. Приоритетным научным направлением в советской этнографии стало монографическое описание этнографически малоизученных или неизученных народов СССР. В результате долгие годы этнография в СССР воспринималась как наука об архаике, и о её соединении с другими научными подходами не могло быть и речи (Комарова 2014).

Подобное происходило и в других науках, в частности, в социологии, которая на протяжении почти 30 лет находилась в условиях фактического запрета, в резуль-

* Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 16-01-00287а.

тате чего фундаментальные и прикладные исследования в ней были прекращены. Развитие эмпирически обоснованной социологии, объективно изучающей социальную действительность, было прервано на долгие годы. Эмпирические данные были сведены к официальной статистике, а социологическая теория – к историческому материализму. Лишь в 1960-е гг. в СССР появились первые профессионально выполненные эмпирические исследования, ориентированные на разработку фундаментальных проблем социального развития советского общества (Ядов 1998; Кукушкина 2004). Столь же печальная ситуация сложилась в советской педагогике и психологии после известного постановления ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г. «О педологических извращениях в системе наркомпросов» и дальнейших событий, последовавших за ним (Петровский 1991). И таких фактов в истории отечественной науки множество. В целом у советской тоталитарной власти долгие десятилетия отсутствовала заинтересованность в науке, объективно изучающей социальную действительность, ей нужен был догматический и апологетический истмат. Именно в советский период ученым выносились многие категорические оценки и приговоры, которые оставались практически неизменными до начала 1960-х гг. и давали о себе знать еще долгие годы, вплоть до нынешних времен.

И, тем не менее, прогрессивные представители этнографического научного сообщества неизменно полагали, что «этнография – дисциплина, обладающая огромным тематически разнообразнейшим материалом, может и должна служить источником для ряда различных отраслей науки» (Косвен 1946: 227). Ведущие отечественные социогуманитарии также утверждали, что в советской науке «…имеется не только методологическая, но и конкретно-историческая основа для сотрудничества и координации усилий обществоведов различных специальностей» и отмечали, что «этнография, сохраняя определенную специфику методики, вносит свой вклад в разрабатываемое комплексом обществоведческих наук понимание процессов, происходящих в общественной жизни современных народов» (Альтман, Куманев 1964: 252–253). С.П. Толстов, бывший с 1943 по 1965 гг. директором головного (главного) в СССР академического учреждения – Института этнографии АН СССР (ныне – Институт этнологии и антропологии РАН) настойчиво призывал «…развивать те отрасли науки, которые связаны с этнографией и позволяют представить происхождение и жизнь народов». И неслучайно ещё в период его руководства «институт стал этим славиться» (Тишков 1995: 94).

Ю.В. Бромлей, сменивший С.П. Толстова и руководивший ИЭ АН СССР с 1966 по 1989 гг., разделял мнение о том, что «специфика предмета этнографии приводит к тому, что у неё нет зон, разделов знания, которые не пересекались бы с какой-либо из смежных наук, позволяющих углубить познание этнически особенного» (Бромлей; Шкаратан 1969: 18). Ю.В. Бромлей и его единомышленники полагали, что «поскольку познавательные задачи этнографии требуют исследования не какой-либо одной конкретной сферы жизни народа, а всех сфер, в которых находит проявление этническая специфика, постольку этой науке присущ комплексный подход и применение многообразных приёмов изучения общества, созданных в различных науках» (Бромлей; Шкаратан 1969: 7). Да и в целом, в советской социогуманитаристике 1960–1980-х гг. сложилось и господствовало представление о том, что «все крупные обществоведческие проблемы наших дней являются комплексными» (Бромлей; Шкаратан 1969: 3).

Развитие междисциплинарных научных направлений в отечественной этнографии нередко становилось предметом особого

академического внимания. Процессы междисциплинарной интеграции этнографии/этнологии со смежными науками и формирования на их основе таких новых научных направлений, как этносоциология, этнодемография, этническая география, этноэкология, этническое картографирование, этнография детства, этническая ономастика, этноархеология, лингвоархеология, этноэкономика, этнолингвистика, этнопсихология, этнохореография, этномедицина, этномузыкология, историческая антропология и др., наиболее активно развивались в 1960–1980-е годы минувшего века и, прежде всего, это происходило в Институте этнографии АН СССР. Комплексная разработка проблем истории первобытного общества, успешно проводимая в 1970–1980-х годах в ИЭ АН СССР, по сути своей также представляла особое междисциплинарное направление. Можно привести множество примеров того, как в 1960–1990-е годы большинство сотрудников ИЭ АН СССР постоянно соприкасались с феноменом междисциплинарности в этнографии/этнологии. Вся атмосфера и научная жизнь в институте тех лет были пронизаны идеями междисциплинарного подхода, а любая обществоведческая проблематика требовала комплексных исследовательских подходов.

Сравнительно спокойное существование междисциплинарных направлений, в частности, этносоциологии в СССР обычно объясняют тем, что она развивалась в лоне этнографической науки (Дробижева 2001; Комарова 2012). Даже западные ученые отмечали, что в отличие, например, от советских историков, творческий потенциал и научные возможности которых сковывала и ограничивала жесткая зависимость от марксистского подхода к историографии, советские этнографы в своей работе не имели подобных ограничений, т. к. власти рассматривали этнографию как идеологически безопасное исследовательское поле (Greenfeld 1988:19). Отечественные ученые также подчеркивали, что этнография в 1970–1980-е гг. контролировалась не столь пристально, как, например, социология или философия. В частности, у этносоциологов «не было и половины тех бед, которые были у других, например, в Институте социологических исследований и в Институте философии. В значительной степени научная и психологическая атмосфера в институтах зависела в те годы от личности руководителя... Неслучайно коллеги из других институтов отмечали, что уровень теоретического мышления, включая и возможность научных дискуссий, в Институте этнографии был выше, а психологическая атмосфера лучше, чем в других исторических, не говоря уже о философских, учреждениях» (Кон 1993: 5). Своеобразным подтверждением слов И.С. Кона служит вывод Александра Архангельского, создавшего в 2010 г. на телеканале «Культура» цикл телевизионных передач «Отдел», в которых он демонстрирует «господство в 1960–1970-е гг. свободной научной мысли в Институте международного рабочего движения, Институте социальных конкретных исследований, в Институте США и Канады и др. под опекой добрых номенклатурных “царей”» (Отдел 2010).

Безусловно, советская этнография и многие ее междисциплинарные направления в советские годы также должны были выполнять социальный заказ господствующей в СССР идеологии. Впрочем, хотя это и сдерживало их развитие, но не останавливало его. Это был, хотя и специфический, чрезвычайно непростой, долгий, но тоже путь познания, неоспоримым итогом которого стали новые научные знания, новые идеи.

Особенно трудно переоценить роль многочисленных междисциплинарных направлений в трансформации отечественной этнографической науки 1960–80 гг. На мой взгляд, советская этнография в эти годы благодаря фундаментальным исследованиям в области этносоциологии, этнодемографии, этноэкономики, этнопсихологии,

этнографии детства, многих других междисциплинарных направлений, во-первых, преодолела былую традицию деления культуры на материальную и духовную без учёта социального контекста и сложных социальных взаимодействий; во-вторых, начала активное исследование этнических проблем современности; в-третьих, перестала восприниматься лишь как наука об архаике. В итоге всё это позволило покончить с практикой изоляции этнографии как науки о культуре от наук о человеке и обществе, а также значительно повысило интеллектуальный уровень и престиж отечественной этнографии, как в нашей стране, так и за рубежом. Лучшие фундаментальные исследования в области междисциплинарных направлений этнографии в 1960–1980-е гг. даже в условиях советского идеологического прессинга давали возможность изучать реальные процессы развития народов и оказали особое воздействие на развитие этнографической науки рассматриваемого периода. К числу несомненных достижений отдельных междисциплинарных направлений в отечественной этнографии/этнологии второй половины прошлого века можно отнести разработку оригинальной научной методологии, проведение масштабных комплексных исследований, создание многих фундаментальных трудов и т. д. (Комарова 2011а; 2012; 2014).

В любом случае, лучшие междисциплинарные научные труды заметно повысили в эти годы интеллектуальный уровень и престиж этнографии, как в СССР, так и за рубежом (Greenfeld 1988; Valsiner 1988; Миронов 2002). Неслучайно ряд зарубежных авторов (Gellner 1975, 1977, 1979; Plotkin&Howe 1984; Voronitsyn 1988) специально привлекали внимание западных ученых к работам таких сотрудников Института этнографии АН СССР как Ю.В. Арутюнян, Ю.В. Бромлей, Л.М. Дробижева, И.С. Кон, А.А. Сусоколов, О.И. Шкаратан, отмечая, что «некоторые глубокие теоретические моменты в них представляют особую ценность для социологии» (Greenfeld 1988:119). Известная американская исследовательница Марджори Балзер, выступая в роли редактора американской версии коллективного труда Ю.В. Арутюняна, Л.М. Дробижевой, В.С. Кондратьева, А.А. Сусоколова, подчеркивала сходство советской этносоциологии с теорией и методологией «западной антропологической и социологической литературы» и отмечала, что в 1960-е гг., когда начинались этносоциологические исследования в СССР, учитывая политическую ситуацию того времени, не просто было даже ставить вопрос о необходимости исследования социально-культурной трансформации наций. По ее мнению, «этносоциологические исследования в СССР дали возможность осознать парадоксальное в традиционном понимании обострение национальных чувств в условиях урбанизации и усиления межнациональных контактов» (Ethnosociology 1988: 5–6).

Американская исследовательница Лия Гринфельд, указывая на «многочисленные примеры этносоциологического подхода в советской этнографии», особо подчеркивала, что «Арутюнян и Сусоколов продемонстрировали методологические преимущества совместного исследования социоэкономических и демографических индикаторов в переписях населения с этническими и культурными показателями. Многие другие (советские этносоциологи – *Г.К.*) провели “этносоциологический” анализ урбанизации, семейных отношений, демографических тенденций, производительности труда, классовой структуры в различных советских республиках» (Greenfeld 1988: 120).

Авторитетный американский ученый Ян Вальсинер посвятил специальный раздел своей широко известной книги «Психология развития в Советском Союзе» «этнографическому подходу Кона к развитию ребенка». Высоко оценивая работы И.С. Кона, выполненные в рамках этносоциологии,

он писал о том, что этот научный подход, разрабатываемый в ИЭ АН СССР, «более эрудирован, чем его западные аналоги», поскольку «интегрирует историческое, семиотическое, этнографическое и социально-психологическое знание», что редко делается в западноевропейской и североамериканской психологии (Valsiner 1988: 306). Вальсинер отмечал, что «интернационально-ориентированное и высоко философски эрудированное мышление, пронизывающее работы Кона, напоминает русские психологические традиции Вагнера, Выготского, Басова и Северцова и очень отличается от стиля мышления, господствовавшего в советской психологии между 1930 и 1970 гг.» (Valsiner 1988: 303–306). Упоминавшаяся выше Лия Гринфельд, описывая примеры этносоциологического подхода в советской этнографии, также подчеркивала «большой научный вклад сотрудника ИЭ АН СССР И.С. Кона, который в 1983 году предложил и сделал первую теоретическую попытку применить это в исследовании гендерной стратификации» (Greenfeld 1988: 120).

В постсоветские 1990-е гг. внимание большинства российских этнографов и этноантропологов к проблеме междисциплинарного подхода в научном исследовании заметно уменьшилось. К тому же развитие ряда междисциплинарных направлений практически угасло после ухода их основоположников и родоначальников из жизни, а их учеников – из науки. В результате научные направления, возникшие в 1960–1980-е гг. на стыке отечественной этнографии и смежных с ней наук, в 1990-е гг. уже не занимали столь существенного положения в предметной области социально-культурной антропологии, как это было во второй половине XX века. Количество научных трудов, освещающих проблему междисциплинарности в этнографии, резко сократилось. Работ, посвященных возникновению, развитию новых гибридных научных направлений, вопросам продвижения современных исследовательских практик смежных дисциплин, активному диалогу и дискуссии между представителями разных наук, научных направлений, школ и подходов, и особенно, опыту и судьбе междисциплинарной интеграции этнографии со смежными науками и формирования на их основе новых научных направлений было крайне мало. Исключение составляли коллективные сборники, посвященные юбилеям известных российских ученых – основателей того или иного междисциплинарного направления в отечественной этнографии/этнологии (Губогло 2004; Дубова, Ямсков 2004; Губогло, Дубова 2011; Гучинова, Комарова 2011), а также различные научно-мемуарные публикации выдающихся отечественных этнографов/этнологов/антропологов: В.А. Александрова, В.П. Алексеева, С.А. Арутюнова, Е.П. Бусыгина, С.И. Вайнштейна, В.И. Козлова, И.С. Кона, М.Г. Рабиновича, С.А. Токарева, К.В. Чистова и других ученых, активно и плодотворно разрабатывавших в 1960–1980-е гг. важный и весьма перспективный не только для отечественной, но и для всей мировой науки междисциплинарный исследовательский подход.

Необходимо особо отметить эти работы институтских коллег и представителей нашего профессионального сообщества, которые нашли время и силы, чтобы, оглянувшись назад, интересно, живо и вместе с тем достойно и академично описать и проанализировать состояние нашей науки в прошлом и наметить пути её дальнейшего развития. Они различны в жанрово-стилевом отношении, но объединены стремлением авторов не только и не столько рассказать о своем времени и о себе, сколько ощутить себя и своих современников, ставших участниками и свидетелями достижений и трагических потрясений XX века, в постсоветских условиях; определить не столько своё место на стыке веков и на сломе эпох, сколько показать роль и предназначение своей любимой науки, ко-

торой многие из них посвятили всю свою жизнь. Подобные научно-мемуарно-публицистические исследования помогают выявить четкие ориентиры в предлагаемых обстоятельствах и выстроить координаты в новых трансформационных процессах. Очень нужную работу провел в этом направлении академик В.А. Тишков, создавший серию интервью с патриархами отечественной этнографии: С.А. Арутюновым, С.И. Вайнштейном, С.И. Бруком, Е.П. Бусыгиным, Л.И. Потаповым, Т.А. Жданко, К.В. Чистовым (Тишков 2008). В его книге «Наука и жизнь. Разговоры с этнографами» речь идет не «только о науке этнографии, которую сегодня более адекватно называть этнологией и социально-культурной антропологией» (Тишков 2001: 6). Участники интервью размышляют также и о смежных с ней науках и междисциплинарных научных направлениях: о физической антропологии и археологии (С.А. Арутюнов, С.И. Вайнштейн), этномузееведении (Е.П. Бусыгин, Т.А. Жданко, Л.П. Потапов), этногеографии (С.И. Брук, Е.П. Бусыгин), этнодемографии и этнической картографии (С.И. Брук), этнофольклористике (К.В. Чистов), этнолингвистике (С.А. Арутюнов, Т.А. Жданко, К.В. Чистов, В.А. Тишков), этнофармакологии (Л.П. Потапов), этносоциологии (К.В. Чистов, В.А. Тишков) и т. д. Книга В.А. Тишкова содержит ценный фактический и теоретический материал, к которому могут обращаться не только этнографы/этнологи/антропологи, но и представители других социально-гуманитарных наук, исследователи, работающие в одном общем пространстве, которое обозначается такими ключевыми понятиями, как человек, социум, культура.

В этой связи нужно напомнить, что именно в начале 1990-х гг., когда В.А.Тишков возглавил «головной» Институт этнологии и антропологии РАН, отечественная этнология переживала тяжелый период, обозначенный им самим как кризис (Тишков 2003: 27–34). Переломные для науки 1990-е гг. характеризовались концептуальным плюрализмом, методологическим эклектизмом, критическим отношением к советскому наследию и, вместе с тем, активной адаптацией зарубежных теорий. И неслучайно, что именно в трудные 1990–2000-е годы произошло переосмысление целого ряда идей, концепций, понятий и как результат – небывалое расширение исследовательского поля современной этнологии. Именно в этот переломный период в отечественной этнологии оформились и ныне развиваются новые междисциплинарные направления, представленные в нашем коллективном труде.

Опыт междисциплинарных исследований в отечественной этнографии велик и разнообразен. И он уже достаточно широко представлен в российских исследованиях (С.А. Арутюнов, Н.Н. Чебоксаров 1972; Ю.В. Арутюнян, Л.М. Дробижева 1973; 1981; Ю.В. Арутюнян, Л.М. Дробижева, А.А.Сусоколов1999;2007;Ю.В.Бромлей1973, 1977; 1981; Ю.В. Бромлей, О.И. Шкаратан 1969, 1978; С.И. Брук 1964, 1978; С.И. Брук, В.И. Козлов, М.Г. Левин 1963; С.И. Брук, М.Г. Рабинович 1964; Е.П. Бусыгин, Н.В. Зорин 1976; М.Н. Губогло 1984; 1994; 2002; 2004; Р.Ш. Джарылгасинова, А.Р. Садокова1995; Л.М. Дробижева 1976, 2001, 2004, 2006; В.И. Козлов 1973, 1982, 1994, 2006; Г.А. Комарова 1980, 1989, 2002, 2004, 2005,2009, 2011, 2012, 2012а, 2012б, 2014; И.С. Кон 1983, 1992, 2006; 2007; П.И. Пучков 2007; С.В. Соколовский 1993, 2003, 2015а, 2015б; В.С. Степанов 2006, 2007; В.А. Тишков 1995, 2003, 2004, 2008; В.А. Шнирельман 1984, 1989, 1989а, 1991; А.Н. Ямсков 1989, 2006; и др.). Следует также упомянуть ряд концептуально важных коллективных сборников, изданных в ИЭ АН СССР в 1960–80-х гг. и посвященных новаторским исследованиям междисциплинарного характера сотрудников Сектора общих проблем, Сектора по изучению исто-

рии первобытного общества, Сектора этнографии народов Севера и ряда других подразделений ИЭ АН СССР, а также их коллег из других городов и регионов СССР.

Знание истории формирования и развития междисциплинарных научных направлений, учет и использование опыта научной интеграции и междисциплинарной кооперации ученых в проведении совместных научных исследований, их взаимного использования методик в научной практике и т. п., и сегодня как никогда актуальны. Радикальные изменения, происходящие в постсоветской России, естественно, самым существенным образом затрагивают всех россиян, в том числе и ученых. И для того, чтобы отечественная наука соответствовала реалиям времени и была востребована современным обществом, круг её исследовательских проблем может и должен постоянно обновляться. Интеграция наук в этом процессе может оказать неоценимую помощь, т.к. грамотное использование междисциплинарного подхода способно даже в многократно клонированной тематике высветить и исследовать новые актуальные проблемы. Исследование многих современных проблем требует систематической междисциплинарной кооперации всех наук о человеке и обществе и сравнительно-исторического их изучения. И в наши дни очень актуально звучат слова, сказанные много лет назад И.С. Коном: «Увлеченные сбором фактов мы часто забываем уточнять вопросы, на которые хотели бы получить ответ. “Непричесанная” историография, сталкивающая противоречивые факты и суждения, принимаемые за истину в одной науке и отвергаемые в другой, показывает нам глубину нашего незнания, помогая освободиться от привычных шаблонов, удивиться, задуматься и только после этого решить, что делать» (Кон 1988: 243).

Зная и уважая, но вместе с тем, не разделяя мнение отдельных коллег, утверждающих, что «расширение рамок предмета этнографии разрушает эту науку» (Басилов 1992), я уверена, что расширение границ традиционной этнографии и сближение ее со смежными науками – тенденция современного познания мира. Доказательство тому служит тот факт, что в современных научных разработках актуализируется проблема складывания новых междисциплинарных сообществ. Интердисциплинарный подход к исследованию многих и многих проблем этнологической науки сегодня особенно перспективен в силу ряда причин. Во-первых, практически любое современное антропологическое исследование, как правило, включено в широкий социально-политический контекст, и их программы формируются под воздействием и с учетом междисциплинарных стимулов. Во-вторых, в наши дни условия и способы проведения этнографических полевых исследований меняются самым кардинальным способом. А в современной науке все передовые исследовательские методологии и методики в значительной мере междисциплинарны. В-третьих, целый ряд тем и дискуссий прошлого уже становятся «историографией», а новые темы и направления возникают обычно в ходе междисциплинарных, а не внутридисциплинарных дискуссий. Таким образом, междисциплинарность в отечественной этнографии/этнологии по-прежнему актуальна.

Авторский коллектив данного издания исходил из того, что сегодня на фоне сокращения междисциплинарного пространства в отечественной этнологии особенно необходима работа по сохранению и развитию междисциплинарного подхода в отечественной этнографии/этнологии/антропологии. При этом важно не просто всестороннее изучить и описать важнейшие достижения междисциплинарного подхода в этнографии, а исследовать опыт взаимовлияния и показать грани интеграции отечественной этнографии/этнологии и междисциплинарных научных направлений, воз-

никших на стыке ее и ряда смежных наук. С этой целью следует, во-первых, оценить те исторические реалии и тот социальный контекст, в которых происходило формирование и развитие того или иного научного направления. Во-вторых, представляется весьма перспективным не только сохранять и шлифовать важнейшие, с точки зрения этнографии, методы исследования: неструктурированное включенное наблюдение и нарративное интервью, но в дополнение к традиционным этнографическим методам шире использовать методики, разработанные в социологии, психологии, статистике, демографии и в других науках, составляющих различные междисциплинарные направления, чьи достижения общепризнаны и проверены временем и научным сообществом. В-третьих, необходимо выявить и изучить факторы, позволяющие сохранять и развивать накопленный опыт, методологию и научные идеи междисциплинарного знания. История и развитие смежно-отраслевых научных дисциплин при этом должны рассматриваться как процесс научного познания.

В ходе реализации проекта особое внимание авторского коллектива уделялось вопросам методологии и теории, в том числе концептуально-методологической оснащенности исследований, носящих междисциплинарный характер, а также комплексу основных проблем, встающих на пути исследователей – представителей различных научных дисциплин и направлений, когда у них возникает потребность в обмене опытом, конвергенции теорий и адаптации языка научных описаний.

Во-первых, это проблема возникновения и институализации нового междисциплинарного направления, которое, на наш взгляд, созревает к тому моменту, когда появляется целый ряд дискуссионных вопросов, кажущихся важными и интересными достаточно большому коллективу исследователей. Закономерно также, что по мере изменения интеллектуального ландшафта того или иного научного направления система его научных приоритетов меняется. Следовательно, время от времени любое междисциплинарное направление должно пересматривать свои интеллектуальные характеристики, чтобы привлечь к себе новых исследователей, работающих в периферийных или в совершенно новых областях знания, что способствует расширению междисциплинарного исследовательского пространства.

Во-вторых, одной из серьезных проблем в интердисциплинарной кооперации по-прежнему остается проблема научного языка, в целом, и отсутствие единого словаря для исследователей в области междисциплинарности, в частности. Причем проблемы единого словаря для исследований междисциплинарности возникают уже на этапе операционализации терминов. Дело в том, что в один и тот же термин, в одно и то же понятие представители разных научных направлений и школ вкладывают разное понимание. Как отмечал К. Маркс, для человека, вообще, и для исследователя, в особенности, типично наличие «врожденной казуистики» – стремление изменять вещи, меняя их название, для того, чтобы находить лазейки для них в рамках традиции (Маркс 1941). В результате неосознанно возникает теоретическая и методологическая подмена понятий и терминов.

Мнение о том, что междисциплинарность является яркой приметой времени и за ней будущее научных исследований, высшего образования и знаний вообще, широко представлено в современном, в том числе и в отечественном, научном дискурсе. Однако в научной литературе встречается множество разных определений даже самой «междисциплинарности» и связанных с ней понятий, различающихся в понимании содержания, которое авторы вкладывают в один и тот же термин. Ведь при всем опыте междисциплинарной интервенции любой

профессиональный исследователь, прежде всего, находится под влиянием правил своей науки, что не может не накладывать на него определенные ограничения, а на его тексты – особый отпечаток. Известный российский социолог В.С. Вахштайн, например, отмечает, что социальный антрополог «с легкостью смешивает объяснительные модели, заимствованные из истории, географии, экономики, психологии (а в недавнем прошлом и из психоанализа). Такая эклектика служит источником непрекращающихся подозрений в отношении социальной антропологии – есть ли у нее вообще свой язык описаний или ее специфика определяется исключительно этнографическим методом, а языки она по мере необходимости заимствует из смежных дисциплин» (АФ 16: 48).

Западные ученые уже несколько десятилетий активно разрабатывают эту проблематику, рассматривая различные точки зрения на понимание термина «междисциплинарность», изучая понятия: междисциплинарность; междисциплинарные исследования; междисциплинарный подход; два типа междисциплинарности – «мягкий» и «жесткий»; кроссдисциплинарность; интердисциплинарность; полидисциплинарность; мультидисциплинарность; трансдисциплинарность; мультидисциплинарный (полидисциплинарный) подход; плюридисциплинарность; а также термины «междисциплинарный специалист» и «междисциплинарная команда» для решения современных задач междисциплинарного типа. В этих исследованиях принимают участие философы, занимающиеся проблемами эпистемологии и методологии науки, истории философии, социологии разных направлений, истории науки, а также представители других наук – активные участники междисциплинарных исследований в различных областях естествознания и обществознания, накопившие опыт решения подобных проблем и в определенной форме обобщившие его и заинтересованные в сопоставлении своего опыта с опытом междисциплинарных исследований в других областях науки, а также в том, чтобы выразить его в более общих категориях. В целом сегодня «современная история междисциплинарности в контексте истории понятий может быть условно описана как транзит: от “интердисциплинарности” через “поли-/плюри-/мультидисциплинарность” к “трансдисциплинарности”» (Бушковская 2010: 152).

Проблема разработки и использования научного понятийно-терминологического аппарата хорошо понятна российским специалистам в связи с растущим в современном научном сообществе стремлением к международной интеграции российских социальных исследований и включением новейших зарубежных научных достижений в российский контекст. Чтобы решить её, современный этнолог, как и любой другой представитель социогуманитарных наук должен, с одной стороны, обладать четкой и высокоразвитой теоретико-социологической аргументацией, а с другой – постоянно осваивать новые исследовательские парадигмы, реализуя их в конкретных полевых исследованиях. В любом случае, важно, чтобы в процессе организации, проведения и в итоге высокопрофессионального междисциплинарного исследования ученые «сохраняли свой профессиональный статус, одновременно обогащая свою аналитическую мастерскую инструментами из других областей гуманитаристики, пропустив их через собственные профессиональные традиции и навыки, сделав их, таким образом, «своими». Как полагает С. Неретина, «может быть, современная междисциплинарность – это прорыв к традициям российской гуманитаристики XX в., инициатива которого принадлежит филологам Ю.М. Лотману, С.С. Аверинцеву, М.Л. Гаспарову, А.В. Михайлову» (Неретина 2005: 23). Но

в целом же междисциплинарность как исследовательская парадигма в современной отечественной науке находится в некой точке «бифуркации», ожидая либо спада, либо прорыва, зависящих от целого комплекса самых различных и зачастую непредсказуемых факторов.

Ярким позитивным примером того, как современная отечественная наука (в данном случае, в лице представителей этнологии, археологии, антропологии, генетики, лингвистики, палеогеографии, истории и др.) от разговоров о междисциплинарности, полидисциплинарности, трансдисциплинарности постепенно переходит к реализации междисциплинарных проектов «снизу», исходя из потребностей познания в собственной области, служит научно-популярный сайт «Генофонд.рф». Он возник в результате успешного проведения конференции «Границы и контакты: генетическая история человечества, поведение, языки, культуры» (Звенигород, 17–19 декабря 2014 г.). Ее участники – ведущие специалисты из всех областей наук, изучающих этногенез: этнологи, генетики, археологи, антропологи, палеогеографы, лингвисты и др. не столько рассказывали о своих достижениях, сколько искали и показывали, как вместе решать междисциплинарные проблемы. Сделав вывод о том, что «такой встречи наук не было уже четверть века», они решили устраивать подобные конференции ежегодно, а также создали сайт, чтобы представители разных научных дисциплин постоянно и плодотворно обсуждали наиболее актуальные междисциплинарные проблемы (http://генофонд.рф/?page_id=159). Идея сайта, состоящая в том, чтобы создать площадку для общения наук, которые с разных сторон, разными методами изучают проблемы биологического, лингвистического и культурного разнообразия народов и регионов, пользуется сегодня большим успехом и поддержкой в отечественном научном сообществе.

Остается надеяться, что подобные интеллектуальные прорывы помогут решить также и нашу общую третью задачу – проблему междисциплинарного взаимопонимания, или как показывает практика, зачастую «взаимонедопонимания». Ее четко сформулировал С.Ю. Неклюдов – известный российский ученый, имеющий большой и разнообразный опыт междисциплинарных исследований. Размышляя о проблеме междисциплинарного «взаимонедопонимания», которое наблюдается в смежных областях при рассмотрениях одного и того же (или чрезвычайно близкого) материала, он пишет: «С подобной ситуацией я сталкиваюсь часто, хотя отнюдь не всегда она осознается во всей полноте. Чаще партнеры по диалогу не считают нужным обращаться к научному опыту соседней дисциплины, оставаясь при ощущении собственной безусловной правоты. Дело именно в учете чужого (“инодисциплинарного”) знания, если угодно, в доверии и уважении к нему, с которых начинается и взаимопонимание» (Неклюдов 2015: 237).

В связи с вышесказанным уместно напомнить слова классика отечественной этнографии С.А. Токарева: «Для понимания задач этнографии как науки, важен правильный взгляд на взаимоотношения её со смежными науками и – ещё более – умение правильно сочетать данные этих наук. В принципе все признают необходимость тесной увязки этнографического материала с данными археологии, антропологии, лингвистики, письменной истории. Но одно дело – признавать, а другое – уметь практически применять, разрабатывать, комбинировать материал этих смежных, но самостоятельных наук. Для этого надо его, прежде всего, хорошо знать, а это требует незаурядной эрудиции одновременно в нескольких науках. Помимо этого, сам метод сочетания данных, заимствованных из разных наук, требует особой разработки. Все это по плечу только деятелям передовой

науки, а не людям академической рутины» (Токарев 1999: 86). Идеи С.А. Токарева разделяет известный отечественный этнолог Н.Б. Вахтин, ратующий за междисциплинарное образование представителей различных дисциплин социогуманитарного блока и, прежде всего, членов нашего профессионального сообщества и считающий, что «...отсутствие такого образования для этнографов (или как минимум его недостаточная развитость и распространение) и есть… основное препятствие на пути к продуктивным исследованиям в нашей науке» (Вахтин 2005: 26).

Проблема интеграции и взаимовлияния не только отечественной, но и в целом мировой этнологии и смежных с ней дисциплин имеет давнюю историю. И она очень непроста: специалисты то разграничивают предметы исследований; то заимствуют другу друга знания и методы. Но главное, в чем прогрессивные ученые, выступающие за расширение этнографической практики и зон междисциплинарных исследований, единодушны, – это понимание «силы антропологического подхода», позволяющего исследователю «увидеть вещи в их взаимоотношении вместо того, чтобы рассматривать их по отдельности» (Comaroff 1992: 48). Такой подход особенно важен для комплекса социогуманитарных наук и, прежде всего, для этнологических исследований.

Коллективная монография, посвященная феномену междисциплинарности в отечественной этнографии, продолжает серию «Отечественная этнология как практика междисциплинарных исследований» (Комарова 2010; 2012; 2013; 2014). И она планировалась как возможность не только описать и оценить наиболее яркие междисциплинарные направления, возникшие в лоне отечественной этнографии и получившие свое развитие во второй половине XX века – начале XXI века, но и вспомнить имена тех больших ученых, кто, посвятив всю свою жизнь науке, не ограничивался повторением пройденного в ней, а постоянно раздвигал ее границы, расширяя старые и создавая новые исследовательские поля. В этой связи хотелось бы особо подчеркнуть тот несомненный факт, что в отечественном научном сообществе профессиональных этнографов/антропологов всегда были и, надеюсь, всегда будут ученые, чьей принципиальной научной позицией служит междисциплинарность в области социальных наук, продвижение современных исследовательских практик смежных дисциплин, активный диалог и дискуссии между представителями разных наук, научных направлений, школ и подходов. Наш коллективный труд, как и серия других работ, посвященных феномену междисциплинарности в отечественной этнологии – это своеобразная попытка, оглянувшись в прошлое, осмыслить его и вспомнить пока еще не очень давние, но уже многими забываемые страницы истории отечественной этнографии/этнологии с тем, чтобы сделать очередной шаг в будущее.

Библиография

Альтман, Куманев 1964 – История и социология / Альтман, В.В., Куманев, В.А. (ред.). М.: Наука, 1964.

Арутюнов, Чебоксаров 1972 – Арутюнов С.А., Чебоксаров Н.Н. Передача информации как механизм существования этносоциальных и биологических групп человечества // Расы и народы. М.: Наука, 1972.

Арутюнян, Дробижева 1981 – Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М. Этносоциологические исследования в СССР // Социс. 1981. № 1. С. 64–70.

Арутюнян, Дробижева, Сусоколов 1999 – Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. М.: Наука, 1999.

АФ 16 – Антропология и социология // АФ. 2012. № 16. С. 8–168.

Басилов 1992 – Басилов В.Н. Этнография: есть ли у неё будущее? // ЭО. 1992. № 4. С. 3–17.

Бромлей 1973 – Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. М.: Наука, 1973.

Бромлей 1981 – Бромлей Ю.В. Современные проблемы этнографии. М.: Наука, 1981.

Бромлей, Шкаратан 1969 – Бромлей Ю.В., Шкаратан О.И. О соотношении истории, этнографии и социологии // СЭ. 1969. № 3. С. 3–19.

Бромлей, Шкаратан 1978 – Бромлей Ю.В., Шкаратан О.И. О соотношении предметных областей этнографии, истории и социологии // СЭ. 1978. № 4. С. 3–18.

Брук, Козлов, Левин 1963 – Брук С.И., Козлов В.И., Левин М.Г. О предмете и задачах этногеографии // СЭ. 1963. № 1. С. 11–25.

Брук, Рабинович 1964 – Брук С.И., Рабинович М.Г. Историко-этнографические атласы // СЭ. 1964. № 4. С. 102–117.

Брук 1978 – Проблемы этнической географии и картографии. Брук С.И. (ред.) М.: Наука, 1978.

Бусыгин, Зорин 1976 – Бусыгин Е.П., Зорин Н.В. Очерки статистической этнографии Среднего Поволжья. Казань, 1976.

Бушковская 2010 – Бушковская Е.А. Феномен междисциплинарности в зарубежных исследованиях // Вестник Томского государственного университета. Вып. № 330. Томск, 2010. С. 152–155.

Вахтин 2005 – Вахтин Н.Б. Интервью редколлегии АФ // АФ. СПб., 2005. С. 22–26.

Губогло 1979 – Губогло М.Н. Развитие двуязычия в Молдавской ССР. Кишинёв, 1979.

Губогло 1984 – Губогло М.Н. Современные этноязыковые процессы в СССР: основные факторы и тенденции развития национально-русского двуязычия. М.: Наука, 1984.

Губогло 1994 – Губогло М.Н. Язык и национализм в постсоветских республиках М.: ИЭА РАН, 1994.

Губогло 2002 – Губогло М.Н. К изучению проблемы адаптации населения в условиях общественных преобразований в постсоветской России // Отечественная история. 2002. № 6. С. 110–129.

Губогло 2004 – Губогло М.Н. (ред.) Междисциплинарные исследования в контексте социально-культурной антропологии. М.: Наука, 2004.

Губогло, Дубова 2011 – Феномен идентичности в современном гуманитарном знании: к 70-летию акад. В.А. Тишкова / Отв. ред. М.Н. Губогло, Н.А. Дубова. М.: Наука, 2011.

Гучинова, Комарова 2011 – Антропология социальных перемен / Отв. редакторы: Э.- Б.М. Гучинова, Г.А. Комарова. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011.

Дубова, Ямсков 2004 – Этноэкологические исследования / Ред. Н.А. Дубова, А.Н. Ямсков. М.: Старый сад, 2004.

Джарылгасинова, Садокова 1995 – Джарылгасинова Р.Ш., Садокова А.Р. Р.Л. Садоков и проблемы музыкальной археологии // ЭО. 1995. № 1. С. 102–113.

Дробижева 1976 – Дробижева Л.М. Этносоциологическое изучение современности // Расы и народы. 1976. № 6. С. 64–73.

Дробижева 2001 – Дробижева Л.М. Я всегда находилась в процессе самообучения. (http://www.nir.ru/socio/scipubl/sj/sj4-01drob.html). 2001.

Дробижева 2004 – Дробижева Л.М. Этносоциология сегодня. Проблемы методологии междисциплинарных исследований // М.Н. Губогло (ред.) Междисциплинарные исследования в контексте социально-культурной антропологии. М.: Наука, 2004. С. 14–25.

Дробижева 2006 – Дробижева, Л.М. Методологические проблемы этносоциологических исследований // Социологический журнал. 2006. № 3–4.

Козлов 1982 – Козлов В.И. Этническая демография. М.: Мысль, 1982.

Козлов 1994 – Козлов В.И. Этническая экология: становление дисциплины и история проблем. М.: ИЭА РАН, 1994.

Козлов и др. 2006 – Козлов В.И. и др. Современная сельская Абхазия: социально-этнографические и антропологические исследования. М.: ИЭА РАН, 2006.

Комарова 1980 – Комарова Г.А. О понятии «этнопедагогика» в советской этнографической и педагогической науке / Изучение преемственности этнокультурных явлений. М.: ИЭ АН СССР, 1980. С. 203–212.

Комарова 1988 – Комарова Г.А. Современная чувашская женщина в семье и в обществе (на материалах массовых обследований в ЧАССР). М.: ИЭ АН СССР, 1988.

Комарова 2002 – Комарова Г.А. Предтеча Чернобыля: этнокультурные аспекты экологической катастрофы на р. Теча. М.: ИЭА РАН, 2002.

Комарова 2004 – Комарова Г.А. Этнический аспект экологизации гуманитарного знания // М.Н. Губогло (ред.) Междисциплинарные исследования в контексте социально-культурной антропологии. М.: Наука, 2004. С. 120–153.

Комарова 2005 – Комарова Г.А. Этническая социология как междисциплинарное направление в советской этнографии // Bulletin of the National Museum of Ethnology, 2005. № 30(1). С. 121–139.

Комарова 2009 – Комарова Г.А. Междисциплинарная интеграция отечественной этнографии и этносоциологии // Этносоциология в России: научный потенциал в процессе интеграции полиэтнического общества. Казань: ИИ АН РТ, 2009. С. 42–52.

Комарова 2012 – Комарова Г.А. Опыт интеграции: междисциплинарное взаимодействие этнографии и этносоциологии. М.: ИЭА РАН, 2012.

Комарова 2010 – Комарова Г.А. Этнография детства: междисциплинарные исследования. М.: ИЭА РАН, 2010.

Комарова 2011 – Комарова Г.А. Отечественная этнография и этносоциология: опыт междисциплинарной интеграции // Феномен идентичности в современном гуманитарном знании / Отв. ред. М.Н. Губогло, Н.А. Дубова. М.: Наука, 2011.

Комарова 2012а – Комарова Г.А. Сила антропологического подхода // АФ. 2012. № 17. С. 267–302.

Комарова 2012б – Комарова Г.А. Академическая жизнь: поле междисциплинарных исследований / Исследования по прикладной и неотложной этнологии. Т. 229. М.: ИЭА РАН, 2012.

Комарова 2013 – Антропология академической жизни: междисциплинарные исследования / Отв. ред. Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2013.

Комарова 2014 – Комарова Г.А. Этнография детства: междисциплинарные исследования. Изд. 2. М.: ИЭА РАН, 2014.

Кон 1983 – Кон И.С. (ред.) Этнография детства: традиционные формы воспитания детей и подростков у народов Южной и Юго-Восточной Азии. М.: Наука, 1983.

Кон 1988 – Кон И.С. Ребенок и общество: историко-этнографическая перспектива. М.: Наука, 1988. 270 с.

Кон 1993 – Кон И.С. Несвоевременные размышления на актуальные темы // ЭО. 1993. № 1. С. 3–8.

Кон 2006 – Кон И.С. Междисциплинарные исследования. Социология. Психология. Сексология. Антропология. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.

Косвен 1946 – Косвен М.О. Проблемы воспитания и психологии ребенка в свете этнографического материала // СЭ. 1946. № 2. С. 227.

Кукушкина 2004 – Кукушкина Е.И. (ред.) Развитие социологии в России (с момента зарождения до конца XX века). М.: МГУ, 2004.

Лашук 1997 – Лашук Л.П. Введение в историческую социологию. М.: Изд-во МГУ, 1997.

Маркс 1941 – Маркс К. Конспект книги Льюиса Г. Моргана «Древнее общество». М.: 1941. Т. 9.

Милитарев, Пейрос, Шнирельман 1988 – Милитарев А.Ю., Пейрос И.И., Шнирельман В.А. Методические проблемы лингвоархеологических реконструкций этногенеза // СЭ. 1988. № 4. С. 24–38.

Миронов 2002 – Миронов Б.Н. Социология и историческая социология: взгляд историка // Социс. 2002. № 10. С. 55–62.

Неклюдов 2015 – Неклюдов С.Ю. «Не вполне по анкете…» // АФ. 2015. № 25. С. 235–238.

Неретина 2005 – Неретина С. Точки на зрении. СПб., 2005.

Отдел 2010 – Цикл телевизионных передач «Отдел» на канале «Культура». Март 2010 г.

От классиков 2014 – От классиков к марксизму: совещание этнографов Москвы и Ленинграда (5–11.04.1929 г.). СПб.: МАЭ РАН, 2014.

Отчет 2014 – Отчет о заседании Совета при Президенте по науке и образованию, посвящённом преобразованиям в академическом секторе фундаментальных научных исследований. Москва, 8.12.2014 г.

Петровский 1991 – Петровский А.В. Запрет на комплексное исследование детства // Репрессированная наука, Л.: Наука,1991.

Пучков 2007 – Пучков П.И. Конфессиональное картографирование в России // ЭО. 2007. № 4. С. 37–43.

Соколовский 1993 – Соколовский С.В. Этнографические исследования: идеал и действительность // ЭО. 1993. № 2–3.

Соколовский 2003 – Соколовский С.В. Четверть века российской антропологии: 1975–2000 // Этнометодология: проблемы, подходы, концепции. Вып. 9. М., 2003. С. 136–159.

Соколовский 2015а – Соколовский С.В. Российская антропология: современная проблематика и дисциплинарное устройство // Этнометодология. Вып. 19. М.: Наследие ММК, 2015. С. 131–166.

Соколовский 2015б – Соколовский С.В. Российская антропология: субдисциплины и междисциплинарные связи // Традиции и инновации в истории и культуре. М., 2015. С. 517–535.

Степанов 2006 – Степанов В.В. О методах этнического картографирования высокой подробности // Этностатистические траектории Южного Урала. Динамика расселения народов Башкирии. М.: РУДН, 2006. С. 49–62.

Степанов 2007 – Степанов В.В. Вместо введения. В защиту этнической статистики // ЭО. 2007. № 5. С. 32.

Тишков 1995 – Тишков В.А. Нелишне узнать из первоисточника (с бывшим зам. директора ИЭ АН СССР С.И. Бруком беседует В.А. Тишков) // ЭО. 1995. № 1. С. 89–101.

Тишков 2001 – Тишков В.А. Интервью с профессором В.А. Тишковым // Этнопанорама. 2001. № 4. С. 68–75.

Тишков 2003 – Тишков В.А. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной антропологии. М., Наука. 2003.

Тишков 2004 – Тишков В.А. Авторитеты и преемственность в науке: вместо заключения // Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи. М.: Наука. 2004. С. 688–692.

Тишков 2008 – Тишков В.А. Наука и жизнь. Разговоры с этнографами. СПб., 2008.

Токарев 1999 – Токарев С.А. Избранное. М.: ИЭА РАН, 1999. Т. 1. 232 с.

Чистов, Комарова 1983 – Чистов К.В., Комарова Г.А. Цікаве монографічне дослідження // Народна творчість та етнографія. 1983. № 4. С. 73–77.

Шнирельман 1984 – Шнирельман В.А. Этноархеология – 70-е гг. // СЭ. 1984. № 2. С. 100–113.

Шнирельман 1989 – Шнирельман В.А. Этнокультурные заимствования и лингвистический процесс (некоторые методологические аспекты) // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. М., 1989.

Шнирельман 1989а – Шнирельман В.А. Возникновение производящего хозяйства. М.: Наука, 1989.

Шнирельман 1991 – Шнирельман В.А. «Диффузия идеи», кризисы и хозяйственная динамика в традиционных обществах (к постановке вопроса) // СЭ. 1991. № 2. С. 17–28.

Этнография 1988 – Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы. М.: Наука, 1988.

Ядов 1998 – Социология в России / Под ред. В.А. Ядова. М.: Издательство Института социологии РАН, 1998.

Ямсков 2006 – Ямсков А.Н. Междисциплинарные исследования долгожительства абхазских сельских популяций на рубеже 1970–1980-х гг. и в начале 2000-х гг. // Современная сельская Абхазия: социально-этнографические и антропологические исследования. М.: ИЭА РАН, 2006. 250 с.

Clifford 1988 – Clifford James. The Predicament of Culture. Twentieth-Century Ethnography, Literature and Art. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988.

Comaroff, Comaroff 1992 – Comaroff John and Comaroff Jean. Ethnography and the Historical Imagination // Ethnography and the Historical Imagination. Boulder.1992. No. 3–48.

Greenfeld 1988 – Greenfeld L. Soviet Sociology and Sociology in the Soviet Union. Annual Review Sociology. 1988. No. 14. P. 99–123.

Gellner 1973 – Gellner E. Cause and Meaning in the Social Sciences. L., Boston: Routledge and Kegan Paul, 1973.

Gellner 1974 – Gellner E. The Soviet and the Savage. Current Anthropology. 1974. No. 16(4). P. 595–601.

Gellner 1977 – Gellner E. Ethnicity and Anthropology in the Soviet Union. Arch. Eur. Sociology. 1977. No. 18. P. 201–220.

Gellner 1979 – Gellner E. Review of M. Matthews and T.A. Jones. Soviet Sociology.// Slavic East Europa Review. 1979. 57. P. 473–490.

Ethnosociology 1988 – Ethnosociology. N.Y., 1988.

Plotkin, Howe 1984 – Plotkin V.I., Howe J.E. The Unknown Tradition: Continuity and Innovation in the Soviet Ethnography // Dialectical Anthropology. 1984. No. 2. P. 1–4.

Valsiner 1988 – Valsiner J. Developmental Psychology in the Soviet Union. Bloomington: Indiana University Press, 1988. P. 303–306.

Voronitsyn 1988 – Voronitsyn S.A. Directory of Prominent Soviet Economists, Sociologists and Demographers by Institutional Affiliation // Radio Liberty Res. RL 183/87.

Раздел I
ИНТЕГРАЦИЯ НАУК В СОВРЕМЕННОЙ ЭТНОЛОГИИ

С.В. Соколовский

Дисциплинарная структура российской антропологии и развитие новых направлений

Введение

Если не вдаваться в частности, большинство российских антропологов сегодня специализируется на исследованиях в двух слабо связанных между собой проблемных областях. Первая и наиболее многочисленная из них представляет собой исследования национальной политики, включая ее правовое регулирование, в том числе изучение т. н. межэтнических отношений, национализма и нациестроительства, этнической категоризации, конфликтов, толерантности и т. п. Другая часть занята более традиционными для этнографии сюжетами – обычаями и обрядами, исследованием мифологии и традиционных представлений, современных и классических жанров фольклора. Едва ли не половина исследователей, работающих в научных институтах, центрах и кафедрах, в наименованиях которых присутствуют слова «антропология» или «этнология», специализируется на исследованиях в смежных с этими дисциплинами областях – социологии, истории и гендерных исследованиях, социальной психологии, биоантропологии, то есть за границами той проблематики, которую мы привыкли относить к собственно этнологической или социально-антропологической.

Помимо названных выше двух крупных специализаций российское антропологическое сообщество распадается на несколько независимых сетей, фокусирующихся на отдельных, хотя и связанных между собой предметных полях и опирающихся на различные методы исследований. Число таких субдисциплин или проблемно-тематических специализаций в рамках российской антропологии в целом (если не учитывать малочисленные сообщества с 10–15 исследователями, изучающими узкие проблемы), вряд ли превышает полтора десятка. Ниже будут приведены краткие описания современного состояния исследований в соответствующих субдисциплинах.

Среди более многочисленных и традиционных для российского случая направлений антропологических исследований или субдисциплин выделяются следующие: этнографическая фольклористика, этнографическое регионоведение, физическая или биоантропология, исследования этнической истории и этногенеза (включая т. н. этноархеологию) и история науки (этнографии, этнологии, антропологии). Все эти направления плюс юридическая антропология (направление исследований, которое уходит корнями в дореволюционные исследования в области антропологии права, но почти не развивавшееся в период 1930–1970-х гг.) можно отнести к первой волне дифференциации и специализации антропологического знания.

В 1970–1980-е гг. к ним присоединились этнодемография, этносоциология, этногеография, этнопсихология, этнография детства, городская антропология, что и составило содержание второго этапа диффе-

ренциации отечественного антропологического знания.

На третьем этапе, в конце 1980-х – начале 1990-х гг., свое институциональное воплощение в виде исследовательских специализаций и центров получили этнополитология, этноконфликтология, этногендерные исследования, медицинская, экономическая и визуальная антропология.

Сегодня мы становимся свидетелями и участниками четвертой волны в развитии структуры антропологического знания, хотя вести речь об институциональном оформлении таких новых для России направлений как антропология организаций, государственного управления и администрирования, бизнеса, спорта, искусства, медиа, технологий и науки, моды, досуга, чувств и телесности пока еще рано (на сегодняшний день в отношении этих областей исследований можно говорить лишь о появлении диссертационных работ, авторских коллективов и первых публикаций).

Ниже будут кратко охарактеризованы **наиболее влиятельные и развивающиеся междисциплинарные направления** из перечисленных выше.

Политическая антропология и этнополитология, охватывающие исследования национальной политики, национализма, государственного устройства (главным образом, различных форм этнофедерализма и мультикультурализма), политики идентичности, языковой и культурной политики, этнических конфликтов и т. п.). Это наиболее многочисленная, хотя и слабо координированная междисциплинарная область исследований, в которой работают, помимо этнологов/антропологов, также философы, политологи, социологи, историки, конфликтологи, социальные психологи, географы, демографы и представители еще десятка дисциплин и специализаций, которые используют концептуальный аппарат и методы всех перечисленных областей социогуманитарного знания. Поскольку координация и попытки синтеза конкурирующих в этой области описаний и фрагментов тезаурусов различных дисциплин практически отсутствуют, эта гетерогенная смесь знаний разных типов в российском случае пока не привела к теоретически убедительным обобщениям и скорее обслуживает интересы государства (включая гео- и внутреннюю политику) и местных национальных элит, нежели представляет собой самостоятельный локус производства знаний об обществе. Помимо обслуживания интересов политических элит исследователи, специализирующиеся на политико-антропологической проблематике, выполняют весьма важную роль адаптации новых концепций, разрабатываемых в мировой политической антропологии и философии политики. Чрезвычайно важный для нормального функционирования национальной традиции исследований трансфер знаний порождает, однако, не только положительные следствия. Его нормальное функционирование требует значительных и регулярно обеспечиваемых интеллектуальных и финансовых ресурсов, и хотя сегодня интернет облегчает доступ к знаниям в любой из перечисленных областей, растущие цены на бумажные издания и доступ к электронным журнальным базам, как и сохраняющийся языковой барьер между русско- и иноязычными исследователями, регулярно воспроизводят ситуацию гетерохронности знания, при которой устаревшие концепции регулярно используются вместе со значительно пересмотренными и обновленными подходами. Заимствования из других национальных традиций с их собственными концептуализациями, методами и тезаурусами, кроме вполне очевидной полезности, воспроизводят ситуацию отставания, при которой российская антропология в целом (и рассматриваемая здесь область этнополитических исследований – в частности) оказывается в положении, зависимом от внешних для нее референтных центров.

Исключением в рассматриваемой здесь области исследований является лишь сугубо прикладное знание (медиация конфликтов, технологии переговорных процессов, исследования электоральных стратегий с учетом этнической идентичности электората и т. п.), которое быстро проверяется на практике, обеспечивающей отбор эффективных моделей и методов и отбраковку неэффективных. Связи цитирования в этой мозаичной и междисциплинарной области вполне ожидаемым образом объединяют членов антропологического сообщества с представителями перечисленных выше смежных наук.

Несмотря на конкретность и прикладной во многих случаях характер проводимых в данной области исследований, удельный вес обобщений, построенных на полевых материалах и наблюдении в ней остается невысоким по сравнению с анализом статистических сведений, прессы, архивов и прочих источников непрямого наблюдения. По этой причине многие из делаемых в ней обобщений носят схоластический и кабинетный характер. Развитие этой субдисциплины сегодня зависит не столько от обобщений высокого уровня и макротеорий, сколько от скрупулезного изучения низовой политики идентичности и микрополитических ситуаций, в которых происходя не только изменения социальных идентичностей, но и их наложения, взаимодействия, переключения регистров, взаимодействие местных, региональных и глобальных факторов, влияющих на эту политику. Документирования такого пода изменений требует новых методов наблюдения и способностей регистрировать подробности, прежде ускользавшие от регистрации наблюдателем/участником подобных процессов и событий. Полевые исследования микрофизики власти и функционирования ее различных видов в специфических институциональных средах также могли бы способствовать развитию политической антропологии. Эту субдисциплину обогатил бы также более решительный поворот к изучению политического членства и действия.

Развитие традиционной этнографии, фольклористики и этнографического религиоведения (исследования традиционной культуры и фольклора народов России и сопредельных государств, традиционных и современных ритуалов и обычаев, культурного наследия, исследования субкультур, в том числе профессиональных и конфессиональных и т. д.) уже достаточно подробно проанализировано в ряде обзоров и дискуссий (*см.*, например, дискуссии в *Антропологическом форуме* – «Этнографические музеи сегодня» в № 6, 2007, а также материалы форумов в № 1 и 20 этого журнала), поэтому здесь рассматриваться не будет. Проблемы этих тесно связанных между собой областей хорошо известны: кризис традиции и традиционной культуры как основных объектов этих субдисциплин заставил исследователей обратить особое внимание на динамику культуры, ее трансформации, появление новых фольклорных форм и жанров, изобретение новых ритуалов и культов, включение в орбиту внимания не только сельского, но и городского населения (*см.* ниже раздел о городской антропологии). Однако если семиотическое направление в рамках этой обширной области исследований успешно развивалось, российские исследования материальной культуры, вопреки настоящей революции, произошедшей в этой сфере благодаря работам Б. Латура и его коллег, остались на прежнем описательном уровне (*см.* материалы дискуссии в АФ № 24, 2015, специально посвященной этой проблеме).

Исследования в областях этнической истории, этноархеологии и проблем этногенеза также традиционно относились к ядру этнологического знания, однако с критикой и кризисом советских вариантов концепции этноса они были оттеснены на его периферию и сегодня разрабатываются, в основном,

при поддержке региональных национальных элит, подпитывая идеологию различных местных национализмов с их стремлением удревнить происхождение народа (*см.* критику этногенетических построений и этнической атрибуции в археологии в сборнике «Этничность в археологии или археология этничности?» Челябинск, 2013).

Этнографическое регионоведение и компаративистика, включая этнографическое востоковедение, африканистику, сибиреведение, исследования Поволжья, Средней Азии и Кавказа и др. регионов мира также относятся к старейшим специализациям в рамках этнографии/этнологии/антропологии. Обзоры по истории дисциплины, одно перечисление которых заняло бы все оставшееся место, традиционно уделяют этому разделу основное внимание именно потому, что этнографическая компаративистика и региональные специализации составляли историческое ядро этнографии как научной дисциплины, а также в силу того очевидного обстоятельства, что представления об этнографических исследованиях неразрывно связаны с идеей исследований в поле. Этнографическое полевое исследование, разворачиваясь в пространстве, всегда имеет пространственно-географические координаты, и поэтому, даже когда не замышляется как региональное, оказывается источником важных сведений о региональной специфике. В силу этого, все ведущие российские академические центры, в которых работают сколь-нибудь значительные коллективы антропологов (Институт востоковедения, Институт этнологии и антропологии РАН, Кунсткамера) имеют в своем составе научные подразделения, специализирующиеся на исследованиях в конкретных регионах мира. Помимо традиционных для этой субдисциплины дискуссий о смысле и содержании понятия этнографический регион (*см.* последнюю дискуссию на эту тему применительно к этнографическому районированию и границам Кавказа в журнале «Этнографическое обозрение». 2013. № 5), это направление сохраняет богатый потенциал для инноваций, за счет документирования, анализа и соответствующего осмысления бурных перемен в культурах и обществах, происходящих сегодня в различных регионах мира.

Юридическая антропология или антропология права (исследования национальной политики с позиций ее правового регулирования, положения с правами коренных народов и меньшинств, законодательства в области языка и культуры, обычного права, традиционной культуры) также относится к числу немногих антропологических дисциплин, основы которой были заложены еще в XIX веке, однако в советское время число исследований в этой области драматически сократилось и эта субдисциплина, если говорить об истории российской юридической антропологии, стала восстанавливаться лишь с 1990-х гг. Основным предметом изучения в ней остается обычное право, хотя регулярное участие российских антропологов в законотворческом процессе позволяет отметить специфику ее роли и положения в рамках мировой антропологии права или по сравнению с другими национальными традициями (материалы всемирных конгрессов по прикладной антропологии свидетельствуют, что практически нигде более антропологи не оказываются столь тесно вовлеченными в деятельность законодателей на разных уровнях законодательной власти, ограничиваясь консультированием местных сообществ и критикой).

Еще одной из старейших специализаций является биологическая или физическая антропология, в которую сегодня в силу близости некоторых из методов исследования части и, отчасти, проблематики входит и медицинская антропология. Поскольку проблематика этих областей остается чрезвычайно широкой (она включает исследования происхождения человека, этологию человека, генетико-антропологические исследова-

ния, соматологию, краниологию, дерматоглифику, эволюционную антропологию и ряд других специализаций), постольку в ее разработке участвуют не только антропологи, но и генетики, физиологи, биологи и медики. Институционально оформившаяся в середине 1990-х гг. медицинская антропология не является, строго говоря, абсолютно новой дисциплиной для отечественной традиции исследований. Речь в этом случае нужно вести, скорее, о новом разделении труда: этнографы и прежде уделяли внимание т. н. народной медицине, целительству и ритуалам врачевания, а медики, особенно специализирующиеся в области социальной гигиены и эпидемиологии, вели исследования практически по всему спектру проблем, входящих в современную медицинскую антропологию. Появление среди этих специалистов антропологов в российском случае пока не изменило характер исследований сколько-нибудь существенно, поскольку для полноценного синтеза всего корпуса этнографических знаний об обычаях разных народов, существенных для охраны здоровья, с одной стороны, и медицинского знания, с другой, требуется время.

Этносоциология – пограничная между этнологией и социологией дисциплина, оформившаяся у нас в 1970-е – 1980-е гг., оставаясь пока относительно многочисленной (главным образом за счет социологов, организующих опросы по различным аспектам т. н. межэтнических отношений и социальной структуре этнических сообществ) в последнее время и институционально и идеологически все больше сближается с социологией и, отчасти, политическими науками и социальной психологией. Основным и до сих пор неизжитым ее недостатком остается не всегда оправданная этнизация самого предмета исследований, аналитическое наделение этнических сообществ функциями, в сущности являются как экономическими или политическими. Поскольку обзоры с оценкой современного состояния этой субдисциплины опубликованы сравнительно недавно (*см.*: Этносоциология в России: научный потенциал в процессе интеграции полиэтнического общества. Казань, 2009; форум «Антропология и социология» в АФ, № 16, 2012; Комарова 2012), здесь нет необходимости рассматривать его подробно.

Слабая институализация городской антропологии в ее российском варианте вполне очевидна: в России пока нет исследовательских центров, журналов, или университетских кафедр, специализирующихся исключительно на исследованиях и публикациях в этой области. Тем не менее, начальные шаги сделаны уже давно: появляются специальные выпуски академических журналов (*ср., например*, дискуссию в АФ «Исследования города», опубликованную в № 12), вышло в свет немало монографий, посвященных городской антропологии, учреждены специальные книжные серии («Антропология города» под ред. Ю.П. Шабаева. Вып. 1. Сыктывкар, 2013), разработаны и читаются университетские спецкурсы, защищаются диссертации и, наконец, проводятся конференции, посвященные городской антропологии (ей был, например, целиком посвящен один из конгрессов российских антропологов). Все это свидетельствует о быстром развитии этой субдисциплины в России. Это развитие стимулируется, по меньшей мере тремя факторами: нарастающей урбанизацией населения страны, как, впрочем, и планеты в целом, сокращением финансирования полевых исследований, вполне очевидно проявившим себя в 1990-е и 2000-е гг. и затруднившей доступ к далеким и экзотическим местам полевой работы в пользу более близких и, так сказать, сподручных, и, наконец, прогрессирующим демографическим старением академии, что обуславливает сокращение мобильности ее представителей и выбор поля, не требующего таких временных затрат и физических усилий, которых требует дальнее путешествие

или продолжительная жизнь вне дома. Становлению городской антропологии как относительно самостоятельной области исследований помогла также, разумеется, т. н. «балканизация» социально-культурной антропологии, происходившая в 1960–1980-е гг., когда не только в США, но и в России возникли десятки обособившихся от материнского мейнстрима направлений антропологических исследований, стремительно институализированных в качестве самостоятельных дисциплин, включая гендерную, когнитивную, медицинскую, прикладную, психологическую, символическую, экономическую, экологическую, юридическую антропологию, а также антропологию образования, развития, религии, старения и проч. Нужно, видимо, добавить, что в США среди университетских кафедр, имевших перечисленные выше специализации, городская антропология в начале 1980-х гг. была в числе наименее влиятельных субдисциплин, вопреки почти полувековому влиянию чикагской школы и двадцатилетнему развитию этой субдисциплины в качестве относительно самостоятельной области исследований. Этнография города советского периода весьма неторопливо осваивала проблемное поле, разрабатываемое специалистами других наук, обнаруживая в новом для нее контексте уже знакомые по внегородскому полю объекты, отношения, практики, которые не требовали дополнительной концептуализации или принципиально новых теоретических объяснений. Основное внимание советских этнографов было приковано к детальному описанию бытовой культуры в ее этническом проявлении и каталогизации элементов культуры. Изучение города в 1950–1960-е гг. было сосредоточено по преимуществу на изучении быта рабочих, считавшемся важным потому, что изменения в культуре рабочих рассматривались как своего рода мотор культурных преобразований общества в целом, а для понимания динамики культуры, а на следующем этапе развития этнографии города (во второй половине 1960-х гг.) – для уяснения сущности этнических процессов – роль этого класса в соответствии с марксистской догмой считалась ключевой. Уместно также отметить, что объектами изучения чаще оказывались не добровольные ассоциации среди рабочих, как в случае американской антропологии с ее вниманием к политическим процессам, а рабочие коллективы конкретных предприятий или отраслей промышленности (соответствующая библиография приведена в: Будина, Шмелева 1989).

Города, воспринимаемые как «этноконтактные зоны», были признаны в качестве очага «наиболее активных этнических процессов» (Покшишевский 1969). Такой методологический поворот существенно сблизил интересы этнографов и социологов, и уже в начале 1970-х гг. появились как социологические работы о быте горожан вообще (а не только горожан определенной национальности). Именно в этот период институционально оформилась этносоциология, ставившая на первых порах своей основной задачей «изучение этнических изменений в конкретных социальных группах и особенностей социальных процессов в различных этнических средах» (Дробижева 1976: 67–68; см. также: Комарова 2012). Поскольку естественным контекстом для наблюдения и изучения как социальных групп, так и социальных процессов считался именно город, то подавляющее большинство этносоциологических исследований осуществлялось именно в городах и среди городского населения.

Другим направлением, сближающим советскую этнографию города с некоторыми западными версиями развития городской антропологии, была эволюционистская и ориенталистская ориентация на изучение «неевропейских городов». В случае советской этнографии это были древние городские центры Закавказья и Средней Азии (ср. работы

О.А. Сухаревой о Бухаре – Сухарева 1958, 1962, 1976); в случае британской и американской антропологии – города и городское население в Африке, Индии, Центральной и Южной Америке и в Индонезии (Southall 1973).

Если еще в начале 1960-х гг. можно было, вслед за Ф. Бенетом утверждать, что большинство антропологов страдало агорафобией и были выраженными антиурбанистами (Benet 1963: 212), то именно это десятилетие стало свидетелем беспрецедентного роста урбанизации в странах Третьего мира (Hannerz 1980: 1). В Европе в этот же период растущая трудовая миграция и феномен беженцев заставили антропологов и социологов заняться проблемами интеграции мигрантов. И поскольку основной поток миграции шел в города, именно это проблематика оказалась в центре внимания становящейся городской антропологии. В это же время в США растет популярность и происходит своего рода новое открытие со стороны антропологов тем этничности и нищеты, рассматривавшихся по преимуществу как городские феномены. У нас тема нищеты, как известно, была в советское время запретной: нищие могли существовать где угодно, но не в СССР. Все что могли этнографы – это обращать внимание в служебных записках, адресованных в правительственные органы и в отдел науки ЦК КПСС, на так называемые «социальные проблемы» (алкоголизм, нехватку определенных товаров и оборудования и т. п.), однако в таких случаях речь обычно шла о сельском коренном населении, а аналогичных проблем в городах этнографы не касались. Первые работы российских антропологов по этой проблеме появились в начале 2000-х гг. (Бутовская и др. 2001), а специализированная подборка о городских нищих была опубликована в журнале «Этнографическое обозрение» только в 2007 г., в ней, однако, исследовались не столько социальные истоки нищеты, сколько ее этологический (ср.: Бутовская, Ванчатова 2007) и фольклорный аспекты (в скобках замечу, что российские социологи обратились к этой теме несколько раньше; ср., например: Голосенко 1996, Кудрявцева 2001).

Рассматривая особенности становления городской антропологии в ее американской версии, У. Ханнерз отмечает, что сосредоточенность на этнических анклавах и гетто автоматически означала фокусирование на социальных проблемах и превращение антропологии в прикладную дисциплину, помогающую решать проблемы социального обеспечения, здоровья населения, его трудовой занятости, образования, правовой защиты и т. п. (Hannerz 1980: 3; *ср.*: Нитобург 1968). Понятно, что от прикладного знания ожидать теоретических открытий не приходилось. В отличие от этого, в случае советской этнографии от этнографии города ожидались если не новые теоретические открытия, то, во всяком случае, междисциплинарный синтез, предоставляющий принципиально новый взгляд на динамику культуры. Эти ожидания не сбылись, отчасти из-за внешних обстоятельств (политический кризис и распад СССР), отчасти из-за распространившегося скепсиса по отношению к большим теориям в социальных науках. Американская антропология города также не преодолела присущих ей изначально ограничений и недостатков и не смогла развить теоретический потенциал, обычно присутствующий при применении хорошо отработанных методов к новым для дисциплины объектам. Видимо именно такое отсутствие новых теоретических результатов, несмотря на наличие значительного числа крепких профессиональных работ, привело к разочарованию в используемых в 1960–1970-х гг. подходов, позволивших Р. Санджеку констатировать, что антропология города в версии того периода мертва (Sanjek 1990:154) – никто не желает исправлять ее ошибок и заполнять оставшиеся лакуны. Как и в случае амери-

канской субдисциплины (*Там же*: 152), в начальный период развития отечественной городской этнографии практически отсутствовала гендерная проблематика, не привлекали особого внимания особенности функционирования религии в городах или т. н. поп-культуры, миграция не рассматривалась в контексте изменений в национальной или глобальной экономике. Зато такое из отмечаемых Санджеком упущений как сосредоточенность на жизни в местных сообществах, в кварталах и гетто в ущерб исследованию рабочих мест и отношений на работе, в нашем случае благодаря развитию исследований культуры рабочих было отчасти восполнено (отчасти потому, что другим городским слоям и группам, или нерабочим специальностям практически не уделялось внимания; лишь в 2000-е гг. появилась серия работ по антропологии профессий, в числе которых видное место занимали исследования городских профессий; *ср.*: Профессии.doc 2007).

Вообще, можно отметить, что вплоть до середины 1980-х гг. этнография города в ее советской версии в методологическом и теоретическом отношениях практически не отставала от городской антропологии в ее американском варианте, с естественной оговоркой, что у нас эта субдисциплина считалась инновационной, а в США в рассматриваемый период – прикладной, без ожидания от нее особых теоретических обобщений. Отставание началось со второй половины 1980-х – начала 1990-х гг., когда налаженный международный информационный обмен стал давать сбои, в результате чего исследования Бирмингемского Центра современных культурных исследований (в частности работы Пола Уиллиса, Дика Хебдиджа и Анджелы МакРобби (см., например, Willis 1978, Hebdige 1979, McRobbie 1980) или Манчестерского Института популярной культуры, как и бурное развитие т. н. *cultural studies* в США долгое время оставались у нас плохо освоенными. Лишь сегодня исследования субкультур стало разворачиваться у нас в полную силу и оказалось едва ли не главным направлением развития российской городской антропологии и социологии города. Время, однако, оказалось отчасти упущенным, поскольку сегодня пришедший им на смену аппарат постсубкультурных исследований и критика понятия *субкультура* остаются среди российских антропологов слабо известными. Постсубкультурные объяснения очевидно «транссубкультурных» феноменов и событий коммуникации потребовали новых концептуальных ресурсов для объяснения эфемерных и постоянно меняющихся альянсов, мод, вкусов, пристрастий, хитов и всего того, что считается прикольным или крутым в нынешней культуре хэппенинга и флэш-моба.

В поисках подходящего теоретического инструментария исследователи молодежи обратились к работам Пьера Бурдье (с его концепциями вкуса и стиля как форм символического капитала; *ср.*: Bourdieu 1994), Джудит Батлер, которая творчески использовала идею перформативности для понимания динамики формирования субкультурных идентичностей (Butler 1990, 1993) и Мишеля Маффесоли с его концепциями нового номадизма и неоплемен (Maffesoli 1996). Критики, впрочем, отмечают, что попытки использовать новый инструментарий, не претендующие на описание тотальности субкультурного опыта и игнорирующие экономические неравенства среди молодежных группировок (Shildrick, MacDonald 2006), или придающие излишнее значение роли культурной индустрии в производстве молодежных стилей жизни и идентичностей (Bennett 2011), оказались лишь ограниченно полезными для концептуализации новых аспектов постсовременных молодежных феноменов, например, перемен в жизненных стилях, музыкальных и танцевальных поветриях и т. п.

Являются ли, однако, исследования молодежи в городе городской этнографией? И можем ли мы автоматически считать всякую этнографию в городе этнографией города? Можно также задаться вопросом, почему исследования субкультур сосредоточены преимущественно на молодежи? У нас практически отсутствуют исследования детей в городе (за исключением работ по детскому фольклору); мало работ о стариках и проблемах старости (за исключением нескольких исследований домов престарелых); явно не хватает исследований о мужчинах и женщинах в городах, о городских матерях и отцах, городских отношениях родства. Если это происходит только потому, что по умолчанию предполагается, что в других (т. е. «немолодежных») возрастных стратах деление на субкультуры выражено слабее, то необходимо осмыслить и концептуализировать следствия такого предположения. Допустив, что музыкальные увлечения, следование определенной моде в одежде и соблюдение узкогрупповых норм поведения слабеют с возрастом или перестают быть основой для групповых солидарностей, мы вынуждены пересмотреть, помимо прочего, используемые нами концепции идентичности, в том числе и подходы к исследованию политики идентичности, поскольку в современных концепциях практически не учитывается возрастная динамика, свойственная многим типам идентичности. Помимо этого, вполне вероятно, что здесь мы сталкиваемся со скрытом функционированием нормы. Если бы речь шла о США, то в качестве воплощения этой нормы мы бы вообразили взрослого белого мужчину среднего класса. В случае России, это фактически то же самое, а все остальные сообщества и идентичности оказываются девиантными, то есть представляют собой отклонения от этого негласного стереотипа. Именно по причине существования этого не вполне отрефлексированного стереотипа молодежь может выступать в качестве этнографического Другого, или, как однажды выразился (имея в виду, впрочем, городскую антропологию в целом, а не исследования молодежных субкультур) Робин Фокс, – как «суррогат дикарей в трущобах» (Fox 1973: 20). Иными словами, здесь срабатывает тот же троп экзотизации, который работает и при фокусировании взгляда антропологов исключительно на «традиционной культуре» и «коренном населении». Поскольку взрослые при такого рода рассмотрении оказываются более «нормальными», постольку они же становятся и менее пригодными для антропологического изучения, с естественным при таких обстоятельствах результатом, что молодежные субкультуры чаще оказываются объектами исследования. Впрочем, нельзя сбрасывать со счетов медийность и эпатажность таких молодежных и музыкальных субкультур как хиппи, рокеры, скинхеды, панки, растафари, байкеры и проч., хорошо вписывающихся в образ если не новых дикарей, то экзальтированных носителей антикультуры.

Этнопсихология (исследования межэтнических отношений с позиций социальной психологии, конфликтов, толерантности или нетерпимости, ксенофобии), впоследствии интегрировавшаяся с кросскультурной психологией (проблемы аккультурации и ассимиляции, адаптации и интеграции мигрантов, культурно-специфичные поведение и телесные практики), поначалу (в 1980-е гг.) оформленная институционально как часть этнологии, сегодня представляет собой скорее специфическую часть социальной психологии, в центре внимания которой находятся процессы этнической идентификации, включая исследования этнических стереотипов, и культурно-обусловленные паттерны поведения. В современной российской науке курсы и центры кросскультурной психологии практически повсеместно интегрированы в системы образования психологов, и сегодня практически нет антропологов, специализирующихся

в этой области, хотя антропологи тоже занимаются изучением этнической идентичности и иногда используют методы социальных психологов.

Еще одной из областей второй волны дифференциации антропологического знания в России являются тесно между собой связанные субдисциплины этнодемографии, этногеографии и этноэкологии сегодня больше интегрированные с такими специализациями у географов как география населения, география культуры и физическая география, нежели, собственно, с социально-культурной антропологией. Однако вовлеченность российских антропологов в серию прикладных проектов (разработка инструментария переписей населения, подготовка атласов и карт расселения этнических и конфессиональных сообществ, этнологическая экспертиза проектов промышленного развития и положения коренного населения) заставляет их активно пользоваться демографическими и географическими подходами и концепциями (*ср.*: Этнология 2006).

Экономическая антропология (изучение традиционных форм обмена, дарения, потребления, распределения, экономического поведения, экономики традиционных обществ, исторической динамики экономических укладов и систем) – традиционная, но чрезвычайно малочисленная специализация в рамках российской антропологии (а прежде – советской этнографии), вопреки высокой потребности в соответствующих знаниях среди экономистов и в обществе в целом. Как в дореволюционный период и первые годы советской власти, так и сегодня она развивается скорее экономистами (в том числе, в лице таких выдающихся представителей нашей науки как А.В. Чаянов) и теоретиками, исследовавшими конкретные экономические уклады в разных стратах и группах населения, нежели антропологами, которые, впрочем, включают в свои исследования сюжеты о хозяйстве как один из аспектов холистского описания культуры, но крайне редко делают эту область исследований своей исключительной специализацией. Позиции этой субдисциплины могут, однако, существенно укрепиться в будущем за счет становления и развития антропологии организаций и более тесного взаимодействия с экономистами, занимающимися полевыми исследованиями. Существующие курсы, учебники и программы по экономической антропологии читаются, главным образом, для будущих экономистов и практически отсутствуют на факультетах этнологии и антропологии.

Так называемые этногендерные исследования (гендерные аспекты традиционной культуры, история гендерных отношений, гендерные права, межгендерные отношения и распределения ролей в различных этнических сообществах) также относится к немноголюдным (если иметь в виду именно антропологов) специализациям, с моей точки зрения, недостаточно интегрированным в отечественную антропологию. Работающие в этой области специалисты сконцентрированы либо на истории гендерных отношений, то есть выступают, скорее, как историки, а не антропологи, либо, когда они исследуют и пишут о современности – как социальные критики и правозащитники, отстаивающие принципы равенства и справедливости в отношениях полов. Такая повестка вряд ли позволяет совершенствовать теорию и методы исследований, которые были бы характерны и специфичны именно для данной субдисциплины, и, стало быть, препятствуют ее становлению как полноценной и автономной специализации.

Визуальная антропология относится к наиболее ресурсоемким и высокотехнологичным специализациям среди всех антропологическим субдисциплин. Несмотря на то, что рисунок и фотография входили в инструментарий антрополога фактически с момента рождения полевой этнографии, свое настоящее рождение и расцвет эта об-

ласть получила лишь с распространением кинодокументалистики и этнографического и фильма. Помимо собственно этнографических знаний специалисту в этой области требуются совокупные умения оператора, сценариста и режиссера, а нередко еще и кинокритика, в силу чего несмотря на регулярное появление новых этнографических фильмов и проведение фестивалей, число российских антропологов, освоивших эту специализацию, остается небольшим. Спрос на фильмы стимулирует быстрое развитие этой субдисциплины, и мы становимся свидетелями появления все новых исследовательских центров по всей стране с включением визуальной этнографии в качестве ведущей специализации или метода, помимо нескольких центров в Москве и Петербурге, исследовательские центры по визуальной антропологии возникли в Екатеринбурге, Саратове и ряде других российских городов (*подробнее см.* материалы дискуссии в «Антропологическом форуме» – «Визуальная антропология» № 7, 2007).

Перечень традиционно существующих в рамках российской антропологии специализаций замыкает история науки (история этнографии/этнологии/антропологии), существовавшая во все периоды развития дисциплины и обеспечивающая столь важную для любой науки функцию как самооценка и саморефлексия, без которой невозможно ее развитие. Можно отметить, что в историографии российской антропологии реализованы практически все известные жанры: интервью, автобиография и биография ученого, институциональная история, история идей и развития конкретных субдисциплин и т. д. В последнее время это область дополнена новыми идеями и подходами, развивающимися в рамках антропологии науки (*см.* серию работ под ред. Г.А. Комаровой: 2008; 2010; 2013). Ее аппарат мог бы существенно обогатиться и за счет освоения методов и подходов, реализуемых в STS (исследованиях науки и технологий).

Из изложенного выше очевидно, что между некоторыми из выделенных специализаций существуют значительные области пересечения (как, например, между этнополитологией и регионоведческими специализациями; между этногеографией и регионоведением; традиционной этнографией и специализациями по регионам и т. п.), тем не менее, даже при обширных областях пересечения выделенные специализации являются относительно автономными и предполагают наличие особых компетенций и опыта у фокусирующихся на них исследователей, а главное, – организуют сообщества со специфической исследовательской и социальной (преподавательской и политической) деятельностью.

Каждое из этих направлений, в свою очередь, подразделяется на более узкие подобласти и интересы с собственным набором исследовательских проблем и междисциплинарных альянсов, обычно связанных с характером исследуемых объектов и сюжетов. Например, исследования этнической идентичности в случае российской этнологии реализуются в таких ее субдисциплинах как «этнополитика», этносоциология, этнопсихология и этнодемография, что, в свою очередь, дало возможность конституирования такой специфической и существующей практически только у нас области исследований как этноконфликтология, сформировавшейся на границах всех выше перечисленных субдисциплин. Можно сомневаться в научной ценности и продуктивности такого рода концептуализаций и подходов, однако само наличие конкретных исследовательских сетей и коллективов, публикаций и даже научных подразделений, содержащих в своих названиях перечисленные выше обозначения (как и исследователей, определяющих себя, например, как этносоциологов и этнопсихологов) вряд ли можно отрицать.

Наличие областей пересечения у конкретных дисциплинарных и субдисципли-

нарных сообществ, разумеется, придает известную долю условности самим выделяемым предметным областям и дисциплинарным границам. Дисциплинарное знание, как известно, носит проблемно-ориентированный характер и, в зависимости от сути исследуемых проблем, может не вписываться, или вписываться с большим трудом в границы конкретной дисциплины. В конкретной работе, озаглавленной, например, «Конфликт в N-ске» могут рассматриваться и этнический состав населения, и динамика идентичности, и электоральное поведение в зависимости от идентичности, а сам ее автор может затрудняться в отнесении его работы к рубрикам демографии, социологии, политологии или этнологии (этноконфликтологии). Неизбежная нечеткость такой рубрикации, связанная с характером самих изучаемых проблем, лишь отчасти преодолевается с помощью выделения пограничных и гибридных субдисциплин (политической демографии, этнополитики, этнодемографии и т. п.).

Новые субдисциплины в российской антропологии

К ним, как уже отмечалось, относятся области исследований, принадлежащие к тому периоду, который был назван четвертой волной дифференциации антропологического знания (с конца 1990-х гг. по настоящее время), а именно – антропология организаций и бизнеса, государственного управления и администрирования, спорта, искусства, медиа, технологий и науки, моды, досуга, туризма, чувств и телесности и др. Поскольку каждая из этих областей находится в стадии формирования и поиска собственной проблематики и идентичности, исследователи, проявляющие к ним интерес, используют в качестве ресурса не только существующие (в отдельных случаях уже десятилетия) зарубежные аналоги этих дисциплин, но и интеллектуальные и концептуальные ресурсы широкого спектра социальных наук и прикладных областей. Таким образом, каждое из перечисленных здесь направлений оказывается междисциплинарным в самом глубоком и сущностном смысле этого понятия и зачастую «приписано» к антропологии лишь потому, что термин «антропология» присутствует в его наименовании. Работа по антропологизации этих направлений, то есть по превращению производимых в них знаний в необходимые и признанные части социокультурной антропологии в случае российского антропологического сообщества едва ли начата. Пока что само существование таких интересов у молодого поколения российских антропологов объясняется влиянием западной антропологии, где эти дисциплины развиты и признаны в большей степени, а также благодаря распространившейся среди социологов, экономистов, культурологов и философов моде на «антропологический поворот» и этнографию как метод качественного (в смысле – квалитативного) исследования.

Как и с любыми заимствованиями, серьезной проблемой для всех без исключения направлений оказывается проблема перевода – поиска концептуальных и лексических средств в русском языке для формулирования концепций и описания явлений, которые до сих пор не формулировались и не описывались, поскольку успех и популярность этих направлений действительно во многом зависят от их удачного языкового и концептуального встраивания в национальный научный язык. Далеко не все исследователи, однако, уделяют этой проблеме должное внимание, в результате чего антропология организаций или, например, торговли оказываются перенасыщенными языковыми кальками (типа пресловутого «мерчендайзера», вытеснившего привычного «товароведа»), варваризмами и макаронизмами, что не может не сказываться на размерах читательской ау-

дитории, отторгающей такого рода тексты не только как «неантропологические», но и как эстетически неудовлетворительные. Любопытно, что прямые тезаурусные заимствования из аналогичных направлений исследований, развивающихся, главным образом в Великобритании и США (и отчасти – во Франции), делаются именно антропологами, в то время как представители «партнерских» дисциплин (исследователи организаций, бизнеса, медиа, спорта и т. д.) чаще опираются на отечественные разработки в соответствующих областях. Существующие в этих областях обзоры позволяют предположить, что почти все из этих новых областей исследований оформляются и существуют скорее за счет «антропологического поворота» со стороны представителей смежных дисциплин (главным образом, журналистов, литературоведов, лингвистов, культурологов, социологов, экономистов и философов), нежели благодаря усилиям самих антропологов, обращающих внимание на недостаточно изученные сектора культуры, стороны человеческой деятельности или профессиональные субкультуры. Переводная работа и синтез отечественных и зарубежных подходов также ложатся, в основном, на плечи наших партнеров (*см., например,* переводные работы по антропологии медиа: Дэннис, Мэррил 1997, Кастельс 2004, Маклуэн 1987, Маклюэн 2003, Медиа 2005).

Сравнение степеней развитости и освоенности концептуальных словарей и тезаурусов в перечисленных выше новых для российской антропологии направлениях позволяет заметить, что успехи адаптации заимствованного знания зависят от силы и длительности существования собственно российской традиции исследований данной области и непрерывности этой традиции. Например, если в антропологии медиа эти словари сложились уже тридцать-сорок лет назад и успешно интегрируют новые концептуализации и подходы, то в антропологии науки и технологий опираться приходится исключительно на зарубежный опыт, поскольку язык отечественных исследований в области социологии науки 1920–1930-х гг. оказались невостребованным (*ср.*: Соболев 2011). Вместе с тем стоит отметить и то обстоятельство, что антропология медиа развивается по преимуществу нашими коллегами-журналистами (Дунас 2009, 2010, 2015; Засурский 2006, Новикова 2013, 2015; Соловьева 2009, Тришкина 2014, Черных 2013, Якунин 2014) параллельно с попытками со стороны российских этнологов учредить этнологию СМИ. Попытки эти нельзя признать успешными в силу того, что сама эта область прикладной правозащитной и профилактической деятельности этнологов, сохраняя свою практическую значимость и важность, вряд ли может рассматриваться в качестве академической субдисциплины, поскольку собственно научные проблемы в ней не ставятся. Основная деятельность в ней сосредоточена на выявлении и описании попыток разжигания межнациональной розни (т. н. *hate speech*) с использованием средств массовой информации и на профилактике такого рода случаев. Попытки анализа используемых для этого средств и приемов, целевых аудиторий, масштаба мобилизации, изменений диапазона т. н. окна Овертона и проч. – т. е. всего того, что могло бы превратить эту прикладную область в собственно научную – этнологами не предпринимаются, хотя весь инструментарий для такого рода исследований существует в таких областях знания как семиотика пропаганды и исследования средств ведения пропагандистских, информационных и психологических войн (*ср., например*: Почепцов 2000а, б; 2002, 2015).

Антропология организаций развивается в России в последние двадцать лет в результате объединения усилий социологов, в орбиту внимания которых еще с советских времен были включены организационная

культура и организационное развитие, и той части специалистов по городской антропологии, которая в качестве объекта исследования выбрала профессиональные субкультуры (*ср.*: Антропология профессий 2005; Богатырь 2012; Залунин, Дикусарова 2001; Катерный 1998; Профессии.doc 2007; Романов 1999а, б; Романов, Ярская-Смирнова 2008; Черныш 2012; Щербина 1996). Как уже отмечалось выше, речь идет, главным образом, о тех социологах, которые в своих работах активно используют методы качественных исследований, включая этнографию, и проявляют интерес к антропологическому повороту социальных наук в целом. Вопреки длительной традиции исследований организаций в социологии исследователи младших поколений ориентируются не столько на сложившийся тезаурус этого направления, сколько на западные исследования в этой области, пытаясь адаптировать ее терминологию и подходы к российскому полю. Поскольку язык описания никогда не бывает нейтральным по отношению к наблюдаемой реальности, в результате таких массовых заимствований сама область антропологии организаций и бизнеса вестернизуется не только за счет копирования западных образцов управления бизнесом, но и благодаря влиянию включенных в рефлексивные описания этих образцов молодых антропологов. В результате теоретическое освоение и адаптация осуществляется здесь в модусе копирования заимствованного опыта (т. н. догоняющее развитие), а местные инновации практического плана (адаптация заимствованных практик к российским условиям) часто попадают в слепую зону наблюдателя, поскольку для их описания готовый концептуальный инструментарий отсутствует (заимствованный тезаурус не позволяет описать местную специфику).

Антропология государства и государственного управления (частный но важный случай антропологии организаций, или особая область исследований т. н. тотальных организаций, в число которых, помимо государства, входят больница, армия и тюрьма) в случае российской антропологии пока не представляет собой единой области исследований и распадается на разрозненные и разноплановые попытки концептуализации этой проблематики средствами исторической антропологии (ср. многочисленные публикации журнала Ab Imperio в жанре антропологии империи и имперского аппарата управления), политической и экономической антропологии (*ср., например*: Соснина, Ссорин-Чайков 2006, Ssorin-Chaikov 1998, 2003, 2008, 2010) или юридической антропологии в той части, в которой она касается государства и его институтов (ср.: Скальник 2011). Попытки представить антропологию государства как антропологию национальной политики (иными словами, этнологизировать аппарат этого направления, используя концептуальные средства, наработанные в прикладной этнологии – *ср., например*: Лапина, Пидгаецкий 2013) вряд ли можно признать оправданными, поскольку они не добавляют ничего нового ни к уже существующему аппарату истории национальной политики, ни к концепциям социологии национальных отношений.

Антропология спорта, если понимать здесь антропологию как физическую антропологию, вряд ли можно отнести к новой исследовательской области, поскольку результаты отечественных биоантропологических исследований используются при подготовке спортсменов не менее полувека, а быть может и более. Эта область исследований с развитием технологий измерения и мультидисциплинарных подходов постоянно обновляется (*ср.*: Бутовская и др. 2011). Социальной антропологии спорта (в отличии от социологии спорта, которая, судя по числу публикаций и диссертационных работ развивается весьма успешно), то есть исследованию традиций, ритуалов и практик, бытующих в современном российском профессиональном и

любительском спорте, повезло меньше – работы соответствующего профиля можно пересчитать по пальцам, и большинство из них окажется скорее исследованиями по истории спорта, содержащими отдельные собственно антропологические наблюдения. Как и в большинстве других антропологических дисциплин четвертой волны для этой области также характерны попытки ее этнологизации, то есть либо взгляду на современные спортивные субкультуры как на особые разделы или области этнических культур, либо фокусирование на т. н. национальных и традиционных видах спорта и игнорирование всех остальных (*ср.*: Абдулкаримов 2004, 2011, 2013; Тайсаев 1997). Антропология спорта отчасти пересекается в предмете своих исследований с антропологией туризма, однако фокусом исследований в последней является не столько спортивный туризм и альпинизм, сколько туризм как вид досуга и фактор, инициирующий трансформацию традиционной культуры.

Антропология искусства, естественным образом распадаясь на ряд самостоятельных областей (антропология театра, живописи, пластических искусств, музыки, оперы и балета, литературы и т. д.), представляет собой в ее российском случае область пересечения множества перспектив, значительная часть которых являются традиционными для этнографических исследований, а другая часть представляется относительно новой, отчасти смыкаясь с антропологией профессий и организаций (художник или артист как профессии), а отчасти с визуальной антропологией и антропологией медиа (антропология визуальных искусств – фотографии, кино и TV). Помимо этого, статус этнологии как исторической дисциплины позволяет рассматривать написанные этнологами чисто исторические работы по истории национальных театральных или музыкальных традиций и жанров как имеющие некоторое, впрочем косвенное, отношение к антропологии искусства (*ср., например*: Заринов 2014). Следует все же признать, что за рамками проблемно-постановочного выпуска журнала «Этнографическое обозрение» публикации, которое можно было бы безоговорочно отнести собственно к антропологии искусства, практически отсутствуют, и это направление пока еще не привлекло внимания российских антропологов и остается делом будущего.

«Антропология чувств» (ольфакторная, аудио- и визуальная антропология, антропология вкуса и осязания) и антропология телесности, как и антропология эмоций относятся к наиболее многообещающим и интересным, но при этом, пожалуй, совершенно недостаточно развитым в России направлениям антропологических исследований. Несмотря на серию уже завершенных исследовательских проектов и диссертационных работ и публикаций (*ср.*: Бутовская 2004; Вайнштейн 2003; Жирицкая 2003; Захарьин 1999; Кабакова 1997, 1999, 2000; Кирсанова 2003; Лапин 2007; Папченко 2003; Пироговская 2013, 2014) собственно антропологическое содержание продолжает «соскальзывать» в проблематику этологии, истории, фольклористики (Давлетшин 2008), то есть тех интерпретаций и подходов, в которых опыт восприятия редуцируется к истории повседневности, социологии поведения и этологии человека, или анализу текста, а фокус на феноменологии восприятия, перцептивных практиках и их репрезентациях, а также связанных с ними обычаях (слуховых, зрительных, обонятельных и осязательных навыках и ритуалах) не удерживается или становится второстепенным. Успехи ольфакторной антропологии, имеющей в своем активе такие работы как двухтомник «Ароматы и запахи в культуре» (Ароматы 2003), как и бурное развитие визуальной антропологии (сосредоточенной, впрочем, не столько на зрении, сколько на его предметах) не отменяет необходимости в развитии антропологий других каналов чувств – слуха, осязания, проприо- и инте-

роцепции, движения, которые пока остаются в зачаточном состоянии.

Антропология телесности. Как и другие новые направления антропология телесности (*corporeality*) представляет собой поле меж- и мультидисциплинарных исследований, а феномен телесности исследуется помимо антропологов философами, социологами (*ср.*: Ваньке 2014; Круткин 2014; Орех, Сергеева 2014), литературоведами, культурологами (ср.: Архипова 2014; Виляева 2014а, б; Волкова 2014; Савелова 2014), психологами и представителями еще едва ли не десятка дисциплин. В качестве объектов био- или физической антропологии (в данном случае – соматологии) тело человека изучается уже более двух веков, однако социокультурная антропология телесности с ее специфическим объектом (человеческим телом в культуре и обществе) существует не более четверти века, а в российском случае – менее десятилетия. Проблематика исследований телесности присутствует в таких направлениях и субдисциплинах как антропология спорта (ср.: Бельский, Титов 2014; Бельский, Титов, Рязанцев 2014), медицинская и гендерная антропология и в этологических и культурологических исследованиях проксемики (ср.: Морозов, Бутовская, Махов 2005).

Еще одним аспектом исследований телесности является изучение т. н. воплощенности (*embeddedness*) человеческих интеллекта, эмоций и идентичности, обеспечивающей связь нашего мышления с реальностью. Эта проблематика близка исследователям, специализирующимся в области антропологией восприятия (антропологии чувств) и когнитивной антропологии.

Антропология досуга имеет области пересечения с социологией свободного времени, исследованиями молодежных субкультур, антропологией и социологией (любительского) спорта, антропологией туризма и в меньшей степени – с антропологией моды. В то время как социологи исследуют досуговое неравенство, а культурологи – досуговые субкультуры, российские антропологи рассматривают досуг как одну из областей традиционной культуры, обращая внимание, прежде всего, на традиционные праздники и ритуалы. Современные формы досуговой культуры редко оказываются в центре их внимания, и можно утверждать, что эта направление в рамках антропологии только начинает развиваться.

Так как идентичность всех перечисленных выше междисциплинарных направлений находится в процессе формирования и остается неустойчивой, а в их производство вовлечены представители множества гуманитарных и социальных дисциплин, сами эти направления легко меняют дисциплинарную прописку, не меняя предмета рассмотрения. Например, антропология моды оказывается фактически неотличимой от социологии моды или моды как объекта исследований у российских культурологов, а ольфакторная антропология (антропология запахов) столь же неотличима от культурологических исследований запахов (ср. уже упомянутую выше двухтомную хрестоматию «Ароматы и запахи в культуре», синтезирующую усилия антропологов, культурологов, лингвистов и психологов в сфере исследований запахов как феномена культуры). Исключением здесь является социология организаций, которая в отличие от делающей первые шаги на российском поле антропологии организаций и бизнеса имеет внушительную традицию и большую литературу.

Заключение

Утверждение, что каждая из т. н. социальных наук обладает собственным предметом или, иначе говоря, центральной категорией, вокруг которой фокусируются все ее концепции и наблюдения, можно отнести к трюизмам. Менее банальным станет утверждение, что без регулярного возвращения к такому центру дисципли-

на начинает дробиться на серию полуавтономных исследовательских областей с потенцией образования самостоятельных дисциплин. Заслуживает рассмотрения гипотеза, в соответствии с которой сама такая фокусировка дисциплинарного знания вокруг их центральных категорий ведет к гипостазированию их предмета и реификации наиболее значимых для каждой из них понятий. Центральной категорией для социальных наук является общество. Для гуманитарных дисциплин аналогичную роль выполняет категория культуры. Экспликация центральных категорий развертывается в соответствующие теориях общества и культуры, однако из-за важности этих понятий и в теоретическом и в научно-политическом отношениях вместо единой теории общества, культуры или хозяйства мы имеем множество конкурирующих, и в результате – множество социологий (включая социальную антропологию и т. н. обществоведение, например, в версии исторического материализма), культурологий или *cultural studies*, экономик (включая экономическую антропологию) и т. д. Антропология с человеком в качестве центральной категории могла бы претендовать на наиболее почетное место среди всех социальных и гуманитарных исследований, но прагматически явно проигрывает экономике, социологии и политическим наукам. Суть, однако, в другом. Все дисциплины пытаются противостоять дезинтеграции на автономные и независимые от мейнстрима области за счет рекурсивного возвращения к их центральным категориям и эксплицирующим их теориям, так что охрана границ осуществляется не только в результате приграничных размежеваний и конфликтов с соседями, но и постоянного слежения за соответствием предмету дисциплины (в политике дисциплинарных академических журналов и диссертационных советов эта полицейская функция весьма заметна). Случающиеся сбои в возвращении к «*главному*» или отсутствие строгой разметки на «*свое*» и «*чужое*» завершаются, как уже отмечалось, автономизацией отдельных исследовательских полей, их замыканием на собственных центрах кристаллизации (т. е. на новых центральных категориях рождающихся субдисциплин) и углубляющейся фрагментацией общего социально-гуманитарного знания, его распадением на серию слабо связанных дисциплинарных полей.

Антропология сохраняет способность оставаться собой, а не мутировать в исследования культуры, общества, знака, текста, действия, традиции или чего-либо еще только при условии регулярного возвращения к ее центральной категории – человеку. «Забывая» о необходимости такого возвращения, антропологи не только вступают в конкурентные отношения с политологами, экономистами, психологами, историками, культурологами, литературоведами и представителями еще десятка дисциплин, но и делают уязвимой саму *raison d'être* дисциплины. Растущая специализация и фрагментация антропологического знания с новой картой размежеваний и все более узкими концепциями, неизбежным следствием имеет утрату интереса к «чужому знанию»: охрана границ крохотных королевств и разметка знания на «свое» и «чужое» не может не приводить к неосведомленности о занятиях соседей.

Представленный здесь обзор позволяет в отдельных случаях наметить пути развития существующих специализаций и увидеть лакуны в наличном антропологическом знании. В частности, как уже отмечалось выше, будущее нашей дисциплины сегодня связано не только с развитием традиционных для нее областей исследования, но и со становлением новых направлений, таких как антропология организаций, антропология бизнеса, спортивная антропология, антропология медиа, антропология технологий и науки (STS), антропология моды и досуга и др. В стране появляются новые

исследовательские центры, включившие эти направления в свои программы, а также журналы, предоставляющие свои страницы для публикаций для этих пока еще недостаточно освоенных российскими антропологами направлений. Во всех из них человек остается центральным и организующим производимое в них знание звеном, что и позволяет восстанавливать целостность этого знания несмотря на описанные выше процессы его дифференциации.

Библиография

Абдулкаримов 2004 – Абдулкаримов С.А. Спорт и культурная идентичность в обществе: история и современность // ЭО. 2004. № 5. С. 87–94.

Абдулкаримов 2011 – Абдулкаримов С.А. Спортивная культура мусульман в меняющемся мире // Восток. 2011. № 2. С. 81–88.

Абдулкаримов 2013 – Абдулкаримов С.А. Спорт в истории христианских культур // ЭО. 2013. № 6. С. 118–129.

Антоненко 2011 – Антоненко Е. Язык запахов. М.: Фолио, 2011.

Антропология профессий 2005 – Антропология профессий / Ред. П.В. Романов, Е.Р. Ярская-Смирнова. Саратов: Научная книга, 2005.

Ароматы 2003 – Ароматы и запахи в культуре / Сост. О.Б. Вайнштейн: В 2-х тт. М.: Новое лит. обозрение, 2003. 603, 664 с.

Архипова 2014 – Архипова С.В. Практические аспекты исследования проблемы специфики социокультурной телесности в современной корпоративной культуре // Российский научный журнал. 2014. № 5(43). С.51–55.

Беглов 1972 – Беглов С.И. Монополии слова. М.: Мысль, 1972.

Бельский, Титов 2014 – Бельский В.Ю., Титов П.Б. Философия спорта и концепт телесности: антропологический аспект // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 11. С. 248–252.

Бельский, Титов, Рязанцев 2014 – Бельский В.Ю., Титов П.Б., Рязанцев А.А. Осмысление феномена спорта и концепта телесности в современных российских исследованиях // Образование. Наука. Научные кадры. 2014. № 6. С. 267–273.

Богатырь 2012 – Богатырь Н.В. Антропология организаций и сетевых сообществ: история и современность // ЭО. 2012. № 3. С. 3–12.

Будина, Шмелева 1989 – Будина О.Р., Шмелева М.Н. Город и народные традиции русских. По материалам Центрального района РСФСР. М., 1989.

Бутовская 2004 – Бутовская М.Л. Язык тела: природа и культура. М.: Научный мир, 2004. 407 с.

Бутовская, Ванчатова 2007 – Бутовская М.Л., Ванчатова М.А. Нищие как городская субкультура: устойчивость взаимоотношений нищих и общества в исторической перспективе // ЭО. 2007. № 3. С. 12–25.

Бутовская, Веселовская, Кондратьева, Просикова 2011 – Бутовская М.Л., Веселовская Е.В., Кондратьева А.В., Просикова Е.А. Антропология и психология для спорта. Выявление психосоматических комплексов у спортсменов единоборцев // Медицина для спорта. М., 2011. С. 70–72.

Бутовская, Дьяконов, Смирнов, Сальтер 2001 – Бутовская М.Л., Дьяконов И.Ю., Смирнов А., Сальтер Ф.К. Городские нищие в России: итоги этологических полевых исследований // Язык, культура, общество. М., 2001. С. 73–98.

Вайнштейн 2003 – Вайнштейн О.Б. Историческая ароматика: одеколон и пачули // Ароматы и запахи в культуре. В 2 тт. М.: Новое литературное обозрение, 2003. Т. 1. С. 437–462.

Вайнштейн 2006 – Вайнштейн О.Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. М.: Новое литературное обозрение, 2006.

Ваньке 2014 – Ваньке А. Телесность мужчин рабочих профессий в режимах труда и приватной сферы // Laboratorium. Журнал социальных исследований. 2014. № 1. С. 60–83.

Вильчек 1987 – Вильчек В.М. Под знаком ТВ. М.: Искусство, 1987.

Виляева 2014а – Виляева С.И. Телесность и телесная красота как феномены культуры // Аналитика культурологии. 2014а. № 28. С. 6–10.

Виляева 2014б – Виляева С.И. Смысловая природа телесности и телесной красоты // Аналитика культурологии. 2014б. № 29. С. 7–11.

Волкова 2014 – Волкова Т.В. Проблема разрушения приватного пространства личности: граница телесности в современной российской культуре // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Философия. 2014. № 3. С. 99–109.

Головнев 2009 – Головнев А.В. Антропология движения. Екатеринбург, 2009. 495 с.

Голосенко 1996 – Голосенко И.А. Нищенство как социальная проблема // Социологические исследования. 1996. № 7. С. 277–350.

Гучева 2012 – Гучева А.В. История изучения этномузыкальной культуры черкесов в XIII – середине XX вв. // История науки и техники. 2012. № 12. С. 42–50.

Давлетшин 2008 – Давлетшин А.И. Как должна была пахнуть женщина? Еще один широко распространенный мифологический мотив // Кирпичики: Фольклористика и культурная антропология сегодня. М.: РГГУ, 2008. С. 63–68.

Дробижева 1976 – Дробижева Л.М. Этносоциологическое изучение современности // Расы и народы. М., 1976. Вып. 6. С. 64–73.

Дунас 2009 – Дунас Д.В. К антропологической теории рассмотрения медиакоммуникации // Медиаскоп. 2009. № 4. (http://mediascope.ru/node/481)

Дунас 2010 – Дунас Д.В. Бинарная оппозиция «душа–тело» и антропологическая дифференциация СМИ // Медиаскоп. 2010. № 4. (http://mediascope.ru/node/695)

Дэннис, Мэррил 1997 – Дэннис Э., Мэррил Д. Беседы о масс-медиа. М., 1997.

Елфимов 2007 – Елфимов А.Л. Введение: пути и жанры // ЭО. 2007. С. 3–4.

Елфимов 2007 – Елфимов А.Л. Вальтер Шпис и метаморфозы балийской этнографии // ЭО. 2007. С. 34–57.

Жирицкая 2003 – Жирицкая Е. Легкое дыхание: Запах как культурная репрессия в российском обществе 1917–1930-х гг. // Ароматы и запахи в культуре. В 2 тт. М.: Новое литературное обозрение, 2003. Т. 2. С. 167–270.

Залунин, Дикусарова 2001 – Залунин В.И., Дикусарова М.Ю. Социология, культурология, феноменология организации и организационная антропология: проблемы взаимосвязи // Труды Дальневосточного гос. тех. ун-та. 2001. № 130. С. 43–48.

Заринов 2014 – Заринов И.Ю. Русский драматический театр в этнонациональном контексте // ЭО. 2014. № 1. С. 111–124.

Засурский 2006 – Засурский Я.Н. Российская модель СМИ в начале 21 века // Вестник Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. № 2. 2006.

Захарьин 1999 – Захарьин Д. Ольфакторная коммуникация в контексте русской истории // Россия/Russia. 1999. № 3(11).

Кабакова 1997 – Кабакова Г.И. Запахи в традиционной русской культуре // Живая старина. 1997. № 1. С. 36–38.

Кабакова 1999 – Кабакова Г.И. Запах // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. В 5 тт. М.: Международные отношения, 1995–2012. Т. 2. М., 1999. С. 266–269.

Кабакова 2000 – Кабакова Г.И. Запах смерти // Славяноведение. 2000. № 6. С. 21–25.

Кастельс 2004 – Кастельс М. Галактика Интернет. Екатеринбург, 2004.

Катерный 1998 – Катерный И.В. Пролегомены к современной антропологии организации // Социс 1998. № 8. С. 112–115.

Керимова 2007 – Керимова М.М. Николай Харузин и Василий Кандинский // ЭО. 2007. С. 14–33.

Кирсанова 2003 – Кирсанова Р.М. Аромат родного дома и запах счастья // Ароматы и запахи в культуре: В 2 тт. М.: Новое литературное обозрение, 2003. Т. 2. С. 270–279.

Козинцев 1999 – Козинцев А.Г. Смех, плач и зевота: психология чувств или этология общения // Этология человека на пороге 21 века / Ред. Бутовская М.Л. М.: Старый Сад, 1999. С. 97–121.

Козинцев, Бутовская 1996 – Козинцев А.Г., Бутовская М.Л. О происхождении юмора // ЭО. 1996. № 1. С. 49–53.

Комарова 2008 – Антропология академической жизни: адаптационные процессы и адаптивные стратегии / Отв. ред. Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2008.

Комарова 2010 – Антропология академической жизни: междисциплинарные исследования / Отв. ред. Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2010.

Комарова 2013 – Антропология академической жизни: традиции и инновации / Отв. ред. Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2013.

Комарова 2012 – Комарова Г.А. Сила антропологического подхода // АФ. 2012. № 17 Online (http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/017online/komarova.pdf)

Комарова 2012 – Комарова Г.А. Опыт интеграции: междисциплинарное взаимодействие этносоциологии и этнографии. М.: ИЭА РАН, 2012. 207 с.

Комарова 2014 – Комарова Г.А. Этнография детства: междисциплинарные исследования. М.: ИЭА РАН, 2014. 160 с.

Костяев 2009 – Костяев А.И. Ароматы и запахи в истории культуры: знаки и символы. М., 2009.

Крадин, Решетов, Кощевский, Широкогоров 2007 – Крадин Н.П., Решетов А.М. Н.Л. Кощевский и С.М. Широкогоров: дружба и сотрудничество в китайской эмиграции // ЭО. 2007. С. 5–13.

Круткин 2014 – Круткин В.Л. Антропология тела и движения человека // Социология и образование: проблемы и перспективы Ижевск, 2014. С. 220–228.

Кудрявцева 2001 – Кудрявцева М.О. Драматургия попрошайничества: описание повседневной практики // Журнал социологии и социальной антропологии. СПб., 2001. Т. 4. С. 73–91.

Лапин 2007 – Лапин В.В. Петербург: запахи и звуки. СПб.: Изд-во Европейского ун-та, 2007.

Лапина, Пидгаецкий 2013 – Лапина И.А., Пидгаецкий Я.Ю. Антропология этнонациональной политики советского государства: С.М. Диманштейн // Реальность этноса. СПб., 2013. С. 176–179.

Макарчук, Калуев 2000 – Макарчук Н.Е., Калуев А.В. Обоняние и поведение. Киев: КСФ, 2000. 134 с.

Маклуэн 1987 – Маклуэн М. Телевидение. Робкий гигант // Телевидение вчера, сегодня, завтра. М.: Искусство, 1987. С. 156–167.

Маклуэн 2003 – Маклюэн М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. М., Жуковский: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2003. 464 с.

Мартынова 2014 – Мартынова М.Ю. Прикладная роль фундаментальной науки: исследования Института этнологии и антропологии РАН последнего десятилетия // Вестник антропологии. 2014. № 1. С. 147–170.

Массовая информация 1980 – Массовая информация в советском промышленном городе: Опыт комплексного социологического исследования / Под ред. Б.М. Грушина. М.: Политиздат, 1980.

Медиа 2005 – Медиа. Введение / Под. ред. А. Бриггса, П. Кобли; пер. с англ. М.: Юнити, 2005.

Михалкович 1998 – Михалкович В.И. О сущности телевидения. М.: ИПК, 1998.

Мишините 2014 – Мишините А. Человек и его медиа. Антропологический заряд медиафилософии // Международный журнал исследований культуры. 2014. № 2(15). С. 61– 65.

Морозов, Бутовская, Махов 2008 – Морозов И.А., Бутовская М.Л., Махов А.Е. Обнажение языка (кросс-культурное исследование семантики древнего жеста). М.: Языки славянской культуры, 2008. 320 с.

Науменко 2005 – Науменко Т.В. Социология массовой коммуникации. СПб., 2005.

Новикова 2013 – Новикова А.А. Телевизионная реальность: экранная интерпретация действительности. М.: Издательский дом ВШЭ, 2013.

Неопределенность как вызов 2013 – Неопределенность как вызов. Медиа, антропология, эстетика / Ред. К. Вульф, В. Савчук. Москва, 2013.

Нитобург 1971 – Нитобург Э.Л. Черные гетто Америки. М.: Политиздат, 1971. 160 с.

Нуриева 2008 – Нуриева И.М. Этномузыковедческие проблемы в трудах К. Герда // Кузебай Герд и современность. Ижевск, 2008. С. 231–235.

Нуриева 2014 – Нуриева И.М. Этномузыковедение на третьем всероссийском конгрессе фольклористов // Musicus (Музыкальный). Вестник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. 2014. № 1 (37). С. 39а–40.

Орех, Сергеева 2014 – Орех Е.А., Сергеева О.В. Между телом эпохи и телом киборга: полюса и точки роста социологических исследований телесности // Социология власти. 2014. № 1. С. 89–112.

Папченко 2003 – Папченко Е.В. Социопсихические и культурные функции запаха в жизнедеятельности человека: дисс. канд. филос. н. Ростов-на-Дону, 2003. 124 с.

Пироговская 2014 – Пироговская М.М. Ольфакторный код и воспитание чувствительности в русской городской культуре 1860-х – 1910-х годов: дисс. канд. ист. наук. СПб.: Европейский ун-т, 2014. 195 с.

Пироговская 2013 – Пироговская М. От materia medica до хозяйственных книг: органолептический анализ и становление русского ольфакторного словаря // Новое литературное обозрение. 2013. № 5(123). С. 144–164.

Покшишевский 1969 – Покшишевский В.В. Этнические процессы в городах СССР и некоторые проблемы их изучения // СЭ. 1969. № 5. С. 3–15.

Почепцов 2000а – Почепцов Г.Г. Информационные войны. М.: Рефл-бук, 2000. 576 с.

Почепцов 2000б – Почепцов Г.Г. Психологические войны. М.: Рефл-бук, 2000. 529 с.

Почепцов 2002 – Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М.: Рефл-бук, 2002.

Почепцов 2015 – Почепцов Г.Г. Информационные войны. Новый инструментарий политики. М.: Алгоритм, 2015.

Плужников, Рязанцев 1991 – Плужников М.С., Рязанцев С.В. Среди запахов и звуков. М.: Молодая гвардия, 1991. 270 с.

Профессии.doc. 2007 – Профессии.doc. Социальные трансформации профессионализма. М., 2007. 407 с.

Романов 1999а – Романов П.В. Социальная антропология организаций / Ред. Е.Р. Ярская-Смирнова. Саратов, 1999. 135 с.

Романов 1999б – Романов П.В. Социальная антропология организаций: история, эпистемология и основные методологические принципы //

Журнал социологии и социальной антропологии. 1999. Т. II. № 4. С. 92–107.

Романов, Ярская-Смирнова 2008 – Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Мир профессий как поле антропологических исследований // ЭО. 2008. № 5. С. 3–17.

Рязанцев 1997а – Рязанцев С.В. Тайна запахов и звуков. М.: РОСАД, 1997.

Рязанцев 1997б – Рязанцев С.В. В мире запахов и звуков. М.: Терра, 1997. 432 с.

Рязанцев 2005 – Рязанцев С.В. Тайна запахов и звуков: Ухо. М.; СПб.: АСТ; Астрель-СПб, 2005. 272 с.

Савелова 2014 – Савелова Е.В. Проблема телесности в кризисном пространстве современной культуры // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2014. № 8(93). С. 6–31.

Сергеева 2009 – Сергеева О.В. Домашний телевизор: экранная культура в пространстве повседневности. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2009.

Скальник 2011 – Скальник П. Государство и антропологии государства // Полис. 2011. № 6. С. 104–108.

Слейни 2007 – Слейни Ф.М. Мариус Барбо и канадские художники-пейзажисты: на пересечениях этнологии и искусства // ЭО. 2007. С. 58–79.

Смех 2002 – Смех: истоки и функции / Ред. А.Г. Козинцев. СПб.: Наука, 2002.

Соболев 2011 – Соболев В.С. Из истории социологии науки в российской академии наук в 1920-е годы // Социология науки и технологий. 2011. Т. 2. № 1. С. 9–24.

Соколовский 2015а – Соколовский С.В. Российская антропология: современная проблематика и дисциплинарное устройство // Этнометодология. Вып. 19. М.: Наследие ММК, 2015. С. 131–166.

Соколовский 2015б – Соколовский С.В. Российская антропология: субдисциплины и междисциплинарные связи // Традиции и инновации в истории и культуре. М., 2015. С. 517–535.

Солдатова 2013 – Солдатова Г.Е. Этномузыковедение в серии «памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока»: историографический аспект // Сибирский филологический журнал. 2013. № 2. С. 29–39.

Соловьева 2009 – Соловьева А.Н. Антропологическое знание в контексте медиаисследований // Обсерватория культуры. 2009. № 3. С. 24–30.

Соснина, Ссорин-Чайков 2006 – Соснина О., Ссорин-Чайков Н. Археология власти: анатомия любви // Дары вождям. М.: Пинакотека, 2006. С. 12–37.

Старовойтов, Шамонова 2003 – Старовойтов В.И., Шамонова Т. Н. Запах и ольфакторные следы человека. М.: ЛексЭст, 2003. 128 с.

Сухарева 1958 – Сухарева О.А. К истории городов Бухарского ханства. М., 1958.

Сухарева 1962 – Сухарева О.А. Позднефеодальный город Бухара конца XIX – начала XX века. Ремесленная промышленность. Ташкент, 1962.

Сухарева 1976 – Сухарева О.А. Квартальная община позднефеодального города Бухары. М., 1976.

Тайсаев 1997 – Тайсаев К.У. Этнография традиционного спорта у народов Северного Кавказа: автореф. дисс. д-ра ист. наук / Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук. Москва, 1997.

Тишков 1992 – Тишков В.А. Советская этнография: преодоление кризиса // ЭО. 1992. № 1. С. 5–20.

Тишков 2002 – Тишков В.А. Горизонты российской этнологии. К 70–летию Института этнологии и антропологии РАН // Новая и новейшая история. 2002. № 5. С. 3–18.

Тишков 2003 – Тишков В.А. Российская этнология: статус дисциплины, состояние теории, направления и результаты исследований // ЭО. 2003. № 5. С. 3–23.

Тишков, Пивнева 2010 – Тишков В.А., Пивнева Е.А. Этнологические и антропологические исследования в российской академической науке // Новая и новейшая история. 2010. № 2. С. 3–21.

Трушкина 2014 – Трушкина Е.Ю. Антропология визуальной коммуникации: история и методология // Человек и культура. 2014. № 6. С. 29–43.

Туголуков 2005 – Туголуков О.В. Антропология социальной организации и управления (к постановке проблемы) // Credo new. Теоретический журнал. 2005. № 1 (41). С. 216–228.

Фирсов 1971 – Фирсов Б.М. Телевидение глазами социолога. М.: Искусство, 1971.

Черных 2013 – Черных А.Ю. Медиа и ритуалы. М., СПб.: Университетская книга, 2013.

Черныш 2012 – Черныш А.В. Когда возможны инновации: социальная укорененность и доверие в сообществе технологических предпринимателей // ЭО. 2012. № 3. С. 65–77.

Щербина 1996 – Щербина С.В. Организационная культура в западной традиции природа, логи-

ка формирования и функции // Социс. 1996. № 7. С. 47–55.

Этнология 2006 – Этнология – обществу: прикладные исследования в этнологии. М., 2006.

Якунин 2014 – Якунин А.В. Визуальная медиа-антропология как перспективная область междисциплинарных исследований // Современные проблемы и перспективы развития гуманитарных, технических, общественных, естественных наук и промышленной безопасности СПб., 2014. С. 170–173.

Benet 1963 – Benet, Francisco. 1963. The Ideology of Islamic Urbanization // International Journal of Comparative Sociology. Vol. 4. P. 211–226.

Bennett 2011 – Bennett A. The Post-Subcultural Turn: Some Reflections 10 Years On // Journal of Youth Studies. Vol. 14. No. 5. 2011. P. 493–506.

Blackman, Shane. Youth Subcultural Theory: A Critical Engagement with the Concept, Its Origins and Politics, from the Chicago School to Postmodernism // Journal of Youth Studies. Vol. 8, No. 1. March 2005. P. 1–20.

Bourdieu 1984 – Bourdieu P. Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste (trans. Richard Nice). Cambridge MA: Harvard University Press, 1984.

Butler 1990 – Butler J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. London: Routledge, 1990.

Butler 1993 – Butler J. Bodies that Matter: On the Discursive Limits of ‘Sex’. London: Routledge, 1993.

Fox, Robin. Encounter with Anthropology. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1973.

Hannerz, Ulf. Exploring the City. Inquiries towards an Urban Anthropology. New York: Columbia University Press, 1980.

Hebdige 1981– Hebdige, Dick. Subculture: The Meaning of Style. L.: Routledge & Kegan Paul, 1981.

Maffesoli 1996 – Maffesoli M. The Time of the Tribes: The Decline of Individualism in Mass Society. London: Sage, 1996.

McRobbie, Angela. Feminism for Girls: An Adventure Story. L.: Routledge, 1990.

Muggleton, Weinzierl 2003 – Muggleton D., Weinzierl R. The Post-Subcultures Reader. Oxford; NY: Berg, 2003.

Sanjek, Roger. Urban Anthropology in the 1980s: A World View // Annual Review of Anthropology. 1990. Vol.19. P. 151–186.

Shildric, MacDonald 2006 –. Shildrick T., MacDonald R. In Defense of Subculture: Young People, Leisure and Social Divisions // Journal of Youth Studies. Vol. 9, No. 2. May 2006. P. 125–140.

Southall, Aidan (ed.). Urban Anthropology: Cross-Cultural Studies of Urbanization. Madison: University of Wisconsin Press, 1973.

Ssorin-Chaikov 2010 – Ssorin-Chaikov N. After Capitalism: Soviet Construction of the State of Nature in Sub-Arctic Siberia // The Anthropology of East Europe Review. 2010. Vol.18. No.1. P. 45–58.

Ssorin-Chaikov 2008 – Ssorin-Chaikov N. Political Fieldwork, Ethnographic Exile, and State Theory: Peasant Socialism and Anthropology in Late Nineteenth-Century Russia// A New History of Anthropology. Oxford: Blackwell, 2008. P. 191–206.

Ssorin-Chaikov 2003 – Ssorin-Chaikov N. The Social Life of the State in Sub-Arctic Siberia. Stanford: Stanford University Press, 2003. 261 pp.

Ssorin-Chaikov 1998 – Ssorin-Chaikov N. Stateless Society, State Collectives, and the State of Nature in Sub-Arctic Siberia: Evenki Hunters and Herders in the Twentieth Century: PhD Diss. Stanford: Stanford University, 1998.

Willis, Paul. Profane Culture. L.: Routledge & Kegan Paul, 1978.

М.Ю. Мартынова

Этнология: социальная роль и прикладное значение (по материалам исследований ИЭА РАН)*

В последние два десятилетия в России, с ростом значимости рыночных отношений, прикладное значение этнологии/антропологии существенно расширилось и разнообразие сфер практического применения этнологических/антропологических знаний возросло. Сегодня уже никто не воспринимает этнологию как науку об экзотических народах. Параллельно с преобразованиями социальной действительности происходит пересмотр ее предметной области, связей и отношений с другими отраслями знания, а также прикладных функций. Хотя общеизвестно, что этнология имела практическую направленность даже тогда, когда она еще не сложилась как особая дисциплина (XVIII – начало XIX в.). И в те времена работы ученых были направлены на изучение «туземных народов» с целью выработки способов управления ими (Этнология обществу 2006). В наши дни этнология/антропология также помогает управлять обществом. Многие концептуальные наработки широко дискутируются и в то же время оказываются востребованны властью.

Насколько при этом современный социум готов использовать научные результаты? Польза естественных и технических наук, пожалуй, не нуждается в обосновании. Роль общественных наук, роль науки в социальных преобразованиях – вопрос не столь однозначный. Им мешает многообразие мнений, вариативность подходов, политическая ангажированность и ряд других обстоятельств. Между тем, нас как специалистов, профессионально занимающихся антропологической или этнической проблематикой, интересует именно практическое значение науки для общества.

В мае 2014 г. в Японии состоялся Интерконгресс Международной ассоциации антропологических и этнологических наук – крупнейшей профессиональной организации в данной научной сфере. Его главная тема – «Будущее с/без антропологов». В этом названии звучит некоторая неуверенность в будущей судьбе науки. Основная тема Интерконгресса 2016 г., который пройдет в Хорватии, звучит более оптимистично: дискуссия развернется по поводу включенности антропологии в общественную сферу. И правда, как можно предполагать, что наша дисциплина умирает, если в X Конгрессе этнологов и антропологов России (Москва, 2013) участвовало порядка 1000 ученых, а в Конгрессах Международной ассоциации антропологических и этнологических наук число участников временами превышало 5000 человек (Китай, Куньмин, 2009). Очевидно, что антропология/этнология востребована обществом.

Фундаментальные исследования в прикладном измерении

Сразу оговорюсь, что конечно учеными Института этнологии и антропологии РАН ведутся и фундаментальные исследования. Более того, убеждена, что прикладные исследования только тогда востребованы, когда опираются на фундаментальную науку. За последние 25 лет под грифом института было издано более полутора тысяч книг. Ежегодно публикуется порядка 50 книг и сотни статей (Труды ученых 2013). В стране происходят перемены, которые

* Исследование проведено при поддержке РНФ грант №14–18–03090.

выдвинули этническую проблематику на передний план. И этнология стала активно изучать процессы, происходящие в стране; изменился ее реальный статус в научном пространстве, появились новые научные направления. Современное более емкое понимание нашей науки как антропологии (социально-культурной и физической) расширяет круг научных интересов. Вместе с тем, основные направления исследований по-прежнему определяются предметной сферой науки о народах, опираются на этнографическую полевую работу и архивные изыскания. Полевой (этнографический) метод сбора информации по-прежнему остается приоритетным в этнологии (Полевые исследования 2011). Самый масштабный труд последних десятилетий – многотомная серия «Народы и культуры», посвященная фундаментальному описанию культуры и традиций разных народов.

Безусловным научным приоритетом является изучение этнологии русского народа, его духовной и материальной культуры (Русские 2000; Громыко, Буганов 2000; Власова 2001; Крестьянские 2001; Русские 2008; Кириченко 2010; Русская народная одежда 2011; Церковные праздники 2011; Воронина 2011; Буганов 2013). Не случайно в 1993 г. Государственную премию Российской Федерации получил цикл работ по истории и культуре русского народа. Особо отмечу книгу «Русский Север» (Русский Север 2002), а также двухтомную коллективную монографию «Русские Рязанского края» (Русские 2009), которая стала итогом многолетних экспедиционных, музейных и архивных исследований, проведенных сотрудниками института в Рязанском крае. В работах по русской проблематике важна тема православия и его роли в истории и культуре. В условиях политизированности этнической темы подобного рода фундаментальные труды имеют, в том числе, и прикладное значение.

В разработках последних лет существенное внимание уделяется миграциям и адаптации русских в зонах позднего расселения, их социально-культурному статусу, трансформациям в историко-культурном развитии, этническим аспектам формирования новой гражданской идентичности. Заметный вклад внесен в комплексную разработку темы «Русские за рубежом» (Савоскул 2002; Комарова 2002; Русские в Молдавии 2012; Россия в Калифорнии 2012; Курто 2013). По заказу Министерства иностранных дел выполнялся проект «Российская диаспора в странах СНГ». Ученые института принимали участие в разработке рекомендаций Общественной Палаты Российской Федерации «Совершенствование миграционной политики в Российской Федерации».

В поле зрения ученых находится также этнокультурная ситуация на пограничных территориях. Например, в координации с белорусскими и украинскими коллегами выполнено исследование по проблемам русско-украинско-белорусского пограничья. Изучались идентичность и культурная специфика населения этих территорий, региональные особенности в демографической, языковой, конфессиональной сферах (Белорусско-русское 2005; Границы 2012). Проблемы идентичности и культуры исследуются также в Калининградской области, самом западном регионе России. После распада СССР Калининградская область стала анклавом, она не имеет границ с остальной территорией страны. Расположение «внутри Европы» усиливает стратегическую значимость региона.

Как уже было сказано, большую долю проектов института составляют этнологические исследования в разных регионах России и других странах. Например, особо востребовано сейчас изучение региона Крайнего Севера и Сибири. Большое не только научное, но и прикладное значение имеет разработка вопросов, связанных с современным положением коренных мало-

численных народов Севера, проблемами их адаптации к новым социально-экономическим и политическим условиям. Об интересе к этому региону не только в России свидетельствует тот факт, что, например, Банк Швеции поддержал коллективный проект по этой теме, и он выполнялся совместно с учеными Швеции и Финляндии. В опубликованных работах, посвященных исторической этнографии, этнодемографии, социальной организации, материальной и духовной культуре народов Крайнего Севера и Сибири значительное внимание уделяется изучению адаптивных функций традиционной культуры, что делает их особенно актуальными (Мартынова, Новикова 2012; Миссонова 2006; Миссонова 2013; Поворознюк 2011; Север и северяне 2012; Сирина 2012; Соколова 2009; Соколова 2011).

Особое внимание уделяется вопросу практической реализации научных разработок, полученных по проектам, в сегодняшней общественной практике. В качестве примера можно привести независимый экспертный доклад, посвященный малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока. В нем не только содержится анализ проблем, но и предложена стратегия многовариантного саморазвития в рамках так называемой культурно ориентированной модернизации вместо длительно господствовавших традиционалистских охранительных установок на основе государственного патернационализма (Практика 2006; Этнокультурное взаимодействие 2006; Батьянова 2007; Функ 2005).

В работах кавказоведов особо значимо изучение современной этнополитической ситуации в регионе. В частности, проведен анализ процессов, происходящих в Чечне, и были высказаны предложения по актуальным проблемам. Дважды в месяц проводится весьма популярный научный семинар, посвященный проблемам Северного Кавказа. Изучаются также традиционные институты и культурное наследие народов Кавказа, религиозная ситуация. Как один из механизмов нормализации ситуации воспринимается верность традиции, в которой видится спасение от глобализации. Вместе с тем, многие стороны современной кавказской жизни подверглись за последнее время существенным изменениям, причем не только в сфере материального и хозяйственного быта, но и в области соционормативной культуры (Анчабадзе 2012; Народы 2010; Тер-Саркисянц 2008; Арутюнов 2012).

Ученые ИЭА РАН ведут свои научные изыскания на всех континентах мира. При этом многие проекты имеют практическую значимость. Среди актуальных тем – изучение особенностей националистических идеологий и этнополитических движений, роли этногенетических идей в идеологической конфронтации, особенности этнической политики различных государств, формы и методы ее реализации, механизм регулирования межэтнических отношений. В центре внимания проблемы функционирования традиционной культуры и родного языка, групповая идентичность, а также мультикультурная природа современных наций (Этнические 1998; Европа 2000; Этнические 1997; Европейская 2009; Очерки 2013; Диалоги 2005; Этнические 2008). Изучение швейцарского опыта организации общества и возможности его использования в республиках Северного Кавказа – один из последних примеров совместных трудов ученых разных стран (Модернизация 2013).

Этнополитические исследования и экспертиза

Примерно со второй половины 1980-х годов усилилось внимание к исследованию так называемых этнонациональных процессов, к этнополитической проблематике. Стало очевидным, что роль этнического фактора в политических процессах,

а также в управлении многоэтничными государствами долгое время недооценивалась. Общественно-политические события последних десятилетий – «этническое возрождение», рост националистических движений, обострение межэтнических противоречий – обострили интерес к этнологическим знаниям, потребовали от ученых гибкой реакции на научные и общественные запросы. В связи с этим в работе российских этнологов был сделан акцент на изучении современных проблем общественной жизни России: роста этнического самосознания (этнической мобилизации), форм национализма, причин сепаратизма и этнических конфликтов. Бесценной для последующих поколений исследователей можно считать серию «Национальные движения в СССР и на постсоветском пространстве», в 110 томах которой под руководством ее автора и ответственного редактора М.Н. Губогло печатались документы, собиравшиеся в различных регионах страны. М.Н. Губогло – также автор многочисленных трудов по межнациональным отношениям (Губогло 1998, 2000, 2003; Гагаузы 2012; Губогло 2013).

Значительное место в исследованиях российских этнологов принадлежит изучению идентичности, коллективных форм самоопределения, этнического представительства в системе властных отношений, а также таким явлениям, как ксенофобия, этнический и религиозный экстремизм (Тишков 2001, 2013; Чечня 2001; Шнирельман 2005, 2011, 2012; Соколовский 2004). Разрабатываются проблемы этнонационалистических идеологий в России и СНГ, этничности и социальной памяти, идеологии национализма и межэтнических конфликтов (В.А. Шнирельман).

Хотя среди ученых, занимающихся этнической проблематикой, нет единого мнения относительно того, насколько этнические исследования должны быть привязаны к политике и на каких сферах пересечения этничности и политики следует сосредоточить исследовательский интерес, изучение этнических сообществ и этнополитических проблем во многих странах мира, в т. ч. и в России, перестало быть сферой только научного интереса. Сегодня этнологическая экспертиза стала частью политического менеджмента. Надо сказать, что жанр докладных записок для различных государственных структур был весьма востребован и в советское время. Правда, тогда они не печатались. Об их высоком научном качестве можно судить по востребованности старых текстов сегодня. ИЭА РАН издал архивные материалы в нескольких сборниках научных экспертиз по народам Севера и Сибири.

В наши дни в условиях гласности многие материалы экспертизы публикуются. Можно сказать, что жанр прикладных и экспертных научных разработок по неотложным этническим проблемам утвердился и завоевал общественное признание. Аналитические материалы, подготовленные нашими специалистами, поступают в министерства и ведомства страны. Среди позитивных примеров изданий, ориентированных на практику, можно назвать серию аналитических докладов «Исследования по прикладной и неотложной этнологии». С 1990 г. опубликовано около 240 брошюр, важных для прогнозирования межэтнических отношений и профилактики конфликтов. В публикациях находят отражение особенности этнического состава, демографические характеристики, миграционные процессы, культурная инфраструктура населения, положение этнических меньшинств, деятельность общественных и политических организаций, социальный и этнический состав политических движений, их влияние на массовое сознание и др. Особое внимание уделяется этнополитической ситуации в различных регионах России. Публикуемые в серии материалы находят применение в деятельности поли-

тиков и политологов, социологов и экономистов, журналистов, сотрудников органов законодательной и исполнительной власти (о серии см.: (Лопуленко 2012)).

Этнологический мониторинг

В 1993 г. на базе института создана Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов, в которой задействованы ведущие эксперты (этнологи, политологи, социологи, юристы и т. д.) из различных регионов России. Этномониторинг занимается сбором и анализом данных, характеризующих состояние межэтнических отношений, политическую активность этнополитических организаций, деятельность органов власти в области этнонациональной политики. В сферу его интересов входит изучение этнополитической ситуации в постсоветских странах, разработка мер по предупреждению и урегулированию конфликтов. Системный анализ различных показателей позволяет выявлять и отслеживать проблемные ситуации еще на стадии их зарождения, а в случае открытого конфликта – не допускать его эскалации.

Система этнологического мониторинга освещает состояние этнических отношений в большинстве субъектов Российской Федерации и ряде постсоветских государств. Методика исследования опубликована в специальной монографии. Сеть издает ежеквартальный бюллетень, ежегодно по материалам работы Сети этнологического мониторинга публикуется отчетный Ежегодный научный доклад с анализом актуальных проблем «Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах», который рассылается в государственные структуры. Более раннее название этой серии – «Межэтнические отношения и конфликты в постсоветских государствах».

На основании данных мониторинга написаны также монографии прикладного характера, ориентированные на ознакомление государственных лиц, принимающих решения, с этнокультурной ситуацией в стране. Опубликованы экспертные доклады «Пути мира на Северном Кавказе», о современном положении и перспективах устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера и Сибири. Собрана уникальная документальная база по этнополитическим проблемам многоэтничных регионов и этнотерриториальных автономий России, а также некоторых других стран.

Последние публикации: «Гражданские инициативы в сфере этнической политики: Возможности посредничества гражданских структур в деле предупреждения и урегулирования этнических конфликтов» (2013), «Этническая политика в странах Балтии» (2013), «Национальный вопрос в российской общественно-политической жизни» (2013), «Религия в российском обществе. Традиционные религиозные и либеральные взгляды» (2012), «Межэтнические и конфессиональные отношения в Южном федеральном округе» (2013), «Межэтнические и конфессиональные отношения в Северо-Кавказском федеральном округе» (2013), «Молодежь в полиэтничных регионах Приволжского федерального округа» (2013), «Межнациональная нетерпимость в городской молодежной среде (по следам событий на Манежной)» (2011) и др.

Прикладные исследовательские работы Института этнологии и антропологии РАН, связанные с обеспечением практических потребностей государства и российского общества, включают исследования по запросам государственных министерств и ведомств, научное консультирование государственных структур, социологические и экспертные исследования, разработку проектов нормативных правовых документов федерального уровня, этнологическую экспертизу.

Перечислить все проекты прикладного характера в рамках одной статьи не представляется возможным. О масштабе

деятельности свидетельствует тот факт, что ежегодно специалисты ИЭА РАН выполняют порядка 50 экспертных работ по поручению Президента РФ, заданиям Аппарата Правительства РФ, Совета безопасности РФ, Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, Совета Европы, Министерства регионального развития РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства иностранных дел РФ, Следственного комитета Следственного управления РФ, Росстата РФ, Федеральной миграционной службы РФ, Департамента общественных связей Правительства Москвы, Общественной Палаты РФ, а кроме того, Администрации Вологодской области, Департамента по делам казачества и кадетских корпусов Ростовской области, Костромского областного суда, Министерства культуры Сахалинской области и некоторых других структур (Отчет 2014).

Институт внес серьезный вклад в научное обеспечение многих вопросов государственной политики и управления в этнической сфере. Он выступил одним из основных разработчиков «Концепции государственной национальной политики Российской Федерации», «Концепции государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», ряда законов и документов. По запросу Совета Федерации разработана концепция федерального закона «Об основах государственной национальной политики в Российской Федерации». По заказу Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ в 2013 г. подготовлен Модельный закон «Об основах этнокультурного взаимодействия государств-участников СНГ».

Впервые участие академических экспертов-этнологов в сфере государственной политики по этническим вопросам стало заметно накануне распада СССР, а именно в конце 1980-х годов. Когда мирная общественно-политическая жизнь сменилась серьезными социальными коллизиями и потрясениями, когда возникли очаги боевых действий, оказалось, наконец, востребованным участие ученых-этнологов в разработке законопроектов. При этом до середины 90-х годов XX века внимание экспертов в области национальных (этнических) отношений оказалось сконцентрированным на вопросах национально-территориального устройства. Тому способствовали всё более усиливавшиеся претензии и даже амбиции так называемых этнических лидеров (лидеров национальных движений). Большинство их требовало создать административные территории. Учрежденное в 1992 г. Министерство по делам национальностей (первый министр – директор ИЭА РАН В.А. Тишков), занялось именно этими вопросами, и поэтому заказные работы, выполнявшиеся в это время этнологами, ориентированы, прежде всего, на различные проблемы национально-территориальных автономий. Затем фокус внимания расширился, и опять-таки на ту область, которая была связана с сиюминутными трудностями (прежде всего, на программы и законопроекты в отношении беженцев).

Далее эксперты вынужденно сконцентрировались на вопросах контроля над территориями и ресурсами для малочисленных народов, поскольку с 1993 г. активизировалась проблема местного самоуправления. Так, этнологами и сибиреведами была инициирована разработка федерального закона «О землях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», на основании которого по прошествии ряда лет был принят соответствующий закон (ФЗ 2001).

Идеи управления этнокультурным развитием при непосредственном и косвенном участии этнологов постепенно пробивали себе дорогу. Этот процесс стал заметным при подготовке, а затем и принятии в 1990 г. российским парламентом Декларации о го-

сударственном суверенитете Российской Федеративной Республики (Декларация 1990). Накануне подготовки и принятия ФЗ «О национально-культурной автономии» и «Концепции государственной национальной политики» (приняты Государственной Думой РФ в 1996 г.) роль экспертов-этнологов в разработке идей и подходов сильно возросла. Сказывался накопившийся опыт участия в решении более частных проблем, таких как система принятия решений по вопросам миграции, урегулирования споров и конфликтов (Степанов 2006а).

В 2009 г. в связи с перспективами ратификации Россией Европейской Хартии региональных языков и языков меньшинств был подготовлен специальный доклад «Статус и поддержка языкового разнообразия в Российской Федерации» в рамках реализации совместной программы Европейского Союза и Совета Европы для Российской Федерации «Национальные меньшинства в России: развитие языков, культуры, СМИ и гражданского общества». Был разработан ряд рекомендаций для Министерства регионального развития РФ (Европейская 2010).

Социолого-антропологическая, или социальная экспертиза

Еще одна сфера, в которой в последнее время применяется теоретическое этнологическое знание, это разработка инструментария переписей населения, участие этнологов в развитии государственной статистики. Взаимные контакты между Государственным комитетом по статистике (Госкомстат, ныне Росстат) и ИЭА РАН носят конструктивный характер. Самое активное участие ученые института приняли в разработке методических материалов для Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг. Возникало довольно много спорных вопросов, касающихся списка национальностей, фиксации языка и др.

Следует отметить некоторые прогрессивные по сравнению с предыдущими переписями изменения в методике проведения переписи, базирующиеся на мнениях ученых. Наработки ИЭА РАН изданы в виде монографий из серии трудов, посвященных переписи (На пути 2003; Этнокультурный 2007; Соколовский 2006; Степанов 2006б; Этническая 2013; Языки 2013). Даже после проведения переписи к специалистам-этнологам Росстат обращается за консультациями. В связи с Всероссийской переписью населения 2010 г. ИЭА принимал непосредственное участие в официальных подсчетах для опубликования ее итогов, а также в разработке и редактировании макетов публикационных таблиц тома 9 «Жилищные условия населения», таблиц тома 10 «Рождаемость», таблиц тома 11 «Сводные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года».

Наряду с общими вопросами государственной национальной политики, миграционной политики, проблемами меньшинств, борьбы с расизмом и ксенофобией, есть некоторые иные темы, оказавшиеся востребованными. Например, в прошедшем году сотрудники ИЭА РАН участвовали в проектах:

– подготовка предложений по реформированию общероссийского классификатора информации о населении и о праве граждан на внесение принадлежности «казак» в акты регистрации гражданского состояния;

– подготовка предложений по совершенствованию государственной этнической статистики – о статистическом учете орстхойцев и других вариантов идентичности;

– подготовка справки об истории возникновения термина тувинцы-тоджинцы;

– подготовка справок по народам Севера;

– подготовка обзора мнений экспертов о проблеме китайской миграции и китайской активности в России;

– оценка особенностей демографических процессов и репродуктивного здоровья городского населения Мордовии;

– этнологическое исследование в г. Калуге;

– разработка ландшафтно-архитектурной концепции парка «Зарядье» в г. Москве (по заказу Правительства Москвы, Департамента архитектуры и строительства);

– подготовка Программы сбора материалов по теме «Современная пища и утварь жителей Рязанской области» (Рязанский центр народного творчества);

– консультация создателей документального фильма «Этапы этнической истории русского народа».

Антропология социальных перемен

Показателем востребованности науки для системы государственного управления может служить то, что аппарат Правительства РФ, Администрация Президента, различные министерства и ведомства периодически объявляют конкурсы на выполнение тех или иных научных заданий прикладного характера. Ученые-этнологи являются руководителями и исполнителями многих проектов и программ подобного рода.

Важнейшим свидетельством актуальности и востребованности знаний и методов этнологической науки для выработки базовых основ управления обществом и государством стала работа этнологов по реализации целевых программ «Москва многонациональная: формирование гражданской солидарности, культуры мира и согласия» и «Столица многонациональной России». Исследование было нацелено на научно-аналитическое осмысление современных социальных процессов в столице, поиск эффективных механизмов снижения социально-психологической напряженности в обществе, мер противодействия экстремизму, выработку механизмов мониторинга, диагностики и прогнозирования ситуации в мегаполисе.

Российские этнологи/антропологи активно сотрудничают с министерствами и ведомствами, занимающимися вопросами культуры и образования, в частности, с Министерством образования и науки. По заказу Министерства образования и науки РФ сотрудники ИЭА РАН совместно со студентами РГГУ работают по теме «Социальные стратегии молодежи в малом российском городе» (Малый город 2010; Социальная 2010; Мы здесь живем 2013; Малые города 2014). Весьма актуальной в последние десятилетия стала проблема воспитания толерантности в обществе. С 2002 г. велась работа по федеральной целевой программе «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе». Выполнялось несколько проектов, связанных с этнической толерантностью в традиционных культурах народов мира, психологией этнических конфликтов и толерантностью в средствах массовой информации и др. (Идентичность 2002; Толерантность 2002; Малькова 2002; Диагностика 2002; Лопуленко 2002; Межкультурный 2003; Лебедева, Лунева и др. 2003). В рамках программы подготовлены книги «Молодые москвичи. Кросскультурное исследование», «Молодежь Москвы. Адаптация к многокультурности», «Молодежные субкультуры Москвы» и др. (Молодые 2008; Молодежь 2007; Молодежные 2009; Малькова 2004; Остапенко 2007). Апробированы тренинги по налаживанию межкультурного диалога с ориентацией на молодежь.

Этнологи разрабатывали инструментарий и принимали участие в общероссийском исследовании Общественной Палаты Российской Федерации «Межнациональная нетерпимость в городской молодежной среде (по следам событий на Манежной)», разрабатывали рекомендации органам государственной власти и местного самоуправления в сфере предупреждения молодеж-

ного радикализма и экстремизма, участвовали в написании доклада Общественной Палаты РФ «Пути преодоления молодежного экстремизма и ксенофобии в Российской Федерации». С участием ученых института издана книга «Толерантность как фактор противодействия ксенофобии» (М., 2011), которая легла на стол Президента РФ (Толерантность 2011).

Этноэкология и этноэкологическая экспертиза

Как представляется, огромное социальное и прикладное значение имеют этноэкологические исследования. Их возможности и перспективы в какой-то степени недооцениваются, и многие вопросы пока остаются вне поля внимания. Тем не менее, социально-экологическая экспертиза довольно успешно развивается в нашей стране. Этноэкологические исследования основываются на представлении о мире как о единой и целостной системе, существующей в триаде общество–природа–хозяйство. В России это направление началось с изучения кавказских долгожителей. В 1980-е – 1990-е годы шла работа по проекту «Этническая экология переселенческих групп. Русские старожилы в Закавказье». Были исследованы процессы адаптации русского крестьянского населения, мигрировавшего сюда в прошлые века, к условиям жизни в Закавказье. Тематика работ была комплексной и включала в себя изучение демографических, медико-антропологических и психологических характеристик русских старожильческих групп, их брачных связей и фамильной структуры, традиционной и современной систем питания, специфики расселения, особенностей поселений и жилищ, хозяйственной деятельности, духовной культуры и социальной структуры конфессиональных общин. Итогом многолетних наблюдений стала серия монографий и сборников, которые до сих пор пишутся по собранным в экспедициях материалам (Этническая 2008; Этнос 2012).

Разработка теоретико-методологических основ этнической экологии как междисциплинарной области исследований продолжается, определяются задачи и способы практического применения этноэкологических знаний и исследовательских методик (см. работы А.Н. Ямскова и др.). Можно согласиться с мнением А.Н. Ямскова, что превалирующей тематикой для «культурных экологов» является исследование экологических аспектов хозяйства и материальной культуры или медико-демографических характеристик населения. Этноэкологические экспертизы проводились, в том числе, и по заказу международных организаций – Всемирного банка, Консультативного комитета по защите морей, ЮНЕСКО и др. Транснациональные компании, действующие в сырьевых отраслях экономики Сибири, Дальнего Востока и Европейского Севера, часто выступают заказчиками этноэкологических экспертиз. Их цель – минимизировать негативное воздействие осуществляемых ими проектов на биоресурсы. Подобного рода работа показывает важность привлечения профессиональных этнологов к выработке различного рода экономических проектов. В ряде работ последних лет исследовались, например, социокультурные последствия техногенных катастроф на Южном Урале и Чернобыльской аварии (Степанов 1999; Комарова 2002а, 2002б; Ямсков 2006; Антонова, Бондаренко и др. 2012).

Этноэкологическая экспертиза тесно связана с так называемой Концепцией устойчивого развития. Однако ее этнокультурный аспект чаще всего остается в тени. А ведь экономический прогресс, загрязнение природной среды имеют последствия, в том числе, и культурного характера, влекут за собой изменения этнической и расовой структуры населения, культурных традиций региона, порождают такие явления, как депопуляция,

иммиграция и т. д. Поэтому желание и необходимость снизить техногенный прессинг на природу всё чаще заставляет обращаться к народному опыту, накопленному в традиционной культуре наследству решения проблем жизнеобеспечения, народному опыту природопользования. Народная метеорология, приметы для предсказания, выявленные предками предвестники землетрясений, опыт земледельцев прошлого для защиты растений, их устойчивости к болезням и вредителям и т. д. – в их рациональность верят сегодня как ученые, так и обыватели (Руднев 2006: 208–219).

Нельзя не упомянуть медицинскую антропологию, в какой-то степени поднявшую на новый уровень изучение традиционной медицины. Ее более емкое предметное поле тоже находит практическое использование (Проблемы 2009; Липинская, Леонтьева 2012). Скажем, шаманские практики всерьез интересуют медиков-профессионалов. Препараты из натуральных веществ, фитопрепараты востребованы как никогда. Восточные медицинские практики, массажи и т. д. приобрели коммерческий успех в современном обществе.

Физическая антропология для науки и практики

Традиционно в ИЭА РАН есть несколько отделов, специализирующихся на физической антропологии, изучении древнейших этапов эволюции человека и его современных особенностей. Учеными института было проведено большое число экспедиций во многие регионы. Теоретическая и практическая разработанность антропологических методик (краниология, остеология, одонтология, дерматоглифика, соматология) позволили отечественным ученым сделать Россию и сопредельные страны наиболее антропологически изученной территорией. Все более перспективными становятся комплексные антрополого-археологические исследования. Сегодня палеоантропологи работают в составах археологических экспедиций не только на территории нашей страны (Северный Кавказ, Поволжье, Прибайкалье), но и за ее пределами (Туркменистан, Египет). Наряду с традиционными направлениями в физической антропологии, появились и новые: антропогенетика, антропоэстетика и др. Антропоэстетика, кстати, находит применение в рекламе.

Гордость института – лаборатория пластической реконструкции, в которой по уникальной методике, разработанной более полувека назад антропологом М.М. Герасимовым, делается скульптурная реконструкция головы по черепу. Восстанавливается облик исторических персонажей – (Зубов 2004; Хить, Широкобоков, Славолюбова 2013; Ходжайов 2012); также см. многочисленные публикации альманаха «Вестник антропологии» (вып. 1–26. М., 1995–2013). Коллекция лаборатории – богатейшая в мире (более 300 экспонатов). Практическая деятельность физических антропологов весьма востребована. С 1999 г. антропологическая реконструкция стала составляющей частью экспертной криминалистической работы. С тех пор антропологами института выполнено более 200 экспертиз, по большинству из которых проведено успешное опознание. Так, среди выполненных ими в 2013 г. заказов, в частности, прогнозирование внешнего облика по костным останкам современного населения России и сопредельных стран на базе криминалистического материала (для Следственного комитета); исследование останков великих русских княгинь и цариц (для музеев Московского Кремля); идентификация останков Архимандрита Иоанникия (Юсова) (для Соловецкого монастыря) и др. Метод антропологической реконструкции оказался важен не только для науки, но и для практики (Балуева, Веселовская 2006).

Другие междисциплинарные исследования

Основы таких междисциплинарных направлений, как этносоциология (Арутюнян 2007; Комарова 2012), этнодемография, этноэкология, этноархеология (Зиливинская 2011; Труды 2012) были заложены в ИЭА РАН 1960–1980 гг. Целый ряд направлений (гендерные исследования, юридическая антропология, аудиовизуальная антропология, кросскультурная психология, экономическая антропология (Белик 2013)) возник относительно недавно.

В 1990-е годы активизировалась разработка гендерного направления. Институт издал ряд трудов по вопросам семьи и семейного строя, функциям женщин в семье, проблемам семейного и общественного воспитания детей, формирования гендерных стереотипов поведения, мужским социальным статусам и ролям (Котовская 2013; Пушкарева 2001; Российская 2013). На базе сектора гендерных исследований создана РАИЖИ – Российская ассоциация исследователей женской истории, которая на проводимые ими конференции собирает десятки участников.

Междисциплинарную природу новейших подходов особенно ярко демонстрирует поведенческая антропология – наука, которая играет связующую роль между биологией человека и социальными областями знаний. Изучается взаимодействие людей в повседневной жизни (родственные связи, родительское поведение, репродукция и выбор брачных партнеров, социальные отношения в коллективах сверстников и в разновозрастных группировках, межгрупповые взаимодействия). Внимание уделяется изучению моделей поведения в разных культурах и стратегиям освоения поведенческих навыков в процессе социализации (Бутовская 2004; Агрессия 2006; Бутовская 2007; Человек 2008; Бутовская 2013).

Последние два десятилетия стали новым этапом развития юридической антропологии, изучается народное право. С 1995 г. в институте работает семинар по юридической антропологии, который объединяет этнологов и юристов. Проблемы юридической антропологии, связанные с управлением и регулированием жизни коренных малочисленных народов Севера, попали в поле научного интереса ряда наших сотрудников, когда институт стал организатором нескольких крупных конференций. Особенно важную роль в становлении юридической антропологии для России сыграл проведенный в 1997 г. в Москве XI Международный конгресс по обычному праву и правовому плюрализму (Обычай 2002; Олень 2003; Право 2006).

Религиоведение

Еще раз подчеркну, что востребованным в научном и политическом отношениях остается религиоведение. В этой связи вновь отмечу, что фундаментальные этнологические исследования оказываются небесполезными для российских чиновников разного уровня. По заданию Общественной палаты РФ была оказана методическая помощь и экспертная оценка общероссийского социологического исследования для общественных слушаний на тему «Религия в светском обществе». Выполнен обстоятельный анализ религиозной ситуации в Москве, включая исследование малых конфессий, религиозных групп и направлений. Издана энциклопедия «Народы и религии мира» – уникальный справочник, в подготовке которого участвовали многие специалисты (Неоязычество 2001; Буддизм 2006; Харитонова 2006; Влияние 2007; Религия 2008; Христианство 2011; Религиозная 2012; Цеханская 2013).

Этнологический подход к изучению верований или антропология религии включает исследование особенностей функцио-

нирования религий в XXI веке, верований и культов в социокультурном контексте глобализации (Религии 2012). Наряду с традиционным исследованием православия в Центральной России собираются новые полевые и архивные материалы о современной религиозной жизни в Адыгее, Карачаево-Черкесии и Абхазии по проекту «Возрождение христианских традиций на Кавказе». Анализируются исторические документы о развитии христианства на Кавказе. Изучению другого религиозного направления – ислама посвящен проект «Традиционные и новые формы ислама в России». Исследование также проводится преимущественно на Северном Кавказе. Оно показало, что ислам на Кавказе представляет собой гораздо более многослойное явление, чем принято считать.

Говоря о новых направлениях исследований, отмечу, что новые темы и области интересов возникают часто в ходе диалогов с другими научными дисциплинами. Взаимоотношение между тем, что раньше было в центре этнологической науки, и тем, что было на ее периферии, существенно изменилось. Это видно даже при формальном раскладе тем исследований, диссертаций и семинаров.

Наука – образованию

Многие сотрудники ИЭА РАН занимаются преподавательской деятельностью. Большое внимание уделяется разработке методологических концепций и практических рекомендаций для повышения этнологической грамотности населения. Как госзаказ подготовлены информационно-просветительские пособия для мигрантов о повседневной культуре русских (Мартынова 2009) и для принимающей стороны – об особенностях повседневной культуры народов Кавказа (Обычаи 2010).

Проблемы поликультурного образования, межкультурной коммуникации с позиций этнолога рассмотрены, например, в книге М.Ю. Мартыновой «Мир традиций и межкультурное общение. В помощь школьному учителю» (Мартынова 2004а). В ней опубликованы избранные лекции по этнологии, которые могут быть использованы в школах. В.А. Тишковым издана книга для учителя «Российский народ» и учебник для ВУЗов по этнополитологии (Тишков 2010; Тишков, Шабаев 2011). Одной из новейших разработок института являются результаты проекта «Этническая политика России в сфере образования: разработка методов анализа нормативно-правовых документов для оптимизации системы принятия решений». На основе результатов исследований подготовлены материалы для парламентских слушаний «Федеральный государственный образовательный стандарт – стратегический ресурс устойчивого развития многонационального общества», этнологи участвовали в экспертизе Закона об образовании в РФ. Проводится экспертиза учебников и учебных программ (Шнирельман 2000; Мартынова 2004б; Этнокультурное 2010; Мартынова, Степанов, Тишков 2015).

Ведется популяризация и трансляция научных знаний средствами кино и фото, в том числе и на центральных телеканалах России. Среди последних фильмов «Наследники таймырских шаманов», «Наедине с волками», «Тайны древних гробниц».

Серьезным достижением стало создание электронного фотоархива института с обеспечением внешнего доступа через Интернет к богатым собраниям фотографий, накопленным более чем за столетие экспедиционной деятельности отечественных ученых. Наиболее уникальные среди них – это фотографии русских экспедиций на Памир в конце XIX века, материалы экспедиций в Арктику, акварели и рисунки художников, сделанные в 1950-е годы в экспедициях.

В заключение, отмечу, что актуализация проблемы этнологического и этно-

политического просвещения привела к тому, что в России еще в последнем десятилетии XX века стали внедрять курсы «Этнополитология», «Этнология», «Межэтнические отношения». Одними из первых предмет «Этнополитология» ввел Санкт-Петербургский госуниверситет, затем МГУ им. М.В. Ломоносова, Академия госслужбы и др. По решению Правительства Москвы с участием ведущих ученых, специалистов московских и федеральных структур разработан краткосрочный Курс повышения квалификации государственных служащих социальной сферы, работников правоохранительных органов и средств массовой информации. В конце 2011 г. был утвержден Федеральный государственный образовательный стандарт «Антропология и этнология» как отдельное направление высшего профессионального образования. В полиэтничной и поликонфессиональной России всё больше утверждается убеждение, что не только ученые, но и политические менеджеры, блюстители закона, работники сферы культуры, образования и информации должны обладать знаниями в области этнологии, в частности этнополитологии, чтобы разбираться в сложных социальных явлениях и принимать адекватные управленческие решения.

Представляется, что потенциал прикладных функций антропологии/этнологии далек от того, чтобы исчерпать себя. Неслучайно отнюдь не все выпускники профильных кафедр идут в науку. Социальные антропологи-профессионалы находят себе применение в самых разнообразных сферах деятельности. Необходимость этнологической экспертизы при принятии всех социально значимых административных решений и программ социально-экономического развития становится все более очевидной. А появление специалистов-этнологов/антропологов в штате сотрудников тех или иных государственных учреждений, общественных организаций и частных компаний, подобно тому, как это происходит в ряде других стран мира, в какой-то степени зависит и от самих ученых. От того, какой практический потенциал мы сможем им предложить, а следовательно, и от того, в каком направлении будет развиваться наша любимая наука.

Библиография

Агрессия 2006 – Агрессия и мирное сосуществование: универсальные механизмы контроля социальной напряженности у человека. М., 2006.

Антонова, Бондаренко и др. 2012 – Социокультурные последствия Чернобыльской аварии / Н.И. Антонова, Г.Б. Бондаренко, Р.А. Григорьева, Е.С. Данилко, Т.А. Листова, М.Ю. Мартынова / Исследования по прикладной и неотложной этнологии. № 231–232. М.: ИЭА РАН, 2012.

Анчабадзе 2012 – Анчабадзе Ю.Д. Политическая культура адыгов: традиционные институты и их эволюция (вторая половина XIX в. – 1920-е годы). М.: ИЭА РАН, 2012.

Арутюнов 2012 – Арутюнов С.А. Силуэты этничности на цивилизационном фоне. М.: Инфра-М, 2012.

Арутюнян 2007 – Арутюнян Ю.В. Москвичи. Этносоциологическое исследование. М.: Наука, 2007.

Балуева, Веселовская – Балуева Т.С., Веселовская Е.В. Метод антропологической реконструкции для науки и практики // Этнология обществу: Прикладные исследования в этнологии. М.: Оргсервис-2000, 2006. С. 200–207.

Батьянова 2007 – Батьянова Е.П. Род и община у телеутов в XIX – начале XXI в. М., 2007.

Белик 2013 – Белик А.А. Человек в экономической антропологии. М.: Изд-во Ипполитова, 2013.

Белорусско-русское 2005 – Белорусско-русское пограничье / Отв. ред. Р.А. Григорьева, М.Ю. Мартынова. М., 2005.

Буганов 2013 – Буганов А.В. Личности и события истории в массовом сознании русских крестьян XIX – начала XX вв. Историко-этнографическое исследование. М.: Принципиум, 2013.

Буддизм 2006 – Буддизм: каноны, история, искусство / Отв. ред. Н.Л. Жуковская. М.: ДИК, 2006.

Бутовская 2004 – Бутовская М.Л. Язык тела: природа и культура. М., 2004.

Бутовская 2013 – Бутовская М.Л. Антропология пола. Фрязино: Век 2, 2013.

Бутовская, Дьяконов, Ванчатова 2007 – Бутовская М.Л., Дьяконов И.Ю., Ванчатова М.А. Бредущие среди нас. Нищие в России и странах Европы. История и современность. М., 2007.

Власова 2001 – Власова И.В. Дорогами земли Вологодской. Этнографические очерки. М., 2001.

Влияние 2007 – Влияние религии на общество и личность / Отв. ред. А.А. Белик. М.: ИЭА РАН, 2007.

Воронина 2011 – Воронина Т.А. Русский православный пост: от первых установлений к современной практике. М.: Современные тетради, 2011.

Гагаузы 2012 – Гагаузы в мире и мир гагаузов / Сост. и отв. ред. М.Н. Губогло. Т. 1–2. Комрат; Кишинев, 2012.

Границы 2012 – Границы, культуры и идентичности: Этнология восточнославянского пограничья / Отв. ред.-сост. М.Ю. Мартынова. М., 2012.

Громыко, Буганов 2000 – Громыко М.М., Буганов А.В. О воззрениях русского народа. М., 2000.

Губогло 1998 – Губогло М.Н. Языки этнической мобилизации, М., 1998.

Губогло 2000 – Губогло М.Н. Может ли двуглавый орёл летать с одним крылом? Размышления о законотворчестве в сфере этногосударственных отношений. М., 2000.

Губогло 2003 – Губогло М.Н. Идентификация идентичности: этносоциологические очерки. М.: Наука, 2003.

Губогло 2013 – Губогло М.Н. Антропология повседневности. М.: Языки славянской культуры, 2013.

Декларация 1990 – Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 12 июня 1990 г. № 22–1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 2. Ст. 22.

Диагностика 2002 – Диагностика толерантности в СМИ. М., 2002.

Диалоги 2005 – Диалоги об идентичности и мультикультурализме / Под ред. Е. Филипповой и Р. Ле Коадика. М., 2005.

Европа 2000 – Европа на пороге третьего тысячелетия / Отв. ред. М.Ю. Мартынова. М., 2000.

Европейская 2009 – Европейская интеграция и культурное многообразие: В 3-х ч. / Отв. ред. М.Ю. Мартынова. М., 2009.

Европейская 2010 – Европейская языковая хартия и Россия / Исследования по прикладной и неотложной этнологии. № 218. М.: ИЭА РАН, 2010.

Зиливинская 2011 – Зиливинская Э.Д. Очерки культового и гражданского зодчества Золотой Орды. Астрахань: Изд. дом «Астраханский университет», 2011.

Зубов 2004 – Зубов А.А. Палеоантропологическая родословная человека. М.: Россельхозакадемия, 2004.

Идентичность 2002 – Идентичность и толерантность. М., 2002.

Кириченко 2010 – Кириченко О.В. Женское православное подвижничество в России (XIX – сер. XX века). М.: Алексеевская пустынь, 2010.

Комарова 2002 – Комарова Г.А. Русский Бостон. М., 2002.

Комарова 2002а – Комарова Г.А. Предтеча Чернобыля. М.: ИЭА РАН. 2002.

Комарова 2002б – Комарова Г.А. Этнокультурные аспекты экологической катастрофы на р. Теча. М.: ИЭА РАН, 2002.

Комарова 2012 – Комарова Г.А. Опыт интеграции: междисциплинарное взаимодействие этнографии и этносоциологии (1960–1980-е гг.). М.: ИЭА РАН, 2012.

Котовская, Шалыгина 2013 – Котовская М.Г., Шалыгина Н.В. Гендерное пространство в структуре общественного сознания. М.: ИЭА РАН, 2013.

Крестьянские 2001 – Крестьянские истории: российская деревня 1920-х годов в письмах и документах. М., 2001.

Курто 2013 – Курто О.И. Русский мир в Китае: Исторический и культурный опыт взаимодействия русских и китайцев. М.: Восточная литература, 2013.

Лебедева, Лунева и др. 2003 – Межкультурный диалог. Тренинг этнокультурной компетентности / Н.М. Лебедева, О.В. Лунева, Т.Г. Стефаненко, М.Ю. Мартынова. М., 2003.

Липинская, Леонтьева 2012 – Липинская В.А., Леонтьева Г.А. Действующий травник и с лечебником. М., 2012.

Лопуленко 2012 – Лопуленко Н.А. «Исследования по прикладной и неотложной этнологии» (1990–2011 г.): Аналитический обзор непериодического издания / Исследования по прикладной и неотложной этнологии. № 228. М.: ИЭА РАН, 2012.

Лопуленко, Мартынова 2002 – Лопуленко Н.А, Мартынова М.Ю. В мире жить – с миром жить. Хрестоматия для школьников. М., 2002.

Малые города 2014 – Малые города – большие проблемы. М.: ИЭА РАН, 2014.

Малый 2010 – Малый город в современной России. М.: ИЭА РАН, 2010.

Малькова 2004 – Малькова В.К. Москва – многокультурный мегаполис. М.: ИЭА РАН, ТАСИС, 2004.

Малькова, Тишков 2002 – Малькова В.К. Тишков В.А. Этничность и толерантность в СМИ. М., 2002.

Мартынова 2004 – Мартынова М.Ю. Мир традиций и межкультурное общение. В помощь школьному учителю. М.: РУДН, 2004.

Мартынова 2004 – Мартынова М.Ю. Поликультурное пространство России и проблемы образования // ЭО. 2004. № 1. С. 37–51.

Мартынова 2009 – Мартынова М.Ю. Особенности повседневного уклада жизни русских. М.: Изд. дом «Этносфера», ОАО «Московские учебники», 2009.

Мартынова, Новикова 2012 – Мартынова Е.П., Новикова Н.И. Тазовские ненцы в условиях нефтегазового освоения: Этнологическая экспертиза 2011 года. М.: ИП А.Г. Яковлев, 2012.

Мартынова, Степанов, Тишков 2015 – Мартынова М.Ю., Степанов В.В., Тишков В.А. Методические рекомендации государственным структурам и общественным организациям России по формированию гражданской идентичности молодежи. М.: ИЭА РАН, 2015.

Межкультурный 2003 – Межкультурный диалог. Лекции по проблемам межэтнического и межконфессионального взаимодействия. М., 2003.

Миссонова 2006 – Миссонова Л.И. Уйльта Сахалина: большие проблемы малочисленного народа. М., 2006.

Миссонова 2013 – Миссонова Л.И. Лексика уйльта как историко-этнографический источник / Отв. ред. С.А. Арутюнов. М.: Наука, 2013. 334 с.

Модернизация 2013 – Модернизация экономики и самоуправления в республиках Северного Кавказа и швейцарский опыт организации общества и экономики / Отв. ред. И.Л. Бабич, Ю. Вирт, М.Ю. Мартынова. М.: ИЭА РАН, 2013.

Молодежные 2009 – Молодежные субкультуры Москвы / Сост. Д.В. Громов, отв. ред. М.Ю. Мартынова. М., 2009.

Молодежь 2007 – Молодежь Москвы: адаптация к многокультурности / Отв. ред. М.Ю. Мартынова, Н.М. Лебедева. М., 2007.

Молодые 2008 – Молодые москвичи. Кросскультурное исследование / Отв. ред. М.Ю. Мартынова, Н.М. Лебедева. М., 2008.

Мы здесь живем 2013 – Мы здесь живем: социальная антропология малого российского города. М., 2013.

На пути 2003 – На пути к переписи. М., 2003.

Народы 2010 – Народы Северного Кавказа и культурная глобализация / Отв. ред. И.Л. Бабич. М.: ИЭА РАН, 2010.

Неоязычество 2001 – Неоязычество на просторах Евразии. М., 2001.

Обычай 2002 – Обычай и закон. Исследования по юридической антропологии. М., 2002.

Обычаи 2010 – Обычаи и традиции общения в культуре народов Кавказа. М.: Изд. дом «Этносфера», 2010.

Олень 2003 – Олень всегда прав. Исследования по юридической антропологии / Отв. ред. Н.И. Новикова. М.: Стратегия, 2003.

Остапенко, Субботина 2007 – Остапенко Л.В., Субботина И.А. Москва многонациональная: вместе или рядом. М.: РУДН, 2007.

Отчет 2014 – Отчет о работе ИЭА РАН в 2014 г. М.: ИЭА РАН, 2014.

Очерки 2013 – Очерки о европейской идентичности и многокультурности / Отв. ред. М.Ю. Мартынова. М.: ИЭА РАН, 2013.

Поворознюк 2011 – Поворознюк О.А. Забайкальские эвенки: социально-экономические и культурные трансформации в XX–XXI веках. М.: ИЭА РАН, 2011.

Полевые исследования 2011 – Полевые исследования Института этнологии и антропологии. 2007–2008 / Отв. ред. З.П. Соколова. М.: ИЭА РАН, 2011.

Право 2006 – Право в зеркале жизни. Исследования по юридической антропологии / Отв. ред. Н.И. Новикова. М.: Стратегия, 2006.

Практика 2006 – Практика постсоветских адаптаций народов Сибири / Отв. ред. Д.А. Функ, Х. Бич, Л. Силанпяя. М., 2006.

Проблемы 2009 – Проблемы сохранения здоровья в условиях Севера и Сибири: труды по медицинской антропологии / Отв. ред. В.И. Харитонова. М.: ОАО Типография Новости, 2009.

Пушкарева 2001 – Пушкарева Н.Л. Русская женщина. Прошлое и современность. М., 2001.

Религии 2012 – Религии в XXI веке. Архаика и современность / Отв. ред. А.А. Белик. М.: Каллиграф, 2012.

Религиозная 2012 – Религиозная жизнь народов Центральной Евразии. Памяти В.Н. Басилова. Сборник статей / Отв. ред. В.И. Харитонова. М.: ИЭА РАН, 2012.

Религия 2008 – Религия в истории и культуре монголоязычных народов России / Сост. и отв. ред. Н.Л. Жуковская. М.: Восточная литература, 2008.

Российская 2013 – Российская повседневность в зеркале гендерных отношений: Сборник статей / Отв. ред. Н.Л. Пушкарева. М.: Новое литературное обозрение, 2013.

Россия в Калифорнии 2012 – Россия в Калифорнии: русские документы о колонии Росс и российско-калифорнийских связях. 1803–1850 / Сост. и подгот. А.А. Истомина, Дж.Р. Гибсона, В.А. Тишкова. Т. 2. М.: Наука, 2012.

Руднев 2006 – Руднев В.В. Этноэкологическое изучение народных знаний в контексте проблемы устойчивого развития // Этнология обществу: прикладные исследования в этнологии. М.: Оргсервис–2000, 2006. С. 208–219.

Русская народная одежда 2011 – Русская народная одежда. Историко-этнографические очерки / Отв. ред. В.А. Липинская. М.: Индрик, 2011.

Русские 2000 – Русские: народная культура (история и современность). Т. 3–4. М., 2000.

Русские 2008 – Русские: история и этнография / Под ред. И.В. Власовой, В.А. Тишкова. М.: АСТ Олимп, 2008.

Русские 2009 – Русские Рязанского края / Отв. ред. С.А. Иникова. М., 2009. Т. 1–2.

Русские в Молдавии 2012 – Русские в Молдавии: двадцать лет спустя (этносоциологическое исследование) / Л.В. Остапенко, И.А. Субботина, С.Л. Нестерова. М.: ИЭА РАН, 2012.

Русский Север – Русский Север: этническая история и народная культура XII–XX века. М., 2002.

Савоскул 2002 – Савоскул С.С. Русские нового зарубежья. М., 2002.

Север и северяне 2012 – Север и северяне. Современное положение коренных малочисленных народов Севера России / Отв. ред. Н.И. Новикова, Д.А. Функ. М. М.: ИЭА РАН, 2012.

Сирина 2012 – Сирина А.А. Эвенки и эвены в современном мире. Самосознание, природопользование, мировоззрение. М.: Восточная литература, 2012.

Соколова 2009 – Соколова З.П. Ханты и манси. Взгляд из XXI века. М.: Наука, 2009.

Соколова 2011 – Соколова З.П. Северные ханты (Полевые дневники). М.: ИЭА РАН, 2011.

Соколовский 2004 – Соколовский С.В. Перспективы развития концепции этнонациональной политики в Российской Федерации. М.: Привет, 2004.

Соколовский 2006 – Соколовский С.В. Инструментализация теоретического знания в разработке материалов Всероссийской переписи населения 2002 г. // Этнология обществу. Прикладные исследования в этнологии. М.: Оргсервис–2000, 2006.

Социальная 2010 – Социальная антропология современного российского города. М.: ИЭА РАН, 2010.

Степанов 1999 – Степанов В.В. Методы этноэкологической экспертизы. М., 1999.

Степанов 2006а – Степанов В.В. Научная экспертиза и законодательство о национально-культурном развитии России // Этнология обществу. Прикладные исследования в этнологии. М.: Оргсервис–2000, 2006.

Степанов 2006б – Степанов В.В. Участие этнологов в развитии государственной статистики // Этнология обществу. Прикладные исследования в этнологии. М.: Оргсервис-2000, 2006;

Тер-Саркисянц 2008 – Тер-Саркисянц А.Е. История и культура армянского народа с древнейших времен до начала XIX века. М.: Восточная литература, 2008.

Тишков 2001 – Тишков В.А. Общество в вооруженном конфликте. Этнография чеченской войны. М., 2001.

Тишков 2010 – Тишков В.А. Российский народ. Книга для учителя. М.: Просвещение, 2010.

Тишков 2013 – Тишков В.А. Российский народ: история и смысл национального самосознания. М.: Наука, 2013.

Тишков, Шабаев 2011 – Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: политические функции этничности. Учебник для ВУЗов. М.: Изд-во МГУ, 2011.

Толерантность 2002 – Толерантность и культурная традиция / Отв. ред. М.Ю. Мартынова. М.: РУДН, 2002.

Толерантность 2011 – Толерантность как фактор противодействия ксенофобии. М., 2011

Труды 2012 – Труды Маргианской археологической экспедиции. Т. 3. Исследование Гонур Депе в 2008–2011 гг. М.: Старый сад, 2012.

Труды ученых 2013 – Труды ученых ИЭА РАН: 1992–2012. Тематический указатель. М.: ИЭА РАН, 2013.

ФЗ 2001 – Федеральный закон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О землях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

Функ 2005 – Функ Д.А. Мир шаманов и сказителей (комплексное исследование телеутских и шорских материалов). М., 2005.

Харитонова 2006 – Харитонова В.И. Феникс из пепла? Сибирский шаманизм на рубеже тысячелетий. М.: Наука, 2006.

Хить, Широкобоков, Славолюбова 2013 – Дерматоглифика в антропологии / Г.Л. Хить, И.Г. Широкобоков, И.А. Славолюбова. СПб.: Нестор-история, 2013.

Ходжайов 2012 – Ходжайов Т.К. и др. Старый Термез (к антропологии населения Бактрии-Тохаристана). Актобе, 2012.

Христианство 2011 – Христианство на Северном Кавказе: история и современность / Отв. ред. И.Л. Бабич, Л.Т. Соловьева. М.: ИЭА РАН, 2011.

Церковные праздники 2011 – Церковные праздники русского народа: от прошлого к настоящему / Под ред. О.В. Кириченко. М.: ИЭА РАН, 2011.

Цеханская 2013 – Цеханская К.В. Почитание православных святынь в России. М.: ИЭА РАН, Паломник, 2013.

Человек 2008 – Человек в прошлом и настоящем: поведение и морфология. М., 2008.

Чечня 2001 – Чечня от конфликта к стабильности. М., 2001;

Шнирельман 2000 – Шнирельман В.А. В поисках престижных предков: этнонационализм и школьные учебники // Ответственность историка: преподавание истории в глобализирующемся обществе. Материалы международной конференции, Москва, 15–17 сентября 1998. М., 2000. С. 153–154.

Шнирельман 2005 – Шнирельман В.А. Лица ненависти. Антисемиты и расисты на марше. М.: Academia, 2005.

Шнирельман 2011 – Шнирельман В.А. «Порог толерантности»: идеология и практика нового расизма. Т. 1–2. М.: Новое литературное обозрение, 2011.

Шнирельман 2012 – Шнирельман В.А. Хазарский миф: идеология политического радикализма в России и ее истоки. М.; Иерусалим: Мосты культуры, Гешарим, 2012.

Этническая 2008 – Этническая экология: народы и их культура / Ред. Н.А. Дубова, Л.Т. Соловьева. М.: Старый сад, 2008. 376 с.

Этническая 2013 – Этническая политика в странах Балтии / Отв. ред. В.В. Полещук, В.В. Степанов. М.: Наука, 2013. 407 с.

Этнические 1997 – Этнические меньшинства в современной Европе / Отв. ред. М.Ю. Мартынова. М., 1997.

Этнические 1998 – Этнические проблемы и политика государств Европы / Отв. ред. М.Ю. Мартынова. М., 1998.

Этнические 2008 – Этнические категории и статистика. Дебаты в России и во Франции / Ред. Е.И. Филиппова. М., 2008.

Этнокультурное 2010 – Этнокультурное образование. Методы социальной ориентации российской школы / Ред. В.В. Степанов. М.: ИЭА РАН, 2010.

Этнокультурное взаимодействие 2006 – Этнокультурное взаимодействие и социокультурная адаптация народов Севера России / Отв. ред. В.И. Молодин, В.А. Тишков. М., 2006.

Этнокультурный 2007 – Этнокультурный облик России. Перепись 2002 года. М.: Наука, 2007.

Этнология обществу 2006 – Этнология обществу: Прикладные исследования в этнологии / Отв. ред. С.В. Чешко. М.: Оргсервис–2000, 2006.

Этнос 2012 – Этнос и среда обитания. Сборник статей по этнической экологии. Вып. 3 / Отв. ред. Н.А. Дубова. М.: ИЭА РАН, 2012.

Языки 2013 – Языки меньшинств: юридический статус и повседневные практики. Российско-французский диалог / Сост., отв. ред. и перевод с французского Е.И. Филиппова. М.: ИЭА РАН, 2013.

Ямсков 2006 – Ямсков А.Н. Этноэкологические экспертизы в международных организациях // Этнология обществу: прикладные исследования в этнологии. М.: Оргсервис–2000, 2006.

М.Н. Губогло

Этносоциология и этнополитология в системе междисциплинарного знания

На пороге нового тысячелетия этнология и смежные дисциплины столкнулись с новыми проблемами в осмыслении меняющейся реальности, в том числе в оценке феномена этничности, в понимании места и роли языка в ее системе, а также в политических и социальных процессах, в утверждении принципов российского федерализма и основ местного самоуправления, в толковании генезиса и сущности национализма и конфликтов, в характеристике роли лингвицизма и этнической мобилизации в стремлении народов к сохранению самобытности и соучастию в деле построения элементов гражданского общества. Немалый вклад в прояснение перечисленных проблем внесли развивающиеся на стыке традиционных наук гибридные по своему происхождению новые междисциплинарные направления – относительно молодая этносоциология и еще более юная этнополитология. Каждая из них, в отличие, например, от социолингвистики, ориентированной преимущественно на анализ языка в социальном контексте, под особым углом зрения заново открывала для себя политику и практику развития и взаимодействия языков и культур в многоэтничном государстве, как одну из центральных проблем существования и политизации этничности.

Подтверждением новизны и профессионализма междисциплинарного научного направления служит не только специализация, но и интеграция, без которой затруднено концептуальное и понятно-инструментальное взаимопроникновение в рамках анализа пограничных или предметной области различных наук.

Четыре фундаментальных понятия – общество (как гражданское общество), государство (как система политических институтов и взаимоотношений между ними), народ (как этническая общность) и язык (как важнейшее средство коммуникаций) занимают ключевое предметообразующее положение соответственно в предметной области социологии, политологии, этнологии и языкознания. Однако ни одна из названных фундаментальных наук, несмотря на свой самостоятельный статус, на богатые традиции и общепризнанные очертания границ не обладает монопольным правом на изучение только «своего» феномена.

Расширяющаяся на глазах «контрабанда», т. е. преодоление границ устоявшихся научных дисциплин, придает особую актуальность различным формам связи языка (языков), обслуживающего (их) общество, государство или этническую общность. Определение, инвентаризация и картографирование проблем, возникающих при рассмотрении многообразных связей и составляют задачу данной работы.

Основанием и оправданием для междисциплинарных интерференций служит, во-первых, взаимосвязанность изучаемых явлений, во-вторых, относительная аморфность и гетерогенность предметной области и проблематики каждой науки, а, в-третьих, возникновение в сопредельных, приграничных областях проблемных пустот, заполнение которых неизбежно ведет к гибридизации.

Взаимное перенесение теорий, понятий и методов через дисциплинарные границы, с одной стороны – вносит коррективы в структуру каждой науки, а с другой – приводит к созданию новых научных направлений, которые в силу нарастающей специализации приобретают гибридный характер.

Первичная гибридизация

Под первичной гибридизацией (скрещиванием) в исследованиях тех или иных процессов и проблем понимается не хронологический, а науковедческий аспект, когда проблемное ядро нового научного направления возникает на стыке предметных областей двух ранее самоопределившихся наук. Если представить себе полный набор бинарных направлений между науками, изучающими каждое из четырех избранных для анализа явлений (общество – государство – народ – язык), то теоретически можно получить, как это представлено на схеме 1, матрицу, состоящую из 16 клеток. При этом клетки, расположенные на диагонали, идущей сверху вниз и слева направо, представляют наименования базовых наук. Речь идет соответственно о социологии, политологии, этнологии и о языкознании.

Шесть клеток заняты бинарными научными направлениями, обладающими определенной автономией. Таковы, в частности, этнолингвистика, в рамках которой изучаются сложные проблемы на стыке между этнологией и лингвистикой, лингвополитология, сегодня еще не в полной мере занятая проблемами разработки и реализации языковой политики, социолингвистика, ориентированная на анализ языка в социальном контексте, этнополитология, набирающая обороты на рубеже веков в деле изучения взаимоотношений между государством и населяющим его народами, этносоциология, в предметной области которой внимание сосредоточено на анализе социальных, в том числе трансформационных процессов среди различных народов (этносов) и этнических процессов в различных социальных и социально-профессиональных группах. Наконец, в приграничных районах наук, изучающих гражданское общество и государство, развивается политическая социология, в лоне которой ведутся исследования политической социализации, политического менталитета, культуры и поведения.

С приведенными наименованиями корреспондируют их двойники, наименования-близнецы, которыми в приведенной схеме заполнены оставшиеся еще 6 клеток. Так, например, ряд авторов придерживаются мнения, что социолингвистика едва ли не синонимична социологии языка, а лингвополитология – политической линг-

Схема 1

Генезис и становление междисциплинарных направлений как итог первичной гибридизации

Ключевые понятия (категории)	Общество	Государство	Этнос	Язык
	Новые междисциплинарные направления, имеющие гибридный характер			
Общество	Социология	Социология политики	Социология этноса	Социология языка (речевого поведения)
Государство	Политическая социология	Политология	Этно-политология	Политическая лингвистика
Этнос	Этносоциология	Политическая антропология	Этнология	Антропологическая лингвистика
Язык	Социо-лингвистика	Лингво-политология	Этно-лингвистика	Языкознание

вистике. Контуры политической антропологии, изучающей институты управления и их функционирования в различных этнических средах и выявляющей этнические факторы в менталитете, в политической культуре и поведении людей близка к границам предметной области этнополитологии, этносоциологию нередко именуют социологией этноса (этнической общности), а иногда – социологией национальных отношений (см. схему 1).

Социолингвистика

Потребности политики и практики по «выяснению отношений» между языком, этносом и обществом, в том числе по выявлению и характеристике социальной обусловленности, ситуативной и социально-профессиональной вариативности существования языка, в частности, в речевом поведении его носителей, привели к возникновению социолингвистики. Она отпочковалась от классического языкознания, в лоне которой она сначала зарождалась, а затем, напитавшись социологическими методиками, утвердилась в статусе самостоятельной научной дисциплины, с целью установления регулярных и меняющихся соответствий между этноязыковой и социальной структурами.

Несмотря на обилие социолингвистической литературы, сосредоточенной на систематизации данных о внешней истории языков народов России, социетальная основа и тайна их функционального развития и взаимодействия остается не до конца разгаданной. Романисты порой тоньше, чем социолингвисты, подмечают психологические и политические нюансы, относящиеся к предметной области этнополитической социолингвистики. Так, например, одной из форм сопротивления местного литовского населения присутствию войск и журналистов Советского Союза было почти поголовное нежелание отвечать по-русски. Любой вопрос, заданный на русском языке на улице ли, в магазине, на рынке, встречал непроницаемый, как стенка, стандартный ответ: «Не супранту» («не понимаю»). И насмешку во взгляде. А чаще всего – откровенную неприязнь. Это было самой безопасной формой вражды. За насмешливый взгляд и за незнание русского языка даже при Сталине в Сибирь не отправляли.

Этносоциология

Параллельно с социолингвистикой в 1970–1980-е гг. зародилась, самоутвердилась, добилась значительных успехов и широкого общественного признания этносоциология – пограничное научное направление, самоопределившееся в изучении обширного круга проблем, находящихся на стыке между этнологией, изучающей историю, культуру и языки народов мира и социологией, как «учением об обществе» сосредоточившейся согласно новейшим определениям на изучении общества (Тощенко 2000: 34).

В процессе социализации и специализации («обретения самих себя») этносоциологи сосредоточили свое внимание на изучении социальных процессов в разных этнических средах и этнических процессов – в социальных и социально-профессиональных группах. При этом этносоциология, для которой репрезентативные опросы естественны, как дыхание, значительно опережала социолингвистику по части накопления эмпирического материала, и публикаций, посвященных анализу конкретных этносоциологических ситуаций, и, увы, не менее серьезно отставала в деле легитимизации своего статуса в системе других наук в качестве самостоятельной научной дисциплины. В отличие от десятков статей коллективных сборников, индивидуальных монографий, посвященных определению границ предметной области социолингвистики, этносоциология была представлена

двумя изданиями, едва ли не единственной монографией, посвященной анализу ее объекта, предмета исследований и основной проблематики.

Неопределенность границ, статуса, концептуально-методологической основы, а также понятийно – терминологического арсенала вызвала сомнения и неуверенность постсоветского академического истеблишмента относительно самоутверждения и самоопределения этносоциологии как самостоятельной дисциплины. Это нашло отражение, в частности, даже в определении своего отношения к этносоциологии академика РАН В.А. Тишкова, от позиции и поддержки которого в немалой мере зависит, быть или не быть этносоциологии, как продуктивного направления, дополняющего номенклатуру новых направлений в системе гуманитарного знания. «В рамках нашего института, например, – свидетельствовал в одном случае В.А. Тишков, отвечая на вопрос о различии и единстве между этнографией и этнической социологией, – очень трудно приживалась этническая социология, т. е. изучение этничности методами социологического опроса». Однако в целом В.А. Тишков не отрицал высокого статуса, достигнутого этносоциологией в системе отечественного обществоведения. «Нужно отдать должное, – резюмировал он ее основные достижения, – родоначальникам этого направления (Ю.В. Арутюняну, М.Н. Губогло и Л.М. Дробижевой), которые утвердили это направление в такой степени, что оно стало почти отдельной дисциплиной на стыке двух наук – этнологии и этносоциологии» (Тишков 2001: 13).

Специализация в изучении функционирования и взаимодействия языков в социальном контексте, в том числе в рамках триады: общество–государство–народ (этнос), состояла в том, что социолингвисты предпочитали обозревать языковую жизнь с высоты птичьего полета и создавать абстрактно-теоретические схемы, в то время как этносоциологи, подобно кротам, взрыхляли почву локальной социолингвистической реальности. Соответственно итоги исследований первых грешили абстрактными культурно-историческими схемами, и излишним академизмом, не подкрепленным фактически материалом языковой жизни, а добытый трудами вторых эмпирический материал не всегда оказывался востребованным для теоретических обобщений, так как страдал провинциализмом. И, подобно другим социологическим проектам, не всегда подтверждал существующие социалистические идеологемы.

Вторичная гибридизация

Вслед за первичной наступала очередь вторичной гибридизации, т. е. скрещивания теории и подходов социолингвистики и этносоциологии путем взаимообмена накопленным опытом.

Необходимость перекрестного скрещивания этнополитического ракурса с этносоциологическим была, в частности, продиктована тем, что в реальной языковой жизни народов России политология предложений (например, выпуск книг, газет, журналов, распределение количества эфирного времени, соотношение школ с различными языками обучения), не всегда и не везде корреспондировала с социологией спроса (кто, где, когда, что, на каком языке слушает, разговаривает, пишет, читает, смотрит и т. д.).

Мощным источником для нарастающего этнополитического интереса к социолингвистическим проблемам языка на вполне законном основании можно считать «языковую революцию», прокатившуюся по республикам Советского Союза на рубеже 1980–1990-х годов. Уже никто не сомневается, что ядро этой «революции» находилось не в предметной области социолингвистики, а в сфере политической борьбы за власть.

В основе гибридизации отраслей знания, изучающих связи языка, лежит чрезмерная

привязанность языка к социуму и к различным формам его существования. Суть ее проявилась в том, что этнополитологи вместе с юристами, увлеченные виртуально-романтическим языковым законотворчеством, убедились в тщетности усилий по управлению языковой жизнью без этносоциологической экспертизы языковой ситуации в стране и языковых ситуаций в конкретных районах и регионах. Жизнь показала, что большинство принятых законов о языке и языках, а также программ по их реализации, оказались не выполнимыми, т.к. не были основаны на знании и на учете ее величества «Потребности». Между тем, выявление языковых потребностей было невозможно без помощи социологии. Точно также этносоциология, хорошо осведомленная о языковых потребностях различных групп населения, не имела опыта квалифицированного представления («катапультирования») в законотворческие органы своих обоснованных рекомендаций. Возникшую на этой основе «ничейную территорию» можно было культивировать, только соединив усилия каждой из дисциплин.

Несмотря на то, что изучение взаимосвязей языка и этноса не были конституированы в самостоятельное научное направление, и им не была отведена отдельная ниша в предметной области социологии и этнологии, интерес исследователей к этой проблематике не угасал ни накануне, ни после распада Советского Союза.

Наличие неразрывной связи между реально существующими языком и этносом, особенно в сфере культуры, никогда не подвергалось сомнению в этнологической науке за исключением некоторых постмодернистских течений. Однако признание этой связи не всегда означало продуктивное ее осмысление, понимание основных форм, масштабов и механизмов ее проявления. Именно по этой причине отечественная наука оказалась в целом неподготовленной понимать связь между языком и государством, что нашло отражение, в частности, в том, что в ряду причин развала Советского Союза оказалась и несостоятельность языковой политики и, прежде всего, непонимание связи между языком с одной стороны и между обществом, государством и этносом – с другой. Между тем, ставшее необычайно популярным клише «этнический парадокс современности» точнее было бы именовать «языковым парадоксом современности», так как в противостоянии народов, как этнических общностей, нивелирующим процессам глобализации одну из главных ролей играет стремление к сохранению самобытности.

Тщетность этноязыкового волюнтаризма

В начале 1990-х годов в ходе наполнения суверенитета республик реальным содержанием и конституционного процесса 1993–1995 гг. в некоторых из них утверждалась правовая основа по созданию благоприятных условий для расширенного функционирования языков титульных национальностей. В то же время имели место случаи самоотстранения республиканских элит от проявления заботы о русском языке, что создавало основу для дискриминации русского языка и русскоязычного населения для использования местного законотворчества, для создания этнократических режимов. Так, например, составляя 21,9% населения Башкортостана, башкиры в 1995 г. занимали 73,3% должностей в «высшей» политической элите и правительственных кругах. В то же время русские, удельный вес которых (39,3%) был почти в два раза больше, чем башкир, занимали в том же году в тех же структурах 20% должностей.

Смещение акцента на языки титульных национальностей республики при некоторой позитивности несло в себе опасность изоляционизма. Если официальная (государственная) языковая политика не манифестирует и не декларирует открытость этнических культур и не стимулирует их

взаимодействие и взаимообогащение, она вольно или невольно затрудняет формирование установок толерантности и доверительности, не решает социальных задач по укреплению межэтнической солидарности народов и консолидированности общества.

Законодатели и лидеры некоторых республик сняли с себя ответственность за создание достойных условий в деле развития, распространения и использования русского языка как единого государственного языка во всех субъектах РФ, в том числе и республиках, вступили в явное противоречие с естественной тенденцией становления русского языка национальным достоянием не только русского, но и всех остальных народов России.

Всероссийская перепись населения 2002 года, выявив, что 98% граждан России свободно владеют русским языком, а в ряде случаев даже лучше, чем языком своей национальности, подтвердила предсказанный еще накануне распада СССР этносоциологами факт о том, что русский язык стал национальным достоянием народов России и поэтому идеологема «русский язык – язык межнационального общения» потеряла свой смысл.

И сегодня не снимается с повестки дня вопрос, какова вина ученых, не сумевших своевременно и аргументировано убедить политиков в смертельной опасности, таящейся в лингвицизме и этницизме, с помощью которых была развернута борьба за развал страны, борьба за низвержение статуса, имиджа и широкомасштабного распространения русского языка среди всех нерусских народов великой страны. Вопрос остается открытым: виновны ученые, не сумевшие убедить политиков, или виновны политики, не внявшие рекомендациям ученых…

Могущество русского языка как социального капитала

Принципиальным достижением отечественной этносоциологии и родившейся в ее недрах социологии языка, или этнополитической социолингвистики как нового научного направления, было признание могущественной роли русского языка, как «языка единства и единства языков», как важнейшего средства, внедряющего естественным путем в ментальность советских людей, выражаясь современной терминологией, толерантность, доверительность и солидарность.

Сегодня русский язык снова выступает одним из центральных вопросов в политической жизни постсоветского пространства. В одних случаях вытеснением русского языка из культурно-бытовой жизни республики Балтии решают кадровые вопросы, связанные с созданием моноэтнических режимов. В других случаях, как, например, в Республике Молдова, отказ правящей элиты в оказании поддержки в освоении и употреблении русского языка, означает стремление нейтрализовать пророссийские социокультурные ориентации русскоязычного населения. В третьих случаях, как, например, в Приднестровье и Гагаузии именем русского языка, путем правового закрепления его в статусе государственного языка народы отстаивают свои права на синхронное сохранение и развитие своей самобытности и социальной энергии. В четвертых, как, например, в Кыргызстане, Армении, Казахстане, частично в Узбекистане, нынешние элиты, убедившись в бесперспективности оттеснения русского языка из важных сфер жизнедеятельности, меняют политику вытеснения русского языка на лояльное или даже аффирмативное к нему отношение. Жизнь берет свое.

Этнополитология

Политизация языка на рубеже 1980–1990-х гг. стала не только катализатором, но и последствием этнизации политики. Возросший в связи с этим общественный интерес к социологии языка и этничности, проявляющимся на стыке предметных об-

ластей этнологии и политологии, привел к серии междисциплинарных исследований и публикаций, которые в свою очередь послужили основанием для вывода о зарождении этнополитологии, как гибридной по происхождению, междисциплинарной по характеру научной дисциплины, не без оснований претендующей на самостоятельный статус.

И если этносоциология сыграла роль предвестника социальных перемен в сфере этногосударственных и межэтнических отношений, этнополитология стала непосредственной наблюдательницей, взяв на себя роль мониторинговых исследований.

В советские времена не было недостатка в публикациях, посвященных языковой жизни народов и языковой политике, осуществляемой государством в качестве неотъемлемой составной части национальной политики. Однако даже самые авторитетные специалисты в этой области при определении сущности, содержания, целей и задач языковой политики не выходили за рамки функционирования самого языка. При этом внимание акцентировалось скорее на языке «вне человека», а не «на речевом поведении человека». Эта отрасль социолингвистики, жестко скрепленная идеологическими обручами, менее всего занималась внеязыковыми ситуациями и этнополитическими аспектами языковой жизни народов СССР, несмотря на то, что языковая политика считалась одним из ключевых, направлений в системе советской социолингвистики.

Чрезмерная политизация языка стала одним из важных индикаторов этнополитической жизни Российской Федерации в 1990-е годы. Язык стал не только вдохновляющим и притягательным манифестом и действенным инструментом этнической мобилизации, но и важным фактором влияния органов власти и этнических лидеров на характер межнациональных отношений. Так возникла двоякая потребность изучения особой роли языка в современных этнополитических процессах, наполненных взрывоопасными социально – политическими деформациями и коллизиями. С одной стороны, перед этнополитологией встали задачи изучения правовых основ и организационных мер по реализации такой этнической политики, ядром которой выступала деятельность по созданию приоритетных условий для представителей титульных национальностей, а идеологическим символом – борьба за расширение сфер функционирования языков, которым в республиках законодательно придавался статус государственного языка.

С другой стороны, продолжала оставаться актуальной задача этносоциологического исследования языковой жизни народного большинства, в т. ч. реальных языковых ситуаций, характер и облик которых корреспондирующую с целями, задачами и амбициями политических лидеров и этнических мобилизаторов.

Наглядным примером этносоциологического «вторжения» в предметную область социолингвистики, демонстрирующим продуктивность гибридизации, может служить классификационный перечень основных деформаций языковой политики в постсоветский период, разработанный Ж.Т. Тощенко (Тощенко 2000). Согласно этой классификации, одна из деформаций языковой политики в постсоветском пространстве состояла в попытках прямой дискриминации русского языка и русскоязычного населения путем исключения русского языка из официальной жизни, законодательного и технологического запрета его использования в политических, экономических и социальных организациях, отказ от применения его в государственных документах. Наиболее энергичные подобные попытки имели место в странах Балтии.

Вторая линия деформаций языковой политики воплощалась в несколько более умеренных акциях, что находило выражение в стимулировании знания языка ти-

тульной национальности при некотором опущении русского языка. Третий вариант деформации языковой политики состоял в целенаправленных действиях политических элит Грузии, Азербайджана, Туркмении, Узбекистана и частично Молдавии по насильственному сокращению сфер применения и использования русского языка.

Четвертый вариант деформации языковой политики представлял собой варианты такого компромисса, который не устраивал ни одну из сторон. Этнократически настроенных представителей власти в Казахстане, в меньшей мере Кыргызстана, например, не устраивало то, что не было введено обязательное функционирование государственного языка и ограничение русского, а представителей русскоязычного населения возмущало игнорирование властями реальной роли русского языка.

Заключение

Процессы фрагментации, дробления и интеграции наук выступают в наши дни одним из показателей прироста знаний и прогресса научного познания. Указанные тенденции специализации исследовательских интересов тесно связаны с гибридизацией, устойчиво номинируемой междисциплинарным подходом или пограничной областью знания. Между тем, в историографии гибридизации и гибридных отраслей знания нет их однозначной оценки. Чем моложе отрасль знания, тем меньше вероятность быть удостоенной обзорной работы. В условиях ускоряющегося нарастания объема научных знаний в настоящее время нелегко быть специалистом одновременно в двух или более науках. Освоить огромную библиографию и обширное наследие каждой науки не под силу одному человеку. Анализируя и оценивая значение смежных дисциплин, чаще всего думают, что они служат разграничению наук, в то время как на самом деле они скорее «работают» на сближение, чем на разъединение. Таков принципиальный вывод, вытекающий из анализа становления и утверждения этносоциологии и этнополитологии как новых междисциплинарных направлений, обязанных своим гибридным характером содружеству социологии с другими отраслями гуманитарного знания при изучении взаимосвязанных проблем общества – государства – этноса – языка.

Библиография

Тишков 2001 – Тишков В.А. Интервью с профессором В.А. Тишковым // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. IV (16). СПб., 2001.

Тощенко 2000 – Тощенко Ж.Т. Социология. М., 2000.

Ю.В. Арутюнян, М.Н. Губогло,
Л.М. Дробижева, Г.А. Комарова

Этносоциология: вчера, сегодня, завтра*

В 2016 году исполняется пятьдесят лет с момента создания в Институте этнографии АН СССР нового структурного подразделения «Сектора конкретно-социологических исследований культуры и быта народов СССР», в лоне которого на стыке этнографии и ряда смежных наук возникла отечественная этническая социология (этносоциология). Юбилей, особенно если отсчет времени идет на десятилетия, дает повод для того, чтобы оглянуться назад, оценить итоги пройденного и заглянуть в будущее. Тем более, что это междисциплинарное направление отечественной этнологии имеет очень богатую и познавательную историю.

На пути становления и развития этносоциологии было множество проблем самого разного характера; тем не менее, в 1960–1980-е гг. в стране сложилось профессиональное этносоциологическое сообщество, разрабатывавшее различные механизмы накопления и передачи многообразного профессионального опыта.

Одним из главных итогов постсоветского периода (1990–2000-х гг.) этносоциологии следует назвать ее институализацию как направления. Она выразилась не только в создании университетских кафедр и специальных подразделений в академических институтах, но и в расширении преподавательской деятельности этносоциологов, в чтении специальных курсов в рамках общей социологии. И все же важнейшим итогом периода перестройки для отечественных этносоциологов, безусловно, стало то, что самые передовые из них начали изучать этническую проблематику по новому для себя кругу источников. Постсоветские социальные трансформации не могли не заставить членов научного сообщества переформулировать эпистемологические основания отечественных социальных наук, в том числе, этнографии/этнологии и этносоциологии. Традиционные подходы к изучению культур уступали место более современным. Формировался новый методологический инструментарий, более адекватный в современных условиях перехода к полиструктурному социальному и культурному пространству, глобализации социальной жизни и др. Все эти годы российские ученые в той мере, в какой они хотели оставаться активными и значимыми в науке, должны были меняться вместе со временем и адаптироваться (по целому ряду параметров и насколько это позволяли их способности и склонности) к новым глобальным условиям, требованиям и технологиям современной академической работы. Причем это относилось не только к конкретным результатам исследований, но и ко многим теоретическим и методологическим подходам. В связи с необычайно расширявшейся тематикой этносоциологических исследований перед учеными, прежде всего, вставали вопросы, связанные с пониманием предмета этносоциологии как направления социологического знания и используемых в ней методов. Фундаментальный пересмотр теоретической базы с конца 1980-х гг. подготовил почву для многочисленных научных дискуссий. Они были вызваны потребностью разработки новых теоретических подходов и особенно активно велись в 1990-е годы, причем в них приняли участие не

* Исследование выполнено в рамках научного проекта РГНФ № 13-01-00043а.

только этносоциологи, но и представители других научных направлений: политологи, социальные философы, этнологи, социологи, социальные антропологи, культурологи и др.

Одним из результатов дискуссий постсоветских лет стало то, что в современной российской этносоциологии существует большое разнообразие теоретических направлений и течений. Их невозможно представить в виде логично завершенной схемы. Причина заключается в сложности и неоднозначности интерпретации различными учёными природы объекта этносоциологии – этноса. Появились резко отличающиеся друг от друга трактовки предметной области и состояния этносоциологии (Арутюнян, Дробижева, Сусоколов 1999; Иванов 1996; Сикевич 1999; Трубина 2011; Перепелкин, Соколовский 1995; 2012).

Ныне этносоциология, как и многие другие междисциплинарные направления отечественной этнографии/этнологии, переживает непростые времена, когда принято критиковать всё, что происходило в советской науке. Уже немало упреков было высказано и в сторону этносоциологии. Обычно это происходит в ходе очередной вспышки дискуссии между «качественниками» и «количественниками». При этом критики этносоциологии не учитывают (или не считают нужным учитывать) тот исторический контекст, те исторические реалии, в которых происходило формирование и развитие нового научного направления. Между тем И.С. Кон еще 20 лет назад справедливо подметил, что «если оценивать и бромлеевскую теорию этноса в реальном историческом контексте, она заслуживает более уважительного отношения. Введенные им формальные категории давали некоторую отдушину, возможность отойти от священной формационно-эволюционистской схемы: род, племя, народность и т. д. Конечно, Ю.В. Бромлей не понимал условности и ограниченности собственных категориальных схем и постепенно они становились все более схоластическими. Но все-таки уровень теоретического мышления, включая и возможность споров, в Институте этнографии был выше, а психологическая атмосфера – лучше, чем в других исторических, не говоря уже о философских, учреждениях 1970-х годов (позже ситуация и здесь ухудшилась, но таково было свойство времени). В отличие от «научных коммунистов» и примыкавших к ним историков, этнографы не просто толковали цитаты столетней давности, а обсуждали реальные проблемы межнациональных отношений и многое другое. Со стороны эта разница была очень заметна» (Кон 1993: 5). Некоторые ученые, начавшие работать в области этносоциологии уже после перестройки, к тому же, «зачастую не отличают (или не хотят отличать) академических этносоциологов от “научных коммунистов”, которые не только “заведовали” в СССР всей национальной проблематикой, но и находились в постоянном латентном конфликте с этносоциологами» (Дробижева 2001).

И все же хочется верить, что современной российской этносоциологии, несмотря на все объективные трудности, удастся достойно преодолеть их. У нее для этого имеются богатый опыт и разработки, выполненные на профессиональном уровне. По-прежнему бесспорна актуальность комплексных исследований совместными усилиями этнологов, этносоциологов, этнополитологов, этнопсихологов и представителей других смежных дисциплин всех тех фундаментальных перемен, что происходят в современном мире. Впрочем, наши коллеги еще 30 лет назад были уверены в том, что «пока наука воспринимается лишь как средство для решения технологических и, вообще, прикладных проблем, со специализацией можно мириться. Когда же мы обращаемся к науке как к источнику знаний о сущности мира, о природе человека, достижение синтеза знаний представляется той

целью, вне которой само знание лишено подлинного смысла» (Методологические проблемы 1981: 69).

Не секрет, что напряженность между конструктивистами и эссенциалистами существует и еще будет постоянно возникать во многих исследовательских полях отечественной социогуманитаристики. Похоже, что и многолетний спор между «качественниками» и «количественниками» будет продолжаться и впредь. Безусловно, профессиональная критика в любом деле нужна и полезна. Но именно профессиональная конструктивная критика. И при этом очень важно не растерять накопленный опыт, методологию, научные идеи, сохранить школу. Для отечественных этнографов/этнологов представляется весьма перспективным не только сохранять и шлифовать важнейшие, с точки зрения этнографии, методы исследования, но в дополнение к традиционным этнографическим методам шире использовать методики, разработанные в социологии, в этносоциологии, психологии, статистике, демографии и других науках. Но главное – учиться грамотно сочетать их, постоянно используя методологическую рефлексию всей совокупности теорий, парадигм, школ, течений, образующих те или иные научные направления в междисциплинарном исследовательском поле.

Знание истории формирования и развития междисциплинарных научных направлений, учет и использование опыта научной интеграции и междисциплинарной кооперации ученых в проведении совместных научных исследований, их взаимного использования методик в научной практике и т. п. сегодня, на мой взгляд, как никогда актуальны. И это особый жанр, для воплощения которого оптимально сочетание беспристрастного академического анализа научных трудов, результатов фундаментальных исследований с воспоминаниями и размышлениями их авторов – основателей междисциплинарных направлений в этнографии, бесценными свидетельствами как о самом ученом, так и о современной ему эпохе.

Именно такие известные ученые, яркие представители отечественного этнологического сообщества принимают участие в предлагаемом вашему вниманию совместном интервью. Это – патриархи отечественной этносоциологии: член-корреспондент РАН, профессор, советник Президента РАН, зав. группой этносоциологии ИЭА РАН Юрик Вартанович Арутюнян (далее – Ю.А.); доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра по изучению межнациональных отношении ИС РАН Леокадия Михайловна Дробижева (далее – Л.Д.); доктор исторических наук, профессор, руководитель ЦИМО ИЭА РАН Михаил Николаевич Губогло (далее – М.Г.). Невзирая на огромную занятость, они нашли время и силы для участия в опросе, проводимом мною среди основателей, родоначальников, а также активных участников различных междисциплинарных направлений, возникших в лоне отечественной этнографии/этнологии во второй половине XX – начале XXI вв. И я выражаю свою особую признательность этим известным ученым, великим «трем китам» отечественной этносоциологии, благодаря которым она сформировалась, развивалась и существует сегодня.

Галина Комарова

Что означает для Вас наука: профессия, призвание или…?

Ю.А. Наука для меня сейчас – профессия.

Л.Д. Это жизнь и призвание.

М.Г. Романтический образ жизни и вместе с тем рациональный способ выживания, самоутверждения, самоконструирования и самоопределения, способ оправдания доверия молдавских и сибирских земляков и родственников, страсть к физическим и духовным путешествиям (в узком и в широ-

ком смысле) в поисках старины и истины, обращение к экзотике и справедливости в решении возникающих проблем, стремление оправдать свое существование на земле, быть полезным своему народу, семье, помогать и нравиться друзьям и подругам.

Каким был Ваш путь в науку?

Ю.А. После окончания аспирантуры при Институте истории АН СССР я остался там работать в качестве научного сотрудника. С тех пор этой деятельностью занимаюсь постоянно.

Л.Д. В пору студенчества у меня были прекрасные преподаватели: В.М. Селунская, П.А. Зайончковский, Е.Н. Городецкий, в аспирантуре – Э.Б. Генкина, Ю.А. Поляков. Они сделали для меня науку привлекательной и необходимой частью жизни. Я была рекомендована в аспирантуру, но трудовую жизнь начала с преподавания в Технической школе, а потом через год поступала в аспирантуру. Проходила ее в Институте истории, там же защитила кандидатскую диссертацию и была оставлена на работу. Это были 1960-е годы, когда после XX съезда КПСС многое пересматривалось и в истории, и в политике. В институте обсуждались острые темы – о реальных последствиях коллективизации, смыслах культурной революции. СССР был государством, в котором русские составляли 51%. Вопросы регионального и этнического разнообразия имели существенное значение для развития страны. Вышло так, что в институте не было ученых, которые занимались бы так называемой «предсовременностью». И нас, молодых, подключили к изучению этого периода, меня, в частности, к исследованию национальных проблем. Я работала под руководством очень интересного ученого и человека академика М.П. Кима. Это он сказал тогда, что «у нас развитой социализм до Московской кольцевой дороги». М.П. Ким поддерживал все толковые новые начинания, порой рискуя своим авторитетом. Я работала под его крылом, и он разрешил мне заниматься социологией. Без материалов социологических исследований изучать современность было невозможно.

В социологии в это время начался период ее реанимации и мы, молодые ученые, имели возможность получить новые знания. Я слушала лекции Б. Грушина, Ю. Левады, В. Ядова, начала использовать данные социологии для написания исторических текстов. А потом стала проводить самостоятельные исследования. Но социология – такая наука, занятие которой требует больших коллективных усилий, особенно для проведения репрезентативных исследований. В конце 60-х годов в Институте этнографии директором института Ю.В. Бромлеем, который знал о тенденциях развития науки за рубежом, был создан Отдел этносоциологии. Ю.В. Бромлей пригласил руководить им Ю.В. Арутюняна, он был одним из первых историков, начавших проводить социологические исследования. Именно в Институте этнографии начали готовить и проводить крупные, репрезентативные для целых регионов, социологические исследования для изучения социальных и этнических изменений. В Институте этнографии были для этого условия, поскольку для него Академия наук выделяла специальные экспедиционные средства. Чего, кстати сказать, в то время не имели социологи. Ю.В. Бромлей пригласил ведущих социологов и из Ленинграда: О.И. Шкаратана, И.С. Кона, а, впоследствии, Г.В. Старовойтову. Так сложилось, что Ю.В. Бромлей стал возглавлять и Научный совет по национальным проблемам при Отделении общественных наук Президиума АН СССР. Я была ученым секретарем Совета, и Ю.В. Бромлей предложил мне перейти из Института истории в Институт этнографии. Это был для меня непростой шаг. Но то, что здесь работал коллектив под руководством Арутюняна, облегчило мое решение. Этнография бы-

ла третьей наукой, которую мне пришлось изучать, а потом еще пришлось осваивать знания социальной психологии и, в какой-то мере, высшей математики (с последней, однако, дружбы у меня не получилось). Таким был мой путь в науку.

М.Г. Путь в науку начинался с первого курса, когда, будучи студентом историко-филологического факультета Кишинёвского государственного университета, я был избран в состав Совета Научного студенческого общества КГУ и выступил на XII научной студенческой конференции 30 марта 1959 г. с докладом «К вопросу о болгаро-гагаузских военных формированиях в войне 1806–1812 гг.», а также подготовил курсовую работу, посвящённую «Культу волка в кочевом прошлом гагаузов». Следующий доклад «Об этногенезе западносибирских татар» на 3-м курсе МГУ был сделан по полевым материалам, собранным во время этнографической экспедиции в Тобольский район Тюменской области. Экспедиция кафедры этнографии работала под руководством Г.Е. Маркова. Сегодня, согласно итогам многолетних исследований Н.А. Томилова, отчасти его предшественников и последователей, установлено, что в этнической истории западносибирских татар важную роль сыграли процессы межэтнического смешения, в котором принимали участие угорские, самодийские, тюркские и, в определённой мере, монгольские этнические группы и этнокультурные элементы. Однако тогда обнаруженные мной, начинающим этнографом, примеры этнического самосознания, когда в одной и той же татарской деревне жители одной улицы называли себя татарами-ясачными, на соседней улице – татарами-юмышлы, а на той и другой или на третьей – сартами, производило потрясающее впечатление. Этим обусловлен мой интерес к процессам этнического смешения, с которым я прожил свою сознательную жизнь.

Кто были Ваши учителя и кумиры в науке?

Ю.А. Кумиры – Эйнштейн, Павлов. Учителем в какой-то мере можно назвать К. Маркса, который дал верный анализ обществу *своего* времени, но, как это почти неизбежно в обществоведении, абсолютизируя, как оказалось, переживаемые процессы, недооценил их мозаичность и возможность глубоких перемен.

Л.Д. Своими учителями я считаю историков – П.А. Зайончковского, В.М. Селунскую, Э.Б. Генкину, Ю.А. Полякова, М.П. Кима, социологов – В.А. Ядова, Ю.А. Леваду, Н.И. Лапина, И.С. Кона, Б. Грушина, О.И. Шкаратана, в этносоциологии – Ю.В. Арутюняна.

М.Г. Первой учительницей, привившей любовь к истории, была заслуженная учительница РСФСР Постовалова Ульяна Илларионовна (преподавательница истории в Каргопольской средней школе Курганской области), с которой я переписывался в течение 40 послешкольных лет и позволил себе часть этой переписки опубликовать. Первыми научными руководителями в КГУ были Иван Иванович Мещерюк, читавший на первом курсе лекции по отечественной истории, проректор Кишинёвского государственного университета Виссарион Константинович Тотров (курс «Общей этнографии») и Николай Григорьевич Корлэтяну (курс «Молдавский язык»). Светлой памяти И.И. Мещерюка и Н.Г. Корлэтяну я с благодарностью посвятил 10-й том серийного издания «Курсом развивающейся Молдовы». Научным руководителем дипломной работы, а затем и кандидатской диссертации на кафедре этнографии МГУ, был Г.Е. Марков. В годы работы в Институте этнографии сильное влияние на меня оказали Ю.В. Бромлей, Ю.В. Арутюнян и Л.М. Дробижева. В тюркологических исследованиях моим кумиром и наставницей была Анна Степановна Тверитинова, выступившая оппонентом на защите моей кандидатской диссертации, посвящённой тюркологии и балканистике.

Вместе с Н.А. Баскаковым и А.Ф. Миллером, с которыми я поддерживал творческие связи, она входила в 1960-е годы в первую пятёрку крупнейших тюркологов и османистов Советского Союза.

Кем Вы считаете себя: историком, социологом, этносоциологом или…?

Ю.А. Социологом, точнее, на данном этапе этносоциологом.

Л.Д. Себя я считаю этносоциологом.

М.Г. Этнографом по базовому образованию, по душевному притяжению и продуманному выбору. Этносоциологом – по счастливому стечению обстоятельств, по профессиональной деятельности, занявшей около 40 лет жизни и позволившей сделать профессиональную карьеру. Этнополитологом, построившим себе подобно восточному обычаю, мавзолей из 130 томов, представляющих источниковую базу этнической мобилизации, которая, в частности, сыграла противоречивую роль в судьбе бывшего СССР. С одной стороны, она была результатом и одновременно причиной роста этнического самосознания, с другой – оказалась в ряду локомотивов сепаратистских тенденций. Тюркологом, приоткрывшим несколько страниц этнической истории, языка и культуры гагаузского народа. Социолингвистом, впервые разработавшим, в отличие от традиционной социолингвистики, программу этносоциологического изучения языковой ситуации и инструментарий: по замеру (фиксации) языковой компетенции (в какой мере знают языки при дву- и многоязычии); речевого поведения (на каком языке разговаривают, читают, пишут в разных сферах коммуникаций); отношения к языку (attitude) как к ценности и народному достоянию.

Что привело Вас в социологию? Что побудило Вас заняться социологией?

Ю.А. Хотелось понять нашу действительность, попытаться оказать влияние на нашу социальную жизнь.

Л.Д. В социологию меня привело два обстоятельства. Я изучала современность. Без социологических исследований понять ее нельзя. Второе – то, что эта наука, если ей заниматься профессионально и честно, позволяет получить наиболее адекватные знания о реальности.

М.Г. В социологию привело наличие вакансии в Институте этнографии АН СССР весной 1966 г., когда директор ИЭ Ю.В. Бромлей создал новый сектор с громоздким и неуклюжим названием «Сектор конкретно-социологических исследований культуры и быта народов СССР» под руководством Ю.В. Арутюняна. Меня, выпускника исторического факультета МГУ, в этносоциологию привело присущее конкретно-социологическим методам свойство подходить к изучаемым объектам и процессам с позиций историзма, ощущения этнографических явлений и этноязыковых ситуаций как звена в развитии человечества и с позиций Его Величества – «Числа».

Какой была предыстория возникновения этносоциологии в лоне отечественной этнографии?

Ю.А. Реально говоря, предыстории не было. Активно занимаясь в 1960-е годы реанимацией социологии, в первую очередь сельской, я заинтересовался вопросом о социальной обусловленности этнических процессов, о том, как проявляются социальные интересы различных групп населения в этнической жизни и национальных отношениях. Поэтому, когда меня пригласил к себе директор Института этнографии Ю.В. Бромлей, который хотел осовременить этнографию, и предложил организовать в рамках Института соответствующий сектор, я согласился. Какое-то время это сочеталось у меня со «служением сельской социологии», но вскоре этносоциальные проблемы приобрели безусловную монополию в моем сознании и в моей деятельности. Так было задано появление, по существу, нового

направления или, как принято стало считать, новой дисциплины – этносоциологии.

Л.Д. В отечественной этнографии своей предысторией мы считаем деятельность М.М. Ковалевского, работы которого по оценкам считаются лучшими эмпирическими исследованиями в социологии того времени; а также исследователей Русского географического общества, ученых, использовавших в своих работах комплексный материал из этнографии, антропологии, таких как Д.Н. Анучин, В.Г. Богораз, Л.Я. Штернберг; статистические источники – К.И. Арсеньев, С.Н. Велецкий; исследователей, которые занимались изучением этнического самосознания, таких как П.И. Кушнер (Кнышев). Но главное это, конечно, наследие ученика М.М. Ковалевского П. Сорокина, ведь первые его исследования как раз были выполнены по изучению этнических групп – зырян. Им была составлена известная Программа поиска эмпирических данных (65 индикаторов, многие из которых не устарели и теперь). Но основные темы, которые меня привлекают – идентичности, этнические и межэтнические установки, национализм, социальное неравенство, предупреждение межэтнических напряжений и конфликтности, – изучались в социологии, политической и социальной психологии. А разработка этих тем начата была в американской социологии работами У. Томаса и Ф. Знанецкого и Чикагской школы.

М.Г. Предыстория этносоциологии начинается главным образом в сфере теории от работ Питирима Сорокина и его влиятельных книг, посвященных факторам, масштабам, каналам, итогам, моделям социальной стратификации, политической и профессиональной культуре и структуре общества, влиянию мотивации на поведение и психологию человека и на стабильность общества. В первых этносоциологических проектах прослеживаются следы социологии села румынского социолога Дмитрия Густи, болгарской традиции по разработке истории знаменитых личностей, выходцев из того или иного поселения, американских штудий по адаптации польских мигрантов в американскую реальность, постулаты изучения мигрантов в загребском журнале «Sociologija Sela». Важную роль в осознании необходимости и значимости статистики и конкретно-социологических обследований в этнографических исследованиях сыграла серия трудов профессоров исторического факультета МГУ В.З. Дробижева и И.Д. Ковальченко по применению количественных методов в исторической науке. В эмпирическом плане толчком к этносоциологии послужили конкретно-социологические исследования национальных отношений, проведенные в середине 1960-х годов А.И. Холмогоровым, социологической лабораторией философского факультета МГУ под руководством И.М. Слепенкова и Ю.В. Арутюняна, социолингвистические опросы народов Севера, Дальнего Востока и Сибири, организованные по инициативе В.А. Аврорина, и изучение языковых ситуаций в зарубежных странах по трудам коллективов, которыми руководили Л.Б. Никольский и Г.В. Степанов, а также социологические исследования, проведенные коллективом исследователей под руководством В.А. Ядова, в том числе изданная под его редакцией книга «Человек и его работа».

В творческом плане лично для меня важную роль в профессиональной самоидентификации сыграли организация первого этносоциологического опроса в сентябре 1965 года в болгарском селе Твардице и в гагаузском селе Бешалма (Молдавская ССР) по анкете, разработанной Л.М. Дробижевой и состоящей из 20 вопросов о состоянии межнациональных отношений, а также пилотажный опрос в 1967 г. в Лаишевском районе ТАССР по анкете, разработанной под руководством Ю.В. Арутюняна. Полвека, разделяющие мои исследования по анкете Л.М. Дробижевой и опросному

листу Ю.В. Арутюняна, не мешают мне видеть в них эмбрионы будущего методико-инструментального арсенала советской этносоциологии, которая изначально формировалась скорее как этносоциология повседневности, чем социальной и этнической общности. В становлении этносоциологии важную роль играли не только освоение мирового и отечественного опыта, но и попытки найти свою «тропу», следование по которой происходило нередко методом «проб и ошибок». Изначально этносоциология складывалась как форма коллективного накопления массового материала и индивидуального его освоения и осмысления. Собирали материал в ходе крупномасштабных опросов по принципу «все за одного, один за всех», готовили публикации «один в ответе за всех, все за одного». Вместе (команда Ю.В. Арутюняна) мы учились разрушать «стену непонимания» и/или преодолевать «заговор молчания» между «науками о реальной повседневности» и «науками о социологии значения». Однако, в отличие от ряда сегодняшних новомодных историй повседневности, мы, с одной стороны, не отказывались от фиксации и запоминания фактов, событий, фонов и ситуаций микро- и макросреды, биографий личностей и лидеров, придающих значимость своей этнической и социальной идентичности, с другой стороны – фиксировали ежедневное бытие в обширном круге вещей от мира мыслимых и осязаемых явлений и предметов, с третьей – стремились осознать, что именно зафиксированные в «Опросных листах» явления повседневной жизни означают, какой они имеют смысл? Так, в частности, рождалась триада в изучении, например, этноязыковой ситуации, когда принимались в расчёт не только уровень знания языков при двуязычии и многоязычии, но и речевые, поведенческие, оценочные установки, а также их социальные, социокультурные и политические смыслы. Непременное правило этносоциологических штудий состояло в том, чтобы увязывать реальный мир вещей с миром их значений. В зачаточной форме это выглядело как дрейф от модернизма к постмодернизму.

Как сложился Ваш профессиональный путь в этносоциологии?

Л.Д. В этносоциологии длительный период, практически до конца 1980-х, я работала в проектах Ю.В. Арутюняна, вела темы этнического самосознания и межэтнических отношений. В 90-е годы вела самостоятельные международные проекты по проблемам этнической идентичности, национализма, межэтническим отношениям, проблемам социальной дифференциации этнических групп. Читала лекции по этносоциологии при Центре социологического образования в Институте социологии. В этом институте являлась членом Научного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций, участвовала в методологических семинарах. В 2000 г. я перешла работать в Институт социологии РАН (была выбрана директором). Здесь я получила возможность изучать этносоциальные проблемы в еще более широком социальном контексте и ближе работать с профессионалами в методологии и методике социологических исследований. В этом институте был создан Отдел этносоциологии, а впоследствии, в 2005 г., Центр исследования межнациональных отношений, куда входят еще 4 подразделения института, работающие по проблемам этнических миграций, диаспор, культуре потребления. Как руководитель отдела и центра я имею возможность работать и получать информацию по достаточно широкой тематике.

М.Г. Профессиональный путь в этносоциологию складывался на основе базового этнографического образования, полученного на кафедре этнографии МГУ, участия в этнографических экспедициях, организованных преподавателями этой кафедры, и знакомства с первыми социолингвистиче-

скими обследованиями языковой ситуации народов Сибири и Дальнего Востока, проведенными под руководством чл.-корр. АН СССР В.А. Аврорина.

Какие из Ваших научных идей и работ в области этносоциологии наиболее ценны для Вас лично; какие получили признание научной общественности?

Ю.А. Для меня наиболее ценной представляется идея органической связи социальных и собственно этнических процессов. Думаю, что такой подход достаточно осознан и научной общественностью. Об этом можно судить, в частности, по объему публикаций в научной печати и откликам на них. С конца 1960-х годов было выпущено немалое число книг и статей, в том числе в исторических, этнографических и социологических журналах, где данная идея последовательно обосновывалась на базе масштабных этносоциологических исследований.

Л.Д. В отечественной этносоциологии практически первой я стала изучать межэтнические отношения на личностном уровне. Когда я докладывала результаты наших первых исследований, используя термин «этнические установки» на Конференции в Ленинграде в 1969 году (если мне не изменяет память) из зала меня спросили: «Какие это установки партии Вы имеете в виду?». Мы впервые показали, что «дружба народов», декларируемая в советское время, на личностном уровне, т. е. людьми, воспринимается по-разному. Научное направление, которое на Западе называлось социологией межэтнических отношений и было достаточно развитым, в России впервые мы начали разрабатывать в Институте этнографии в комплексе других социальных проблем. В первой же нашей работе «Социальное и национальное» (1972 г.) я сформулировала вывод о том, что характер межэтнических отношений (дружественный, нейтральный, негативный) зависит решающим образом от конкурентности в социальной сфере (возможностей социальной мобильности для конкретных национальностей) и ситуативных факторов. Признаваемым фактором в советское время (как и сейчас) считается широта культуры, знания о других. Но мы установили, что негативные установки могут быть и среди вполне образованной интеллигенции, если она попадает в ситуацию конкурентных отношений или ущемления ее интересов, понимаемых достаточно широко. Уже тогда можно было показать, и это было доказано, что межэтнические отношения в полиэтнической среде не лучше, как тогда официально утверждалось, а сложнее, особенно в период усиления контактности. Это подтверждается и в постсоветское время в условиях высокого иммиграционного притока. Впервые в отечественной социологии и этнологии мы стали изучать этническую идентичность не просто как причисление себя к какой-то общности, а как когнитивные представления, эмоциональные переживания и регулятивные компоненты. Определили индикаторы, позволяющие изучать и определять уровни этнической идентичности.

В проекте «Национальное самосознание, национализм и предупреждение конфликтов» (1994–1996) мы вместе с С.В. Рыжовой и Г.У. Солдатовой разработали типы этнической идентичности – норма, этноцентризм, этнодоминирующая идентичность, этнический фанатизм, этническая индифферентность, этнонигилизм, амбивалентная идентичность («Национальное самосознание и национализм в Российской Федерации начала 1990 годов», М., 1994, с. 14–19). Впоследствии эти типы мы представили в книге «Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 1990-х годов» (М., 1996) и в учебнике «Этносоциология» (М., 1998), затем эта типология вошла в книгу Г.У. Солдатовой «Психология межэтнической напряженно-

сти» (М., 1998), на которую ссылаются чаще. Важно, что эта типология была разработана не интуитивно и умозрительно, а на основе отработанных индикаторов и проверки их эмпирическим путем. После этого уже некорректно стало утверждать, что рост этнической идентичности ведет к межэтническим напряжениям. Важно, какой по типу идентичности. Дорогим же достижением было и установление того факта, что даже высокий уровень этнической идентичности, если она нормальная, то не ведет к негативным, враждебным межэтническим установкам. Это было установлено еще в исследованиях 1994–1996 гг. Впоследствии к такому же выводу пришли и психологи в исследованиях Н.М. Лебедевой по толерантности. С наших этносоциологических работ 90-х годов в отечественной науке начались изменения представлений о национализме. После Г. Кона, Э. Геллнера, Л. Гринфельд, Э. Хобсбаума, Р. Суни мы стали изучать национализм не в трактовке советских учебников и даже не в неомарксистской трактовке, а в том виде, как это явление понималось в мировой науке в 80-х годах прошлого столетия. Изучали идеологию, политику, в том числе практику – законодательную и реальную, а также установки людей в республиках. На Западе были известны выводы о разном национализме – этническом, гражданском, восточном, западном, культурном, экономическом. На нашем постсоветском пространстве я выделила 4 типа национализма: те, что можно было отнести к классическим образцам, стремящимся к «завоеванию власти», паритетный национализм, при котором есть готовность к разделению и удержанию власти, экономический национализм и защитный (это может быть и культурный, и территориальный, и другие по содержанию идей и политики). Любой национализм может быть более мягким (участники называют его либеральным, демократическим и т. п.) и радикальным (экстремистским и подобным). Короче говоря, национализм объясним, чаще всего, критикуем, и главное надо понять, что он разный. И это очень важно с точки зрения не только политики, но и понимания чувств людей, их психологических состояний. Как видим, трактовка национализма остается актуальной и по сей день. Хотя включение в эту тематику всегда несет угрозу непонимания, и это многие чувствовали на себе, в том числе, и я.

Были и другие идеи, которые не остались незамеченными, например, разработка социальных и культурных дистанций, изучение которых в трактовке Ф. Барта привело меня к выводу о том, что маркерами границ могут быть не только культурные феномены, но и политические ценности, социальные интересы. Почти «пробила» я в среду политиков и конфликтологов вывод о том, что именно относительная депривация, а не просто депривация, ведет к усилению межэтнической напряженности. Ну, а что-то осталось незамеченным и менее замеченным, может быть, пока. Например, вывод о том, что все более утверждающаяся российская идентичность чаще по содержанию у нас государственная, а не гражданская, хотя и последняя имеет некоторый выраженный тренд; идея и вывод о том, что даже гражданская идентичность не спасает от ксенофобии. Само употребление понятия ксенофобия как синонима враждебных или негативных установок неадекватно, ибо ксенофобия – страх перед иным, а негативные установки идеологически и политически конструируются и воспитываются.

М.Г. Чувство вдохновения и удовлетворения вызывают у меня 3 направления моих работ: тюркологическое, в рамках которого были найдены аргументы и материалы для решения вопроса о смешанном «синтетическом» этническом происхождении гагаузов, бульоном для которого послужили миграции средневековых печенегов, узов (тюрков) и куман (половцев) из южнорусских степей на Балканы, а приправой –

проникновение элементов сельджукской, болгарской, румынской и русской культуры. Теория этнически смешанного происхождения этнической общности в отличие от теории прямолинейного восхождения современного народа к одному единственному, и генетически родственному народу, ширит ряды своих сторонников и находит новых адептов. Об этом, в частности, можно судить по заключению, сделанному Кингом Чарли в его книге «Молдаване. Румыния, Россия и культурная политика», о том, что под влиянием работ турецкого ученого Кемаля Карпата и советского социолога Михаила Губогло актуализировался интерес турецких интеллектуалов к гагаузской проблематике.

В рамках этносоциологических проектов были решены теоретические и методические вопросы о состоянии языковой ситуации и двуязычии, о методах измерения знания языков (language competence), о речевом поведении (speech behavior) и об отношении к языкам (language attitude) при двуязычии и многоязычии. Этносоциологическое направление социолингвистических направлений получило признание еще на IX международном конгрессе антропологических и этнологических наук, состоявшемся в 1973 г. в Чикаго. Предложенное мной выделение внутриязыковых, межъязыковых и внеязыковых явлений было в дальнейшем использовано для исследований современных этносоциальных и этнокультурных процессов. Мой доклад «Языковые контакты и элементы этнической идентификации» (на русском и английском языках), представленный на IX Международный конгресс антропологических и этнографических наук (Чикаго, 1973 г.) сегодня считается некоей сейсмографической станцией, которая зафиксировала первые толчки грядущего интеллектуального бума в связи с выдвинувшимися на передний план этнологии и этносоциологии проблемами идентичности. Парадигма, основы и понятие «идентичность» прочно утвердились в понятийно-терминологическом аппарате этнологического знания. Могу сослаться в этом плане на свою монографию «Идентификация идентичности. Этносоциологические очерки», в которой на конкретном эмпирическом материале были рассмотрены природа и сущность проявления, а также взаимосвязи в обыденной жизни, гендерной, семейной, этнической, религиозной, профессионально-трудовой, социальной, «собственнической», региональной и гражданской идентичности. Целая серия публикаций Л.М. Дробижевой и В.А. Тишкова вместе с трудами их единомышленников стала столбовой дорогой к созданию нового научного направления – идентологии. Посильный вклад в конструирование и конституирование этого направления внесли 12 опубликованных томов «Феномен (идентичность – М.Г.) Удмуртии». Важным фактором, закрепляющим статус идентологии как нового научного направления, родственного по сходным методологическим постулатам с опытом этносоциологии и этнополитологии, стало издание юбилейного сборника «Феномен идентичности в современном гуманитарном знании», посвящённым 70-летию директора Института этнологии, академика В.А. Тишкова, внесшего значительный вклад в осмысление прежних и в создание новых, воображаемых и реальных, образов и идентичностей России. Большой и полезный опыт по признанию этносоциологии был получен при реализации серии совместных проектов с учеными союзных и автономных республик, а также с ведущими учеными США и Нидерландов: Джерри Хаффом, Дэвидом Лейтиным, Тимоти Колтоном, Робертом Осборном, Юджином Хаскей, Сьюзен Лейманн.

В рамках этнополитического направления была разработана проблематика, программатика и предметная область этнополитических исследований, а также методика подготовки материалов для кон-

цептуальной части проектов законов по национальной проблематике. Были собраны, систематизированы, прокомментированы материалы о программах, уставах, лидерах этнической мобилизации, их ключевых публикациях, и опубликовано 130 томов в соответствии с программой серии: «Национальные движения в СССР и в постсоветском пространстве». Это уникальное собрание документов, свидетельствует об идеологемах, тактиках и стратегиях этнической мобилизации, сыгравшей, наряду с другими факторами известную роль в дестабилизации этнополитической ситуации в бывших республиках СССР и в развале СССР». В книге, подготовленной В.Ю. Зориным, Д.А. Аманжоловой, С.В. Кулешовым в 1999 году, говорилось: «Нельзя не сказать о поистине подвижнической работе, проделанной Центром по изучению межнациональных отношений Института этнологии и антропологии РАН, выпустившем под редакцией М.Н. Губогло уникальную серию книг "Национальные движения в СССР и в постсоветском пространстве", фактически аккумулирующую основной документальный пласт, отражающий историю формирования, программатику и цели современных национальных движений».

Этносоциология подобно барометру с тонкой чувствительностью уже на рубеже 1960–1970-х годов выявила опасные спазмы нарастающего давления дезинтегрирующих процессов в сфере межэтнических отношений. Я имею ввиду диагностированные ещё в период «застоя» Ю.В. Арутюняном две разновидности национализма, в том числе «сельского», требующего культуртрегерских мер по его преодолению и так называемого «интеллигентского», указывающего на необходимость внесения корректив в кадровую политику. В США аналогичные «подземные толчки» этнической идентичности сделали в эти же самые годы востребованными исследования природы межэтнической толерантности и солидарности и их антипода – межэтнической конфликтности.

Принятые в России по итогам этносоциологических обследований и при участии этносоциологов в середине и во второй половине 1990-х годов законы (например, закон «О национально-культурной автономии»), в известной мере позволили снизить деструктивное влияние этнической мобилизации и ослабить остроту межэтнической напряжённости. Однако законодательных, а тем более исполнительских мер по их воплощению в жизнь, оказалось недостаточно. Отказ от воспитания интернационализма, имеющего богатый опыт в Советском Союзе, оказался малопродуктивным. От предложенного мной закона «О солидарности» профильный Комитет Государственной Думы самоустранился.

Каково Ваше нынешнее восприятие атмосферы 1960–1980-х годов в Советском Союзе? Что это был за период для Вас лично? Насколько значим этот период для Вашей профессиональной деятельности в сфере этносоциологии?

Ю.А. Это период рождения и всестороннего развития этносоциологии, с чем органически связана и моя профессиональная деятельность. Этносоциология сейчас в нашем Институте мало кого интересует, хотя в русле общей социологии она занимает довольно важное место, как одно из основных ее направлений.

Л.Д. 1960–1980-е годы были периодом реанимации социологии и формирования основных направлений этносоциологии современности (в то время была и историческая социология). В контексте развития этнографии это был период постепенного признания ее значимости. Ни одна крупная конференция, обсуждение нашей науки на Президиуме РАН не проходили без хотя бы одного доклада по этносоциальным проблемам, да и саму этнографию в целом вос-

принимали как актуальную науку с включением в нее этносоциологии. В этом была заслуга академика Ю.В. Бромлея и вице-президента В.Н. Кудрявцева. Ю.В. Бромлей сам выступал в печати с определением понятия этносоциологии и ее задач. В самом Институте этнографии этносоциологию понимала и поддерживала заместитель директора – Л.Н. Терентьева. Она, в частности, занималась смешанными браками. Для меня лично это было время познания нового в науке, возможности получения богатейшего эмпирического материала, радость от творчества и от встреч с интересными людьми в республиках нашей страны, а в конце 80-х с известными в мире учеными – Э. Гелльнер, Э. Эриксон, Д. Тернер, К. Вердери. Об исследованиях этносоциологов в этот период я писала в главе «Этническая социология в СССР и постсоветской России» в книге «Социология в России», которая вышла под редакцией В.А. Ядова в 1998 г.

М.Г. Атмосфера 1960–1980-х гг. в Советском Союзе представляется в ореоле романтики и оптимизма. И не потому, что нынешние учёные были тогда молоды, а по причине перехода из царства несвободы в сферу таких дозволенных исследований, которые позволяли добывать и частично обнародовать истинное положение вещей в сфере межэтнических отношений. Назову, не опасаясь повториться, лишь одну нашумевшую статью Ю.В. Арутюняна, в которой были раскрыты истоки и объяснены случаи проявления двух типов национализмов, так называемого «сельского», требующего усиления культуртрегерских мер по его предотвращению и «интеллигентского», преодоление которого подразумевало активизацию и оптимизацию кадровой политики. 1960–1980-е гг. в сфере науки лично для меня были периодом, когда из жизни мы стремились создавать мечту, в отличие от настоящего (постсоветского) времени, когда из мечты пытаемся конструировать реальность, толерантность и солидарность.

Насколько изменилось положение этносоциологии в России с конца 1980-х годов? Что, на Ваш взгляд, происходило в отечественной этносоциологии в последние 20 лет?

Ю.А. С одной стороны, расширились возможности для осмысления современных этнических процессов, с другой – затруднилось проведение конкретно-социологических исследований этносов в связи с ограниченностью материальных средств. В период перестройки интерес к этносоциальным процессам расширился. Многие стали заниматься этими вопросами. Но реальные выходы оказались недостаточными для осмысления и регулирования осложненных этносоциальных явлений. Этносоциология стала слабее. Реально мало используются открывшиеся политические возможности для осмысления современных этнических процессов. Появился существенный разрыв между потребностями, необходимостью решения задач, имеющих большой социально-политический смысл, и условиями для проведения широкомасштабных этносоциологических исследований, которые не могут быть осуществлены без достаточного финансирования, а оно теперь сильно ограничено. Реализуемые исследования недостаточно полно отражают широкие и сложные процессы социальной трансформации современного общества, что связано, помимо прочего, с невниманием к подготовке молодых научных кадров.

Л.Д. С конца 80-х годов этносоциология стала очень востребованным обществом научным направлением. Результаты наших исследований были затребованы не только властью в лице М.С. Горбачева и его окружения. Это было связано и с событиями в Карабахе, потом в Прибалтийских республиках. Мы готовили материалы к партийной конференции, где рассматривались национальные отношения (они вошли в книжку «Что делать», к подготовке которой был привлечен Научный совет по нацио-

нальным проблемам, которым руководил Ю.В. Бромлей). С I-го социологического конгресса в условиях перестройки, где тоже обсуждались национальные проблемы, группа ученых во главе с Т.И. Заславской была делегирована и принята Горбачевым. Но запрос был не только власти, но и общества. Нас приглашали на ТВ, статьи выпускали в газетах и популярных журналах. Данные исследований использовались на общественно-политических мероприятиях, в дебатах на съезде народных депутатов. С нашим участием формулировался вопрос на референдум о сохранении Советского Союза. Это было особое время, очень ответственное для нас, мы чувствовали себя участниками исторических событий. В самой этносоциологии тоже происходили большие изменения. Пересматривались концептуальные подходы к пониманию этничности, теории нации, конфликтов. Сначала толчок дали ученые, которые раньше нас были знакомы с зарубежной литературой – В.А. Тишков, М.В. Крюков, а потом мы сами имели возможность познакомиться с мировой литературой и ведущими учеными, среди них – Д. Горовиц, Ч. Тилли, Дж. Комарофф, Р. Суни, Х. Балзер, Б. Рубл, Р. Готемюллер, М. Фешбах.

В этносоциологии расширилась проблематика за счет изучения проблем национализмов, новых идентичностей, пред- и постконфликтных ситуаций, совершенствовался инструментарий исследований. За счет еще проводившихся по грантам исследований мы сохранили для истории репрезентативную картину реакции людей различных национальностей на радикальные общественные перемены. Но, к сожалению, институциональную поддержку массовых исследований в ИЭ в системе Академии наук мы потеряли, это же проявилось и в финансовой и в кадровой политике. В Институте же социологии и при В.А. Ядове, и теперь (уже после того, как я перестала выполнять директорские функции), при М.К. Горшкове, Отдел этносоциологии и Центр исследования межнациональных отношений остается востребованным. Нам уютно среди социологов и от них мы получаем «подзарядку» в методологии и в методике. Так что, если говорить о важном в самом научном направлении за истекшие 10–15 лет, так это интенсивная социологизация этносоциологии. Отражением данной тенденции являются многочисленные по составу секции этносоциологии в рамках Всероссийских социологических конгрессов, специальные научные конференции, которые проводились в рамках Российской социологической ассоциации, наконец, практически постоянная рубрика «Этносоциология» в популярном в России и за рубежом в журнале «Социологические исследования» (СОЦИС), широкая представленность нашей тематики в журнале «Социальная и культурная антропология» и чрезвычайно редкая представленность статей по нашей тематике в журнале «Этнографическое обозрение». В рамках именно социологического образования читаются курсы по этносоциологии в Высшей школе экономики, РГГУ, в РУДН, в Санкт-Петербургском Университете, МГУ и др. образовательных центрах страны.

М.Г. Статус и положение этносоциологии в течение двух десятилетий на рубеже XX и XXI вв. подверглось существенным изменениям. Значительно повысились авторитет, привлекательность и имидж этносоциологии, особенно интерес к теоретической стороне дела. Одновременно несколько увяла её практическая востребованность. С одной стороны, сократилось финансирование широкомасштабных этносоциологических опросов, что привело к потере исторической перспективы при анализе социальных и этнических процессов в их взаимодействии и взаимовлиянии. Между тем, глубокая социальная дифференциация общества и социально-профессионального состава народов России требуют не толь-

ко новых исследовательских парадигм и концепций, но и совершенствования инструментальных методико-процедурных средств. В отличие от советского времени, в нынешних условиях крайне затруднительно проводить обстоятельные интервью и анкетирование в условиях возросшего уровня недоверия и сокращения социального капитала в значительных группах населения. В советское время в соответствии с традициями гостеприимства охотно отвечали на вопросы анкеты. Сегодня не открывают дверь. С другой стороны, в связи с отсутствием новой информационной базы, оскудением источников, заметен рецидив возвращения к истокам этносоциологии. Сегодня появляются исследования, публикации и диссертации, выполненные на недостаточно репрезентативном материале. В итоге мельчает не только источниковедческая база этносоциологии, но и обоснованность ее выводов, и размах обобщений.

Начну с истоков. Рождение Московской этносоциологической школы вполне обосновано связывают с творчеством коллектива сотрудников ИЭ АН СССР во главе с Ю.В. Арутюняном, положившим начало этому направлению в 1966 г. «с конкретно-социологических исследований культуры и быта», т. е. этносоциологического исследования повседневной жизни ряда народов Советского Союза. На концептуальную зрелость и автономную самодостаточность в качестве нового научного направления этносоциология может претендовать в том случае, если она обладает собственным объектом и предметным полем исследования, если она зарекомендовала себя трудами, получившими признание научной общественности, если она преподаётся в университетах по уже подготовленным учебникам и пособиям, если её тематика находит выражение на пленарных и секционных заседаниях региональных, общероссийских и международных форумах. Этносоциология на заре XXI века вполне соответствует перечисленным критериям и заслуживает присвоения ей права называться самостоятельной научной дисциплиной. Изначально московская школа этносоциологии базировалась на модернистском, позитивистском, по сути, подходе, когда объектом этносоциологического исследования выступала объективная и субъективная реальность: этнические общности, носители этнической идентичности, социальные группы (внутриклассовые различия), а задача исследования сводилась к выявлению, описанию и осмыслению их статических характеристик и динамических взаимодействий. Смещение модернистских исследовательских подходов и/или совмещение их с постмодернистскими, вело от примордиализма к конструктивизму, когда исследователь сам творил («воображал») объект своего анализа.

Что необходимо для появления новых идей? Прежде всего, необходима экспертиза и проверка их социально-практической значимости и «свежести». Однако подобно тому, как в «теории практик» смысл задаётся и подкрепляется практикой, иметь идентичность означает быть сопричастным к кому-либо и устойчиво повторять мысли и поступки подобно кому-то или вместе с кем-то в рамках принятых социальных норм, точно так же значимость свежих идей может быть проверена на практике. Между тем на практике, в том числе в ходе выявления «массовых вещей», необходимы серьёзные усилия и средства, коих сегодня у гуманитарных наук явно не хватает. Выдающимся успехом этносоциологии как нового научного направления или даже новой дисциплины служит широкая и многообразная представленность ее в Интернете, особенно на примере новейших учебников, учебных пособий, факультетских курсов, в программах общероссийских и региональных конгрессов, конференций, симпозиумов, в том числе международных.

Вместе с тем, состояние и исследовательская ситуация в современной россий-

ской этносоциологии определяется противоречивостью и растерянностью, отсутствием идейных ориентиров. Постаревшие кадры известных этносоциологических центров морально не готовы к изучению крутых экономических и социальных перемен, в том числе связанных с радикальным изменением социальной структуры народов, вовлеченных в рыночную экономику и с попытками привить в корневую соборную ментальность российских народов институты и принципы гражданского общества. Перед динамично меняющейся повседневностью в трудовой и общественно-политической сфере и перед форсированным ростом этнической идентичности и, в частности, моды на религиозность, этносоциология, похоже, робеет.

Для развития этносоциологии как самостоятельной науки должны быть новые идеи. Дефицит идей ведет к застою. Этносоциологические исследования, проводимые в текущем десятилетии в отдельных регионах России, позволяют собрать интересные факты. Однако, пересказ фактов или построение таблиц, в которых не вылавливаются, или не заложены, или не кроются продуктивные идеи, не имеют общественной ценности. В лучшем случае их итоги безвредны, в худшем – вместо злаков произрастают сорные травы. Преждевременное, на мой взгляд, постарение этносоциологии обусловлено не только сокращением притока свежих сил, но и дефицитом умения и смелости в постановке оригинальных задач и в методах их решений. В погоне за грантами и дополнительными заработками перестала играть роль локомотива влюбленность в науку. Вместе с тем, с исчезновением творческого энтузиазма и романтической влюбленности в науку, ученый перестаёт быть молодым, он умирает как ученый. Постарение как угроза этносоциологии проявляется в ряде случаев в превышении самовлюбленности в ущерб бескорыстной влюбленности в науку. Между тем самолюбование, самодовольство, самовосхваление в сочетании с ревностью и завистью, оказывается несовместимым с пребыванием в этносоциологическом коллективе и в реализации этносоциологических проектов.

Последние 15–20 лет этносоциология страдает от дефицита свежих сил. Слабеющий приток молодежи в этносоциологию вызван обмельчанием методологической стороны дела и скороспелостью обобщений, обусловленных локальными сюжетами и сокращением предметной области. Сократилась востребованность данных этносоциологических исследований со стороны министерств и ведомств. Более того, чиновники резко повысили стоимость ведомственной статистики. В первом десятилетии нового века прекратилась разработка правовых основ национальной и культурной политики, межэтнических отношений и отношений между государственными структурами и народами России. Комитет по делам национальностей Государственной Думы по сути дела самоустранился от законотворческой деятельности и отказался от консультативных услуг экспертов. Парадокс нынешнего состояния этносоциологии в России состоит в том, что, во-первых, вскипевшая мода на неё, как на юную невесту, значительно опережает востребованность опредмеченных результатов её продукции со стороны государственных структур и её готовность в свою очередь представлять теоретически и эмпирически обоснованные рецепты по оптимизации межэтнических отношений, в том числе по раннему предупреждению и преодолению межэтнических конфликтов. С другой стороны, мода на этносоциологию вызвала дрейф ряда учёных к чтению факультативных курсов, созданию учебников и учебных пособий. Едва ли не самым наглядным примером может, в частности, служить объёмистое учебное пособие А.Г. Дугина «Этносоциология».

Автор понимает этносоциологию как самостоятельную науку, ориентированную на изучение трансформации обществ и общественных систем с древнейших времён до современных гражданских обществ, и вводит в её непомерно широкую предметную область данные из истории, философии, культурологи, антропологии, религиоведения и ряда других наук, в том числе многие классические направления этнологического знания, хорошо известные из учебника С.А. Токарева «История зарубежной этнографии».

Как Вы считаете, существует ли в России профессиональное этносоциологическое сообщество? Если «да», то каково оно?

Ю.А. Такое сообщество существует, но реально уже вне нашего Института, как можно судить по тому, что подготовленные и курируемые мною исследования, – уже вышедшее «по армянам» и вот-вот ожидаемое «по русским», – публикуются под грифом других Институтов. В других научных подразделениях – учебных заведениях, НИИ – этносоциологические исследования реализуются. Между этими учреждениями налаживаются связи. Я, к примеру, член Ученого Совета Института социологии, где есть отдел этносоциологии, возглавляемый Л.М. Дробижевой.

Л.Д. Да, существует, но большей частью, как это видно из ответа на предыдущий вопрос, оно разбито между социологическим и этнологическим сообществами.

М.Г. Профессиональное этносоциологическое сообщество России существует в виде постоянных личных и творческих контактов этносоциологов, в том числе во время научных форумов, защит диссертаций, в ходе обмена научной информацией и проведения совместных исследований, разработки и реализации общих проектов, в том числе на международном уровне. Конституированной формой этносоциологического сообщества служит Комитет по этносоциологии (председатель – д.и.н. Л.М. Дробижева) в системе Российской Социологической Ассоциации. Он успешно выполняет координационные и научно-организационные функции.

Существуют ли в России самостоятельные научные центры, школы в этносоциологии? Если «да», что они собой представляют?

Ю.А. Есть центры этносоциологии в Москве, Казани, Уфе и других местах, сложилась и по существу функционирует школа этносоциологии, что, однако, реально никак не оформлено. О размахе этносоциологической службы можно, например, судить по международной конференции, посвященной 40-летию этносоциологии, на которой было заслушано более 50 докладов этносоциологов из разных мест страны и ближнего зарубежья (см. «Этносоциология. Научный потенциал в процессах интеграции полиэтнического общества». Казань, 2008).

Л.Д. Научные центры существуют в рамках двух академических институтов – социологии и этнологии. В первом, он сейчас по численности больше, в нем работает, в том числе, 4 доктора наук и 2 ведущих научных сотрудника. Кроме того, это подразделения или группы, центры в рамках ведущих вузов страны (Татарстан, Башкортостан, Северная Осетия, Тыва и др.). Школы в этносоциологии существуют, но об этом лучше говорить ученикам.

М.Г. Самостоятельные этносоциологические центры существуют в Москве, Новосибирске, Омске, Казани, Ижевске, Нальчике, Сыктывкаре и Уфе. Кроме того, в академических и университетских центрах защищены диссертации и ведутся этносоциологические исследования на индивидуальной основе. Ведущим научным и организационным Центром, осуществляющим этносоциологические исследования по целому ряду межреспубликанских и международных проектов, является коллектив Центра по изучению межнациональных

отношений Института социологии РАН. В ИЭА РАН в 1980–2010-х гг. этносоциологические исследования осуществляет Центр по изучению межэтнических отношений (руководитель – М.Н. Губогло) совместно с группой по изучению Поволжья (руководитель – А.Д. Коростелёв) и группой этносоциологии Ю.В. Арутюняна. Крупные и влиятельные этносоциологические центры сложились и получили общественное признание в Татарстане, Башкортостане, Сыктывкаре, Нальчике. В настоящее время несколько затруднительно называть наличие особых, сколько-нибудь значительных этносоциологических школ в рамках общей этносоциологической школы, созданной Ю.В. Арутюняном и его ближайшими соратниками. Суть этой школы состоит в концепции социального как сути этнического и этнического многообразия социальной материи. В узком смысле научная школа – это совокупность новых знаний, имеющих научное и практическое значение, полученных благодаря новым идеям, методикам и инструментально-методическим приёмам, и получившим признание коллег и общественности. В широком смысле в понятие научной школы входит стиль и манера работать, думать, осмыслять прежние или новые явления. Сюда же относится социальный капитал адептов научной школы, состоящий из отношения к фактам, образам, идеям, гипотезам. Научная школа предполагает особую, доверительную манеру взаимопонимания и взаимоотношения между коллегами, исключение всякого рода интриг и недоброжелательства, завышенных претензий, ревности к успеху сотоварищей, исключение в оценках своих трудов дилетантизма и самовосхваления и переоценки их общественной значимости. Специфику этносоциологической научной школы, в становлении которой важную роль играют коллективные проекты, когда один работает на всех, а все за одного, можно определить словами Виктора Гюго: «Искусство – это я, наука – это мы».

Наряду с понятиями «научные центры» и «этносоциологические школы», мне кажется, можно конституировать и понятие «колыбели этносоциологических исследований». В одном из своих выступлений Ю.В. Арутюнян назвал Татарию «колыбелью этносоциологии». С таким же успехом, например, Молдавию можно считать «колыбелью этносоциологии повседневности», а Киев – «колыбелью этносоциологии диаспоральности».

Как Вы оцениваете уровень современного этносоциологического образования и профессиональной подготовки в России?

Ю.А. Развернувшаяся у нас в 1970–1980-е годы подготовка этносоциологов, в частности, через аспирантуру, сейчас почти сведена на «нет», так как этносоциология в нашем Институте игнорируется. Об этом можно судить, к примеру, по тому, как мой аспирант, единогласно защитивший диссертацию по этносоциологии, в Институте не был оставлен.

Л.Д. Уровень образовательной подготовки очень разный, но спасает наличие курсов повышения образования, которые проводились в Институте социологии и в РУДН.

М.Г. Оценить уровень современной подготовки этносоциологов представляется затруднительным, прежде всего, по причине слабой доступности «поля» и этносоциологической «продукции». Старые методы исследований в формате крупномасштабных опросов или морально устарели, или отсутствуют, или ухудшились объективные и субъективные условия для их реализации. Без практики накопления обширного полевого эмпирического материала, обретение профессиональной этносоциологической подготовки не представляется сколько-нибудь продуктивным. Слабая востребованность рекомендаций этносоциологов в известной мере объясняется тем, что они в постсоветский период, увлекаясь кратко-

срочными грантами и проектами, скороспелыми публикациями, растеряли часть своего имиджа по исполнению своих теоретико-познавательных, просветительских, практических и прогностических функций. В свою очередь это связано с ослаблением интереса государственных структур, в том числе законодательных органов к этносоциологической диагностике и экспертным заключениям. Что же касается молодых учёных, получивших этносоциологическое образование на осмыслении и переосмыслении прежних баз данных, то их переманивают в качестве экспертов и советников, соблазняя высокой зарплатой, в государственные, ведомственные и частные структуры. В итоге академическая среда перестаёт быть питательным бульоном, творческой средой для повышения профессиональной квалификации и заинтересованного «служения» этносоциологии.

Уровень отечественной этносоциологии во многом зависит от масштабов её сохранения и воспроизводства. За четыре с лишним десятилетия её существования реализована серия крупномасштабных проектов, в том числе получивших международное признание, апробированы важные в концептуальном и практическом плане идеи, многократно увеличилось количество публикаций. Вместе с тем, самодостаточный арсенал этносоциологии худеет по ряду критериальных показателей. Несмотря на очевидные успехи, этносоциология продолжает накапливать научные сведения, двигаясь экстенсивным путём скорее вширь, чем вглубь, скорее, в мелкотемье, чем в крупные концепты и проекты, чем в глубокие парадигмы и новые рефлексии. Лишённая социального заказа, этносоциология оказывается на перепутье, что ведёт к раздробленности её тематики, к размытости предметного поля, к оторванности связей с этнологией и историей, несоответствию выдвигаемых ею задач практическим запросам и задачам общества.

Одна из причин концептуального обнищания этносоциологии, на мой взгляд, состоит в отсутствии специальных исследований о личности самого этносоциолога, степени его подготовленности к полевой и кабинетной работе, эффективности используемых им средств, стиля его «полевой жизни» и взаимоотношений с теми, кого он изучает, и адекватности добываемых им новых знаний. В этом плане большие надежды возлагаются на разрабатываемое в ИЭА РАН Г.А. Комаровой новое междисциплинарное направление, в центре внимания которого – антропология академической жизни.

Каково Ваше теоретическое кредо?

Ю.А. Осмысление реальных этносоциальных процессов должно обязательно основываться на проникновении в жизнь. Эффективная теория в любой сфере должна прямо или косвенно основываться на знании фактов и понимании реальной действительности.

Л.Д. Я работаю в основном с полипарадигмальным или так называемым синтезированным подходом, с большим креном в разумный конструктивизм по Лукману и Бергеру. Это понятно, поскольку преимущественно работаю с проблемами этнического самосознания и межэтнических отношений. Как я вижу по публикациям и диссертациям, меня относят с чьей-то легкой руки к инструменталистам, это не соответствует реальным концептам, использованным мною в исследованиях.

М.Г. Моё теоретическое кредо – истина и справедливость, поскольку истина открывается только тем, кто её усиленно разыскивает, а справедливость достигается теми, кто к ней настойчиво стремится. Я хорошо помню заповедь академика Ю.В. Бромлея, редактора моей книги, которую я защитил в качестве докторской диссертации: «Миша, в науке не важно быть первым, важно быть верным». К это-

му же принципу призывал меня С.И. Брук, вместе с которым мне довелось разбираться в тонкости таинства этнодемографических процессов.

Что мешает и что помогает Вам в научной работе?

Ю.А. Мешает невнимание руководства ИЭА РАН к развитию этносоциологии, что выражается, прежде всего, в сокращении кадров, отсутствии внимания к масштабным этносоциологическим исследованиям. Помогает в работе наличие обширной информации, отражающей этносоциальные процессы, доступ к которой ранее был затруднен. Расширились возможности осмысления изучаемых процессов и выхода научной информации.

Л.М. Помогает мой коллектив, который я очень ценю. Мешает высокая загруженность, кроме проектов я еще и преподаю, до последнего времени была редактором журнала, являюсь членом ученых советов, веду аспирантов, докторантов, занимаюсь общественной деятельностью.

М.Г. Мешает работе ускорение времени, снижение доверительности в обществе, бег событий, череда изменений, постарение кадров, истощение старых идей, ограниченность материальных ресурсов, необходимость оплачивать информацию, которая в советские времена предоставлялась бесплатно. Помогает опыт, свобода выбора проблем, тем, сюжетов, ситуаций, заинтересованность мотивированной на вырост молодежи, увлеченность утвердившимися теориями, концепциями, романтикой полевых исследований, искренним поиском истины, добываемой ради торжества справедливости.

Каково Ваше хобби?

Ю.А. Музыка и поэзия.

Л.М. Путешествия. Собираю символические произведения, отражающие изменения в этнической идентичности.

М.Г. Во-первых, коллекционирование (вместе с семьей) «этнических» кошек, сделанных из различных материалов (металла, дерева, глины, бархата и других тканей). Во-вторых, процесс чередования работы по различным темам: переход от тюркологии к этносоциологии, от социолингвистики к этнополитологии, от изучения личностных к изучению групповых идентичностей.

Что является для Вас приоритетной областью деятельности: преподавательская, исследовательская, организационная или общественная деятельность?

Ю.А. Исследовательская.

Л.М. Приоритетна, конечно, исследовательская деятельность.

М.Г. Приоритетной областью деятельности является *исследовательская практика*. Общественная деятельность по разработке основ национальной политики постепенно угасает с начала второго постсоветского десятилетия, когда Комитет по делам национальностей Государственной Думы ФС РФ самоустранился от законотворчества в сфере межнациональных и межэтнических отношений.

Кого Вы считаете своими лучшими учениками?

Ю.А. Слово «ученик» не годится для крупных состоявшихся исследователей, добившихся многого в научной жизни. Таких много и у них высокий статус, трудно укладывающийся в понятие «ученик». Среди социологов можно назвать Л.М. Дробижеву, А.А. Сусоколова, Ю.А. Хагурова, а этнологов – М.Н. Губогло и других.

Л.Д. Об этом говорить приятно, но трудно. Скажу о тех, кем я горжусь. С.В. Рыжова и Г.У. Солдатова, Р.Н. Мусина, А. Забирова – они ведут самостоятельные научные направления, И. Сухов – он корреспондент, который освещает события в горячих точках. Учителем меня назы-

вает Э.А. Паин, но я его отношу к тем, которые идут дальше учителей, к таким же людям я отношу и А.А. Сусоколова, светлая ему память. В чем-то моей продолжательницей считаю В.В. Коротееву, которая, к сожалению, сменила профессионализацию. Прекрасную работу защитил недавно Д. Пушнин. Сейчас со мной успешно работает Е.М. Арутюнова. В одной упряжке мы с И.М. Кузнецовым, но он работает настолько «своим путем», что к ученикам его отнести мне было бы неуместно. Ну, а еще я могу гордиться теми, кто работал со мной в наших проектах и стал очень профессиональными учеными – Л. Сагитовой, Г. Абдурахмановой, Э. Яковлевой.

М.Г. Не хотелось бы перечислять около двух десятков лиц, защитивших кандидатские и докторские диссертации, чтобы никого не обидеть. Хотя не могу не назвать С.И. Аккиеву, Ф.Г. Сафина, И.Г. Югая, З.В. Анайбан, С.К. Смирнову, А. Юракова, О.О. Лукьянову, В. Маресьева, А. Бабаева, Н.С. Ермакову... Мне всегда везло с учениками.

Какие этносоциологические проблемы и темы привлекают Ваше внимание в начале XXI столетия? Каковы Ваши научные планы и намерения?

Ю.А. В моем возрасте у меня не может быть особых планов. Все планы и намерения связаны с проведением широкомасштабных исследований, которые сейчас затруднены из-за отсутствия интереса к ним нашей научной администрации.

Л.Д. Первая моя тема «Изменения в разных видах национализма (его формы и интенсивность)». Другая тема – «Этничность в социальной жизни людей: представления и реальность». Мы делаем попытку провести сравнительные (с 1990–2000-х гг.) исследования по проблемам идентичностей, национализма, межэтнических напряжений.

М.Г. Во второй половине 1990-х годов были сделаны серьезные шаги по установлению правовых основ по обеспечению прав и свобод представителей различных народов. Однако законодатели оробели при добавлении к правам личности групповых прав, исходя из того, отдельные народы не могут быть субъектом права. В этой связи в начале XXI в. сохраняет свою актуальность социологическое обоснование и правовая разработка прав, свобод и интересов народов с целью укрепления российского полиэтнического, поликонфессионального общества с его неоднородным социальным составом, не ущемляя при этом жизненно важные интересы одних групп и социальных слоев за счет других. Ждут своих исследователей около 130 томов материалов и документов, собранных и опубликованных Центром по изучению межэтнических отношений ИЭА РАН в 1989–2009 гг. по проекту «Национальные движения в СССР и в постсоветском пространстве» в рамках концепции «Этническая мобилизация на рубеже столетий». Противоречивая роль этнокультурного возрождения народов бывшего СССР, частично изложенная в предварительных комментариях к каждому из томов, нуждается в глубоком дополнительном осмыслении и переосмыслении в связи с их неоднозначными этносоциальными последствиями.

Мои личные научные планы и намерения? Разобраться в сущности этнической истории на примере нескольких тюркских народов с целью понять, существует ли тюркский мир подобно славянскому или романскому, и в какой мере его ционормативные культура и ценности связаны с русским миром, русским языком и культурой. В статье, озаглавленной «Этногенез продолжается», подготовленной в рамках проекта «Этногенез. Воображаемые пращуры и реальные потомки», навеянной в некоторой степени суждениями Н. Глейзера и Д. Мойнихена «По ту сторону плавильно-

го котла», я надеюсь показать этногенез и этническую историю этнической общности не как закостенелый продукт исторического развития от воображаемого предка или воображаемой прародины, а как динамически развивающуюся повседневную и социокультурную жизнь. Для достижения этой цели потребуется продолжить смещение акцента от союза этносоциологии с этнополитологией к её взаимодействию с традиционной этнографией, в которой знание языка изучаемого народа играет не менее важную роль, чем «внеязыковые» анкетные опросы и интервью с помощью единого языка межнационального общения. Пришла пора совмещения «двух» этносоциологий – в деле изучения группы и отдельной личности.

Библиография

Арутюнян и др. 1999 – Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. Учебное пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 1999.

Дробижева 2001 – Дробижева Л.М. Я всегда находилась в процессе самообучения. Интервью Л.М. Дробижевой, данное Г.С. Батыгину (http://www.nir.ru/socio/scipubl/sj/sj4-01drob.html).

Кон 1993 – Кон И.С. Несвоевременные размышления на актуальные темы // ЭО. № 1. С. 3–8.

Методологические проблемы 1981 – Методологические проблемы взаимодействия общественных, естественных и технических наук. М.: Наука, 1981.

Перепелкин, Соколовский 1996 – Соколовский С.В. Этническая социология. М., 1996.

Сикевич 1994 – Сикевич З.В. Этносоциология: национальные отношения и межнациональные конфликты. СПб., 1994.

В.А. Тишков

Новая политическая антропология*

Социально-культурная антропология изначально интересовалась политикой и, собственно говоря, именно интерес к политической организации, природе властных отношений, проблемам гегемонии, статуса, равенства-неравенства составлял центральные темы этой дисциплины на протяжении ее векового профессионального действия. Горизонты политической антропологии постоянно расширялись как по мере эволюции и усложнения общественного процесса, так и по мере развития самой дисциплины и совершенствования ее методов. Видимо, было бы правильно сказать, что реальный мир определяет содержание политической антропологии, и в равной мере антропология конструирует мир, в котором пребывают и отправляют свое знание антропологи. Такой более сложный подход по сравнению со старой констатацией, что этнология и антропология нужны, чтобы лучше управлять, все больше распространяется в современной науке (Vincent 1990). Все больше отходит на второй план представление, что политическая антропология – это дисциплина, изучающая системы властно-управленческих отношений в «традиционных обществах» и ранние формы политических институтов (так называемая «потестарная этнография»), а также устаревает классификация политической антропологии как сферы изучения только этнических параметров политических процессов (Пугачев 1999).

Эволюция дисциплинарного интереса

Прежде чем определить эволюцию дисциплинарного интереса социально-культурной антропологии к политическому, попробуем определить, что есть политика в широком смысле слова. Интересно, что классики политической антропологии, М. Фортес и Э. Эванс-Причард, создавшие под своей редакцией коллективный труд «Африканские политические системы» (Evans-Pritchard, Fortes 1940), обошлись без определения, что есть политика, но тем не менее дали отличный образец анализа таксономии, структуры и функционирования политических систем и, отчасти, самого политического процесса. Авторы коллективного труда «Политическая антропология», опубликованного в 1966 г. под редакцией Марка Шварца, Виктора Тернера и Артура Тедена, уже сделали попытку определить, что есть политический процесс и политика, и их рассуждения остаются полезными. По крайней мере, впервые столь явно словарь исследователей обогатился такими понятиями, как «конфликт», «борьба», «политическая арена» («политический процесс», «динамика», «интерес»). Впервые антропологи стали отходить от статичного видения политической системы или культуры и обращать внимание на то, как различные группы и партии оперируют и даже манипулируют разного рода мифическими верованиями и символами для достижения своих интересов. Политически значимые верования, ритуалы и символы стали рассматриваться не только как глубокие структурные архетипы политического, но и как динамичный процесс повседневной социальной жизни, а также исследоваться в контексте конструи-

---

* Статья является продолжением публикации: Социальная антропология: профессия и призвание. Интервью с проф. В.А. Тишковым // Журнал социологии и социальной антропологии. 2001. № 4. С. 5–34.

рования новых групп и коалиций и их новых взаимоотношений.

Этот перенос интереса со статики и синхронности морфологических типов «политической системности» на динамику и диахронию меняющихся обществ был крайне важным и плодотворным. Он помог подвергнуть сомнению одержимость прежней антропологии повторяемостью, укоренённостью и цикличностью эволюции социальных структур, своего рода утопию культурно обусловленного баланса и даже гармонии «традиционных обществ», при которых почти не оставалось места разрыву с «традиций» или ее радикальной смене. Безусловно, современные антропологи, работая в сложных обществах, где этнические и религиозные различия, экономическое неравенство, политическая и правовая гетерогенность сосуществовали в границах изучаемых сообществ, больше уже не могли игнорировать существование важнейших социально-культурных асимметрий ради поиска доказательств органически функционирующих и строго интегрированных систем. В центре антропологии оказался более широкий спектр социальной жизни с ее сложностью, меняющимся разнообразием, слабым компонентным взаимодействием (и тогда, когда в СССР разрабатывалась «компонентная» теория этноса!), конфликтами и разной степенью консенсуса вплоть до отсутствия такового вообще.

Именно при таком взгляде этнографическое «поле политики» (или «политическое поле») как культурный процесс и культурное действие оказалось гораздо более интригующим исследовательским горизонтом, чем это позволяла антропология «древних и вечных» политических систем в виде мифологем, подобных «военной демократии». Появились более глубокие разработки ключевых элементов политического процесса как, например, принуждение и его разновидность-сила, поддержка и легитимность, политический статус, официальность, принятие решения, составляющие власти, принуждение и влияние, мобилизация, конфликты и их решение.

В 1980-е гг. британскими антропологами была инициирована работа в области изучения организаций в рамках Британской ассоциации социальной антропологии по изучению политики и практики (British Association for Social Anthropology in Policy and Practice), одним из итогов этой работы стало издание фундаментального труда «Антропология организаций» (Anthropology of Organizations 1994).

Подлинное переосмысление политической антропологии произошло в последнее десятилетие, особенно усилиями европейских социальных антропологов, координирующих свои исследования в рамках созданной в 1990 г. Европейской ассоциации социальных антропологов (European Association of Social Anthropologists) – EACA. Одним из заметных событий стала публикация под редакцией британских ученых Крис Шор и Сюзан Райт книги Антропология политики, основанной на материалах сессии «Политика, мораль и искусство управления» в рамках очередного съезда EACA в г. Осло в 1994 году (Anthropology of Policy 1997).

Отечественная традиция

Я не буду делать глубокого экскурса в историю отечественной этнографии, для которой политическая антропология не была приоритетным исследовательским доменом по ряду причин. Если говорить о нынешнем поколении, то большой вклад в разработку политической антропологии и понятия политического внесли многие российские этнологи, особенно С.А. Арутюнов, Ю.В. Бромлей, Л.Е. Куббель, А.И. Першиц, Ю.И. Семенов, В.А. Шнирельман, А.А. Никишенков, В.В. Бочаров, Н.М. Гиренко, В.А. Попов, С.В. Чешко, Л.М. Дробижева, М.Н. Губогло и др. В самые последние годы петербург-

ский «Журнал социологии и социальной антропологии» публикует статьи по данной тематике, а на кафедре культурной антропологии и этнической социологии факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета читается курс «Политическая антропология». Автор этого курса В.В. Бочаров, как и другие российские специалисты, справедливо отмечает, что возникновение в мировой науке политической антропологии как относительно самостоятельной субдисциплины было по сути дела теоретическим обобщением европейского (прежде всего, британского) опыта по организации управления колониальными территориями (Бочаров 1998: 7). Вполне естественно, что аналогичные проблемы управления огромными евразийскими территориями, населенных «инородцами» стояли и перед российскими властями; казалось бы тождественный общественно-исторический опыт должен был продлить не только сходные проблемы, но и сходные подходы и потребности в экспертизе. Однако отражение колонизационного процесса в научно-теоретическом сознании России отличалось от «западного» варианта. «Одним словом, если колониальный процесс на Западе привел к осознанию обществом и государством необходимости развития антропологии, прежде всего как прикладной дисциплины, что впоследствии привело к образованию крупнейших научных школ в антропологии, которые возглавлялись людьми, непосредственно принимавшими участие в колониальном процессе, то в России, казалось бы, тот же общественно-исторический опыт ничего подобного не породил. Если в западной традиции возник даже специальный институт «государственного антрополога», в задачи которого входило консультировать чиновника-практика в принятии последним решений по управлению инокультурным населением, а исследования теоретиков также финансировались колониальными властями, то в России крупнейшие этнографы (антропологи) зачастую сами являлись политическими оппонентами правящей власти» (Обычное право 1997: 2).

Действительно, русская крестьянская община изучалась оппозиционными царизму «народниками», а бывший народоволец и политический ссыльный В.Г. Богораз стал одним из классиков отечественной антропологии. Политическим оппонентом власти был и другой классик отечественной антропологии В.Я. Штернберг. Однако придавать отечественной антропологической традиции «антигосударственный статус», включая и советское время, было бы упрощением. Начиная от Миклухо-Маклая, Снесарева, Чокана Велиханова, Тенишева и заканчивая советской этнографией, отечественная этнография пребывала на государственном коште и прилежно пеклась о государственных интересах, снабжая власть и публику необходимым знанием о разных культурах и даже инициируя проекты приобретения новых заморских колоний, как это делал, например, Миклухо-Маклай.

Политика в антропологической перспективе

Прежде всего, в отличие от историографии и политологии, антропология обращает больше внимания на политический процесс, чем на политическое событие, и на такую форму человеческой активности, которая носит больше публичный, чем частный характер. Уровень данной публичной активности может распространяться от соседской общины до страны или даже мировых регионов, чем мало занималась прошлая политическая антропология, в центре внимания которой были главным образом структурированные и гомогенные общества. Политика характеризуется обязательным наличием целей, точнее, групповых целей, хотя индивидуальные, частные цели и интересы постоянно присутствуют и да-

же могут определять групповые, особенно если речь идет об интересах лидеров, которые формулируют цели от имени группы. Такими целями может быть достижение новой системы межгрупповых отношений или отношений группы с институтами, с которыми они находятся в фундаментальных связях (например, государство). Чаще всего – это борьба за статус и ресурсы, независимость, ведение войны или достижение мира, распределение должностей, титулов и ролей, за которые происходит постоянная конкуренция между членами группы или между представителями разных групп в едином политическом пространстве. Политика чаще всего направлена на устранение разногласий и споров в конкурентном мире групповых человеческих отношений, но она же может иметь целью и создание таких разногласии и конфликтов. Таким образом, «слово "политическое" можно применить ко всему, что носит публичный характер, содержит целеполагание и включает вопрос о властных полномочиях и контроле среди отдельных индивидов определенного общества или группы», а изучение политики в данном случае есть «изучение процессов, которые сопровождают определение и достижение публичных целей с использованием власти членами группы, которые стремятся к достижению данных целей» (Political Anthropology 1966).

Это лишь самое общее определение политического, но оно позволяет социальной антропологии не ограничиваться только изучением политических институтов своего рода цикличных или статичных обществ в структурно-функциональных терминах, чем антропология занималась многие десятилетия. Здесь возможен перенос внимания с «общества» на политическое «поле» в пространственно-временном континууме, т. е. в историческом времени. «Политическое поле не действует подобно часовому механизму, где все части подогнаны с абсолютной точностью. Скорее, это поле напряжения, заполненное изощренными и определившимися антагонистами, одиночными или корпоративными, которые руководствуются амбицией, альтруизмом, собственным интересом и желанием общего блага и которые в цепи различных ситуаций связаны друг с другом собственным интересом или идеализмом, или разделены и противостоят друг другу по тем же самым мотивам» (Political Anthropology 1966: 8).

Таким образом, отдавая должное классическим исследованиям эволюции политических обществ (политогенез), политической антропологии колониальных сообществ и «конфликту культур», структурно-функциональной теории политических систем, которые занимали ведущие позиции до 1960-х гг. XX в., мы хотели бы предложить ряд новых направлений в области политической антропологии, которые могут существенно обогатить объяснительные ресурсы современной науки применительно к современным обществам.

О глобальном этноландшафте

Во-первых, при изучении сложных политий, какими являются современные общества-государства, крайне важно исследовать не только основополагающие конституционно-типологические конструкции и процедуры, чем больше занимаются политологи, а промежуточные, дополнительные и параллельные политические структуры и их отношение к «формальной власти». Применительно к России, где сосредоточен наш основной интерес, и к другим странам огромную важность, например, представляет политика этничности и этнических элит, проблема лидерства и соперничества, особенно в ситуации быстрых институциональных перемен, насыщенных противоречиями и конфликтами. Именно поэтому при рассмотрении ряда фундаментальных современных процессов мы обращаем внимание на роль индивидуальных акто-

ров социального пространства, на частные стратегии людей, на процесс принятия решений на политической арене, на политические импровизации и выбор проектных сценариев.

Параллельно с этим новейшие тенденции обозначили плодотворность диалога историков и антропологов, прежде всего, тем, что в отличие от экономистов и социологов, социальные историки помогли увидеть «молчаливую историю» или «людей без истории», если использовать название книги недавно скончавшегося выдающегося антрополога и историка Эрика Вулфа (Wolf 1982). Здесь одной из главных тем политической антропологии стала сфера взаимодействия государственной политики, гегемонии власти или отдельных групп и формы сопротивления, которые в свою очередь породили нестабильность, экстремизм, гражданские войны, насилие, террор. Под влиянием А. Грамши и других авторов темы гегемонии и сопротивления (особенно на уровне низовых стратегий и повседневной практики людей) стали настолько популярными среди нового поколения антропологов, что в последнее время вызвали своего рода ответную реакцию – а именно, интерес к «порядку», о котором когда-то писали еще Э. Дюркгейм и А. Рэдклиф-Браун. Рассматривая темы насилия, экстремизма и сепаратизма, мы также приходим к выводу, что социальный порядок среди человеческих сообществ первичен по отношению к форме, в которой он осуществляется (старая, но сохраняющая свое значение формула Сэмюэля Хантингтона).

Современная политическая антропология отдала дань таким глобальным концептам социальных наук, как империализм и (пост) колониализм. Имперская парадигма гуляет сегодня по страницам текстов, посвященных посткоммунистическому миру, пытаясь представить недавно существовавшие «социалистические страны» как «колониальные империи» и тем самым ослабляя объяснительные модели того, что произошло в последнее десятилетие на территории бывшего СССР. Вызвавшая в свое время восторженный отклик критика Эдвардом Саидом европоцентристской формы репрезентации истории и культуры «других народов» (Said 1978) и его призыв создавать собственные «аборигенные» историко-этнографические версии сегодня уже воспринимаются с определенной осторожностью. Ибо более внимательный анализ показывает, что так называемая имперская (или колониальная) этнография далеко не всегда носила монолитно-патерналистский характер. Тем более этого нельзя сказать об отечественной (русской и советской этнографии), имеющей бесспорные заслуги в изучении и сохранении культурного многообразия страны. Не были безмолвными клиентами и так называемые «подчиненные народы», активно участвовавшие как в культурном диалоге, так и в научном осмыслении собственных культур, по крайней мере в XX в.

Современная политическая антропология включила в свой арсенал не только вопросы социальной истории повседневности и политическую экономику, но и вопросы «символического капитала», массовых информационных воздействий и неформальных сообществ как важнейших элементов политического поля и системы власти, а также самого существования культурно сложных сообществ (национальных и транснациональных). Соединение мифопоэтики и политики позволяет открыть новую сферу политической антропологии – сферу символического действия и воздействия (управления) (Modernity 1993). В этой связи мой парадоксальный вопрос «Выиграет ли российская армия войну в Чечне у CNN и BBC?» на самом деле не столь далек от политико-антропологического анализа. Наконец, вслед за Мишелем Фуко, мы обращаем внимание на особую связь между доменом власти и властью знания, когда в обществах массовой образованности, какими являются все постсоветские государства,

антропологический анализ не может игнорировать исключительную роль интеллектуальных элит и часто определяющее значение их субъективных предписаний для политического поведения остального населения.

Библиография

Бочаров 1998 – Бочаров В.В. Политическая антропология и общественная практика // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1. № 2.

Обычное право 1997 – Обычное право народов Сибири / Отв. ред. Ю.И. Семенов. М.: Изд-во МГУ, 1997.

Пугачев 1999 – Пугачев В.П. Политология. М.: Аст/Слово, 1999.

Anthropology of Organizations 1994 – Anthropology of Organizations / Ed. Susan Wright. London: Routledge, 1994.

Anthropology of Policy 1997 – Anthropology of Policy. Critical Perspectives on Governance and Power / Eds. Cris Shore, Susan Wright. London: Routledge, 1997.

Evans-Pritchard, Fortes 1940 – Evans-Pritchard E.E., Fortes M. African Political System. London: Oxford University Press, 1940.

Modernity 1993 – Modernity and its Malcontents Rituals and Power in Postcolonial Africa / Eds. Jean Comaroff, John Comaroff. Chicago, 1993.

Political Anthropology 1966 – Political Anthropology. Introduction / Eds. M. Swartz, V. Turner, A. Tuden. Chicago: Aldine, 1966.

Said 1978 – Said E. Orientalism. London: Routledge, 1978.

Vincent 1990 – Vincent J. Anthropo1ogy and Politics, Traditions and Trends. Tucson: University of Arizona Press, 1990.

Wolf 1982 – Wolf E. Europe and the Peop1e without History. Berkeley: University of Ca1ifornia Press, 1982.

А.Н. Ямсков

Отечественная этноэкология: история становления и развития

В последние советские десятилетия Институт этнографии АН СССР ярко выделялся в ряду академических учреждений тем, что многие его сотрудники активно работали в различных направлениях междисциплинарных исследований, зачастую внося решающий вклад в их появление и первоначальное развитие в нашей стране (*подробнее см.*: Комарова 2012: 8–9). Но даже на этом фоне особое место занимает история становления этнической экологии, или этноэкологии. Возникновение и начальные этапы развития этой области знаний происходили практически исключительно благодаря усилиям многих ведущих ученых из ИЭ АН СССР. Более того, появление предшествовавших ей направлений исследований, создавших саму возможность для последующего формирования на их основе этноэкологии, также почти целиком связано с именами известных специалистов из Института этнографии АН СССР. Этноэкология, появившаяся и в начале развивавшаяся, с организационной точки зрения, в рамках этнографии (этнологии), уже в конце XX в. уверенно вышла за ее пределы, заняв прочное место в ряду эколого-географических дисциплин, будь то учебных предметов в университетах (Мягков 2001: 19; Прохоров 2008: 7, 11) или же областей исследований (Рагулина 2010; Реймерс 1994: 16–17; Туровский 2001: 89).

На каком научном фундаменте сложилась этноэкология и кто именно создавал методологические основы будущей этнической экологии, как появилось рассматриваемое нами междисциплинарное научное направление и кто стоял у его истоков, определяя первые задачи и исследовательские приоритеты? Часть ответов на вышеуказанные вопросы дал сам основоположник этого направления – профессор Виктор Иванович Козлов в справочно-обзорной статье (Козлов 1988: 93–94) и монографии (Козлов 1994: 59–61, 97–112), хотя законченной и однозначной версии там нет. Ранее мне доводилось уже кратко излагать собственные взгляды на основные вехи истории этнической экологии (Ямсков 2009b: 139–140) и ее понятийно-терминологический аппарат, задачи и методы (Ямсков 2009a: 90–92), так что высказанные тогда положения будут представлены ниже в расширенном виде.

О недавнем прошлом или современном состоянии этноэкологии в Институте этнологии и антропологии РАН можно также узнать из историографических и аналитических обзоров, прямо касающихся этой дисциплины (Дубова 2011; Комарова 2005), а ниже речь пойдет в первую очередь об истории и даже о предыстории данного научного направления. Часть текстов, в том числе ставших классическими, и краткое изложение истории Сектора этноэкологии ИЭА РАН представлены на тематическом сайте «Этническая экология»: www.ethnoecology.ru (*подробнее о целях создания этого сайта см.*: Ямсков, Дубова 2012). Это существенное уточнение, так как я, вероятно, в недостаточной мере отразил вклад в науку коллег по Сектору (кроме В.И. Козлова), ибо десятилетия совместной работы, в том числе в поле, и товарищеские отношения мешают мне быть объективным в этом случае. В конце концов, о научном работнике лучше всего говорят его публикации, так что на нашем сайте каждый желающий может сам оценить труды и роль коллег в разработке этноэкологической тематики.

Интересно также отметить, что в конце советского периода этноэкология воспринималась все еще неоднозначно, если иметь в виду ту часть научного этнографического сообщества, которая прямо не участвовала в ее развитии. Так, некоторые известные специалисты говорили о ней как об уже сформировавшемся и важном в научном плане направлении (Тишков 1988: 3). Однако другие ведущие этнографы в обзорной статье о «советской этнографической школе» про этническую экологию даже не вспомнили, хотя при этом упомянули практически все области междисциплинарных исследований, включая, например, этническую ономастику (Вайнштейн, Крюков 1988: 122–123). Тем не менее отдельная статья об «этнической экологии» в том же самом выпуске «Свода этнографических понятий и терминов» присутствовала (Козлов, 1988).

Как известно, сам термин «этническая экология» и, одновременно с ним и как его синоним, «этноэкология», были введены в отечественную науку В.И. Козловым в его программной для этого направления статье (Козлов 1983). Но что еще важнее, в ней было также дано определение этой «научной дисциплины», очерчен круг задач и предложены методы проведения этноэкологических исследований. По мнению В.И. Козлова, этноэкология «ставит своей задачей изучение особенностей традиционных систем жизнеобеспечения этнических групп и этносов в целом в природных и социокультурных условиях их обитания, а также влияния сложившихся экологических взаимосвязей на здоровье людей; изучение специфики использования этносами природной среды и их воздействия на эту среду, традиций рационального природопользования, закономерностей формирования и функционирования этноэкосистем» (Козлов 1983: 8). Впоследствии он практически не изменил это определение, убрав лишь из него «традиции рационального природопользования» и добавив к здоровью еще и «естественное воспроизводство» (Козлов 1994: 65). Первоначальный или, что реже, последующий варианты определения этноэкологии через ее исследовательские задачи получили самое широкое распространение и признание.

И еще одно предварительное уточнение – как и любое научное направление, в особенности междисциплинарное, этноэкология имеет довольно долгую предысторию, или этап формирования областей исследований, предшествовавших ей во времени, но связанных концептуально. Именно понятия, задачи и методы из этих областей знаний стали необходимым условием для рождения этнической экологии, так как послужили фундаментом или важнейшими элементами для создания собственно этноэкологического понятийно-терминологического аппарата и концепций и формулирования исследовательских приоритетов этого нового научного направления. Задача данной работы – обратить внимание читателя на элементы интеллектуальной преемственности между собственно этноэкологией и предшествовавшими ей дисциплинами. Можно было выбрать и противоположный подход, акцентируя внимание на моментах опровержения или отторжения соперничающих или высказанных ранее положений (*пример такого рода, касающийся лишь одного из научных понятий, см.*: Ямсков 2009а). Однако и при такой ориентации этой статьи все равно осталось бы главное – очень большая, часто определяющая, хотя и косвенная, роль предшествующих гипотез и концепций, в спорах с которыми или отталкиваясь от которых, рождался концептуальный и понятийно-терминологической аппарат этноэкологии.

Предыстория этнической экологии

Уже в первой статье, обосновывая целесообразность выделения этноэкологии как

особой «стыковой» дисциплины и определяя ее задачи, В.И. Козлов отмечал, что к сходным проблемам этнографы обращались или хотя бы частично их затрагивали и прежде (Козлов 1983: 3). Он называет при этом изучение хозяйственно-культурных типов (М.Г. Левин, Н.Н. Чебоксаров), исследования по культурной адаптации (С.А. Арутюнов, Ю.В. Бромлей), разработку концепций антропогеоценоза (В.П. Алексеев) и этноэкосистемы (последний термин ввел И.И. Крупник, о чем пойдет речь ниже), а также изучение феномена популяционного долгожительства под научным руководством В.И. Козлова. Собственно, это и есть перечень тех областей или направлений исследований отечественных этнографов и антропологов, из которых впоследствии выросла этноэкология, включив в себя или творчески переработав появившиеся там впервые концепции и понятия. Позднее В.И. Козлов прямо назвал их предшественниками, или «первыми подходами к этнической экологии» (Козлов 1988: 93–94).

Таким образом, предыстория этнической экологии – это разработка таких концепций, как: 1) хозяйственно-культурные типы и историко-культурные области; 2) культура как способ адаптации этнических сообществ к условиям природной и социальной среды (включая представления о культуре жизнеобеспечения, экофильных и экофобных чертах культуры и т. д.); 3) атропогеоценоз или этноэкосистема (т. е. представления о местных сообществах с традиционной культурой как компонентах единой экосистемы, связанных с другими ее биотическими и абиотическими компонентами, прежде всего потоками вещества и энергии, проходящими по пищевым цепям); 4) популяционное долгожительство как индикатор успешности адаптации местного сообщества к природным и социальным условиям (и шире – представления о медико-демографических показателях как оптимальных индикаторах степени адаптации или дезадаптации населения к сложившимся условиям жизни). До того как перейти к истории собственно этнической экологии, стоит вкратце рассмотреть, когда и как сформировались эти области исследований и, главное, что именно они дали этноэкологии.

Концепция хозяйственно-культурных типов и историко-культурных областей во многом близка концепции или методологии «культурной экологии» Дж. Стюарда, с которой обычно отсчитывается появление американской экологической антропологии (Ямсков 2011: 42–44). Они не только получили окончательное оформление в публикациях в один и тот же 1955 год, но и схожи по сути – элементы культуры, по которым определяется ее вхождение в тот или иной хозяйственно-культурный тип (ХКТ), вполне аналогичны «культурному ядру» Стюарда, тогда как явления, позволяющие отнести эту же культуру к какой-либо историко-культурной области (ИКО), практически точно соответствуют «вторичным» или периферийным элементам культуры по Дж. Стюарду (Steward 1955: 37).

Иными словами, через концепцию ХКТ раскрывается культурная дифференциация человечества, являющаяся следствием неоднородности земной поверхности по природным условиям и обеспеченности природными ресурсами, что приводит к различным результатам культурной адаптации в сфере хозяйства, пищи, одежды и жилища и т. п., то есть к появлению разных ХКТ. Концепция ИКО отражает культурную дифференциацию человечества, являющуюся следствием вариаций в пространственно-временных условиях взаимодействия между отдельными народами, то есть различий в их пространственной близости друг к другу и в длительности культурных контактов между ними. Эти различия приводят как к возникновению достаточно мощного общего пласта культуры, в основном в соционормативной и гуманитарной

сферах, в границах одной ИКО, так и к почти полному отсутствию общих культурных явлений у народов из различных, особенно пространственно отдаленных ИКО.

В трактовке, очень близкой к современной, понятие ХКТ впервые появилось в 1947 г. (Левин 1947), а в 1955 г. окончательное оформление получили взаимодополняющие понятия ХКТ и ИКО, хотя последняя первоначально чаще именовалась «историко-этнографической областью» (Левин, Чебоксаров 1955). По сложившейся традиции, прообраз понятия ХКТ обычно находят у С.П. Толстова (Толстов 1932: 31–33; *подробнее о предшествующих понятиях и концепциях см.*: Андрианов, Чебоксаров 1972: 4–6). Но как минимум не менее существенный вклад внес В.Г. Богораз-Тан, который еще в конце 1920-х гг. выделял «этногеографические зоны», фактически аналогичные ареалам распространения ХКТ, и в них – отдельные «типы культуры» или «формы культуры», весьма близкие по содержанию к ХКТ (Богораз-Тан 1928: 122). В тундрах, лесотундрах и на северной границе тайги Евразии, например, он отмечал «сухопутных охотников» на окраинах тайги, «речных рыболовов» в устьях больших рек, «оленеводов» в тундре и лесотундре и «охотников за морским зверем» на побережьях морей и островах (Богораз-Тан 1928: 122–123). Это фактически полностью соответствует ХКТ данных территорий, если, конечно, отвлечься от терминологии (*см., например*: Андрианов 1985: карта на форзаце).

Собственно, уже при своем возникновении понятие ХКТ имело заметное экологическое содержание, хотя в первую очередь выступало как классификационная и, надо признать, не очень строгая категория. Но по мере того, как идеи экологии проникали в советское общество и в науку, «экологизировалось» и оно (см., например: Андрианов, Чебоксаров 1972: 8–9), становясь все более приемлемым для этноэкологических исследований.

Однако решающий перелом в этом плане произошел благодаря усилиям В.П. Алексеева, который, по сути, радикально пересмотрел содержание этого понятия, превратив его в классификационную категорию для отображения существенных характеристик однородных антропогеоценозов (Алексеев 1984: 376, 383). Опираясь на эти мысли В.П. Алексеева и логически продолжая их, но заменив его термин «антропогеоценоз» на «этноэкосистему», можно прийти к следующим выводам. Территория распространения определенного ХКТ складывается из освоенных территорий однотипных этноэкосистем, хозяйственно-культурное своеобразие ХКТ – это обобщение своеобразия адаптивных функций культуры хозяйственных коллективов (общин) из однотипных этноэкосистем, а носители ХКТ – совокупность членов хозяйственных коллективов, входящих в однотипные этноэкосистемы. Впрочем, это переосмысление понятия ХКТ и его превращение в один из элементов понятийно-терминологического аппарата этноэкологии произошло уже после оформления последней в качестве отдельного научного направления.

Концепция ХКТ и ИКО – одно из важнейших теоретических достижений советской этнографии. Например, в зарубежной этнологии или культурной антропологии таких детальных и обоснованных классификаций не было создано. Хотя там в итоге тоже пришли к сходным выводам, группируя в учебниках традиционные культуры в определенные «системы обеспечения средствами существования» (*subsistence systems*) типа кочевого скотоводства или подсечно-огневого земледелия (*см., например*: Netting 1986), что по сути копирует ХКТ. Попытка же учесть все или по возможности большинство компонентов культуры в единой классификационной схеме, представленная исследованиями американской школы «культурных ареалов» (*culture area*) первой половины – середины XX в.,

успеха не принесла (*см. подробнее*: Чеснов 1976). Ведь при этом игнорировался факт принципиальной неоднородности любой культуры, лишь часть элементов которой выполняет функции адаптации к условиям и ресурсам природной среды и потому в своем географическом распространении зависит от последних. Появление культурной экологии Дж. Стюарда преодолело эту ошибочную методику, но последователи Стюарда и других направлений экологической антропологии, как правило, принципиально не интересовались вопросами классификации и типологии культур, ориентируясь прежде всего на конкретные исследования отдельных сообществ.

Концепция культуры как механизма и результата внебиологической групповой адаптации к условиям окружающей среды, являющаяся методологической основой этноэкологии, появилась в советской науке во многом благодаря философу и культурологу из Еревана Э.С. Маркаряну. Начав, по его словам, в 1969 г. определять культуру как способ организации человеческой деятельности, он к 1978 г. сформулировал положение, что ведущей функцией культуры является адаптивная (Маркарян 1983: 17, 35). Особую роль в выявлении и популяризации в этнографическом сообществе экологически значимых функций культуры сыграли масштабные полевые исследования 1976 и 1978 гг. в Армении. Они проводились армянскими философами-культурологами и этнографами при активном участии и под руководством Э.С. Маркаряна и С.А. Арутюнова и завершились публикацией коллективной монографии (Культура жизнеобеспечения 1983), сыгравшей весомую роль в развитии теории этнографии в целом и этноэкологии в частности. Член этого творческого коллектива Ю.И. Мкртумян сформулировал также методологически важное предложение разделять многообразие элементов культуры по их функциям в организации жизни общества на культуру первичного производства, жизнеобеспечения, соционормативную и гуманитарную (Мкртумян 1978: 44).

Правда, ровно за полвека до него близкий взгляд на компонентный состав культуры высказал В.Г. Богораз-Тан. Как он отмечал, можно выделять «культуру материальную» («пища, жилище, одежда»; «промыслы», или отрасли хозяйства; «разнообразные орудия» труда и производства), «духовную культуру» (религия, искусство, язык), «социальную культуру» (Богораз-Тан 1928: 45, 47, 49–50). По сути, это те же самые компоненты культуры, и, хотя «жизнеобеспечение» и «первичное производство» у Богораз-Тана объединены, он четко указывает на их внутреннюю дифференциацию. К сожалению, эти идеи В.Г. Богораз-Тана не получили развития и были по существу незаслуженно забыты.

С.А. Арутюнов, полностью разделяя и продолжая развивать положения о компонентной структуре культуры и ее приоритетных адаптивных функциях, разработал, в частности, два важнейших для этноэкологии сюжета – о составе «культуры жизнеобеспечения» и ее роли в процессах адаптации к условиям среды обитания (Арутюнов, Мелконян 1983; *подробнее см.*: Арутюнов 1989а) и о возможности выделения «экофильных» и «экофобных» явлений культуры по их влиянию на экологические последствия деятельности людей (Арутюнов 1980; *подробнее см.*: Арутюнов 1989б: 240–241). В.И. Козлов, формулируя свои представления об этноэкологии, ее приоритетных задачах и основных понятиях, полностью принял второе из предложений С.А. Арутюнова, но резко критически отнесся к первому, и во многом именно в ходе полемики с ним разработал собственное понимание «жизнеобеспечения» (Козлов 1983: 12–13, 14; *см. подробнее*: Козлов 1994: 61, 77–80; *см. также об этом*: Ямсков 2009а).

Концепция этноэкосистемы появилась в диссертации И.И. Крупника (Крупник

1977: 4–5) и, как он отмечал, является прямым продолжением идей В.П. Алексеева об антропогеоценозе (Алексеев 1975). В.П. Алексеев трактовал антропогеоценоз как систему, структурными компонентами которой являются «хозяйственный коллектив, его производственная деятельность, эксплуатируемая территория» (Алексеев 1975: 20; *подробнее см.*: Алексеев, 1984). При этом ведущими характеристиками хозяйственного коллектива являются численность и демографическая структура, а производственная деятельность описывается через знания и навыки его членов, их орудия и производительность труда. В.П. Алексеев не дал описания эксплуатируемой территории. Но так как указанные им компоненты «объединены функциональными связями – информационным полем, энергетическими импульсами, пищевыми и производственно-хозяйственными цепями» (Алексеев 1975: 23), то речь может идти об участке физико-географической среды с определенными природными условиями и ресурсами – источниками сырья для производства пищи, топлива и элементов материальной культуры (жилищ, одежды, орудий труда и т. п.). И.И. Крупник, дополнив данную модель и видоизменив терминологию, в качестве компонентов этноэкосистемы назвал «хозяйственный коллектив, освоенную территорию, популяции домашних животных, хозяйственно-бытовой инвентарь» (Крупник 1989: 24–25). Основное внимание он уделил анализу вещественно-энергетических связей изучаемого сообщества со средой, проявляющихся в форме пищевых цепей, и изучению хозяйственной деятельности, обеспечивающей функционирование этих пищевых цепей. Кстати, можно предложить и более детальный вариант структуры этноэкосистемы, определяющей возможные задачи изучения последней (Ямсков 2009б: 134–136).

Предложенная В.П. Алексеевым концепция «антропогеоценоза» сыграла ведущую роль в проникновении экосистемного подхода в отечественные этнологические исследования и тем самым была важнейшей вехой на пути к появлению этноэкологии с ее задачей «изучения <…> закономерностей формирования и функционирования этноэкосистем» (Козлов 1983: 8). Кстати говоря, в начале – середине 1970-х гг. появилась целая серия понятий такого рода: антропобиогеоценоз В.П. Казначеева, санэкосистема Б.Б. Прохорова, демэкосистема Е.И. Игнатьева, демоэкологическая система В.С. Преображенского и Т. Д. Александрова, антропоэкосистема Е.Л. Райх (Райх 1984: 28). В наши дни общеупотребительным и самым общим по смыслу стало последнее их них, и структура антропоэкосистемы ныне детально описана (Прохоров 1998: 7–22). Этноэкосистема – частный случай антропоэкосистемы, она имеет вполне определенный масштаб (ее территориальные границы определяются землепользованием конкретного местного сообщества) и может в полной мере применяться лишь при анализе доиндустриальных обществ, основанных на традиционных или близких к ним системах природопользования.

Отказ от предложенного В.П. Алексеевым термина «антропогеоценоз» в пользу «этноэкосистемы», появившейся в работах И.И. Крупника, был связан, видимо, со следующими обстоятельствами (*см. также*: Ямсков 2009б: 132–134). Во-первых, об «этноэкологических системах» писал, ссылаясь на ранние работы И.И. Крупника, академик Ю.В. Бромлей, возглавлявший тогда Институт этнографии АН СССР (Бромлей 1981: 254), и его авторитет и статус сделали свое дело. Во-вторых, большую роль в этом сыграла основополагающая статья В.И. Козлова, зафиксировавшая задачу изучения именно «этноэкосистем» (Козлов 1983: 8).

Между прочим, в советской этнографии первые идеи о человеческом сообществе как о части экосистемы, связанной с други-

ми ее частями потоками вещества и энергии, появились гораздо раньше, в трудах Л.Н. Гумилева, писавшего так о «биоценозе» (Гумилев 1967). Позже он представил и полное описание структуры «антропоценоза»: люди, их культура – материальная и духовная, домашние животные, культурные растения (Гумилев 1971). Однако похоже, что из-за практически единодушного неприятия советскими этнографами идей Гумилева об этногенезе, пассионарности, этнической комплиментарности и т. п. эта весьма ценная в научном отношении часть его творчества была проигнорирована.

Исследования популяционного долгожительства у абхазов в 1978–1983 гг., научное руководство которыми осуществлял В.И. Козлов (Абхазское долгожительство 1987), позволило ему и его последователям, во-первых, осознать важность различных медико-демографических показателей локальной группы населения, а не только индекса группового долгожительства, в качестве убедительных индикаторов (не) успешности ее адаптации к природно-климатическим и социальным, в широком смысле слова, условиям жизни, а также выработать методы их определения или расчета. Позднее об этом как о демографических аспектах адаптации писала его коллега О.Д. Комарова, а также ученики, занимавшиеся вопросами этнологической или социально-этнологической экспертизы (В.В. Степанов, А.Н. Ямсков). Во-вторых, что главное, именно в ходе этого исследования сам В.И. Козлов начал разрабатывать свои представления о «жизнеобеспечении» или «системе жизнеобеспечения». Затем они легли в основу его понимания этноэкологии как дисциплины, призванной изучать прежде всего жизнеобеспечение (см. подробнее: Ямсков 2009а: 84–87). В-третьих, отсюда же появляется идея В.И. Козлова о комплексном характере адаптации к среде обитания, то есть о желательности изучения по возможности всех жизнеобеспечивающих функций культуры исследуемой группы населения и анализа биологических, медико-демографических и психологических аспектов ее адаптации. Позднее этот подход получил свое отражение в структуре теоретической части первого в стране тематического сборника по этноэкологии (Этническая экология 1991).

Этапы развития этноэкологии

Думаю, трудно не согласиться с тем, что новое научное направление появляется лишь тогда, когда возникает обозначающий его термин и появляется развернутое обоснование исследовательских задач и методов. Поэтому отсчет существования отечественной этноэкологии следует вести с 1983 г., когда была опубликована соответствующая статья В.И. Козлова (Козлов 1983). Подобный вывод прямо следует и из его справочно-обзорной статьи (Козлов 1988). Правда, впоследствии, учитывая долгую и богатую предысторию этого направления и высоко ценя вклад в науку своих коллег и предшественников, В.И. Козлов в докладе на Научной сессии, посвященной памяти академика Ю.В. Бромлея (Институт этнологии и антропологии РАН, 27 февраля 2001 г.), обозначил в качестве начала собственно этноэкологических исследований в нашей стране появление статей С.А. Арутюнова (Арутюнов 1980) и Ю.В. Бромлея (Бромлей 1981: 245–256). Но с этим, однако, вряд ли можно согласиться – это был лишь один из этапов предыстории этнической экологии, и отнюдь не более важный, чем разработка концепции хозяйственно-культурных типов или антропогеоценоза (этноэкосистемы).

Итак, на первом этапе своего развития этноэкология 1980-х гг. была фактически ограничена коллективом Института этнографии АН СССР, и принципиально важными событиями в стенах этого учреждения стали следующие.

Сектор этноэкологии издал тематический сборник (Этническая экология 1991), впервые в СССР специально посвященный проблематике этнической экологии. Особенно важно то, что в нем нашли свое отражение уже детально проработанная к этому времени В.И. Козловым концепция жизнеобеспечения (Козлов 1991), а также серия имеющих серьезную теоретическую составляющую статей его коллег по основным аспектам адаптации – демографическим (Комарова 1991), биологическим (Дубова 1991) и психологическим (Лебедева 1991). Время показало, что этот сборник нашел своего читателя: он упоминается теперь в большинстве учебных программ или масштабных исследований по этноэкологии.

Очень большое научное значение для данной области исследований имела монография И.И. Крупника, в которой он, кстати, полностью принял определение этноэкологии, данное В.И. Козловым (Крупник 1989: 11). Правда, основная пионерская работа И.И. Крупника по моделированию этноэкосистем и количественному расчету потоков энергии и вещества, связывающих сообщество людей с биотой освоенной ими территории, то есть его диссертация, появилась гораздо раньше (Крупник 1977). Однако выход в свет обобщающей монографии И.И. Крупника под названием «Арктическая этноэкология» (Крупник 1989) весьма способствовал укреплению позиций этого научного направления, и прежде всего среди исследователей этнографии народов Севера и Сибири. Кроме того, именно эта монография представила концепцию этноэкосистемы И.И. Крупника широкому кругу читателей, так как мало кто смог с нею познакомиться по тексту автореферата (Крупник 1977: 4–5) или его кандидатской диссертации.

Не менее важную роль для дальнейшего развития этноэкологии сыграла также монография С.А. Арутюнова, в которой он обобщил свои идеи о культуре жизнеобеспечения (Арутюнов 1989а) и общих вопросах культурной адаптации (Арутюнов 1989б). Столь же существенный вклад сделал и В.П. Алексеев, значительно расширивший и доработавший концепцию антропогеоценоза во взаимосвязи с концепцией хозяйственно-культурного типа и общими положениями об исторической эволюции хозяйства и общества (Алексеев 1984). То, что оба этих выдающихся ученых избегали употреблять сам термин «этноэкология», ничуть не умаляет их большого вклада в ее развитие и отражает лишь терминологические вкусы.

Пожалуй, самая удивительная черта этого первого этапа развития этноэкологии заключается в том, что, будучи ограничена рамками не столь уж большого по численности сотрудников Института этнографии АН СССР, она, тем не менее, формировалась в ходе острых научных дискуссий и явного соперничества лидеров этого направления. Прежде всего, в вышеназванных статьях, главах и книгах речь идет о полемике по поводу содержания понятия «жизнеобеспечение» между С.А. Арутюновым, В.И. Козловым и И.И. Крупником (*подробнее об этом см.*: Ямсков 2009а). Также явно отличались друг от друга представления И.И. Крупника об этноэкосистеме и В.П. Алексеева об антропогеоценозе (подробнее об этом см.: Ямсков 2009б).

Вероятно, этот период можно считать окончившимся ко времени выхода монографии В.И. Козлова (Козлов 1994), где он окончательно оформил свои взгляды на содержание и задачи этноэкологии, а также завершает дискуссии с С.А. Арутюновым и И.И. Крупником по поводу базового для него понятия жизнеобеспечения. Вместе с тем в ИЭА РАН завершается и формирование основанной В.И. Козловым особой научной школы в области этноэкологии, преимущественно на основе коллектива группы этнической экологии.

С середины 1990-х гг. начинается следующий важный этап в развитии этнической экологии, ознаменовавшийся ее выходом за пределы ИЭА РАН, а также новыми принципиально важными исследованиями сотрудников Института. Так, в ИЭА РАН закончил свое диссертационное исследование приехавший из Казахстана докторант Н.Э. Масанов, впоследствии возвратившийся домой. Его консультантами были С.А. Арутюнов и В.И. Козлов. Он опубликовал монографию (Масанов 1995), которая по своему влиянию на исследования этнографии и истории кочевников степной зоны Евразии и по стимулированию распространения в них этноэкологических подходов вполне сопоставима с тем, что сделал И.И. Крупник в этнографии Севера и Сибири. Хотя Н.Э. Масанов почти все фактические материалы привез с собой в Москву, в ИЭА РАН он самым активным образом знакомился с положениями этноэкологии и широко отразил их в своем труде, сделав по сути одной из методологических основ этой книги.

Весьма значимый вклад в развитие этноэкологии в этот период внес В.В. Степанов, совместно с коллегами из группы этноэкологии подготовивший коллективную монографию по этноэкологической экспертизе (Методы этноэкологической экспертизы1999). В этой книге, получившей признание специалистов, его перу принадлежит почти половина текста и в том числе принципиально важная теоретическая глава (Степанов 1999; *несколько иной подход к этой теме см.:* Ямсков 2006б). Сотрудники группы этноэкологии издали также коллективную (Русские старожилы 1995) и авторскую (Григулевич 1996) монографии, тем самым завершив публикацию серии из пяти книг по итогам исследований во второй половине 1980-х гг. адаптации русских переселенцев середины XIX в. (крестьян – молокан, духоборцев, субботников) в Азербайджане, Грузии и Армении. Но в основном эти издания о русских в Закавказье представляют интерес с точки зрения собранных в поле и представленных фактов, а не теоретических обобщений.

Отдельно необходимо упомянуть серию публикаций Г.А. Комаровой, очень интересных с фактологической и теоретической точек зрения. Она изучала разницу в реакциях отдельных групп полиэтничного (русские, башкиры, татары) сельского населения долины реки Теча на факт радиационного загрязнения этой реки (точнее – речного ила), детерминированных различиями в их бытовой современной культуре и религиозности. Ее статьи выходили с середины 1990-х гг. и завершились итоговой монографией (Комарова 2002).

В этот же период начинается активное использование этноэкологических подходов в исследованиях народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, но для их обзора потребовалось бы отдельное масштабное исследование, тем более что такого рода работы активно продолжались и в 2000-е гг., да и авторами их становились далеко не только сотрудники ИЭА РАН.

Но все же на этом этапе важнейшие изменения в положении этноэкологии происходят уже вне стен ИЭА РАН. Во-первых, этноэкологию начинают включать в свои теоретические разработки, касающиеся структуры или состава экологических знаний, многие специалисты естественнонаучного профиля, преимущественно биологи и географы, переходившие к исследованиям или преподаванию в области экологии, активно развивавшимся в тот период. Во-вторых, и это главное, в мае 1995 г. происходит институализация этноэкологии как составной части учебной дисциплины – «социальной экологии и этноэкологии» – в рамках государственного образовательного стандарта (ГОС) по специальности «Экология» (квалификация «Учитель экологии»). В ноябре 2000 г. в дополнение к ГОС появляется расширенный вариант, то есть примерная

программа этой же дисциплины, но уже в рамках естественнонаучного образования по профилю «Экология» и тоже при подготовке учителей. К сожалению, в середине 2000-х гг. подготовка учителей-экологов была свернута и эти ГОС и примерная программа – отменены. Но благодаря им автор этих строк, например, читает данный курс с 1997 г. в Московском городском педагогическом университете (Ямсков 2006а), в последние годы – как дисциплину, предлагаемую в рамках курсов Кафедры физической географии и геоэкологии. Несомненно, многие другие педагогические университеты тоже сохранили эту дисциплину в рамках резерва учебных курсов, разрабатываемых и предлагаемых по инициативе кафедр или факультетов.

Наконец, последний на данный момент и продолжающийся поныне этап в развитии этноэкологии начинается в первой половине 2000-х гг. В ИЭА РАН по-прежнему используются этноэкологические подходы во многих исследованиях по народам Сибири и Севера, в том числе появляются примеры проведенных этнологических экспертиз с очень сильной этноэкологической составляющей (*например*: Звиденная, Новикова 2010). Группа (сектор) этноэкологии выпустила восемь тематических сборников (*подробнее см.* на сайте «Этническая экология»: www.ethnoecology.ru), в том числе в составе начатой в 2009 г. серии «Этнос и среда обитания». Этноэкологические сюжеты становятся обычными и в работах других исследователей, работающих в академических и университетских центрах этнологического профиля по всей стране, и уже отнюдь не только тех, кто специализируется по этнографии Сибири и Севера. Не менее активны в сфере этноэкологии теперь экологи и географы, часто включающие соответствующие тематические разделы в свои публикации, а так как их в численном отношении в России намного больше этнологов, то центр тяжести этноэкологических исследований по сути начинает постепенно смещаться из этнологии в эти дисциплины.

Но наиболее яркой чертой этого периода является относительно массовое появление в университетах страны специализированных курсов по этноэкологии или же включение этноэкологической проблематики либо соответствующих тематических разделов в дисциплины эколого-географического плана. В качестве примеров такого рода можно назвать курсы, читаемые в МГУ этнологам (Ларина 2007) или географам и геоэкологам (Алексеева 2010), либо в Ставропольском государственном университете – географам и экологам (специальность «природопользование») (Этноэкология 2010). При самом поверхностном просмотре Интернета мне удалось обнаружить сведения о почти дюжине университетов, в которых читаются отдельные курсы по этноэкологии или сохранилась дисциплина «социальная экология и этноэкология» (наряду с Москвой и Ставрополем, это также Мурманск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа, Кызыл, Кемерово, Иркутск, Якутск, Чита), а ведь пока далеко не все учебные учреждения или преподаватели размещают в Интернете свои программы, особенно неопубликованные.

Еще одна важная новация последнего десятилетия – появление, особенно в городах и селах Поволжья, краеведческих центров для школьников, в которых важной, а то и приоритетной тематикой стала этноэкологическая (*см., например*: Волкова и др. 2011). И хотя школьное образование и педагогика лежат все же за пределами академической и университетской науки, эта тенденция тоже заслуживает быть отмеченной, так как подчеркивает популярность и широкое распространение этноэкологии в наши дни.

В целом можно заключить, что если какое-то научное направление проникло в университеты в качестве учебной дисциплины, то это можно считать самым убедительным доводом в пользу его реальной

востребованности обществом и хороших перспектив дальнейшего развития. К этноэкологии сказанное относится в полной мере.

Трактовка «этноэкологии» как междисциплинарной области знаний

Попробуем максимально обобщенно сформулировать возможную трактовку «этноэкологии» как междисциплинарной области знаний, или научного направления и учебной дисциплины, с учетом накопленных в науке за этот внушительный отрезок времени достижений и новаций (*см. также*: Ямсков 2006а: 114; Ямсков 2009а: 90–91).

В рамках общей экологии, или области экологических знаний, выделяется, наряду с биоэкологией и геоэкологией, также антропоэкология, посвященная изучению взаимодействия человека и общества с окружающей средой, то есть с ее биотическими, абиотическими и другими социальными компонентами. В свою очередь, антропоэкологию можно разделить на экологию человека, решающую те же задачи, что аутэкология и популяционная экология в составе биоэкологии, и социальную экологию, которая по своим исследовательским целям является аналогом синэкологии, то есть подхода, ориентированного на изучение экосистем, в биоэкологии. Вообще говоря, учитывая социально-культурную специфику человеческих обществ и вместе с тем факт существования биологического вида Homo sapiens, разделение на биоэкологию и антропоэкологию является общепринятым, вот только терминологически оно еще не устоялось. В подобном понимании антропоэкологию многие наши экологи предпочитают именовать экологией человека, считая социальную экологию ее частью (Прохоров 2008: 3, 7–8), а некоторые, напротив, вместо антропоэкологии используют в качестве обобщающего термин «социальная экология», выделяя в ее составе экологию человека (см. об этом: Прохоров 2008: 8). Как бы то ни было, этноэкология при этом понимается как часть социальной экологии либо как особое направление в рамках антропоэкологии, наиболее тесно связанное с социальной экологией.

Вероятно, можно считать, что социальная экология – это область междисциплинарного изучения экосистем с включенными в них и служащими фокусом исследовательского интереса человеческими обществами, то есть антропоэкосистем. Иными словами, ее предметом являются экологические связи между сообществом и другими компонентами экосистемы. Эта область знаний подразделяется на собственно социальную экологию «современных» (индустриальных и постиндустриальных) обществ и на этническую экологию доиндустриальных (докапиталистических), или «традиционных» и близких к ним обществ. Первая рассматривает экологическую специфику урбанизированной части современного человечества, в которой само общество как субъект взаимодействия с окружающей средой глубоко дифференцировано на многочисленные и имеющие различные потребности и интересы социальные группы, организации и институты. В таком обществе для каждого из составляющих его социальных объединений процессы взаимодействия с окружающей средой имеют фактически глобальный характер, распространяясь на всю биосферу Земли и определяясь в первую очередь социально-экономическим положением и властными возможностями членов этих объединений.

Вторая же социально-экологическая субдисциплина, то есть этническая экология, специализируется на анализе взаимодействия с природной средой различных «традиционных» и близких к ним сообществ земледельцев, скотоводов, рыболовов, охотников и собирателей. Субъектами

этого взаимодействия выступают общины или местные сообщества, то есть тяготеющие к самообеспечению средствами существования группы сельского населения с достаточно гомогенной культурой, которая обычно имеет в подобных доиндустриальных обществах выраженную этническую специфику. Эти общины полностью или почти полностью зависят от возобновимых природных ресурсов освоенных и контролируемых ими территорий. Естественно, изучение взаимодействий с природной средой таких местных сообществ требует применения иных концепций и понятий, чем в случае анализа связей с окружающей средой индустриально развитых и огромных по численности населения социумов, но исследовательские задачи и общие научно-методологические подходы в обоих случаях остаются одинаковыми.

Представляется, что ключевые понятия этнической экологии – адаптация и этноэкосистема (частный случай антропоэкосистемы). Основными задачами этноэкологического исследования являются изучение процессов и результатов культурной адаптации конкретного местного сообщества или особенностей функционирования включающей такое сообщество этноэкосистемы. Достигнутый изучаемым сообществом уровень адаптации, или адаптированность к условиям среды обитания, определяется по состоянию здоровья и демографическим особенностям этой группы населения. Задачи изучения культурной адаптации и функционирования этноэкосистемы в действительности тесно взаимосвязаны, так как сам факт достаточно длительного, то есть устойчивого существования определенной этноэкосистемы с входящим в ее состав сообществом людей доказывает их в целом успешную адаптацию.

Концепция устойчивого развития составляет одно из важнейших теоретических оснований этноэкологии, наряду с концепциями адаптации и этноэкосистемы (Ямсков 2006б: 31–39). Именно из нее вытекают представления о медико-демографических и иных количественных индикаторах устойчивого функционирования этноэкосистемы, то есть успешной адаптации соответствующей группы населения к физико-географическим и социально-культурным условиям окружающей среды.

Адаптация человека, как известно, является комплексным процессом, в котором биологические и культурные (иногда называемые социокультурными) составляющие взаимосвязаны в единое целое. Однако в исследовательских целях их приходится разделять, и в этноэкологических работах требуется фокусировать внимание именно на культурной составляющей адаптации, но также принимать во внимание и важнейшие биологические аспекты этого процесса в изучаемой группе населения.

В идеале изучение этноэкосистемы предполагает моделирование и количественный анализ потоков вещества, энергии и информации, проходящих по пищевым цепям и иным каналам вещественно-энергетических и информационных связей между ее основными компонентами, в первую очередь между человеческим сообществом и другими компонентами этноэкосистемы. Но возможен также и упрощенный вариант анализа отдельной этноэкосистемы или сопоставления этноэкосистем разных типов друг с другом, когда внимание исследователя обращено лишь на их качественные характеристики, такие как структура, сезонные вариации вещественно-энергетических связей между основными компонентами, особенности функционирования отдельных компонентов, и т. д. (*см. подробнее:* Ямсков 2009б: 134–136).

Исследования культурной адаптации проводятся на основе представлений о традиционной культуре как единой системе, в составе которой в аналитических целях могут быть выделены такие основные подсистемы (или компоненты), как культура при-

родопользования и расселения (близка по содержанию «первичному производству»), культура материального жизнеобеспечения (пища – одежда – жилище), соционормативная культура и гуманитарная культура. Объектом такого исследования может быть любой из этих компонентов культуры или даже его отдельная составляющая, а предметом – адаптивные функции анализируемой части культуры либо отражение в последней природных условий освоенной территории или адаптации к ним (Ямсков 2006а: 118). Изучение адаптивных функций культуры в сущности означает то же самое, что и исследование ее жизнеобеспечивающих функций, или «жизнеобеспечения» по В.И. Козлову (Козлов 1991), но, правда, без особого акцента на психологические аспекты последнего.

Важными понятиями этнической экологии являются также «экологическая ниша» и частично перекрывающийся с ней по содержанию, но далеко не совпадающий «хозяйственно-культурный тип». Их изучение тоже может быть обоснованно отнесено к сфере этноэкологических исследований, равно как и фиксация и анализ экологических знаний местного сообщества.

В целом отечественная этноэкология является аналогом широко распространенной в англоязычной науке экологической антропологии или культурной экологии, демонстрируя в ряде случаев прямые параллели в истории развития исследовательских методов и задач (подробнее см.: Ямсков 2011).

Заключение

Резюмируя сказанное выше, попробуем схематично определить основные этапы развития этноэкологии и их отличительные черты.

1. Предыстория (1950-е – 1970-е гг.): исследования хозяйственно-культурных типов, общих вопросов культурной адаптации, разработка концепции этноэкосистемы (антропогеоценоза), изучение популяционного долгожительства как индикатора успешной адаптации.

2. Первый, или этнографический этап (1980-е – начало 1990-х гг.) – обоснование этноэкологии как особой дисциплины или направления с введением в науку соответствующего термина (Козлов 1983), ее институализация в виде Сектора этноэкологии (1981 г.) и дальнейшее развитие в рамках Института этнографии АН СССР – Института этнологии и антропологии РАН (исследования В.И. Козлова, И.И. Крупника, С.А. Арутюнова, В.П. Алексеева, сотрудников сектора этноэкологии и ряда других подразделений Института).

3. Второй, или междисциплинарный этап (середина 1990-х – начало 2000-х гг.) – усиление междисциплинарного аспекта этноэкологических исследований и подключение к ним специалистов естественнонаучного профиля (экологов и географов), институализация в виде составной части обязательной учебной дисциплины «социальная экология и этноэкология» при подготовке учителей экологии (1995 г.), продолжение разработки этноэкологической проблематики в ИЭА РАН (исследования Н.Э. Масанова, В.В. Степанова, Г.А. Комаровой, сотрудников группы этноэкологии – Н.А. Дубовой, Н.И. Григулевич, Н.А. Лопуленко, А.Н. Ямскова, а также других подразделений Института, в особенности специализирующихся на изучении коренных народов Севера и Сибири).

4. Третий, или университетский этап (с первой половины 2000-х гг.) – распространение этноэкологии как отдельной университетской дисциплины, изучаемой будущими этнологами, экологами, географами; появление формальных и неформальных групп и центров по школьной педагогике и краеведению, специализирующихся на этноэкологической тематике либо включающих ее в свои учебные программы; развертывание этноэкологических исследований

в академических институтах и на факультетах эколого-географического профиля; продолжение разработки этноэкологической проблематики в ИЭА РАН и в других институтах и на кафедрах университетов со специализацией по этнологии (социально-культурной антропологии).

Таким образом, этническая экология, созданная ведущими учеными Института этнографии АН СССР, за сравнительно недолгое время прочно утвердилась в качестве области междисциплинарных исследований и учебной дисциплины в нашей стране. Поэтому её будущее представляется вполне благополучным. Правда, такое широкое распространение этноэкологии среди представителей разных научных дисциплин, получивших существенно различающуюся профессиональную подготовку, имеет и оборотную сторону – среди них неизбежно возникают разногласия по поводу её понятийно-терминологического аппарата, приоритетных исследовательских задач и методов. Впрочем, это – признаки «болезни роста», а значит, данное научное направление действительно растет и развивается, в том числе и благодаря усилиям многих специалистов, работающих в ИЭА РАН в наши дни.

Библиография

Абхазское долгожительство 1987 – Абхазское долгожительство / Отв. ред. В.И. Козлов. М.: Наука, 1987.

Алексеев 1975 – Алексеев В.П. Антропогеоценозы – сущность, типология, динамика // Природа. 1975. № 7. С. 18–23.

Алексеев 1984 – Алексеев В.П. Природа и культура // Алексеев В.П. Становление человечества. М.: Политиздат, 1984. С. 374–444.

Алексеева 2010 – Алексеева Н.Н. Этнокультурные аспекты геоэкологии // Вестник МГУ. Серия 5. География. 2010. № 3. С. 6–10.

Андрианов, Чебоксаров 1972 – Андрианов Б.В., Чебоксаров Н.Н. Хозяйственно-культурные типы и проблемы их картографирования // СЭ. 1972. № 2. С. 3–16.

Андрианов 1985 – Андрианов Б.В. Глава 1. Хозяйственно-культурные типы и географическая среда // Андрианов Б.В. Неоседлое население мира (историко-этнографическое исследование). М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1985. С. 17–40.

Арутюнов 1980 – Арутюнов С.А. Культурологические исследования и глобальная экология // Вестник АН СССР, 1980. № 12. С. 92–98.

Арутюнов, Мелконян 1983 – Арутюнов С.А., Мелконян Э.Л. Культура жизнеобеспечения в этнических системах // Культура жизнеобеспечения и этнос. Опыт этнокультурологического исследования (на материалах армянской сельской культуры) / Отв. ред. С.А. Арутюнов, Э.С. Маркарян. Ереван: изд. АН АрмССР, 1983. С. 53–60.

Арутюнов 1989а – Арутюнов С.А. Культура жизнеобеспечения и ее место в культурной динамике этноса // Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М.: Наука, 1989. С. 200–229.

Арутюнов 1989б – Арутюнов С.А. Экологические аспекты этнокультурологических проблем (вместо заключения) // Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М.: Наука, 1989. С. 230–244.

Богораз-Тан 1928 – Богораз-Тан В.Г. Распространение культуры на Земле. Основы этногеографии. М.; Л.: Государственное издательство, 1928.

Бромлей 1981 – Бромлей Ю.В. Этнические аспекты экологии человечества // Бромлей Ю.В. Современные проблемы этнографии: Очерки теории и истории. М.: Наука, 1981. С. 245–256.

Вайнштейн, Крюков 1988 – Вайнштейн С.И., Крюков М.В. Советская этнографическая школа // Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы / Отв. ред. М.В. Крюков, И. Зельнов. М.: Наука, 1988. С. 114–124 [Свод этнографических понятий и терминов. Вып. 2].

Волкова и др. 2011 – Волкова Л.И., Болдырева С.Ю., Павлова Н.П., Новосадова Т.И. Школа этноэкологического проектирования // Исследовательская работа школьников. 2011. № 2. С. 88–98.

Григулевич 1996 – Григулевич Н.И. Этническая экология питания: традиционная пища русских старожилов и народов Закавказья. М.: ИЭА РАН, 1996. С. 164.

Гумилев 1967 – Гумилев Л.Н. Об антропогенном факторе ландшафтообразования // Вестник Ленинградского ун-та, Вып. 4, 1967. № 24. С. 102–112 [доступно на сайте «Жизнь и творческое наследие Л.Н. Гумилева»: http://levgumilev.spbu.ru/suita7].

Гумилев 1971 – Гумилев Л.Н. Сущность этнической целостности // Вестник Ленинградского ун-та. Вып. 4: Геология, география. 1971, Т. 12. С. 97–106 [доступно на сайте «Жизнь и творческое наследие Л.Н. Гумилева»: http://levgumilev.spbu.ru/suita12].

Дубова 1991 – Дубова Н.А. Биологические аспекты этнической экологии // Этническая экология: теория и практика / Редколлегия: Н.А. Дубова, В.И. Козлов (отв. ред.), А.Н. Ямсков. М.: Наука, 1991. С. 77–99 [доступно на сайте «Этническая экология»: http://ethnoecology.ru/index.php/ru/menu-dubova.html].

Дубова 2011 – Дубова Н.А. Антропологические и этноэкологические исследования на рубеже тысячелетий // Феномен идентичности в современном гуманитарном знании: к 70летию академика В.А. Тишкова / Сост.: М.Н. Губогло, Н.А. Дубова. М.: Наука, 2011. С. 298–318.

Звиденная, Новикова 2010 – Звиденная О.О., Новикова Н.И. Удэгейцы: охотники и собиратели реки Бикин (Этнологическая экспертиза 2010 года). М.: Стратегия, 2010.

Козлов 1983 – Козлов В.И. Основные проблемы этнической экологии // СЭ. 1983. № 1. С. 3–16 [доступно на сайте «Этническая экология»: http://ethnoecology.ru/index.php/ru/izbrannoe.html].

Козлов 1988 – Козлов В.И. Этническая экология // Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы / Отв. ред. М.В. Крюков, И. Зельнов. М.: Наука, 1988. С. 92–95. [Свод этнографических понятий и терминов. Вып. 2].

Козлов 1991 – Козлов В.И. Жизнеобеспечение этноса: содержание понятия и его экологические аспекты // Этническая экология: теория и практика / Редколлегия: Н.А. Дубова, В.И. Козлов (отв. ред.), А.Н. Ямсков. М.: Наука, 1991. С. 14–43.

Козлов 1994 – Козлов В.И. Этническая экология: становление дисциплины и история проблем. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 1994.

Комарова 2002 – Комарова Г.А. Предтеча Чернобыля: этнокультурные аспекты экологической катастрофы на р. Теча. М.: ИЭА РАН.

Комарова 2005 – Комарова Г.А. Этнический аспект экологизации гуманитарного знания // Междисциплинарные исследования в контексте социально-культурной антропологии: Сборник в честь Юрика Вартановича Арутюняна / Отв. ред. М.Н. Губогло. М.: Наука, 2005. С. 120–153.

Комарова 2012 – Комарова Г.А. Опыт интеграции: междисциплинарное взаимодействие этнографии и этносоциологии (1960–1980-е гг.). М.: ИЭА РАН, 2012.

Комарова 1991 – Комарова О.Д. Демографические аспекты этнической экологии // Этническая экология: теория и практика / Редколлегия: Н.А. Дубова, В.И. Козлов (отв. ред.), А.Н. Ямсков. М.: Наука, 1991. С. 44–76.

Крупник 1977 – Крупник И.И. Факторы устойчивости и развития традиционного хозяйства народов Севера: К методике изучения этноэкологических систем. Автореферат дисс… канд. исторических наук. М.: ИЭ АН СССР, 1977.

Крупник 1989 – Крупник И.И. Арктическая этноэкология: Модели традиционного природопользования морских охотников и оленеводов Северной Евразии. М.: Наука, 1989.

Культура жизнеобеспечения и этнос 1989 – Культура жизнеобеспечения и этнос. Опыт этнокультурологического исследования (на материалах армянской сельской культуры) / Отв. ред. С.А. Арутюнов, Э.С. Маркарян. Ереван: изд. АН АрмССР, 1983.

Ларина 2007 – Ларина Е.И. Этническая экология // Этнология на историческом факультете (программы курсов). Ред.: О.Е. Казьмина, В.В. Пименов, Т. Д. Соловей. М.: Исторический ф-т Московского университета, 2007. С. 180–186.

Лебедева 1991 – Лебедева Н.М. Психологические аспекты этнической экологии // Этническая экология: теория и практика / Редколлегия: Н.А. Дубова, В.И. Козлов (отв. ред.), А.Н. Ямсков. М.: Наука, 1991. С. 100–124.

Левин 1947 – Левин М.Г. К проблеме исторического соотношения хозяйственно-культурных типов Северной Азии // Краткие сообщения Института этнографии АН СССР. М., 1947. Т. 2. С. 84–86.

Левин, Чебоксаров 1955 – Левин М.Г., Чебоксаров Н.Н. Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области (к постановке проблемы) // СЭ. 1955. № 4. С. 3–7.

Маркарян 1983 – Маркарян Э.С. К общей характеристике культуры и ее жизнеобеспечивающей подсистемы // Культура жизнеобеспечения и этнос. Опыт этнокультурологического исследования (на материалах армянской сельской культуры) / Отв. ред. С.А. Арутюнов, Э.С. Маркарян. Ереван: Изд. АН АрмССР, 1983. С. 17–40.

Масанов 1995 – Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов: Основы жизнедеятельности номадного общества. Алматы: Социнвест, 1995.

Методы этноэкологической 1999 – Методы этноэкологической экспертизы / Отв. ред. В.В. Степанов. М.: ИЭА РАН, 1999.

Мкртумян 1978 – Мкртумян Ю.И. Основные компоненты культуры этноса // Методологические

проблемы исследования этнических культур. Материалы симпозиума. Ереван, 1978.

Мягков 2001 – Мягков С.М. Социальная экология: этнокультурные основы устойчивого развития. М.: НИиПИ экологии города, 2001.

Прохоров 1998 – Прохоров Б.Б. Прикладная антропоэкология. М.: МНЭПУ, 1998.

Прохоров 2008 – Прохоров Б.Б. Социальная экология. М.: Академия, 2008.

Рагулина 2010 – Рагулина М.В. Интегральная парадигма в этноэкологических исследованиях // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. 2010, № 7–9 (30). С. 14–25.

Райх 1984 – Райх Е.Л. Моделирование в медицинской географии. М.: Наука, 1984.

Реймерс 1994 – Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). М.: Журнал «Россия молодая», 1994.

Русские старожилы 1995 – Русские старожилы Закавказье: молокане и духоборцы / Отв. ред. В.И. Козлов. М.: ИЭА РАН, 1995.

Степанов 1999 – Степанов В.В. Теория этноэкологической экспертизы // Методы этноэкологической экспертизы / Отв. ред. В.В. Степанов. М.: ИЭА РАН, 1999. С. 61–127.

Тишков 1988 – Тишков В.А. Введение. Этническая экология коренного населения Америки: эволюция предмета и научных подходов // Экология американских индейцев и эскимосов / Отв. ред. В.А. Тишков. М.: Наука. 1988. С. 3–12.

Толстов 1932 – Толстов С.П. Очерки первоначального ислама // СЭ. 1932. № 2. С. 24–82.

Туровский 2001 – Туровский Р.Ф. Культурная география: теоретические основания и пути развития // Культурная география / Ред.: Ю.А. Веденин, Р.Ф. Туровский. М.: Институт Наследия, 2001. С. 10–94.

Чеснов 1976 – Чеснов Я.В. О теории «культурных областей» в американской этнографии // Концепции зарубежной этнологии. Критические этюды / Отв. ред. Ю.В. Бромлей. М.: Наука, 1976. С. 68–95.

Этническая экология 1991 – Этническая экология: теория и практика / Редколлегия: Н.А. Дубова, В.И. Козлов (отв. ред.), А.Н. Ямсков. М.: Наука, 1991.

Этноэкология 2010 – Этноэкология: программа. Сост.: А.Б. Багдасарова, Л.Н. Соловьева. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2010.

Ямсков 2006а – Ямсков А.Н. Социальная экология и этноэкология // Антропологическая наука в высшей школе: Методические материалы к оригинальным авторским спецкурсам для специальности № 350 100 – Социальная антропология. Сост. Ю.А. Артемова / Отв. ред. О.Ю. Артемова. М.: ИЭА РАН – РГГУ, 2006. С. 111–144 [доступно на сайте «Этническая экология»: http://ethnoecology.ru/index.php/ru/menu-yamskov.html].

Ямсков 2006б – Ямсков А.Н. Этноэкологические экспертизы в международных организациях // Этнология обществу. Прикладные исследования в этнологии / Отв. ред. С.В. Чешко. М.: Оргсервис–2000, 2006. С. 10–62 [доступно на сайте «Этническая экология»: http://ethnoecology.ru/index.php/ru/menu-yamskov.html].

Ямсков 2009а – Ямсков А.Н. Трактовки понятия «жизнеобеспечение» в этнической экологии и возможный подход к изучению культурной адаптации // Этнос и среда обитания. Том 1. Сборник этноэкологических исследований к 85-летию В.И. Козлова / Ред.: Н.И. Григулевич, Н.А. Дубова (отв. ред.), А.Н. Ямсков. М.: Старый сад, 2009. С. 73–94 [доступно на сайте «Этническая экология»: http://ethnoecology.ru/index.php/ru/menu-yamskov.html].

Ямсков 2009б – Ямсков А.Н. Этноэкосистема: содержание понятия и история его развития в отечественной этноэкологии // Расы и народы: современные этнические и расовые проблемы. Ежегодник. Вып. 34 / Ред.: Н.А. Дубова, Л.Т. Соловьева. Сост. Н.А. Дубова. М.: Наука, 2009. С. 130–142 [доступно на сайте «Этническая экология»: http://ethnoecology.ru/index.php/ru/menu-yamskov.html].

Ямсков 2011 – Ямсков А.Н. История развития и основные направления эколого-антропологических исследований в науке США // Гуманитарная экология и мир человека: материалы Всероссийской научной конференции с международным участием. Киров, 27–29 октября 2011 г. Киров: Изд. «Коннектика», 2011. С. 39–51 [доступно на сайте «Этническая экология»: http://ethnoecology.ru/index.php/ru/menu-yamskov.html].

Ямсков, Дубова 2012 – Ямсков А.Н., Дубова Н.А. Научно-информационный сайт «Этническая экология”: структура и задачи // ЭО Online, 2012. № 3. С. 193–195 [доступно на сайте журнала «Этнографическое обозрение»: http://journal.iea.ras.ru/online/2012/index.htm].

Netting 1986 – Netting R. Cultural Ecology. 2nd ed. Prospect Heights (IL): Waveland Press, 1986.

Steward 1955 – Steward J. Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution. Urbana (IL): University of Illinois Press, 1955.

Н.И. Новикова

На праве земля держится: юридическая антропология как междисциплинарное исследование*

Что такое право? Наверное, ответов на этот вопрос даже больше, чем на вопрос, что такое культура. В мире существует множество теорий правопонимания. В юридической антропологии право, правовые отношения между людьми рассматриваются в широком культурном и историческом контексте. Она изучает правовое бытие людей в различные эпохи и в различных регионах мира и является одним из направлений науки о человеке. Существует взгляд на юридическую антропологию как науку о homo juridicus, о человеке как юридическом явлении. Только человек способен создавать нормы и соблюдать их, принимать решения и подчиняться им, речь идет не о конкретных решениях, а об абстрактной способности создавать и воспринимать юридическое (Карбонье 1986: 61). Обращение к антропологии права представляет особый интерес для этнографов, так как в нормативной культуре концентрируются знания по религии, мировоззрению, этике, социальной организации, семье и быту, хозяйственной деятельности. Изучение правового регулирования различных сфер жизни и их соотношения с существующими практиками дает возможность понять внутренние механизмы развития и сосуществования человеческих сообществ. В современных условиях интерес к подобным исследованиям вызван также тем, что обычаи, традиции, нормы обычного права становятся частью правовой системы государства и во многом определяют жизнь локальных сообществ и социальных групп.

Юридическая антропология сегодня имеет различное значение и подходы к таким исследованиям также различны. Я хочу поделиться своими представлениями об этой науке, строящимися на методологии правового плюрализма. В статье будут рассмотрены краткая история складывания этого научного направления в Институте этнологии и антропологии РАН в рамках Комиссии по правовому плюрализму МСАЭН, предмет и метод междисциплинарного исследования, а также я предложу анализ моих полевых наблюдений в законодательных органах государственной власти и различных сообществах.

Комиссия по правовому плюрализму МСАЭН и складывание междисциплинарного анализа

Комиссия по обычному праву и правовому плюрализму (с 2007 года – Комиссия по правовому плюрализму) была создана в 1978 году Международным союзом антропологии и этнологии (МСАЭ) и принята в Международную ассоциацию юридических наук (МАЮН). Она была учреждена по инициативе профессора Г. Фон ден Стинховена из Института обычного права в Неймегене (Нидерланды). Расширение деятельности комиссии отражает растущее осознание факта существования в современном обществе правового плюрализма. Это касается не только стран, где проживают коренные народы и этнические меньшинства, но индустриальных обществ как таковых. В соответствии с Уставом Комиссии главной целью ее работы является «содействие де-

* Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ № 13-01-00043 и проекта СВФГУ «Народы Северо-востока Российской Федерации: выбор адаптивной стратегии в условиях глобализации. Социально-антропологический подход (взгляд якутских и британских исследователей)».

ятельности по углублению и расширению знания и понимания обычного права и правового плюрализма, уделяя при этом особое внимание теоретическим и практическим вопросам, возникающим в результате взаимодействия обычного и государственного права». В тех случаях, когда это представляется уместным, деятельность Комиссии включает «оказание содействия с целью положительного и конструктивного решения проблем, связанных с взаимодействием обычного и государственного права, помогая тем самым решать вопросы, связанные с будущим коренных народов, этнических и социальных групп, руководствующихся обычным правом, в современном мире».

Деятельность Комиссии проводится в разных направлениях: поддержание сайта, издание журнала *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* и других публикаций, организация международных симпозиумов, создание региональных рабочих групп в разных регионах мира и оказание содействия этим группам. В разных странах проходят специальные международные конгрессы, часто обсуждению проблем юридической антропологии посвящаются секции на конгрессах МСАЭН. Распространенной практикой стало проведение международных летних школ по правовому плюрализму, участниками которых становятся студенты, исследователи и активисты. Членство в Комиссии открыто для всех, кто намерен заниматься или занимается серьезным изучением обычного права и правового плюрализма в рамках своей научной или практической деятельности. С деятельностью Комиссии можно познакомиться на ее странице в Интернете (http://commission-on-legal-pluralism.com). Работа комиссии и в целом сообщества людей, специализирующихся в этой сфере, отличается междисциплинарным подходом. Это не просто юристы и антропологи, работающие вместе или над одними вопросами, это специалисты, которые стараются, оставаясь в рамках своей профессии, познакомиться с методами и данными смежной дисциплины.

Междисциплинарный подход в юридической антропологии стал следствием того, что юристы и антропологи изучают один и тот же объект – то, как люди живут в соответствии или в противоречии с нормами права, то есть жизнь в правовых характеристиках. Взаимодействие разных специальностей при этом не всегда происходит гладко, требуется подчас отказаться от представления о своей науке как самой лучшей, самой комплексной, отвечающей на все вопросы. К. Гирц, описывая сходную ситуацию в исследовании феномена новых государств, отмечал: «Наконец-то даже самым принципиальным ученым изоляционистам стало приходить в голову, что их отрасль знания – это не только специализированная наука, но и такая специализированная наука, которая просто-напросто не может существовать без солидной помощи других специализированных наук…в понимании того, что все мы зависим друг от друга, произошел определенный прогресс» (Гирц 2004: 382).

В юридической антропологии существуют различные варианты междисциплинарности. Из наблюдений за работой коллег складывается впечатление, что наиболее удачной является исследование, в котором и полевой сбор материалов, и их анализ проводится двумя специалистами – антропологом и юристом. На секции по юридической антропологии XI Конгресса антропологов и этнологов России 2015 года этот вопрос обсуждался в докладе А. Ивановой и Ф. Штамлера. Авторы назвали это явление *added value* – дополнительный эффект, который мы получаем в результате совместных полевых исследований и правового анализа. Без партнера юриста антрополог теряет авторитет среди информантов, поскольку люди его могут воспринимать как этнографа, который изучает “лишь культуру”. А без партнера антрополога юрист остался

бы без связи с реальной жизнью, проводя правовой анализ без учета каких-либо социально-культурных нюансов, которые и определяют то, как воспринимаются и применяются законы (Иванова, Штамлер 2015: 413).

Другой распространенной практикой, правда чаще за рубежом, является работа юриста в поле и затем анализ им же его собственных материалов. Так работают многие члены Комиссии по правовому плюрализму. В нашей стране наиболее распространена практика антропологических полевых исследований, а затем их анализ либо самим антропологом с учетом правовых источников, либо в кооперации с юристами, которые занимаются сходной тематикой, но не проводят сами полевых исследований. В новом учебнике по антропологии права, изданном в Оксфорде в 2013 году, ставится задача показать, что дает междисциплинарный подход, и демонстрируются возможности антропологического и юридического анализа многочисленных *«case studies»* и сравнительных исследований для того, чтобы понять природу права как социальной нормы (Pirie 2013). В любом случае междисциплинарность является определяющей чертой этого научного направления.

Центром юридико-антропологических исследований являются права человека как универсальная категория, рассматриваемая в историческом и культурном контексте (Права человека 2002, Ковлер 2002). С этих же позиций анализируются права коренных народов Севера (Новикова 2014). К сожалению, юридических работ, рассматривающих эту проблему в таком аспекте немного (Гоголев 2014). Необходимость же таких исследований велика, в том числе и в законотворческой деятельности. Одним из наиболее сложных вопросов при этом становится вопрос о том, как этнографическое знание может стать юридической нормой. Приведу один пример – закон об оленеводстве. Этот законопроект разрабатывался в течение длительного времени и кроме очевидных трудностей в принятии такого акта на федеральном уровне (региональные законы существуют), в рабочей группе было трудно согласовать понимание оленеводства как образа жизни и как отрасли хозяйства. Роль антрополога в такой работе, на мой взгляд, заключается как раз в том, чтобы донести до рабочей группы знания, полученные в ходе полевых исследований, показать культурный контекст юридической нормы. В данном случае показать, что оленеводы не только разводят оленей для получения мяса, а они и их семьи ведут кочевой образ жизни, следовательно, закон должен регулировать не только деятельность пастухов, но и женщин и детей, включать вопросы здравоохранения, социальные гарантии для женщин, обеспечение доступа к образованию для детей и многое другое, что значительно утяжеляет закон, делает его более затратным, но без чего он теряет смысл. Анализ оленеводческих народов российского Севера показывает, что перспективы оленеводства связаны с семейной организацией, а большинство их проблем – с неурегулированностью вопросов пастбищ. Кроме этого, важно, чтобы при создании федерального закона было учтено и региональное законодательство, и обычное право коренных народов. Антропологи, проводя локальные исследования, могут больше знать о том, как работают такие нормы, какие лакуны они оставляют для федерального законодателя.

Еще более острые проблемы возникают в суде, когда нужно защитить права коренных малочисленных народов на ресурсы. В России трудно убедить суд прислушаться к мнению антропологов в этом вопросе (Новикова, Якель 2006). В Австралии при рассмотрении земельных исков роль антропологов более значима, но и там возникают проблемы с интерпретацией научных знаний для суда (Дусе, Гласкин 2009: 159–161), что представляет интерес и для российских

ученых. В Австралии судебные процессы вызвали дискуссию о правомочности применения «классических» схем ко всем территориям страны. Исследователи предлагают для основания судебных притязаний опираться на этнографическую реальность, понимаемую как то, что антропологи действительно наблюдали и анализировали и что не противоречит представлениям аборигенов о самих себе (Дусе, Гласкин 2009: 168).

История показывает, что часто и судьи, и антропологи строят свои доводы на ставших или считающихся классическими моделях, не учитывая, соответствуют ли они локальным практикам. В России, когда основным источником права является закон, особенно важно, чтобы принятие судебного решения строилось на актуальной этнологической экспертизе. Это также может помочь разрубить гордиев узел представлений об истинных этнографических данных по хозяйственным и обычно-правовым практикам как старинных (существовавших до начала модернизационных процессов, которые в России связываются с коллективизацией), основанных на натуральном характере хозяйства, чистых от политики и государства.

Отдельную часть юридической антропологии составляет антропологическая критика существующего законодательства как анализ юридических текстов с точки зрения интересов тех групп населения, которые оказываются под воздействием новых нормативных актов. Антрополог может сказать, к каким последствиям приведет, например, внесение изменений в миграционное законодательство в социальную ситуацию в регионе или изменения в языковое законодательство. Этот вопрос должен рассматриваться в контексте социально-экономического и культурного развития локальных сообществ. К сожалению, изменения в ресурсное или экологическое законодательство в последнее время вносятся без учета социокультурных последствий. Одним из таких примеров недавнего прошлого стало исключение территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов из категории особо охраняемых.

В Институте этнологии и антропологии РАН развитие юридической антропологии явилось в значительной степени восстановлением прерванной в предыдущие годы традиции изучения правового бытия людей и правового многообразия человечества. Особенностью исследований последних лет стала более тесная кооперация и сотрудничество с российскими юристами и с Комиссией по правовому плюрализму МСАЭН, выразившаяся в разработке новых подходов и методов научной работы, расширении исследовательского поля. Главный интерес работающих в этом направлении антропологов сконцентрировался на интерпретации в правовых характеристиках жизни обычных людей, преимущественно наших современников в различных регионах мира. Причем правовое бытие человека рассматривается в поле действия различных правовых систем (Тишков 2000: 7, 10–11), а основными методами исследования являются включенное наблюдение и углубленное интервью.

В 1995 году в Институте начал работать семинар по юридической антропологии, который объединил сотрудников нескольких академических институтов: Института этнологии и антропологии, Института государства и права, Института востоковедения и Московского государственного университета. Еще раньше проблемы юридической антропологии, связанные с управлением и регулированием жизни коренных малочисленных народов Севера, стали предметом научного интереса некоторых сотрудников института, а затем и более широкого круга исследователей. В журнале «Этнографическое обозрение» была опубликована статья «Этнографы пишут закон: контекст и проблемы» и текст законопро-

екта о правовом статусе коренных народов Севера, в подготовке которого значительную роль сыграли сотрудники института (Соколова, Новикова, Ссорин-Чайков 1995: 74–89). Эти материалы положили начало широкой международной дискуссии о правовом статусе коренных народов, их правах на землю и другие природные ресурсы, перспективах, в том числе правовых, их существования в современном мире (Дискуссия 1995, 1996).

Идея семинара появилась в результате наблюдений за тем, как и какие законы готовятся в Государственной Думе и как антропологи участвуют в этом процессе. Не менее важным представлялись исследования и обсуждения правового бытия людей и отношений, которые складываются в современном обществе в результате действия различных норм. Участники семинара строили свои доклады на материалах полевых исследований в различных регионах страны, а также изучении правового плюрализма как политики государства и научного направления.

Институт стал организатором нескольких конференций, из которых особенно важную роль в становлении юридической антропологии в России сыграл XI Международный конгресс по обычному праву и правовому плюрализму 1997 года в Москве (Обычное право и правовой плюрализм). Координирующая роль института заключается в издании книг в серии «Исследования по юридической антропологии», организации секций на конгрессах этнографов и антропологов России, а также проведении международных летних школ. Такие школы проводились в 1999–2010 гг. в содружестве с канадскими, голландскими и норвежскими учеными (Человек и право 1999; Обычай и закон 2002; Олень всегда прав 2003; Право в зеркале жизни 2006; Люди Севера 2008). Чтение лекций предполагало широкое вовлечение слушателей не только в дискуссии, но и в сам путь познания. Занятия представляли собой размышления специалистов, в которых принимали участие и слушатели. В результате они могли познакомиться с методами юридической антропологии, в поле которой встречаются не просто юристы и антропологи, а предполагается синтез двух научных подходов при интерпретации одного текста – правового бытия.

Другой организационной формой юридической антропологии является ее преподавание в университетах студентам юридических и антропологических специальностей (Ковлер 1997: 58–66; Новикова 2005: 316–326). Правда, этот предмет обычно является курсом по выбору. Основоположником его преподавания в России стал А.И. Ковлер, по инициативе которого был сначала переведен учебник Н. Рулана (Рулан 1999), а потом издан его собственный учебник для студентов юристов (Ковлер 2002). В значительной степени его научные и методологические подходы были применены и в преподавании юридической антропологии в Центре социально-культурной антропологии в РГГУ (Новикова 2006: 5–19).

Предмет и метод юридической антропологии

Юридическая антропология – научная дисциплина, изучающая правовые формы общественной жизни от архаических до современных в различных регионах мира. Она позволяет изучить новые аспекты права, углубить, конкретизировать и развить знания о праве как специфическом социальном явлении, играющем существенную роль в организации и функционировании общественной жизни людей в разнообразных условиях и на различных этапах истории человечества. В предметную область данной дисциплины входят правовые системы и в целом весь комплекс правовых явлений (все правовые формы в

широком смысле этого слова – правовые нормы, отношения, идеи и представления, институты, процедуры, способы регуляции поведения, защиты порядка, разрешения конфликтов и т. д.), которые складываются в традиционных и современных сообществах (Нерсесянц 1999: 1–2). Юридическая антропология имеет своей целью понять правила поведения в различных обществах, и отдавая предпочтение юридическому аспекту, заявляет о невозможности изолировать право как таковое, поскольку оно является лишь одним из элементов общей культурной и социальной системы и различным образом воспринимается и реализуется каждой из подгрупп общества (Рулан 1999: 9). Внимание к культурному контексту права позволяет юридической антропологии своим основным методологическим приемом считать отстаивание «права на инаковость» индивидов и групп. При этом антропология права рассматривается как наука, основанная на принципе познания взаимодействия традиционных и современных правовых систем, их синтеза – познания, имеющего своей целью адекватное представление о правовом бытии человека (Ковлер 2002: 23).

Юридическая антропология возникла на стыке юриспруденции с социальной антропологией, социологией, историей, философией. Со второй половины XX в. основой ее методологии становится правовой плюрализм (Дж. Вандерлинден, С. Мур, Дж. Гриффитс, С. Мерри, Г. Вудман, К. и Ф. Бенда-Бекманн и др.), рассматриваемый как сосуществование двух и более правовых систем, когда поведение человека, по определению Дж. Гриффитса, соответствует более чем одному правопорядку (Griffiths 1986: 3). Правовой плюрализм предполагает не только сосуществование, но и взаимовлияние, взаимодействие различных правовых систем, которые создают «полуавтономные социальные поля» (Moor 1973: 719–746; Бенда-Бекманн 1999: 12). Разные правовые или нормативные системы изменяются в процессе взаимодействия сами и изменяют друг друга. Уникальность методологии правового плюрализма заключается в том, что независимо от того, принимает ли эту ситуацию государство и научное сообщество, существование и изучение этих правовых систем зависит от «эмпирически наблюдаемого факта использования людьми тем или иным образом нескольких систем права, что выражается в их поведении» (Бенда-Бекманн 1999: 10). Складывается новое поле. Многочисленные примеры таких полуавтономных систем дает и российский север (Новикова 2014). Ниже это будет показано на примере системы самоуправления на Сахалине.

Сосуществование различных правовых систем может проходить по-разному. Например, в случае с обычным правом, учет правового разнообразия может происходить на материально-правовом и институционном уровне (Вудман 1999а: 18; Вудман 1999б: 115; Бенда-Бекманн 1999: 11). Государства могут заявлять о признании обычного права, вменять это своим судам, а могут передавать такие полномочия специальным негосударственным институтам, например, общинным судам. «Если же эти культурно обусловленные правовые нормы, бытующие, как правило, среди этнических или иммигрантских меньшинств, не признаются или даже репрессируются государством, то они все равно составляют часть социальной реальности как малых общин, так и большого сообщества, производя напряженность и противоречия, а иногда – жестокие конфликты» (Тишков 2000: 12).

Другим методологическим основанием юридической антропологии являются подходы, разработанные символической интерпретативной антропологией (по К. Гирцу), когда анализ культуры является не экспериментальной наукой в поисках закономерностей, а наукой интерпретации в поисках значений (Гирц 2004: 11). Такой

подход позволяет опираться на микроисследования и сохранять чувствительность к материалу, учитывая широкий спектр прав и интересов сторон. Культурная интерпретация, по мнению К. Гирца, обладает рядом особенностей, определяемых тем, что теория должна быть ближе к «почве». «Главная цель теоретических построений в данной области – не кодифицировать абстрактные закономерности, а делать возможным “насыщенное” описание; производить обобщение не множества случаев, а в каждом из них». Таким образом, по мнению этого выдающегося ученого, «задача интерпретативной антропологии – не в том, чтобы дать ответ на самые сокровенные наши вопросы, но в том, чтобы дать доступ к ответам других, тех, кто сторожит других овец в других долинах, и тем самым включить эти ответы в единую человеческую летопись, с которой мы сможем консультироваться» (Гирц 2004: 33–35, 40). Опираясь на данные теоретические построения, можно представить широкий спектр голосов всех акторов исследовательского поля.

Юридическая антропология направлена на межкультурный (географический и исторический) подход, сравнивая правовые системы различных обществ (Ковлер 2002: 28). К этому можно добавить, что юридическая антропология изучает правовое бытие людей, рассматривая отношения, возникающие у них в связи с правом или его нарушениями, юридическими конфликтами, часто независимо от этнической принадлежности, когда межэтнические отношения выступают лишь одной из частей интерпретируемого текста. Важнейшей чертой исследований по юридической антропологии является то, что при определении методов изучения особенно очевидным является принцип универсальности, как правовых категорий, применяемых к объектам сравнения (Ковлер 2002: 33), так и методов изучения. Последнее особенно важно при проведении полевых исследований правовых отношений или положения какой-то группы, когда мы стараемся выявить всех заинтересованных акторов и задаем им одни и те же вопросы, используем одни и те же методики наблюдения. Для юридической антропологии, как и для всей социальной антропологии, важнейшим методическим приемом является непосредственное наблюдение за правовым поведением людей, то есть антропологи должны быть очевидцами (Леви-Строс 1983: 331).

Юридической антропологии наиболее близко либертарно-юридическое правопонимание, предложенное В.С. Нерсесянцем, по которому право рассматривается как «форма отношений равенства, свободы и справедливости, определяемая принципом формального равенства участников данной формы отношений. Везде, где есть (действует) принцип формального равенства (и конкретизирующие его нормы), есть (действует) право, правовая форма отношений» (Нерсесянц 1998: 5). Исходя из этого определения и выделяется сфера правового регулирования. При изучении правового бытия людей юридическая антропология исходит из того, что эти явления не «лежат на поверхности», для создания адекватного представления о них требуется интерпретация всех источников. Существенную часть научного дискурса составляет выявление «юстициабельности» обычаев различных народов. Ж. Карбонье выделил три признака «юстициабельности»: важность разрешаемого дела; возможность разрешения его третьей стороной; реализация нормы обеспечена процессуальными предписаниями. Этот автор отмечает, что «процесс и решение – такие психосоциологические феномены, которые настолько чужды всем социальным неправовым явлениям и настолько специфичны для права, что наиболее правильным представляется избрать именно их в качестве критерия юридического. В соответствии с этим признаком правовыми являются лишь нормы, дающие возмож-

ность вынесения решения (Карбонье 1986: 164–175).

Некоторые авторы, включают в юридическую антропологию исследования, в которых решения выносятся на основании самосуда, криминальных и коррупционных схем. Я считаю, что при анализе таких ситуаций определяющим должно быть следование либертарно-юридическому правопониманию, а не формальным нормам «неписанного закона». Только такое представление позволит нам отделить право от не права. Это не значит, то бандитские сообщества или коррупция не являются предметом изучения, но оценка этих явлений как неправовых является очень важной.

Методы юридической антропологии в конкретных исследованиях

Исследования по антропологии права основаны на сочетании нормативного и процессуального анализа, последний из которых в значительной степени строится на анализе конкретных дел *(case study*) и позволяет связать идеальную и реальную стороны права. Обращение к полевым источникам не исключает сбор собственно правовой информации, которая содержится в нормах права и системе законодательства, которые используются в государственном управлении, в правотворчестве и правоприменительной деятельности, в деятельности органов государства, должностных лиц, органов правосудия и самоуправления (Драма российского закона 1996: 106–111).

При изучении правового бытия людей необходимо охватить по возможности все правовое поле, в котором живут те или иные группы. Поэтому юридико-антропологическое исследование коренных малочисленных народов предполагает не только изучение государственного и обычно-правового их статуса в государстве, но и правового положения тех групп, отношения с которыми составляют часть их правового бытия. Для народов Севера это в первую очередь промышленные компании, работающие в местах их проживания. Одним из акторов в таком случае выступает и государство. Предметом исследования становятся нормы международного права, законодательство, регулирующее отношения между промышленными компаниями и коренными народами, документы объединений бизнес-сообщества (нормы корпоративного права, социальные политики компаний, внутренние регламенты и т. п.) и аборигенных народов, а также существующие у последних обычно-правовые нормы традиционного природопользования и социальных отношений. Это означает, что в отношении коренных малочисленных народов методы юридической антропологии актуальны, так как они всегда находятся в ситуации правового плюрализма. В случае изучения взаимодействия коренных народов и промышленных компаний разнообразие норм может стать площадкой для диалога и не только разрешить, но и предотвратить возможные конфликты (Новикова 2014).

В качестве еще одного примера юридико-правового исследования я привожу анализ аборигенного самоуправления в Сахалинской области. В современных условиях сообщество коренных народов все больше перестает быть объединением людей, имеющих общие цели – традиционное природопользование, развитие языка и культуры и т. п. Хотя нельзя сказать, что эти идеи и стремление к объединению чужды для всех. Некоторые лидеры понимают необходимость участия в управлении ресурсами для поднятия жизненного уровня, создания условий для достойной жизни. Насколько мне известно, одним из немногих примеров такой деятельности является Поронайский район Сахалинской области. Здесь было создано несколько родовых хозяйств и община Тый. В 1992 году они по согласованию с рыболовецким колхозом

«Дружба» получили в свое пользование 26 км побережья. В 2000 году была создана артель, которая объединила все хозяйства и смогла создать необходимую базу для занятий рыболовством в современных условиях. Здесь общественными организациями коренных народов, совместно с администрацией была создана система органов самоуправления, расцвет их деятельности приходился на середину 2000-х годов. Разнообразие норм придало эффективность системе, которая строилась на многих факторах, в том числе личных качествах руководителей хозяйств, но нельзя исключать и сложившееся правовое (нормативное) регулирование социальных и хозяйственных взаимоотношений в этом районе.

Постановлением мэра Поронайского района в 2001 году создан Совет представителей коренных малочисленных народов Севера при администрации, состоящий из 9 человек. В его компетенции находятся вопросы, связанные с выполнением областных и местных программ развития коренных народов, а цели создания определяются как «наиболее полный учет интересов» этих народов. Практическая деятельность совета состоит в распределении выделяемых органами государственной власти и местного самоуправления средств.

Совет ассоциации (Местной ассоциации коренных малочисленных народов Севера Поронайского района) – это избранные общим собранием 12 человек, между которыми распределены обязанности. Так как все аборигены являются членами ассоциации, то этот орган является номинально верховным. Он утверждает, например, положение о Совете родовых хозяйств. Фактически же все органы самоуправления являются скорее равнозначными. Роль ассоциации в наибольшей степени проявляется во время путины, когда она оказывает содействие в оформлении документов на путину, организовывает постоянное дежурство для контроля на берегу. Ассоциация и органы власти, в первую очередь правоохранительные, стремятся ограничить доступ посторонних на побережье в период путины. Городские аборигены рыбачат в черте города, лицензионный лов для них там ограничен несколькими днями. Дежурные, конечно, не могут сами бороться с криминалом, но они могут вызвать рыбоохрану или милицию. Эта практика стала в тот период нормой на побережье.

Совет родовых хозяйств действует на основании Положения 2002 г., принятого на собрании Совета ассоциации. В него входят главы и председатели родовых хозяйств, общин и национальных предприятий. В Положении закреплены функции этого органа территориального самоуправления. Он:

– содействует трудоустройству коренных малочисленных народов Севера в родовых хозяйствах,

– оказывает содействие в получении материальной помощи,

– отстаивает и распределяет лимиты.

Количество родовых хозяйств в районе колеблется, но не превышает 15–16. Родовые хозяйства имеют промысловый участок на побережье – 2 км, право на который закреплено договором с Сахрыбводом. Аборигены получают право на безвозмездное и бессрочное пользование этим участком для ведения промыслового лова и добычи водных растений. Материальная база родовых хозяйств различна и зависит от материальных возможностей, деловых качеств, демографической ситуации и многих других, часто случайных причин. Большинство хозяйств имеют дома, машины, средства лова, а некоторые и небольшие цеха для переработки продукции. Родовые хозяйства обязаны представлять информацию о своей деятельности, уплате налогов в Совет родовых хозяйств и местную ассоциацию коренных народов. Между родовыми хозяйствами распределяются обязанности по участию в общих мероприятиях. Они также берут на себя обязательства по вы-

лову рыбы для тех аборигенов, которые не могут сделать это сами (преимущественно пожилые люди, женщины, которые не входят в родовые хозяйства).

Членом хозяйства может быть абориген или человек, имеющий родственные «корни» с членами данного хозяйства. Высшим органом в хозяйстве является общее собрание. Существует родовой совет и главу хозяйства (председателя) выбирают на 5 лет. В реальности, насколько я могу судить по своим полевым наблюдениям, все вопросы решают один-два человека. Родовое хозяйства является самостоятельной и самоуправляющейся организацией, деятельность которой регламентируется нормами местного права. В случае возникновения конфликтов, пострадавшая сторона может апеллировать только к общему собранию. В хозяйствах работают менеджеры, которые могут как быть аборигенами, так и являться людьми любой другой национальности, наемными работниками или членами семьи. Структура родовых хозяйств достаточно аморфна и строится в большей степени на личных, часто устных договоренностях.

Важнейшим инструментом осуществления властных полномочий со стороны Совета родовых хозяйств являлось в этот период распределение лимитов на вылов рыбы. Совет решал вопрос о сокращении или лишении лимитов на основании не предоставления отчетности, нарушения правил рыболовства в случае трех и более раз, не привлечения на работу аборигенов, не внесения взноса, не освоения выделенных ресурсов. Совет следил также за уплатой налогов.

Родовые хозяйства являются юридически оформленными предприятиями, но в повседневности они строят свою деятельность на личных контактах и связях. Хозяйственные отношения опираются на широкие культурные основания, образуемые традициями и обычаями, нормами и ценностями, складывающими специфическую для данного общества трудовую и деловую этику. Функционирование деловых сетей основано на том, что контрактные отношения подкрепляются достаточно развитой системой неформальных взаимных услуг, оказываемых, в том числе, не только на «рыночных» основаниях. Отношения между рыночными агентами складываются не просто между фирмами, но между представителями этих фирм. Деловые отношения, таким образом, принимают личностную окраску, которая серьезно влияет на процесс принятия ключевых решений (Радаев 1999: 35–60).

В традиционном мировоззрении аборигенов Сибири проблема самоуправления, как представляется по историческим свидетельствам и полевым материалам, в нашем понимании не существовала. Выбор пути развития был предопределен природными условиями и типом хозяйства. Различные народы (или общины) или вступали в отношения обмена, или жили отдельно, автономно, не вмешиваясь в жизнь соседей. В течение длительного времени, когда эти народы осваивали Север, они выработали механизмы взаимоотношений с природой и людьми, нормы их обычного права строились на договоренности между соседями, согласованности действий.

В первых (1991 г.) уставах родовых хозяйств нашли отражения некоторые элементы аборигенного правопонимания: было записано, что природопользование осуществляется на основании обычаев, говорилось о необходимости соблюдения «действующих и необходимых правил». Собрание родового хозяйства, в том числе, «утверждает негласные правила внутреннего распорядка, поведения и соблюдения норм нравственности и морали во взаимоотношениях между членами родового хозяйства и общества». Впоследствии уставы стали более формальными, написанными скорее в рамках гражданского кодекса и других нормативных документов, принятых государственными органами. Хотя в

повседневной регламентации жизни аборигены используют некоторые традиционные нормы. Можно сказать, что в Поронайском районе сложилась система непосредственной демократии как одно из проявлений народовластия. Непосредственная демократия рассматривается как принятие всеми гражданами или населением определенной административной единицы решения, обязательного для государственных органов. При этом при политическом самоуправлении наблюдается гибкое сочетание деятельности государственных и общественных организаций, форм представительной и непосредственной демократии. Следует подчеркнуть, что в связи с деформацией социальных институтов и отношений усиливаются внутренние противоречия, которые всегда имеются в нормативной системе. Из-за несовпадения нормативных требований с реальными условиями жизни конкретных индивидов, социальных групп быстро возникает «двойная мораль», при которой противоречивые нормы используются одним и тем же лицом (социальной группой) для разных целей и в разных (противоположных) ситуациях.

Именно на этой основе и возникает так называемое «теневое нормотворчество», т. е. создание неофициальных правил поведения, которыми тем не менее руководствуются значительные группы населения (Кудрявцев, Казимирчук 1995: 39, 43, 45). Они могут быть двоякого свойства – нормы обычного права и нормы криминальных групп, которые в значительной степени контролируют рыболовный промысел. Можно сказать, что аборигены Поронайского района стремятся строить свою деятельность на основании местного права как системы правовой регламентации на местном уровне независимо от источника происхождения. В вопросах, касающихся аборигенного самоуправления, эта система представляет собой синтез обычного права и позитивного законодательства. При этом основным механизмом осуществления властных полномочий аборигенных органов является распределение квот. Именно этот «административный ресурс» цементирует всю систему. И пока эта практика будет восприниматься населением как справедливая, он сможет действовать. При возникновении конфликтов, а они неминуемо возникают, Совет родовых хозяйств действует авторитарно, но постепенно складывается и система разрешения жизненных ситуаций на правосудных началах. Очень верно подобные ситуации характеризует С.С. Алексеев: «В противовес распространенным представлениям об обычном праве как о примитивном, архаичном и исторически преходящем явлении, есть достаточные основания рассматривать обычное право в качестве рожденного самой жизнью классического образца совместимости, казалось бы несовместимых качеств права: его свойства жесткого организма (институционности) и особенностей живого права. Ведь нормы обычного права являются нормативной основой правовых решений жизненных ситуаций» (Алексеев 2000: 107). Я привела здесь этот пример, потому что он характеризует ситуацию правового плюрализма. Рассматриваемые отношения регулируются как государственным правом, региональными актами, таки местным локальным обычным правом, более того, именно восприятие их как равных, справедливых и придает системе устойчивость. К сожалению, государство все больше лишает аборигенов самостоятельности в решении вопросов контроля за ресурсами и их распределения, что приводит не только к снижению уровня их жизни, но и к усилению неправовых отношений, конфликтов и криминализации рыболовства.

Профессиональная этика и прикладные аспекты юридической антропологии

Важным аспектом этой дисциплины являются вопросы этики ученого. Именно при юридико-правовом исследовании важно со-

блюдать определенные правила, так как в этом исследовании затрагиваются острые вопросы, касающиеся прав людей, жизнь которых изучается, поэтому очень важно не навредить своей работой, установить взаимную заинтересованность в ее результатах. Вопрос об этических нормах работы антрополога, особенно проводящего подобные исследования, является дискуссионным (Комарова 2011). На мой взгляд, такие нормы могут быть скорее полезными для нашей работы. Но это возможно, если воспринимать право как необходимую форму свободы, как равенство, в данном случае не только перед судом, но и в установлении партнерских отношений с аборигенами. Ведь своей работой мы активно вмешиваемся в их жизнь, наши статьи и книги часто оказывают влияние на законодательство и политику в отношении этих народов. Когда я проводила полевые исследования в Канаде, я получала лицензию. В самолете по дороге в г. Инувик, я познакомилась с одной местной женщиной гвитчин. Я поделилась с ней своими волнениями, связанными с получением этого разрешения, необычного для российского антрополога. Она сказала, что лицензия – это не ограничение, а тем более не запрет на работу, а «проявление уважение к нам».

Вопрос о возможностях и границах такого партнерства в сфере юридической антропологии связан с особой чувствительностью проблемы традиционных знаний и культурного наследия в связи с правовым положением коренных народов. Для исследователя установление партнерских отношений с местным сообществом, их взаимная заинтересованность в результатах работы часто становятся необходимыми условиями ее успеха. Ведь для того, чтобы люди рассказывали нам о совершенных правонарушениях и их причинах, отношении к ним в аборигенном и шире, локальном сообществе, они должны понимать, зачем проводится это исследование и в чем будет заключаться его смысл для них.

Вопрос о том, как может быть получена информация и какие ограничения существуют для ученых (кроме личных принципов), недостаточно обсуждается в российском научном сообществе, но эти проблемы должны рассматриваться как важная часть профессиональной подготовки антропологов. Вероятно, и в России, как, например, на Севере Канады обязательным требованием при полевых исследованиях должно стать получение разрешения информанта на публикацию и указание его личных данных. Ещё один аспект этой проблемы связан с тем, что юридического антрополога часто воспринимают «адвокатом». При большом разнообразии интересов внутри изучаемых обществ, исследователю легко стать ангажированным. Информанты подчас слишком хорошо знают, что они хотят получить от исследователя, они создают не только «образы права», но и «образ юридико-антропологического исследования». С другой стороны исследование по юридической антропологии часто носит прикладной характер уже по тому, как оно воспринимается читателями и какие с ним связаны ожидания информантов. Поэтому излишняя, на мой взгляд, шифровка не всегда оправдана. Я имею в виду изменение названия места проведения полевых работ. Конечно, указание на конкретных информантов должно быть согласовано с ними. В конечном итоге, это вопрос личного выбора исследователя, но мой опыт говорит о том, что значение работы, в том числе и научное, может быть снижено в результате такой шифровки.

Юридическая антропология выступает как фундаментальная наука, которая изучает правовой процесс, чтобы дать адекватное представление о правовом бытии человека, и одновременно с этим как прикладная наука, стремящаяся создать законодательство, чувствительное к образу жизни людей, который регулируется различными нормами. Это в первую очередь относится к статусу коренных малочисленных народов, мень-

шинств, женщин, детей, вопросов культурной обусловленности прав человека. Для большей эффективности наших знаний в правозащитной деятельности важно сочетать научные академические подходы и профессиональную этику, процессуальный и нормативный анализ. Опыт показывает, что в юридико-антропологических исследованиях междисциплинарный подход позволяет учесть достоинства различных отраслей знания.

Библиография

Алексеев 2000 – Алексеев С.С. Право на пороге нового тысячелетия: Некоторые тенденции мирового правового развития – надежда и драма современной эпохи. М., 2000.

Бенда-Бекманн 1999 – Бенда-Бекманн К. Зачем беспокоиться о правовом плюрализме? Вопросы изучения и осуществления политики правового плюрализма // Обычное право и правовой плюрализм. М., 1999. С. 9–13.

Вудман 1999а – Вудман Г. Теория права, антропология и плановый правовой плюрализм // Обычное право и правовой плюрализм. М., 1999. С. 13–20.

Вудман 1999б – Вудман Г. Оценочные и стратегические перспективы планового правового плюрализма // Человек и право. Книга о Летней школе по юридической антропологии. М., 1999. С. 115–118.

Гирц 2004 – Гирц К. Интерпретация культур. М.: РОСПЭН, 2004.

Гоголев 2014 – Гоголев П.В. Конституционно-правовые основы государственной политики в отношении коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. М.: Издательство московского университета, 2014.

Драма 1996 – Драма российского закона. М., 1996.

Дискуссия 1995, 1996 – Дискуссия // ЭО. 1995. № 2, 3, 6; ЭО. 1996. № 1, 2.

Дусе, Гласкин 2009 – Дусе Л., Гласкин К. Антропология, прецедентное право и австралийские «общества» // Социальная антропология во Франции. XXI век. М., 2009. С. 157–181.

Иванова, Штамлер 2015 – Иванова А.Н., Штамлер Ф. Юридическая антропология. Междисциплинарный анализ восприятия регулирования добывающей промышленности // XI Конгресс антропологов и этнологов России. Сборник материалов. М.; Екатеринбург, 2015.

Карбонье 1986 – Карбонье Ж. Юридическая социология. М., 1986.

Ковлер 1997 – Ковлер А.И. Юридическая антропология как учебная дисциплина // Homo Juridicus. Материалы конференции по юридической антропологии. М., 1997. С. 58–66.

Ковлер 2002 – Ковлер А.И. Антропология права. М., 2002.

Комарова 2011 – Комарова Г.А. Антрополог – это очевидец // АФ. 2011. № 14. С. 235–268.

Кудрявцев, Казимирчук 1995 – Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права. М., 1995. С. 39, 43, 45.

Леви-Строс1983 – Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1983.

Люди Севера 2008 – Люди Севера (права на ресурсы и экспертиза). Исследования по юридической антропологии / Отв. ред. Н.И. Новикова. М., 2008.

Нерсесянц 1998 – Нерсесянц В.С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства. М., 1998.

Нерсесянц 1999 – Нерсесянц В.С. Юридическая антропология как наука и учебная дисциплина. Предисловие // Рулан Н. Юридическая антропология. М., 1999.

Новикова 2005 – Новикова Н.И. Антропология права: предмет и метод учебной дисциплины // Народы и культуры Сибири: изучение, музеефикация, преподавание. Омск, 2005. С. 316–326.

Новикова 2006 – Новикова Н.И. Введение в антропологию права // Антропологическая наука в высшей школе. М., 2006. С. 5–19.

Новикова 2014 – Новикова Н.И. Охотники и нефтяники. Исследование по юридической антропологии. М.: Наука, 2014. 407 с.

Новикова, Якель 2006 – Новикова Н.И., Якель Ю.Я. Судебная защита права на традиционное природопользование: антрополого-правовые аспекты / Исследования по прикладной и неотложной этнологии. № 189. М., 2006.

Обычай и закон 2002 – Обычай и закон. Исследования по юридической антропологии / Отв. ред. Н.И. Новикова, В.А. Тишков. М., 2002.

Обычное право и правовой плюрализм 1999 – Обычное право и правовой плюрализм. (Материалы XI Международного конгресса по обычному праву и правовому плюрализму, август 1997 г.) / Отв. ред. Н.И. Новикова, В.А. Тишков. М., 1999.

Олень всегда прав 2003 – Олень всегда прав. Исследования по юридической антропологии / Отв. ред. Н.И. Новикова. М., 2003.

Права человека 2002 – Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / Отв. ред. Е.А. Лукашева. М.: Норма, 2002.

Право в зеркале жизни 2006 – Право в зеркале жизни. Исследования по юридической антропологии / Отв. ред. Н.И. Новикова. М., 2006.

Радаев 1999 – Радаев В. Неформальная экономика и внеконтрактные отношения в российском бизнесе. Подходы к исследованию неформальной экономики // Неформальная экономика. Россия и мир / Ред. Т. Шанин. М., 1999. С. 35–60.

Соколова, Новикова, Ссорин-Чайков 1995 – Соколова З.П., Новикова Н.И., Ссорин-Чайков Н.В. Этнографы пишут закон: контекст и проблемы // ЭО. 1995. № 1. С. 74–89.

Тишков 2000 – Тишков В.А. Антропология права – начало и эволюция дисциплины // Юридическая антропология. Закон и жизнь. М., 2000.

Человек и право 1999 – Человек и право. Книга о Летней школе по юридической антропологии / Отв. ред. Н.И. Новикова, В.А. Тишков. М., 1999.

Юридическая антропология 2000 – Юридическая антропология. Закон и жизнь / Отв. ред. Н.И. Новикова, В.А. Тишков. М., 2000.

Сайт Комиссии – Сайт Комиссии по правовому плюрализму. http://commission-on-legal-pluralism.com.

Griffiths 1986 – Griffiths J. What is Legal Pluralism? // Journal of Legal Pluralism. 1986. #19. P. 1–47.

Moor 1973 – Moor S.F. Law and Social Change: the Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study // Law and Society Review, 1973. Pp. 719–746.

Pirie 2013 – Pirie F. The Anthropology of Law. Oxford, 2013.

А.А. Белик

Экономическая антропология на рубеже XX–XXI веков*

Особенности современного развития экономической антропологии

В начале XXI века экономическая антропология превратилась в одно из наиболее быстро развивающихся направлений в мировой культурной антропологии. Появление этого междисциплинарного направления в 20-е гг. XX века связано с работами Б. Малиновского, А. Рэдклифф-Брауна и М. Мосса. Безусловно, что у экономической антропологии были предшественники, как среди отдельных исследователей (например, Зиммель с его «Философией денег»), так и среди школ в экономической мысли (историческое направление в Германии). Именно к исторической школе исследований экономики принадлежал и М. Вебер, который сформулировал тезис о зависимости экономического развития от этики и религии отдельных народов. Таким образом, уже в XIX веке было сформулировано положение о влиянии культуры на хозяйственную жизнь той или иной общности людей.

Основной целью экономической антропологии в XX веке было описание особенностей хозяйственной жизни традиционных обществ. Наибольшего развития экономическая антропология достигла в 50–70-е годы минувшего века. В 60–80-е годы XX века между представителями различных течений внутри данной дисциплины шла оживленная дискуссия, посвященная возможности применения неоклассической экономической теории для изучения хозяйственной жизни традиционных обществ. Одни считали возможным применение современной экономической теории (при существенном её дополнении) для описания экономической активности в традиционных обществах (формалисты), другие отрицали эту возможность и настаивали на создании специальной теории для традиционных обществ (субстантивисты). Но все же важнейшим итогом дискуссии стала продемонстрированная невозможность познания хозяйственной жизни доиндустриальных обществ формальной экономической теорией без ее существенной трансформации. Обмен мнениями в антропологическом сообществе выявил ряд обстоятельств изучения особенностей экономической активности в традиционном обществе, в частности, нерешенность некоторых общих проблем, касавшихся взаимодействия людей в процессе осуществления жизнедеятельности в различных культурах. Работы экономических антропологов XX века фактологически опровергли многие положения экономической теории, во всяком случае, применительно к традиционным обществам, но эмпирические выводы редко были подкреплены обобщающими концепциями, в которых были бы подведены итоги исследований и осмыслены их результаты по отношению к более широкому кругу проблем, касающихся функционирования человека в условиях различных культур.

Во время дискуссии 1960–1980-х гг. существенно повысился интерес к изучению межкультурного диалога, особенностей ведения бизнеса в развивающихся странах (деловой культуры), что значительно повлияло на осуществление исследований в экономической антропологии. Индустриально развитые страны стали таким же предметом анализа, как и традиционные общества. Именно в 70-е гг. XX века антропологи

* Данная статья стала последней работой безвременно скончавшегося известного российского этнолога Андрея Александровича Белика.

«открыли» для себя русского экономиста А.В. Чаянова, работы которого дали новый импульс для развития экономической антропологии, способствовали разнообразному изучению крестьянской экономики в развивающихся странах. Таким образом, объектами исследований в рассматриваемой дисциплине становятся все возможные типы культур, что предопределило трансформацию экономической антропологии, как в области постановки задач, так и в способах их решения. Одним из наиболее существенных аспектов изменений в области изучения хозяйственной жизни было выделение в качестве относительно самостоятельных направлений отдельных аспектов исследований экономической антропологии. Среди них необходимо выделить «экономику дара», «поведенческую экономику», «культурную экономику», междисциплинарную область исследований «экономика и культура» и практически ориентированную дисциплину «антропология и бизнес» . В российской отечественной традиции существуют такие направления исследований (также тесно связанные с экономической антропологией) как «крестьяноведение», «психология экономики», «психология и антропология денег». Ключевым понятием для современных исследований в экономической антропологии стало «экономическое поведение» (и соответственно «экономическое сознание»), «предпочтения при выборе» и ряд отдельных новых терминов, разработанных современными исследователями в XXI веке.

При этом неизменным во всех направлениях исследований, близких к экономической антропологии, осталось негативное отношение к формальной экономической теории, к модели экономического человека с рационалистическим, выгодно-эгоистическим выбором. Развитие экономической теории неолиберального типа выдвинула положение об универсальности экономического человека не только для всех возможных видов поведения в границах хозяйственной жизни для всех культур и народов, но распространила принцип корыстно-выгодного поведения на всю деятельность человека вообще. В результате формальная экономическая теория претендует на статус универсальной науки о жизнедеятельности человека в целом. Такой подход получил название «экономический империализм» и был критически воспринят антропологами.

Настоящая статья имеет своей целью дать характеристику экономической антропологии и ряда ее направлений (экономика дара, крестьяноведение Чаянова, поведенческая экономика, психология и антропология денег). Данная задача выполнена как на основе анализа общих проблем указанных направлений, так и при помощи рассмотрения наиболее репрезентативных конкретных исследований различных авторов, отечественных и зарубежных. Очень важный аспект настоящего анализа – междисциплинарность исследуемого направления, которая первоначально в XX веке выражалась во взаимодействии культурной антропологии и экономической теории, в более поздний период трансформировалась в полидисциплинарность, стала областью исследований, в которой участвует, наряду с указанными областями знания, психология личности и социальная психология, этология и биология человека, а также философия и экономическая теория. Интегрирующим аспектом являются различные модели человека, используемые при изучении хозяйственной жизни в условиях различных культур.

Основные проблемы и критика модели рационалистического поведения

В 1980 г. в США было организовано Общество (или Ассоциация) экономических антропологов (SEA). Основная направленность исследований экономических антропологов состоит в изучении экономического поведения и институтов, связанных с хозяйственной деятельностью. Данная ор-

ганизация осуществляет координацию сравнительного изучения различных аспектов функционирования хозяйственной жизни в условиях различных культур и в настоящее время. В первое десятилетие XXI века опубликованы обобщающие работы, посвященных основным задачам, стоящим перед экономической антропологией, и проанализированы основные проблемы общетеоретического характера, связанные с исследованием особенностей поведения людей в процессе экономической активности. Основные направления исследования и проблемы рассмотрены в энциклопедическом издании «Руководство по экономической антропологии» (Handbook of Economic Anthropology) (Handbook 2005). Данная работа дает целостное представление об экономической антропологии начала XXI века в единстве теоретических проблем и эмпирических исследований. Она содержит 36 подробных статей, посвященных самым разнообразным аспектам рассматриваемой дисциплины.

В ее вводной части значительное место отведено рассмотрению содержания понятий современной экономической теории, обоснованию общетеоретической концепции экономической антропологии и выяснению роли антропологических исследований в глобальном контексте современной эпохи (например, в статье Дж. Иэйдеса «Антропология, политэкономия и мир-система теория»). В следующем разделе «Руководства» предпринята попытка содержательного анализа основных категорий, описывающих экономическую активность, и изучаются различные области хозяйственной жизни людей (труд, производство, собственность, деньги, финансы, распределение и перераспределение, потребление). Все указанные сферы экономической активности рассматриваются в русле межкультурного сравнения. Центральное место в указанной работе занимают разделы, посвященные различным видам дарения и междисциплинарным связям экономической антропологии. Среди них: изучение взаимодействия экономики и культуры, экономики и пола, экономики и религии, экономики и этничности. Большое внимание уделяется проблемам, связанным с ценностями различных культур и их роли в экономике (этим вопросам посвящены шесть статей). Завершает «Руководство» обзор региональных исследований особенностей хозяйственной жизни людей. В качестве основных регионов рассматриваются Южная Америка, Южная и Восточная Азия, Африка южнее Сахары, Ближний Восток. Специально анализируется ситуация, сложившаяся в постсоветских обществах.

Наряду с решением общетеоретических вопросов и проведением эмпирических исследований во многих работах обсуждается ключевой вопрос о воздействии культуры на экономическое развитие. Поиски ответа на этот «вечный» вопрос экономической антропологии осуществляется при помощи современных методов, позволяющих сравнить результаты антропологов с итогами аналогичных исследований экономистов. Типичным примером подобного рода работ является статья Л. Кьюзо, П. Сапиенца и Л. Зигалес «Влияет ли культура на результаты экономики?» (Guiso et al. 2006). В ней авторы стремятся последовательно рассмотреть вопрос, поставленный в заглавии. Для выполнения этой задачи формулируется достаточно строгое определение культуры, а затем выделяются основные факторы, которые могут влиять на экономику (приоритетные верования, ценности и предпочтения), чтобы затем показать на основе статистических данных существование влияния религиозных верований и предпочтений на результаты экономики, в том числе на перераспределение материальных благ. Кьюзо и его коллеги представили подробный анализ корреляций доверия и религии, а также этнической идентичности и доверия, и влияния этих факторов на экономику. Таким образом, они выполнили свою задачу и до-

казали воздействие культуры на экономику методами, используемыми современной экономической теорией.

В заключение статьи авторы приводят, на мой взгляд, один из самых интересных примеров влияния культуры на экономику, полученный в итоге сравнительного анализа особенностей хозяйственной деятельности в различных районах США в течение длительного периода времени. Дж. и Соня Саломон в книге «Наследие прерий: Семья, хозяйство, общность» (1992) (Salomon 1992) сравнивали хозяйственную деятельность в одинаковых природных условиях германо-католиков Иллинойса, поселившихся там с 1840 гг. и потомков янки (первых поселенцев, уроженцев Новой Англии, протестантов) из других частей США (Кентукки, Огайо, Индиана). В результате были выявлены «существенные различия в структуре земельной собственности, фермерской практике, рождаемости, выборе сельскохозяйственных культур. Германо-католики никогда не продавали землю и имели в среднем больше детей и ввиду этого выращивали трудоемкие культуры, требовавшие интенсивного труда, используя своих детей. Янки рассматривали фермерство как бизнес, продавали и покупали землю, выращивали не трудоемкие культуры, такие как кукуруза и имели немного детей. Интересно, что, несмотря на то, что способ ведения хозяйства янки был в целом более прибыльным, германо-католическая модель не стала менее распространенной за полтора века ввиду высокой рождаемости немецких католиков» (Guiso et al. 2006: 45).

Даже одна такая реальная история может опровергнуть сотни статей об экономическом человеке. Приверженность традициям в ущерб прибыли на протяжении почти 150 лет – вот неопровержимое доказательство существования других моделей экономического поведения даже в индустриальных странах (иных по сравнению с экономическим человеком).

Критика рационалистического поведения (экономического человека) в более обобщенной форме и оригинальной интерпретации присутствует в творчестве Стефана Гудмена. Он автор статьи «Экономическая антропология» в Энциклопедии социальной и культурной антропологии, издаваемой издательством Routledge. В ней С. Гудмен предпринимает сравнительный анализ двух типов экономик: «экономики рынка» и «общественную (или общинную) экономику». В своем анализе он опирается на богатый фактический материал, который представлен в его фундаментальном труде «Антропология экономики: Общество, рынок и культура» (Gudeman 2001). Ценность его статьи состоит в том, что он в ней осмысливает полученные результаты в виде оригинальных обобщений и использует новые данные, полученные исследователями (вплоть до 2009 г.). Исходный пункт анализа С. Гудмена – характеристика «идеалов» «экономики рынка» и «общинной или социальной экономики», то есть демонстрации двух типов экономики в чистом виде. Одной из важнейших черт экономики рынка в современном обществе он видит неопределенность в отношении средств существования, которое порождает стремление к прибыли и накоплению как залог будущего бытия. В то же время С. Гудмен отмечает наличие чувства определенности (уверенности в завтрашнем дне) в отношении средств существования в «социальной экономике».

С позиций современной экономической теории все участники «экономики рынка» рассматриваются как рациональные калькуляторы, но, по мнению Гудмена, «есть существенная разница между тем, что реально происходит в рыночном обществе и тем, что предписывает рыночная теория» (Gudeman 2010: 215). Он полагает, что «большая часть поведения в рыночной экономике не базируется на исчисляемом отборе средств (способов) достижения целей, а является прагматичной, зависит

от обстоятельств и коренится в общинности (то есть совместной деятельности). Неоклассическая теория подчеркивает исключительную важность рационалистического поведения, но этнографические исследования показывают, что материальное поведение часто характеризуется такими прагматическими практиками как настройка, преодоление, терпение, приспособление» (Gudeman 2010: 215). В «социальной экономике» также встречаются случаи, когда прагматические интересы подавляют традиции и изменяют их под себя.

Обычно при сравнительном рассмотрении «экономики рынка» и «социальной экономики» традиционного общества отмечают трансформирующие влияние рынка на экономическое поведение в общественном хозяйстве. С. Гудмен также приводит примеры влияние модернизации на традиционный образ жизни. Но при этом он критически относится к претензиям экономических теорий на универсализм, будь то марксизм или неолиберализм. С. Гудмен отстаивает положение о разнообразии экономического поведения в современном мире, о локальных способах ведения хозяйства, их своеобразии и несводимости к универсальным моделям. Согласно его мнению, все экономические модели, в широком смысле слова, в определенной степени локальны, то есть ограничены. В то же время он приводит примеры подчинения, существенной трансформации неолиберальных принципов локальными практиками (Gudeman 2010: 216).

Проект сравнительного изучения пятнадцати культур как пример междисциплинарности экономической антропологии

Одним из наиболее значительных исследований первого десятилетия XXI века является изучение особенностей экономического поведения коллективом ученых под руководством Дж. Генрича. Оно представляет собой пример «классического» сравнительного межкультурного исследования 15 культур, но с применением методов, принятых и в экономической теории. По значимости оно не уступает работам классиков экономической антропологии XX века. В выполнении данного проекта участвовали антропологи, имеющие значительный опыт полевых исследований, и ряд психологов и экономистов. Результаты этой грандиозной работы получили отражение в коллективной монографии «Основания человеческой социальности: Экономические эксперименты и этнографические свидетельства из 15 маленьких обществ» (Henrich et al. 2004). Год спустя в 2005 г. в сжатом виде авторы этого труда изложили результаты своих исследований в статье «“Экономический человек” в кросс-культурной перспективе. Поведенческие экономические эксперименты в 15 обществах» (Henrich et al. 2005). Важнейшей особенностью рассматриваемого проекта является одновременное этнографическое изучение и применение экспериментальных методов, используемых в экономических исследованиях, основанных на теории игр. Указанное сравнительное исследование представляет собой попытку не только просто выяснить (в очередной раз) применимость/неприменимость понятия «экономический человек» для анализа хозяйственной жизни в традиционном обществе, но и выдвинуть оригинальные гипотезы относительно «природы человека» и фиксации ряда качеств индивида в его телесной организации. Авторы обосновывают положение о том, что культура может воздействовать на органическую основу человека и влиять на изменения в его геноме. Таким образом, Генрич и его коллеги не просто отвергают модели поведения, созданные в экономической теории, но и предлагают свое объяснение происхождения социально ориентированных стереотипов поведения. В процессе иссле-

дования авторы касаются фундаментальной проблемы соотношения культурной и биологической антропологии, а именно, – взаимодействия культуры (как образа жизни) и особенностей организма индивидов. Взаимоотношение культурного и природного в свете исследований Дж. Генрича и его коллег выступает как взаимодействие в некотором интеграционном единстве. Такой подход к проблеме культурного (социального) и природного дает возможность рассматривать антропологическое знание более интегрировано и продемонстрировать разнообразные связи и взаимодействия между двумя искусственно разобщенными частями науки о человеке и культурах.

Конкретная задача исследования Генрича и его коллег – выяснить соответствие модели поведения, основанной на корыстных интересах индивида стереотипам поведения, существующим в хозяйственной жизни 15 различных культур. Первые сомнения в жизненности модели экономического человека были высказаны практически с начала экспериментального изучения экономического поведения еще в 1989 г. В ряде последующих исследований было показано, что в группе корыстных индивидуалистов не любят и стремятся их изолировать и даже наказать. В группе присутствует стремление к справедливому распределению и т. д. Правда, большинство таких исследований было выполнено на основе экспериментов со студентами индустриальных стран. (В принципе была подтверждена научными методами истина, знакомая всем с детства – «жадин не любят, с ними не играют»). Отдельные исследования с использованием экономических игр проводились в традиционных обществах, но они не дали общей картины явления. Генрич и его коллеги решили осуществить полноценное межкультурное исследование, которое могло бы подтвердить или опровергнуть эгоистическую аксиому – «предположение о том, что индивиды стремятся к максимизации своей выгоды (прибыли) и полагают, что и другие поступают также».

Объектами исследований были выбраны небольшие общества из 12 стран, расположенных на четырех континентах. Среди них охотники-собиратели (хадза, ламалера), группы, совмещающие огородничество с охотой и собирательством (эю, аче, гнею), огородники (мачигуенга, кечуа, ачуар, тсимани), скотоводы (тургуты, казахи, орма), агро-пасторалисты (сангу) и мелкие фермеры (мапуче, шона) (Henrich et al. 2005: 797).

Общие результаты исследований авторы суммируют в пяти положениях: «во-первых, нет общества, в котором эгоистическая аксиома полностью подтвердилась; во-вторых, существуют значительно большее разнообразие в групповом поведении, чем наблюдалось ранее, социальное поведение оказалось более гибким; в-третьих, различия в вовлеченности в рынок и в локальной важности кооперации объясняет в значительной мере поведенческие вариации среди групп; в четвертых, индивидуальный уровень экономического и демографического разнообразия не объясняет особенности поведения внутри и между группами; и в пятых, экспериментальная игра часто отражает образцы взаимодействия, существующие в повседневной жизни» (Henrich et al. 2005: 798). На протяжении всей статьи авторы неоднократно касались оценки эгоистической аксиомы, но каждый раз квалификация корыстного поведения была одинакова. «Эта аксиома нарушалась в каждом обществе, которое мы изучали во всех трех видах экономических игр». Несмотря на довольно большое разнообразие результатов экспериментов, для традиционных обществ типичным был итог исследования среди охотников ламарела (Индонезия), где 63% участвующих в эксперименте поделили пирог пополам, а большинство из оставшихся отдали больше половины (по подсчетам антропологов 58%) (Henrich 2005: 811). Но это не самая главная цель, которую стави-

ли себе исследователи во главе с Генричем. Их интересовали ключевые вопросы человеческой природы, а именно – является ли отрицание экономической модели универсальным образцом поведения человека как вида? Стремление к справедливости и к наказанию за несправедливость есть качество индивида, вытекающее из таких его свойств как пол, возраст, образование – или это качества группы, в которую входит индивид? Другими словами, авторов интересуют ответы на более общие вопросы, касающиеся особенностей деятельности человека как рода, можно даже сказать сущности природы человека.

Для выполнения поставленных задач, ответа на ключевые вопросы теории человека авторы привлекают культурно-генную теорию коэволюции. Сразу надо обратить внимание, что речь идет о культурно-генной теории, а не генно-культурной теории, как у создателей теории коэволюции (теория коэволюции давала возможность равноправного участия в эволюции и генам и культурам, но на деле учитывался лишь фактор генов). Таким образом, авторы обосновывают свою точку зрения, опираясь на положение о влиянии культуры на генетическую основу человека. «Для нашего вида культурно обусловленные способности могут быть наилучшим образом поняты как сложный социальный механизм научения, позволяющего с минимальными затратами адаптировать поведение под местные условия и актуальную информацию. Так как эти формы социального научения создают кумулятивные эволюционные продукты на поколения (например, технологии) также хорошо, как разнообразное и стабильное равновесие в социальных взаимодействиях (институциональные формы), и действуют в значительно более короткое время, чем генетическая эволюция, то культурная эволюция и ее продукты оказывают непосредственное влияние на генотип человека» (Henrich 2005: 812). Такой теоретический подход предполагает, что люди снабжены механизмом обучения, направленным на четкое и эффективное усвоение мотиваций и предпочтений, применимых для локальных культурных условий и содержащих социальное равновесие (институты).

Авторы полагают, что их «работа (так же как и многие другие) показала, что такие качества как справедливость, симпатия и равноправие существенны для понимания функции предпочтения многих людей и могут быть эффективно интегрированы с такими вещами как удовольствие, безопасность, приспособленность для более полного понимания человеческого поведения» (Henrich et al 2005: 812). В период раннего расселения человечества различные популяции адаптировали свое поведение в соответствии с экологическими условиями (от тропических лесов Новой Гвинеи до Арктических областей Сибири) и со временем культурно эволюционировали в направлении соответствующих форм социальной организации.

В итоге Дж. Генрич и его коллеги приходят к выводу о том, что «люди наделены культурным обучающим механизмом, который позволяет нам усваивать верования и предпочтения, соответствующие локальному социальному окружению; что человеческие предпочтения программируются и часто интернализуются так же, как аспекты наших кулинарных и сексуальных предпочтений» (Henrich et al 2005: 813). Все высказанные авторами предположения базируются на двух фундаментальных допущениях. Первое – это то, что люди усваивают свое социальное поведение посредством культурного обучения. Второе – как следствие первого заключается в том, что общества с различной траекторией исторического развития достигают соответствующих социальных форм стабильности. Второе положение доказывается в рассматриваемом исследовании Генрича и его коллег (так же

как и во многих других работах). Первое стало очевидным после многочисленных работ психологов, антропологов, этологов и антропологов.

Группа ученых, создавшая рассматриваемую работу, отдает себе отчет в том, что многие аспекты рассматриваемой проблемы остались невыясненными и что еще предстоит дальнейший путь кропотливого анализа и последующих обобщений и эмпирических исследований. И тем не менее, в статье и монографии, созданных под руководством Генрича, есть много позитивных моментов. В первую очередь – это путь общего анализа и наличие стремления решить проблему в общем виде. Путь размышлений соавторов, который сами они называют «авеню», весьма перспективен. Они обращаются к фундаментальной проблеме воздействия культуры на изменения в телесной организации человека.

Правда, дело здесь не столько в теории коэволюции, сколько в том, что генетикам пришлось признать воздействие внешних факторов на генотип живых существ, в том числе и человека. Это стало незамеченной революцией в результате, в том числе, и программы «Геном человека». Наиболее известной из современных работ, посвященной этому вопросу, является монография Питера Ричерсона и Роберта Бойда «Не только одни гены: Как культура трансформирует эволюцию человека» (2005). Безусловно, что аналогичную точку зрения отстаивали и другие авторы в предшествующие периоды времени (в их список можно включить и Ч. Дарвина), но на протяжении всего XX века мало кто серьезно относился к проблеме внешнего воздействия, ее назвали не совсем верно – наследование приобретенного. Правда, работы Э. Майра 1980-х гг. убедительно показали воздействие образа жизни животных на их органическое строение, но тогда его выводы не были востребованы (хотя в 1983 г. Б. Мак-Клинток получила Нобелевскую премию как раз за доказательство наследования приобретенного, – открытие, которое она сделала еще в 1953 г.).

Но для того, чтобы применение данной идеи было более продуктивно, необходимо затронуть более широкий аспект, а именно процесс формирования человека в ходе эволюции. Имеется в виду тот период, когда человек перешел к принципиально новому образу жизни – приспособлению предметов внешней природы взамен приспособления непосредственно своей телесной организации к условиям внешней среды. Но при этом новый образ жизни воздействовал на телесную организацию человека (особенно хорошо это видно на примере руки) и способствовал развитию особого типа деятельности человека, который впоследствии стал воспроизводиться вместе с культурой. Поэтому ведущий исследователь в области этологии человека И. Эйбл-Эйбесфельдт говорит о предпрограммированности человека к культуре, то есть человек имеет возможность действовать в культуре. Таким образом, и для биологического развития в особенности, ребенок должен общаться с людьми и осуществлять с ними какую-либо деятельность (все дети любят делать это). И. Эйбл-Эйбесфельдт отмечал в различных культурах наличие спонтанного образования социальных связей в раннем детстве и утверждал, что ребенок с рождения запрограммирован на тесное эмоциональное общение, которое дает ему возможность стать полноценным человеком в единстве духовного и биологического аспектов и приобрести ценности локальной культуры.

В заключение комментариев к трудам Генрича и его коллег хотелось бы отметить очень важное положительное свойство, состоящее в том, что соавторы разделяют качества индивида и группы (локальной культуры). Продуктивной добавкой к этому положению будет еще и качества рода чело-

веческого, то есть предпочтения младенцев, которые одинаковы во всем мире, то есть глобально.

Российский опыт междисциплинарных исследований экономической антропологии

Междисциплинарные исследования в области экономической антропологии осуществляются и в современной России. В этой связи, в первую очередь, необходимо отметить работы М.Л. Бутовской и ее учеников, основанные на собственном полевом материале и посвященные изучению взаимодействия репродуктивного успеха и экономического статуса у датога – скотоводов Северной Танзании. М.Л. Бутовская является также автором обобщающего исследования, предмет которого – анализ роли эмоционального и рационального в принятии решений экономического характера в традиционных обществах. В исследованиях М.Л. Бутовской вместе с ее соавторами рассмотрены факторы, формирующие особенности поведения охотников-собирателей (хадза) и скотоводов на ранних стадиях развития. В них показана сложная взаимосвязь органической основы человека с природными условиями и образом жизни, которая существенно влияет и на экономическое поведение (Бутовская 2011а, 2011б; Butovskaya 2011, 2012).

Не менее интересны исследования А.А. Ярзуткиной, которые посвящены изучению экономического поведения коренных народов Чукотки. Они выполняются на базе Лаборатории комплексного изучения Чукотки ДВО РАН г. Анадырь. В поле зрения А.А. Ярзуткиной не только современные особенности экономического поведения коренных народов Севера, но и исторический анализ развития торговли на Чукотке с участием русских и американских купцов. Фундаментальную роль в процессах обмена играет коммуникация-общение (Ярзуткина 2011).

В России были изданы также работы обобщающего характера, связанные с изучением проблем экономической антропологии. Это: первый сборник, посвященный экономической антропологии «Очерки экономической антропологии» (1999) опубликованный под редакцией В.С. Автономова и А.Г. Гаджиева; фундаментальное исследование А.А. Сусоколова «Культура и обмен: Введение в экономическую антропологию» (2006) и курс лекций, прочитанный преподавателем из ФРГ А. Шрадером «Экономическая антропология» (1999). Значительное место занимают вопросы, близкие к экономической антропологии, в историческом исследовании Ю.И. Семенова «Политарный (“азиатский”) способ производства: сущность и место в истории человечества и России» (2008). Ряд аналитических исследования по истории и теории экономической антропологии принадлежит автору настоящей статьи (Белик 2007, 2008, 2010, 2011, 2013а, 2013б, 2013в, 2013г, 2013д).

Крестьяноведение А.В. Чаянова

В 1970–1980-е гг. в экономической антропологии становятся популярными идеи русского экономиста А.В. Чаянова. Обобщающий труд А.В. Чаянова «Основные идеи и формы организации крестьянского хозяйства» вышел сразу после революции, в 1920-е гг. его труды были опубликованы в Германии. Но исторически сложилось так, что теории Чаянова привлекли внимание экономических антропологов только в последней трети XX века.

В чем состояла особенность крестьянского хозяйства по А.В. Чаянову? Цель такой формы хозяйства состояла не в извлечении прибыли, а в поддержании крестьянской семьи, в обеспечении ее потребления. Для капиталиста-предпринимателя (фермера) важен не валовой доход, а прибыль. Если, например, в результате изменения

условий возрастет трудоемкость продукции, вырастет зарплата и соответственно уменьшится прибыль, то фермер, согласно Чаянову, воздержится от таких затрат. Трудовое же крестьянское хозяйство будет расширять производство, увеличивать приложение труда, даже в том случае, если снижается прибыль – лишь бы увеличивался валовой доход, а следовательно, увеличивалась возможность занять все трудовые ресурсы крестьянской семьи и обеспечить ее потребление (История экономических учений 2009: 440–457)

Если же осуществляется переход от натурального хозяйства к товарному, то указанный специфический характер хозяйства не меняется, так как его целью по-прежнему остается не получение прибыли, а поддержание потребления. Такая специфика накладывала отпечаток на все экономические отношения крестьянского хозяйства. Землепользование, структура производства, привлечение капиталов – все определялось тем, что крестьянское хозяйство в конечном итоге не предпринимательское, а потребительское. Особенности трудового крестьянского хозяйства довольно близки к организации производства продуктов в традиционном обществе, которые описывали классики экономической антропологии и к организации трудовой деятельности германо-католиков из штата Иллинойс из исследования Дж. и С. Саломон, рассмотренного ранее.

Идеи А.В. Чаянова дали толчок для активного изучения экономическими антропологами современных крестьянских хозяйств. Интересно, что значительная роль в развитии сельского хозяйства в России сторонниками А.В. Чаянова отводилась психологическим факторам, психологической атмосфере на селе. Так автор исторических работ о российском сельском хозяйстве Н.П. Макаров выделял эмоциональные факторы развития в сельском хозяйстве. «Прежняя этическая ненависть к буржуазным элементам крестьянского хозяйства или этическая идеализация его трудовых элементов – все это начинает уступать активному настроению, родившемуся в результате здоровых процессов, как в недрах крестьянства, так и в рядах русского интеллигентного общества; деловому подходу к жизни должен был соответствовать и соответствующий подход в теории». «Любование здоровым хозяйством – вот социально-этический пункт, который выведет ход русской аграрной мысли из ее земельных тупиков». В.П. Макаров неоднократно упоминает «здорового мужика, знающего чувство “праздника работы” и любования хорошим хозяйством» (Цит. по: История экономических учений 2009: 442). Данные положения очень близки рассуждениям Б. Малиновского о важности эстетического и эмоционального моментов в хозяйственной практике жителей островов в Океании. Видимо не случайно идеи Чаянова и его коллег стали популярны среди экономических антропологов, так как они были достаточно созвучны классическому подходу в этой дисциплине и в то же время открывали новые возможности исследований.

В российской науке наиболее интересными работами в этой области исследования является труд Л.Б. Аклаева «Сельская община в Северной Индии» (1981) и обобщающие работы Ю.И. Семенова. В первую очередь, речь идет о статье «Общинная теория традиционной крестьянской экономики (крестьянско-общинного способа производства)» и некоторых других работах этого автора (Семенов 1996, 2002, 2012).

Экономика дара. Безвозмездное дарение в традиционном обществе

Экономика дара – это явление, существующее в современном обществе и одновременно отдельное направление исследований, выделившиеся из экономической антропологии. Безусловно, что развитие эко-

номики дара неразрывно с экономической антропологией, особенно периода 20–60 гг. XX века. В большей степени экономика дара в XXI веке ориентируется на изучение стереотипов безвозмездного дарения и различного рода помощи, распространенных в развитых индустриальных странах. Предметом анализа в этом направлении исследований являются не только и не столько деятельность благотворительных организаций и волонтеров, а желание большого количество людей помочь бескорыстно другим людям. Долгое время для осуществления желаний людей такого рода не хватало соответствующей инфраструктуры. Начиная с 90 гг. XX века такая инфраструктура оформилась в виде интернета, который в значительной степени облегчил людям общение друг с другом. Таким образом, стало возможно помогать людям информацией различного рода или бесплатной квалифицированной консультацией. Данный процесс оказания безвозмездной помощи стал предметом изучения экономики дара в XXI веке. Экономика дара (*gift economy*), была дополнена современным предметом исследования (*hi-tech gift economy*).

Итак, экономика дара, сам феномен дара остается и, вероятно еще долго будет оставаться в центре внимания антропологов. «Экономика дара» – это сердцевина, ядро экономической антропологии 1920–1960-х гг. Изучение дара и его загадок остается одной из популярных тем и в конце XX – начале XXI вв. Если мы обратимся к обобщающему труду «Руководство по экономической антропологии» (2005 г.), то обнаружим в нем три статьи, посвященные непосредственно процессу дарения. В то же время необходимо выделить явную тенденцию отдельного рассмотрения проблемы дара, анализ «экономики дара» в узком смысле этого слова, как постоянную взаимопомощь, безвозмездное дарение, анализ феномена дара в «чистом» виде, хотя и во взаимоотношении с другими аспектами социальных взаимодействий. Подарки и дары становятся в таком случае центральным понятием изучения антропологом. При этом в ряде работ предпринимается сравнительное исследование роли и функции этих феноменов в индустриальном и традиционном обществе.

Начиная с 80 гг. XX в. были опубликованы многочисленные работы антропологов, посвященные именно «дару» и его месту в развитии и функционированию человеческого общества. Значительное влияние на развитие именно такого подхода оказали работы Аннет Вайнер и особенно ее полнометражный (1,5 часа) фильм о жителях Тробрианских островов. Ее идея о «неотчуждаемых ценностях или собственности» была использована и адаптирована М. Годелье в книге «Загадка дара» Такой же подход отстаивал и Дж. Вудбурн, Д. Чил, а несколько позднее и Р. Хант (Cheal 1988, 1996; Hunt 2000; Weiner 1992; Woodburn 1998). Центральное место в нем отводится рассмотрению того, что М. Салинз называл «генерализованная реципрокность» – то есть всеобщая помощь друг другу в рамках общности. При этом помощь-распределение (в основном речь идет о пище) оказывалась и тем людям, которые заведомо не смогут отдарить, то есть безвозмездно. Данный способ распределения до сих пор сохранился у охотников, собирателей, ранних земледельцев и скотоводов. Правда, в наиболее явном или «чистом» виде он практикуется, прежде всего, у охотников-собирателей. В антропологической науке конца XX в. – первых десятилетий XXI в. вместо термина М. Салинза «генерализированная реципрокность» используется понятие sharing (дележ – всеобщая взаимопомощь) достаточно трудно переводимый на русский язык (Артемова 2009: 139). Экономику, в которой распространен данный способ распределения, принято в настоящее время называть «моральной» или «социальной». Отдавание в «моральной экономике» не исключает возмещения, отдари-

вания, но когда и в каких размерах это будет осуществлено, зависит от различных условий. Поэтому, иногда говорят об отложенной реципрокности (взаимности дарения).

Современные исследователи придают фундаментальное значение sharing и социальной экономике и полагают, что «изучение дара и экономики дара могут снабдить нас эффективным и уникальным способом понимания особенностей формирования личности и структуры социальных отношений отдельно взятого общества» (Yan 2005: 246). Очень важна для многих современных исследований дара одна деталь – акцент на безвозмездное отдавание в различных формах. Именно это и придает экономики дара статус самостоятельного направления исследований. О безвозмездном дарении писал А. Рэдклифф-Браун в своей книге об Андаманских островах, Б. Малиновский наблюдал это на Тробрианских островах, Э. Эванс-Причард, описывая жизнь нуэров, отмечал обычай бескорыстной взаимопомощи и т. д. Аннет Вайнер в своих исследовательских работах и в кинофильме о Тробрианских островах отмечает, что здесь давать важнее, чем брать (за твою щедрость люди тебя поддержат).

Люди в процессе различного рода обрядов отдают и не задумываются над тем, а компенсируют ли мне это во встречных дарах (и дадут больше или меньше, чем я отдал). У них совершенно иное видение этих процессов и мира людей в целом. Подарки – это, прежде всего, форма общения, проявление внимания и солидарности людей друг с другом. Особенно явно это видно в случае даров тем, кто в них не нуждается или так называемых «бессмысленных» даров. Ключ к их пониманию – необходимость и желание личностно общаться. Об этом интересно писал И. Эйбл-Эйбесфельдт, это же прекрасно описывает Аннет Вайнер. В работах А. Вайнер убедительно продемонстрирована основа и первичность общения (коммуникации) в процессах обмена. Делая акцент на отдавании как основной черты культуры раннего общества, А. Вайнер критически относится к не всегда обоснованному употреблению понятия реципрокность (взаимность, взаимный обмен). Наиболее полно и аргументировано американский антрополог рассматривает указанный круг проблем в монографии «Неотчуждаемая собственность: парадокс одновременного владения и отдавания» (1992).

Она утверждает, что дары не обязательно предполагают отдаривание (в смысле: «ты – мне, я – тебе») и понятие реципрокность, укоренившееся в западном мышлении, связано со стремлением оправдать идеи свободного рынка Т. Гоббса. А. Вайнер полагает, что «обосновывает реципрокность ее противоположность – желание сохранить что-то, выведенное из процессов обмена. Это что-то есть собственность, которая свидетельствует об идентичности индивида или группы и этим утверждает различие между людьми или группами. Так как собственник неотчуждаемого устанавливает различия, он привлекает другие виды богатства» (Weiner 1992: 43). А. Вайнер утверждает также, что «неотчуждаемая собственность достигает абсолютной ценности, так как составлена субъективно и отделена от обмениваемых ценностей или абстрактной ценности денег» (Weiner 1992: 191).

Ценность в данном случае может иметь смысл только для данной общности или индивида, поскольку ее значимость происходит из традиции, обычаев, истории народа, этнокультурной общности и не сводима ни к какому эквиваленту, она священна. В своем объяснении дарения и последующих трансформаций А. Вайнер использует понятие неотчуждаемое владение (или собственность, или объект) как нечто, не подлежащее изъятию и подчеркивающее статус (своеобразие, идентичность) владельца (обладателя), который может быть индивидом или группой (общностью). Это могут быть материальные священные объ-

екты – реликвии, принадлежащие отдельной семье и придающие ей особый статус и привлекательность. Такие случаи описаны М. Годелье в книге «Загадка дара» у племени баруйе. Это может быть качество, принадлежащее отдельному человеку – щедрость, которое также обеспечивает ему контакты с одноплеменниками. Создатель и обладатель объектов, циркулирующих в куле (будь то ожерелье или раковина) навсегда останется создателем (и обладателем) этих предметов, имеющих символическое значение для островитян.

В качестве неотчуждаемой ценности может выступать духовная связь с объектом дарения, о которой писал еще М. Мосс. А. Вайнер поддержала М. Мосса в бесконечной дискуссии о значении понятия «хау», которое использовал маорийский мудрец Т. Ранаипири. По мнению А. Вайнер, «хау в качестве жизненной силы, встроенной в индивида, передается и на его имущество и, таким образом, добавляет неотчуждаемой ценности объектам» (Weiner 1992: 63). Абсолютной и неотчуждаемой ценностью для общности является «Традиция» и правила поведения, предписываемые ей. В качестве основного стереотипа поведения – взаимопомощь и дарение, особенно тем, кто нуждается. Таким образом, все дарят друг другу, но при этом нет обязательства взаимного отдаривания (реципрокности, ты мне – я тебе), а есть всеобщее стремление дарить, которое дает преимущества людям в большей степени вовлеченными в социальные связи и привлекает к ним различные виды богатства. Читая книгу А. Вайнер, невольно вспоминаешь слова Б. Малиновского, уместные для комментария ее концепции: «Однако важным является то, что обладать для туземца значит отдавать, – и в этом туземцы существенно отличаются от нас» (Малиновский 2004: 112), – вот он парадокс одновременного владения и отдавания. Вообще, от человека, обладающего чем-то, ожидают, что он поделится с другими. «Следовательно, – продолжает Б. Малиновский, – главным признаком могущества является богатство, а главным признаком богатства является щедрость». Естественно, что скупость является наиболее презираемым пороком, «тогда как щедрость – это для них сама суть добра» (Малиновский 2004: 112).

В итоге, можно каждый отдельный акт дарения квалифицировать как относительно безвозмездный дар. К этому необходимо добавить, что в Китае и Индии практикуется формы дарения, которые принципиально не могут быть возмещены.

Бескорыстный дар в индустриальном обществе

Процессу одностороннего дарения в современном и традиционном обществе посвящена статья Р. Ханта «Односторонние перемещения» (2005), в которой рассматриваются различные формы безвозмездного дарения, существующие в современном и традиционном обществе. Эти формы невозможно квалифицировать как обмен. Данную идею Р. Ханта (и А. Вайнер и других авторов) поддерживает также и Дж. Вудбурн, который отстаивает положение о том, что *sharing* не является видом или формой обмена. Сторонник этой же точки зрения Н. Петерсон неоднократно подчеркивал в своих работах специфичность моральной экономики. Наиболее интересен в этом плане его доклад на 9 Международной конференции, посвященной охотникам и собирателям (9–13 сентября 2002 Эдинбург) «От способа производства к моральной экономике: sharing и системы родства в Четвертом мире».

Сам Р. Хант, характеризуя свою позицию, отмечает, что его «точка зрения состоит в том, что некоторые перемещения вещей не являются обменом, и мы должны признать это различие» (Hunt 2005: 300). За неимением другого термина Р. Хант обо-

значил это явление как «одностороннее перемещение» (дословно «односторонний экономический трансфер»). Он полагает, что данное явление свойственно и современным индустриальным, и не-западным обществам, в том числе традиционным доиндустриальным культурам. Таким образом, Р. Хант аргументировано обосновывает утверждение, что дар (безвозмездное перемещение вещей) есть актуальное явление для всех людей и народов, живущих на Земле, или для общества в целом. При этом, важнейшей чертой исследований Р. Ханта является стремление найти общие моменты «одностороннего перемещения вещей» как в западных, так и в не-западных обществах. В этом стремлении его поддерживает другой современный исследователь экономики дара Я. Яан, который считает необходимым поиск и последующий анализ общих моментов в «экономике дара», существующих в индустриальном и традиционном мире. Он призывает, кроме всего прочего, «уделить большее внимание эмоциональной стороне дарения в индустриальном мире, так как это то, что отделяет дар от обмена товарами» (Yan 2005: 259).

Итак, некоторые исследователи в области «экономики дара» полагают, что бескорыстное перемещение вещей или просто дар есть характерная черта человека независимо от того, где он живет – в племени бушменов или в Нью-Йорке. Видимо, это действительно так. Подобные утверждения имеют основания в результатах исследований, проведенных как в рамках «экономики дара», так и в экономической антропологии в целом. В этом плане достаточно ценными представляется уже рассматривавшиеся работы Дж. Генрича и его коллег. И дело здесь не в противопоставлении эгоизма альтруизму как качеств опять же отдельных индивидов, а в необходимости реализации стереотипов сотрудничества, которые есть неотъемлемая черта поведения человека и без которой человек не может выжить ни биологически, ни социально. Индивид может быть более эгоистичным или менее эгоистичным, но поскольку он существует в какой-либо общности, он должен взаимодействовать с другими людьми. Почти всегда в экономических исследованиях в терминологическом отношении эгоизму противостоит альтруизм. Например, даже В.С. Автономов пишет о том, что «существуют “неискоренимые” проявления альтруизма, которые не могут быть представлены как замаскированный утонченный эгоизм. Это <…> нарушает презумпцию эгоизма, которая негласно все еще играет роль исходной мотивационной предпосылки экономического анализа» (Автономов 1998: 139). В русском языке за словом альтруизм обычно подразумеваются почти экстремальные действия (типа жертвы Данко), а не просто нечто отличное от эгоизма. Вероятно, речь должна идти о сотрудничестве и безвозмездном дарении, о бескорыстном даре, об определенных действиях, а не об абстрактном качестве изолированного индивида. Именно такие характеристики действий способны описать то, что происходит в экономике дара или безвозмездного дарения (Gratis economy).

В реальной современной жизни развитых индустриальных стран есть многочисленные случаи взаимопомощи и бескорыстного дарения неимущим. Просто никто специально не фиксирует такие формы взаимодействия людей. СМИ больше интересуются количеством миллиардеров. Приведу два случая бескорыстного дара из жизни развитых стран 2012 года. Первый – связан с многочисленными пожертвованиями анонима (общая сумма достигла почти 200 тыс. евро) в немецком городе Брауншвейг. Он присылает суммы денег от 10 тыс. евро и выше особо нуждающимся и детским домам (Информация РБК 2012). Второй случай более интересен. Владелец фирмы, осуществлявшей автобусные перевозки в Австралии, после почти 40 лет успешной работы продал ее за 434 миллиона долларов. Определенную

часть он взял себе, но большую часть распределил среди водителей, так как считал, что именно их самоотверженная работа содействовала процветанию его бизнеса. Деньги он распределил пропорционально стажу (некоторые водители работали у него более 30 лет.) Минимальный размер премии 9 тыс. долларов (при стаже 2–3 года), максимальный – 110 тысяч долларов (Информация НТВ 2012). Сколько же радости этот человек доставил людям! Примеры бескорыстного дарения можно было наблюдать после урагана Сэнди в Нью-Йорке в 2012 году, например, когда владельцы ресторанов бесплатно кормили людей (хотя в изобилии были и примеры противоположного толка – стремление нажиться на трагедии).

Экономика дара – это явление, существующее в самых различных типах обществ: от охотников-собирателей до самых современных индустриальных стран. В настоящее время актуальным представляется именно изучение безвозмездного дарения в развитых странах. Особое значение в этом плане приобретает желание авторов (ученых, писателей, композиторов), чтобы с их произведениями познакомилось как можно больше людей (кстати, свободный обмен данными между учеными – обычное явление). Люди, у которых есть дар создавать что-либо, с радостью поделятся с другими, и будут испытывать чувство удовлетворения от этого. Вообще, люди, которые могут создать что-либо интересное, нужное и приносящее эмоциональное возбуждение другим людям, испытывают ни с чем несравнимое наслаждение. Один из членов легендарной группы ABBA, давая интервью журналистам, отмечал, что то эмоциональное состояние, которое он испытывает, выходя на сцену, когда его приветствуют 50 тыс. человек, не сравнимо ни с чем, его нельзя купить ни за какие миллиарды (фильм «ABBA в Австралии»).

Именно об этом аспекте нашей жизни писал М. Мосс: «К счастью, не все еще оценивается исключительно в понятиях купли и продажи. Вещи обладают еще чувственной ценностью, помимо продажной, если только вообще в них может существовать продажная стоимость сама по себе. У нас есть мораль не только торговцев. Остаются еще люди и классы, сохранившие прежние нравы, и мы подчиняемся им почти все, по крайней мере, в определенные времена года или в определенных случаях» (Мосс 1996: 205).

Социально-психологическая основа экономического поведения

Еще в 80-е годы XX века рационалистическая модель экономического человека была подвергнута детальному анализу и практически отвергнута ввиду несоответствия эмпирическим данным. Это произошло в результате натурного и экспериментального исследования поведения людей, вовлеченных в экономическое поведение в «чистом виде» (в процессе покупки/продажи акций и т. п. явлений), в развитых индустриальных странах.

Первая публикация, посвященная радикальному изменению в понимания поведения людей на рынке, появилась еще в 1981 году. Авторами ее были Д. Канеман и А. Тверски (Tversky 1981). Они показали, что в процессе выбора существуют два способа решения – один быстрый и интуитивный, можно сказать спонтанный, другой более медленный и контролируемый рассудком. Эти исследователи в процессе экспериментального изучения мотивации выбора продемонстрировали влияние целостной ситуации, в которой происходит выбор на его характер. Особенно явно это видно в изменениях ответов испытуемых в связи с трансформацией формулировок задания. Создатели нового подхода к экспериментальному изучению экономического поведения дополнили (противопоставили?) теорию вероятности своей теорией

перспективы. Но все же самый главный вывод Тверски и Канемана – участники рынка действуют не обязательно только рационально. Этим они опровергают основной постулат или догму современной формальной экономической теории. В этом плане ученые сделали огромный шаг в направлении отказа от образа логического робота – экономического человека, не подчиняющегося дестабилизирующим влияниям чувств или каким-либо иррационалистическим порывам. Канеман и Тверски сделали попытки отразить в теории реального человека, заменить «мертвого», достаточно пассивного индивида на живое действующее существо с его эмоциями и противоречивыми мотивами. Поэтому их концепция получила признание и развитие в практической сфере бизнеса.

В Японии самая главная кукольная страшилка для детей – не Баба Яга, а красивая кукла, у которой нет лица. Вместо лица – плоский овал без глаз, носа и рта. Есть очень эффектное сравнение такой куклы с современной экономической теорией. Собственно говоря, эта кукла фактически и есть преподаваемая по всему миру экономическая теория со своим абстрактным «Homo economicus» и макроэкономическими моделями. И это блестяще показали Канеман и Тверски, и за что, как это ни удивительно, один из соавторов удостоен Нобелевской премии. Но возможно и еще одно фундаментальное следствие из их теорий. Рынок, в том виде как он существует сейчас, как некая система плохо приспособлен для живых людей, желающих не обогащения любой ценой, а возможности заниматься любимым делом, быть самим собой, быть счастливым с близкими людьми. Такие люди очень часто совершают ошибки в рыночной системе – к выгоде и удовольствию тех, кого интересует не талант и мастерство, а только корысть, выгода. Так, может быть, необходимо трансформировать экономические отношения на практике и отразить разнообразие человека и культур в теории, так сказать придать лицо экономическим концепциям.

После начала Великого финансового кризиса в 2008 году представители поведенческой экономики стали более жестко критиковать господствующую экономическую теорию. Исходным пунктом и базой для критики стали работы Канемана и Тверски. Типичным примером подобного подхода является анализ основных положений формальной экономической теории в статье Г. Стикса «Наука о пузырях и крахах» (2009). Автор критически относится к положению о рациональном выборе человека и подвергает сомнению достоверность одного из базовых положений формальной экономической теории об эффективности рынка. В основу положения об эффективности рынка было положено представление о том, что люди покупают, например, дома по заниженной цене, и воздерживаются от трат, если вещь становится дорогой (переоцененной). Но в определенные периоды активность людей на рынке происходит по прямо противоположному сценарию, совершенно необъяснимому с точки зрения современной экономической теории. При резком росте акций или недвижимости люди начинают скупать переоцененные вещи, подчиняясь иррациональным импульсам, побуждающим делать людей все больше вложений вместо того, чтобы понять, что они переплачивают лишь затем, чтобы впоследствии в панике бежать с рынка, обрушивая его. Очень часто люди надеются, что рост продолжится, и они смогут, что-то выиграть и выйти из игры вовремя. Но, увы, вовремя выходят из игры, то есть фиксируют прибыль, только высокопрофессиональные игроки, да и то не все, и крупные формы, обладающие достоверной информацией. А большинство людей в результате становятся беднее.

Подоплека подобного поведения масс людей лежит не в области экономической теории, а в плоскости социальной психо-

логии. Массовое вовлечение населения во всевозможные финансовые авантюры возможно на основании таких общечеловеческих феноменов как подражание, психическое заражение и внушение. Люди действуют так же, как их соседи, подчиняясь нередко слухам и информации знакомых, ими овладевает состояние азарта, пробуждается жадность, словом распространяется измененное состояние сознание, подобно игромании, и индивиды в массовом порядке участвуют во всякого рода пирамидах и т. д. Все это в избытке можно было наблюдать в 1990-е годы в России при строительстве «пирамид». Нельзя сказать, что указанные взаимодействия людей достаточно хорошо изучены и объяснены, но можно утверждать, что именно эти социально-психологические феномены во многом определяют поведение людей на финансовых рынках.

В статье Г. Стикса приводятся данные о том, что ученые Массачусетского технологического института объединили рациональное и иррациональное описание работы рынка и предложили единую концепции, получившую название «гипотезы адаптивного рынка». В создании данной концепции были также применены принципы эволюции. В соответствии с таким подходом существует корреляция: одна цена ведет к другой. «Вычислительный анализ на основе гипотезы адаптивного рынка, позволяет проследить степень, в которой изменение цены в некий день влияет на изменение цен на следующий день, то есть насколько скоррелированы цены» (Стикс 2009: 40). Это, по замыслу авторов концепции, дает возможность лучше прогнозировать поведение рынка и предугадать появление пузырей. Один из создателей такого подхода А. Ло полагает, что многие беды экономистов происходят из психологического заблуждения, которое он называет «зависть к физике». «Мы хотим, чтобы 99% экономического поведения было объяснено тремя простыми законами природы. На самом деле экономисты имеют 99 законов, которые охватывают три процента поведения. Экономика относится к области человеческих отношений, и как таковую ее можно понять только в более широком контексте» (Стикс 2009: 44).

Исследование Г. Стикса отличается тем, что он показывает всю сложность проблем поведения людей на финансовом рынке. Он отдает себе отчет, что в настоящее время только делаются первые шаги в познании особенностей экономического поведения. Будущее за разнообразными психологическими исследованиями, которые должны привести к более глубокому пониманию психологии человека, которое «сулит навсегда изменить наши фундаментальные предположения о функционировании всей экономики в целом и наше понимание мотивации отдельных участников рынка» (Стикс 2009: 45).

Отечественный опыт изучения экономического поведения

Полноценно решить выше поставленную задачу можно лишь при учете культурных особенностей участников финансового взаимодействия, экономического поведения в целом. Это обстоятельство определяет необходимость использовать данные современных этнопсихологических исследований для изучения их влияния на экономическое поведение в различных социокультурных системах. Именно в этом направлении работают многие отечественные учёные, сфера интересов которых находится в области исследований экономической антропологии. Они осуществляют изучение особенностей психологии народов и поведения людей в различных системах ведения хозяйства. Особую роль здесь играют исследования, посвященные изучению функционирования этнокультурных общностей, не утративших традиционный образ жизни, которые еще сохранились на

территории России. В этом отношении довольно интересны работы А.Д. Карнышева с соавторами, в которых рассматриваются этнопсихологические особенности ведения хозяйств этническими и конфессиональными общностями. Его установочные положения опубликованы в статье, написанной вместе с Е.Л. Трофимовой «От экономической антропологии к экономической этнопсихологии». А.Д. Карнышев и М.А. Винокур опубликовали две обширные работы «Экономическая этнопсихология в Восточной Сибири» (1999) и «Введение в экономическую этнопсихологию» (2000). В 2006 году под редакцией А.Д. Карнышева опубликован сборник «Экономическая этнопсихология: от теории к практике».

В первое десятилетие XXI века в России, как и за рубежом бурно развивается такое направление исследований как «экономическая психология». Данная область исследований входит в «поведенческую экономику», но с каждым годом все в большей степени становится отдельным самостоятельным направлением исследований. Именно это направление исследований относительно популярно в России, и именно в такой форме изучаются, в основном, проблемы, связные с экономической антропологией, рассматриваемой в широком контексте наук о человеке. В Институте психологии РАН успешно функционирует Лаборатория экономической психологии под руководством член-корр. РАН А.Л. Журавлева. Эта организация была инициатором конференции на данную тему. В 2009 году в городе Саратове был открыт первый в России Центр психолого-экономических исследований, занимающийся непосредственно вопросами экономической психологии (ЦПЭИ СГСЭУ при СНЦ РАН).

Психология и антропология денег

Особое место в поведенческой экономике и психологии экономики занимает проблема влияния денег и денежного обращения на хозяйственную жизнь людей и на жизнедеятельность людей вообще. Это направление исследований активно разрабатывается в отечественной науке и в культурной антропологии за рубежом. В общесоциальном аспекте, можно сказать, в общем виде для индустриальных стран наиболее интересно, разносторонне и концептуально насыщенно указанная проблема представлена в серии исследований И.Н. Зарубиной (Зарубина 2007а, 2007б, 2008, 2009). Ряд положений, созвучных идеям экономических антропологов и исследователей, работающих в рамках экономики дара, наиболее рельефно выражены в статье И.Н. Зарубиной «Деньги как социокультурный феномен: пределы функциональности» (2005).

Автор данного исследования отмечает, что единственное значимое свойство денег – их количество. Поэтому их господство и превращение в некое божество, по словам С. Московичи «новый монетарный монотеизм», приводит к деградации всего качественного. «Деньги не знают ни родства, ни национальности, ни культурной, ни конфессиональной общности. Они разрушают традиционные формы общности людей – семью, сословное общество, государство, этнос и т. д.» (Зарубина 2005: 18). И.Н. Зарубина рассматривает механизм воздействия денег на социальные отношения и отмечает, что этот феномен «в общем виде можно описать как редукцию качественного своеобразия социальных и культурных отношений и связей к количественным и обезличенным». Размышляя над рядом положений Г. Зиммеля из его книги «Философия денег», автор показывает, что количественная природа денег предопределяет особый образ жизни, пронизанный рациональностью (выгодностью), каждодневными расчетами и вычисляемым возможным будущим. Особенно интересно в этом плане, рассмотрение И.Н. Зарубиной вывода Г. Зиммеля о том, «что свойство денег переводить качественные характери-

стики в количественные формирует универсальную для западной культуры модель мировосприятия и познания, нашедшую отражение в естественных и социальных науках» (Зарубина 2005: 16). Представления о новой позитивной науке были закреплены в начале XIX века в положениях О. Конта. Основные методы исследования сводились к подсчетам и эмпирическим измерениям. Они означали отказ от поисков философских смыслов и просто скрытых механизмах развития и функционирования явлений в пользу позитивного, объективного знания, поверхностных количественных параметров. Первоисточник подобных взглядов – количественная картина мира Т. Гоббса и понимание мышления как процесса пересчитывания чего-либо аналогично арифметическим операциям. Впоследствии такие операции были неоправданно отождествлены с рациональностью, которая понималась как выгодность, а калькуляция, вычисления стали рассматриваться как основная функция интеллекта. Г. Зиммель писал, что наша жизнь основана на интеллекте и что мысль о том, «что интеллект входит в практическую жизнь как наиболее ценная из наших ментальных энергий, сопряжена с развитием монетарной экономики» Комментируя это положение Г. Зиммеля, И.Н. Зарубина отмечает, что «отношения человека с природным космосом до известной степени уподобилось денежным отношениям личной рациональной калькуляции, а все то, что не поддается количественной фиксации, ушло в разряд иррационального, сверхъестественного, непознаваемого. В результате сформировалась картина мира, в которой вышли за рамки познаваемой реальности, получив ярлыки “необъективного”, добро и зло, любовь и самоотверженность, энтузиазм и героизм» (Зарубина 2005: 16).

В последующем анализе автор рассматривает проблему возникновения денег. Она не согласна с интерпретацией жертвы (богам) в качестве одного из источников возникновения денег и показывает, что развитие цивилизации основано на неоплаченных дарах или безвозмездных и бескорыстных дарах. Это могут дары природы, которыми мы пользуемся, дары выдающихся людей, художников, изобретателей и т. д. Теоретические построения И.Н. Зарубиной перекликаются с идеями антропологов, выделяющих дар в качестве важнейшего компонента культуры. Она обоснованно полагает, что «дар имеет высший, лежащий за пределами обычной рациональности смысл и вызывает в ответ такие же социальные силы – мотивы, отношения и связи, выходящие за пределы ожидания адекватного обмена, ориентируясь на сверхрациональные нравственные и духовные ценности» (Зарубина 2005: 20). В определенном смысле положения отечественного ученого перекликаются с идеями А. Вайнер об «неотчуждаемой собственности» (способностях, престиже, эмоциональных состояниях, жизненной силе…), подчеркивающей идентичность (своеобразие, качественную определенность) обладателя. «Можно купить партнеров, а не преданность и надежность; можно оплатить образование, но нельзя купить талант и творческое озарение; за деньги можно заставить людей совершать какие-либо действия, работу, но не совершить подвиг; можно купить произведение искусства, но не умение видеть и чувствовать прекрасное… Однако именно то, что нельзя купить за деньги, и образует неотчужденную подлинно социальную и культурную сферу в отличие от экономической» (Зарубина 2005: 21). Именно совместное осуществление различного рода действий в культурной среде образует общности людей, основанные «на единстве жизненного мира, на живых непосредственных отношениях». И.Н. Зарубина полагает, что значительные сферы жизнедеятельности людей в индустриальных обществах находятся вне свойств, определяемых деньгами. Социокультурные связи между людьми

«тем и отличаются от экономических, что не ограничиваются обменом по стоимости, а всегда предполагают присутствие сверхстоимостного, не сводимого к количественному денежному измерению компонента» (Зарубина 2005: 22).

Безусловно, что роль и назначение денег являются предметом изучения и в традиционной культуре. Эта задача осуществляется в рамках «антропологии денег» как в исследованиях отечественных, так и зарубежных ученых. Область исследований данной субдисциплины – выяснение роли денег или их аналогов в функционировании традиционных культур, отношение к деньгам в свете традиционных верований. В России данная тема актуальна для современной этнологии. Этнографические данные о традиционном отношении к деньгам присутствуют во многих исследованиях российских ученых. В 2009 году в журнале «Этнографическое обозрение» (№ 2) антропология денег рассматривалась в качестве специальной темы. Видимо наиболее интересным аспектом рассматриваемой субдисциплины являются приметы, связанные с деньгами и их символическое содержание. Приметы есть в определенной степени форма регламентации поведения в традиционной культуре, но, как показывает реальность сегодняшнего дня, приметы учитываются и людьми современной культуры. Анализу указанного слоя культуры посвящена статья Н.В. Аксеновой «Семантика примет о деньгах: проблемы управления денежной энергией». В работе приводятся самые различные приметы восточнославянских народов. Одна из объединяющих интерпретирующих приметы идей, предложенных автором – это то, что наши «неправильные» действия с окружающими предметами могут вести к потере энергии денег и «перекачке» ее в потусторонний мир. «Если вы привыкли класть мелочь и ключи на стол, не удивляйтесь тому, что у вас возникнут денежные проблемы». Очень опасным представляется ронять кошелек на кладбище. Если все же такое произойдет, то в то время как вы будете его поднимать необходимо «мысленно сказать: “Беру не у тех, кто в земле, а свое”. После этого бросьте на землю немного мелочи на любую могилу, мысленно сказав: “Уплачено”» (Аксенова 2009: 7). Одним из важнейший предметов в жилище является стол. Поведение людей по отношению к нему достаточно строго регламентировано, и нарушение правил может также привести к безденежью. Например, «нельзя на стол класть шапку и самим сидеть на столе – денег не будет». Нельзя также оставлять на столе порожние предметы, например, пустые бутылки – денег не будет. Голое, пустое, порожнее – это все символы неполноценности, несовершенства, недостатка. Поэтому «правильным» действием, ведущем к удаче – держать деньги под скатертью или под ковром. Не правильным будет передавать из рук в руки (голые руки) «Деньги не рекомендуется давать, брать из рук в руки, особенно вечером, можете привлечь несчастья. Лучше всего положить их на стол или на прилавок» (Аксенова 2009: 8).

Большую роль в приметах о деньгах играет порог дома, веник и мусор. При покупке веника нельзя торговаться. Важнейшим указанием здесь является призыв «не подбирать мелочь, особенно, если она лежит у порога, так как она несет с собой многие болезни и безденежье». «Никогда не предавайте деньги через порог, не станут водиться деньги и у того, кому вы их даете, и у вас» (Аксенова 2009: 9).

В рассмотренных случаях верований-примет деньги отражаются в народном сознании в качестве магического символа удачи, обеспеченной жизни, так как они появились на территориях, уже длительное время охваченных относительно развитыми товарно-денежными отношениями (Россия, Украина, Белоруссия). Выполнение примет ведет к возможному успеху, а точнее предохраняет от неудачи. Исполнение требова-

ний традиции должно предохранить от сил Зла (в статье силы потустороннего мира) и привлечь на свою сторону силы Добра. Отступление от правил ведет не просто к безденежью (это лишь одна из форм неудачи), а также и к другим всяческим несчастьям и болезням.

Интересно рассматривается роль денег в бурятской культуре в исследовании М.С. Романовой (Сайдуковой) «Деньги в бурятской культурной традиции». Начиная анализ, автор отмечает, русское слово деньги произошло от монгольского мунгэ (буквальное значение серебро). В современных монгольских языках используется оба значения – серебро и деньги. Вообще серебро играет важную роль в культурной традиции бурят. В бурятском героическом эпосе «Гэсэр» серебро встречается более 200 раз, а слово мунгэ вместе с прилагательным белый в приложении к человеку означало светлый человек или человек с добрыми намерениями. Другими словами, серебро (деньги) олицетворяло светлое начало в жизни бурят. Украшение из серебра выполняли охранительную функцию, а младенца купали в воде, очищенной серебром (Романова 2009:23).

Эквивалентом денег у бурят в разные периоды истории служили слитки серебра, плитки зеленого и черного чая, рулоны шелка, шкурки животных (соболь) и крупный рогатый скот. Наиболее популярными разменными деньгами долгое время до XIX века были плитки чая. Плитка желтого чая (сейчас его называют черным) была мелкой монетой, а плитка зеленого чая приравнивалась к купюрам. В заключении автор отмечает, что многие элементы обрядности, связанные с серебром и другими деньгами, сохранились до сих пор.

Несколько иначе обстоит дело с ролью денег в алтайской культуре, хотя и здесь товарный эквивалент выступает средством платежа за товары и услуги, обеспечивая товарообмен между людьми. Различным аспектам бытия денег в культуре алтайцев посвящена статья С.П. Тюхтеневой «Деньги – бумага, человек – золото». В отличие от бурят, в эпосе алтайцев нет упоминания о деньгах, не встречается слово, их обозначающее (акча). Тем не менее, поскольку алтайцы вели торговлю с различными народами с древних времен, товарный эквивалент стал органической частью традиционных верований и ритуализованных действий. Согласно традиционным представлениям деньги могут быть чистыми и грязным в зависимости от их происхождения. «“*Чистые деньги*” – это заработанные собственным трудом, вырученные за проданный или сданный на мясо скот; за проданные кедровый орех, пушнину и другую промысловую продукцию; заработная плата или подарок» (Тюхтенева 2009: 19). Грязными считались деньги, полученные в результате грабежа, кражи, случайной находки или выигрыша в лотерею. Интересно, что в советское время с 70 гг. XX века был относительно широко распространен обычай жертвовать деньги духам в виде монет, которые бросали в родники (обычно на перевалах) и даже денежные купюры от 1 до 50 рублей, которые накалывали на кусты, растущие рядом. Но уже в XXI веке алтайцы постепенно отходят от этой традиции. По мнению автора статьи, это связано с тем, что деньги использовались как заменители предметов, сакрализованных традицией, и в некотором отношении и с тем, что появилось много грязных денег (в советское время их было немного).

Но в то же время осталась традиция дарить деньги при рождении ребенка. «Деньгами (как правило, 100–1000 рублей) одаривают всех где-либо обучающихся любого возраста – школьников, студентов, аспирантов, курсантов – “на дорогу”». Бабушки и дедушки, получив пенсию, небольшую ее часть раздают внукам и правнукам. С.П. Тюхтенева подчеркивает, что дарение денег выполняет социальную функцию – это поддержание сетевых (се-

мейных, родственных, соседских и т. д.) связей. Особенно привлекает внимание обычай «безвозмездной помощи от 100 до 10 тыс. рублей на свадьбу, похороны, дальнюю поездку, на лечение, при поездке к сыну в армию, при поступлении в вуз, покупке жилья». В принципе, помощь деньгами предполагает ожидание ответной помощи. Но это не означает, что если вы подарили 1 тыс. рублей, то вам отдадут эту же сумму. Смысл социальной функции денежных и других даров в том, что любой житель общности вправе ожидать помощи со стороны односельчан. «Ответная помощь может быть оказана любым доступным способом: физической помощью при строительстве дома, на сенокосе и пр.» (Тюхтенева 2009: 20). Таким образом оказывать помощь есть черта традиционного мироустройства алтайцев очень похожая на sharing, практикуемая в обществах охотников и собирателей и скотоводов нуэров, образ жизни которых описан Э. Эванс-Причардом.

Существует у алтайцев и такая форма оказания помощи как «тетрадные деньги» (кредит, мел в США). С советских времен и по сей день в сельских магазинах практикуется продажа в долг предметов первой необходимости (долг записывают в особую тетрадь). Обычно такой формой обслуживания пользуются пенсионеры и те, кто получает деньги раз год, осенью, продав выращенный скот или продукцию промыслов. Кредит пенсионерам составляет от 500 до 2 тыс. рублей, у промысловиков 5–10 тыс. рублей (Тюхтенева 2009: 18). Интересно, что до сих пор важнейшим эквивалентом цены, существующем в народном сознании и с которым сравнивают все остальное, являются овцы (телевизор стоимостью 5 тыс. рублей может быть оценен в 5 овец). Это не случайно, так как в традиционном сознании алтайцев материальная ценность и богатство ассоциируется с «белым» скотом – овцами и лошадьми. «Численное выражение такого богатства определить сложно, так как алтайцы считают невозможным называть точное количество скота. В этом запрете виден отголосок архаических магических воззрений – счет означает конечность и исчерпаемость» (Тюхтенева 2009: 19). По мнению автора статьи, истинное богатство не заключается только в экономических достижениях. Истинное богатство в алтайской культуре «а это скот, здоровье, долголетие, многочисленное потомство» связано с многочисленными магическими и ритуальными действиями и подразумевает важнейшей ценностью создателя всего – человека.

В определенной степени ценность человека противопоставляется деньгам. Это особенно хорошо видно из интерпретации алтайской пословицы, которая вынесена в заглавие статьи С.П. Тюхтеневой. Данная поговорка очень часто используется в тех случаях, когда возможно возникновение конфликтной ситуации в связи с невозможностью отдать долг. Кредитор, понимая конфликтогенность ситуации, принимает решение простить долг. «Употребив вынесенную в заголовок поговорку, кредитор заявляет тем самым, что ценность человека и человеческих взаимоотношений с должником дороже, чем деньги. <…> Второй компонент поговорки – “человек – золото” – позволяет интерпретировать заключенный в нем смысл таким образом: золото дороже денег, поскольку менее подвержено утрате потребительской стоимости в силу того, что это металл, а не бумага или засохшее растение. А человек дороже золота, поскольку родить и вырастить его стоит бóльших трудов, чем найти золото» (Тюхтенева 2009: 16). К этому можно лишь добавить, что действительной ценностью, утверждаемой традицией и существующей по сей день в культуре алтайцев является сотрудничество людей по преодолению жизненных трудностей. Сотрудничество, взаимопомощь, безвозмездные дары и достаточно четкое определенное место денег – все это делает

возможным успешное развитие и воспроизводство алтайской культуры в целом.

Область исследований «антропологии денег» в зарубежных работах довольно близка к обозначенному ранее изучению роли и особенности денег в различных культурах. Анализ этого аспекта бытия денег широко распространен в современной культурной антропологии. Отличие зарубежных исследований в этой области состоит в значительном внимании к анализу экономических проблем, связанных с деньгами, и отражении их в традиционной культуре. Антропологов часто больше интересует, как решаются проблемы, порожденные экономикой, а не то, как представители доиндустриальных обществ осмысливают роль денег и отражают это в тех или иных формах ритуалов, верований и т. д. Репрезентативными примерами именно такого подхода являются статьи Б. Маурера «Антропология денег» (Maurer 2006) и К. Харта «Деньги: антропологический взгляд» (Hart 2005). Эти работы не столь этнографичны как монография К. Грегори «Первобытные деньги» (Gregory 1997) или сборник Д. Акина и Дж. Робинса, посвященный традиционным денежным эквивалентам в Меланезии (Akin 1999). В большей степени многие современные работы антропологов направлены на анализ современного общества (в сравнении с традиционным), например, на выяснение особенностей религиозного культа денег или посвящены культурным аспектам функционирования новой валюты – евро.

Заключение

Итак, даже в кратком очерке о современной экономической антропологии и тесно связанных с ней направлениях исследования рельефно выражены некоторые существенные черты экономического поведения. Самое очевидное и во многом определяющее обстоятельство состоит в том, что любые действия людей есть их совместная активность, в которую вовлечены и коллективисты, и индивидуалисты. Поэтому в экономическом поведении в той или иной степени существуют стереотипы «общинного» взаимодействия или различные формы сотрудничества. Один только этот эмпирический факт ставит под сомнение большинство догм современной экономической теории, больше похожей в настоящее время на религиозный культ, нежели на научную теорию. В многочисленных работах опровергнут и пресловутый рационалистический выбор, и эффективность рынка в решении экономических проблем. Но самое главное, что в современных исследованиях в области экономической антропологии еще раз подтверждено значительное влияние культуры на экономические процессы вообще (в целом) и на экономическое поведение в частности. Можно сказать, что экономическая антропология подтвердила центральное положение М. Салинза: «Нельзя непосредственно идти от материальных условий к культурным, как от причины к следствию. Система символических ценностей в каждом обществе определяет материальные цели и направляет материальные силы на их реализацию» (Sallins 1976: 299).

Библиография

Автономов 1998 – Автономов В.С. Модель человека в экономической науке. СПб., 1998.

Аксенова 2009 – Аксенова Н.В. Семантика примет о деньгах: проблема управления денежной энергией // ЭО. 2009. № 2. С. 7.

Артемова 2009 – Артемова О.Ю. Колено Исава: Охотники, собиратели, рыболовы (опыт изучения альтернативных социальных систем). М.: Смысл, 2009.

Белик 2007 – Белик А.А. М. Годелье и его книга «Загадка дара» // Годелье М. Загадка дара М., 2007. С. 293.

Белик 2008 – Белик А.А. «Загадка дара» М. Годелье и некоторые вопросы современности // ЭО. 2008. № 2.

Белик 2010 – Белик А.А. Экономическая антропология; взаимодействие экономики и культуры // Экономический журнал. 2010. № 4(20).

Белик 2011 – Белик А.А. Социокультурные аспекты экономического сознания и поведения // Культура и экономическое поведение. М., 2011. С. 14–47.

Белик 2013а – Белик А.А. Экономическая антропология в конце XX начале XXI века: экономика дара // Экономический журнал. 2013. № 1 (29).

Белик 2013б – Белик А.А. Деньги в современном и традиционном обществе (психология и антропология денег) // Экономический журнал. 2013. № 2(30).

Белик 2013в – Белик А.А. Особенности экономического поведения в Китае // Экономический журнал. 2013. № 3 (31).

Белик 2013г – Белик А.А. Психология экономики А. Маслоу, теория ценностей в традиционном обществе и роль эмоционального настроя в теории Дж.М. Кейнса // Экономический журнал. 2013. № 4 (32).

Белик 2013д – Белик А.А. Человек в экономической антропологии. М., 2013.

Бутовская 2011а – Бутовская М.Л. Репродуктивный успех и экономический статус у датога – полуоседлых скотоводов Северной Танзании // ЭО. 2011. № 4. С. 85–100.

Бутовская 2011б – Бутовская М.Л. Homo economicus в свете теории эволюции: рациональное и эмоциональное в основе экономических решений в простых (племенных) обществах // Культура и экономическое поведение. М., 2011. С. 48–89.

Зарубина 2005 – Зарубина Н.Н. Деньги как социокультурный феномен: пределы функциональности // Социологические исследования. 2005. № 7. С. 13–21

Зарубина 2006 – Зарубина Н.Н. Деньги в социальной коммуникации // Социологические исследования. 2006. № 6.

Зарубина 2007а – Зарубина Н.Н. О мифологии денег в российской культуре // Социологические исследования. 2007. № 3.

Зарубина 2007б – Зарубина Н.Н. Влияние денег на социальное конструирование времени. Динамика нелинейности // Социологические исследования. 2007. № 10.

Зарубина 2008 – Зарубина Н.Н. Деньги и культура богатства: перспективы социальной ответственности бизнеса в условиях глобализации // Социологические исследования. 2008. № 10.

Зарубина 2009 – Зарубина Н.Н. Трансформации рациональности в глобализирующемся мире: влияние денег // Социологические исследования. 2009. № 4.

Информация НТВ 2012 – Информация ТВ канала НТВ «Сегодня» от 1.02.2012.

Информация РБК 2012 – Информация ТВ канала РБК 23.30 от 9.03.2012.

История 2009 – История экономических учений. М., 2009.

Малиновский 2004 – Малиновский Б. Избранное: Аргонавты западной части Тихого океана. М., 2004.

Мосс 1996 – Мосс М. Общества. Обмен, Личность. М., 1996.

Романова 2009 – Романова (Сайдукова) М.С. Деньги в бурятской культурной традиции. // ЭО. 2009. № 2. С. 23

Семенов 1996 – Семенов Ю.И. Пережитки первобытной престижной экономики русских крестьян вообще, сельских жителей Рязанского края в частности // Этнография и фольклор Рязанского края: Рязанский этнографический вестник. Рязань 1996.

Семенов 2002 – Семенов Ю.И. Общая теория традиционной крестьянской экономики (крестьянско-общинного способа производства) // Власть земли. Традиционная экономика крестьянства России X1X века – начала XX века. М., 2002.

Семенов 2012 – Семенов Ю.И. Крестьяноведение (Концепция крестьянства и крестьянских общин в современной экономической антропологии (этнологии)) // Социокультурная антропология: История, теория, методология. М., 2012. С. 478–402.

Стикс 2009 – Стикс Г. Наука о пузырях и крахах // В мире науки. 2009. № 10.

Тюхтенева 2009 – Тюхтенева С.П. «Деньги – бумага, человек – золото» // ЭО. 2009. № 2.

Ярзуткина 2011 – Ярзуткина А.А. Торговля в традиционной культуре коренных народов Чукотки: коммуникативный аспект // Традиционная и современная культура: история, актуальное положение, перспектива. Пенза; Москва; Минск, 2011. С. 168–18.

Akin 1999 – Akin B. Cash and Shell Money in Kwaio Solomon Islands // Money and Modernity: State and Local Currencies in Melanesia / Eds. D. Akin, J. Robins. Pittsburgh (PA), 1999. P. 103–130.

Baba 2006 – Baba M.L. Anthropology and Business // Encyclopedia of Anthropology / Ed. H.J. Brix / Thousand Oaks, London, N. Delhi, 2006. P. 83–117.

Butovskaya 2011 – Butovskaya M., Burkova V., Mabulla A. Sex Differences in 2D:4D Ratio, Aggression and Conflict Resolution in African Children and Adolescents: a Cross-Cultural Study // Journal of Ag-

gression, Conflict and Peace Research. January 2011. V. 2. Iss. 1.

Butovskaya 2012 – Butovskaya M. et al. Aggression, Digit Ratio and the Variation in the Androgen Receptor, Serotonin Transporter and Dopamine D4 Receptor Genes in African Forages: The Hadza // Behavior Genetics. V. 42. 2012. № 4.

Cheal 1988 – Cheal D. Gift Economy. N.Y., 1988.

Cheal 1996 – Cheal D. Moral Economy // The Gift: Interdisciplinary Perspective / Ed. E.M. Kompter. Amsterdam, 1996.

Gregory 1997 – Gregory C. Savage Money: the Anthropology and Politics of Commodity Exchange. Amsterdam, 1997.

Gudeman 2001 – Gudeman S. The Anthropology of Economy: Community, Market and Culture. Oxford, Blackwell, 2001.

Gudeman 2010 – Gudeman S. Economic Anthropology // The Routledge Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology / Ed. by A. Barnard and J. Spencer. NY, 2010. P. 210–217.

Guiso 2006 – Guiso L., Sapienza P., Zingales. Does Culture Affect Economic Outcomes? // Journal of Economic Perspective. V. 20. 2006. № 2.

Handbook 2005 – Handbook of Economic Anthropology / Ed. J.G. Carrier. Northampton, 2005.

Hart 2005 – Hart K. Money: One Anthropologist View // Handbook of Economic Anthropology. 2005. P. 160–175.

Henrich 2004 – Henrich J. et al. Foundation of Human Sociality: Economic Experiments and Ethnographic Evidence from Fifteen Small-Scale Societies Oxford, 2004.

Henrich 2005 – Henrich J., Boyd R., Bowels S., Camerer C., Fehr E., Gintis H., McElreath R., Alvard M., Barr A., Ensminger J., Henrich N.S., Hill K., Gil-White F., Gurven M., Marlove F.W., Patton J.Q., Tracer. D. Economic Man in Cross-Cultural Perspective: Behavioral Experiments in 15 Small-Scale Societies // Behavioral and Brain Sciences. V. 28, 2005. P. 795–855.

Hunt 2005 – Hunt R.C. One-way Economic Transfer // Handbook… P. 290–304.

Hunt 2000 – Hunt R.C. Forager Food Sharing Economy: Transfer and Exchange // The Social Economy of Sharing: Resource Allocation and Modern Hunter-Gatherers / Eds. G. Wenzel et al. Osaka 2000.

Jordan 2003 – Jordan A. Business Anthropology. Prospect Heights (Ill). 2003.

Lury 1996 – Lury C. Consumer Culture. Cambridge: Polity Press, 1996.

Maurer 2006 – Maurer B. Anthropology of Money // Annual Review of Anthropology. 2006. V. 36. P. 15–36.

Olson 2003 – Olson B. Revolution in Marketing Apparel: A Narrative Ethnography // Advertising Culture / T. Malefyt, B. Moeran (Eds.) Oxford UK, 2003.

Sallins 1976 – Current Anthropology. Discussion. 1976. № 2.

Salomon J., Salomon S. 1992 – Salomon J.T. and Salomon S. Prairie Patrimony: Family, Farming and Community in the Midwest. Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1992.

Sherry 1995 – Sherry J.Jr. Contemporary Marketing and Consumer Behavior: An Anthropological Sourcebook / Thousand Oaks (CA), 1995.

Tversky 1981 – Tversky A., Kahneman The Framing of Decisions and Psychology of Choice // Science. 1981. Vol. 211. № 4481. P. 453–458.

Weiner 1992 – Weiner A. Inalienable Possessions: Paradox of Keeping-while-Giving. Berkeley, 1992. P. 28–30.

Woodburn 1998 - Woodburn J. Sharing is not a Form of Exchange: an Analysis of Property-Sharing in Immediate-Return Hunter-Gatherer Societies // Property Relations: Renewing the Anthropological Tradition / Ed. C.M. Hann. Cambridge, 1998.

Yan 2005 – Yan Y. The Gift and Gift Economy // Economic Anthropology / Ed. J.G. Carrier. Northampton, 2005. P. 246–261.

Ю.Н. Феденок

Этология человека в России: современное состояние и перспективы*

Что такое этология человека (возникновение и этапы развития)

Этология – научная дисциплина, изучающая биологические основы поведения животных, возникла в начале XX века и оказала поистине революционное воздействие как на биологические науки, так и на гуманитарные отрасли знания (Гороховская 2001: 5). Основателями этологии как науки стали нобелевские лауреаты австриец Конрад Лоренц и голландец Нико Тимберген. Отличительной особенностью этологии является использование невключенного наблюдения за поведением в естественной для индивида (особи) среде, что дает возможность моделировать эволюционное развитие поведенческих стратегий (Бутовская 1999б: 21). При этом для объяснения того или иного поведенческого акта этологи обращаются не только к индивидуальному прошлому индивида (онтогенезу), но и к физиологическим механизмам этого поведения, его функциям и эволюции.

Идея этологического анализа культурных феноменов впервые отчетливо прозвучала в работах Конрада Лоренца (Лоренц 2008б). В 1960–1970-е гг., во многом благодаря работам Ирениуса Эйбл-Эйбесфельдта (Eibl-Eibesfeldt 1989), в качестве самостоятельной поддисциплины выделилась этология человека. Уже изначально эта наука характеризовалась междисциплинарностью, так как значительные её области пересекаются с гуманитарными дисциплинами, такими как антропология, психология, социология, семиотика, лингвистика, философия (Гороховская 2001).

Одной из важнейших областей исследований этологии человека является анализ соотношения филогенетических и культурных стереотипов поведения (Лоренц 2008б). Для выявления биологических универсалий в поведении людей этологи используют сравнительно-эволюционный подход и такие методы, как кросскультурные сопоставления, сравнительный анализ поведения человека и животных (особенно приматов), детей и взрослых, анализ индивидуальных и групповых отличий (Белик 2012: 230; Бутовская 1999б: 17; Бутовская, Козинцев 1998). Уже ранние исследования этологов убедительно показали, что многие качества, ранее считавшиеся «чисто человеческими»: альтруизм, кооперация, этические нормы, способность к самоузнаванию – имеются и у животных (Бутовская, Файнберг 1993; Гороховская 1999: 88; Гуськов 1994: 18). Преимущество этологического подхода заключается еще и в том, что применение к человеку методов исследования поведения, сопоставимых с методами, используемыми при изучении других животных, позволяет выделить в поведении людей наиболее древние формы (Мейшвили, Чалян 1999).

В отличие от общей и сравнительной этологии, изучающей поведение животных, этология человека рассматривает не только биологические основы человеческого поведения, но и культурно-биологическую преемственность, эволюцию форм культуры на основе поведенческих универсалий (Шмерлина 2002). В настоящее время для этологии в целом характерно слияние с рядом других дисциплин, прежде всего с когнитивной психологией, эволюционной психологией, эволюционной антропологией, генетикой поведения. Уже в 80-е годы XX века

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 15-36-01027

этология человека представляла собой междисциплинарный комплекс, состоящий из этологии, психологии развития, социальной психологии, психолингвистики, семиотики, этнографии, антропологии и эволюционной теории (Панов 1989). Сегодня исследователями отмечается, что только комплексное использование этологических, экологических и генетических методов открывает путь к пониманию глубинных основ поведения человека (Дерягина, Бутовская 2004: 9–11).

Многие составляющие поведения человека в современном городе становятся более понятными, если обратиться к его эволюционным истокам. В 1990-х гг. возникла и сформировалась городская этология, изучающая самые разные аспекты жизни человека в городской среде: поведение в транспорте, взаимодействие людей в условиях массового анонимного общества, пространственное поведение в местах отдыха (парки, кинотеатры, стадионы), взаимоотношения в рабочих коллективах. Объектом изучения этологов становятся экстремистские группировки футбольных болельщиков, нищие, молодежные субкультуры, лица, увлекающихся экстремальными видами спорта (Бутовская 2004а; Человек в прошлом 2008).

В России этологические исследования поведения человека проводились уже с начала XX века стараниями Н.Н. Ладыгиной-Котс, оказавшей огромное влияние на развитие многих наук в нашей стране (этологии человека, сравнительной психологии, эволюционной психологии и др.) (Зорина 2008: 10–11). Хотя к этологическому анализу ранних этапов эволюции человека, в том числе при обсуждении вопросов о формах социальной организации гоминид, обращались многие видные российские ученые[1], однако долгое время этому методу не уделяли должного внимания (Бутовская 1988). По большей части это связано с тем, что, хотя учеными гуманитариями и не отрицается тот факт, что человек имеет телесную природу и принадлежит к отряду высших приматов, однако эти аспекты радикальным образом выводятся за рамки их исследовательского анализа (Гороховская 1999; Шмерлина 2002). Не уступали гуманитариям и отечественные биологи, которые привыкли считать человека существом качественно уникальным, «социальным» по природе, в отличие от движимых инстинктами животных (Бутовская 1999а: 6)[2].

Благодаря усилиям российских этологов эта наука развивается в нашей стране вот уже несколько десятилетий. В конце 1990-х – начале 2000-х годов в г. Москве были проведены Летние этологические школы, на которых читали лекции и выступали с докладами ведущие российские и зарубежные этологи (об этом см. Этология человека 1999; Этология человека 2004; Человек в прошлом 2008; Sociobiology of Ritual 1998). В настоящее время в российской этологии человека развиваются такие направления как реконструкция ранних этапов человеческой эволюции, агрессивное и постконфликтное поведение человека, буллинг, невербальная коммуникация, изучение психической нормы и патологии, репродуктивное поведение человека и родительский фаворитизм, альтруизм и стратегии попрошайничества. Ниже мы их кратко охарактеризуем.

Этология человека – инструмент реконструкции ранних этапов человеческой эволюции

В основе социального поведения человека лежит целый комплекс факторов, многие из которых связаны с эволюционным прошлым человека и продолжают оставаться функциональными в настоящее время.

[1] Подробнее см. Бутовская 1988, Бутовская 1999б, Гороховская 2001.

[2] Подробнее об истории возникновения и развитии этологии см. Бутовская 1999а, 1999б; Гороховская 1999, 2001.

Этологические данные в комплексе с палеоантропологическими, археологическими, этнографическими и приматологическими материалами помогают в реконструкциях ранних этапов антропо- и социогенеза, в том числе при изучении таких видоспецифичных явлений как взаимоотношение полов, родственные связи и брачные структуры, иерархия и доминирование в обществе, принципы социальной стратификации и разделения труда между полами, возникновение альтруизма и инцест-табу, толерантное и интолерантное отношение и многих других поведенческих особенностей человека (Бутовская 1988; Бутовская, Файнберг 1993; Дерягина, Бутовская 2004). Большую роль в этом сыграли исследования поведения приматов и сравнительный анализ с поведением человека (Бутовская 1987, 1990, 2002; Зорина, Смирнова 2006; Кузнецова и др. 2006; Мейшвили, Чалян 1999; Сухова 2000, Резникова 2005; Фирсов 1977). Так, например, было показано, что такие базовые характеристики социальных систем у человека, как деспотизм и эгалитарность, обеспечиваются сходным набором поведенческих адаптаций у низших и высших обезьян (Balasubramaniam et al. 2012a, b). Большую роль для изучения типов половой иерархии у человека сыграли сравнительные приматологические исследования, а исследования этологов показали, что иерархия полов (в частности патриархия) не является статичной и универсальной для всех человеческих сообществ (Бутовская 1990: 70).

В последние годы в связи с рассмотрением проблем адаптации современного человека и моделированием адаптивных процессов, наблюдается резкий подъем интереса к изучению взаимосвязей морфологических и поведенческих показателей, имеющих наследственную природу (Бутовская и др. 2009; Butovskaya 2013). Во многом это связано со значительным прогрессом в техниках лабораторного анализа генетического материала. На сегодняшний день установлено, что между поведенческими (психологическими) и морфологическими характеристиками существует тесная взаимосвязь, что объясняется общим воздействием на организм средовых (в том числе и социальных) и наследственных факторов (Бутовская и др. 2010, 2011а, 2012б; Прудникова и др. 2012).

В процессе эволюции биологические, поведенческие и социальные изменения происходили одномоментно[1], а адаптация к различным условиям среды привела к возникновению полиморфизма и политипии современного населения (Бутовская и др. 2011а). Так внутри одной популяции встречаются представители разных адаптивных типов, различающихся как внешностью, так и психологическими особенностями (Бутовская и др. 2012б). Определенные морфо-психологические комплексы у человека формировались в процессе эволюции и контролировались отбором на протяжении многих сотен тысяч лет. Набор таких комплексов представляет собой эволюционно стабильные стратегии, обеспечившие человечеству возможность заселения практически всех экологических ниш на планете. В зависимости от условий среды обитания, представленность различных адаптивных типов меняется. В современных индустриальных обществах мы можем наблюдать все эволюционно стабильные стратегии, но соотношение морфо-психологических типов зависит от их репродуктивной ценности и их востребованности в конкретном обществе (Бутовская и др. 2010, 2011а).

Ярким примером того как в современном обществе находят свою профессиональную нишу представители существовавшего с древности адаптивного типа являются спортсмены высшей категории силовых видов спорта (Бутовская и др.

[1] О теории генно-культурной коэволюции (генетическая и культурная эволюции протекают параллельно друг другу, но взаимосвязано) см. подробнее: Wilson 1975.

2011а, 2012б). Исследования традиционных обществ показали, что востребованный адаптивный тип мужчин у охотников-собирателей характеризует большая маскулинность как в морфологическом, так и в психологическом плане (Бутовская и др. 2009; Butovskaya 2013). А комплексные исследования, проведенные среди мужчин спортсменов высшей категории, выявили, что их отличает от контрольной выборки большая маскулинность морфологических, психологических параметров и гормонального статуса. Эти данные свидетельствуют о том, что выявленный адаптивный тип проявился уже в древности, а мужчины – носители этого морфопсихологического комплекса были более успешными охотниками и оставляли большее число потомков (Бутовская и др. 2011а; Удина и др. 2011). В современных условиях такие мужчины находят свою нишу в спорте, достигая больших успехов, как в профессиональной, так и в личной жизни (Бутовская и др. 2011).

Этология человека и изучение психической нормы и патологии

Открытия в этологии человека стали основой адаптационного подхода к эволюционному изучению психики человека (эволюционной психологии) (Овчинников 2012: 100–101). Исходной базой для возникновения этологической психиатрии послужила классическая этология и кинесика (наука о языке тела) (Самохвалов и др. 2011). Связано это с тем, что экспресс-диагностика невербального поведения в течение 7–10 минут этологическими методами позволяет выявить психические девиации, установить гомосексуальную ориентацию индивида точнее, чем клиническое или психологическое исследование (Овчинников 2012: 100; Самохвалов и др. 2011). Особенно актуально использование этологических методов при диагностике пациентов с нарушениями речи или с неадекватной реакцией на вопросы (Бутовская 1999б)[1].

С середины XX века исследователи в области психиатрии и психологии стали высказываться против разделения людей на психически здоровых и больных. А в 1974 году Американская психиатрическая ассоциация исключила гомосексуализм из перечня психических расстройств (Овчинников 2012: 98). В большой степени это заслуга этологов, которые показали эволюционное происхождение, адаптивные функции и генетическую детерминированность природы гомосексуального поведения (Бутовская 2004б, 2005).

Исследование детей с психопатоподобным синдромом в сравнении с контрольной группой здоровых детей выявило существенные различия в использовании коммуникативных сигналов (вербальных и невербальных). Дети с психопатоподобным синдромом, в отличие от контрольной группы, после ссоры для примирения не используют извинения и крайне редко прикасаются к другому ребенку (избегают тактильных контактов) (Бутовская, Мартынова 2006). Эти данные объясняют причины трудностей во взаимодействии этих двух групп детей при совместном обучении.

В настоящее время исследовательской группой под руководством д.и.н. М.Л. Бутовской и д.м.н. Р.Д. Тукаевым проводится сравнительное междисциплинарное исследование поведения здоровых людей и людей с психическими расстройствами, включая изучение морфо-психологических и генетических особенностей.

Буллинг (травля) в школьных коллективах

Относительно недавно в поле зрения антропологов, психологов и этологов

[1] Подробнее об использовании этологических методов в психиатрии см. Самохвалов и др. 2011: 201–250.

оказался буллинг – явление травли, запугивания и третирования отдельных (чаще всего, более слабых) членов коллектива (Бутовская и др. 2012а: 139; Olweus 1980). И если до детального изучения этологами феномена буллинга, травля попадала в категорию агрессивного поведения или анализировалась психологами и психиатрами как проявление садистического поведения, то по мере изучения этого феномена, стала понятна необходимость выделения его в отдельную категорию поведения, отличную от других проявлений агрессии.

В России одним из первых о проблеме буллинга заговорил И.С. Кон (Кон 2006). Несколько позднее был представлен детальный случаев травли в российской школе по воспоминаниям бывших агрессоров и жертв. В нем было показано, что наиболее распространенный возраст жертвы для школьников обоего пола – 13–14 лет (Вишневская, Бутовская 2010). Дальнейшие исследования младших школьников показали, что все дети в возрасте 8–10 лет умеют пользоваться средствами буллинга, а около 10% из них являются настоящими буллерами (Бутовская и др. 2012а). В последние годы было проведено сравнительное исследование особенностей данного феномена в условиях мегаполиса и сельской местности. В дипломной работе Г.С. Русаковой было убедительно показано различие школьного буллинга в сельской и городской среде в пределах одной культуры, а также наличие субкультурных особенностей в психологическом портрете буллера (Русакова 2014). Городские школьники отличаются еще и тем, что все шире используют кибер-буллинг с помощью электронных писем, смс-сообщений и других средств технической связи, против которых жертвы становятся совершенно беззащитными (там же).

Результаты, полученные российскими этологами, показали, что в основе феномена школьной травли в современном обществе лежат базовые механизмы агрессии и доминирования, а данная поведенческая стратегия может давать определенные преимущества буллеру и даже обеспечивает ему определенный социальный успех (Бутовская и др. 2012а: 148; Вишневская, Бутовская 2010: 67). Однако то, до какой степени ребенок будет и далее использовать эту практику, зависит от окружающей социальной среды. Все это указывает на то, что для предотвращения буллинга в школьных коллективах требуется более глубокое понимание базовых эволюционно-психологических предпосылок данного феномена.

Невербальная коммуникация

Основой социальных отношений человека является коммуникация. Это комплексный непрерывный процесс, имеющий как вербальные, так и невербальные составляющие. Благодаря своим социальным функциям невербальное поведение человека привлекает внимание психологов, философов, социологов, лингвистов, искусствоведов и медиков. Среди исследований невербальной коммуникации в основном преобладают психолого-педагогический и семиотический подходы, базирующиеся, в основном, на оценке вербальной информации. Этологический подход к изучению невербальной коммуникации ориентирован на значимость конкретного поведенческого акта при взаимодействии людей и позволяет объективно оценить кросскультурные различия, выявить универсалии и показать развитие поведения в онто- и филогенезе. Наиболее полно в российской научной литературе обзор эволюционных основ невербальной коммуникации сделан М.Л. Бутовской (Бутовская 2004а).

Исследованию невербальной коммуникации этологическими методами в отечественной литературе посвящено очень незначительное число работ. Ниже приведем некоторые примеры этологических подходов в этой области. Первое – это иссле-

дования пространственного поведения людей. Пространственное поведение человека представляет собой один из краеугольных камней, на которых базируется социальное общение на индивидуальном, групповом или межгрупповом уровнях. Его основными параметрами выступают дистанция общения, ориентация тела, тактильные контакты, визуальные контакты, громкость голоса (Бутовская 2004а; Феденок 2010, 2012).

Ранние этологические исследования пространственного поведения на дошкольниках показали, что дистанция, на которую индивид допускает к себе других, отражает структуру, как его межличностных отношений, так и социальные связи во всей группе. Предпочтение проявляется в пространственной близости, а избегание – в поддержании максимальной дистанции и сведении к минимуму тактильных контактов (Бутовская, Плюснин 1995). Исследования на взрослой и детской выборках охарактеризовали особенности пространственного поведения русских в сравнении с западными культурами (Борисова, Бутовская 2004).

Дальнейшее изучение пространственного поведения школьников показало, что существенные различия в невербальном поведении имеют не только представители разных этносов, но и различных групп одной этнокультурной общности (Буркова и др. 2010; Феденок 2011). Впервые в мире статистически и на кросскультурном уровне было подтверждена наблюдаемая ранее другими исследователями закономерность – в селе дистанция общения больше, чем в городе (Феденок 2012). Исследования пространственного поведения человека показали, что на него влияют пол обоих партнеров, их возраст, этничность, степень знакомства, а также их физические особенности (рост, вес) (Буркова и др. 2010; Бутовская 2004а; Феденок, Бутовская 2008; Феденок и др. 2010; Феденок 2011; Феденок 2012).

Также исследования, проведенные в России и на Украине, позволили подтвердить тезис, что деление на «контактные» и «неконтактные» культуры, предложенное американским антропологом Эдвардом Холлом (Hall 1966), следует применять с исключительной осторожностью (Борисова, Бутовская 2004; Феденок 2012). Кросскультурное исследование позволило выявить модели изменения пространственного поведения у мигрантов под влиянием иноэтничного окружения (Феденок 2011).

При анализе поведения человека очень важно установить, какой из компонентов поведения является врожденным, а какой приобретенным под влиянием данной конкретной культуры, так как один и тот же элемент поведения может по-разному трактоваться в различных этнических обществах. Следствием незнания основных правил общения между представителями различных культур, а также субкультур в пределах одного общества, является повышенная напряженность и конфликтность, зачастую имеющая место в условиях больших индустриальных городов (Феденок 2012; Hall 1966).

Второе направление в исследовании невербальной коммуникации – это изучение жестовой коммуникации. Кросскультурному анализу структуры и семантики жеста «высовывание языка» (сигналам, связанным с движением языка) посвящено обширное исследование (Морозов и др. 2008). Этот жест отличается архаичностью и наличием отчетливой гомологии в поведении животных (в первую очередь, обезьян). Этологи убедительно показали, что многие жесты такого рода представляют собой ритуализованное[1] филогенетическое производное жестов

[1] Под ритуализацией в этологии понимается поведение, потерявшее свое изначальное значение в ходе эволюционного процесса и выполняющее коммуникативную функцию. Ярким примером ритуализированного поведения у человека является улыбка, происходящая от мимики обнаженных зубов у приматов, символизирующая подчинение и испуг (подробнее см. Бутовская 2004а; Бутовская, Козинцев 2002; Козинцев 2002).

угрозы или подчинения. А вот значение и символика жеста высовывания языка, по-видимому, могли существенно видоизменяться в процессе эволюционного и историко-культурного развития аналогично трансформациям функциональной нагрузки оскала и обнаженных зубов (Бутовская 2004а; Лоренц 2008а; Морозов, Бутовская 2008).

Кросскультурный и исторический анализ жеста демонстрации языка показал, что он широко представлен в разных культурах и встречается как в древнем, так и новейшем искусстве. Семантическая нагрузка данного жеста зачастую несет в себе несколько значений: устрашение и угроза; причастность к тайне; умиротворение; смех, насмешка, издёвка; провокация и обман; а также обольщение, соблазнение, сексуальное предложение. Использование той или иной семантики жеста изменяется от культуры к культуре и от эпохи к эпохе, хотя оттенки всех этих значений всегда имплицитно присутствуют, порождая игру смыслов и придавая «карнавальность» каждому случаю употребления (Морозов и др. 2008).

Еще одним интересным исследованием жестовой коммуникации является изучение просительного жеста – протянутая рука ладонью вверх. Этот жест универсален и понятен в любой культуре и в схожем контексте прошения широко применяется у шимпанзе и бонобо (Бутовская 2004а). У человека данный жест появляется уже в детстве, хорошо понятен представителям разных культур и монополизирован нищими в разных странах для сбора подаяний у окружающих (Бутовская 2007а).

Третье обширное направление исследований в русле этологических работ – анализ с эволюционных позиций движений, поз, мимики человека[1]. Эти исследования показали, что многие характеристики невербальной коммуникации присутствуют в поведении людей самых разных культур и могут считаться универсальными (первичные эмоции: смех и улыбка; ритуалы приветствия и примирения и многое другое) (Бутовская 2004а; Бутовская, Козинцев 2002; Козинцев 2002). А исследование походки и скорости движения пешеходов проиллюстрировало возможности этологического подхода при изучении невербальной коммуникации людей в городских условиях. Оно было проведено в армянской, калмыцкой и русской культурах и выявило различия в скорости движения и походке у женщин и мужчин в зависимости от их этничности (Бутовская, Левашова 2004). Исследование скорости движения пешеходов нашло прямое практическое применение в Правилах российских железных дорог, регулирующих переход через железнодорожные пути (Правила 2009). Помимо этого исследование скорости движения показало, что скорость служит индикатором перспектив жизненного успеха мужчин (Бутовская, Левашова 2004).

Еще одним направлением изучения невербального (проксемического[2]) поведения, тесно пересекающееся с обширными исследованиями в области этнологии, социальной антропологии и фольклористики, является исследование ритуализированного поведения человека. Примером такого поведения является структурирование жилого пространства, являющееся универсалией человеческого поведения. В то же время сами его способы всегда этнически специфичны и, в целом, являются одним из компонентов культуры народа, выражаясь в этноэтикетном поведении (об этом см. Бгажноков 1978). Во всех культурах существуют нормы этикета, регламентирующие расположение индивидов в доме в зависимости от их статуса, возраста, пола и степе-

[1] Литературный обзор см. Бутовская 2004а.

[2] Проксемика – наука, изучающая пространственное поведение человека (см. Бутовская 2004а; Феденок 2011).

ни родства (Феденок 2009). Исследования, проведенные в этом русле, показали, что нормы проксемического поведения, усваиваемые детьми в процессе социализации, могут изменяться под влиянием иноэтничной среды, а также в ходе исторического развития культуры (Феденок 2009; Феденок, Бутовская 2012).

Альтруизм и стратегии попрошайничества

В настоящее время этологи рассматривают альтруизм как фундаментальную характеристику человека, имеющую врожденные предпосылки и возникшую для подавления внутригрупповой конкуренции (Бутовская, Файнберг 1993, Бутовская и др. 1995). Потребность в кооперации и взаимопомощи столь велика, что современные люди оказывают благотворительность совершенно незнакомым людям.

Попрошайничество является древним явлением – выпрашивание мяса распространено у шимпанзе, а дележ пищей взрослыми с детьми и подростками встречается у многих видов обезьян (Бутовская 2007б). С точки зрения теории генно-культурной эволюции альтруизм поддерживался отбором на ранних этапах эволюции человека[1]. Результатом этих эволюционных процессов являются механизмы уравнивания, функционирующие в обществах охотников-собирателей, в частности моногамия и дележ пищей (особенно мясом, добытом на охоте) (Бутовская 2007а). Этнографические исследования современных охотников-собирателей показали, что дележ мясной пищей в их сообществах является прототипом успешного попрошайничества в современном обществе (Бутовская 2007а; Бутовская и др. 2009). Этологи рассматривают альтруистические акты дележа добытой пищи как демонстрацию удачливым охотником своих мужских качеств, что повышает его статус и репродуктивный успех (Бутовская, Буркова 2011).

Кросскультурное исследование феномена нищенства, проведенное в Венгрии, Италии, России, Чехии, показало, что гипотеза демонстративного поведения применима и к современным условиям. Так акт милосердия позволяет подающему чувствовать себя увереннее, а в случае постоянной практики подачи милостыни его поведение будет способствовать формированию более благоприятного социального имиджа (Бутовская и др. 2007а).

Это исследование позволило выявить разные стратегии прошения милостыни и вскрыть этологические механизмы, обеспечивающие положительный отклик на просьбы нищих о помощи со стороны представителей общества. Во всех культурах в качестве ведущего фактора, стимулирующего подачу милостыни, выступает состояние просящего (калеки, больные, слабоумные, немощные) и образ ребенка (использование «детской схемы»[2]) (Бутовская и др. 2007а). Однако помимо универсальных психологических механизмов существуют и культурно-специфические модели поведения нищих, с детства понятные представителям той или ной культуры (Дьяконов 2007; Salter et al. 2000). Люди предпочитают подавать милостыню тем, кто похож на них своим физическим обликом (антропологически) и одет в соответствии с конкретными культурными традициями (Бутовская, Ванчатова 2007; Butovskaya et al. 2002). Историко-этнографический анализ современного нищенства России показал, что эта субкультура в основных чертах воспроизводит практику попрошайничества

[1] Подробнее о теориях альтруизма см. Бутовская 2007а; Дьяконов 2007.

[2] Детская схема – это обозначение относительно большой головы, больших глаз и мягких округлых черт типичного младенческого лица, вызывающая эмоциональную реакцию заботы у взрослых (см. Бутовская 2004а).

в том виде, в котором она существовала до революции (Бредущие среди нас 2007; Дьяконов 2007). Этологическое исследование феномена нищенства вскрыло механизмы адаптации людей к модели просящего и показало, что пути реабилитации данной группы лиц помимо психолого-социальных причин попрошайничества обязательно должно учитывать и эволюционно-психологические (Дьяконов, Бутовская 2003).

Агрессия и постконфликтное поведение

Вопросам биологической и социальной природы агрессии в мире посвящено колоссальное количество работ. Однако понять и прогнозировать конфликтное поведение человека невозможно без сравнительно-этологического подхода. К настоящему времени большинство специалистов сходятся во мнении, что агрессия – комплексный биосоциальный феномен, присутствующий во всех без исключения человеческих обществах. Благодаря социальной значимости агрессивного поведения человека оно привлекает внимание ученых разных профилей – психологов, педагогов, медиков, социологов, философов[1].

Резкий всплеск насилия и терроризма в современном мире дали новый толчок к изучению агрессивного поведения и природы агрессивности у человека. Сегодня уже стало очевидным, что для понимания этого феномена необходимы поиски эволюционных составляющих и выявление универсальных основ агрессивного поведения человека. Исследования этологов показали, что наряду со значительным влиянием роли культуры и воспитания в экспрессии различных форм агрессивного поведения существенную роль играют и биологические факторы (подробнее см. Агрессия и мирное сосуществование 2006; Буркова 2008; Буркова 2011). А изучение механизмов агрессии и постконфликтного поведения у приматов и человека указывает на их существенное сходство (Бутовская 2004в; Бутовская и др. 2012б; Дерягина, Бутовская 1983; Butovskaya 2008; Puga-Gonzalez et al. 2014).

Начало этологическим исследованиям агрессии у человека положил К. Лоренц (2008а). Его ранние работы отличает идея об отсутствии механизмов контроля и ритуализации агрессии у человека. На протяжении десятилетий исследования в области изучения агрессии показывали, что агрессивное поведение малоадаптивно и влечет за собой исключительно негативные последствия (Буркова 2011; Бутовская 2006а). Однако дальнейшие исследования этологов и приматологов показали, что у всех приматов имеются мощные механизмы социальной стабилизации, которые позволяют удерживать агрессию на постоянном уровне (Бутовская и др. 2011б; Бутовская и др. 2013; Balasubramaniam et al. 2012a, b; Puga-Gonzalez et al. 2014). У человека же всплески агрессии находятся под двойным контролем природных и культурных механизмов (Бутовская 1999в; Butovskaya et al. 2000).

Отличительной особенностью этологических исследований агрессивного поведения, в отличие от исследований психологов и медиков, является то, что они проводятся среди людей, не страдающих какими-либо видами психическими расстройствами, девиациями и не совершавших насильственные преступления. Такой подход позволяет лучше оценить феномен агрессии с точки зрения её адаптивности в человеческом обществе (Агрессия и мирное сосуществование 2006; Буркова 2011). В последние годы была предложена гипотеза восстановления социальных отношений, благодаря которой стали исследоваться механизмы примирения как способ восстановления отношений в группе и снятие стресса (Бутовская 2004в).

[1] Подробный литературный обзор см. Агрессия и мирное сосуществование 2006; Буркова 2011.

Многочисленные кросскультурные исследования показали, что степень терпимости общества к агрессии, а также способы ее выражения существенно варьируют от культуры к культуре (Агрессия и мирное сосуществование 2006; Бутовская и др. 2006; Бутовская, Мабулла 2007). Каждое общество вырабатывает определенные механизмы для профилактики конфликтов, а особая культура примирения есть уже в детской субкультуре и усваивается детьми в процессе социализации (Буркова 2011; Бутовская 2004в; Бутовская, Козинцев 1998). Сравнительный анализ допустимости агрессивного поведения и механизмов примирения показал, что в тех культурах, где агрессия не табуирована, гораздо сильнее развиты способы примирения, которые намного успешнее используются носителями данной культуры (Буркова 2008; Буркова 2011). В то же время механизмы примирения имеют не только культурную основу, часть из них является следствием реализации врожденных программ поведения. Их глубинное понимание дает сравнительный анализ постконфликтных процессов у человека и приматов (Бутовская 2006а; Бутовская, Бойко 2004).

Постконфликтная реакция человека отчетливо различается в зависимости от того, с кем этот конфликт происходил – членом своей группы или чужаком (Butovskaya et al. 2000). Этологические наблюдения показали, что нормы поведения применительно к членам своей группы, в отличие от чужаков, диктуют необходимость активного поиска путей примирения (Бутовская, Козинцев 1998). Это явление тесно связано с проявлением интолерантного отношения к чужакам, которое широко изучают кросскультурные психологи и социальные антропологи. Однако именно знание эволюционных основ интолерантного отношения может иметь практическую значимость для профилактики межэтнических конфликтов.

Этнографы давно обращают внимание на тот факт, что бродячие охотники-собиратели эгалитарны и миролюбивы. Однако исследования этологов показали, что эгалитарность таких социумов относительна: как в любом сообществе, там существуют иерархии, однако в обществах бродячих охотников и собирателей они наименее выражены и чаще всего неформализованы (Бутовская, Буркова 2011; Butovskaya 2013). Кросскультурные исследования, проведенные в доиндустриальных обществах охотников-собирателей, ранних земледельцев и скотоводов подтвердили идею этологов, что агрессия является гибким адаптационным поведением (Butovskaya 2013; Butovskaya et al. 2012).

Многочисленные кросскультурные исследования, проведенные как на взрослых, так и на детских выборках, показали, что агрессивное поведение человека гендерно-специфично (Агрессия и мирное сосуществование 2006; Буркова 2007; Бутовская, Драмбян 2007; Бутовская, Мабулла 2007, Butovskaya 2013; Butovskaya et al. 2010; Butovskaya, Kozintsev 1999). Мальчики уже с раннего возраста склонны намного чаще применять физическую агрессию, в отличие от девочек, которые чаще используют вербальную (Буркова 2008; Бутовская 2006а). При этом дети уже к 7 годам активно практикуют методы примирения с партнером, принятые в их культуре (Бутовская 2006а; Бутовская, Козинцев 1998). Этологи отмечают, что у мужчин роль наследственности в экспрессии агрессивного поведения выше, чем у женщин, и это обстоятельство важно учитывать при анализе причин и факторов, провоцирующих физическую агрессию и насилие в современном обществе (Агрессия и мирное сосуществование 2006).

Сегодня во всем мире активно ведется поиск генов-кандидатов, ассоциированных с агрессией, изучение влияние гормонального статуса на агрессивное поведение

человека, обсуждаются вопросы о связи признаков маскулинности с физической силой, доминированием, агрессией и склонностью к риску (Буркова, Бутовская 2010; Butovskaya 2013; Butovskaya et al. 2013a). Особые успехи в этой области были достигнуты в генетике благодаря интенсивному развитию технической базы для молекулярно-генетического анализа. В ряде недавних работ была показана связь агрессивного поведения и его эмоциональной составляющей у человека с активностью генов серотонинергической, дофаминергической и андрогеновой систем как в индустриальных обществах, так и в традиционных африканских популяциях (Васильев и др. 2011; Васильев и др. 2014; Butovskaya et al. 2012, 2013a; Sukhodol'skaya et al. 2014; Vasilyev et al. 2014).

В последние годы активно обсуждается вопрос о возможной связи между поведенческими показателями (в частности, агрессией) и пальцевым индексом[1] (Буркова, Бутовская 2010; Бутовская и др. 2008a; Butovskaya et al. 2010, 2012). А кросскультурные исследования, проведенные на взрослых и детских выборках, продемонстрировали достоверные ассоциации агрессивного поведения с низким пальцевым индексом с учетом разной этнической, возрастной и социальной принадлежности (Буркова 2008; Butovskaya et al. 2013b).

В то же время накопившиеся к настоящему времени факты свидетельствуют о том, что в экспрессии различных форм агрессивного поведения и антисоциального поведения решающую роль играет именно взаимодействие генетических и средовых факторов, таких, как семейное окружение, культурные и социо-экономические составляющие (Butovskaya 2013a).

Репродуктивное поведение

Наряду с изучением эволюционных основ социального поведения, важным объектом анализа этологических исследований выступают типы репродуктивных отношений в человеческом обществе, прежде всего особенности выбора полового партнера и характер родительского поведения (Бутовская 2004б, 2013; Sorokowsky, Butovskaya 2012). Этологи и эволюционные психологи приводят в своих работах целую серию убедительных доказательств того факта, что биологические составляющие пола оказали существенное влияние на формирование гендерных различий в процессе эволюции человека (Бутовская 2004a, 2006б, 2013).

Выбор брачного партнера и удовлетворенность браком являются предметом постоянных дискуссий антропологов, психологов, социологов и генетиков. Каждая из этих дисциплин выработала свои подходы и методы для оценки этих феноменов. Однако лишь с появлением теории сексуальных стратегий[2], стало возможным рассматривать эти феномены в универсальном ключе. Кросскультурные исследования, проведенные в современных индустриальных и традиционных обществах, продемонстрировали применимость данной теории и показали сохраняющиеся различия в базовых критериях выбора постоянного и временного полового партнера (Бутовская 2004б, Бутовская 2006в).

Гендерные различия в выборе постоянного полового партнера прослеживаются во всех культурах. Анализ британской роман-

[1] Пальцевой индекс (2D:4D ratio) – соотношение длин второго и четвертого пальцев руки, служит индикатором уровня пренатальной маскулинизации плода в утробе, черта полового диморфизма (достоверно более низкий показатель у мужчин) (подробный литературный обзор см. Бутовская и др. 2015a; Butovskaya et al. 2013b).

[2] Сформулированный Д. Саймонсом постулат о сформированных в процессе эволюции вида разных стратегиях мужчин и женщин при выборе временного и постоянного партнера (подробнее см. Бутовская 2013: 97–127).

тической литературы (Сафонов, Бутовская 2008) и брачных объявлений, размещенных в индийских газетных изданиях (Дронова 2010; Дронова, Бутовская 2010), опросы в российском современном городском обществе (Бутовская, Смирнов 2003) и среди студентов танзанийцев и замбийцев (Бутовская и др. 2008б; Butovskaya et al. 2009), исследования среди охотников-собирателей (Бутовская, Буркова 2011; Butovskaya 2013) показали, что существуют универсальные критерии при выборе брачного партнера – для мужчин это внешность и возраст женщины, свидетельствующие об ее здоровье и фертильности, а для женщин – финансовая и/или материальная обеспеченность, интеллект, физическая сила, заботливость и чувство юмора мужчины, то есть качества, указывающие на способность и желание мужчины вкладывать усилия и ресурсы в семью и детей. Во всех культурах отмечается большее согласие в парах, для которых типичен более высокий уровень юмора у мужа и большая восприимчивость шуткам со стороны жены.

Однако существуют и многочисленные культурные особенности при выборе партнеров (Бутовская 2013; Weisfeld et al. 2011). В постиндустриальном обществе, по сравнению с традиционными обществами, роль внешности при выборе постоянного партнера существенно возрастает (Бутовская, Буркова 2011; Бутовская, Смирнов 2003). Рост внимания к внешности в западном обществе связан с развитием средств массовой информации и рекламы, интенсивно эксплуатирующих стереотип внешней привлекательности на экранах телевизоров, плакатах, в журналах (Бутовская 2004а).

Предметом постоянных дискуссий между сторонниками и противниками идеи применимости теории полового отбора к человеческому обществу является вопрос о дифференцированном репродуктивном успехе в обществах эгалитарных охотников-собирателей (Бутовская 2013). Это давнее противоречие смогли разрешить этологические исследования, показавшие, что в условиях эгалитарного общества, при отсутствии имущественного расслоения, межиндивидуальные различия мужчин связаны преимущественно с их отцовским вкладом (Бутовская, Буркова 2011; Butovskaya 2013). Было установлено, что более высокий репродуктивный успех у лидеров хадза обусловлен как их более успешной непрямой конкуренцией за партнершу, так и более интенсивной отцовской заботой. Таким образом, репродуктивный успех у мужчин в условиях эгалитарного общества охотников-собирателей, как и в других обществах, сопряжен с их социальным статусом и с личностными качествами индивида (Бутовская, Буркова 2011; Бутовская и др. 2012в).

В стратифицированных обществах с сильным имущественным расслоением мужчины с более высоким статусом имеют более высокий репродуктивный успех (Бутовская 2004б). В современном городе одним из показателей статуса мужчины является его походка и скорость движения (Бутовская, Левашова 2004). Существенную роль в положительной оценке статуса играет также рост человека: высоких мужчин окружающие склонны расценивать как более преуспевающих (Бутовская 2004б; Бутовская и др. 2015б; Дронова, Бутовская 2010; Sorokowsky, Butovskaya 2012).

Помимо роста и походки важными критериями привлекательности мужчин является морфологическая и физиологическая маскулинность, часто ассоциированная с поведенческими установками человека (Бутовская и др. 2014; Дорфман, Бутовская 2004). Наличие выраженной маскулинности у мужчин обычно сочетается с большей симметричностью лица, и является указанием на сильный иммунитет и «хорошие гены» носителя (Бутовская и др. 2014; Веселовская, Бутовская 2010). Антропологи отмечают, что некоторое количество современных мужчин в индустриальных обще-

ствах уже рождаются более феминизированными, чем их предки, и не исключено, что тому виной половой отбор на предпочтение внешности более «мягких» партнеров (Бутовская 2004б; Сафонов, Бутовская 2008). В целом же внешность (в частности характеристики лица) в большинстве изученных популяций выступает более значимым критерием привлекательности для женщин, чем для мужчин (Бутовская 2004б, 2013; Бутовская и др. 2014).

Проведенные российскими этологами исследования позволяют говорить о некоем едином культурном стандарте, выработанном обществами западного типа, в вопросах выбора постоянного партнера мужчинами и женщинами. Эталоном для мужчины будет молодая, внешне привлекательная, здоровая, верная, нежная женщина. Женским идеалом будет мужчина в возрасте от 25–37 лет, образованный, со средним или высоким материальным и социальным положением, щедрый, заботливый, обладающий чувством юмора (Бутовская 2013; Сафонов, Бутовская 2008).

Существенную роль при выборе партнера играет ольфакторная коммуникация – и мужчины, и женщины могут по запаху различать потенциальных партнеров, генетически сходных с ними и генетически удаленных, естественно отдавая предпочтение вторым (Бутовская 2004а, 2004б, 2013). Эксперименты, проведенные этологами, показали, что женщины способны ассоциировать запах пота с чертами личности и морфологическими характеристиками, выбирая, таким образом, наиболее подходящего временного или постоянного партнера (Бутовская, Веселовская 2013; Бутовская и др. 2012).

Наряду с прямой и не прямой конкуренций за партнеров, репродуктивный успех и мужчин, и женщин определяется также родительским вкладом. В этой связи изучаются стратегии манипулирования родительским вкладом и избирательностью в отношении родителей к детям разного пола и ранга по порядку рождения (Бутовская 2004б; Бутовская, Бойко 2001). Кросскультурные исследования, проведенные в России, показали, что родительский, а в особенности материнский фаворитизм детерминирован культурными стереотипами (Бутовская, Бойко 2001).

Заключение

Изучение биосоциальной природы человека с использованием эволюционных подходов представляет собой одно из ведущих направлений современной науки. Этологией человека в этом ключе рассматриваются как межличностные и социальные взаимоотношения, так и индивидуальные поведенческие особенности. Современный подход в этологических исследованиях отличается использованием методов социальной и физической антропологии, социологии, сравнительной и эволюционной психологии, приматологии и генетики.

Комплексный междисциплинарный подход в изучении поведения человека базируется на трех компонентах: представлении о специфическом взаимодействии «гены ↔ среда» в экспрессии морфологических и поведенческих признаков, представлении об универсальных принципах формирования сетей социальных связей у человека и представлении о филогенетических ограничениях, в соответствии с которыми кросскультурные различия в поведении человека носят ограниченный характер и лимитированы природой человека как вида. А выявление различных морфопсихологических комплексов в различных группах современного общества способствует решению фундаментальных вопросов эволюции и адаптации человечества на протяжении всей его истории и обеспечивает корректную реконструкцию разных жизненных стратегий у людей в древности (Бутовская и др. 2008а).

Несмотря на многочисленные дискуссии и возражения против использования эволюционных подходов в анализе поведения человека уже к началу XXI накопилось много эмпирических данных в пользу правомерности такого подхода (Бутовская 1998). Все больше исследователей применяют этологические подходы и методики при анализе различных сторон человеческой деятельности. Например, открытия этологии человека и социобилогии стали основой адаптационного подхода к эволюционному изучению психики человека (эволюционной психологии) (Овчинников, 2012).

На современном этапе развития этологии и эволюционной психологии стали возможны комплексные обобщения материалов, полученных в широком диапазоне: спортсмены различных видов спорта и уровней квалификации, дети в условиях современной городской среды, различные профессиональные группы горожан, представители традиционных культур, подростки с девиантным поведением и т. д.

Этология имеет много общих интересов с социальной антропологией. Это, прежде всего, повседневное поведение, его сходство и различия в разных культурах, допустимость агрессии и миролюбие, гендерные стереотипы, выбор брачного партнера, родительское поведение, детская субкультура и пр. (Бутовская 1998). Результаты кросскультурных исследований, полученных в современных и традиционных популяциях, позволяют понять глубинные механизмы многих устоявшихся поведенческих стереотипов и дать ответы на многие вопросы, стоящие перед учеными-гуманитариями уже не одно столетие.

Так уже в XIX веке этнографы и социальные антропологи начали поиск объяснений особенностям взаимоотношений полов и типам браков, чрезвычайно различающихся от культуры к культуре. В XX веке было введено понятие гендера как социального пола, определяющего поведение человека в обществе и то, как это поведение воспринимается (Кон 2004). Этологические методы позволяют пролить свет на эту проблему, показывая, что понять природу половых различий в повседневном поведении, репродуктивных стратегиях, в экономической и политической сферах, ориентируясь только на узкую трактовку понятия «гендер», невозможно (Бутовская 2013). При этом крайностями являются как абсолютное отделение гендера от биологической составляющей пола, так и игнорирование различий между ними.

Например, несмотря на явные тенденции в современном постиндустриальном обществе к стиранию четкой грани между мужской и женской ролью, этологи отмечают, что полной унификации гендерных ролей все же не будет (Бутовская 2004б; Weisfeld et al. 2011). И хотя подходы специалистов естественнонаучного и гуманитарного направлений к анализу феноменов пола и гендера фундаментально различаются, для лучшего понимания природы человека и адекватной оценки взаимоотношений роли мужчин и женщин, как в традиционном, так и в современном обществе необходим конструктивный диалог между ними (Бутовская 2013).

В этнографической литературе приводятся разнообразные описания ритуалов, существенной составляющей которых является предложение пищи или подарков. Так во всех культурах пищевые подарки и снабжение гостя едой одно из важнейших проявлений гостеприимства. В социо-антропологической литературе долгое время существовало убеждение, что дележ – это не просто чисто человеческое, но и исключительно культурное явление. Однако исследование этологов показали, что склонность к дележу у человека имеет врожденную предрасположенность и встречается у многих видов приматов (Бутовская 2004; Сухова 2000, Eibl-Eibesfeldt 1989). Так же

этологи показали, что переменчивые от культуры к культуре стратегии социального взаимодействия такие как ритуалы приветствия, дарения и принятия подарков, улаживания споров и успокоения, и им подобные, являются универсальными и следуют основными правилами (Grammer et al. 1997).

Игра, как и ритуал и ритуализованное поведение, является одним из ключевых понятий фольклорно-этнографического дискурса (Морозов 2001). Проблема сопоставления игр у животных с играми у человека неоднократно служила предметом полемики в этологии. Сравнительное же изучение игрового поведения у детенышей приматов и детей дошкольного возраста показало, что у человека в игровом контексте происходит отработка альтруистического поведения – дележа (пищи, предмета) и отрабатываются коммуникативные стереотипы (Сухова 2000).

В коммуникативном поведении человека есть как универсальные, так и культурно-специфические черты. Последние усваиваются в процессе социализации и в условиях межкультурного взаимодействия зачастую становятся более значимыми (Феденок 2010). Особую актуальность знание таких различий невербального поведения имеет в современном мире, когда происходят массовые перемещения населения и в городах проживают выходцы из разных этнических и субкультурных групп.

Эмпирические исследования пространственного поведения школьников в полиэтничных коллективах показали, что в условиях межэтнического общения пространственное поведение детей и подростков мигрантов изменяется, но происходящие изменения имеют локальные и этнические различия. Так, было выделено три модели изменения невербального поведения: постепенное овладение мигрантами норм пространственного поведения принимающего общества, признание представителями доминирующей культуры права на отличные от их собственной нормы поведения приезжих, а также выработка общих норм поведения при межкультурном общении, которые отличаются от норм обеих контактирующих культур (Феденок 2011). Эти три модели изменения коммуникативного поведения в определенной степени соответствуют этнопсихологическим категориям межэтнических контактов: ассимиляции, сегрегации и интеграции (Лебедева и др. 2004; Лебедева 2009).

Интолерантное отношение к чужакам широко изучают кросскультурные психологи и социальные антропологи. Этологические наблюдения показали, что нормы поведения применительно к членам своей группы, в отличие от чужаков, диктуют необходимость активного поиска путей примирения и именно знание эволюционных основ интолерантного отношения может иметь практическую значимость для профилактики межэтнических конфликтов (Бутовская и др. 2008; Бутовская, Козинцев 1998).

Библиография

Агрессия и мирное сосуществование 2006 – Агрессия и мирное сосуществование: универсальные механизмы контроля социальной напряженности у человека / Ред. М.Л. Бутовская. М., 2006.

Бгажноков 1978 – Бгажноков Б.Х. Коммуникативное поведение и культура (к определению предмета этнографии общения) // СЭ. 1978. № 5. С. 3–17.

Белик 2012 – Белик А.А. Этология культуры // Социокультурная антропология. История, теория и методология. Энциклопедический словарь. М., 2012.

Борисова, Бутовская 2004 – Борисова Л.В., Бутовская М.Л. Пространственное поведение в современной русской городской культуре: возрастные и гендерные аспекты // Этология человека и смежные дисциплины. Современные методы исследования. М., 2004. С. 13–20.

Бредущие среди нас 2007 – Бутовская М.Л., Дьяконов И.Ю., Ванчатова М.А. Бредущие среди нас: нищие в России и странах Европы, история и современность. М., 2007.

Буркова 2007 – Буркова В.Н. Гендерные различия в агрессивном и постконфликтном поведении у школьников Северной Осетии (на примере г. Беслана) // Полевые исследования Института этнологии и антропологии 2005 года. Ин-т этнологии и антропологии Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. М.: Наука, 2007. С. 14–37.

Буркова 2008 – Буркова В.Н. Пальцевой индекс, агрессия и личностные черты у российских подростков // Вестник НГУ. Серия: Психология. Т. 2. Вып. 2. 2008. С. 79–84.

Буркова 2011 – Буркова В.Н. Агрессивное и постконфликтное поведение детей и подростков в кросскультурной перспективе (на примере русских и осетинских школьников). Дисс. канд. ист. наук. 2011.

Буркова и др., 2010 – Буркова В.Н., Феденок Ю.Н., Бутовская М.Л. Пространственное поведение у детей и подростков (на примере русских и осетин) // ЭО. 2010. № 3. С. 77–91.

Буркова, Бутовская 2010 – Буркова В.Н., Бутовская М.Л. Пальцевой индекс и его связь с агрессивным поведением у подростков // Человек: его биологическая и социальная история: Труды Международной конференции, посвященной 80-летию академика РАН В.П. Алексеева (Четвертые Алексеевские чтения). Т. 2. / Отв. ред. Н.А. Дубова. М.–Одинцово. 2010. С. 161–168.

Бутовская 1987 – Бутовская М.Л. Эволюция группового поведения приматов как предпосылка антропосоциогенеза // СЭ. 1987. № 1. С. 52–69.

Бутовская 1988 – Бутовская М.Л. Перспективы использования этологических материалов и методов в антропологии и этнографии // СЭ. 1988. № 5. С. 26–37.

Бутовская 1990 – Бутовская М.Л. Половые различия в поведении приматов и проблема диалектики пола в человеческих обществах // ЭО. 1990. № 6. С. 70–72.

Бутовская 1998 – Бутовская М.Л. Этология человека: современные проблемы исследования // Наука о культуре и социальная практика: Антропологическая перспектива / Под. ред. Ю.М. Резника. М., 1998. С. 108–121.

Бутовская 1999а – Бутовская М.Л. Предисловие // Этология человека на пороге 21 века: новые данные и старые проблемы. М., 1999. С. 5–11.

Бутовская 1999б – Бутовская М.Л. Этология человека: история возникновения и современные проблемы исследования // Этология человека на пороге 21 века: новые данные и старые проблемы. М., 1999. С. 12–71.

Бутовская 1999в – Бутовская М.Л. Современная этология и мифы о нарушенном балансе между агрессией и механизмами ее торможения у человека // Общественные науки и современность. 1999. № 4. С. 131–138.

Бутовская 2002 – Бутовская М.Л. Мы и они: эволюция социальности в отряде приматов и проблема происхождения человеческого общества // OPUS: Междисциплинарные исследования в археологии. 2002. Вып. 1–2. С. 7–25.

Бутовская 2004а – Бутовская М.Л. Язык тела: природа и культура. М.: Научный мир, 2004.

Бутовская 2004б – Бутовская М.Л. Тайны пола: мужчина и женщина в зеркале эволюции. Фрязино: Век–2, 2004.

Бутовская 2004в – Бутовская М.Л. Агрессия и примирение как базовые свойства социальных систем: человек и другие приматы // Антропология на пороге III тысячелетия. Материалы конференции. Т. 1. М., 2004. С. 125–160.

Бутовская 2005 – Бутовская М.Л. Гомосексуализм и эволюция. Фрязино: Век–2, 2005.

Бутовская 2006а – Бутовская М.Л. Социальность как способ адаптации человека: универсальные механизмы контроля социальной напряженности и их эффективность в современном обществе // Агрессия и мирное сосуществование: универсальные механизмы контроля социальной напряженности у человека. М., 2006. С. 12–30.

Бутовская 2006б – Бутовская М.Л. Половое размножение как базовая адаптация организмов в нестабильной среде обитания // Как человек заселил планету Земля. М., 2006. С. 160–200.

Бутовская 2006в – Бутовская М.Л. Половой отбор и различие мужских и женских сексуальных стратегий в человеческом обществе // Как человек заселил планету Земля. М., 2006. С. 201–224.

Бутовская 2007а – Бутовская М.Л. Нищие в обществе: эволюционные теории как теоретическая база для интерпретации феномена попрошайничества // Бутовская М.Л., Дьяконов И.Ю., Ванчатова М.А. Бредущие среди нас. Нищие в России и странах Европы, история и современность. М.: Научный мир, 2007. С. 238–249.

Бутовская 2007б – Бутовская М.Л. Введение: попрошайничество как универсальный феномен человеческой культуры // ЭО. 2007. № 3. С. 3–11.

Бутовская 2013 – Бутовская М.Л. Антропология пола. Фрязино: Век–2, 2013.

Бутовская и др. 1995 – Бутовская М.Л., Сухова Л.Л., Кузнецова Т.Г. Попрошайничество и дележ у подростков шимпанзе // Физиологический журнал. 1995. Т. 81. № 2. С. 89–94.

Бутовская и др. 2006 – Бутовская М.Л., Тименчик В.М., Буркова В.Н. Агрессия, примирение,

популярность и отношение к школе в условиях современного мегаполиса // Агрессия и мирное сосуществование: универсальные механизмы контроля социальной напряженности у человека. М., 2006. С. 34–67.

Бутовская и др. 2007 – Бутовская М.Л., Феденок Ю.Н., Буркова В.Н. Взаимопонимание и толерантность в поведении детей и подростков в условиях многоэтничных школьных коллективов // Молодежь Москвы: адаптация к многокультурности / Отв. ред. М.Ю. Мартынова, Н.М. Лебедева. М.: РУДН, 2007. С. 314–366.

Бутовская и др. 2008а – Бутовская М.Л., Веселовская Е.В., Буркова В.Н., Прудникова А.С. Внутрипопуляционная разнокачественность. Адаптивные процессы в современном обществе // Актуальные направления антропологии / Отв. ред. А.П. Бужилова, М.В. Добровольская, М.Б. Медникова. М.: Институт археологии РАН, 2008. С. 59–68.

Бутовская и др. 2008б – Бутовская М.Л., Дронова Д.А., Миханджо Э. Современные тенденции в выборе брачных партнеров у студентов-африканцев и отношение к традиционным установкам на продолжение рода и многодетность // Межрасовые и межэтнические отношения в современной Танзании (Труды российской комплексной экспедиции в Объединенной Республике Танзании, 2005 г.) М.: ЛЕНАНД, 2008. С. 168–195.

Бутовская и др. 2009 – Бутовская М.Л., Драмбян М. Ю. Буркова В.Н., Дронова Д.А. Почему хадза Танзании продолжают в наши дни заниматься охотой и собирательством? // Полевые исследования Института этнологии и антропологии РАН 2006 года. М.: Наука, 2009. С. 38–62.

Бутовская и др. 2010 – Бутовская М.Л., Веселовская Е.В., Прудникова А.С. Модели биосоциальной адаптации человека и их реализация в условиях индустриального общества // Археология, этнография и антропология ЕВРАЗИИ. Новосибирск. 2010. № 38. С. 143–154.

Бутовская и др. 2011а – Бутовская М.Л., Веселовская Е.В., Година Е.З., Третьяк А.В., Силаева А.В. Морфофункциональные и личностные характеристики мужчин спортсменов как модель адаптивных комплексов в палеореконструкциях // Вестник Московского университета. Серия XXIII. Антропология. 2011. № 2. С. 4–17.

Бутовская и др. 2011б – Бутовская М.Л., Чалян В.Г., Мейшвили Н.В. Примирение у павианов гамадрилов (Papio hamadryas): проверка гипотезы качества отношений // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова Том. 97. 2011. № 8. С. 870–877.

Бутовская и др. 2012а – Бутовская М.Л., Луценко Е.Л, Ткачук К.Е. Буллинг как социокультурный феномен и его связь с чертами личности у младших школьников // ЭО. 2012. № 5. С. 139–150.

Бутовская и др. 2012б – Бутовская М.Л., Веселовская Е.В., Просикова Е.А., Кондратьева А.В. Морфо-психологические комплексы как индикатор успешности в спорте: женщины // Вестник Московского университета. Серия XXIII. Антропология. 2012. № 2. С. 29–41.

Бутовская и др. 2012в – Бутовская М.Л., Карелин Д.В., Буркова В.Н. Традиционные скотоводы Восточной Африки сегодня: репродуктивный успех, плодовитость, детская смертность и благосостояние датога Северной Танзании // Вестник Московского Университета: Антропология. Вып. 4. 2012. С. 70–83.

Бутовская и др. 2012г – Бутовская М.Л., Веселовская Е.В., Ростовцева В.В., Сельверова Н.Б., Ермакова И.В. Механизмы репродуктивного поведения человека: ольфакторные маркеры мужской привлекательности // Журнал общей биологии. Том 73. 2012. № 4. С. 299–314.

Бутовская и др. 2013 – Бутовская М.Л., Мейшвили Н.В., Чалян В.Г. Переадресованная агрессия и утешение у павианов гамадрилов // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. Т. 99. 2013. № 6. С. 697–705.

Бутовская и др. 2014 – Бутовская М.Л., Постникова Е.А., Веселовская Е.В., Маурер А.М., Савинецкий А.Б., Сыроежкин Г.В. Пальцевой индекс, маскулинность лица и флуктуирующая асимметрия как маркеры полового отбора в традиционных африканских популяциях хадза и датога // Вестник Московского Университета. 2014. № 2. С. 18–28.

Бутовская и др. 2015а – Бутовская М.Л., Буркова В.Н., Феденок Ю.Н. Пальцевой индекс как индикатор пренатальной андрогенизации и его связь с морфологическими и поведенческими характеристиками у человека // ЭО. 2015. № 2. С. 99–116.

Бутовская и др. 2015б – Бутовская М.Л., Веселовская Е.В., Левина К.В., Ростовцева В.Н. Механизмы репродуктивного поведения человека: визуальные маркеры мужской привлекательности // Журнал общей биологии, 2015 (в печати).

Бутовская, Бойко 2001 – Бутовская М.Л., Бойко Е.Ю. Порядок рождения и особенности формирования стилей поведения: биосоциальный аспект // ЭО. 2001. № 6. С. 67–81.

Бутовская, Бойко 2004 – Бутовская М.Л., Бойко Е.Ю. Физиологические основы феномена примирения у человека: гипотеза снятия стресса под-

тверждается // Экология и демография человека в прошлом и настоящем. Третьи антропологические чтения к 75-летию со дня рождения В.П. Алексеева. М., 2004. С. 224–225.

Бутовская, Буркова 2011 – Бутовская М.Л., Буркова В.Н. Социальный статус и репродуктивный успех в обществе хадза – охотников-собирателей Танзании // Антропология социальных перемен / Отв. ред. – Э.-Б.М. Гучинова, Г.А. Комарова. М.: РОССПЭН. 2011. С. 365–386.

Бутовская, Ванчатова 2007 – Бутовская М.Л., Ванчатова М. Нищие как городская субкультура: устойчивость взаимоотношений нищих и общества в исторической перспективе // ЭО. 2007. № 3. С. 12–25.

Бутовская, Веселовская 2013 – Бутовская М.Л., Веселовская Е.В. О женском чутье // Химия и жизнь. 2013. № 5. С. 26–31.

Бутовская, Драмбян, 2007 – Бутовская М.Л., Драмбян М.Ю. Хадза Танзании: традиции и современность // Азия и Африка сегодня. 2007. № 7. С. 105–110.

Бутовская, Козинцев 1998 – Бутовская М.Л., Козинцев А.Г. Агрессия и примирение у школьников младшего возраста (этологические анализ механизмов контроля социальной напряженности в человеческих коллективах) // ЭО. 1998. № 4. С. 122–139.

Бутовская, Козинцев 2002 – Бутовская М.Л., Козинцев А.Г. Этологическое исследование смеха и улыбки у младших школьников: роль пола и социального статуса в невербальной коммуникации // Смех: истоки и функции / Под ред. А.Г. Козинцева. СПб.: Наука, 2002. С. 43–61.

Бутовская, Левашова 2004 – Бутовская М.Л., Левашова В.В. Скорость движения и язык тела пешеходов в условиях современного города: этологический анализ // Археология, этнография и антропология Евразии. 2004. № 3. С. 147–156.

Бутовская, Мабулла 2007 – Бутовская М.Л., Мабулла А. Дети хадза: специфика поведения и успешность адаптации в многоэтничных коллективах сверстников // ЭО. 2007. № 2. С. 20–38.

Бутовская, Мартынова 2006 – Бутовская М.Л., Мартынова М.С. Этологический анализ примирения у детей в норме и с психопатоподобным синдромом // Агрессия и мирное сосуществование: универсальные механизмы контроля социальной напряженности у человека. М., 2006. С. 32–43.

Бутовская, Плюснин 1995 – Бутовская М.Л., Плюснин Ю.М. Принципы организации пространственного поведения у человека и высших приматов (сравнительный анализ) // Современная антропология и генетика и проблема рас у человека / Под. ред. И.М. Золотаревой. М.: ИЭА РАН, 1995. С. 91–144.

Бутовская, Смирнов 2003 – Бутовская М.Л., Смирнов О.В. Выбор постоянного полового партнера в среде современного московского студенчества: эволюционный анализ // ЭО. 2003. № 1. С. 141–163.

Бутовская, Файнберг 1993 – Бутовская М.Л., Файнберг Л.А. У истоков человеческого общества. М.: Наука, 1993.

Васильев и др. 2011 – Васильев В.А., Мартиросян И.А., Шибалев Д.В., Куликов А.М., Лазебный О.Е., Буркова В.Н., Рысков А.П., Бутовская М.Л. Молекулярно-генетический полиморфизм промоторных участков генов четвертого дофаминового рецептора (DRD4P) и серотонинового транспортера (5-HTTLPR) в африканских популяциях хадза и датога // Генетика. 2011. Т. 47. № 2. С. 1–5.

Васильев и др. 2014 – Васильев В.А., Суходольская Е.М., Кулиджанов П.В., Куликов А.М., Лазебный О.Е., Дронова Д.А., Бутовская М.Л., Шибалев Д.В., Рысков А.П. Полиморфизм локусов 5_HTTLPR и Stin2 гена серотонинового транспортера у мужчин африканских этнопопуляций хадза и датога // Генетика. 2014. Т. 50. № 9. С. 1–6.

Веселовская, Бутовская 2010 – Веселовская Е.В., Бутовская М.Л. Изучение связи флуктуирующей асимметрии с биологическими и личностными параметрами // Человек: его биологическая и социальная история: Труды Международной конференции, посвященной 80-летию академика РАН В.П. Алексеева (Четвертые Алексеевские чтения) / Отв. ред. Н.А. Дубова. Т. 2. М.; Одинцово, 2010. С. 155–160.

Вишневская, Бутовская 2010 – Вишневская В.И., Бутовская М.Л. Феномен школьной травли: агрессоры и жертвы в российской школе // ЭО. 2010. № 2. С. 55–68.

Гороховская 1999 – Гороховская Е.А. Споры вокруг этологии человека: конфликт и взаимовлияние биологического и гуманитарного подходов // Этология человека на пороге 21 века: новые данные и старые проблемы. М.: Старый Сад, 1999. С. 72–96.

Гороховская 2001 – Гороховская Е.А. Этология: рождение научной дисциплины. СПб., Алетейя. 2001. 224 с.

Гуськов 1994 – Гуськов Е.П. Биология, социология и принцип сублимации // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. 1994. Спецвыпуск. С. 18–24.

Дерягина, Бутовская 1983 – Дерягина М.А., Бутовская М.Л. Об этологическом подходе в изучении агрессивного поведения обезьян // Биологические науки. 1983. Вып. 7. С. 54–57.

Дерягина, Бутовская, 2004 – Дерягина М.А., Бутовская М.Л. Систематика и поведение приматов. М.: Энциклопедия российских деревень, 2004.

Дорфман, Бутовская 2004 – Дорфман В.В., Бутовская М.Л. Морфологические маркеры привлекательности и сексуального успеха у мужчин и женщин // Этология человека и смежные дисциплины. Современные методы исследований. М., 2004. С. 112–132.

Дронова 2010 – Дронова Д.А. Особенности выбора брачного партнера в Индии // Этнические традиции перед вызовами глобализации в условиях кризиса. Материалы конференции молодых ученых. Москва, 3–4 декабря 2009 г. М.: ИЭА РАН, 2010. С. 29–37.

Дронова, Бутовская 2010 – Дронова Д.А., Бутовская М.Л. Гендерные различия в оценке физических характеристик при выборе брачного партнера в индийском обществе // Человек: его биологическая и социальная история: Труды Международной конференции, посвященной 80-летию академика РАН В.П. Алексеева (Четвертые Алексеевские чтения) / Отв. ред. Н.А. Дубова. М.; Одинцово, 2010. Т. 2. С. 200–208.

Дьяконов 2007 – Дьяконов И.Ю. Нищенство в дореволюционной России // ЭО. 2007. № 3. С. 26–39.

Дьяконов, Бутовская 2003 – Дьяконов И.Ю., Бутовская М.Л. Динамика идентификации человека с группой нищих // Вопросы психологии. 2003. № 1. С. 79–89.

Зорина 2008 – Зорина З.А. У истоков сравнительной психологии и этологии человека: труды Н.Н. Ладыгиной-Котс // Вестник НГУ. Серия: Психология. 2008. Т. 2. Вып. 2. С. 10–27.

Зорина, Смирнова 2006 – Зорина З.А., Смирнова А.А. О чем рассказали говорящие обезьяны. М.: Языки славянских культур, 2006.

Козинцев 2002 – Козинцев А.Г. Об истоках антиповедения, смеха и юмора // Смех: истоки и функции / Под ред. А.Г. Козинцева. СПб.: Наука, 2002. С. 5–42.

Кон 2004 – Кон И.С. Пол и гендер. Заметки о терминах // Андрология и генитальная хирургия. № 1–2. С. 31–35.

Кон 2006 – Кон И.С. Что такое буллинг и как с ним бороться? // Семья и школа. 2006. № 11. С. 15–18.

Кузнецова и др. 2006 – Кузнецова Т.Г., Сыренский В. И., Гусакова Н.С. Шимпанзе. Онтогенетическое и интеллектуальное развитие в условиях лабораторного содержания. СПб.: Политехника, 2006.

Лебедева и др. 2004 – Лебедева Н.М., Лунева О.В., Стефаненко Т.Г. Тренинг этнической толерантности для школьников. М., 2004.

Лебедева 2009а – Лебедева Н.М. Теоретические подходы к исследованию взаимных установок и стратегий межкультурного взаимодействия мигрантов и населения России // Стратегии межкультурного взаимодействия мигрантов и населения России / Под ред. Н.М. Лебедевой и А.Н. Татарко. М., 2009. С. 10–63.

Лоренц 2008а – Лоренц К. Так называемое зло. К естественной истории агрессии // Под ред. А.В. Гладкого; сост. А.В. Гладкого, А.И. Федорова; послесловие А.И. Федорова. М.: Культурная революция, 2008. С. 87–310.

Лоренц 2008б – Лоренц К. Оборотная сторона зеркала // Лоренц К. Так называемое зло / Под ред. А.В. Гладкого; сост. А.В. Гладкого, А.И. Федорова; послесловие А.И. Федорова. М.: Культурная революция, 2008. С. 310–601.

Мейшвили, Чалян 1999 – Мейшвили Н.В., Чалян В.Г. Исследование родительского поведения самок обезьян в свете изучения материнства // Этология человека на пороге 21 века: новые данные и старые проблемы. М., 1999. С. 283–305.

Морозов 2001– Морозов И.А. «Игра» и «ритуал» в современном научном дискурсе // Традиционная культура. М., 2001. № 1. С. 20–28.

Морозов и др. 2008 – Морозов И.А., Бутовская М.Л., Махов А.Е. Обнажение языка: кросс-культурное исследование семантики древнего жеста. М., 2008.

Морозов, Бутовская 2008 – Морозов И.А., Бутовская М.Л. Семантика высунутого языка: универсалии и кросс-культурные различия // Человек в прошлом и настоящем: поведение и морфология. М.: ИЭА РАН, 2008. С. 65–112.

Овчинников 2012 – Овчинников Б.В. Сближение психологии и психиатрии на основе теории биологической эволюции // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Психология. 2012. Вып. № 19(278). С. 98–104.

Панов 1989 – Панов Е.Н. Этология человека: возникновение и перспективы развития // Биология в познании человека / Ред. А.П. Огурцов, Е.Н. Панов, И.К. Лисеев. М.: Наука, 1989. С. 36–54.

Правила 2009 – Правила российских железных дорог, 2009 г. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=620398;frame=392.

Прудникова и др. 2012 – Прудникова А.С., Бутовская М.Л., Година Е.З., Силаева Л.В. Характеристика гомеостаза развития по степени выраженности флуктуирующей асимметрии дерматоглифических признаков у спортсменов разных специальностей // Теория и практика физической культуры. 2012. № 1. С. 29–35.

Резникова 2005 – Резникова Ж.И. Интеллект и язык животных и человека: основы когнитивной этологии. М.: Академкнига, 2005.

Русакова 2014 – Русакова Г.С. Феномен школьного буллинга как одна из форм агрессивного поведения подростков в условиях современного мегаполиса. Дипломная работа. 2014.

Самохвалов и др. 2011 – Самохвалов В.П., Гильбурд О.А., Егоров В.И. Социобиология в психиатрии. М.: Видар, 2011.

Сафонов, Бутовская 2008 – Сафонов Г.А., Бутовская М.Л. Восприятие репродуктивных стратегий персонажей британской романтической литературы по материалам российской выборки // Человек в прошлом и настоящем: поведение и морфология. По материалам IV летней школы в РГГУ (19–20 июня 2007) «Поведение человека в настоящем и будущем» в Москве / Отв. ред. М.Л. Бутовская М.: ИЭА РАН, 2008. С. 131–148.

Сухова 2000 – Сухова Л.Л. Формирование моделей социального поведения у приматов и человека: этологические подходы. Дисс… канд. истор. наук. 2000.

Удина и др. 2011 – Удина И.Г., Веселовская Е.В., Лысенко В.В., Мартианов Е.В., Васильев Ю.А., Клец Е.А., Бутовская П.Р., Прудникова А.С., Васильев Ю.Ю., Бутовская М.Л. Методология антропогенетического изучения спортсменов в различных видах спорта // Наука Кубани. 2011. № 3. С. 4–9.

Феденок 2009 – Феденок Ю.Н. Трансформация структуры дома в локальных этнических группах // Традиционная культура. 2009. № 2(34). С. 42–48.

Феденок 2010 – Роль невербального поведения в межкультурной коммуникации // Этнические традиции перед вызовами глобализации в условиях кризиса. Материалы конференции молодых ученых. Москва 3–4 декабря 2009 г. М.: ИЭА РАН, 2010. С. 23–28.

Феденок 2011 – Феденок Ю.Н. Пространственное поведение детей и подростков в полиэтничных коллективах. Диссертация кандидата исторических наук. 2011.

Феденок 2012 – Феденок Ю.Н. Коммуникативное поведение русских школьников // ЭО 2012. № 5. С. 119–138.

Феденок и др. 2010 – Феденок Ю.Н., Буркова В.Н., Бутовская М.Л. Индивидуальная дистанция и её связь с некоторыми морфологическими показателями у московских подростков // Человек: его биологическая и социальная история. М.; Одинцово. 2010. Т. 2. С. 169–176.

Феденок, Бутовская 2008 – Феденок Ю.Н., Бутовская М.Л. Пространственное поведение детей и подростков в полиэтничных коллективах // Человек в прошлом и настоящем: поведение и морфология. По материалам IV летней школы в РГГУ «Поведение человека в настоящем и будущем» / Отв. ред. М.Л. Бутовская. М.: ИЭА РАН, 2008. С. 166–180.

Феденок, Бутовская 2012 – Феденок Ю.Н., Бутовская М.Л. Образ идеального дома у современных городских подростков // Развитие личности. 2012. № 3. С. 169–174.

Фирсов 1977 – Фирсов Л.А. Поведение антропоидов в природных условиях. СПб., 1977.

Человек в прошлом 2008 – Человек в прошлом и настоящем: поведение и морфология. Материалы IV Летней школы «Поведение человека в прошлом и настоящем». М.: ИЭА РАН. 2008. 216 с.

Шмерлина 2002 – Шмерлина И.А. Этологическая концепция ритуала // Человек. 2002. № 1. С. 31–43.

Этология человека 1999 – Этология человека на пороге 21 века: новые данные и старые проблемы. М., 1999.

Этология человека 2004 – Этология человека и смежные дисциплины: современные методы исследования. М., 2004.

Balasubramaniam et al. 2012a – Balasubramaniam K., Dittmar K., Berman C., Butovskaya M.L., Cooper M., Majolo B., Ogawa H., Schino G., Thierry B., DeWaal F. Hierarchical Steepness, Counter-Aggression, and Macaque Social Style Scale// American Journal of Primatology. 2012. Vol. 74. Is. 10. P. 915–925.

Balasubramaniam et al. 2012b – Balasubramaniam K., Dittmar K., Berman C.M., Butovskaya M., Cooper M.A., Majolo B., Ogawa H., Shino G., Thierry B., Waal de F.(2012b) Hierarchical Steepness and Phylogenetic Models: Phylogenetic Signals in Macaca // Animal Behavior. 2012. Vol. 83. #5. P. 1207–1218.

Butovskaya 2008 – Butovskaya M.L. Reconciliation, Dominance and Cortisol Levels in Children and Adolescents (7–15 Year-Old Boys) // Behavior. 2008. Vol. 145. P. 1557–1576.

Butovskaya 2013 – Butovskaya M.L. Aggression and Conflict Resolution among the Nomadic Hadza of Tanzania as Compared with Their Pastoralist Neighbors // War, Peace, and Human Nature / D. Fry ed. Oxford: Oxford Univ. Press, 2013. P. 278–296.

Butovskaya et al. 2000 – Butovskaya M., Verbeek P., Ljungberg T., Lunardini A., Aureli F. A Multicultural View of Peacemaking among Young Children // Natural Conflict Resolution (ed. de Waal Frans B.M.).

Berkeley, CA, US: University of California Press, 2000. P. 243–258.

Butovskaya et al. 2002 – Butovskaya M., Diakonov I., Salter F. Effects of Sex, Status and Ethnic Similarity on Willingness to Give to Beggars: A Questionnaire Study // Anthropologic. 2002. Vol. XL/1. P. 119–128.

Butovskaya et al. 2009 – Butovskaya M.L., Dronova D.A., Mihandzho E. Modern Tendencies of a Permanent Partner's Choice among the African Students and Their Attitudes to Procreation and Multi-Child Families / Hierarchy and Power in the History of Civilizations: Cultural Dimensions / Ed. by Leonid E. Grinin, Andrey V. Korotayev. Moscow. 2009. P. 55–84.

Butovskaya et al. 2010 – Butovskaya M., Burkova V., Mabulla A. Sex Differences in 2D : 4D Ratio, Aggression and Conflict Resolution in African Children and Adolescents: A Cross-Cultural Study // Journal of Aggression, Conflict and Peace Research, 2010. Vol. 1. Issue 1. P. 17–31.

Butovskaya et al. 2012 – Butovskaya M.L., Vasilyev V.A., Lazebny O.E., Burkova V.N., Kulikov A.M., Mabulla A., Shibalev D.V., Ryskov A.P. Aggression, Digit Ratio, and Variation in the Androgen Receptor, Serotonin Transporter, and Dopamine D4 Receptor Genes in African Foragers: The Hadza // Behavior Genetics. 2012. Vol. 42. P. 647–662.

Butovskaya et al. 2013a – Butovskaya M.L., Vasilyev V.A., Suchodolskaya E.M., Lazebny O.E., Shibalev D.V., Kulikov A., Karelin D.V., Burkova V.N., Mabulla A., Ryskov A.P. Aggression and Polymorphisms in AR, DAT1, DRD4, and COMT Genes in Datoga Pastoralists of Tanzania // Scientific Report (Nature publishing group). 2013. Vol. 3. P. 31–48.

Butovskaya et al. 2013b – Butovskaya M., Fedenok J., Burkova V., Manning J. Sex Differences in 2D: 4D and Aggression in Children and Adolescents from Five Regions of Russia // American Journal of Physical Anthropology. 2013. Vol. 152. Iss. 1. P. 130–139.

Butovskaya, Kozintsev 1999 – Butovskaya M.L., Kozintsev A.G. Aggression, Friendship, and Reconciliation in Russian Primary School Children // Aggressive Behavior. 1999. Vol. 25. P. 125–139.

Grammer et al. 1997 – Grammer K, Filova V., Fieder M. The Communication Paradox and Possible Solutions. Towards a Radical Empiricism // New Aspects of Human Ethology / Ed. by Alain Schmitt et al. N.Y.: Plenum Press, 1997. P. 91–120.

Eibl-Eibesfeldt 1989 – Eibl-Eibesfeldt I. Human Ethology. N.Y., 1989.

Hall 1966 – Hall E.T. The Hidden Dimension. N.Y.: Anchor Books. Doudleday, 1966.

Olweus 1980 – Olweus D. Familial and Temperamental Determinants of Aggressive Behavior in Adolescent Boys: A Causal Analysis // Developmental Psychology 1980. 16(6). P. 644–660.

Puga-Gonzalez et al. 2014 – Puga-Gonzalez I., Butovskaya M., Thierry B., Hemelrijk C.K. Empathy versus Parsimony in Understanding Post-Conflict Affiliation in Monkeys: Model and Empirical Data // PLOS ONE. 2014. Vol. 9. Iss. 3. P. 1–7.

Salter et al. 2000 – Salter F., Diakonov I., Smirnov A. Urban Begging and Ethnic Nepotism in Russia: Pilot Study // Human Nature. 2000. Vol. 11. P. 157–182.

Sociobiology of Ritual 1998 – Sociobiology of Ritual and Group Identity: a Homology of Animal and Human Behaviour. Concepts of Human and Behaviour Patterns in the Cultures of the East and the West: Interdisciplinary Approach. Moscow, 1998.

Sorokowsky, Butovskaya 2012 – Sorokowski P., Butovskaya M. Height Preferences May Not Be Universal: Evidence from the Datoga People of Tanzania // Body Image. 2012. Vol. 9. #4. P. 510–516.

Sukhodol'skaya et al. 2014 – Sukhodol'skaya E.M., Vasil'ev V.A., Shibalev D.V., Shcherbakova O.I., Kulikov A.M., Lazebny O.E., Butovskaya M.L., Ryskov A.P. 3′-UTR Polymorphism of Dopamine Transporter Gene in Hadza and Datoga Males // Molecular Biology. 2014. Vol. 48(2). P. 254–257.

Vasilyev et al. 2014 – Vasilyev V., Sukhodolskaya E., Kulidzhanov P., Kulikov A., Lazebny O., Dronova D., Butovskaya M., Shibalev D., Ryskov A. Polymorphism of 5_HTTLPR and Stin2 Loci of the Serotonin Transporter Gene in Males of African Ethnic Populations Hadza and Datoga // Russian Journal of Genetics. 2014. Vol. 50. #9. P. 969–974.

Weisfeld et al. 2011 – Weisfeld C., Dillon L., Nowak N., Mims K., Weisfeld G., Imamoğlu O., Butovskaya M., Shen J. Sex Differences and Similarities in Married Couples: Patterns Across and Within Cultures // Archives of Sexual Behavior. 2011. Vol. 40. #6. P. 1165–1172.

Wilson 1975 – Wilson E.O. Sociobiology: The New Synthesis. Harvard University Press. 1975. 697 p.

А.С. Курленкова

О многообразии подходов в отечественной медицинской антропологии*

Научные исследования медико-антропологической проблематики в России, так же как и в любой другой стране, имеют свои особенности, связанные с теми «дисциплинарными отпечатками», которые накладывают на нее ученые, обращающиеся к этой тематике. В нашей стране гуманитарные и естественнонаучные (комплексные) исследования здоровья и болезней человека традиционно проводятся учеными, получившими подготовку в области физической (биологической) антропологии, этнографии, этнологии и культурной антропологии, философии и социологии. Понятно, что от области подготовки ученого зависит тематический и теоретический «крен» исследований, а также особенности понимания самой сущности термина «медицинская антропология»[1].

Можно сказать, что в России существуют несколько направлений медико-антропологических исследований: 1) подход, традиционный для отечественной (советской) науки, а именно связанный с изучением влияния конституциональных особенностей человека на его здоровье, а также проблем биологической и культурной адаптации человека (популяции); 2) медицинская этнография (обычно именуемая «народной медициной»); 3) разнообразные исследования современных (часто – городских) медицинских и околомедицинских представлений и практик, отношений между медицинскими профессионалами и пациентами, институтов официальной и народной медицины, проводимые культурными/социальными антропологами, социологами, исследователями гендера.

Медицинская (физическая) антропология

Вероятно, наиболее укоренившееся в российской науке понимание «медицинской антропологии» связано с работами физических антропологов, анатомов, врачей, первые из которых появились в 70-х годах прошлого века (работы Н.А. Корнетова, Б.А. Никитюка, Е.Н. Хрисанфовой, В.П. Чтецова и др.). В них медицинская антропология понимается как наука, изучающая изменчивость проявления болезни в человеке в зависимости от таких факторов, как особенности его конституции, реактивность организма к факторам внешней среды, обмен веществ, эндокринные иммунологические показатели, характеристики темперамента, его индивидуальные, половые, возрастные, этнотерриториальные характеристики. Эти исследования в советской и российской науке проводились в рамках физической антропологии, конституционологии, популяционной физиологии человека, экологии человека, экологической антропологии, этнической (этно)экологии.

В связи с проблемой чрезмерной широты и «обезличенности» медицинских классификаций, медицинские (физические) антропологи[2]

* Работа подготовлена в рамках ПФИ «Историческая память и российская идентичность» и гранта РГНФ № 16-01-00136.

[1] Примеры разночтений в понимании «медицинской антропологии» среди российских ученых показаны в статье Р.М. Хайруллина и Д.Б. Никитюка «Медицинская антропология как наука и как научная специальность в России» (2013).

[2] Отмечу, что не все исследователи, которые в этом разделе именуются медицинскими антропологами, говоря о роде своих занятий, употребляли этот термин. Понятием «медицинские (физические) антропологи» я объединяю исследователей, занимающихся проблемами связи конституции человека и болезней, а также вопросами биологической и культурной адаптации человека.

предложили изучение индивидуальных соматотипов (морфофенотипов, типов телосложения) человека – то есть «внешней, наиболее доступной исследованию и измерению (...) подсистемы общей конституции» (Николаев 2012: 99). Благодаря изучению соматотипов, по их мнению, появится возможность выработать персонифицированный подход к лечению конкретного человека, «прогнозировать развитие заболеваний, выделять группы риска, предупреждать возможные осложнения заболеваний» (*Там же*: 102–103). Кроме того, представление о типе телосложения человека позволяет «судить о комфортном для данного человека уровне физической нагрузки в производственной или спортивной деятельности», что дает возможность использовать концепцию соматотипов в спортивной антропологии (Никитюк, Козлов 1990).

Определение соматотипа человека основывается на измерении его антропометрических характеристик: габаритных размеров тела, пропорциональности телосложения, компонентного состава тела (включая данные о количестве в организме воды, распределение воды и жира по секторам человеческого тела) (Николаев 2012: 104).

Медицинская антропология в данной трактовке имеет свои корни в работах европейских и российских медиков, антропологов, психологов 20-х годов прошлого века (В. Вайцзеккера, В. Дерра, М. Шранка, Э. Кречмера). Так, немецкий психолог и психиатр Эрнст Кречмер создал теорию о соотношении между темпераментом человека, наличием определенного психического заболевания и типом его телосложения (работы «Строение тела и характер», «Гениальные люди»). В России (СССР) учение о конституции человека (конституционология) начало развиваться в 1930-х годах антропологами московской школы (В.В. Бунаком, Я.Я. Рогинским, П.Н. Башкировым) и Ленинградской анатомо-антропологической и педиатрической школ (В.Н. Шевкуненко, М.С. Масловым) (Кузин, Никитюк 1996).

О конституциональном подходе к изучению болезней писала Е.Н. Хрисанфова, заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова. Особое внимание она уделяла изучению гормонов для индивидуально-типологических исследований биохимического статуса человека (эндокринных типов человека) (Хрисанфова 1990). Изучением морфологии и конституциональных особенностей человека занимается В.П. Чтецов, профессор кафедры антропологии МГУ, разработавший совместно с коллегами классификационную схему для диагностики соматических типов. Концепцию соматотипов и их применение в спортивной и обычной медицине развивал анатом и антрополог, чл.-корр. РАМН Б.А. Никитюк и его соратники: Б.И. Коган (патофизиолог, Винница), Л.А. Алексин (анатом, Санкт-Петербург), А.Г. Щедрин (спортивная медицина, Новосибирск), Н.А. Корнетов (психиатр, Томск), В.Г. Николаев (хирург, Красноярск).

Насколько мне удалось выяснить, в отличие от России, в современной европейской и американской медицинской антропологии отсутствуют исследования конституциональной зависимости болезней. В частности, в США изучение типов телосложения человека остается, скорее, исследовательской техникой физических антропологов (метод антропометрических измерений), чем отдельным научным направлением. Поэтому можно говорить о том, что феномен изучения соматотипов как раздел медицинской антропологии уникален для России, такого рода исследования не имеют аналогов в мировой медицинской антропологии.

Второй крупный массив исследований медико-антропологической проблематики, осуществляемый, в первую очередь, отечественными физическими антропологами, а также медиками, связан с проблемами био-

логической (генетической) и культурной (культурные знания и практики) адаптации человека к различным природно-климатическим условиям, пище, алкоголю. В советское время эти исследования хорошо финансировались, для них были образованы множественные научные учреждения по всей стране (важные с точки зрения массовых трудовых миграций на Север и в Сибирь). Исследования биологической и культурной адаптации имеют аналоги в западной медицинской антропологии: в частности, в США они проводятся в рамках отдельного раздела медицинской антропологии – медицинской экологии[1].

У истоков концепции биологической адаптации человека к природно-климатическим условиям в нашей стране стоит работа сотрудников НИИ и Музея антропологии МГУ им. М.В. Ломоносова: Т.И. Алексеевой, Л.К. Гудковой, О.М. Павловского, И.В. Перевозчикова, Н.С. Смирновой, Т.П. Шагуриной (Чижиковой) и других. По результатам обследования десятков популяций человека на территории России и бывшего СССР, а также в ряде зарубежных стран, выполненного во второй половине XX века сотрудниками института, были изучены особенности ростовых процессов, изменчивость физиологических и морфологических характеристик для аридной зоны, Крайнего Севера, континентальной зоны Сибири и в умеренном климате (Дубова 1999). На основе этих исследований Т.И. Алексеева создала концепцию адаптивных типов людей, «представляющих собой норму биологической реакции на комплекс условий окружающей Среды, обеспечивающей состояние равновесия популяций с этой средой и находящей внешнее выражение в морфо-функциональных особенностях популяций» (Алексеева 1986, цит. по: Дубова 1999: 6). Идеи Т.И. Алексеевой получили развитие в работах сотрудников Института археологии, НИИ и Музея антропологии МГУ им. М.В. Ломоносова: исследованиях долгожительства (О.М. Павловский, В.П. Волков-Дубровин), адаптации популяций современного человека в условиях континентального климата Северо-Восточной, Средней и Центральной Азии (В.А. Бацевич), антропоэкологии населения современного мегаполиса (Т.К. Федотова, Н.А. Дубова) и других.

Огромный вклад в изучение биологической и культурной адаптации/ дезадаптации человека к различным природно-климатическим условиям сделал В.П. Казначеев – академик РАМН, инициатор создания Научного центра клинической и экспериментальной медицины СО РАМН. Сотрудники Центра проводили комплексные исследования адаптации человека в различных климато-географических и производственных регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера; ими была разработана концепция синдрома полярного напряжения; выделены «различные типы адаптации человека («стайер», «микст» и «спринтер»), позволяющие производить отбор для работы в условиях Крайнего Севера и определять группы пациентов с риском развития патологии определённых систем» (НЦКЭМ...).

Одним из комплексных проектов по изучению биологической и культурной адаптации человека стала работа Сектора этнической экологии, образованного в составе Института этнографии АН СССР в 1981 году. В.И. Козлов, д.и.н., этнограф и демограф, собрал в рамках Сектора интердисциплинарную команду исследователей (этнографов, антропологов, демо-

[1] Медицинские экологи исследуют влияние хозяйственных типов (в том числе расселения, питания, взаимодействия с другими объектами экосистемы) на здоровье людей, рост и развитие детей, частоту беременностей и родов, размеры, плотность и подвижность населения, хронические и инфекционные заболевания, угрозы окружающей среды, демографические изменения во времени (McElroy 1996: 4).

графов, медиков и специалистов других наук) для комплексного изучения феномена долгожительства в Закавказье. В состав команды ученых вошли Н.А. Дубова (биолог, антрополог), А.Н. Ямсков (географ), О.Д. Комарова (демограф), медики (А.А. Воронов, сотрудники Института геронтологии АМН СССР, Киев), научные группы НИИ и Музея антропологии МГУ им. Д.Н. Анучина, Института экспериментальной морфологии АН Грузинской ССР и Абхазского института языка, литературы и истории (Этноэкология...). Ученые работали в сотрудничестве с группой американских коллег, изучавших долгожителей в США. Одна из задач проекта заключалась в изучении «этноспецифических стрессогенных ситуаций и традиционных способов адаптации к ним», так что в центре внимания этнографов «оказывались не классификационные признаки <...> элементов (материальной и духовной культуры), а их влияние на здоровье и продолжительность жизни людей» (Козлов 1983: 7).

В предмете этнической экологии присутствует выраженный медико-антропологический компонент: а именно исследование так называемых «этнических аспектов болезни» – то есть всего того многообразия культурных практик, которое позволило и позволяет этносам с разной степенью успешности адаптироваться к среде своего обитания (элементы одежды, питания, жилища, народной медицины, религии, бытовых практик). В настоящее время тематика коллективных и индивидуальных исследований сотрудников Сектора этнической экологии (руководитель – Н.А. Дубова), включает вопросы этнической экологии питания (Н.И. Григулевич), биологической и социокультурной адаптации (Н.А. Дубова), этносоциальных, этнополитических и демографических процессов (Н.А. Лопуленко, И.А. Субботина), системы расселения и хозяйственной деятельности (А.Н. Ямсков) (Этноэкология 2014).

Интересным медико-антропологическим проектом стало исследование сотрудницы ИЭА РАН Г.А. Комаровой (Komarova 1999; Komarova 2001). В фокусе ее анализа оказались особенности системы жизнеобеспечения и стереотипы поведения представителей различных этнических (башкиры, татары, русские и др.) и конфессиональных (мусульмане и христиане) групп, проживающих в пойме реки Течи (Южный Урал), пострадавших от серьезных радиационных инцидентов, произошедших на производственном объединении «Маяк». Автор исследования сделала вывод о том, что приверженность группы некоторым культурным традициям не всегда оптимальна для ее выживания в условиях техногенной катастрофы и что нормы и предписания культуры могут иметь как адаптивный, так и дезадаптивный характер (Комарова 2002; Комарова 2006; Komarova 2015).

Помимо адаптации к природно-климатическим условиям, российские ученые занимались изучением биологической и культурной адаптации к пищевым рационам и алкоголю. Особенности рациона, генетическая реакция организма на алкоголь, а также молоко, дисахариды, белки, жиры, углеводы и другие вещества в различных этнических группах изучаются многими научными коллективами на различных популяциях Севера, Сибири и Дальнего Востока (*см., например*: Хаснулин и др. 2005, Хаснулин 2009, Казначеев 1980а, Казначеев 1980б, Казначеев и др. 1980, Панин и др. 1983, 1987, Влощинский 1999, Боринская и др. 2009, Козлов, Вершубская 1999, Марусин и др. 2004, Кершенгольц и др. 1994, 2000, Воевода и др. 1994, Avksentyuk et al. 1995 и др.).

Культурной адаптации различных этнических групп к пище посвящен целый ряд отечественных работ. В их числе можно выделить сборник «Традиционная пища как выражение этнического самосознания» под ред. С.А. Арутюнова и Т.А. Ворониной. В

тематике статей сборника – «роль питания в системе экологической адаптации, сохранность и отбор традиционных компонентов в структуре современного питания, соотношение витальных и знаковых компонентов в культуре питания» (Арутюнов, Воронина 2001: 5). Авторы сборника уделяют внимание влиянию исторических, географических, социально-экономических, религиозных факторов на особенности традиционной пищи различных народов бывших советских республик, ее роль в системе сохранения здоровья человека.

Еще один блок проблем, имеющий непосредственное отношение к медицинской антропологии и развиваемый отечественными физическими антропологами, – это исследования палеопатологии, болезней древних людей, палеогенетики. В рамках НИИ и Музея антропологии МГУ это направление развивает А.П. Бужилова. Исследуя патологические изменения на костях скелета и мумифицированных останках, палеопатологи описывают появление первых симптомов различных заболеваний, реконструируют болезни известных и малоизвестных исторических персонажей (Бужилова 2011).

Медицинская этнография (народная медицина)

Традиционными для российской (советской) науки являются этнографические исследования этномедицинских знаний и практик (этиология заболеваний, диагностика, профилактика, способы лечения) народов, населявших РФ (и ранее – СССР в целом). Это направление в европейской традиции иногда называется медицинской этнографией, а в России именуется народной медициной или этномедициной.

Такие исследования были представлены еще в дореволюционной науке (Попов 1903, Высоцкий 1911, Демич 1911 и мн. др.). Исследовательские программы формировались особенно активно в первой четверти XX в. (*см., например*, специальные инструкции и программы по собиранию фольклора, связанного с народными знаниями: Виноградов 1923; Воскресенский 1927; Макарьев 1928; подробная библиография: Ермакова 2008). Эта традиция не прерывалась и в советское время (см.: Вайнштейн 1988), когда этнографами и фольклористами велась планомерная работа по изучения состояний культуры всех народов СССР. Многочисленные материалы фиксировались этнографическими и фольклорными экспедициями университетов (например, северными и центрально-русскими экспедициями кафедры русского устного народного творчества МГУ им. М.В. Ломоносова, имеющей свой большой архив), академических институтов (Института русской литературы – ИРЛИ, Института славяноведения и балканистики – ИСиБ и мн. др.), работавшими регулярно на различной территории. На основе частных собраний материалов и архивных данных осуществлялись специальные исследования (*см., например*: Торэн 1964, Минько 1969, 1971, Арон 1966, Богоявленский 1960, Никонова 1995 и мн. др.).

Значимым явлением в этом исследовательском процессе стала Всесоюзная научная конференция «Этнографические аспекты изучения народной медицины» (1975 г.) в Ленинграде; она собрала большое число разнообразных специалистов, показав существенный интерес к этой тематике. По её изданным материалам можно охарактеризовать основные направления отечественных медико-этнографических исследований, теоретические подходы к анализу этнографических данных (Бромлей, Блинова, Решетов 1975). Помимо секции по палеомедицине и истории медицины у различных народов (палеоантропологические сведения о врачевании в Белоруссии, Древней Прибалтике, исторические и современные данные о медицинских практиках в разных культурах), на конференции работали

секции по восточной медицине, медицине народов Европы и Кавказа, лекарственным растениям в народной медицине. В докладах представлены обширные медико-этнографические материалы, собранные советскими исследователями. Особенно подробно изучалось употребление растительных и животных лекарственных средств в различных культурах, а также все, что связано с «телесным» врачеванием (ванны, ингаляции, прогревание, «колотье», кровопускание, диеты, хирургические приемы, массаж) – т. е. теми приемами, которые могут представлять интерес для биомедицины. «Религиозно-магический» пласт медицинских знаний описывался (часто подробно), но, скорее, как «пережитки» древних мистических представлений, а их целебный эффект – как результат внушения, самовнушения, «психотерапии» (*Там же*: 48, 52). Таким образом, общий объем медицинской информации раскладывался на тот, который может быть познан силами биомедицинской науки (и потому ценный для «естественников»), и тот, который обладает ценностью исключительно в фольклорно-историческом ключе. Информация второго типа, за редким исключением, просто описывалась этнографами; пытаться ее понять, или, тем более, связать с реальным воздействием на психосоматическое здоровье человека не имело смысла, так как эта информация на тот момент не проходила через «фильтр рациональности» научной медицины и советской идеологии.

За проведением конференции последовало издание статьи «Народная медицина как предмет этнографических исследований» Ю.В. Бромлея и А.А. Воронова, давших теоретическое обоснование этой области этнографических штудий. Народная (традиционно-устная) медицина, по мысли авторов, является важной частью традиционно-бытовой культуры. В этом смысле «изучение этнографических аспектов народной медицины, как и любое этнографическое исследование, в конечном счете, должно быть направлено на выявление характерных черт этнических общностей, являющихся основным объектом этнографической науки» (Бромлей, Воронов 1976:16). Изучение специфического и общего в народной медицине различных этносов может дать информацию о культурных взаимодействиях этносов. Такие исследования имеют историческую ценность (история традиционных народных знаний, история медицины на ранних этапах развития человечества); что еще более важно – изучение социокультурного контекста функционирования народной медицины важно для понимания медико-биологической сути народных медицинских знаний (*Там же*: 9).

Медицинская этнография, таким образом, занимается изучением различных пластов этнических медицинских знаний как части традиционно-бытовой культуры народа. Среди всего объема таких знаний и практик авторы статьи выделяют народную (или традиционно-устную) медицину и традиционно-письменную медицину. В свою очередь, народные медицинские знания имеют бытовой (знания, известные каждому человеку) и профессиональный (хранителями которых являются знахари, шаманы, колдуны и пр.) пласты. При этом отмечается, что в жизни конкретного народа народная медицина и научная медицина (сформировавшаяся на основе европейских и отчасти арабской традиционно-письменных систем медицинских знаний) могут сосуществовать и подвергаться взаимному влиянию.

Работа по этномедицинской тематике всегда осуществлялась не только этнографами, но и фольклористами. Как отмечает В.И. Харитонова, прикладной сферой этномедицины, рациональными способами лечения, включая натуропатию, фитотерапию и пр., в силу особенностей научных установок и методик работы, больше занимались этнографы, а практиками маги-

ко-медицинского и магико-мистического, психотерапевтического характера – фольклористы. В 70–80-е гг. все эти исследования активизировались, но небывалый подъем интереса к изучению (особенно «иррациональных» практик) начался в период перестройки, когда на прилавки книжных магазинов и уличные «развалы» хлынул поток эзотерической литературы (*см. подробно*: Харитонова 2000, 2006), а вместе с этим новые издательства проявили интерес к фольклорно-этнографическим материалам, заказывая специалистам тематические публикации (*см., например*: Харитонова 1990, 1991). В 90-е гг. стали активно проводиться крупные международные конференции, на которых темы народной медицины, шаманских практик, заговорно-заклинательного искусства стали обязательными (см.: Шаманизм как религия: генезис, реконструкция, традиции. Якутск, 1992; Традиционная этническая культура и народные знания: Москва, 21–24 марта 1994 г. (организатор – ИЭА РАН); Центрально-азиатский шаманизм: философские, исторические, религиозные аспекты: 20–26 июня 1996 г., Улан-Удэ, оз. Байкал и др.).

На сегодняшний день большая группа ученых (в основном, фольклористов и этнографов) продолжают заниматься изучением собственно народной медицины и – шире – этномедицины у народов России: Е.П. Батьянова, Вл.Г. Власов, И.В. Волохина, Т.В. Волдина, О.А. Гончарова, С.И. Дмитриева, Е.Е. Ермакова, И.В. Ильина, В.А. Липинская, Л.И. Никонова, А.А. Шевцова и другие. Такие работы осуществляются и в Институте этнологии и антропологии РАН. Исследования народных рецептов русских обобщены в монографии Г.А. Леонтьевой и В.А. Липинской (2006). Изучением народной медицины телеутов, народов Камчатки и Чукотки занимается Е.П. Батьянова (1999, 2001, 2009). Историографический анализ источников по народной медицине у разных народов России представлен в соответствующих разделах серии «Народы и культуры», выпускаемой сотрудниками Института.

Говоря об особенностях современных работ, написанных в русле медицинской этнографии, следует отметить, что, как и в советское время, описание народных медицинских практик проводится в «тесной взаимосвязи с родильной и похоронной обрядностью, жилищем, одеждой, пищей, народным календарем, хозяйственной деятельностью, т. е. с бытовой культурой в целом» (Ермакова 2012: 8). В работах по этномедицине находят свое описание традиционные производственные циклы, элементы повседневной жизни (например, чередование сна и отдыха), режимы питания и употребляемые продукты, одежда, нормы этикета (влияние слов, оскорблений на психоэмоциональное самочувствие), нормы личной и общественной гигиены (*см., например,* Ильина 2012).

Для ряда этнографических работ по народной медицине характерно использование, наряду с включенным наблюдением и интервью, исторической литературы, архивных данных – что делает их близкими работам по истории медицины. К таким исследованиям, в частности, можно отнести монографии О.А. Гончаровой «Народная медицина Горного Алтая» (2005), И.В. Волохиной «Народная медицина русских Омского Прииртышья (конец XIX – XX век) (2005), Л.И. Никоновой по традиционной медицине тюркских народов Поволжья и Приуралья (2000). Наряду с изучением истории развития этномедицины в регионе, в части работ исследуются трансформации традиционных медицинских практик.

Помимо этнографов и фольклористов, изучением народной медицины в России занимаются сами медики. В частности, в Москве исследования методов народного траволечения с позиций современных биолого-медицинских знаний проводят проф. В.Ф. Корсун (зав. кафедрой фитотерапии Института восточной медицины РУДН) и его сотрудники. На территории

Тувы на протяжении нескольких последних лет под руководством Л.А. Павловой (рук. лаборатории биологически активных соединений НИИ фармации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова) ведутся экспедиционные исследования природного растительного сырья и его использования в этномедицинских практиках местным населением (Харитонова, Копелиович 2012).

В истории развития медицинской этнографии и, в том числе, фольклористики, занимающейся изучением магико-медицинских и магико-мистических практик, как указывает в своих работах В.И. Харитонова, значимо выделяется период последней четверти века. Это время не только колоссальных изменений в развитии, модернизации самих практик и традиций в целом, но и формирования в рамках традиционной медицинской этнографии и фольклористики, фактически, медицинской этнологии и антропологии. В период становления народного целительства как особой профессии (узаконена в 1993 г.) появились работы, осмысляющие образ целителя и его практику, методы работы, специфику его психофизиологии (*см., например*: Харитонова 1994, 1995 и мн. др.); анализ практик и личности традиционных знахарей, колдунов, шаманов, как и самих традиций, также приобрел несколько иные коннотации (*см., например*: Харитонова 1999; Криничная 2002; Ермакова 2005, Мазалова 2011 и др.); активно стали изучаться способы сохранения здоровья у различных народов, в том числе с учетом биомедицинского контекста, специфики современного здравоохранения и ситуации контактов различных медицинских систем (*см., например*: Гончарова 2005, Ильина 2008, Никонова 1995, 2000, 2001, Харитонова 2009 и мн. др.).

Медицинская (социокультурная) антропология

С начала 1990-х годов современные исследователи, интересующиеся социокультурными аспектами медицинских представлений, практик, взаимодействий между медицинскими специалистами и пациентами, стали использовать арсенал понятий и теорий, разрабатывающихся во второй половины XX века европейскими и американскими авторами. В теоретическом плане важными стали идеи медикализации, властных аспектов биомедицины (M. Foucault, I. Illich, I. Zola, P. Conrad, D. Lupton); работы по социологии профессий (T. Parsons, E. Freidson), феминистские подходы к проблемам материнства и деторождения (R. Davis-Floyd, A. Oakley, C. Davies, E. Martin). Отечественные исследователи, вслед за А. Клейнманом, Э. Гейнсом, Р. Ханом, Л. Гарро и др., стали развивать идеи социального/культурного конструирования болезней (медицинских нозологий), а также необходимости включения в анализ не всегда научных и рациональных «объяснительных моделей» болезней, используемых пациентом, его семьей. Помимо когнитивных и символических измерений болезни, социальные исследователи обратились к её социально-экономических параметрам: проблеме социального неравенства людей в доступе к медицинской помощи. Это сближает отечественные работы с работами в русле критической медицинской антропологии (политэкономии здоровья)[1].

В теоретическом плане одними из первых популяризаторов современных подходов в медицинской антропологии стали В.А. Тишков и В.В. Тишков. В статье 1988 года они представили ключевые вопросы, поставленные американским антропологом Артуром Клейнманом: «каковы параме-

[1] Критические медицинские антропологи в США исследуют влияние бедности, расизма, сексизма, остракизма и структурного насилия на состояние здоровья людей; они часто придерживаются «левых», неомарксистских политических взглядов. Важнейшим центром критической медицинской антропологии является кафедра антропологии Калифорнийского университета в Беркли, среди её сторонников – Н. Шепер-Хьюз, П. Рабинов, Л. Коэн, С. Пандолфо, Ч. Бриггс и др.

тры клинического феномена в обществе и как они соотносятся с системами культурных значений и норм, с одной стороны, и институализированными социальными практиками властных отношений, с другой; как и до какой степени культурные концепции болезни влияют на преобладание, морфологию и ход того или иного конкретного заболевания; какими путями разные культурные представления о болезни и лечении влияют на клиническое взаимодействие между пациентом, семьей и врачами; каковы культурно-специфические и универсальные характеристики процесса врачевания?» (Тишков, Тишков 1988: 39) Авторами были введены такие понятия, используемые А. Клейнманом, как опыт страдания, социальное (культурное) конструирование болезни, переживание болезни, интерпретации болезни, этномедицинская модель, система ухода за здоровьем (*health-care system*), соматизация. Была озвучена важная мысль А. Клейнмана – что повседневные реакции и практики человека, связанные с заботой о здоровье, а не только «драматические и ритуалистические» моменты врачевания, должны стать объектом исследований. Авторы статьи показали, вслед за Клейнманом, «культурные ограничители» биомедицины как науки и формы практики, противопоставили дегуманизирующий характер биомедицины – человечности традиционных медицинских практик. Кроме того, история и проблематика западной медицинской антропологии представлена в работах Д.В. Михеля (2010, 2011, 2013), Е.Р. Ярской-Смирновой и П.В. Романова (2004), В.И. Харитоновой (2011), А.А. Ожигановой (2011).

Современные российские социальные исследователи, интересующиеся проблемами здоровья/болезней/медицины, имеют исторически сложившиеся «поля»: так, социальные антропологи по традиции больше работают в области этномедицинских систем, в то время как поле официальной биомедицины раньше всех стали осваивать социологи. Естественно, эти исторически закрепленные «домены» не являются непроницаемыми. Например, отечественные социологи обращаются к изучению альтернативной медицины (см., например: Ярская-Смирнова, Григорьева 2006, Rusinova, Brown 2002[1]), в то время как культурные/социальные антропологи выходят за рамки исследований традиционно этнических, «экзотических» медицинских систем в пространство жизни города, официальных здравоохранительных учреждений, повседневных медицинских практик, сочетающих в себе элементы самых разных медицинских представлений и оздоровительных (в том числе (нео)религиозных/духовных) систем (*см., например*: Харитонова, Ожиганова, Купряшина 2008).

В рамках изучения этномедицинских систем, с начала 2000-х гг. проводятся комплексные и интердисциплинарные исследования различных групп этнических врачевателей, народных целителей и других специалистов неконвенциональной медицины, в том числе шаманов; а также специально – личности и психофизиологии таких людей (*см.*: Харитонова 2003, 2006; Харитонова, Свидерская, Мещерякова 2006; Kharitonova, Ukraintseva 2012 и др.). Исследования проводились при поддержке РГНФ и РФФИ на базе Центра по изучению шаманизма и

[1] Е.В. Дмитриева предлагает заменить понятие социологии медицины на социологию здоровья, которое сближает его с антропологической оптикой. Помимо здоровья и связанных с ним категорий, социология здоровья включает также исследования «системы здравоохранения и альтернативной медицины, социологическую интерпретацию здравоохранения как социальной системы и социального института». «Социология здоровья», в отличие от «социологии медицины», не ограничивается рамками медицины, но изучает «индивида, его здоровье, представления, национальные и культурные традиции отношения к здоровью, образу жизни, социальному окружению» (Дмитриева 2003: 56).

иных традиционных верований и практик при ИЭА РАН (с 2001 г.), научно-исследовательской группы медицинской антропологии (с 2005 г.). В фокусе антропологического внимания оказалось также влияние новых религиозных движений, неошаманизма и городского шаманизма на здоровье людей (Ожиганова, Филиппов 2008; Харитонова, Ожиганова, Купряшина 2008). В 2011 г. сотрудниками группы был организован международный электронный рецензируемый двуязычный журнал «Медицинская антропология и биоэтика» (www.medanthro.ru, гл. редактор – В.И. Харитонова), который способствует формированию сообщества медицинских антропологов России[1], а также расширению Ассоциации медицинских антропологов (работает с 2013 г., www.amarussia.ru). Создание журнала и Ассоциации было важнейшими шагами в попытке объединения в научное направление многочисленных специалистов (антропологов, социологов, медиков, философов, юристов). Тому способствуют ежегодные интердисциплинарные научные симпозиумы, проводившиеся в Москве (2013 и 2015 гг.) и Саратове (2014 г.) и работающие в рамках каждого Конгресса этнологов и антропологов России секции по медицинской антропологии. На основе работы этих мероприятий издаются сборники научных статей (Медицинская антропология… 2015). Опыт подготовки сборников показывает, с одной стороны, что в России нет единого концептуального языка, на котором говорили бы все причисляющие себя к данному научному направлению ученые, но есть импульсы и назревшая потребность его создать.

Параллельно с антропологами, работающими в поле этномедицины, российские социологи в постперестроечное время стали осваивать поле биомедицины. Наиболее освоенной его частью можно назвать область репродуктивной медицины, которая с 2000-х гг. расширяется, благодаря усилиям исследователей гендера (Е.А. Здравомыслова, А. Темкина, М. Ривкин-Фиш, Е. Бороздина, О. Мельникова, Е. Белоусова). Современная ситуации в российских роддомах анализируется через призму категорий «медикализации» и «технологизации», «кризиса доверия» в медицине; моделей взаимодействия между старшим и средним врачебным персоналам, врачами и пациентами (*см., например*: Здравомыслова, Темкина 2009, 2011).

Исследования профессиональной идентичности медицинских специалистов проводятся в рамках социологии профессий. «Мастерство, квалификация, ученые степени, знания, дипломы и полученная профессиональная подготовка ставят профессионалов в более выгодное положение на рынке труда по сравнению с неквалифицированными работниками» (Присяжнюк 2011: 71). При этом для профессионалов, в том числе медицинских, характерна «социальная закрытость» – то есть стремление сохранить власть, являющуюся атрибутом их профессии, через реализацию принципов корпоративной этики, недопущение «чужих» в сферу своей деятельности. «У представителей профессий возникает дискурс хранителей особого знания, защищенного от непосвященных, трепетное отношение к тому, что по Гофману можно назвать “закулисьем”» (Ярская-Смирнова, Романов 2004: 47). Вопросы профессиональной идентичности медиков анализируется в кандидатской диссертации Д.И. Присяжнюк «Трансформация профессии врача в условиях реформы здравоохранения» (2012)[2], работе Е. Бороздиной о движении за независимое акушерство (2014).

Обращаясь к идеям «нарративной медицины», развиваемым Ч. Маттингли и Л. Гарро, самарские исследователи обратили

[1] http://www.facebook.com/groups/435172736546732.

[2] http://www.hse.ru/data/2012/12/05/1244095210/prisajnuk.pdf.

внимание на важность изучения субъективных интерпретаций, используемых людьми для придания смысла своей болезни (Готлиб 2011, Лехциер 2011). На основе материалов, собранных среди хронических больных г. Самары, А.С. Готлиб составила классификацию смыслов, придаваемых жителями Самары своим хроническим болезням, а также проанализировала, как они представлены количественно в сознании разных демографических групп (Готлиб 2011).

* * *

Как видно из этого весьма неполного обзора, спектр подходов и проблематик в отечественной медицинской антропологии широк и разнообразен. Традиционно, медицинскими антропологами в нашей стране себя называют анатомы, медики, физические антропологи, занимающиеся изучением конституциональных типов человека и их связью с проявлением болезней. Этот подход уникален для России, подобные исследования в рамках западной медицинской антропологии не ведутся. Кроме того, советские и современные физические антропологи глубоко изучают вопросы биологической и культурной адаптации человека к различным природно-климатическим условиям, пище, алкоголю. Эта исследовательская проблематика имеет аналоги в работах американских медицинских антропологов, занимающихся адаптацией в рамках медицинской экологии. В дореволюционной, советской и постсоветской науке собирались массивные материалы по народной медицине в рамках этнографических и фольклорных экспедиций в различные районы нашей страны – что способствовало развитию медицинской этнографии (народной медицины, этномедицины). С начала 1990–2000-х годов в российскую медицинскую антропологию начали вводиться новые проблемы и теоретические ориентации. Заметно усложнился анализ различных феноменов этномедицины, этнических врачевателей, народных целителей и других специалистов неконвенциональной медицины, в том числе шаманов, их личности и психофизиологии. В соответствии с траекторией развития современной западной медицинской антропологии, в России возникло новое направление антропологических и социологических штудий – антропология (социология) биомедицины. Первыми концептуализировать и изучать свои объекты в поле отечественных больниц, роддомов и поликлиник стали социологи.

Библиография

Алексеева 1986 – Алексеева Т.И. Адаптивные процессы в популяциях человека. М., 1986. 216 с.

Арон 1966 – Арон К.Я. Латышская народная медицина: автореф. дис. … канд. мед. наук. Рига, 1966. 37 с.

Арутюнов, Воронина 2001 – Традиционная пища как выражение этнического самосознания / Отв. ред. С.А. Арутюнов, Т.А. Воронина. М.: Наука, 2001. 293 с.

Арутюнов, Рыжакова 2004 – Арутюнов С.А., Рыжакова С.И. Культурная антропология. М.: Весь мир, 2004. 216 с.

Батьянова 1999 – Батьянова Е.П. Из народной медицины Крайнего Северо-Востока // Сибирский этнографический сборник. Вып. 9. М., 1999. С. 16–49.

Батьянова 2001 – Батьянова Е.П. Самолечение через творчество в регионах с шаманской традицией (Чукотка и Камчатка) // Материалы международного интердисциплинарного научно-практического симпозиума «Экология и традиционные религиозно магические знания». Москва–Абакан–Кызыл. 9–21 июля 2001 г. М., 2001. С. 18–22 (Этнологические исследования по шаманству и иным традиционным верованиям и практикам. Т. 7, часть 2.)

Батьянова 2009 – Батьянова Е.П. Из народной медицины телеутов / Отв. ред. Харитонова В.И. Проблемы сохранения здоровья в условиях Севера и Сибири: Труды по медицинской антропологии. Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН. М.: ОАО «Типография “Новости”», 2009. С. 344–351.

Богоявленский 1960 – Богоявленский Н.А. Древнерусское врачевание в XI–XVII вв. Источ-

ники для изучения русской медицины. М.: Медгиз, 1960. 323 с.

Боринская, Козлов, Янковский 2009 – Боринская С.А., Козлов А.И., Янковский Н.К. Гены и традиции питания // ЭО. 2009. № 3. С. 117–137.

Бороздина 2014 – Бороздина Е. Язык науки и язык любви: легитимация независимой акушерской практики в России. Laboratorium. № 1. 2014. С. 30–59.

Бромлей, Блинова, Решетов 1975 – Этнографические аспекты изучения народной медицины. Тезисы Всесоюзной научной конференции 10–12 марта 1975 г. / Под ред. Ю.В. Бромлея, К.Ф. Блиновой, А.М. Решетова. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1975. 83 с.

Бромлей, Воронов 1976 – Бромлей Ю.В., Воронов А.А. Народная медицина как предмет этнографических исследований // СЭ. 1976. № 5. С. 3–18.

Бужилова 2011 – Бужилова А.П. Палеопатология: медицинская экспертиза спустя тысячелетия... // Химия и жизнь. 2011. № 5. С. 14–19. URL: http://antropogenez.ru/article/315.

Вайнштейн 1988 – Вайнштейн С.И. Полевая этнография // Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Методы. М.: Наука, 1988. С. 205–208.

Виноградов 1923 – Виноградов Г.С. К изучению народной медицины у русского населения Сибири. Инструкция и программа. Иркутск, 1923. 56 с.

Влощинский 1999 – Влощинский П.Е. Состояние углеводного и жирового обменов, их взаимосвязь со структурой питания у жителей Крайнего Севера : автореф. дисс… докт. мед. наук. Новосибирск, 1999. 36 с.

Волохина 2005 – Волохина И.В. Народная медицина русских Омского Прииртышья (конец XIX – XX век). Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 2005. 157 с.

Высоцкий 1911 – Высоцкий Н.Ф. Очерки нашей народной медицины // Записки Моск. археол. ин-та. М., 1911. Т. 11. С. 1–168.

Гончарова 2005 – Гончарова О.А. Народная медицина Горного Алтая. Горно-Алтайск: Уч-Сюмер, 2005. 120 с.

Готлиб 2011 – Готлиб А.С. Современные отечественные медицинские практики в экзистенциальном измерении / Ярская В.Н. (ред.) Здоровье населения и национальные реформы: социально-антропологический анализ. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2011. С. 146–158.

Демич 1911 – Демич В.Ф. Очерки русской народной медицины. Хирургия у русского народа // Вестник общественной гигиены, судебной и практической медицины. СПб.: Тип. МВД. 1911. № 11, 12. 81 с.

Дмитриева 2003 – Дмитриева Е.В. От социологии медицины к социологии здоровья // Социологические исследования. 2003. № 11. С. 51–57.

Дубова 1999 – Дубова Н.А. О биологическом аспекте групповой адаптации / Методы этноэкологической экспертизы. М., 1999. С. 30–40.

Ермакова 2005 – Ермакова Е.Е. Сибирская заговорная традиция (конец XX – начало XXI в.): В 2 т. Тюмень, 2005. 380 с.

Ермакова 2008 – Ермакова Е.Е. Традиционные магико-медицинские знания: учебно-методическое пособие / Под ред. В.И. Харитоновой. Новосибирск: Наука, 2008. 119 с.

Ермакова 2012 – Ермакова Е.Е. Массаж в системе магико-медицинских практик ижемцев Нижнего Приобья // Медицинская антропология и биоэтика. 2012. № 3. URL: http://www.medanthro.ru/.

Здравомыслова, Темкина 2009 – Здоровье и доверие: гендерный подход к репродуктивной медицине: Сборник статей / Под ред. Е.А. Здравомысловой, А.А. Темкиной. СПб.: Издательство ЕУСПб, 2009. 430 с.

Здравомыслова, Темкина 2011 – Здоровье и интимная жизнь: социологические подходы. Сборник статей / Под ред. Е.А. Здравомысловой, А.А. Темкиной. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011. С. 23–53.

Ильина 2008 – Ильина И.В. Традиционная медицинская культура народов европейского Северо-Востока (к. XIX–XX вв.). Сыктывкар: 2008. 236 с.

Ильина 2012 – Ильина И.В. Традиционная модель «здорового образа жизни» у коми // Российский Север и северяне: среда – экология – здоровье. Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. Салехард. 2012. Выпуск № 1(74). С. 12–17.

Казначеев 1980а – Казначеев В.П. Адаптация человека (социальные и медико-биологические аспекты) // Клинические и экспериментальные аспекты общей патологии. Новосибирск, 1980. С. 5–17.

Казначеев 1980б – Казначеев В.П. Современные аспекты адаптации. Акад. мед. наук СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т клин. и эксперим. медицины, Курорт «Озеро Карачи». Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние. 1980. 191 с.

Казначеев, Панин, Коваленко 1980 – Казначеев В.П., Панин Л.Е., Коваленко Л.А. Актуальные проблемы рационального питания пришлого населения Заполярья и аборигенов Севера // Вопросы питания. 1980. № 1. С. 23–27.

Кершенгольц, Турнин 1994 – Кершенгольц Б.М., Турнин Х.Х. Полиморфизм АДГ и АльДГ в группах населения Якутии и прогноз популяционной устойчивости к алкоголю // Ученые записки ЯГУ. Серия: Геология, география, биология. Якутск: изд. ЯГУ, 1994. С. 138–149.

Кершенгольц, Колосова, Кривогорницына 2000 – Кершенгольц Б.М., Колосова О.Н., Кривогорницына Е.А. Физиолого-биохимические механизмы формирования этногенетических и экологических особенностей алкогольных патологий в условиях севера и их влияние на общую заболеваемость // Вестник РУДН, серия Медицина. 2000. № 2. С. 106–115.

Козлов 1983 – Козлов В.И. Основные проблемы этнической экологии // СЭ. 1983. № 1. С. 3–16.

Козлов, Вершубская 1999 – Козлов А.И., Вершубская Г.Г. Медицинская антропология коренного населения севера России. М.: Изд-во МНЭПУ, 1999. 287 с.

Комарова 2002 – Комарова Г.А. Предтеча Чернобыля. М.: ИЭА РАН, 2002.

Комарова 2006 – Комарова Г.А. Человек и радиация: опыт исследования аспектов жизни людей в условиях повышенной радиации // Acta Slavica Japonica. Sapporo, 2006. Tomus 23. С. 124–145.

Криничная 2002 – Криничная Н.А. Посвящение в колдуны: историко-этнографическая основа русских мифологических рассказов о передаче-усвоении эзотерических знаний // ЭО. 2002. № 2. С. 10–23.

Кузин, Никитюк 1996 – Кузин В.В., Никитюк Б.А. Интегративная биосоциальная антропология. М.: ФОН, 1996. 220 с.

Леонтьева, Липинская 2006 – Леонтьева Г.А., Липинская В.А. Русский старообрядческий лечебник. – Археодоксія, 2006. – 128 с.

Лехциер 2012 – Лехциер В.Л. Общество ремиссии на пути к нарративной медицине / Ред. В.Л. Лехциер. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2012. 296 с.

Мазалова 2011 – Мазалова Н.Е. Этнографические аспекты изучения личности «знающего» (XIX – начало XXI в.). СПб.: Петербургское востоковедение, 2011. 304 с.

Макарьев 1928 – Макарьев С.А. Полевая этнография. Краткое руководство и программа для сбора этнографического материала в СССР. Программа этнографического обследования. Л., 1928.

Марусин, Степанов, Спиридонова, Пузырев 2004 – Марусин А.В., Степанов В.А., Спиридонова М.Г., Пузырев В.П. Полиморфизм генов алкогольдегидрогеназ в русских популяциях Сибирского региона // Молекулярная биология. 2004. Т. 38. № 4. С. 625–631.

Минько 1969 – Минько Л.И. Народная медицина Белоруссии. Минск, 1969. 105 с.

Минько 1971 – Минько Л.И. Знахарство: истоки, сущность, причины бытования. Минск, 1971. 120 с.

Михель 2010 – Михель Д.В. Социальная антропология медицинских систем: медицинская антропология: учеб. пособ. для студентов. Саратов: Новый Проект, 2010. 80 с.

Михель 2011 – Михель Д.В. Медикализация как социальный феномен // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2011. Т. 4. № 2. С. 256–263.

Михель 2013 – Михель Д.В. Изучая культуру, здоровье и болезнь: медицинская антропология как область знания. // Вестник Саратовского государственного технического университета, 2013. № 2(70). Выпуск 1. С. 205–217.

Никитюк, Козлов 1990 – Никитюк Б.А., Козлов А.И. Новая техника соматотипирования // Новости спортивной и медицинской антропологии / Ред. Б.А. Никитюк. Вып. 3. М., Спортинформ, 1990. С. 121–141.

Николаев 2012 – Николаев В.Г. Биомедицинская антропология и ее место в науках о человеке / Медведева Н.Н. Актуальные проблемы биомедицинской антропологии и морфологии: сборник научных трудов. Красноярск: тип. КрасГМУ, 2012.

Никонова 1995 – Никонова Л.И. Тайны мордовского целительства. Саранск: Морд. кн. Изд-во, 1995. 170 с.

Никонова 2000 – Никонова Л.И. Традиционная медицина тюркских народов Поволжья и Приуралья как часть системы их жизнеобеспечения. Рузаевка, 2000. 160 с.

Никонова 2001 – Никонова Л.И. Народная (традиционная) медицина – один из источников изучения природных ресурсов Урало-Поволжского региона (по полевым материалам 1991–2000 гг.) / Источники по истории природных ресурсов бассейна реки Волги. М., 2001. С. 116–126.

НЦКЭМ – Веб-сайт Федерального государственного бюджетного учреждения «Научный центр клинической и экспериментальной медицины» Сибирского отделения РАМН. URL: http://centercem.ru/home/istoricheskaya_spravka/.

Ожиганова, Филиппов 2006 – Ожиганова А.А., Филиппов Ю.В. Новая религиозность в современной России: учения, формы и практики. М., 2006. 300 с.

Ожиганова 2011 – Ожиганова А.А. Антропология и медицина: перспективы взаимодействия

(дискуссия 1980-х – 2000-х годов) // ЭО. № 3. 2011. С. 10–21.

Панин, Березовиков, Андронова 1983 – Панин Л.Е., Березовиков П.Д., Андронова Т.И. Уточнение физиологических норм в пищевых веществах и энергии для различных климатических зон Востока СССР // Медико-биологические аспекты продовольственной программы на Востоке СССР. Новосибирск, 1983. С. 3–53.

Панин, Березовиков, Андронова 1987 – Панин Л.Е., Березовиков П.Д., Андронова Т.И. Норма потребности человека в пищевых веществах и энергии для районов Сибири и Азиатского Севера // Питание – основа первичной профилактики заболеваний на Севере. Новосибирск, 1987. С. 29–42.

Попов 1903 – Попов Г.И. Русская народно-бытовая медицина / Г. Попов; по мат-лам Этногр. бюро князя В.Н. Тенишева. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1903. 414 с.

Присяжнюк 2011– Присяжнюк Д.И. Национальный проект «Здоровье» и динамика статусов медицинских специалистов и пациентов // Здоровье населения и национальные реформы: социально-антропологический анализ / Под ред. В.Н. Ярской. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2011. С. 62–89.

Тишков, Тишков 1988 – Тишков В.А., Тишков В.В. Диалог между антропологией и медициной. О книгах А. Клейнмана «Пациенты и целители в культурном контексте», «Социальные корни дистресса и болезни», «Заметки на полях. Дискурс между антропологией и медициной» // Журнал прикладной психологии. 1988. № 1. С. 37–50.

Торэн 1964 – Торэн М.Д. Использование дикорастущих растений в русской народной медицине. М., 1964.

Хайруллин, Никитюк 2013 – Хайруллин Р.М., Никитюк Д.Б. Медицинская антропология как наука и как научная специальность в России // Морфологические ведомости. 2013. № 1. С. 6–14.

Харитонова 1990 – Харитонова В.И. Черная и белая магия славян. М.: Интербук, 1990. 61 с.

Харитонова 1991 – Харитонова В.И. Практическая магия: заговоры, заклинания. М.: РИЦ НТК «Ир», 1991. 64 с.

Харитонова 1994 – Харитонова В.И. Портреты народных целителей России. М.: ВНИЦТНМ «ЭНИОМ», 1994. 232 с.

Харитонова 1995 – Харитонова В.И. Традиционная магико-медицинская практика и современное народное целительство. М: ИЭА РАН, 1995. 204 с.

Харитонова 1999 – Харитонова В.И. Заговорно-заклинательное искусство восточных славян: проблемы традиционных исследований и возможности новых интерпретаций. Ч. 1–2. М.: ИЭА РАН, 1999. 602 с. (Этнологические исследования по шаманству и иным традиционным верованиям и практикам. Т. 3).

Харитонова 2000 – Харитонова В.И. «Весна Средневековья» накануне III тысячелетия (Магико-мистическая практика и «народное целительство» в Московском регионе) // Московский регион: этноконфессиональная ситуация. М.: ИЭА РАН, 2000. С. 262–282.

Харитонова 2003 – Харитонова В.И. Наука о человеке: комплексное интердисциплинарное исследование шаманизма на базе ИЭА РАН / Российская наука о человеке: вчера, сегодня, завтра: Материалы международной научной конференции / Под ред. Ю.К. Чистова и В.А. Тишкова. СПб.: МАЭ РАН, 2003. Вып. 1. С. 230–236.

Харитонова 2006 – Харитонова В.И. Феникс из пепла? Сибирский шаманизм на рубеже тысячелетий. М.: Наука, 2006. 372 с.

Харитонова 2009 – Проблемы сохранения здоровья в условиях Севера и Сибири: Труды по медицинской антропологии. Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН / Отв. ред. В.И. Харитонова. М.: ОАО «Типография “Новости”», 2009. 512 с.

Харитонова 2011 – Харитонова В.И. Медицинская антропология на Западе и в России // ЭО. № 3. 2011. С. 3–10.

Харитонова 2015 – Медицинская антропология: проблемы, методы, исследовательское поле. Сб. статей. Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; Ассоциация медицинских антропологов / Отв. ред. В.И. Харитонова. М.: ООО «Публисити», 2015. 333 с.

Харитонова, Копелиович 2012 – Харитонова В.И., Копелиович Г.Б. Этномедицинские практики народов Тувы и создание лекарственных препаратов и биологически активных добавок // Медицинская антропология и биоэтика. № 4. 2012. URL: www.medanthro.ru.

Харитонова, Ожиганова, Купряшина 2008 – Харитонова В.И., Ожиганова А.А., Купряшина Н.А. В поисках духовности и здоровья (новые религиозные движения, неошаманизм, городской шаманизм) / Исследования по прикладной и неотложной этнологии. Вып. 207. М.: ИЭА РАН, 2008. 47 с.

Харитонова, Свидерская, Мещерякова 2006 – Харитонова В.И., Свидерская Н.Е., Мещерякова Е.А. Шаманы и шаманизм в свете интердисциплинарных исследований / Полевые исследования ин-

ститута этнологии и антропологии РАН. М.: Наука, 2006. С. 128–149.

Хаснулин 2009 – Хаснулин В.И. Здоровье, северный тип метаболизма и потребность рыбы в рационах питания на севере // Проблемы сохранения здоровья в условиях Севера и Сибири: Труды по медицинской антропологии. Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН / Отв. ред. В.И. Харитонова. М.: ОАО «Типография “Новости”», 2009. С. 58–76.

Хаснулин, Бойко, Хаснулина 2005 – Хаснулин В.И., Бойко Е.Р., Хаснулина А.В. Основы традиционных рационов питания коренных жителей Севера // Медико-социальные проблемы коренных малочисленных народов Севера. Ханты-Мансийск, 2005. С. 265–267.

Хрисанфова 1990 – Хрисанфова Е.Н. Конституция и биохимическая индивидуальность человека. М.: Изд-во МГУ, 1990. 153 с.

Этноэкология – Веб-сайт Сектора этноэкологии Института этнологии и антропологии РАН. URL: www.ethnoecology.ru.

Ярская 2011 – Здоровье населения и национальные реформы: социально-антропологический анализ / Под ред. В.Н. Ярской. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2011. 175 с.

Ярская-Смирнова, Григорьева 2006 – Ярская-Смирнова Е., Григорьева О. «Мы – часть природы...» Социальная идентификация народных целителей // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. IX. № 1 (34). 2006. С. 151–170.

Ярская-Смирнова, Романов 2004 – Ярская-Смирнова Е.Р., Романов П.В. Социальная антропология. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 387 с.

Avksentyuk, Kurilovich, Duffy, Segal, Voevoda, Nikitin 1995 – Avksentyuk A.V., Kurilovich S.A., Duffy L.K., Segal B., Voevoda M.I., Nikitin Y.P. Alcohol Consumption and Flushing Response in Natives of Chukotka, Siberia // J. Stud. Alcohol. 1995. Vol. 56. No. 2. P. 194–201.

Kharitonova, Ukraintseva 2012 – Kharitonova V., Ukraintseva Yu. Destined for Shamanic Inspiration. An Integrative Study of Buryat (Neo) Shamans / D. Eigner et al. (eds.) Consciousness and Human Systems. Vol. 2. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2012. P. 109–130.

Komarova 1999 – Komarova G.A. History of Environmental Activism in Chelyabinsk / Critical Masses: Citizens, Nuclear Weapons Production and Environmental Destruction in the United States and Russia. Cambridge, 1999. P. 165–192.

Komarova 2001 – Komarova G.A. Musliumovo Syndrome: To Be Alive on the Dead River. Bulletin of the National Museum of Ethnology, 2001. Vol. 26. No. 2. Osaka.

Komarova 2015 – Komarova G.A. Ethnic and Confessional Aspects of the “Maiak” Accident. / Peoples, Identities and Regions. Spain, Russia and the Challenges of the Multi-Ethnic State / edited by Marina Martynova, David Peterson, Roman Ignatiev & Nerea Madariaga. Moscow: IEA RAS, 2015. P. 296–324.

McElroy 1996 – McElroy A. Medical Anthropology / Levinson D., Ember M. (Eds.) Encyclopedia of Cultural Anthropology. Henry Holt, New York, 1996. URL: www.univie.ac.at/ethnomedicine/PDF/Medical Anthropologie.pdf

Rivkin-Fish 2005 – Rivkin-Fish M. Women’s Health in Post-Soviet Russia: The Politics of Intervention. Bloomington: Indiana University Press, 2005.

Rivkin-Fish – Rivkin-Fish M. Pronatalism, Gender Politics, and the Renewal of Family Support in Russia: Toward a Feminist Anthropology of “Maternity Capital” // Slavic Review. Vol. 69. Iss. 3. P. 701–724.

Rusinova, Brown 2002 – Rusinova N. L. and Brown J. “Curing and Crippling: Biomedical and Alternative Healing in Post-Soviet Russia” The Annals of the American Academy of Political and Social Science Vol. 583. 2002. P. 160–172.

Е.С. Данилко

Визуальная антропология в России: анализ истории и терминов*

Определение терминов и методологического аппарата визуальной антропологии – проблема, постоянно дискутируемая даже среди тех, кто ею непосредственно занимается, независимо от продолжительности занятий и содержательности личного опыта. В российском же научно-гуманитарном пространстве, где само появление этого понятия, в сравнении с западной наукой, опоздало более чем на 20 лет, об обретении визуальной антропологией определенного статуса и более или менее четких границ говорить еще сложнее. Думаю, анализ сложившейся ситуации будет логично начать с краткого экскурса в историю.

Итак, впервые словосочетание «визуальная антропология» было использовано в научном издании известным американским антропологом и фотографом Джоном Кольером-младшим (Александров 2014: 127), хотя собственно изобретение термина традиционно приписывается Маргарет Мид, предложившей в середине 1960-х гг. заменить им распространившиеся в то время определение «невербальная антропология» (Пинк 2007: 68), применяемое для обозначения этнографических съемок.

Карл Хайдер, рассматривая историю этнографического кино, выделяет в ней несколько ключевых моментов. Первые эпизодические съемки различных экзотических ритуалов он назвал «зачатием» этнографического фильма, «рождение» которого произошло 11 июня 1922 г., когда в Нью-Йоркском театре на большом экране был показан легендарный фильм Роберта Флаэрти «Нанук с Севера» (Хайдер 2000: 30).

Флаэрти не был ни профессиональным этнографом, ни профессиональным кинематографистом, его фильм холодно встретили искусствоведы, упрекавшие автора в несоблюдении границ жанра, и впоследствии нещадно раскритиковали ученые за отступление от этнографической реальности и постановочные эпизоды. Но публика, которой не было дела до мнения ни тех, ни других, приняла фильм с восторженным интересом. Сам автор, отдавая отчет, что этот интерес был во многом обусловлен экзотичностью фактуры, объяснял его и непривычной манерой съемки. Он писал: «В большинстве фильмов-путешествий (travelogues) видно, что автор смотрит свысока, он всегда Большой Человек из Нью-Йорка или Лондона. Но я на самом деле был в полной зависимости от этих людей, один среди них в течение многих месяцев, я жил с ними, я путешествовал с ними. Они согревали мои отмороженные ноги, поджигали мою сигарету, когда я от холода не мог сделать это сам, они заботились обо мне во время моих трех или четырех экспедиций почти восемь лет. Моя работа была построена на взаимодействии с ними, я ничего не хотел делать без них. В конце концов, это был вопрос отношений между людьми» (Флаэрти 1980: 51). Именно это «вживание в культуру», постоянное взаимодействие с ней, а также первые попытки получения обратной связи (Флаэрти показывал отснятое своим героям) стали причиной того, что фильмы Флаэрти до сих пор считаются классикой визуальной антропологии. Если говорить о том периоде, то с ними по масштабности в определенной мере сопоставима, пожалуй, еще одна менее известная российской аудитории лента 1924 г. – «Трава»

* Статья подготовлена в рамках программы ПФИ РАН «Антропология и этнология в системе образования и воспитания»

Мериана Купера и Эрнеста Шоудсака (Хайдер 2000: 30–36).

Разумеется, предыстория визуальной антропологии не ограничивается вышеперечисленным (*см.*: Александров 2014). Окончательное же соединение двух таких различных направлений деятельности, как антропология и кино, хрестоматийно связывается с именами Маргарет Мид и Грегори Бейтсона. Результатом их совместного исследовательского проекта на Бали помимо монографии «Балийский характер» (1942), где «текст и фотографии использовались настолько уместно, что это остается единственной в своем роде работой», стал обширный киноархив, на материалах которого затем было смонтировано шесть фильмов (Хайдер 2000: 40). Следует отметить, что Мид и Бейтсон изначально не рассматривали камеру лишь как аппарат для получения визуальных иллюстраций собственных научных тезисов, а видели в ней, прежде всего уникальную возможность фиксации и отображения реальности, включая тот тончайший момент, «когда антрополог начинает понимать смысл регистрируемого события» (Мид 1988: 82).

После долгого перерыва, связанного с войной, развитие нового направления продолжилось в 1958 г. в Музее Пибоди при Гарвардском университете, где был создан Центр изучения кино под руководством Роберта Гарднера. В этот период появляются работы, ставшие классикой визуальной антропологии, – «Охотники» Джона Маршалла (1956–58), «Мертвые птицы» (1953) Роберта Гарднера, фильмы Тимоти Эша, Джея Руби и др. (Хайдер 2000: 43–53) Перечисленные фильмы, конечно, серьезно отличались друг от друга по разным критериям (информационная насыщенность, эстетическое решение, технические особенности и т. д.), но их объединяло главное – стремление авторов создать новый синтетический язык, позволяющий отображать явления действительности, не поддающиеся передаче традиционным вербальным языком. Гарднер писал о разных целях науки и искусства, огромный потенциал которых, по его мнению, может быть доступным только через личностное включение антрополога в процесс создания фильма: «Тот, кто хочет делать этнографические фильмы, имеет великолепную возможность полностью использовать соответствующие средства, если цель этнографии – глубокое понимание человеческого поведения, а цель фильма – выражение и коммуникация идей, основанных на реальном опыте» (Gardner 2010: 237).

В этот же период во Франции выходит в свет поистине революционный фильм Жана Руша и Эдгара Морена «Хроники одного лета» (1960), обосновавших принципы «*cinémavérité*» («киноправды») и во многом определивших эстетику кинематографа «новой волны». Авторы «Хроник» также делают акцент на реальном опыте, на «правде жизни» («киноправде») и говорят об особой манере видения, способной «разбить мембрану, которая отделяет нас друг от друга в метро, на улице, на лестничных площадках жилых домов» (*цит. по*: Къоцци 2008: 33). Паоло Къоцци считает, что введенное Рушем понятие «активной кинокамеры» не менее революционно, чем тезис «активного наблюдения» Малиновского. А Марк Пийо находит, что предложенный им (Рушем) принцип взаимности, связывающий наблюдателя и наблюдаемого, настолько сложен, что заставляет задуматься, не изобрел ли Руш заново всю антропологию (Къоцци 2008: 33–34).

Таким образом, авторы названных фильмов не только убедительно рассказывали о малоизвестных сторонах жизни различных народов, но предлагали зрителям и документалистам специфический путь вхождения человека с камерой в неведомые миры. Это был принципиально иной способ отображения реальности через выявление в ней внутренней эстетики и естественной драматургии, когда процесс съемки превра-

щался, по выражению Р. Ликока, в «поиск ощущения присутствия» (Ликок 2007).

Фильмы, созданные в такой «поисковой» манере, оказались сложными для восприятия неподготовленной аудитории и, за редким исключением, не востребованы телевизионной индустрией. В этой связи, самым эффективным путем популяризации нового явления стали фестивали, ориентированные не столько на «широкую публику», сколько на ученых-антропологов. В 1968 г. один из основателей и бывший президент Общества антропологической визуальной коммуникации (*Society for the Anthropology of Visual Communication*) Джей Руби организовал международную конференцию по визуальной антропологии, включающую и фестиваль, которые он проводил до 1980 г.

Затем фестиваль, определивший своей задачей использование фильмов как способа или инструмента познания многообразных культурных сообществ, состоялся в 1977 г. в Нью-Йорке. Он был приурочен к юбилею Маргарет Мид и с тех пор носит ее имя. Еще один фестиваль, названный в честь другого основателя антропологического кино Жана Руша, с 1982 г. проводится в Музее человека в Париже. С конца 1970-х гг. сложилась Северная ассоциация антропологического кино (NAFA), которая является, с одной стороны, координационным органом между музеями и университетами североевропейских стран в области визуальной антропологии, с другой, – организует ежегодные фестивали (также в разных странах). В настоящее время трудно назвать страну в мире (особенно в Европе), где бы ни проводились фестивали визуальной антропологии. Это и международный фестиваль-биеннале, организуемый Королевским антропологическим институтом в Великобритании и Ирландии (с 1985 г.), и Гёттингенский фестиваль (с 1993 г.), и фестиваль в Сардинии и т. д. С 1990-х гг. свои фестивали появились в странах бывшего социалистического лагеря: в Польше, Румынии, Венгрии, распавшейся Югославии (Сербия, Словения, Хорватия), Эстонии и т. д. Существует и координирующий орган фестивалей визуальной антропологии (CAFFE).

Разумеется, развитие визуальной антропологии не ограничивалось фестивалями. Еще в 1970-е гг. Дж. Руби и Р. Чэлфеном была предложены ключевые дефиниции новой дисциплины и основные сферы ее реализации, такие как исследование невербальных форм коммуникации, анализ визуальных продуктов (фильмов), а также использование визуальных посредников для презентации данных. Такой трехчастный подход, охватывающий деятельность антрополога от поля до демонстрации полученных результатов, не утратил актуальности и спустя много лет, о чем было сказано в предисловии к известному сборнику 1997 г. «Переосмысляя визуальную антропологию» (Пинк 2007: 69). Доминирующее положение в западной визуальной антропологии и тогда, и сейчас занимает собственно создание фильмов и, соответственно, разработка методологических подходов и теоретическое осмысление этого процесса. Следует отметить, что рефлексировались не только и не столько сама съемка и техника монтажа, но этика взаимоотношений между героями фильмов и режиссером, степень вовлеченности последнего в отображаемую культуру и его (камеры), посредническая роль между разными сообществами. Ж. Руш писал: «Как антрополог ты должен считаться с людьми, которых ты снимаешь. То есть, как только ты нажимаешь на кнопку, я – в твоем фильме, а на тебе – большая ответственность» (Грубер 2008: 326).

Помимо этого, к предметной сфере визуальной антропологии относят методы анализа и способы использования видео и фото в антропологических исследованиях, презентацию результатов, то есть различные прикладные аспекты визуального. Так, С. Пинк определяет визуальную антропологию как дисциплину, являющуюся одно-

временно «(аудио) визуальной исследовательской методологией, способом анализа визуальной культуры, путем репрезентации (аудио) визуального материала как элемента системы академической аргументации, а также прикладной практикой, которая может приводить к воздействию на социальную реальность» (Пинк 2007: 68).

Развитие такого широкого комплексного направления было естественным образом связано с развитием антропологической науки в целом. И как первые этнографические описания, выполненные в русле позитивизма, далеки от современных постмодернистских концепций, так и первые съемки экзотических племен далеки от фильмов, во многом повлиявших на эволюцию киноязыка в последние десятилетия. Тем не менее, истоки визуальной антропологии находятся в этнографическом кино. Поэтому начинать разговор о визуальной антропологии в России следует именно с этого.

Наиболее ранние съемки этнографического характера были сделаны в России еще операторами Огюста Люмьера, благодаря которым сохранились кадры праздничной процессии представителей населявших империю народов во время коронации Николая II. Множество этнографических сюжетов было снято хроникерами, преимущественно иностранных кинокомпаний. Среди них любопытный проект под названием «Живописная Россия», состоявший из 21 короткого фильма. А с 1911 по 1916 гг. этнографические съемки осуществлялись сотрудниками специального научного отдела при «Акционерном обществе А. А. Ханжонков и К°». Прежде всего, следует упомянуть Федора Карловича Бремера, который сделал не менее 20 фильмов, запечатлевших быт народов Камчатки, Чукотки, Прибайкалья, Калмыкии, побережья Ледовитого океана (Александров 2014: 129–131).

1920-е гг. – одна из важнейших вех в истории советского кинематографа, связанная с именем Дзиги Вертова и его группы «киноков». В контексте нашей темы остановлюсь лишь на одном из их масштабных проектов – создании фильма «Шестая часть мира» (1926 г.). Чтобы собрать для него материал, вертовские операторы отправились в самые отдаленные уголки страны, получив установку снимать культуру и быт российских народов как можно подробнее. В общей сложности они отсняли около 30 тысяч метров пленки. В фильм вошло – чуть более тысячи. Знаменитый вертовский экспрессивный монтаж и яркая символичность каждого кадра, впоследствии ставшие предметом подражания для кинематографистов всего мира, тогда вызвали острейшие дискуссии о степени «фактографичности» такой манеры. Операторы же, участвовавшие в проекте, были разочарованы тем, как Вертов использовал их съемочный материал, добытый с огромным трудом. Некоторые из них сумели смонтировать собственные фильмы уже в более повествовательной стилистике. Так, в 1926 г. появились работы С. Бендерского и Н. Юдина «Охота и оленеводство в области Коми», Я. Толчана «Бухара» и «Жизнь национальных меньшинств», в 1927 г. – П. Зотова «Тунгусы» (1927), позднее вышли фильмы Н.А. Лебедева «Ворота Кавказа» (1928) и «Страна Нахчо» (1929). Таким образом, творчество Вертова, как пишет Е.В. Александров, «в какой-то степени послужило катализатором формирования интереса к этнической тематике для других российских режиссеров» и в этом плане эффект воздействия его фильмов сравним с «Нануком» Р. Флаэрти (Александров 2014: 136).

Практически одновременно развивался другой документальный жанр, более простой и понятный публике – жанр фильмов-путешествий. Вышедшие на экраны в 1920–1930-е гг. «Великий перелет» В.А. Шнейдерова, «К берегам Тихого океана» М. Налётного, М. Каростина, «Камчатка» и «Вокруг Азии» Н. Константинова и многие другие, могут послужить хорошими источ-

никами для современных исследователей. Но собственно этнографическими фильмами можно назвать работы В.А. Ерофеева и А.А. Литвинова.

Первый фильм Владимир Алексеевича Ерофеева «За полярным кругом» вышел в 1927 г., он был смонтирован на основе съемок упомянутого выше Ф.К. Бремера. Итогом самостоятельных путешествий Ерофеева стали фильмы «Памир» («Крыша мира») (1928), «Афганистан» («Сердце Азии») (1929 г.), «Далеко в Азии» (1933 г.), «Персия» («Страна льва и солнца») (1935 г.). Это были основательные информационно насыщенные документации о жизни разных народов.

Классиком советского этнографического кино по праву считается Александр Аркадьевич Литвинов. На основе подготовленного совместно с известным исследователем Дальнего Востока В.К. Арсеньевым сценария в 1928 г. была организована киноэкспедиция, которая провела полгода в глухой тайге среди удэгейцев. Результатом стали два фильма – «По дебрям Уссурийского края» и «Лесные люди» («Удэ»). Посмотревший их Р. Флаэрти восторгался талантом режиссера, в котором увидел родственную душу (Александров 2014: 137–138).

1920-е – первую половину 1930-х гг. можно назвать временем расцвета российского этнографического кино, в последующие годы этот жанр постепенно прекратил свое существование. В послевоенные годы этнографическая тематика появлялась на экранах относительно редко в виде небольшого числа коротких научно-популярных фильмов. Единственным местом в стране, где последовательно снималось научное этнографическое кино, была лаборатория Института этнографии РАН, которую с 1972 по 1998 гг. возглавлял выпускник исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова А.В. Оськин. Вместе с коллегами он много ездил по стране с камерой и оставил нам уникальные свидетельства о культуре разных народов. Материалы А.В. Оськина легли в основу киноархива ИЭА РАН и способствовали созданию в структуре института Центра аудиовизуальной антропологии. Его нынешние сотрудники – активно снимающие антропологи и режиссеры (А. Вахрушев, Н. Плужников, Н. Хохлов) постоянно осуществляют интересные и разноплановые научные проекты.

Таким образом, еще в первые десятилетия советской власти сложилась своеобразная российская школа этнографического кино, включающая много ярких режиссерских имен. Однако процесс ее развития в условиях жесткого идеологического давления не отличался стабильностью и прекратился довольно рано. Практика использования съемки в ходе полевых исследований также не имела широкого распространения среди ученых. Поэтому органичного перерастания этнографического кино в визуальную антропологию, как это было в западной науке, к сожалению, не случилось.

Когда же произошла встреча российского научного сообщества с этим перспективным направлением? С небольшой оговоркой можно сказать, что в России тоже все началось с фестиваля. Хотя существует и точная дата, когда заветное словосочетание было впервые произнесено публично. Произошло это 26 мая 1987 г., когда в Союзе кинематографистов известный российский ученый Вячеслав Всеволодович Иванов и писатель, будущий президент Эстонии Леннарт Мери рассказали о популярном на Западе виде документальной съемки и объявили об открытии летом того же года первого на территории СССР фестиваля визуальной антропологии в г. Пярну в Эстонии. Фестиваль проводился по инициативе NAFA, а директором являлся режиссер Марк Соосаар. Позднее под впечатлением этого фестиваля у его российских участников Евгения Васильевича Александрова и Леонида Сергеевича Филимонова сформи-

ровалась идея организации подобного мероприятия в России (Александров 2007: 9).

Однако становление нового направления, находящегося на стыке кино и науки, в российском гуманитарном сообществе оказалось делом далеко непростым. На первых порах на историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова стал читаться спецкурс, построенный в основном на фильмах, привезенных с пярнусских, а позднее – с гёттингенских фестивалей. По мере расширения контактов с зарубежными коллегами архив пополнялся, впоследствии в него вошли фильмы, присланные уже на российские фестивали. Сейчас он насчитывает около тысячи единиц. Помимо собственно фильмов в него входят и уникальные видеоинтервью с классиками визуальной антропологии – Ж. Рушем, Д. Маршаллом, Д. Руби, Д. МакДугаллом, Г. Кильдеа и др., сделанные Е.В. Александровым во время международных фестивалей в Геттингене, Тарту, Хельсинки и др.

В настоящее время в связи с процессами реорганизации науки и образования деятельность Центра визуальной антропологии проходит в Музее землеведения МГУ. Начался новый этап, на котором помимо сохранения прежних направлений деятельности будет больше внимания уделяться проблемам внедрения визуальной антропологии в систему университетского образования.

Большую роль в становлении российской визуальной антропологии сыграл канадский исследователь и режиссер Асен Баликси. В 1991 году он провел выездную школу в поселке Казым Ханты-Мансийского округа для представителей местных северных народов – ханты, манси, ненцев, чукчей и др. Это была попытка развития, но уже на другом уровне, проекта, разработанного в свое время Солом Уортом и Джоном Адэром на примере индейцев навахо. Уорт и Адэр, отталкивались от идеи, что структура языка, отражающая мировоззрение его носителей, аналогична природе киноязыка, следовательно, фильмы, снятые навахо о самих себе, раскроют их собственное восприятие индейской культуры (Хайдер 2000: 58). Результаты проекта 1966 г. оказались дискуссионными, но сама идея съемки культуры изнутри и обучения представителей разных народов навыкам владения камерой привлекала и впоследствии использовалась разными исследователями, в частности, А. Баликси. Вдохновленные участием в казымской школе приглашенные участники Е.В. Александров и Л.С. Филимонов приняли решение организовать первый в России центр визуальной антропологии (Александров 2003: 6–7).

Такой центр, правда, под другим официальным названием «Лаборатория видеокомпьютерной технологии», был вскоре сформирован при факультете дополнительного образования МГУ им. М.В. Ломоносова. Здесь осуществлялась самая разнообразная деятельность: устраивались кинопоказы для слушателей спецкурса и всех интересующихся, формировался киноархив, готовились публикации, а самое главное, велись собственные съемки. Тематикой съемок была преимущественно жизнь старообрядческих сообществ в разных регионах России. Снимали сначала в сотрудничестве с археографической лабораторией МГУ, затем с исследователями из других научных и образовательных организаций. На сегодняшний день существует более 20 фильмов и огромное количество часов видеодокументаций, представляющих ценный этнографический источник (Александров 2011: 544–554).

Вокруг указанного центра и начал постепенно формироваться круг поклонников нарождающейся дисциплины. Студенты и аспиранты МГУ, вышедшие из этого круга, теперь уже стали известными учеными и авторами собственных фильмов, кроме того, они успешно используют видеосъемку в своей исследовательской практике. Н.В. Литвина, придерживаясь

визуально-антропологических принципов съемки, при создании фильмов совмещает функции и оператора, и режиссера, и антрополога (фильмы «Хозяйка Кулизеней», «Синий колодец», «Соседи» и др.). Е.А. Ягафова и Е.В. Попова успешно сотрудничают с региональными телекомпаниями. Так, Е.А. Ягафовой был сделан целый цикл фильмов о чувашской обрядности («Осеннее пиво», «Уяв» и др.), Е.В. Попова выступила автором нескольких телевизионных серий, отражающих культуру народов Урало-Поволжья («Баба Аня», «Свирель», «Гусиные помочи» и др.). О.Б. Христофорова является автором целого ряда теоретических статей по визуальной антропологии и разработала собственный спецкурс по этой дисциплине, который уже много лет ведет в РГГУ. В рамках различных мероприятий Центра, а позднее – фестивалей, – устраивались и показы архивного этнографического кино, которые стали возможны благодаря усилиям В.М. Магидова. Ему принадлежат множество статей на эту тему и фундаментальная монография, в которой особое внимание уделяется киноисточникам (Магидов 2005).

Особо следует отметить издательскую деятельность центра. В частности, в 2000 г. была переведена на русский язык и издана большим тиражом книга К. Хайдера «Этнографическое кино» (перевод М. Ахметовой, под ред. В.А. Тишкова), затем вышел ряд сборников, приуроченных к фестивалям, и наконец, пока единственная в России монография, посвященная теоретико-методологическим проблемам визуальной антропологии (Александров 2003).

Еще одним направлением работы стали летние школы, проведенные группой МГУ в Красноярске, Томске, Перми и в Башкирии (д. Венеция Дюртюлинского р-на). На последней я остановлюсь подробнее, так как сама была в числе ее организаторов. В школе 2003 г. приняли участие исследователи, музейные сотрудники, преподаватели, ориентированные на использование видеосъемки в своих полевых исследованиях. Работа школы включала теоретическую (знакомство с классикой визуальной антропологии, лекции и семинары) и практическую части (мастер-классы по видеосъемке и фотографии, уроки монтажа). Итогом двух творческих недель стали 10 коротких фильмов, сделанных самими участниками, фильмы были показаны на ярмарке социально-культурных проектов Поволжского округа и на башкирском телевидении (Александров, Данилко 2008: 129–136).

Но самым ярким событием для нарождающейся визуальной антропологии в России стали, конечно, фестивали. Первый Российский фестиваль антропологических фильмов (РФАФ) состоялся в 1998 г. в городе Салехарде. Президентом фестиваля был известный философ Олег Генисаретский, а организаторами выступили Центр визуальной антропологии МГУ имени М.В. Ломоносова, администрация Ямало-Ненецкого округа и Институт гуманитарного партнерства «Путь»[1]. С тех пор Салехардский фестиваль проходил с периодичностью один раз в два года, а с 2011 г. место его проведения было перенесено в Екатеринбург. Президентом фестиваля в настоящее время является А.В. Головнев.

Уже при обсуждении концепции фестиваля в Салехарде у организаторов возникли разногласия по поводу его названия и критерия отбора фильмов. Часть организаторов, представляющая Центр визуальной антропологии МГУ, стремилась ориентироваться на идеи и принципы визуальной антропологии. Другая, во главе с А.В. Головневым,

[1] См. официальный сайт фестиваля: http://rfaf.ru/rus/raff/27/108. На популярном сайте «Википедия» допущена ошибка: в числе организаторов-учредителей указаны администрация Ямало-Ненецкого округа и НП «Этнографическое бюро», которого в 1998 г. просто не существовало, https://ru.wikipedia.org/wiki/Российский_фестиваль_антропологических_фильмов.

предпочитала использовать более широкий и обтекаемый термин «антропологический фильм» или «киноантропология», что позволяло бы, с одной стороны, расширить фестивальную программу за счет любых документальных и игровых фильмов, телевизионных передач, связанных с этнической тематикой, с другой, – привлечь зрителя, ориентированного на привычные модели восприятия экранных произведений. Собственно, в этом направлении и происходит развитие РФАФ, в рамках которого предполагается «расширение спектра тем и стилей до «арта» и «триллера» и проведение конкурса игровых художественных фильмов» (Головнев 2011: 90). С третьего фестиваля пути организаторов расходятся, в Москве с 2002 г. появляется международный фестиваль визуальной антропологии «Камера-посредник», а V РФАФ окончательно обозначает «внежанровость», стирание границ между документальным и игровым кино как основной фестивальный вектор (Головнев 2007: 31). Программа последнего РФАФ (2015 г.), за небольшим исключением, состояла из фильмов научно-популярного телевизионного формата, сделанных на региональных российских студиях, а в жюри не было включено ни одного режиссера-документалиста.

Учредителями Московского фестиваля стали МГУ имени М.В. Ломоносова и Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. Практически сразу фестиваль вошел в Координационный европейский совет фестивалей визуальной антропологии (CAFFE). Если поначалу организаторы, стремясь привлечь внимание как можно более широкого круга специалистов и зрителей к возможностям визуальной антропологии, включали в программу документальные фильмы разных жанров, то к третьему мероприятию определилась концепция и название московского фестиваля – «камера-посредник». Таким образом, основной акцент был сделан на узловой проблеме визуальной антропологии – на позиции человека с камерой, которому представители одной культуры доверяют формирование своего образа, предъявляемого остальному миру (Александров, Данилко 2012: 76). Большинство современных фестивалей визуальной антропологии – либо неконкурсные, либо не предполагают серьезных финансовых вознаграждений победителям. На московском фестивале также конкурс организуется только для дебютантов, как правило, представляющих свои магистерские работы.

Как уже было сказано, визуальная антропология, прочно вошедшая в круг академических дисциплин в западной гуманитарной науке, в России до сих пор является новым, пока еще только развивающимся направлением. Исследователи, использующие камеру в полевых условиях, нуждаются в площадке для обсуждения волнующих их проблем, как теоретико-методологического характера, так и практических – по систематизации и хранению видеоматериалов, внедрению их в социокультурную практику. В связи с этим фестиваль «Камера-посредник» не ограничивается показом фильмов, а включает еще научно-практическую конференцию, разнообразные семинары и авторские мастер-классы специалистов из разных стран мира. Назову лишь некоторые примеры: мастер-класс П. Къоцци «Смотреть друг на друга» (Италия), Н. Крижнара «Импульс из Юго-Восточной Европы» (Словения), Б. Арнстена «От полевых исследований к этнографическому фильму и тексту: визуальная антропология в Университете Тромсё» (Норвегия) и т. д. Своеобразным итогом этой части работы фестиваля становились сборники статей (Аудиовизуальная антропология 2008; Камера-посредник 2010; Визуальная антропология 2012 и др.). К слову сказать, подобные семинары, инициированные группой московского университета, проводились в течение нескольких

лет в Институте природного и культурного наследия им. Д.С. Лихачева, а в программу Конгрессов этнографов и антропологов включалась секция по визуальной антропологии.

С 2009 г. часть соорганизаторов московского VI фестиваля, представляющих Российский институт культурологии и Институт природного и культурного наследия им. Д.С. Лихачева, организовали еще один фестиваль – «Дни этнографического кино». Сначала «Дни» представляли собой повторы программ других зарубежных фестивалей, названные организаторами «Эхо фестивалей», теперь там проходят показы как визуально-антропологических фильмов, так и различных произведений научно-популярного характера.

Наиболее важным моментом для определения концепции любого фестиваля служат, конечно, критерии отбора фильмов для основной программы. Итак, что же отличает визуально-антропологические фильмы от любых других экранных произведений? А. Горных, развивая тезисы К. Рассел, представляет визуальную антропологию как стратегию трансформации и деконструкции реалистического канона традиционного этнографического кино по основным параметрам: позиции видения, использования звука, техники съемки, монтажа, построения кадра и нарративной закрытости/открытости (Горных 2007: 43–47). Предложенная им линия разделения довольно точная, однако в российском контексте, где термин «визуальная антропология» приобретает «настолько широкое толкование, что возникает подозрение об отсутствии у него собственного предметного содержания» (Александров 2007: 10), возможно, будет правильнее попытаться отграничить не столько визуальную антропологию и традиционное этнографическое кино, сколько визуальную антропологию и кино (видео) продукцию этнографического содержания. Так получилось, что в России «мода» на термин «визуальная антропология» распространилась раньше его понимания, поэтому нередко приходится сталкиваться с тем, что даже в академическом сообществе к визуальной антропологии относят практически любые экранные произведения, содержащие этнографическую информацию, от полевых видеосъемок и музейных реконструкций до игрового кино.

Любая граница, как известно, условна, поэтому я не берусь создать точную классификацию, а лишь обозначу основные особенности визуально-антропологических фильмов, отталкиваясь от тезисов разных авторов. Следует начать с того, что документальное кино, телевидение, фотография относятся к таким видам искусства, в которых «возникает необходимость учитывать в качестве равноправного члена нравственного договора не только автора и зрителя, но и запечатленную действительность, персонифицированную в людях, оказавшихся перед объективом камеры» (Александров 2003: 27). Но далеко не всегда проблема этической ответственности перед героями является приоритетной для телевизионных режиссеров, ориентированных на выполнение социального заказа и привлечение широкой зрительской аудитории. Практически с первых съемок эта проблема обозначилась и перед визуальными антропологами, сразу же определив приоритет этики перед другими режиссерскими задачами и наметив, таким образом, главную отличительную особенность визуально-антропологического кино – бережный, этический подход к снимаемым сообществам.

Теперь относительно способа съемки. Визуальную антропологию отличает отсутствие разделения «на тех, кто по ту и по эту сторону камеры, на зрелище и наблюдателя» (Горных 2007: 45), когда герои фильма являются не только объектом, но и субъектом акта съемки, а сам снимающий не скрывает своей позиции, явно или опосредованно участвуя в отображении события.

Визуальные антропологи предпочитают синхронизировать звук и изображение, избегая голоса за кадром или контроля «из одной, неподвижной, вневременной, невидимой, абсолютно привилегированной точки зрения» (Горных 2007: 46). Максимально неподвижной и поставленной на штатив камере противопоставляется ручная камера со сложными траекториями движения. По выражению Роберта Гарднера, «камера на штативе не в состоянии исследовать мир» (Barbash 2007: 97). Это обусловлено, в первую очередь, ориентацией на спонтанные сюжеты, а не реконструкции, постановки, заранее заданный сценарий. Идеальной является ситуация, когда вся работа по созданию фильма выполняется одним человеком, без съемочной группы: «Таким образом (при наличии съемочной группы – *Е.Д.*) невозможно снимать материал о событиях, предсказать которые невозможно. В нашем случае необходимо постоянно принимать решения относительно того, где должна находиться камера, как она должна отражать происходящее. В такой ситуации режиссеру сложно своевременно передавать все эти решения оператору, так как за это время все уже может закончиться. Все это имеет непосредственное отношение к предмету съемок, который нельзя инсценировать, так как то, что снимается, носит спонтанный характер» (Александров 2008: 340)[1]. И, наконец, главное, что отличает подобную работу от документальных фильмов вообще, МакДугалл определяет как «способность рефлексировать на тему собственной культуры в сравнении с другой культурой». Эту мысль продолжает Гарри Кильдеа, называя визуальную антропологию, «еще одним способом познания мира, который открывает нам правду о том, что на самом деле мы не так уж сильно отличаемся друг от друга» (Александров 2008: 341). Обозначенная нацеленность на диалог культур лежит и в основе определения, предложенного основателем российской визуально-антропологической школы Е.В. Александровым: «комплексная (научная, творческая, организационная и информационно-технологическая) деятельность, направленная на получение и внедрение в социальную практику аудиовизуальной информации о малоизвестных сторонах жизни общества с целью осуществления диалога культур (Александров 2003: 16).

Нацеленность визуальной антропологии, прежде всего, на диалог культур, а не на массовую медиаиндустрию или популяризацию науки, вовсе не предполагает отсутствия образности экранного повествования и отказа от использования специфического киноязыка, отличного от языка научных текстов и других способов художественного отображения реальности. Не следует слишком спешить, закрепляя за визуальными антропологами ярлык «непрофессионалов» в киноискусстве. Ведь именно после появления фильма «Моана южных морей» «непрофессионала» Флаэрти «крепким профессионалом» Джоном Грирсоном был предложен и закрепился «профессиональный» термин «документальное кино» (ключевое слово «документ») (Грачева 2008).

Вернемся к российской ситуации, где, как было сказано выше, термин «визуальная антропология» трактуется чрезвычайно широко, а существование уже целых трех фестивалей, концептуально разных, но объединенных этнической тематикой, также не добавляет ясности. Кроме того, следует сказать, что термин «визуальная антропология» активно используется социологами, которые понимают под ним «визуальные репрезентации, дающие о себе знать в науке и массовой коммуникации, мире медиа и политики, мире искусства и власти» (Круткин и др. 2007: 8). То

[1] Здесь приведены слова Д. МакДугалла из интервью, сделанного Е.В. Александровым и опубликованного в одном из фестивальных сборников.

есть, из предметного поля визуальной антропологии ими исключается сам процесс создания фильмов – ключевой момент, ставший основой для возникновения этого направления в западной науке. Основным же предметом анализа являются главным образом фотографии, фотоальбомы, советские игровые фильмы и т. д. (Визуальная антропология 2007; Визуальная антропология 2009 и др.).

В 2007 г. журнал «Антропологический форум» предпринял попытку разобраться во всем этом визуально-антропологическом многообразии и пригласил к обсуждению исследователей, оперирующих в своей научной деятельности термином «визуальная антропология», но по-разному его понимающих. Получился интересный разговор, показавший, насколько зыбкими являются любые границы, тем более в период становления новой дисциплины, «поиска своего места под солнцем» на российском поле. В целом положение визуальной антропологии оценивалась участниками дискуссии несколько критически. Назывались разные причины: конкуренция с отечественной документалистикой, отсутствие понимающей аудитории, печальное состояние антропологического образования, разобщенность академического сообщества и т. д. (Бойцова 2007: 106–107). От себя я бы еще раз подчеркнула отсутствие образовательных программ и добавила неготовность антропологов увидеть в визуальной антропологии не просто видеоиллюстрацию своих научных тезисов или способ популяризации науки, а мощный инструмент познания, открывающий принципиально другие возможности, чем привычнее вербальные методы. Со времени описанной дискуссии ситуация изменилась мало, однако определенные шаги в этом направлении все же делаются. Проводятся фестивали, читаются спецкурсы для студентов, издаются книги и статьи. В одном из московских кинотеатров уже несколько лет существует кинолекторий фестиваля «Камера-посредник», где показы фильмов в сопровождении экспертного комментария чередуются с лекциями по визуальной антропологии. Подобный лекторий появился недавно и в г. Санкт-Петербурге. Поэтому хотелось бы завершить эту статью обнадеживающей цитатой из интервью с Робертом Гарднером: «Однажды включившись в подобную авантюру, немногие поворачивают назад. Потому что отсутствие или неадекватность поддержки режиссеров- антропологов наделяет их свободой. И это самая ценная награда для настоящего художника и настоящего ученого» (Gardner 2010: 240).

Библиография

Александров 2003 – Александров Е.В. Опыт рассмотрения теоретических и методологических проблем визуальной антропологии. М., 2003.

Александров 2007 – Александров Е.В. Вместо рецензии. В поисках предмета визуальной антропологии // АФ. 2007. № 7. С. 9–20.

Александров 2008 – Александров Е.В. Интервью с Гарри Кильдеа и Дэвидом МакДугаллом // Аудиовизуальная антропология: теория и практика (в рамках 4-го Московского международного фестиваля визуальной антропологии «Камера-посредник»). Сборник статей / Ред.: Е.В. Александров, Е.С. Данилко. М., 2008. С. 339–351.

Александров 2011– Александров Е.В. Визуально-антропологическая летопись старообрядчества // Судьба старообрядчества в XX – начале XXI вв.: история и современность. Сборник научных трудов и материалов. Вып. 5. Киев; Винница, 2011. С. 544–554.

Александров 2014 – Александров Е.В. Предыстория визуальной антропологии. Первая половина XX века // ЭО. 2014. № 4. С. 127–140.

Александров, Данилко 2008 – Александров Е.В., Данилко Е.С. Фрагмент видеоатласа традиционной культуры (проект создания в Приволжском округе сети региональных центров визуальной антропологии) // Аудиовизуальная антропология. Истории с продолжением. М., 2008. С. 129–136.

Александров, Данилко 2012 – Александров Е.В., Данилко Е.С. «Камера-посредник» и фестивальное движение // Актуальные проблемы истории и теории культуры: Сборник статей. Самара: ПГСГА, 2012. С. 74–80.

Аудиовизуальная антропология 2008 – Аудиовизуальная антропология: теория и практика (в рамках 4-го Московского международного фестиваля визуальной антропологии «Камера-посредник»). Сборник статей / Ред.: Е.В. Александров, Е.С. Данилко. М., 2008.

Бойцова 2007 – Бойцова О. От редколлегии // АФ. 2007. № 7. С. 105–108.

Визуальная антропология 2007 – Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность: Сб. науч. ст. / Под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова, В.Л. Круткина. Саратов, 2007.

Визуальная антропология 2009 – Визуальная антропология: режимы видимости при социализме / Под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова. М., 2009.

Визуальная антропология 2012 – Визуальная антропология: российское поле. Материалы конференции в рамках VI Московского международного фестиваля визуальной антропологии «Камера-посредник», 8–12 октября 2012 г. / Ред.: Е.В. Александров, Е.С. Данилко. М.: ИЭАРАН, 2012.

Головнев 2007 – Головнев А. О киноантропологии // АФ. 2007. № 7. С. 21–32.

Головнев 2011 – Головнев А.В. Антропология плюс кино // Культура и искусство. 2011. № 1(1) . С. 83–91.

Горных 2007 – Горных А. Визуальная антропология: видеть себя другим // АФ. 2007. № 7. С. 32–52.

Грачева 2008 – Грачева Е. Жизнь и кино Роберта Флаэрти // Сеанс. 2008. № 32 http://seance.ru/n/32/portret-flaerty/zhizn-ikino-roberta-flaerti/Дата обращения 19.07.2015.

Грубер 2008 – Грубер М. Будущее визуальной антропологии // Аудиовизуальная антропология: теория и практика (в рамках 4-го Московского международного фестиваля визуальной антропологии «Камера-посредник»). Сборник статей / Ред.: Е.В. Александров, Е.С. Данилко. М., 2008. С. 326–339.

Камера-посредник 2010 – Камера-посредник. V Московский международный фестиваль визуальной антропологии. Сборник статей / Ред.: Е.В. Александров, Е.С. Данилко. М., 2010.

Круткин и др. 2007 – Круткин В., Романов П., Ярская-Смирнова Е. Интеллектуальное поле визуальной антропологии // Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность: Сб. науч. ст. / Под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова, В.Л. Круткина. Саратов, 2007. С. 7–17.

Къоцци 2008 – Къоцци П. Смотреть… Смотреть друг на друга… Смотреть // Аудиовизуальная антропология: теория и практика. Международная научно-практическая конференция (в рамках 4-го Московского международного фестиваля визуальной антропологии «Камера-посредник»). Москва, 7–8 октября 2008 г.: Сборник статей. М., 2008. С. 31–41.

Ликок 2007 – Ликок Р. В поисках ощущения присутствия // Сеанс (блог), 16 февраля 2007. http://seance.ru/blog/v-poiskah-oschuscheniya-prisutstviya. Дата обращения 19.07.2015.

Магидов 2005 – Магидов В.М. Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания. М., 2005.

Мид 1988 – Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения. М., 1988.

Пинк 2007 – Пинк С. Визуальная антропология в XXI веке // АФ. 2007. № 7. С. 68–78.

Флаэрти 1980 – Флаэрти Р. Статьи. Свидетельства. Сценарии. М., 1980.

Хайдер 2000 – Хайдер, Карл. Этнографическое кино. М., 2000.

Barbash 2007 – Barbash, Ilisa. Out of Words: A Conversation with Robert Gardner // The Cinema of Robert Gardner / Edited by Ilisa Barbash and Lucien Taylor. Oxford; New York, 2007. P. 93–121.

Gardner 2010 – Gardner, Robert. Prospects and Goals in the Making of Ethnographic Films // Gardner, Robert. Just Representation. Cambridge, Massachusetts, 2010. P. 235–242.

П.В. Романов, Е.Р. Ярская-Смирнова

Мир профессий как поле антропологических исследований*

Термином «антропология профессий» мы обозначаем конкретный методологический подход к исследованию различных аспектов повседневной жизни профессий и профессиональных групп, понимаемых в как раз в таком широком смысле. Исследование этих аспектов в любом случае выходит на вопросы о том знании, которое формируется в ходе работы у разных участников группы, разделенных статусными позициями, но объединенных одним делом и общим миром повседневности. Этнография профессий в узком смысле понимается как метод сбора эмпирических данных и жанр описания культур (Романов 1996; Романов, Ярская-Смирнова 1998), а в широком смысле – это синоним антропологии, когда исследователь выходит на уровень обобщений и построение теории. Эти представления в антропологии профессий XX в. развивались в связи с эволюцией таких направлений социальной мысли, как социология профессий, индустриальная антропология, антропология труда (работы), организационная антропология (ведь деятельность большинства профессиональных групп тесно связана с организационным контекстом, она организована, т. е. подчинена неким правилам, имеет определенную структуру, даже если осуществляется вне стен какого-либо формального учреждения), исследования субкультур.

Осуществляя пристальное наблюдение и вмешательство в частную жизнь профессионалов и их организаций, «туземная наука» переплетается и взаимодействует с академическими, политическими и экономическими институтами, – то порождая социальные и культурные проекты управления, то вскрывая несправедливости и становясь на защиту угнетенных. В этой статье мы обсудим некоторые превратности и перспективы антропологии профессий как исследовательской стратегии. Хотя в основном речь пойдет о современной ситуации, мы будем обращаться и к истории XX века, вспоминая экспедиции ученых в приватно-публичные пространства видов занятий, труда и организаций.

«Только для персонала»: символика и прагматика

Есть мнение, что этнография и антропология профессий – это сугубо американское явление, которое возникло, дабы компенсировать якобы существующий дефицит материала для классической антропологии – отсутствие «корней» и «традиций» (*см.*: Мухлынин 2002: 42–43). Такая позиция представляет собой очевидное историографическое и методологическое заблуждение. Хорошо известно, что американская культурная антропология представляет классический пример изучения культуры коренных народов. А подход к изучению профессий «изнутри» был порожден совсем другими мотивами – применить этнографический метод в социологических и экономических исследованиях трудовых отношений в крупных промышленных организациях, образовательных учреждениях, медицинских и социальных сервисах и других организационно-профессиональных контекстах.

Свой вклад в формирование знаний о закрытой от посторонних глаз жизни профессий, корпораций и трудовых коллективов внесло изучение неформальной занятости.

---

* Республикация статьи производится с разрешения Е.Р. Ярской-Смирновой и редакции журнала «Этнографическое обозрение».

Благодаря новым открытиям пересматривались прежние гипотезы и выводы, чему способствовали как научные достижения, так и собственно изменение социальной ситуации в обществе. История американской антропологии труда, организаций и профессий отражает эпохальные трансформации, происходившие внутри и вне промышленности США за последние семь-восемь десятилетий (*см.*: Holzberg, Giovannini 1981). Изменения методологии и теории происходили и в других странах мира, где велись исследования труда, занятости и профессий с применением этнографических методов.

В течение XX века статус и взгляды североамериканских и западноевропейских антропологов менялись: от ведущих позиций в конструировании организационных и менеджерских теорий «капитализма благоденствия» в период с 1920-х по 1950-е гг. – к протестному полюсу – описанию тяжелого положения рабочего класса и критике менеджмента в 1960–1970-е гг., а затем с 1980-х гг. – вновь в центр внимания к новым теориям и методам, способным по достоинству оценить то скрытое знание, которым владеют работники. По именам ключевых авторов или названиям главных теорий эти периоды называют этапами Мэйо, неомарксизма и Нонака (см. об этом: Baba 1998).

Каждый из периодов характеризуется определенным типом взаимодействия между методологией, тематикой, методами и теоретическими представлениями об организациях, профессиях (видах занятий), работе и культуре. Постепенно менялись подходы к включенному наблюдению, объяснению природы профессий, занятости, организации и труда, осуществлялись определения и переопределения центральных понятий.

Человеческие отношения на производстве, 1920–1950-е

Индустриальная антропология этого периода была одержима желанием улучшить социальные условия, изучая и решая проблемы промышленности, а вовсе не повысить конкурентоспособность или прибыльность. Антропологи полагали, что их аналитические инструменты и концептуальный аппарат нужны для прогнозов и рекомендаций менеджерам, чтобы те могли трансформировать враждебное или протестное поведение рабочих в производительное сотрудничество. В этот период возникли различные специализированные консультативные агентства, в рамках которых антропологи взаимодействовали с компаниями и были хорошо интегрированы в корпоративные системы. У антропологов сложились разнообразные коллегиальные отношения с менеджментом и профсоюзами.

Отметим, что ввиду жесткости классических социологических определений под профессиями в этот период понимался беловоротничковый труд (*см. напр.*: Mills 1953), антропологов же, получавших рабочие места консультантов на предприятиях, интересовали не столько специфические дискурсы и практики той или иной группы, сколько отношения в процессе производства и управления (отсюда название того интеллектуального движения, в рамках которого формулировались основные результаты аналитической работы – «Школа человеческих отношений»; это движение объединило социологов, психологов и антропологов в стремлении использовать методы социальных наук на благо индустриальным отношениям). Исследования концентрировались на формальных и неформальных ролях, статусных иерархиях, неформальной организации, добровольных ассоциациях, кликах и приятельских кружках, взаимодействиях между менеджерами, профсоюзами и рабочими, на мотивации к повышению выработки и забастовочном поведении (Holzberg, Giovannini 1981).

Критика в адрес школы человеческих отношений вскрыла ряд существенных ограничений этого направления исследований.

Рамки исследования задавались менеджерами с их точки зрения на проблемы, существующие на цеховом уровне. Результаты аналитической работы были организованы способом, удобным для менеджеров, и так, чтобы предоставить им возможность более успешно управлять рабочими. Исследования на предприятиях не ставили под сомнение рациональность управленческих идей и действий менеджеров. Методы первых «этнографических» исследований промышленных организаций в значительной степени являлись калькой классической этнографии и унаследовали ее отличительные признаки: стремление к объективизму; империализм; монументализм (этнограф должен создавать музееподобную картину изучаемой культуры); внеисторизм (неизменность изучаемых феноменов) (Rosaldo 1989: 33). Антропологам и социологам тогда не удалось поставить под сомнение неравное распределение власти и ресурсов, которые находятся в основе идеализированной гармонии, которая якобы существует на фабрике в состоянии эквилибриума.

В то время теоретической основой социальной антропологии являлось функционалистское представление о природе социальных институтов. Социальное равновесие объявлялось единственно нормальным состоянием института. Любые процессы и явления, ведущие к нарушению равновесия в организации, объявлялись дисфункциональными и патологическими. Анализ более широких социальных, политических и экономических оснований процессов, протекающих в рамках отдельно взятого предприятия, здесь был проигнорирован. Столкнувшись с подобным кризисом в 1940-х годах, британская и американская школы социально-антропологических исследований эволюционировали в направлении углубленной рефлексии метода (в частности, включенного наблюдения), а также пересмотра функционалистских теоретических оснований.

Структуры и конфликты, 1960–1970-е

В период холодной войны получила развитие марксистская и неомарксистская критика индустриального производства в США (Kusterer 1978; Lamphere 1979). В этот период рабочие и менеджеры четко видели себя по разные стороны борьбы за экономическую прибыль. Цель антропологов и социологов, работающих в этой области, была не только вывить и подвергнуть критике менеджерские стратегии эксплуатации и контроля за работниками (*см., напр.*, Braverman 1974), но и показать, как работники использовали формальные и неформальные стратегии, чтобы отстоять себя, свои навыки и заработки. Появились этнографии международных корпораций, имеющих промышленные предприятия в разных уголках мира (Nash 1979). Функционирование таких предприятий рассматривается в контексте глобализации мировой экономики, а также влияния национальных бюрократий, международных организаций и фирм, незримо влияющих на экономику и политику определенного региона. Местные индустриальные условия, в соответствии с марксистскими взглядами этих авторов, следовало изучать в сочетании микроуровня исследования трудовой рутины и макроуровневого взгляда на динамику мировых систем.

Эта литература внесла вклад в понимание трудовых отношений в различных профессиональных и организационных средах, придав значимость знаниям и повседневным навыкам работников. Например, Кеннет Кэстирер проанализировал скрытое и неформальное знание неквалифицированных промышленных рабочих, их интеллектуальных ресурсов, обладающих существенной экономической ценностью (Kusterer 1978); Луис Лэмфире продемонстрировала значение неформальных ноу-хау в стратегиях выживания рабочих (Lamphere 1979).

Этнографические исследования работы и сообществ, объединенных тем или

иным видом занятости на заводах, шахтах, различного рода производствах, были ориентированы марксистской методологий. Предметом анализа в этих описаниях становятся конфликты и отчуждение, эксплуатация рабочих и их ответ на глубокую дифференциацию власти среди рядовых работников и менеджеров. Антропологические исследования работы подчеркивали важность этнографии и социальной истории для развития такого направления анализа, который рассматривал бы политические и идеологические аспекты жизни промышленных предприятий и, по известному определению Майкла Буравого, отделял «туман» управленческой рационализации и организационной теории от жизненной реальности. В этот период антропологи не имели консультационных контрактов на предприятиях, они были на стороне рабочих в их борьбе с капиталом.

Именно из-за этой дистанции от практиков и теоретиков управления, в виду их антименеджерских позиций, вклад антропологов остался во многом незамеченным формальной организационной теорией, которая в 1960–1970-е гг. развивалась на основе индустриального инжиниринга, экономики управления и индустриальной психологии, но вне связи с антропологией. Это хорошо видно в образовательных программах бизнес-школ, где информация о процессах труда и управления преподносится в формальных экономических и технологических аспектах, и не уделяется внимания тому, что происходит в действительности. И до недавнего времени антропология почти не имела никакого влияния на подготовку менеджеров (Baba 1998).

Символическое содержание профессиональных культур

В 1960-х годах в антропологии труда и профессий в число приоритетных вошли исследования культуры организаций и профессиональной деятельности. Яркими примерами таких проектов стала работа Говарда Беккера с соавторами «Мальчики в белом» (Becker et al. 1961) о студентах медицинского колледжа, Пэтти Адлер (Adler 1985) о жизненном стиле наркодельцов, Питера Блау (Blau 1953/1963) о государственных службах, Ирвина Гофмана «Приюты» (Goffman 1961) о пациентах и сотрудниках психиатрических учреждений.

Исследования организационной культуры напрямую связаны с антропологическим подходом к профессиям или сообществам, объединенным видом занятий. В 1971 г. Барри Тернер обратил внимание на существование «индустриальной субкультуры» – особой системы смыслов, разделяемых группой людей, работающих на промышленных предприятиях. Формы поведения персонала этих организаций отличаются от тех, которые свойственны более широкому обществу и, кроме того, существуют институты социализации новичков и социального контроля за индивидами, представляющими такую субкультуру. Исходным пунктом для глубокого проникновения исследователей в изучаемую культуру стало изучение тех способов, какими конструируется система смыслов, общих для членов группы, поддерживающих основы «индустриальной субкультуры». Как новый человек в профессиональном сообществе или в организации получает и закрепляет знание о данной культуре? Для этого существуют сложившиеся социальные механизмы, такие, как мифы, ритуалы, язык, символы и контроль.

В исследованиях профессий антропологи обращаются к такому приему, как интерпретация символического, включая объекты, поведение, фольклор. Так, рассказывание историй рассматривается как символическое поведение, поскольку рассказы представляют не только события сами по себе, но и репрезентации (представления) этих событий, создаваемые рассказчиками и ау-

диторией в процессе коммуникации (передачи информации и обратной связи) (Owen 1996). Кроме того, что представители профессиональной группы, члены организации рассказывают истории, они участвуют во многих других традиционных экспрессивных видах деятельности. Они используют жаргон, принятый в данной организации, метафоры, шутят, празднуют чей-нибудь день рождения или недавние достижения (Alvesson, Berg 1992). Они персонализируют свое рабочее пространство, расставляя и развешивая открытки, фотографии, репродукции, грамоты, вымпелы, объявления и надписи. Среди функций символического поведения – обучение новых членов группы, фрэйминг (обрамление, оформление) опыта и придание ему смысла, утверждение норм поведения, придание смысла сообществу, изменение сообщества или поддержание сплоченности, смягчение организационных противоречий, выражение эмоций и предоставление возможности сублимации, ухода в фантазию (Owen 1996: 13).

Традиции символической антропологии профессий продолжает российская исследовательница Татьяна Щепанская. Культура профессиональной группы – это система разделяемых членами группы общих смыслов, основанных на сходной или совместно осуществляемой деятельности, позволяющая им справляться с испытаниями внешней среды, соблюдая внутреннее единство. Чтобы отличить культуру профессиональной группы от более широкой ценностной системы, исследовательница использует понятие субкультуры, относя к ней «как знаковые (символы, атрибуты, фольклор), так и социально-поведенческие (формы общения, нормы, стереотипы поведения) аспекты этих традиций – т. е. социальных отношения и их культурные коды» (Щепанская 2003: 141).

Социальный антрополог, этот «профессиональный чужак», по выражению Майкла Эгара, должен обладать способностью заглянуть за эту очевидность. Он должен осознавать, что любая деятельность, технологический процесс, событие, факт следует рассматривать как результат и процесс социального конструирования. Индивиды в своей повседневной жизни создают специфическую социальную реальность, в процессе ее осмысления присваивая ей некоторые значения. Важным элементом профессиональной культуры выступает способность вырабатывать знания и умения, с помощью которых людям удается совладать как с монотонностью, так и с неопределенностью трудовых операций. Именно это становится предметом внимания антропологов на современном этапе.

Управление знанием, 1980-е – по настоящее время

В современной социальной науке о повседневности трудовой деятельности есть две ощутимо различные традиции обращения к человеческому опыту и управления им в организациях – менеджериалистская и герменевтическая. Менеджериализм стремится подчинить своему административному проекту всю деятельность организации сверху донизу, нормировать не только повседневную деятельность, но и образ мышления в своих собственных терминах. Первоначальная идея необходимости вчувствования и понимания индивидуальных особенностей работников приобрела формы борьбы менеджеров с неопределенностью (Nonaka, Takeuchi 1995), которая создается разными перспективами, множественными смыслами и сложно организованными жизненными мирами повседневных деятелей и профессиональных групп в организации. Направление исследований, определенное таким образом, отделяется от традиции социальной критики и напрямую апеллирует к задачам достижения эффективности. А этнографические исследования, с их индивидуализированными мето-

дами сбора эмпирических свидетельств и чувствительностью к уникальности жизненного опыта позволяют проникнуть найти способы усовершенствования управленческих технологий.

В свою очередь, герменевтическая традиция, сложившаяся на основе исследований И. Гофмана и М. Поланьи, обращается к стихийно развивающемуся человеческому опыту, который формируется в виде повседневного знания. Открытие такого знания продемонстрировало огромное пространство неопределенностей, в том числе, в профессиях и организациях, складывающееся автономно от административных регламентаций. В работах 1970–80-х годов на первый план стали выходить социокультурные подходы к развитию организационных систем. В своем исследовании «хогеров» (механиков, обслуживающих тепловозные двигатели) Ф. Гамст иллюстрирует эту традицию, которую, как полагает Хелен Шварцман, более точно следовало бы назвать этнографией видов занятости (*occupational ethnography*), основанной на «уорнеровском» подходе к этнографии современной жизни западного общества (Schwartzman 1993). Это этнография железной дороги с точки зрения рядового механика, содержащая детальное описание субкультуры и характера работы железнодорожных инженеров, формальных и неформальных кодов, которыми они пользуются в своей работе (Gamst 1980). Впрочем, Ф. Гамст делает этот анализ более общим, дополняя внутреннее описание организационной жизни исследованием развития железных дорог в Соединенных Штатах. Он рассматривает, как правительство регулирует процесс управления железными дорогами и как это влияет на деятельность работников.

В других этнографиях видов занятости, иллюстрирующих этот подход, Г. Эпплбаум исследовал культуру строительных рабочих, В. Пилчер изучал работу портовых грузчиков, Ван Маанен – работу полицейских (Applebaum 1984; Pilcher 1972; Van Maanen 1983). Журналистка Барбара Эренрейх (Ehrenreich 2001) проводила исследование работников с низкой зарплатой: в течение года работала горничной в отелях южных штатов, описав затем в своей книге, как можно выжить, зарабатывая пять долларов в час.

Джулиан Ор в книге «Разговор о машинах: этнография современной работы» (Orr 1990) представил портрет профессиональной культуры технического персонала корпорации Ксерокс и тем особенностям трудовых практик, которым обычно не придается внимания. В этом и других исследованиях базовых, т. е. происходящих на микроуровне, в повседневной жизни, процессов работы был сделан ряд важных открытий о том, что люди, занятые в разных сегментах производственного процесса, обладают ценным неформальным знанием, способным улучить этот процесс (или продукты, которые получаются в его результате) и сделать управление более эффективным. В результате таких публикаций повсеместно отмечается новый рост интереса к прикладной антропологии труда, профессий и организаций, в том числе к исследованию скрытого знания (*tacit knowledge*). Возникает направление *knowledge management* – управление скрытым знанием, которое может пониматься двояко. С одной стороны, менеджеры, получив доступ к этому корпоративному интеллектуальному ресурсу, могут «завернуть гайки», усилить контроль над производством у работников. С другой стороны, имплицитное знание можно превратить в эксплицитные формы с целью развития организации и улучшения производимых профессионалами продуктов, улучшения человеческого потенциала.

Прикладное значение антропологии профессий

Рост интереса в обществе к антропологии и этнографии довольно часто объяс-

нялся именно прагматическими мотивами, в контексте формирования прикладной антропологии (*см., напр.*: Малиновский 2004; Фирт 2001; Baba, Hill 1997); о тесной связи антропологии и управления свидетельствует вся история дисциплины (*см.* Клакхон 1998: 297; Романов, Ярская-Смирнова 2004).

Выбор темы и ракурс исследования антрополога может определяться, не в последнюю очередь и «социальным заказом», то есть актуальностью тех или иных проблем для общества, рынка или государства в текущей повестке дня. Использование этнографии для проникновения вовнутрь жизненных миров групп, организаций и субкультур придает методу двусмысленный статус. С одной стороны, представляется образ социальной науки, находящейся на службе менеджмента и предоставляющей более тонкие и изощренные механизмы принуждения. С другой стороны, антропологи, вторгаясь в закрытую сферу профессий и организаций, могут стимулировать критику в адрес аппарата управления.

Так, критический заряд, свойственный социальной науке 1960–1970-х годов, способствовал появлению работ, написанных в духе неомарксизма о промышленных предприятиях, бизнес-организациях. Предметом анализа в этих описаниях становились конфликты и отчуждение, эксплуатация рабочих, их реакция на сильную поляризацию власти в организации. Антропологи этого направления были дистанцированы от управленцев, и возможно из-за этого их вклад до сих пор остается незамеченным ни формальной организационной теорией, ни программами подготовки менеджеров (Baba 1998). Но стремление к получению полезных результатов среди марксистских авторов в этот период не ослабло, просто понималось иначе, чем прежде. Такие авторы, как Х. Сафа, М. Буравой, Х. Бейнон стремились в своих исследованиях не просто найти интересные, с точки зрения академических ожиданий, результаты, но и раскрыть свои интерпретации для прямого воздействия на ситуацию посредством диалога с акторами, главным образом – представителями профсоюзов (Safa 1974; Burawoy 2000; Beynon 1973).

Этнография располагает большим потенциалом влияния на публичные дебаты, принятие решений, политику, – делая структуры управления подотчетными, объединяя в диалоге ученых и других акторов – различных специалистов и групп общественности. Яркий пример тому – исследования американского этнографа Дианы Вон. Ее книга 1996 года (Vaughan 1996) основывалась на материалах интервью и архивных данных и представляла собой «насыщенное описание» того, какие смыслы имело случившееся для инженеров и менеджеров НАСА, когда они принимали решения о технической неполадке, повлекшей гибель космического корабля «Челленджер» (1986). Представленная в книге индуктивная обоснованная теория объясняла, почему НАСА продолжала полеты, несмотря на ухудшения, отмечаемые еще за пять лет до происшествия с «Челленджером», и в ситуации принятия ключевого решения о его последнем полете. Антропологическое исследование показало, как воспроизводились властные отношения, культура и структура, шаг за шагом приближая аварию. В 2003 произошла вторая трагедия – потерпел крушение космический корабль «Колумбия». Диана Вон была сразу же приглашена на работу экспертом в Совет по расследованию этой катастрофы (Vaughan 2005). Знания исследовательницы оказались чрезвычайно востребованными и специалистами, и средствами массовой информации, и общественностью.

В исследовании практик социального обслуживания бедных (Ярская-Смирнова, Романов 2004) метафора «запах бедности» вывела нас на повседневные теории, используемые для «подгонки» сложной ре-

альности человеческих отношений к жестким задачам классификации клиентов на достойных и недостойных. Категоризация людей на «достойных» или «недостойных» представляет яркий пример власти наименований, которая затушевывает нужды тех, кто оставлен без внимания, посредством простого акта маркирования их как «незаслуживающих» или «недостойных». Посредством наименования социальные работники нормализуют определенные типы поведения и маргинализуют других. Ввиду этого клиенты считают практиков не как источник помощи в ситуации нужды, но как преграду, которую им необходимо преодолеть, чтобы получить нужные им услуги (Dominelli 2004: 43–44).

Как видим, «этнографический» подход становится орудием социальной критики, позволяющем представить взгляд снизу вверх и переосмыслить управленческую рациональность с использованием прямой речи, текстов интервью и голосов представителей профессиональных групп и сообществ. Другие носят прикладной характер и направлены на развитие управленческих методов, третьи наполнены гуманистическим намерением авторов донести до общества тихие голоса закрытых маргинальных групп. Профессии, связанные с наукой и технологиями, тоже становятся полем антропологического исследования.

Посторонним вход разрешен: антропология науки

Современные этнографии, пользуясь своей микроскопической оптикой, проникают в мастерские и лаборатории наиболее статусных наук (как естественных, так и социальных), просвечивают и ставят диагноз усилиям по поиску и разработке научных знаний совершенно с новых, неожиданных перспектив. Этот важный шаг в развитии антропологии и этнографии был сделан в 1960-е годы, с появлением когнитивной антропологии, когда исследователи применили имеющиеся инструменты и теории к изучению не экзотических народов в культурно и географически удаленных зонах, а к сообществу ученых. Антропология и этнография тем самым перешли в русло культурной (само)критики.

Наряду с исследованиями естественной науки и техники появляются и работы по этнографии социальной науки (в том числе и той, что изучает естественные науки). Рефлексивный сдвиг социальных наук от анализа социальных структур общества в направлении анализа их собственных процессов, идеологий и практик означает поворот к этнографии социальных наук, в том числе, феноменологического направления. Как зарабатывают авторитет, деньги и престиж, как управляют своим имиджем ученые, как они становятся успешными и известными, находят работу, спонсоров?.. Какова политика подачи заявления на обучение по поствузовской программе, каковы стратегии соискателей и руководителей, каковы политики финансирования, откуда и как поступает информация, какова политика публикаций, что принимается и что отвергается научными журналами? Все эти условия усложняют продвижение молодых ученых в условиях интернационализации образовательных стандартов высших учебных заведений и внедрения системы оценки качества в университетское управление (Reichertz 2004), а особенно устойчивыми и принимаемыми по умолчанию являются те механизмы, которые отвечают за регулярное и систематическое исключение женщин из науки, особенно на высших ступенях карьеры в высших учебных заведениях (Beaufaÿs 2004).

Этнография ставит науку в ряд с другими профессиональными видами занятости, десакрализует, с одной стороны, а с другой – сама становится определенным практико-ориентированным индустриальным проектом, приоткрывающим завесу над ин-

струментами и технологиями, при помощи которых возможно продвижение и утверждение в академической среде, создает основу для своего рода карманных путеводителей для новичков, реалистичных и лишенных ложной романтики, принимаемой по умолчанию в отношении к этой среде.

От социологии труда к антропологии профессий: российский контекст

Советские исследования труда во многом формировали свое предметное поле и методический инструментарий по образцу, заданному государственной идеологией. В советской социологии труда исследования трудовых отношений на крупных промышленных предприятиях являлись основными и исключали какие-либо другие (в научной лаборатории, магазине, маленькой ремонтной мастерской или в ресторане), а процедуры и техники получения эмпирической информации основывались на количественной методологии. Выборочные исследования, исключая из анализа так называемые маргинальные практики, поддерживали веру в единую и «правильную» рациональность советских людей, носителей разума, власти и технократизма. Предметом исследований здесь выступали социальные общности – трудовые коллективы, рабочий класс. Методологическим основанием теории трудовых отношений стала нормативная модель коллективного производства, исключающая возможность различных интересов и конфликтов между социальными группами внутри предприятия.

Здесь можно вспомнить единичные попытки использовать этнографические методы в советской социологии труда. Их использование обычно обосновывалось решением задач апробации, пилотирования анкеты. Хорошо известна работа В.Б. Ольшанского, который в течение нескольких месяцев собирал материалы для социологического исследования, работая сборщиком электроаппаратуры на заводе (Ольшанский 1995). В этом исследовании перед социологом предстали неформальная социальная организация на уровне цеха, социальные конфликты, противоречия в социальной структуре предприятия. Однако в исследовательскую программу не входил детальный анализ этих социальных феноменов, и они оказались вне академической и публичной дискуссии. В случае с А.Н. Алексеевым, работавшим в типографии и проводившим включенное наблюдение, длительное участвующее исследование ленинградского социолога было объявлено политически неправильным, и ученый подвергся остракизму (Алексеев 1997).

В 1990-е годы в отечественных исследованиях шире стали применяться качественные методы, в том числе этнографические. Исследование М. Ильиной посвящено изучению специфической профессиональной группы – кондукторов общественного транспорта (Ильина, 1996). Автор показывает, как падение уровня производства на промышленных предприятиях, ухудшение условий оплаты труда, в том числе длительные задержки заработной платы, привели к тому, что на рынке труда оказалось значительное число работников с высоким уровнем образования, готовых на снижение своего социального статуса. С. Алашеев рассматривает неформальные отношения как культурный феномен в аспекте изучения трудовых отношений «советского» типа (Алашеев 1995). Его детальное этнографическое исследование позволило выделить особую роль института неформальных отношений и их специфику для нерыночной экономики. Уникальный опыт полного включенного наблюдения положен в основу этнографии частного коммерческого предприятия с точки зрения секретаря (Киблицкая 1997). Исследователь помещает себя в контекст жизни одной частной компании, сочетая точку зрения аналитика,

внешнего по отношению к происходящим событиям, но также их включенного, эмоционального участника.

Анализируя множество различных профессиональных традиций, Т.Б. Щепанская пришла к выводу о некоторых общих для них элементах – стереотипах поведения, знаковых системах, мотивах неформального дискурса и структуры межличностных взаимодействий (Щепанская 2003: 143). С точки зрения их социальной прагматики, эти элементы выступают в качестве средства конструирования статуса профессионала, при этом весь комплекс профессиональных традиций распадается на две группы: отношения «*профессионал ↔ объект деятельности*» и «*профессионал ↔ сообщество*» (Щепанская 2003: 143). Субкультуры групп, занимающих подчиненное положение в системе социальных институтов, характеризуются, по мнению исследовательницы, логикой исключенности и моделями «ухода», противопоставления себя власти. Профессиональные же субкультуры не вписываются в эти модели из-за принципиально иной позиции по отношению к власти, поскольку профессионалы воплощают силу доминирующих социальных институтов и потому конструируют сферу своей деятельности символическим разделением ее субъекта и объекта, обозначением дистанции, разделяющей профи и клиента (Щепанская 2003: 144–158).

Соглашаясь с этими методологически верными замечаниями, отметим, что исследователю профессиональных субкультур стоит учитывать историческую специфику изучаемого момента. К протестному поведению, казалось бы несвойственному тем, кто обладает высоким статусом и получает удовлетворительное материальное вознаграждение, все же прибегают представители классических профессий. Они нередко противопоставляют себя властям, отстаивая групповые или более общие человеческие идеалы. Протестный потенциал иных трудовых сообществ – промышленных рабочих, служащих – достаточно хорошо известен из мировой истории. В социальных службах Австралии и Великобритании, например, акцент делается на антидискриминационной модели обслуживания, и в связи с этим фольклор и традиции этих социальных работников в ряде аспектов отличаются от народной мудрости их российских коллег.

Отечественные этнографы и социальные антропологи, социологи, обнаруживают неявные правила, фоновые знания, повседневные ритуальные практики, способы рефлексии и самоидентификации различных профессиональных групп: журналистов, медиков и учителей, художников, геологов, актеров, магов и целителей, программистов, социальных педагогов и социальных работников, военных (*см.* статьи Сосновской, Щепанской, Магидович, Федосеенко, Зайцевой, Шумова и др. в сб. Антропология профессий; Профессии.doc, Современный городской фольклор, 2007; Фольклор малых социальных групп, 2008, выпусках Журнала социологии и социальной антропологии). Некоторые из этих исследований выполнены в русле критического анализа, хотя по большей части фокусируются на фольклоре и семиотике, символических аспектах жизненного мира, констатируют наличие или отсутствие каких-либо типологических признаков устной традиции, избегая обсуждать те дискурсивные практики, которые обрамляют социальное исключение, классовые противоречия, институциальные конфликты и отчуждение в самых различных его формах.

И хотя среди социологов-«качественников» интерес к обсуждаемой проблеме сегодня намного выше, чем среди представителей отечественной этнографии и фольклористики, мы полагаем, что в среде этнографов внимание к изучению современного общества растет, расширяется и сообщество социальных антропологов, пе-

реходящих от описательных этнографий к концептуальному анализу тех социальных сдвигов, которые происходят в России в наши дни.

Профессиональная антропология и рынок

Этнография и антропология рынка, торговли, экономическая антропология завоевывают свою популярность в мире бизнеса и науки (*см., например*: Browne 1973; Шрадер 1999; Ильина, Ильин 2001). Например, американский антрополог Митчелл Аболафия провел этнографические исследования фондовой биржи, рынков облигаций и фьючерсных рынков на Уолл-стрит и опубликовал в 1989 году книгу «Рынки как культуры» (Abolafia 1989; русский перевод см.: Аболафия 2003). Он выяснил, что на рынках не просто продаются и покупаются товары и услуги. Здесь устанавливаются и переформулируются правила, выполняются и переписываются роли, формируются локальные рациональности и идентичности, власть и статусные иерархии. Профессиональная культура рыночных акторов рассматривается как фактор эффективности их профессиональной деятельности, а они сами – как активные агенты, интерпретирующие и создающие эту культуру (Sjoberg 2004), собственные идентичности, образы себя и собственной работы.

Помимо чисто научного стремления понять жизненный мир рыночных агентов, бизнес прибегает к этнографическому методу в целях контроля качества обслуживания и изучения спроса. Сегодня уже не редкость проведение оценки «таинственными покупателями» (*mystery shoppers*), которых подряжают фирмы, чтобы проверить качество работы своих служащих. Такая практика рассматривается сегодня в качестве серьезной альтернативы сложившимся формам контроля над персоналом и управления качеством (van der Wiele, Hesselink, van Iwaarden 2005; Morrison, Colman, Preston 1997). Специально нанятые потребители становятся исследователями, испытывая на себе качество обслуживания. Включенное наблюдение «под прикрытием» позволяет менеджерам проконтролировать своих подчиненных, работающих за прилавком магазина, консультантами в гипермаркетах, заправщиками на бензоколонках.

Как и любая другая область занятости, антропология как профессия предоставляет исследователю способ зарабатывать себе репутацию и средства на жизнь. К началу 1970-х годов академический рынок труда развитых стран уже не справлялся с наймом большого количества ученых и преподавателей, получавших степень по антропологии, а вот правительства, наоборот, нуждались в прикладных антропологических знаниях для развития и оценки эффективности как своих национальных программ, так и проектов технической помощи развивающимся странам. В этих условиях сектор академической занятости продолжал сжиматься, а потребность в исследованиях политики, практики, а также рынка увеличивалась. Все больше молодых специалистов находили для себя новые области применения своей квалификации в управлении культурными ресурсами (Macmillan Dictionary of Anthropology 1986: 12–13; Applied Anthropology 1997: 21), на предприятиях и в организациях – в промышленности, социальной сфере, торговле.

И сегодня этнография, оставаясь авторитетной отраслью академического знания, расширяет свои прикладные возможности. Американская компания «Этнография для понимания и улучшения организаций, товаров и услуг в международном масштабе» представляет собой пример успешного исследовательского бизнеса. Исследования проводятся в духе «один день из жизни…», в домах и квартирах, у ветеринаров и инженеров, в автомобилях и в операционных, в офисах и грязных подвалах… (*см.*:

Ethnography… 2007). Этнография приобретает популярность в качестве инструмента маркетинга (Mariampolski 2006), новой важнейшей компетенции на рынке сбыта товаров и услуг.

Однако, если академические антропологи, как правило, применяют долговременное участвующее наблюдение и фокусируются на какой-либо локальности или организации, то этнографы, работающие в маркетинговых проектах по заказу крупных корпораций, должны за короткий срок собрать и проанализировать огромный объем информации, нередко в глобальном масштабе. При этом привлечение антропологов/этнографов на работу в маркетинговые проекты обосновывается как в терминах неизвестных продавцам культурных кодов покупателей, так и «неискренностью и неадекватностью» информантов из числа потребителей. Антрополог же, подобно психологу или психиатру, может-де извлечь истинную информацию из его подсознания, подметив какие-либо естественные реакции, когда человек даже не догадывается, что за ним наблюдают. Профессиональная идентичность антрополога здесь разворачивается навстречу запросам фирм, их маркетологов и рекламистов, стремящимся найти более адекватные, узнаваемые потребителями культурные коды для повышения продаж и прибыли компании.

Заключение

Современная антропология профессий развивается в направлениях феноменологии и социальной критики, опираясь на полевые этнографии и социокультурный анализ символических форм повседневности профессиональных групп и сообществ, изучает феномены в исторически и географически выверенном контексте, подвергая пересмотру сложившиеся уклады властных отношений.

Символические и поведенческие элементы профессиональных субкультур выявляются при помощи участвующего наблюдения, предполагающего естественные способы коммуникации с информантами или проведение специально организованных интервью. Исследователи пытаются распознать и понять смысл тех неформальных отношений и культурных практик, что скрыты от посторонних. Повседневная трудовая деятельность, регламентированная комплексом правил и инструкций, содержит массу неопределенных ситуаций, требующих принятия решения, подчас в обход существующих правил. На основе этого опыта возникает житейская мудрость, которая облекается в форму традиций, обычаев, фольклорных жанров и позволяет людям воспроизводить свою трудовую или профессиональную культуру, передавая ее вновь прибывающим в группу неофитам. Эти разнообразные сюжеты повседневной жизни профессий и профессиональных сообществ и становятся предметом интереса антропологов, которые стремятся получить доступ к изучаемым феноменам, растворенным в дымке рутинных забот, незаметным подчас и самим инсайдерам.

Этнография, требующая от исследователя сближения с полем, сталкивает нас с методологическими и этическими проблемами. Став своим, трудно и неприлично критиковать то, что делают и как рассуждают твои сотрудники. Будучи чужим, останешься при своих предубеждениях «туриста», знающего лишь то, что положено знать. Иногда даже нельзя с точностью сказать заранее, что именно ищет антрополог в профессиональной культуре, поскольку приближаться к исследуемой среде с готовой теоретической схемой чревато риском «ускользающего феномена». Так в традиции качественных исследований называют несоответствие между поставленной ученым целью найти запланированное заранее явление и его отсутствием в изучаемой культуре. Вряд ли можно считать антропологическое исследование полным и достоверным жизнеописани-

ем какой-либо профессиональной группы. Скорее, это лишь одна из возможностей приоткрыть этот мир посредством сближения, участия и интерпретации.

Чем ценны сегодня социально-антропологические исследования профессий? Во-первых, можно осуществить новую реконструкции социальных отношений, представив профессии и профессионалов в качестве социальных агентов с близкими, но далеко не всегда предсказуемыми целями и ценностями. Даже в западном обществе, с его более стабильными социальными институтами и множеством вертикальных и горизонтальных структур, социальный статус человека и его предпочтения находятся в тесной связи с такими малозначительными, казалось бы, «косвенными» характеристиками, как место проведения отпуска, профессии ближайших друзей, прочитанные книги, журналы… Иными словами, профессиональный статус и категории не всегда поддаются четкой дефиниции.

Во-вторых, такие исследования вносят важный вклад в социологию знания, позволяющая рассмотреть институциальную организацию, в том числе, и самой социальной науки, которая теперь занимается не только собственно «социальным», но изучает дискурсы техники, естествознания и медицины. А технологии, используемые в быту и на производстве, не просто «отражают» общество, но в значительной степени представляют собой то самое вещество, из которого складывается «социальность». То, что считается «знанием», зависит от социального контекста, поэтому исследователи, развивающие социологию знания, сами с неизбежностью оказываются под влиянием социальных детерминант, а следовательно – идеологии. «Взгляды изнутри» переплетаются в исследованиях профессий с «наружной» перспективой, да и внутренние контексты профессий, работы и организаций показаны нередко расколотыми противоречащими друг другу режимами оправдания.

Библиография

Аболафия 2003 – Аболафия М. Рынки как культуры: этнографический подход / Пер. с англ. М.С. Добряковой // Экономическая социология. 2003. Т. 4. № 2. С. 63–72. http://ecsoc.msses.ru/Cont.php?tom=4&number=2.

Алашеев 1995 – Алашеев С. Неформальные отношения в процессе производства: взгляд изнутри // Социологические исследования. 1995. № 2. С. 12–19.

Антропология профессий 2005 – Антропология профессий / Под ред. П.В. Романова, Е.Р. Ярской-Смирновой. Саратов: Научная книга; Центр социальной политики и гендерных исследований, 2005.

Ильина, Ильин 2001 – Ильина М.А., Ильин В.И. Российский базар: Социальная организация и маркетинг. Сыктывкар: Сыктывкарский ун-т, 2001.

Ильина 1999 – Ильина М.А. Частный извоз в провинциальном городе: самоорганизация социальной группы // Рубеж. 1999. № 13–14. С. 201–218.

Киблицкая 1997 – Киблицкая М. Русский частный бизнес: взгляд изнутри // Рубеж. 1997. № 10–11. С. 210–222.

Малиновский 2004 – Малиновский Б. Динамика культурных изменений. Исследования расовых отношений в Африке // Малиновский Б. Избранное: динамика культуры. М.: РОССПЭН, 2004.

Мухлынин 2002 – Мухлынин М.А. «Иначе все рухнет окончательно… » Беседа с Налепиным А.Л. // Вестник российского фольклорного союза. 2002. № 1. С. 42–43.

Профессии.doc 2007 – Профессии.doc. Социальные трансформации профессионализма: взгляды снаружи, взгляды изнутри / Под ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2007.

Романов 1996 – Романов П.В. Процедуры, стратегии, подходы «социальной этнографии» // Социологический журнал. 1996. № 3/4. С. 138–149.

Романов, Ярская-Смирнова 2004 – Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Политическая роль прикладной антропологии: управление и развитие в международных отношениях // Политические исследования. 2004. № 6.

Романов, Ярская-Смирнова 1998 – Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Этнографическое воображение в социологии // ЭО. № 2. 2000. С. 18–26.

Современный… 2007 – Современный городской фольклор / Под ред. С. Неклюдова. М: РГГУ, 2007.

Фирт 2001 – Фирт Р. Значение социальной антропологии // Личность. Культура. Общество. Т. 3. 2001. Вып. 1.

Фольклор… 2008 – Фольклор малых социальных групп: традиции и современность / Сост. А.С. Каргин и А.В. Костина. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2008.

Щепанская 2003 – Щепанская Т.Б. Антропология профессий // Журнал социологии и социальной антропологии. 2003. Т. VI. № 1. С. 139–161.

Ярская-Смирнова, Романов 2004 – Ярская-Смирнова Е.Р., Романов П.В. Социальная защищенность городской монородительской семьи // Мир России. Т. XIII. № 2. 2004. С. 66–95.

Abolafia 1989 – Abolafia M.Y. Markets as Cultures: An Ethnographic Approach // The Laws of the Markets / M. Callon (Ed.). Oxford: Blackwell, 1989. P. 69–85.

Adler 1985 – Adler P.A. Wheeling and Dealing. NY: Columbia University Press, 1985.

Alvesson, Berg 1992 – Alvesson M., Berg P. Corporate Culture and Organizational Symbolism: Development, Theoretical Perspectives, Practice and Current Debate. Hawthorne, NY: Wolter de Gruyter, 1992.

Applebaum 1981 – Applebaum H.A. Royal Blue: the Culture of Construction Workers. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1981.

Baba 1998 – Baba M.L. The Anthropology of Work in the Fortune 1000: A Critical Retrospective: History of Workplace Anthropology: A paper prepared for the Anthropology of Work Review 1998 // http://www.practicalgatherings.com/workplace_anthro/history.html.

Baba, Hill 1997 – Baba M.L., Hill C.E. (Eds.) The Global Practice of Anthropology. Williamsburg, VA: Studies in Third World Societies, 1997.

Beaufaÿs 2004 – Beaufaÿs S. Doing Science – Doing Gender. The Making and the Unmaking of Scientists // Forum: Qualitative Social Research. 2004. Vol. 5. No. 2. Доступно по адресу: http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/2-04/2-04beaufays-e.htm.

Becker, Geer, Hughes, Strauss 1961 – Becker H., Geer B., Hughes E., Strauss A. Boys in White. Chicago: University of Chicago Press, 1961.

Beynon 1973 – Beynon H. Working for Ford. London: Allen Lane, Penguin Education, 1973.

Blau 1953/1963 – Blau P. The Dynamics of Bureaucracy: A Study of Interpersonal Relations in Two Government Agencies, University of Chicago Press, 1953/1963.

Braverman 1974 – Braverman H. Labor and Monopoly Capital. NY: Monthly Review Press, 1974.

Browne 1973 – Browne J. The Used Car Games. A Sociology of the Bargain. Lexington, Mass: D.C. Heath, 1973.

Burawoy 2000 – Burawoy M. et al. Global Ethnography: Forces, Connections and Imaginations in a Postmodern World. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2000.

Burawoy 1979 – Burawoy M. The Anthropology of Industrial Work. Annual Review of Anthropology. no. 8. 1979. P. 231–66.

Dominelli 2004 – Dominelli L. Social Work. Theory and Practice for a Changing Profession. Cambridge: Polity Press, 2004.

Ehrenreich 2001 – Ehrenreich B. Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in America. NY: Henry Holt and Company, Metropolitan Books, 2001.

Ethnography… 2007 – Ethnography for Understanding and Improving Organizations, Products and Services, Worldwide. 2007. Доступно по адресу: http://www.ethnographic-research.com/.

Gamst 1980 – Gamst F. The Hoghead: An Industrial Ethnology of the Locomotive Engineer. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980.

Goffman 1961 – Goffman E. Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. Garden City, NY: Anchor Books, Doubleday, 1961.

Holzberg 1981 – Holzberg C., Giovannini M. Anthropology and Industry: Reappraisal and New Directions // Annual Review of Anthropology 1981. No. 10. P. 317–360.

Kusterer 1978 – Kusterer K.C. Know-How on the Job: The Important Working Knowledge of Unskilled Workers. Boulder, CO: Westview Press, 1978.

Lamphere 1979 – Lamphere L. Fighting the Piece Rate System: New Dimensions of an Old Struggle in the Apparel Industry // Case Studies on the Labor Process. A. Zimbalist (ed.) NY: Monthly Review Press, 1979. P. 257–276.

Mariampolski 2006 – Mariampolski H. Ethnography for Marketers; a Guide to Consumer Immersion. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2006.

Morrison, Colman, Preston 1997 – Morrison L., Colman A., Preston C. Mystery Customer Search: Cognitive Processes Affecting Accuracy // Journal of the Market Research Society. 1997. Vol. 39(2). P. 349–361.

Nash 1979 – Nash J. The Anthropology of the Multinational Corporation // The Politics of Anthropology: From Colonialism and Sexism Toward a View from Below. G. Huizer and B. Mannheim (eds.). Paris: Mouton, 1979. P. 421–446.

Nonaka, Takeuchi 1995 – Nonaka I., Takeuchi H. The Knowledge Creating Company: How Japanese

Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, 1995.

Orr 1990 – Orr J. Sharing Knowledge, Celebrating Identity: War Stories and Community Memory Among Service Technicians // Collective Remembering: Memory in Society. D.S. Middleton and D. Edward (eds.) London: Sage Publications, 1990.

Owen 1996 – Owen M.J. Studying Organizational Symbolism. Qualitative Research Methods Series. London: Sage, 1996.

Pilcher 1972 – Pilcher W.W. The Portland Longshoreman. NY: Holt, Rinehart & Winston, 1972.

Polanyi 1966 – Polanyi M. The Tacit Dimension. London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1966.

Reichertz 2004 – Reichertz J. To the Top. Micropolitics of Career Planning of Social Scientists // Forum: Qualitative Social Research. 2004. Vol. 5. #2. Доступно по адресу: http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/2-04/2-04reichertz-e.htm.

Rosaldo 1989 – Rosaldo R. Culture & Truth: The Remaking of Social Analysis. Boston: Beacon, 1989.

Safa 1974 – Safa H.I. The Urban Poor of Puerto Rico: A Study in Development and Inequality (Case Studies in Cultural Anthropology). NY: Holt Rinehart & Winston, 1974.

Schwartzman 1993 – Schwartzman H.B. Ethnography in Organizations. Newbury Park, London, New Delhi: Sage, 1993.

Van Maanen 1983 – Van Maanen J. Observations on the Making of Policemen // Human Organisation. 1983. No. 32. P. 407–418.

Vaughan 2005 – Vaughan D. On the Relevance of Ethnography for the Production of Public Sociology and Policy // The British Journal of Sociology. No. 56(3). 2005. P. 411–416.

Vaughan 1996 –Vaughan D. The Challenger Launch Decision: Risky Technology, Culture, and Deviance at NASA, Chicago: University of Chicago Press,1996.

Г.А. Комарова

Антропология академической жизни: опыт интеграции наук*

Постановка проблемы

Западные антропологи уже давно сделали «антропологическую мысль предметом этнографического описания и этнологического понимания» (Aunger 1995; Sangren 2007). Основу их исследовательского подхода составляет конструктивистская идеология, которая последовательно реализуется в наблюдении за тем, как ученые конструируют мир природы, и за тем, как сами исследователи конструируют мир научного сообщества. Такой поворот к двойной рефлексии, по мнению зарубежных ученых, способен постепенно подготовить переход мировой антропологии на новый уровень развития. Подобный подход разрабатывается в их работах с конца 1960-х годов. Происхождение и развитие этого подхода связано с рядом разных, хотя и близких друг к другу генеалогических цепочек (*подробнее см.* Комарова 2011).

Современная российская социально-культурная антропология в последние 15–20 лет также все чаще изучает самые различные социальные и культурные группы. И, в этой связи, кажется, ей было бы естественно обратить внимание на исследование себя самой – на изучение сообщества ученых, академического сообщества своими собственными методами. Тем более что для этнографов/этнологов/антропологов именно антропологическое академическое сообщество, в первую очередь, и должно представлять научный интерес, т. к. генезис данного жанра в антропологии, безусловно, связан с антропологическим знанием. Однако, несмотря на всю естественность такой постановки вопроса, антропология академической жизни в отечественной науке до сих пор не институционализирована.

Конечно же, определенные попытки самоосознания профессии в научном этнографическом сообществе (далее – *НЭС*) можно обнаружить и в прошлом. В частности, традиционно существовали отдельные научные курсы, помогающие студентам овладеть ремеслом: историография, источниковедение, методика полевой работы и т. п. Но в своем большинстве они подавались как догма в ортодоксальном советском стиле, а не в рефлекторной форме. В результате многим нашим коллегам и по сей день не достает не только «этой самой рефлексии», но и саморефлексии. И хотя отдельные оптимисты и отмечают определенное «повышение уровня рефлексии научного сообщества», более верным представляется мнение об отсутствии саморефлексии у большинства членов НЭС и о «чрезвычайной неспешности освобождения исследовательского сознания от тоталитарных стереотипов» (АФ 2005). Так, один из участников нашего проекта С.Н. Абашин утверждает, что «ученые всегда испытывали потребность размышлять о своей профессии, о себе как исследователях, о своих отношениях с объектами, которые приходится изучать, тем более, если это – люди. Однако эта саморефлексия вытеснялась в сноски, во введения или заключения, пряталась в скобки или же получала права в жанре воспоминаний. В российской науке, которая поднимала “на гора” кубометры “объективного” знания, у саморефлексии не было своего легального статуса, она считалась чем-то субъективным, посторонним, чем-то, что может только помешать познанию, поста-

* Исследование выполнено в рамках проекта РГНФ № 13-01-00043.

вить под сомнение “профессиональный суверенитет исследователя”. Впрочем, иногда стыдливое отношение к “полю” объяснялось нежеланием выносить наружу, показывать порой очень сомнительную изнанку повседневного исследования, подрывать этим авторитет полученных результатов, закрепленных потом в высоком социальном статусе самих ученых» (Абашин 2010:164).

Сегодня необходим такой вид знания, которое, с одной стороны, имеет статус профессионального дискурса, поскольку производят его профессионалы в процессе своей деятельности, и вместе с тем, это знание о профессии, о реальных практиках ее осуществления; а с другой стороны, оно (это знание) может быть предметом исследования антропологическими методами, т. е. допускает власть интерпретации. Именно это позволит ученому перейти от анализа метода как части индивидуальной исследовательской практики к видению его в контексте существования «воображаемого сообщества» социальных исследователей; рассматривать исследовательскую практику как коллективный процесс, протекающий среди этнологов (в данном случае, интервьюеров и их информантов), т. е. как особого рода социальное взаимодействие. К сожалению, в отечественных социогуманитарных науках практически нет подобных исследований. Исключение из этого правила составляют лишь отдельные работы Г.С. Батыгина, Н.В. Богатырь, Б.В. Дубина, А.Л. Елфимова, Л.А. Козловой, А.Г. Левинсона, А.А. Никишенкова, А.А. Пригарина, П.В. Романова, С.И. Рыжаковой, М.М. Соколова, С.В. Соколовского, В.А. Тишкова, В.А. Шнирельмана, Т.Б. Щепанской, А.В. Юревича, О.Н. Яницкого, Е.Р. Ярской-Смирновой и некоторых других ученых, представляющих различные направления социогуманитарного знания. Однако подобные публикации крайне редки и малоизвестны на фоне господствующих научных традиций. Возможность и, что особенно важно, необходимость антропологического взгляда на антропологию как научную дисциплину, социально и культурно обусловленную практику, в отечественной науке практически еще не осознана.

И все же новое для отечественной науки исследовательское направление – антропология академической жизни в последние годы не только заявило о своем существовании, но и успешно развивается на постсоветском научном пространстве, даже не будучи четко институционально обозначенным. Свое название оно получило неслучайно. В научной литературе этнография профессий в узком смысле воспринимается как метод сбора эмпирических данных и жанр описания культур, а в широком смысле – это синоним антропологии, когда исследователь выходит на уровень обобщений и построения теории (Романов, Ярская-Смирнова 2000). Использование термина «антропология» в нашем случае обозначает конкретный методологический подход к исследованию различных аспектов повседневной жизни ученых и научных сообществ и предполагает не только и не столько изучение человека вообще, но изучение конкретного способа существования «академического» человека, человека академического образа жизни, а также соционормативной культуры, совокупности ритуалов и повседневных практик, сформированных сообществом «академических» людей, т. е. академическим сообществом, и используемых ими в сфере академической жизни.

Любому профессиональному сообществу присуща не только своя соционормативная культура, но более того, собственная профессиональная субкультура, особая субкультура профессии. Вслед за отечественной исследовательницей Т.Б. Щепанской под субкультурой профессии условимся понимать совокупность стереотипов и норм поведения, форм дискурса, сложившихся в профессиональной среде, пронизывающих все аспекты жизни членов професси-

онального сообщества, функционирующих, в том числе, на уровне повседневности и транслируемых посредством механизмов традиции в рамках повседневных практик, специальных ритуализированных действий, профессионального фольклора. Носителем профессиональной субкультуры является профессиональная среда, профессиональное сообщество (в данном случае, это – академическое научное сообщество), «включающее (по умолчанию) обладателей данной профессии, имеющих соответствующее образование, работающих по специальности, а также разделяющих большую часть символико-нормативного комплекса, в первую очередь, – совокупность культурных кодов, опосредствующих его понимание» (Щепанская 2005: 51).

В отличие от многих других профессиональных сообществ, академическое сообщество представляет собою совокупность индивидов или коллективов, связанных обменом результатами научной деятельности по производству, накоплению или использованию научного знания. При этом поддержание устойчивых межличностных или межгрупповых отношений внутри научного сообщества обеспечивается использованием единого профессионального языка и научного аппарата (понятий, инструментов, процедур наблюдения или вывода) и каналов получения или передачи информации (научных изданий, записей на носители, научных симпозиумов, конференций и т. д.), а также достаточно развитыми формами оценки научного труда.

Современное состояние антропологии академической жизни

В 2007 году в рамках VII Конгресса этнографов и антропологов России (далее – КЭАР) впервые в истории научного этнологического сообщества состоялась научная секция «Антропология академической жизни» (руководитель – Г.А. Комарова). Рабочая схема секции с самого начала целенаправленно строилась с учётом участия в ней ученых, предметом исследований которых является профессиональное сообщество отечественных этнографов, этнологов, антропологов и представителей других ассоциированных наук различными, прежде всего, этнографическими методами, т. е. ситуация, когда «объект этнографии сам становится её аудиторией» (Geertz 1983). Идея проведения секции ААЖ вызвала большой интерес у представителей различных научных направлений, в чьих докладах обозначился очень широкий круг тем, освещающих прошлое, настоящее и будущее не только российского этнологического сообщества, но и сравнительный анализ деятельности других отечественных и зарубежных академических сообществ. В успешной и плодотворной работе секции приняли участие не только этнографы, этнологи и антропологи, но и историки, филологи, психологи, археологи, востоковеды, философы, музееведы, представители других наук.

На секционных заседаниях прошло обсуждение не только заявленных докладчиками проблем, но обозначились и новые темы и направления ААЖ: роль интеллектуалов и дискурсивных практик в переходных обществах; положение российской научной элиты в социальных науках, культурном производстве и системе распределения власти; философские, мировоззренческие и культурные ценности, доминирующие в академическом сообществе современной России; изменения в дисциплинарной организации и тематическом репертуаре социальных наук после коллапса официального марксизма; включенность НЭС в глобальное виртуальное пространство; проблемы замены статусно-распределительной системы поддержки российского академического сообщества системой грантов и рынком интеллектуальных услуг; соотношение установки на интеграцию с западной ин-

теллектуальной традицией и установки на изоляционизм и конфронтацию с западом; рецепции западных научных идей в современной российской науке; тематическая картография науки; вопросы внутренней экспертизы ученого; нормы научного этоса; социальный тип современного российского ученого-гуманитария: наиболее значимые элементы личностной идентичности; формирование и развитие научных идей и проектов в современном российском социокультурном контексте; провинциализм и защитный изоляционизм в науке; тема репатриации ученого из одной научной сферы в другую и т. д.

В 2008 году по итогам работы саранской секции был выпущен коллективный сборник «Антропология академической жизни: адаптационные процессы и адаптивные стратегии» (ААЖ 2008). Первый раздел сборника посвящен проблематике «Общественные трансформации и «кризис» науки». В нем представлены статьи С.В. Соколовского, Э.Г. Александренкова, В.А. Шнирельмана, Л.Б. Четыровой. Одним из основных лейтмотивов статей этого блока стало мнение о том, что сегодня пришло время для активного и заинтересованного диалога между людьми науки и обществом. По мнению В.А. Шнирельмана, «сегодня становится как никогда ясно, что наука не отделена от общества непроходимой стеной и что научные концепции, затрагивающие актуальные общественные проблемы, тут же становятся частью напряженного социального дискурса, влияющего не только на состояние общественного сознания, но и на политические решения. Это накладывает на ученых особую ответственность, и позиция отстраненности, утверждающая, что ученый якобы не несет ответственности за то или иное использование своих идей, является неприемлемой».

В специальный раздел «Феномен научных экспедиций и неформальный экспедиционный дискурс» выделены статьи Т.Б. Щепанской, А.А. Пригарина, С.И. Рыжаковой, О.С. Свешниковой, А.А. Чубур и Ю.Б. Чубур, посвященные экспедиционному дискурсу, экспедиционной повседневности, этике и прагматике полевой работы, размышлениям над тем, как сохранить баланс между этическими принципами и прагматическими целями исследования в ходе преодоления трудностей, с которыми исследователь сталкивается в «поле». Как пишет А.А. Пригарин: «Стремительно меняются акценты и технические приемы этнографической работы, но абстрактно-загадочное поле было и остается неким арбитром корпоративной стратегии. “Этнографическое поле, – обосновано утверждает один из современных авторов, – это тот фундамент, на который нерушимо опираются исследовательские методы и приемы, это та стена, о которую крушатся кабинетные конструкции теоретиков, тот горн, сквозь который должны пройти любой претендент или любая идея раньше, чем они получат статус профессиональности”» (ААЖ 2008: 141). Эпистемология науки прошла значительный путь эволюции – от эволюционизма и структурализма до культурного релятивизма или постмодерного плюрализма (Романов, Ярская-Смирнова: 2005). Многообразие дисциплинарного опыта породило маргинальные жанры, многие из которых со временем оформились в отдельные академические «цеха». При этом «поле» незыблемо воспринимается источником корпорации и всех антропологов».

Третий раздел сборника составили статьи Х.М. Турьинской и А.А. Кузнецова, рассказывающие о проблемах музейной повседневности, которая, по мнению последнего автора, также «находится в русле такого направления этнографических исследований как антропология науки (в том числе академической), «исследование лабораторий» и тесно смыкается с социологией научного знания». Исследователей

интересует социальная среда и, прежде всего, её культурный контекст, в котором формируется личность ученого и который оказывает влияние на его жизнь и творчество. В целом тема влияния среды и вненаучных факторов на науку и научную деятельность исследователя присутствует и в других статьях сборника. Последний раздел содержит один из ярких образцов фольклорного творчества представителей казанской этнографической школы.

Появление первого тома «ААЖ» вызвало большой резонанс как среди этнографов/этнологов/антропологов, так и в других научных сообществах не только России, но и ближнего зарубежья (Абашин 2010; АФ 2009; Боряк 2009; Корякин 2009; Романов, Ярская-Смирнова 2009: 33). Например, известная украинская исследовательница Елена Боряк написала «Включение в программу VII Конгресса этнографов и антропологов России (Саранск, 2007) секции “Антропология академической жизни” вызвало мою искреннюю радость за российских коллег. Подобная тематика выносилась на обсуждение научным сообществом впервые <…>. То же можно сказать и о вышедшем в кратчайшие сроки специальном сборнике под таким же названием, куда была включена часть научных докладов, подготовленных для участия в упомянутой секции. Подобная новация в сфере выбора тем для исследования является скорее всего результатом частной инициативы отдельных российских этнологов. Тем весомее появление сборника – на мой взгляд, оно стало незаурядным событием не только для российской этнологии <…>. В заключение лишь отмечу – идея разработки направления “антропология академической жизни” оказалась и продуктивной, и заразительной. Среди моих украинских коллег-этнологов наметился интерес к личным архивам. Похоже, ищем “академический фольклор”» (Боряк 2009: 453). Как полагает социолог Кирилл Корякин, «публикация сборника статей “Антропология академической жизни” является важным шагом на пути популяризации идеи саморефлексии в общественных науках, резюмирует первую попытку вынести этот вопрос за пределы отдельных статей на широкое обсуждение в научном мире <…>. Авторы попытались указать на новый путь в развитии науки, суть которого – в изменении отношения научного сообщества к своей деятельности, к выходу на новый уровень самосознания благодаря саморефлексии» (Корякин 2009).

Все известные авторскому коллективу рецензии на сборник носили серьезный научный характер и позитивно оценивали работу авторского коллектива (Абашин 2010; Боряк 2009; Корякин 2009). Особенно важным для участников проекта «ААЖ» стало известие о том, что по итогам мониторинга научной жизни антропологического сообщества за 2008 год, проведенного журналом «Антропологический Форум», сборник «Антропология академической жизни: адаптационные процессы и адаптивные стратегии» не только попал в итоговый список опроса, но и занял в нем одно из ведущих мест в номинации «Сборник научных статей». Устами редколлегии журнала было сказано: «Нельзя не отметить, что в числе выделенных участниками опроса сборников оказался коллективный труд, посвященный антропологии академической жизни, – большая удача коллектива авторов, возглавляемого Галиной Комаровой. До сих пор эта сфера не была объектом пристального внимания российских антропологов, и вполне закономерно, что первый опыт вызвал такой интерес» (АФ 2009: 487). Помимо этого, в ходе мониторинга также высоко были отмечены опубликованные в сборнике «ААЖ» статьи В.А. Шнирельмана, С.И. Рыжаковой, Т.Б. Щепанской, С.В. Соколовского.

Реакция коллег на выход в свет первого тома «ААЖ» показала, что многие восприняли наш коллективный труд, прежде всего, как проект санации. В этом, безусловно,

есть своя определенная закономерность: санация на первом исследовательском этапе возникновения и развития саморефлексии не просто нужна, а необходима ученому для того, чтобы почувствовать наукоцентричное пространство и ощутить свою профессиональную принадлежность. Однако этот этап не может быть долгосрочным и должен быть конструктивным. Вот почему основополагающей идеей подготовки и проведения следующего заседания секции «Антропология академической жизни» в рамках VIII КЭАР (Оренбург, 2009) была выбрана научная междисциплинарность в исследованиях ААЖ. Кстати, именно она изначально была отражена и в расширенном названии секции: «антропология академической жизни», а не «этнография этнографии», например.

Идея проведения междисциплинарной секции ААЖ вызвала большой интерес у представителей других научных сообществ и собрала большой и разнообразный круг участников. Результатом работы оренбургской секции и, в целом, разработки нового для отечественной науки исследовательского направления стал коллективного сборник «Антропология академической жизни: междисциплинарные исследования» (ААЖ 2010). Его авторы – представители различных научных дисциплин и традиций из разных научных центров России, Украины, США (антропологи, этнографы, социологи, востоковеды, археологи, философы, историки, филологи, музееведы) исследовали проблемы, наиболее актуальные для собственных научных направлений, но находящиеся в поле ААЖ. Широкая междисциплинарная постановка проблемы позволила авторскому коллективу охватить достаточно разноплановые аспекты этого направления. Все разнообразие научных подходов представлено авторским коллективом в двух десятках текстов, различных в жанрово-стилевом отношении (научная статья, обзор, эссе, автобиографические заметки, интервью, рецензии), сгруппированных в четыре раздела, охватывающих ключевые вопросы академической жизни.

Первый раздел сборника посвящен историко-культурологическим аспектам антропологии академической жизни. Он открывается статьей С.В. Соколовского «Автоэтнография и антропологические исследования науки». В статье дается обзор современного состояния исследований антропологии науки, связанных с «рефлексивным поворотом» науки о «Других» к собственному сообществу, выразившийся в появлении такого нового жанра в постмодернистской антропологии как автоэтнография, который сочетается в этой относительно новой для нас области исследований с вниманием к профессиональным субкультурам. Автор глубокой и содержательной статьи характеризует специфику российской ситуации в связи с особенностями антропологических исследований в нашей стране. Эта работа видного отечественного антрополога С.В. Соколовского во многом перекликается, на мой взгляд, со всеми остальными текстами, входящими в первый раздел. Ключевые слова его публикации: автоэтнография, рефлексивность, память, репрезентация, объективность, этика исследований – также характеризуют работы и других авторов. Прежде всего, это касается историографического обзора Г.А. Комаровой «Антропология академической жизни в системе наук о человеке» и Е.И. Гаповой «Гендерные исследования в “постсоветской академии”». Оба текста рассматривают ситуации, когда объект – изучаемое сообщество практически полностью совпадает с его субъектом – сообществом экспертов. В итоге выясняется, что такое соотношение обнажает множество проблем, о которых и говорят авторы в своих статьях, подтверждая вывод о том, что автоэтнографическое исследование в этом случае становится плодотворным контекстом для обсуждения этнографического ме-

тода в целом, поскольку высвечивает те его аспекты, которые при исследовании “иного” (дистанцированного) объекта выводятся из зоны видимости и легко остаются в зоне умолчания.

Статья одной из самых ярких представительниц постсоветской гендеристики Е.И. Гаповой является знаменательной и оригинальной, прежде всего, потому, что в отечественных социогуманитарных науках, к сожалению, крайне мало подобных исследований. Подобные тексты, на мой взгляд, производят именно такой вид знания, которое, с одной стороны, имеет статус профессионального дискурса, поскольку производят его профессионалы в процессе своей деятельности, и вместе с тем, это знание о профессии, о реальных практиках ее осуществления; а, с другой стороны, оно (это знание) может быть предметом исследования антропологическими методами, т. е. допускает власть интерпретации. Это позволяет перейти от анализа метода как части индивидуальной исследовательской практики к видению его в контексте существования «воображаемого сообщества» социальных исследователей; рассматривать исследовательскую практику как коллективный процесс, протекающий среди ученых (в данном случае, гендеристов), т.е. как особого рода социальное взаимодействие.

Своеобразная перекличка, пересечение, определенная общность, обнаруженные между темами разных текстов первого раздела сборника, заставляют задуматься о влиянии друг на друга вопросов историографии, методологии и организации академического сообщества. С другой стороны, если обзор С.В. Соколовского представляет собою глубокий антропологический взгляд на современное состояние науки о «Других», то автор следующей статьи первого раздела «Зачем нам изучать этнографию других стран и народов» Э.Г. Александренков, отвечая на свой же вопрос, дает исторический срез этой проблемы. Цель его работы – рассмотреть, как и под влиянием каких факторов складывались представления о других странах в отечественном этнографическом сообществе. Эта статья в определенной мере продолжает тематику других авторских публикаций: «Кому служить? Этнограф на российском распутье» и «Что интересовало российских этнографов в Латинской Америке?» По мнению Э.Г. Александренкова, два основных фактора определяли зарубежные этнографические поиски отечественных ученых. Во-первых, это интерес отдельного исследователя, вызванный любопытством к синхронному «Другому» и желанием увидеть иные стадии и формы развития человечества; во-вторых, – политические инициативы властных структур. В советской науке, как правило, превалировало второе обстоятельство. Однако, академическому сообществу известны и такие яркие ученые, кто изучал зарубежные культуры без указаний «сверху». Прекрасный пример тому – Ю.В. Кнорозов, для которого наука была образом жизни, а его жизнь в науке – образцом для коллег.

Статья С.В. Соколовского также перекликается с текстом питерской исследовательницы Е.А. Здравомысловой. Основу ее эссе «Земной свой путь пройдя до половины…» составляет биографическое интервью, взятое у коллеги-социолога Эдуарда Фомина (1939–2002). Выпускник юридического факультета ЛГУ, один из основателей Центра независимых социологических исследований (ЦНСИ), член Санкт-Петербургской ассоциации социологов (СПАС), поздний шестидесятник Э. Фомин многое сделал для того, чтобы первое несоветское поколение социологов стало естественной составной частью мирового социологического сообщества. На основе анализа интервью, данного Эдуардом Фоминым в канун его шестидесятилетия, Е. Здравомыслова не только мастерски показывает черты целого поколения россий-

ских ученых, но на примере одной биографии рельефно реконструирует поколенческую биографию отечественных социологов – шестидесятников, научная биография которых развивалась, по словам Виктора Воронкова, «фактически в неформальной сфере, где абсолютно доминировала “устная социология”. Разговоры в коридорах института, на наших “интеллигентских кухнях”, домашние семинары сформировали среду, готовую к радикальным переменам в обществе и ускорившую эти перемены» (Невидимые грани 2001: 4). Видному российскому социологу Е.А. Здравомысловой удается очертить социологические рамки анализа феномена, сформулировать проблемы и обосновать ряд важных гипотез, существенных для понимания функционирования советской и постсоветской социологии; показать, как повседневность (в том числе, и академическая), окружающая ученого, формирует его научный багаж; как биография самого исследователя “работает” в качестве фактора его научной деятельности и влияет на ее результаты.

Второй раздел сборника «Современный ученый и исследовательское поле» открывает статья известного отечественного исследователя, археолога по базовому университетскому образованию В.А. Шнирельмана «Археолог в эпоху перемен: казус Аркаима». Автор статьи рассматривает весьма показательный и неоднозначный пример взаимодействия археологов с общественностью на археологическом комплексе Аркаим (Южный Урал), где результатом столкновения самых разнообразных интересов (рекламных, финансовых, туристических, религиозных, патриотических, националистических) стало возникновение своеобразного религиозного культа, с одной стороны, обеспечивающего музейный и туристический центр массой посетителей (а, следовательно, и финансами), но, с другой, бросающего вызов археологической и музейной деятельности. Анализируются стратегия поведения археологов в этой ситуации и особенности их обратной связи с общественностью. На примере возникновения культа Аркаима обсуждается роль археологии и музейного дела в современном обществе. Подобная работа очень значима для исследовательского поля ААЖ, прежде всего, потому, что «казус Аркаима» обнажает ряд актуальных проблем, реально существующих в академической жизни, но при этом практически не обсуждаемых в отечественном социогуманитарном научном сообществе. Во-первых, это – проблемы совпадения (зачастую противоречивого и нередко конфликтного) идентичностей исследователя как субъекта, изучающего среду – и как человека, принадлежащего этой среде, но имеющего в ней определенные интересы (преследующего свои вненаучные цели и, тем самым, ставящего под угрозу свой престиж в научной среде). Во-вторых, это – этические проблемы, возникающие, когда в научном сообществе обсуждаются темы, открытые «своим» и табуированные для «чужаков»; или более широко – ситуации, когда этика познания вступает в противоречие с этикой принадлежности к псевдонаучному дискурсу.

Важно отметить, что исследовательское поле – главный герой всех без исключения текстов, входящих во второй раздел сборника. Все они посвящены феномену научных экспедиций и неформальному экспедиционному дискурсу, экспедиционной повседневности, этике и прагматике полевой работы, размышлениям над тем, как сохранить баланс между этическими принципами и прагматическими целями исследования в ходе преодоления трудностей, с которыми исследователь сталкивается в «поле». При этом исследовательское «поле» в сборнике рассматривается во всех его ипостасях: «поле» – этнографическое, археологическое, социологическое и т. д., отечественное и зарубежное, экспедиционное и стационарное, городское и сельское, тради-

ционное и виртуальное и др. Но главное то, что «поле» всегда всеми исследователями воспринимается как особая методологическая (эпистемологическая) проблема возможностей и пределов познания, как цель и средство исследования. В этом плане наибольший интерес, на мой взгляд, представляют тексты патриархов этнографического сообщества, известных ученых, исследователей с огромным экспедиционным опытом Сергея Александровича Арутюнова и Наталии Львовны Жуковской.

Эссе С.А. Арутюнова «Когда гора рождает мышь» насыщено интересными и актуальными материалами, экспедиционными наблюдениями, авторскими и исследовательскими впечатлениями, воспоминаниями, размышлениями, личным авторским опытом, практикой и т. п., всем тем, что характеризует все публикации раздела «Современный ученый и исследовательское поле». Однако автор эссе «Когда гора рождает мышь» не просто привлекает читательское внимание к основным, самым актуальным темам отечественной этнографии/антропологии – методике, методологии исследований, организации научной и экспедиционной жизни. Самое важное для развития нашего научного направления заключается в том, что работа С.А. Арутюнова является уникальной на фоне типичной отечественной научной литературы, в которой, в отличие от мировой научной практики, не принято публично и подробно обсуждать то, что составляет предмет размышлений крупнейшего отечественного исследователя: пути преодоления научного субъективизма, проблемы отношений в исследовательском коллективе, различного рода технические и моральные стороны экспедиционно-полевой практики, вопросы взаимоотношений с информантами, многообразные и порой непростые ситуации, в которые нередко попадает ученый-исследователь, ученый-полевик.

О подобных непростых ситуациях, интересных, а порой даже судьбоносных случаях из своей богатой экспедиционной практики ярко и образно повествует Н.Л. Жуковская. В своих автобиографических заметках «Этнограф и поле: Господин Случай и его возможности» она предстает не только как исследователь, но и как режиссер, сценарист, актер, стратег своих многолетних, долгосрочных, плодотворных, содержательных, интереснейших, и вместе очень сложных экспедиционных проектов. Н.Л. Жуковская показывает, как длительное и регулярное пребывание этнографа в поле почти всегда сопровождается формированием разнообразных, в том числе и личных, связей с людьми исследуемого сообщества. Дружеские эмоциональные контакты исследовательницы с информаторами создают ситуацию эмпатии, которая способствует постижению самых тонких и скрытых механизмов культуры, дает ключ к пониманию ее нормативной, эстетической, когнитивной и других систем. Наблюдая за ее рассказами, невольно отмечаешь то обстоятельство, что научные открытия возможны не только благодаря исследовательским технологиям или научным институциям, а скорее, благодаря экзистенциальному накалу того или иного вопроса, который возникает в жизни исследователя, в связке с его биографией. Обычно это происходит рефлексивно, но рано или поздно обязательно фиксируется тем фактом, что исследователь ощущает начало нового этапа своей научной биографии. По опыту известно, что с представителями нашего этнографо/этнолого/антропологического научного цеха описанная выше ситуация чаще всего возникает именно в экспедиционных, полевых условиях в процессе общения с людьми.

Возможно, именно в результате подобного экзистенциального накала тех или иных вопросов, возникших в жизни (в связке с личной биографией) наших постоянных ав-

торов Д.Б. Писаревской и А.А. Кузнецова, и проявился их уникальный научный интерес к разработке достаточно оригинальных, пока еще непривычных для отечественной науки тем. В частности, А.А. Кузнецов выбрал в качестве исследовательского объекта андропарки. В своей статье «“Андропарки” как объект антропологического изучения (опыт исследовательской саморефлексии)» он отмечает: «Новое направление в современной российской этнографии – антропология академической жизни – позволяет посредством этнографического описания и этнологического понимания изучить “производственную кухню” сообщества научных работников, постигнуть свойственную им профессиональную “ментальность”, определить их взаимосвязь с окружающей средой и объектами исследования. Особое место в рамках формирующейся дисциплины, безусловно, занимают размышления самих авторов научных текстов, направленные на осмысление и интерпретацию собственных исследовательских практик». Статья А.А. Кузнецова представляет собою «результат подобного авторского “самоосознания” при рассмотрении возможности и продуктивности изучения методами антропологии и этнографии такого явления современной масс-медийной культуры как “андропарки”. Речь идёт об особой разновидности телевизионных программ, называемых реалити-шоу (*reality-show*), участники которых – простые люди – добровольно помещаются в ограниченное пространство и “живут” длительное время под наблюдением множества видеокамер на глазах у миллионов телезрителей и интернет-пользователей».

Д.Б. Писаревская – автор статьи «Исследование субкультуры ролевых игр: соучастие vs ролевых игр» несколько лет изучала весьма распространенное в молодежной среде, но мало изученное в отечественной антропологии явление. Описание опыта исследования субкультуры ролевых игр Д.Б. Писаревская наполняет авторской саморефлексией, авторскими и исследовательскими впечатлениями, наблюдениями, размышлениями, всем тем, что сопровождало ее в ходе работы и служило фактором, мешавшим или помогавшем в исследовании и в итоге, повлиявшем на научные результаты. Все это позволило Д.Б. Писаревской, как и другим авторам сборника, обратить внимание читателей на очень актуальную для научного сообщества проблему «Современный ученый в исследовательском поле: активное соучастие или холодная отстраненность». Как остаться «независимым» исследователем, отстраненным при изучении тех или иных, особенно острых социальных проблем? Что и как можно и должно изучать в современной публичной сфере? Как повседневность (в том числе, и академическая), окружающая ученого, формирует его научный багаж? Как биография самого исследователя «работает» в качестве фактора его научной деятельности и влияет на ее результаты? Читатель вряд ли сразу найдет готовые универсальные ответы на эти и другие вопросы. Но даже их постановка уже самоценна: истинная наука, как известно, начинается с вопросов.

Следующий раздел сборника, посвященный академической повседневности, открывается статьей В.П. Корзун и Д.М. Колеватова «Профессорская семья: стиль жизни, ролевые функции в поле научной повседневности». Предметом исследовательского интереса омских историков Валентины Корзун и Дмитрия Колеватова стала профессорская семья как социокультурный феномен. Богатый источниковый материал, оказавшийся в поле их внимания – научная повседневность отца и сына Лаппо-Данилевских, великого историка и известного математика, классиков мировой науки – позволил авторам рассмотреть проблему преемственности интеллектуальных ритуалов и ценностей, в том числе в про-

странстве такого микросоциума, как семья; определить, каким образом социокультурный контекст являет себя через такую форму человеческой общности как семья ученого, через присущие этой общности стилевые и нормативно-ролевые (функциональные) особенности. Обращение к теме «ученый и его семья», к варианту социальных контактов, по мнению В.П. Корзун и Д.М. Колеватова, «важен в плане характеристики особенностей рефлективного взаимодействия ученого и мира ("миросозерцания" ученого, если пользоваться классической терминологией XIX века). Особенности эти проявляются "на семейном поле" как на уровне элементарной житейской рефлексии – рассмотрение и анализ "дел семейных и политических", так и на уровне рефлексии научной – критического анализа научного знания, его значения и границ. И, наконец, в межличностных контактах родных, близких и друзей проступает рефлексия философская – осмысление общих принципов и предельных оснований бытия и мышления». Авторы этой стимулирующей, выполненной в лучших академических традициях, статьи, ссылаясь на И.В. Нарского, приходят к выводу, что интересующий современных исследователей вопрос: «что делают, когда занимаются наукой», безусловно, актуален, ибо наука есть часть жизненного мира ученого, его личностной рефлексии, один из способов познать собственные границы» (Нарский 2008: 15).

Основная цель статьи О.А. Волковой и С.В. Шишкиной «Академическая составляющая интеллектуальной миграции малого российского города» – описание результатов теоретико-эмпирического исследования интеллектуальных миграций вне столичных и областных центров, на примере малого российского города Балашова Саратовской области. Авторы рассматривают интеллектуальную миграцию в контексте стратификационной характеристики малого российского города; характеризуют гендерную специфику интеллектуальной миграции; дают социологический портрет академического мигранта; приводят факты, касающиеся не только профессиональной, но и повседневной жизни ученых – мигрантов. В постсоветской научной литературе уже сложилась традиция изучения проблем интеллектуальной эмиграции из бывшего СССР. В данном случае ценность и актуальность обсуждения проблемы внутренней интеллектуальной миграции в том, что она связана, прежде всего, с необходимостью исследовать и прогнозировать долгосрочный выбор ученых в пользу профессиональной миграции внутри страны. Это обстоятельство чрезвычайно важно, в частности, и для формирования стратегий национальной научной политики государства на постсоветском пространстве. Разумеется, при условии, что таковые появятся в обозримой перспективе.

Третий раздел сборника завершает яркий и пока еще не традиционный для российского научного сообщества текст Анастасии Золотовой «Корпоративная этика и дух еды: заметки о повседневности научного коллектива». Ее заметки (а скорее, эссе или «еще менее жесткий жанр») были подготовлены к празднику – юбилею Виктора Воронкова, бессменного директора ЦНСИ (Центра независимых социологических исследований), известного творческого исследовательского коллектива питерских социологов. По словам самого автора, они содержат «праздничные мысли праздного человека». Между тем, этот «праздный человек», обладая глубокими знаниями, высоким профессионализмом, разнообразными научными подходами в исследованиях социологии потребления еды, тонко чувствует и занимательно описывает повседневность своего научного коллектива: «практику потребления съестного в конкретном месте (ЦНСИ) среди конкретной группы людей (сотрудники ЦНСИ) и

показывает, каким образом съедобное и съедаемое в ЦНСИ вписано в структуру повседневного взаимодействия его сотрудников». Изящный, «кружевной» стиль автора, ироничный и вместе с тем глубокий взгляд, исследовательская «симпатия к рефлексии в отношении рефлексии рефлектирующих» характеризуют этот текст. Возможно, он застанет врасплох неподготовленного читателя, но вместе с тем будет по достоинству оценен «продвинутым» коллегой, который знает, что «социальные науки переживают острый приступ рефлексии. Не рефлектирующий по поводу собственной рефлексии социальный исследователь в последние лет сорок вызывает у своих коллег в мировом научном сообществе те же эмоции, что и непьющий: недоумение, помноженное на подозрение» (Перегрузка 2006: 6). В целом все статьи третьего раздела «Академическая повседневность» вносят свой вклад в практически не занятый сегмент этнографического изучения быта профессионального научного сообщества, в анализ историко-культурного своеобразия жизни и быта ученых, в исследование деталей житейской повседневности ученых как социальной группы.

Четвертый раздел сборника, посвященный научным центрам России, знакомит читателя с Омским этнологическим сообществом. Несколько лет назад, отвечая на вопрос «ЖССА» «Существуют ли в России самостоятельные научные школы в этнологии и социальной антропологии», В.А. Тишков назвал среди «наиболее ярких и имеющих свое лицо омскую этнографию» (Тишков 2001 № 4: 21). «Лицо омской этнографии» в разделе «Научные центры России» представлено двумя совершенно разными по жанру, но одинаково интересными и информационно насыщенными текстами, вместе создающими яркий и многогранный портрет омского этнологического сообщества. Статья родоначальника омской этнографической школы Николая Аркадьевича Томилова и одной из его учениц М.А. Жигуновой «Омский научный этнографический центр: штрихи к портрету» подробно рассказывает об одном из самых ранних этнографических научных центров Западной Сибири, где этнографические исследования проводятся более 150 лет. Авторы повествуют о современных научных достижениях омского этнологического сообщества, об академической и экспедиционной повседневности, о богатом фольклоре представителей ОНС. Фольклорное творчество омских коллег представлено в статье «Записки этнографички» Т.Б. Смирновой.

Междисциплинарный характер коллективного научного сборника показал, насколько важна саморефлексия для всех смежных с этнологией гуманитарных и общественных наук и сколь многогранной может быть ее трактовка в различных специальностях и направлениях. И, тем не менее, его авторов объединяет главное – стремление осмыслить собственный социальный и духовный опыт, понять, как он преломляется в профессиональной деятельности, а также развивать новый подход в научном постижении реальности человеческого бытия.

Третье заседание секции «Антропология академической жизни» в рамках IX Конгресса этнографов и антропологов России состоялось в 2011 г. в Петрозаводске. Работа секции характеризовалась широким междисциплинарным составом участников, высоким профессиональным уровнем докладов, активностью многочисленной аудитории (согласно списку присутствующих в секции участвовало 97 человек). Все разнообразие тем и научных подходов было представлено в докладах, сгруппированных в четыре тематические блока, которые охватили различные стороны академической жизни. Так, в актуальных и новаторских докладах А.А. Пригарина (Одесса) и С.П. Тюхтеневой (Горно-Алтайск) особое внимание уделялось этике и прагматике по-

левой работы, размышлениям над тем, как сохранить баланс между этическими принципами и прагматическими целями исследования в ходе преодоления трудностей, с которыми исследователь сталкивается в экспедиционном «поле». Тема «Этос науки» получила непривычное развитие и неординарное решение в докладах В.А. Шнирельмана (Москва), А.Н. Еремеевой (Краснодар), С.Н. Филимончик (Петрозаводск). Важно, что доклады историков, философов, культурологов, этнологов, археологов, психологов и др., выступавших в разных тематических блоках, постоянно перекликались между собой. Например, Л.П. Пискунова (Екатеринбург), А.Н. Еремеева (Краснодар), И.П. Кулакова (Москва), С.Н. Филимончик (Петрозаводск), рассматривая различные исторические эпохи и экзистенциальные ситуации, когда происходят разрывы в повседневном опыте существования, когда перестают действовать выработанные десятилетиями социальные механизмы, показали, как в каждом случае возникает научное сообщество и как его повседневность создается из хаоса социальной материи, конструируется индивидами в ходе практических взаимодействий. Все изученное – повседневность, традиции, различные практики, совокупность адаптивных средств, всю жизнедеятельность сообщества предстоит описать как субкультуру. Тема секционного заседания «Теория и практика репрезентации науки», представленная докладами И.А. Гринько (Москва), Н.П. Мироновой, Т.П. Филипповой, Н.Г. Лисевич (Сыктывкар), вызвала особый интерес аудитории. (*Подробнее см.* http://anthropologie.kunstkamera.ru/07/15online/).

Итоги работы петрозаводской секции составили основу научного сборника «Антропология академической жизни: традиции и инновации», который неслучайно получил свое расширительное название. Понятие «традиция» используется в нем в онтологическом смысле. Это не сохранение или изменение, а нечто постоянное внутри перемен, константное в развитии, абсолютное в относительном, вечное во временном. Это тот фундамент, на котором возникает инновация: новые идеи, подходы, методы, направления, все то, что содержит прогрессивное начало, позволяющее в изменившихся условиях и ситуациях достаточно эффективно исследовать проблемы и решать те или иные научные задачи. Вместе с тем, третий сборник «ААЖ» стал результатом работы не только участников секции «ААЖ» в рамках IX КЭАР, но и представителей различных научных дисциплин и традиций из разных научных центров постсоветского пространства. Авторы издания – антропологи, этнографы, социологи, востоковеды, археологи, философы, историки, филологи, культурологи, музееведы из Москвы, Красноярска, Екатеринбурга, Омска, Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Краснодара, Таганрога и т. д. Все они разрабатывают темы, наиболее актуальные для собственных научных направлений, но при этом находящиеся в едином исследовательском поле ААЖ. Широкая междисциплинарная постановка научной проблематики позволяет авторскому коллективу охватить достаточно разноплановые аспекты нового научного направления. Все статьи сборника сгруппированы в тематические блоки и представлены в четырех разделах.

Тексты первого раздела сборника «Этос науки: риторика и повседневность» обсуждают целый круг ключевых методологических проблем сферы «Science studies»: наука как социальный институт и возможности работы «научного сообщества»; традиции и вариации этоса науки; изучение способов производства научного знания в различных социокультурных средах (проблемы «экологии науки»); роль истории науки для понимания природы науки; ученый и наука; значение опыта «Science studies» для постановки и обсуждения про-

блем специфики социально-гуманитарного познания и др.

Первый раздел открывает статья «Культурная медиация, традиции и инновации: о поэтике заимствования в истории советской этнографии». Ее автор – С.В. Соколовский утверждает, что «история российской этнографии практически на всех ее этапах, и даже тогда, когда заимствования совсем не поощрялись, а, наоборот, преследовались как низкопоклонство перед Западом – состоит из длинной их череды, иногда тщательно маскируемой, а иногда с гордостью демонстрируемой как безусловно прогрессивная и необходимая мера борьбы с местной заскорузлостью». Некоторые эпизоды этой истории и их оценки современниками стали основным предметом его анализа. Автор статьи делится интересным наблюдением о том, что «при всей нашей заботе о традициях, конкретные научные проекты, как и науку в целом, вряд ли можно адекватно понять вне их устремленности к новому. Рассмотрение динамики и механизмов заимствования – и в этом ирония всякой деконструкции, по видимости отказывающейся от нового или отказывающей новому в его привилегированном статусе – позволяет сделать небольшой вклад в эту погоню за новизной и осветить саму технологию заимствования как механизм порождения нового».

Тема «Этос науки: риторика и повседневность» получила новое развитие и неординарное решение также в статьях В.П. Макаренко «Властно-политические технологии и право ученого на сопротивление», Н.В. Серова «Феномен групповой динамики в научном сообществе и интересы науки», В.А. Шнирельмана «Археолог, общество и политика: Е.И. Крупнов и аланы», С.Н. Филимончик «Ученый и власть: гуманитарии Карелии в сталинскую эпоху», А.Н. Еремеевой «Ученый в условиях гражданского противостояния». Виктор Павлович Макаренко считает, что «современная наука есть воплощение колониально-имперских, революционно-бюрократических (техно-якобинских) и самодержавно-бюрократических интересов и амбиций власти и ученых». Отвечая на вопрос, свободны ли современные ученые, если они до сих пор используют указанные модели или их комбинации в своем поведении, автор анализирует, как они взаимодействовали в социальной истории науки XX в. и советской науки, в особенности. Цель исследования Н.В. Серова – анализ проблемы «запретов» в дискуссии с академическими стереотипами «научного долженствования» на примере социальной истории создания теории хроматизма. А.Н. Еремеева рассматривает особенности научной деятельности и научной коммуникации в регионах бывшей Российской империи, ставших в 1917–1920 гг. центрами противоборства различных политических режимов и массовой миграции столичной интеллигенции. С.Н. Филимончик представляет новую для Карелии 1930-х годов социокультурную группу профессиональных ученых, работающих в области истории, этнографии, фольклора, характеризуя их путь в науку, уровень образования, профессиональную деятельность, научную и бытовую повседневность, а также взаимоотношения ученого-гуманитария с властью и т. д. Все авторы тематического блока «Этос науки: риторика и повседневность» – известные ученые, представляющие различные научные дисциплины, ставят перед собой актуальные и важные для любого гуманитария вопросы: Как остаться “независимым” исследователем, отстраненным при изучении острых социальных проблем? Что и как можно и должно изучать в современной публичной сфере? Как повседневность (в том числе, и академическая), окружающая ученого, формирует его научный багаж? Как биография самого исследователя “работает” в качестве фактора его научной деятельности и влияет на ее результаты? По мнению

постоянного автора всех выпусков «ААЖ» В.А. Шнирельмана, «сегодня, когда в стране нет уже единой гегемонистской идеологии и идет становление гражданского общества, общественные науки потеряли свою былую “невинность”. Это означает, что, какой бы проблематикой ни занимался этнолог, социолог или даже археолог, полученные им данные и выводы всегда могут использоваться для тех или иных политических проектов <…> В этих условиях использование соответствующих понятий и терминов накладывает на ученого особую ответственность и заставляет тщательно обдумывать формулировки своих идей, чтобы они не стали легкой добычей радикалов. Следовательно, специалист должен тонко чувствовать нюансы сложившегося вокруг политического ландшафта. Мало того, сегодня ученый, чьи исследования касаются острых политических проблем, не может оставаться вне политики, хочет он того или нет. А к актуальным проблемам сегодня относятся все, начиная от современных массовых миграций населения и кончая антропогенезом. Поэтому нам нельзя обходить вопрос о научной этике, и ученый должен не только интересоваться тем, как воспринимаются его идеи в обществе, но и активно стремиться к тому, чтобы эти идеи воспринимались адекватно без искажений. Иными словами, пришло время для активного и заинтересованного диалога между людьми науки и обществом».

Изучение социального контекста развития науки, научного сообщества, и, в частности, научной и политической миссии ученого, нужны не для того, чтобы привлечь общественное внимание и политизировать роль науки в обществе. В нашем случае исследователю научного поля ААЖ важно с позиций социально-культурной антропологии изучить эти проблемы и понять, как они решаются и/или не решаются в современной научной среде. И это, на мой взгляд, важное и полноправное направление антропологии академического сообщества. К сожалению, в российском научном сообществе подобные исследования редки, экзотичны, непривычны, и зачастую воспринимаются неадекватно, что негативно отражается на развитии и отечественной науки, и современного российского общества. Тематический блок статей «Этос науки» традиционно присутствует в научных сборниках «ААЖ», что важно по ряду причин, в том числе и методико-методологического плана. И в частности, потому что всем известная модель «правильного» этоса науки, предложенная Мертоном и представляющая собой некий идеальный тип, достаточно абстрактное построение, результат логической дедукции, дает немало поводов для дальнейшего исследования постоянно возникающей перед исследователем дилеммы теории и практики, риторики и повседневности. Думается, что представители ААЖ, ведущие кропотливую работу по сближению теоретических и эмпирических изысканий, по поиску реальной конфигурации этических норм, единой метрики научного сообщества, способны в чем-то дополнить, исправить мертоновские аксиомы, а возможно и предложить свою модель этоса науки.

В отличие от первого раздела сборника, следующий тематический блок статей «Институционализация в научном сообществе» представляет собой пример инновации в истории развития ААЖ. Как показывают авторы статей этого раздела, значимость ритуалов перехода, «обрядов институционализации» (П. Бурдье) в контексте формирования и поддержания корпоративной идентичности научного сообщества традиционна и по сей день неоценима. Ритуалы как символы действия являются способом донесения до «академического» человека, человека академического образа жизни, представителей «академического» мира ценностей и моделей поведения, отражающих корпоративную культуру научного

сообщества. Именно ритуалы как устойчивая система ценностей, накопленных и воспроизводимых в коллективной памяти, дают научному сообществу ощущение устойчивости, столь необходимое в непрерывно изменяющемся мире.

Отечественные традиции процесса «вхождения в науку» в рамках профессорской культуры составляют предмет исследования Т.А. Сидорякиной. Ее статья посвящена формализованным и неформализованным правилам вхождения в научное сообщество историков рубежа XIX–XX вв. и характеризуется особым интересом к личности ученого на ранних этапах его становления, вниманием к процессу «вхождения в мир науки и высшего образования», к сопряженным с ним «ритуалам перехода» и «адаптации молодого ученого» в научном сообществе. Автор справедливо отмечает, что понятие «профессорская культура» существенно расширяет проблемное поле современных исследователей, изучающих проблемы научных сообществ, сформированных на основе устойчивого ядра «корпоративной культуры», в качестве самостоятельной задачи, и актуализирующих субъективный фактор в науке.

Статья В.Ю. Лебедева «“Профессор” как социально-культурный миф» во многом продолжает и развивает тематику предыдущего текста. В ней анализируется трансформация расхожих представлений о профессуре и результатах причисления к этому сообществу от традиции к инновации, от старой версии к новой. «Старая – восходит к академическим традициям дореволюционной России и их отзвукам в довоенной советской культуре. Новая – формируется представлениями о социальном статусе профессуры послевоенного Советского Союза». В.Ю. Лебедев определяет актуальность рассмотрения выбранного объекта не только его временным положением самим по себе, но и тем, что мифологические установки оказываются напрямую определяющими и представления, и поведение большого числа людей (включая и неверный профессиональный выбор). По мнению автора статьи, «мифологическое осмысление профессуры наблюдается как в повседневном поведении, фиксируемом этнографией, так и в осмыслении средствами искусства, где стандартно воспроизводятся все обиходные стереотипы. Можно говорить, что элементы мифологической картины принадлежат здесь к двум областям, мифологическим парадигмам: мифологии науки и мифологии быта». В.Ю. Лебедев делает вывод о том, что дальнейшие трансформации расхожих представлений о «профессоре» во многом будут зависеть от специфики реальности социальной, однако в виду мифологического генеза этих представлений можно предвидеть устойчивость и живучесть традиционных форм.

В статьях Н.В. Деминой «Защита диссертации как обряд перехода» и К.Л. Банникова «Вход как выход: социально-антропологические рефлексии на тему [в]хождения в науку» исследуется современный процесс пересечения границы мира Науки – инициация в сообществе российских ученых через аспирантуру и защиту кандидатской диссертации. Текст Н.В. Деминой наглядно демонстрирует, что понятия обряда перехода (А. ван Геннеп, В. Тернер) и обряда институционализации (П. Бурдье) дают возможность рассмотреть проблемы качества научной аттестации и состояния научной экспертизы в России под новым углом зрения. Автор отмечает, что «при вступлении в мир науки – прохождении обряда перехода, или институционализации – неподготовленными и непроникнутыми его истинным сакральным смыслом чужаками, происходит “загрязнение” сообщества ученых, влекущее десакрализацию и размывание существующих границ».

Исследование М.В. Пулькина «Рецензируемые журналы и научное сообщество: проблемы взаимоотношений» так-

же посвящена вопросам качества научной аттестации и состояния научной экспертизы в современной России, которые рассматриваются, однако, не в фокусе традиций, в русле нововведений последних лет. Автор видит серьезную и очень актуальную проблему в том, что «сегодня публикации в рецензируемом журнале считаются одним из важнейших показателей оценки работы как научного работника (преимущественно Академии наук), так и учреждения, в котором он состоит. Согласно новым критериям, появление книг, в том числе и фундаментальных работ, объявлено второстепенным успехом по сравнению со сравнительно небольшой статьей, опубликованной в издании, входящем в ВАКовский список. По мнению М.В. Пулькина, «система, в которой Списку отведена главенствующая роль, довольно быстро поглощает поток всех прочих публикаций, упраздняя многочисленные внезапно появляющиеся и быстро исчезающие из поля зрения ученых сборники научных работ на разные темы». Автор статьи считает, что это серьезная практическая проблема, связанная с выживанием научных организаций, и важный теоретический вопрос из области антропологии академической жизни. И действительно, «несмотря на широкое и интенсивное кулуарное обсуждение этой новой для научного сообщества проблемы, она еще не удостоилась тщательного, в полном смысле слова научного исследования». Задача статьи М.В. Пулькина – заложить фундамент для изучения этого нового явления российской академической жизни. Третий раздел сборника «Современный ученый и этнографическое поле» является традиционным и концептуально необходимым для разработки ААЖ. Тексты этого раздела наглядно подтверждают общеизвестную истину о том, что специфика исследовательской этнографической работы состоит, в частности, в том, что ученый в поле является основным «прибором», фиксирующим состояние изучаемого объекта. В связи с этим подробно обсуждаются различные техники анализа научной практики, взятой в ее исторической динамике.

С.Н. Абашин – автор статьи «Всматриваясь в поле после боя», – разворачивая, по его словам, «вслед за Тишковым и Соколовским, свой взгляд с поля на себя в поле», делится опытом полевой работы в таджикском селении в 1995 и 2010 гг. Он размышляет о тех обстоятельствах и ограничениях, которые сопровождали полевое исследование и могли существенно повлиять на представления об изучаемом сообществе. По мнению С.Н. Абашина, «парадокс в том, что в силу своей роли этнограф обречён идти в поле, чтобы искать там материал для своих реконструкций, обречён ссылаться на поле как на точку отсчёта в своей деятельности – именно полем по-прежнему испытываются и утверждаются в этнографическом сообществе его компетенция и авторитет. Точно так же этнограф обречён на то, чтобы его реконструкции были поставлены под сомнение (им же самим или кем-то другим), чтобы поле оказалось в итоге всего лишь недостижимым идеалом, на практике же – мучительной и неблагодарной работой, а нередко – средством вольных или невольных манипуляций и подтасовок. Вырваться из этого замкнутого круга, оставаясь в научном и дисциплинарном пространстве, нельзя – можно лишь осознать задачи и ограничения и попытаться действовать в имеющихся обстоятельствах».

Автор статьи «Особенности полевого исследования в мегаполисе: от этнической общности к стилю жизни» Д.Б. Писаревская считает, что «при проведении полевого исследования в городе проживания важно не только грамотно расставить акценты между перспективой “инсайдера” и “аутсайдера”. Может получиться и так, что теоретические посылки применительно к объекту изучения изменяются, и исследователь начинает смотреть на проблему с иного ракурса». На

примере полевого исследования еврейской молодежи в Москве и последующей обработки и анализа его материалов она рассматривает, как в теории, практике и рефлексии исследователя отображаются особенности изучения сообществ в мегаполисе. В данном конкретном случае и теория, и практика исследования заставили ученого сделать поворот от изучения этической общности к изучению конкретного стиля жизни.

Завершает третий раздел очерк, повествующий о двух этнографических экспедициях отечественных исследователей на острова Океании. Его автор – известный ученый, крупнейший специалист по этнографии народов Океании, старейшина нашего этнографического цеха Д.Д. Тумаркин. В своем тексте «За морем телушка – полушка, да рубль перевоз» он рассказывает о предыстории этих экспедиций и о своем жизненном пути, приведшем его на борт научно-исследовательского судна «Дмитрий Менделеев», совершавшего экспедиционные рейсы на острова Южных морей. По мнению автора, «отечественные этнографы обычно собирают научные материалы либо в своем городе (в архивах, библиотеках, проводя опросы, наблюдения и т. д.), либо совершая экспедиции и кратковременные выезды в другие районы России и в зарубежные страны. Но вся эта деятельность происходит на суше, на “твердой земле”. Работа в океанских научных экспедициях имеет свою специфику».

Авторы всех текстов раздела «Современный ученый и этнографическое поле» предпринимают попытку саморефлексии в рамках экспедиционно-полевой практики, уделяя при этом особое внимание этике и прагматике полевой работы, размышляя над тем, как сохранить баланс между этическими принципами и прагматическими целями исследования в ходе преодоления трудностей, с которыми ученый сталкивается в экспедиционном поле. Цель всех исследователей ярко и точно обозначил С.Н. Абашин. Она состоит в том, чтобы «добавить в копилку публичных обсуждений полевых впечатлений собственные наблюдения и оценки, поставить личный эксперимент рассказа о прошедшем поле и анализа тех или иных его особенностей, задуматься и научиться говорить о поле как о проблеме».

Заключительный раздел сборника, по сути своей новаторский в исследовательском поле ААЖ, посвящен проблеме репрезентации науки, в целом, и этнологии, в особенности. В статье «Репрезентация этнологии в отечественной художественной литературе: опыт и проблемы» говорится о том, что «одной из основ стабильного развития зарубежной этнологии по праву можно считать удачную репрезентацию в литературе, которая началась еще с Редьярда Киплинга. Западная литература культурных антропологов ценит и любит за богатство сюжетов и изначально заложенный в этнологии конфликт столкновения двух культур, двух мировоззрений, двух систем ценностей». Наряду с этим, по мнению автора статьи И.А. Гринько, «самые значимые проблемы российской этнологии коренятся в коммуникации между академическим и реальным миром. Как правило, основное внимание научного сообщества уделяется научной литературе, изредка – научно-популярной, однако о таком важном инструменте репрезентации науки, как художественная литература и кинематограф, часто забывают, хотя это один из кратчайших путей до общественного сознания». И.А. Гринько делает попытку (на мой взгляд, весьма удачную), проанализировать, опыт подобных репрезентаций отечественной этнологии в художественных произведениях, полагая, что это «необходимо для четкого понимания образа науки в массовом сознании и поиска возможных путей его изменения». Авторы статьи «Некоторые практики репрезентации научного работника» Н.П. Миронова, Т. П. Филиппова, Н.Г. Лисевич на примере

комплекса фотодокументов Коми НЦ УрО РАН выделяют и рассматривают с позиций антропологии академической жизни некоторые репрезентативные практики, в которых отражаются особенности профессиональной среды научного сообщества. Они приходят к выводу о том, что «фотодокументы являются самостоятельным источником с широкими информационными возможностями и обладают значительным научным потенциалом, в том числе и для визуально-антропологических исследований в поле антропологии академической жизни».

В статье М.А. Жигуновой «Праздничные будни омской этнографии» рассматриваются не только научные традиции и инновации, но и ключевые моменты академической повседневности Омского этнологического сообщества. На материалах включенного наблюдения, воспоминаний, «корпоративного» фольклора, бесед, интервью, автобиографических заметок автор анализирует универсальные механизмы формирования и поддержания корпоративной идентичности как осознания принадлежности к научному сообществу. Особый интерес для исследовательского поля ААЖ представляет описание М.А. Жигуновой символов и ритуалов, пронизывающих весь процесс внутриорганизационной коммуникации этнологического сообщества.

Рассматриваемые в сборнике проблемы носят междисциплинарный характер и актуальны для всех, кто занимается или просто интересуется различными аспектами современного гуманитарного познания. При этом одни темы стали уже традиционным предметом изучения, а другие обсуждаются в отечественной науке впервые и являются инновацией в исследовательском поле ААЖ. Хотелось бы надеяться, что любая актуальная научная новация и, прежде всего, сама антропология академической жизни как постсоветское новаторское научное направление в отечественной социогуманитаристике «обречена стать традицией». Остается лишь присоединиться к словам Р. Рахимова, который заканчивает свою рецензию на третий том «Антропологии академической жизни» словами: «В заключение хотелось бы пожелать, чтобы антропология академической жизни в постсоветских государствах стала регулярным предметом дискуссий и новых публикаций» (Рахимов 2012).

Заключение

Безусловно, успех применения антропологического метода в исследовании академической жизни зависит от уровня рефлексии/осознания, способности сохранения интеллектуальной дистанции при взгляде на самих себя. Как тот или иной аспект академической жизни, ее культура и интеллектуальная традиция влияют на производство знания? В чем специфика антропологического метода анализа (с его стремлением во всем находить целостность и искать взаимосвязи)? Насколько сложившаяся эпистемологическая традиция влияет на современные процессы наукотворчества и насколько эффективно она способна отражать современные реалии? И наконец, как можно усовершенствовать функционирование академических институтов, повлиять на поведенческие установки исследователей, а также семантические (культурные) коды для того, чтобы более творчески и продуктивно подходить к задачам науки?

Проблема появления, зарождения, возникновения нового знания («социального знания») в связи с научной биографией исследователя волнует представителей разных наук, и, прежде всего, тех ученых, кто совершает своего рода общественный прорыв, благодаря открытому ими знанию. Наш интерес вызывает то обстоятельство, что эти открытия происходят, как прави-

ло, не только благодаря исследовательским технологиям и научным институциям, а скорее, благодаря экзистенциальному накалу того или иного вопроса, который возникал в жизни исследователя, в связке с его биографией. Обычно это происходит рефлексивно, но рано или поздно обязательно фиксируется тем фактом, что исследователь ощущает начало нового этапа своей научной биографии. По опыту известно, что с представителями нашего научного цеха этнографов/этнологов/антропологов описанная выше ситуация чаще всего возникает в экспедиционных, полевых условиях, в процессе общения с людьми.

Развитие такого научного направления как антропология академической жизни, является важным шагом на пути популяризации идеи саморефлексии в отечественных общественных науках и позволяет вынести эту проблему на широкое обсуждение в научном мире, указать на новый путь в развитии науки, суть которого – в изменении отношения научного сообщества к своей деятельности, к выходу на новый уровень самосознания благодаря саморефлексии. Подобный подход, на мой взгляд, позволит приблизить академическое сообщество к решению ключевых проблем – обеспечения самосохранения, обновления круга исследовательских тем, возможность успешного развития в дальнейшем. Речь идет не столько о поиске некоего идеального начала, абсолютной идеи культуры (ААЖ 2008), сколько о понимании – как это идеальное начало и идеальная идея зарождается, конструируется, накапливается, становится достоянием научного сообщества, им осмысливается, формулируется и в дальнейшем продуцируется. Ставится вопрос о критериях объективности и способах контроля со стороны исследователя над собственной творческой деятельностью, т.е. решается проблема безусловной необходимости саморефлексии в рамках собственной дисциплины. Ведь именно ученые сами для себя являются главными и самыми жесткими критиками. Это особенно важно сегодня в условиях глубоких внутренних трансформаций гуманитарных знаний, «изменений интеллектуального ландшафта», которые проявляют себя на фоне смены поколений ученых, интеллектуальных ориентаций в профессиональном сообществе, исследовательских парадигм, языка науки.

Для членов научного этнологического профессионального сообщества по-прежнему актуальной и приоритетной остается задача разработки стратегии упрочения идентичности антропологии/этнологии как науки. Важной составляющей этой программы должно стать осмысление в контексте постсоветского академического пространства прошлого, настоящего и будущего этнологического сообщества, саморефлексия в рамках собственной дисциплины. Успешный поиск в общественных науках требует особенно осмысленного подхода в применении методологии и исследовательских методов, но, прежде всего, критичного отношения к личности самого исследователя. Анализ истории науки показал, что в основе развития научного знания лежит не только накопление информации, но смена парадигм – методологических подходов, которые позволяют эту информацию получать. Яркий пример тому – международное антропологическое сообщество, в котором «исследование того, как происходит исследование, довольно давно превратилось не просто в популярное научное направление, но и в очень влиятельное, во многом определяющее моды на концепции, структуру научной работы, ее язык и даже стиль» (Абашин 2010: 166).

Ставка на междисциплинарный научный подход в развитии обсуждаемого исследовательского направления имеет особое значение, т.к. его грамотное использование способно даже в многократно клонированной тематике высветить и исследовать новые, актуальные проблемы. Расширение границ

отечественной этнографии и сближение ее со смежными науками – тенденция современного познания мира. Совершенно очевидно, что междисциплинарный подход к исследованию многих научных проблем, в том числе и в области антропологии академической жизни, весьма перспективен. И на сегодняшний день в этнографических/этнологических исследованиях он приобретает особую актуальность, т.к. работа в маргинальных областях, с одной стороны, «позволяет антропологам говорить о полноправном присутствии их дисциплины на общей арене научных исследований», а с другой, – сама «антропология обычно подает хороший пример междисциплинарности: полевая работа способствует тому, что исследования, как правило, простираются дальше намеченного плана, приводят к установлению тесного контакта с миром за пределами академических стен и позволяют плодотворно осмыслить проблемы в последующем диалоге с другими дисциплинами» (Харвей 2005: 29).

Библиография

ААЖ 2008 – Антропология академической жизни: адаптационные процессы и адаптивные стратегии. Т. 1 / Отв. ред. и сост. Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2008. 300 с.

ААЖ 2010 – Антропология академической жизни: междисциплинарные исследования. Т. 2 / Отв. ред. и сост. Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2010. 333 с.

ААЖ 2013 – Антропология академической жизни: традиции и инновации. Т. 3 / Отв. ред. и сост. Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2013. 380 с.

Абашин 2010 – Абашин С.Н. Рец. на: Антропология академической жизни: адаптационные процессы и адаптивные стратегии / Отв. ред. и сост. Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2008 // ЭО. 2010. № 2. С. 163–166.

АФ 2005 – Антропологический форум. Специальный выпуск к VI КЭАР. СПб., С. 6 -225.

АФ 2011 – IX КЭАР: впечатления участников // Антропологический форум. Вып. 15. 2011. С. 475–597 (<http://anthropologie.kunstkamera.ru/07/15online/>).

Боряк 2009 – Боряк Е.А. Рец. на: Антропология академической жизни: адаптационные процессы и адаптивные стратегии / Отв. ред. Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2008. 300 с. // Антропологический форум. 2009. № 11: 453–459.

Елфимов 2008 – Елфимов А.Л. О дисциплине, авторитете и прочем // Антропологический форум. Вып. 9. 2008. С. 82–90.

Кон 1993 – Кон И.С. Несвоевременные размышления на актуальные темы // Этнографическое обозрение. 1993. № 1. С. 3–8.

Корякин 2009 – Корякин К.В. Рец. на: Антропология академической жизни: адаптационные процессы и адаптивные стратегии / Отв. ред. и сост. Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2008 // Неприкосновенный запас. 2009. № 6 (68).

Комарова 2008 – Комарова Г.А. Антропология академической жизни в постсоветском контексте // Антропология академической жизни: адаптационные процессы и адаптивные стратегии. М.: ИЭА РАН, 2008. С. 5–25.

Комарова 2011 – Комарова Г.А. Антропология академической жизни как практика этнографического описания и этнологического понимания // Антропология социальных перемен / Отв. ред. Г.А. Комарова, Э.-Б.М. Гучинова. М., Росспэн, 2011. С. 11–34.

Комарова 2012 – Комарова Г.А. Опыт интеграции: междисциплинарное взаимодействие этнографии и этносоциологии. М.: ИЭА РАН, 2012.

Комарова 2012 – Комарова Г.А. Академическая жизнь: поле междисциплинарных исследований. М.: ИЭА РАН, 2012.

Кузнецов 2010 – Кузнецов А.А. «Андропарки» как объект антропологического изучения (опыт исследовательской саморефлексии) / Антропология академической жизни: междисциплинарные исследования. Т. 2 / Отв. ред. и сост. Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2010. С. 186–214.

Мамонтова 2013 – Мамонтова М. Рец. на Антропология академической жизни: междисциплинарные исследования. Т. 2 / Отв. ред. и сост. Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2010. 333 с. // АФ. Вып. 15. 2013.

Рахимов 2013 – Рахимов Р. Рец. на Антропология академической жизни: междисциплинарные исследования. Т. 2 / Отв. ред. и сост. Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2010. 333 с. // Ab Imperio. 2013. № 2. С. 354–359.

Романов, Ярская-Смирнова 2000 – Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Этнографическое воображение в социологии // ЭО. 2000. № 2. С. 18–26.

Харвей 2005 – Харвей П. О преимуществах структурной маргинальности британской социальной антропологии // ЭО. 2005. № 2. С. 25–31.

Щепанская 2005 – Щепанская Т.Б. Конструкции гендера в неформальном дискурсе профессий // Антропология профессий / Под ред. П.В. Романова и Е.Р. Ярской-Смирновой. Саратов: Центр социальной политики и гендерных исследований. Научная книга, 2005.

Aunger 1995 – Aunger R. On Ethnography. Storytelling or Science? // Current Anthropology. Vol. 36. #1. 1995. P. 97–130.

Geertz 1983 – Geertz Clifford. Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. New York: Basic Books, 1983.

Sangren 2007 – Sangren P.S. Anthropology of Anthropology: Further Reflections on Reflexivity // Anthropology Today. V. 23. #4. 2007. *

Н.В. Шалыгина

Этногендерные исследования в новейшей истории России (история и перспективы)*

Становление этногендерных исследований в российской науке формально относится к началу 1990-х годов. Именно в это время (1992 г.) в Институте этнологии и антропологии РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая по инициативе молодых ученых-американистов и при активной творческой поддержке директора Института ИЭА РАН д.и.н. В.А. Тишкова (с 2011 г. – академика РАН) было создано новое структурное подразделение «Сектор этногендерных исследований» (СЭГИ).

Первый этап. Основное методологическое направление работы СЭГИ изначально задумывалось как междисциплинарное, соединяющее в себе не только исследовательские усилия других подразделений ИЭА РАН, но и результаты изысканий ученых смежных институтов РАН – социологов, историков, психологов, демографов, искусствоведов, лингвистов и т. д., прямо или косвенно затрагивавших проблематику полоролевого поведения. Тем более что в Институте этнографии в 1987–1992 годах уже работал интердисциплинарный научный семинар «Пол и возраст в современных этнокультурных процессах» (рук. – Г.А. Комарова и В.А. Шнирельман), в деятельности которого участвовали и будущие гендеристы: М.Г. Котовская, Н.Л. Пушкарева, Н.В. Шалыгина (Комарова 2012). Сотрудники АН СССР в перестроечные годы разрабатывали междисциплинарные проекты «Семья и семейный быт у народов СССР» (рук. – О.А. Ганцкая), «Культурная деятельность в сфере семьи и передача культуры» (рук. – И.А. Гришаев), участвовали в реализации международного проекта Венского научного центра «Направление и тенденции культурного развития в современном обществе, взаимодействие национальных культур», а также провели целый ряд этносоциологических, этноэкологических, этностатистических обследований народов СССР, в ходе которых Г.А.Комарова впервые в отечественной науке разрабатывала тему «Фактор пола в этнокультурных и в этносоциальных процессах» (Комарова 1985, 1987, 1989).

В итоге приоритетное внимание в работе вновь созданного СЭГИ стало уделяться результатам полевых исследований сотрудников ИЭА РАН, которые на протяжении десятилетий проводились в различных регионах СССР, а с 1991 года – на территории Российской Федерации и некоторых бывших советских республик. Экспедиционная фактография, собранная несколькими поколениями сотрудников ИЭА РАН и хранящаяся в архивах института в виде полевых дневников, а также аудио-, кино- и видеоматериалов, позволяла, что называется, «из первых рук» получать информацию об этнокультурных различиях в традициях мужчин и женщин нашего многонационального государства. Причем, как с точки зрения материальной культуры (одежда, пища, украшения, домашняя утварь, убранство мужской и женской половины крестьянского дома, орудия труда и т. д.), так и с позиций эволюции духовной жизни населения национальных республик (верования, свадебные и родильные обряды, запреты, правила поведения и т. д.). По сути, в распоряжении отечественных исследователей этнокультурных различий «мужского» и «женского» в нашей стране (термин *гендер* в российской этнологии по-

* Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований РАН «Историческая память и российская идентичность».

явился только в начале 1990-х гг.) оказался богатейший и до сих пор не до конца востребованный этнографический материал, охватывающий такие регионы, как Северный Кавказ (Кабардино-Балкария, Дагестан, Ингушетия), Закавказье (Армения, Грузия, Азербайджан), Средняя Азия (Таджикистан, Туркмения), Крайний Север, Русский Север, Центрально-черноземные регионы.

Важно и то, что уже на первом этапе работы СЭГИ (первая половина 1990-х гг.) планировались кросскультурные сопоставления особенностей полоролевого поведения в различных российских регионах с привлечением исследовательских методик, в том числе и физических антропологов ИЭА РАН. Так, неоценимую помощь в становлении СЭГИ была оказана сотрудниками Лаборатории пластической реконструкции ИЭА РАН, Татьяной Сергеевной Балуевой (заведующей Лабораторией с 1996 по 2012 г., вплоть до ее кончины) и Елизаветой Валентиновной Веселовской, возглавляющей сегодня в ИЭА РАН работы по реконструкции антропологических типов людей прошлых исторических эпох. Еще весной-летом 1991 г., когда планировалась международная этнографическая выставка в г. Сан-Хуан (Пуэрто-Рико), Т.С. Балуева и Е.В. Веселовская по просьбе организатора выставки с советской стороны, сотрудника Сектора народов Америки ИЭА РАН Н.В. Шалыгиной создали несколько пластических палеореконструкций мужчин и женщин Северо-Востока нашей страны, с целью демонстрации целостного историко-антропологического подхода к изучению эволюции гендерных особенностей населения России. К сожалению, участие СССР в международной этнографической выставке в г. Сан-Хуан так и не состоялось, в силу произошедшей в декабре 1991 г. геополитической катастрофы и распада СССР как государственного субъекта.

Характерной особенностью междисциплинарной направленности первого этапа работы СЭГИ стало и творческое взаимодействие с отечественными историками-зарубежниками. Такому акценту в деятельности отечественных гендерных антропологов способствовало как минимум два объективных обстоятельства. Во-первых, сама первичная группа молодых ученых, решивших заняться изучением гендерных проблем, тогда состояла исключительно из специалистов в области американистики – Владислав Стельмах (Центральная Америка), Наталья Шалыгина (испаноязычная иммиграция в США), Ирина Соколова (Куба), Мария Золотухина (американская семья), Мария Котовская (индейцы Северо-Востока Бразилии). Использование уже накопленного материала для кросс-культурного исследования гендерных проблем с учетом исторических реалий представлялось вполне логичным и перспективным. Тем более, что у всех сотрудников СЭГИ была общая образовательная база – исторический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и первоначальная профессиональная ориентация на изучение этногенетических процессов в Южной и Северной Америке. А во-вторых, в период выделения СЭГИ в самостоятельное структурное подразделение многие ученые-зарубежники института разрабатывали тему семьи и семейных отношений как приоритетную в общем исследовательском плане ИЭА РАН.

Поэтому именно зарубежная фамилистика с позиций исторического развития стала первым методологическим направлением гендерной антропологии в истории отечественной науки. Весь коллектив СЭГИ принял участие (совместно с сотрудниками самого сектора Америки) в издании коллективной монографии «Семья у народов Америки» (1991 г.), работа над которой хоть и началась ранее, но в итоге по времени совпала с утверждением методологических основ самой гендерной антропологии. Общая исследовательская концепция коллективной монографии включала в себя

обязательное раскрытие этнорасовых проблем «мужского» и «женского в Северной Америке, Центральной Америке и Южной Америке, особенности домашней жизни с точки зрения полоролевого поведения, городские и сельские нюансы отношений полов, частично – государственную политику (без специальной артикуляции правовых вопросов, но с учетом временных изменений в регуляции семейных отношений в целом со стороны государственных властей той или иной страны). Хотелось бы особенно подчеркнуть, что рассмотрение и характеристика деятельности общественных организаций в урегулировании семейных вопросов, – да и вообще в разработке семейной политики, – в концепцию коллективной монографии по изучению семьи у народов Америки в то время не входили. И причина не только в том, что систематическое изучение основ гражданского общества началось в нашей стране несколько позже.

На мой взгляд, гораздо важнее то, что в 1990–1991 гг. еще не настало время для полноценной интеграции социологического дискурса в гендерное направление отечественной антропологии. Пожалуй, и сугубо социологические теории в области изучения семьи в нашей стране только начинали разрабатываться (Антонов 1994). «Не подоспела» еще и экономическая теория выбора брачного партнера Гэри Беккера (Becker 1994), ставшая столь популярной для междисциплинарных исследований семьи впоследствии. Безусловно, огромное количество зарубежной научной литературы по семье с перспективой на междисциплинарность уже несколько десятилетий успешно «работало» в академическом пространстве. В частности, в рамках неоклассической экономической теории итак называемого трансакционного подхода к изучению семьи еще в 1950-х гг. стали известны работы Оливера Уильямсона, Роберта Поллака, Рональда Коуза, Майкла Уоктера и др. Однако, в российской антропологии семьи и зарубежные социологические работы тогда не нашли своего места.

А вот исторический дискурс в рамках российских антропологических работ по изучению зарубежной семьи с самого начала оказался вполне плодотворным, инициировав глубокие и содержательные исследования эволюции гендерных отношений в процессе этногенеза различных народов Америки, Европы и Азии.

Справедливости ради следует сказать, что попытки взаимопроникновения социологических и антропологических методик в рамках отечественных гендерных исследований предпринимались и до возникновения СЭГИ в структуре ИЭА РАН, непосредственно накануне и в год развала СССР. Правда, инициированы эти попытки были не отечественными учеными и даже вовсе не учеными. Строго говоря, и к гендеру как таковому эти попытки также имели весьма опосредованное отношение – скорее речь шла о женских исследованиях, как предтечи гендерной проблематики. Тем не менее, в истории становления гендерных исследований в России эта попытка сыграла свою роль, и немалую.

В 1990 г. жена одного из высокопоставленных сотрудников посольства Мексики в Москве Анна-Мария Гонсалес, активная участница женского движения в Мексике, обратилась с предложением к социологам, этнологам, психологам и демографам г. Москвы провести комплексное анкетирование женщин в крупных городах нашей страны, включая Среднюю Азию и Северный Кавказ, с целью ответа на вопрос, что же собой представляет «феномен советской женщины». В дальнейшем Анна-Мария планировала использовать результаты этого исследования для сравнения их с результатами аналогичного исследования у себя на родине, в Мексике. Социологи составили макет анкеты, которая включала в себя достаточно простые, но многочисленные вопросы для женщин типа: «*Что*

вы читаете на досуге?», «*Кто вам помогает воспитывать ребенка, если вы работаете?*» и т. п. С точки зрения этнолога (Н.В. Шалыгиной), включенного в команду разработчиков анкеты, предлагать подобного рода вопросы одновременно всем женщинам, представителям различных этнических групп и различных конфессий, проживающих в СССР, было некорректно. Поэтому в анкету были внесены исправления, позволявшие учесть многонациональный состав респондентов. Точно так же были учтены и поправки психологов. В итоге аналитическая записка по результатам исследования отразила относительно адекватную картину поздней советской реальности.

Несмотря на недостаточно академический уровень российско-мексиканского исследования 1990–1991 гг., оно, безусловно, оказалось историческим, т. к. проводилось в период распада советской политической системы в нашей стране, и, значит, зафиксировало то состояние менталитета советских женщин, которое уже было «уходящей натурой», со всеми вытекающими отсюда выводами. Кроме того, анкетирование женщин оказалось и самым масштабным на тот период, т. к. охватило более 2-х десятков советских городов, что также позволяет отнести полученный опыт междисциплинарного исследования к разряду уникальных. Можно к этому добавить и тот факт, что результаты данного анкетирования, не будучи полноценно изданными в нашей стране, до сих пор приводятся и анализируются в статьях и монографиях отечественных исследователей (Котовская, Шалыгина 1995). Летом 1993 г. СЭГИ впервые проводит в Москве крупнейшую в новейшей истории России международную конференцию «Женщина и свобода», которая объединила всех специалистов, уже работавших на тот момент в области гендерных исследований в нашей стране (более тысячи человек). Среди приехавших на конференцию оказалось и много зарубежных гостей, что, конечно же, придавало всему мероприятию особый вес. Сегодня принято считать, что конференция «Женщина и свобода» символизировала собой не только признание, но и включение этногендерных исследований в общую «семью» российских гендеристов. Но, с другой стороны, именно это единение одновременно ознаменовало собой и окончание первого этапа становления этногендерных исследований как самостоятельного проекта в новой научной парадигме.

Первоначальная идея российской гендерной антропологии была ориентирована на сравнительное изучение особенностей мужского и женского поведения, выявление культурно-индивидуального, традиционного, архетипического, того, что составляет ядро этнической самоидентификации. При этом перед СЭГИ отнюдь не стояла задача выявления сущностно неизменного (эссенциального) в распределении мужских и женских ролей на уровне универсального феномена. Иными словами, основной тезис биологического детерминизма (неоспоримость бинарной оппозиции «мужского» и «женского» в социальных процессах) не рассматривался как главное целеполагание.

Концепция СЭГИ состояла в другом: показать (и доказать) реальное многообразие и культурную самодостаточность различных форм гендерных отношений в мире, объективную обусловленность их возникновения и развития под воздействием целого ряда региональных факторов (климатических, ландшафтных, экономических, генетических и др.). Создание такой своеобразной «гендерной карты народов мира» позволило бы не только объяснять эволюционные подвижки в гендерных отношениях представителей различных культур, но и вполне плодотворно соотносить подобного рода изменения с социальными теориями различных направлений. И тогда, скорее всего, этногендерному проекту не пришлось бы искать свое собственное «ме-

сто под солнцем» между многочисленными социологическими концепциями социального конструирования гендера (П. Бергер, Т. Лукман, Кэндес Уэст, Дон Зиммерман) и классическими направлениями социальной теории (структурным функционализмом Э. Дюркгейма, полоролевой теорией Т. Парсонса, драматургическим интеракционизмом И. Гоффмана).

Однако международная конференция «Женщина и свобода» 1993 г., можно сказать, захлестнула к тому времени еще не до конца созревшую самостоятельность этногендерного проекта и фактически включила его в феминистский дискурс. А учитывая тот факт, что феминистские теории евроатлантического образца к 1990-м гг. представляли собой уже вполне убедительный идеологический продукт, развитие этногендерного проекта на ближайшие годы в известной степени оказалось предопределено. Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что большинство научных проектов в 1990-х гг., по сути, были лишены государственного финансирования, учитывая драматизм смены социально-политической формы правления и экономическую разруху в нашей стране, а также полное отсутствие сколько-нибудь внятных представлений о будущем.

Второй этап. При сложившихся обстоятельствах этногендерный проект, как и многие другие гуманитарные проекты, оказался в положении аффилированной структуры, когда взамен продвижения в российское общественное сознание феминистских идей (причем, не только либеральных, но и радикальных) исследователи получали некоторое финансирование от зарубежных фондов (прежде всего, фонд МакАртуров и фонд Г. Форда), возможность участвовать в конференциях, семинарах и т. п. Очевидным плюсом такого положения вещей, правда, стала возможность для российских специалистов не только обмениваться идеями и исследовательскими методиками между собой, но и получать представление о передовых западных наработках в области трансформации гендерных отношений.

Практически сразу стало очевидным, что основным методологическим подходом в евроатлантических методиках изучения трансформации гендерных отношений является ориентация на культурную глобализацию как условие трансляции ценностей западного общества в другие культуры. Именно в таком ключе и проводилось большинство исследований СЭГИ в 1993–2000 гг. – сочетание российского полевого материала и западных методик изучения гендера. Большая часть научной литературы поступала на английском языке. Но приблизительно с 1996 г. целая серия наиболее популярных в англоязычной научной среде изданий начала переводиться и на русский язык сотрудниками Центра независимых социологических исследований (ЦНСИ), созданного в начале 1990-х гг. на базе Ленинградского отделения Института социологии Академии наук СССР.

Социологические исследования ЦНСИ велись активно и изначально были ориентированы на конструктивистский подход в гендерных исследованиях, решительно отвергнув позитивистский и функционалистский подходы, характерные для советских социологических школ. При этом качественные методы изучения гендерных проблем, на которые сделали ставку российские социологи, неизбежно пересекались и с сугубо антропологическими подходами, и с психологическими. Например, отказ социологов от изучения исключительно социальных ролей индивидов (позитивистский подход) в пользу изучения самих исполнителей этих социальных ролей и вариаций их социального выбора (теория драматургического интеракционизма Дж. Мид, И. Гоффман и другие) не просто был понятен антропологам, но и активно ими использовался как классический метод социально-антропологических исследований.

Проведенное СЭГИ в 1994–1995 гг. исследование «Факторы насилия в среде московских школьников» (грант фонда Карнеги), было основано на методе ситуативного моделирования, что, в свою очередь, использовалось и социологами, и психологами. Применение междисциплинарных методик в этом исследовании позволило, кстати, сделать достаточно глубокие выводы о различиях в восприятии этнического конфликта и реакциях на него среди девочек и среди мальчиков. Так, выяснилось, что мальчики-старшеклассники (10–11 классы) гораздо более глубоко усваивают информацию об этнических особенностях окружающих, поступающую к ним и в школе, и дома, и в неформальной среде сверстников. Однако в ситуации уже наступившего конфликта с этнической окраской предпочитают в него не вмешиваться, а просто отойти в сторону (около 70%). Девочки же, напротив, оказались практически индифферентны к этнической информации об окружающих в повседневной жизни, но в ситуации этнического конфликта продемонстрировали готовность активно выступить в защиту оскорбленного (тоже около 70%). Полученные результаты были интерпретированы с позиций контрастивного анализа, имеющего дело с категориями культурных феноменов в целостном контексте ассоциаций. Подобного рода анализ, использующийся как в психологии, так и в культурологии, позволил прийти к заключению, что однозначно более активная позиция девочек в ситуации этнического конфликта может быть объяснена филогенетическими коннотациями, а позиция мальчиков – онтогенетическими, что, по-видимому, не может не учитываться и в понимании этнических конфликтов, и в их урегулировании.

Социологические методики качественного анализа активно использовались специалистами СЭГИ и во второй половине 1990-х годов. Особенно востребованным такой подход оказался в исследованиях трансформаций ценностных ориентаций молодежи постсоветского периода. Было реализовано несколько пролонгированных во времени проектов, касающихся изменений в брачных ориентациях и репродуктивном поведении российской молодежи. Результаты были опубликованы как в России, так и за рубежом (Kotovskaia&Shalygina 1996; Котовская, Шалыгина 2013: 160–165 и др.). Хотелось бы подчеркнуть, что интерес со стороны западных коллег к гендерным исследованиям ценностных ориентаций молодежи, проводившихся СЭГИ, все-таки по большей части касался фактографического материала, чем использовавшихся методологий и теоретических подходов. И, надо сказать, собранный в достаточно жестких условиях экономического кризиса материал и сегодня представляет собой немалую ценность, т. к. изменения в сознании молодежи происходили с калейдоскопической скоростью и, как правило, оставались не отрефлексированными.

Исходные задачи этой категории исследований не всегда формулировались самими антропологами СЭГИ. Чаще всего использовались результаты уже «запущенных» в медийное пространство опросов (молодежные журналы, газеты и т. п.). Оставалось лишь подобрать адекватную методику обработки материала. И в этом случае нередко использовался синтез количественных и качественных методов социологического исследования. Компьютерная обработка данных (на уровне того времени) позволяла провести корреляционный анализ и обозначить смысловые блоки на общей шкале ценностей. Нельзя сказать, чтобы в результате этой работы были получены особенно фундированные результаты, но некие закономерности все же были установлены. Так, оказалось, что брачные установки молодых девушек ориентированы почти исключительно на статусные и финансовые характеристики будущего партнера, что сама система поиска брачного

партнера лишена хоть сколько-нибудь вразумительной эмоциональной мотивации, а собственные данные будущие жены и материв нашей стране позиционируют только как товарную категорию.

Тематику брачного партнерства наши западные коллеги и держатели фондов, как выяснилось, уже в 1990-х гг. хотели бы видеть в более расширенном варианте. Но планы этногендерных исследований СЭГИ в тот период были ориентированы, скорее, на общие проблемы культурных заимствований в изменившейся политической обстановке, чем на нюансы сексуального поведения. Так что тематического взаимопроникновения в междисциплинарном пространстве на тот момент не произошло. В отличие, кстати, от независимых российских социологов, разрабатывавших именно широкий спектр гендерных проблем, в том числе и с ориентацией на варианты сексуально-брачного поведения.

Культурные заимствования в этногендерных исследованиях на несколько лет стали приоритетным направлением с акцентом на разнице адаптивного потенциала мужчин и женщин. Одним из первых исследований в этой сфере стало изучения реакций российской молодежи на западные ценности («Образы Запада в менталитете российской молодежи»), которое проводилось в середине 1990-х годов при поддержке Российского государственного научного фонда (РГНФ). Главная трудность, с которой столкнулся исследовательский коллектив СЭГИ на первом этапе этой работы, заключалась в интерпретации ключевых, мировоззренческих понятий темы. С позиций постпозитивистской социологии, утвердившейся в гуманитарном знании несколькими годами ранее (Randall Collins 1989:124–139), общество – это вид дискурса, один из вариантов текста, который в разные времена может читаться разными способами. Постсоветское общество середины 1990-х годов «читалось» двояко: и как «смутное время» потери ориентиров национального-государственного развития, и как время новых возможностей. Подобного рода дихотомия «плюсов» и «минусов» в оценке происходивших тогда событий (сохраняющаяся, кстати, и сегодня), предопределила мировоззренческую платформу всего исследования. Но с позиций культурной антропологии, ориентированной на анализ конкретных аспектов жизнедеятельности человека, выяснилось, что мировосприятие российской молодежи в быстро меняющихся социально-экономических и политических условиях откровенно диверсифицировано, разобщено, раздроблено. И изучать новую реальность надо было именно в междисциплинарном ключе антропологической науки в целом (медицинская антропология, юридическая антропология, этология, коммуникативная антропология и т. д.). Однако все ответвления антропологии в то время только становились на ноги в отечественной науке, в силу чего полноценное раскрытие темы оказалось делом будущего.

Тем не менее, в рамках этого исследования удалось установить факт, что усвоение инокультурных ценностей среди российской молодежи имело в то время заметные гендерные различия. Как оказалось, юноши проявляли больше интереса к элементам западной культуры (музыка, одежда, способ проведения досуга и т. п.), но по среднестатистическим показателям не были склонны целиком заменять ими привычную для них с детства модель поведения. Девушки же и в этом случае продемонстрировали прямо противоположные, по сравнению со своими сверстниками, поведенческие схемы: информационная составляющая в области культурных заимствований их волновала значительно меньше, чем, скажем, некое активное действие, вроде переезда за рубеж через замужество.

В этой связи в 1998–2000 гг. СЭГИ провел социально-антропологическое исследование брачных агентств г. Москвы и

г. Йошкар-Олы, где были использованы как традиционные антропологические методы сбора информации (наблюдение и изучение статистических данных, любезно предоставленных сотрудниками агентств), так и новые методы – интерактивный диалог и биографический метод (с согласия клиентов брачных агентств), а также социологическое анкетирование. В рамках этого междисциплинарного исследования впервые проводилось и изучение отдельно случая (case-study). Надо сказать, что результаты этого исследования во многом совпали с выводами психолога Ольги Маховской (Институт психологии РАН), которая посвятила феномену российской женской эмиграции, изучаемой на основе отдельных судеб, свою ставшую очень популярной книгу «Соблазн эмиграции, или Женщинам, отлетающим в Париж» (Маховская 2003). Так, активность российских девушек, стремящихся выйти замуж за иностранца, по общему мнению исследователей, и тогда, и сегодня может квалифицироваться как авантюризм, густо замешанный на беспочвенных иллюзиях и никак не подкрепляемый рациональным знанием. Или хотя бы попыткой узнать о другой культуре чуть больше, чем содержание рекламных роликов.

Но, условно говоря, «социологический период» развития СЭГИ (т. е. период исследовательской работы при доминирующей ориентации гендерных исследований на качественную социологию и феминистский дискурс) оказался богат не только на заимствования методологического опыта (кстати, взаимные), но и на творческое взаимодействие в сфере проведения междисциплинарных практических конференций. Одним из наиболее удачных форматов, по-видимому, можно считать так называемые летние школы по гендерным исследованиям. Проект был задуман в 1996 г. Московским центром гендерных исследований (МЦГИ), который объединил свои усилия с университетами из российских регионов (Тверь, Самара, Ростов). Суть проекта летних школ заключалась в интерактивном общении уже состоявшихся специалистов в области гендерных исследований нескольких дисциплинарных направлений (социологи, психологи, философы, антрополог, лингвисты и др.) со студентами различных университетских кафедр.

Проект, безусловно, имел успех. Это было своего рода коллективное погружение в гендерную тематику, общение нон-стоп едва ли не 24 часа в сутки. Среди обсуждаемых тем были такие, как «Гендерный подход к отечественной истории» (Н. Пушкарева), «Постмодернизм: феминистская критика» (И. Костикова), «Общество сквозь призму женского опыта» (О. Здравомыслова), «Феминистская критика семейных теорий» (Т. Гурко), «Социология повседневности и качественные исследования гендерных стереотипов» (Е. Мещеркина), «Феминистская эпистемология» (А. Темкина) и др. Правда, междисциплинарный диалог в рамках гендерных школ все же был заметно ориентирован на одномерную, феминистскую эпистемологию, что в известной степени усложняло взаимопонимание между участниками, а для этнологов нередко оказывалось и вовсе неприемлемым. Например, хорошо известно, что категория свободы в различных культурах может иметь совершенно различные интерпретации и коннотации, и что рассуждения о свободе, скажем, в Скандинавии вряд ли совпадут по смыслу с аналогичными рассуждениями относительно народов Северного Кавказа. Тем не менее, в рамках феминистски ориентированных дискуссий такого рода сопоставления чаще всего не имели антропологической расшифровки.

Третий этап (2000-е годы). Феминистская установка на глобальную деконструкцию сложившегося в мире порядка и объявление гетеросексуальности лишь вариантом «изобретательности» культур (Rubin 1975: 157–210) способствовали постепенному

дистанцированию этногендерных исследований от феминистского дискурса в исследовательском пространстве. И это понятно, т. к. по самой своей сути этногендерные исследования ориентированы на ясно выраженные границы и традиции фемининности и маскулинности в культурах.

Однако научные разработки этногендерных проблем СЭГИ этого периода проходили в русле изучения «мужского» и «женского» в различных культурах почти исключительно с позиций фактологического знания (совокупности примеров). Такое позитивистски-фрагментарное изучение культур, с точки зрения авторитетных ученых, сотрудников ИЭА РАН, никак не соответствовало состоянию этнологической науки на начало XXI в. (Белик 2009: 20). Гораздо более актуальным, по-видимому, все-таки был бы подход, который А.А. Белик называл интегративным анализом, т. е. соединение антропологического знания с биологическими и этнологическими характеристиками человека.

Тем не менее, междисциплинарность в этногендерных исследованиях и в это время все же присутствовала, т. к. конкретные знания о «мужском» и «женском» в различных культурах мира оказались востребованы в сфере этнокультурного консалтинга.

Развитию такого прикладного направления очень способствовал тот факт, что, как уже упоминалось, специалисты СЭГИ в основном были зарубежниками-регионалами, долгие годы занимавшимися углубленным изучением того или иного региона. Глубокое знакомство с культурными особенностями изучаемой страны не только позволяет быстрее и легче находить общий язык в профессиональном сообществе глобализирующегося мира, но и принимать активное участие в его трансформациях.

В начале 2000-х гг. СЭГИ возглавила Ирина Михайловна Семашко, известный индолог и полевик, занимавшая до этого должность заместителя директора ИЭА РАН. На протяжении длительного времени И.М. Семашко и А.Н. Седловская исследовали проблемы семьи и брака в различных регионах Индии (Бихар, Джаму и Кашмир, Махараштра и др.). Причем исследования семьи проводились не в социологическом ключе и даже не с использованием социологических теорий, а с точки зрения современного восприятия культурного многообразия в глобальном мире. Такой подход, основанный на изучении «исторических частностей» в рамках эволюционных процессов, с точки зрения И.М. Семашко и А.Н. Седловской, оказался весьма плодотворным, т. к. позволил объединить историзм, учитывающий культурно конкретное, с вызовами современного общества. Например, широко обсуждаемый в современной Индии случай нарушения прав человека в штате Матхья-Прадеш, когда государство выступает спонсором процедуры медицинского осмотра девушек перед бракосочетанием с целью проверки сохранения ими девственности (процедура, известная так же, как «тест на целомудрие») неизбежно вступает в противоречие с требованиями феминистских организаций, выражающих возмущение подобными действиями властей. Объяснение антропологов, опубликованные СМИ, хоть и не решили проблему целиком, но позволили снизить накал страстей и наладить диалог правозащитных организаций и государства. В этом – и подобных ему – случаях роль этнолога, который, кстати, своими знаниями способствует урегулированию конфликтов, не давая им войти в полную силу, сегодня постепенно активизируется.

Использование результатов гендерных исследований в консалтинговой сфере как междисциплинарное направление применялось специалистами СЭГИ и в отношении других регионов мира. К началу второго десятилетия XXI в., когда в разы вырос спрос населения на посещение других стран (или переезд в новую страну на постоянное ме-

сто жительства), выяснилось, что мало кто представляет себе реальные трудности вхождения в новую, инокультурную среду. Тем более, если в новой среде существуют особо строгие (или, наоборот, – почти отсутствуют) полоролевые детерминанты.

В 2001–2003 гг. было проведено кросскультурное исследование адаптационных возможностей испаноязычных и русскоязычных иммигрантов в нескольких юго-западных штатах США – Калифорния, Аризона, Нью-Мехико, Техас (Н.В. Шалыгина). Исследование включало в себя одновременное использование нескольких методов полевой работы: 1) включенное наблюдение (как полное, так и частичное); 2) структурированное и неструктурированное интервью; 3) аудиовизуальная фиксация объектов наблюдения; 4) изучение нарративных источников (архив Русского центра в Сан-Франциско); 5) изучение отдельных случаев (кейс-стадис); 6) «насыщенное описание» К. Гирца.

Результаты исследования позволили сделать вывод о так называемом гендерном дифференциале социокультурной адаптации в инокультурной среде. По сути это означает, что в условиях необходимости вырабатывать адаптационные навыки женщины оказываются значительно более гибкими и стрессоустойчивыми, тогда как мужчины намного труднее расстаются с такими стереотипными «преимуществами», как доминирование при патриархатном укладе семейных отношений, сложившийся тип занятий и т. д. Способность женщины к функциональной поливариантности поведения, значительно превышающей аналогичные качества мужчин, еще более увеличивают «дельту успешности» между ними. В итоге локомотивом адаптации в семье становится именно женщина, что сказывается и на ее статусе (как семейном, так и социальном).

Подобного рода выводы способствовали разработке техники проведения тренингов по формированию мужских и женских адаптационных схем при вхождении в инокультурную среду. Эти техники были успешно апробированы Н.В. Шалыгиной в процессе реализации совместного российско-итальянского проекта «Трудовые женщины-мигранты в российских городах» (2009–2011 гг., грант Европарламента). Тренинги проводились как в России, так и в Италии (г. Милан) с представителями женских общественных организаций России, имеющих дело с переселенцами-мигрантами, приезжающими из бывших советских республик. Таким образом, данные исследования были квалифицированы как имеющие серьезное практическое значение.

Но данные региональных исследований, помимо прикладного значения, имели и вполне академическое назначение как источник информации и учебного материала. В СЭГИ на основании этих исследований и аналогичных исследований представителей смежных дисциплин было опубликовано несколько сборников статей: «Гендерные стереотипы в прошлом и настоящем» (2003 г.); «Мужчина и женщина в современном мире: меняющиеся роли и образы» (1999 г.) и т. д.

Сборники выходили как серия, в издательстве ИЭА РАН и со своим собственным логотипом. Тематический диапазон статей говорит сам за себя: «Медико-биологические проблемы, связанные с развитием женского организма в постчернобыльской реальности» (Тегако Л.И, Марфина О.В.); «Экогенетические аспекты изучения соматотропного гормона в популяциях Памира» (Степанова А.В.); «О корреляции некоторых признаков внешности на примере популяции курдов» (Веселовская Е.В.); «Язык, этническая идентичность и антропологический тип группы в условиях перемен: гендерный аспект» (Аксянова Г.А.); «Этологические аспекты формирования гендерных ролей в современ-

ном калмыцком обществе» (Бутовская М.Л., Воротникова О.С.); «Образы идеальной супруги (супруга) и их трансформации в средневековой Руси и России раннего Нового времени (XII–XVII вв.); «Гендерный аспект социализации у народов Кавказа» (Пчелинцева Н.Д., Соловьева Л.Т.); «Оппозиция «мужчина-женщина» в традиционном африканском обществе» (Ксенофонтова Н.А.); «Политическая корректность и гендерный этикет языкового этикета в США» (Остроух А.В.); «Социальный и эротический стереотип мужественности в традиционной и современной культурной среде» (Окладникова Е.А.) и др.

Четвертый этап. В 2006 г. генеральная концепция работы СЭГИ претерпела еще одно изменение, в связи со сменой руководства. Доктор исторических наук, профессор Наталья Львовна Пушкарева, историк-медиевист и русист по своему базовому образованию (МГУ им. М.В. Ломоносова), является создателем отечественной школы женской и гендерной истории, основателем общественной организации «Российская ассоциация исследователей женской истории» (РАИЖИ), которая на своих ежегодных конференциях собирает ученых, преподавателей, студентов, общественных деятелей, специалистов не только самых различных дисциплин, но и учебных, и научных центров, работающих сегодня с этногендерными проблемами в самых отдаленных регионах России.

Сохраняя приверженность междисциплинарному подходу в разработке гендерных проблем и в подготовке молодых специалистов, СЭГИ сегодня вновь особенно активно использует феминистский дискурс в сочетании с методиками микроисторических исследований и историей повседневности. Что же касается географии исследовательского интереса, то она заметно сузилась, ограничиваясь сегодня почти исключительно изучением российского материала. С одной стороны, такая сосредоточенность на отечественных проблемах, безусловно, приносит свои плоды, углубляя и расширяя в новых исторических условиях наши знания о собственной стране. Но, с другой стороны, все же мы сегодня живем в глобальном мире, который неизбежно оказывается сопряженными с параллельным глобализации процессом – глокализацией, т. е. возрождением локальности и усиленной самоидентификацией культур (Бек 2003: 24–54). Единственное, но более чем перспективное направление в зарубежной этногендерологии связано с изучением русского мира в Китае (О. Курто).

С всемирными процессами связаны и другие ближайшие перспективы развития междисциплинарности СЭГИ. Прежде всего, расширение глобального информационного пространства фактически предопределяет использование медийных технологий, включая пиар и рекламу, в качестве обязательных объектов при рассмотрении трансформаций общественного сознания. Гендерные технологии в рекламе, например, являются сегодня предметом актуальных разработок в самых различных дисциплинах. И в этом смысле гендерная этнология тоже никак не может «отмалчиваться».

Строго говоря, изучение технологий (и, в первую очередь, медийных) распространения идей радикального феминизма по всему миру и раньше входило в круг профессиональных интересов СЭГИ. Но сегодня, когда обстановка в сфере манипуляций массовым сознанием по поводу конструирования сексуальности выросла едва ли не на порядок, а проблема возможного разнообразия гендерных отношений вышла далеко за рамки узко научного внимания, охватив в том числе и правовое, и даже политическое пространство, представляется совершенно необходимым включить данное направление этногендерных исследований в число наиболее актуальных.

Библиография

Антонов 2004 – Антонов А.И. Социология семьи. М., 2004.

Бек 2003 – Бек У. Космополитическое общество и его враги // Журнал социологии и социальной антропологии. 2003. № 3.

Белик 2009 – Белик А.А. Культурная (социальная) антропология. М., 2009.

Комарова 1985 – Комарова Г.А. О роли фактора пола в этнокультурных процессах // Статистико-этнографические исследования в ЧАССР. Чебоксары, 1985.

Комарова 1987 – Комарова Г.А. Женщина и мужчина: отношение к традиционной культуре // Расы и народы. № 17. М.: Наука, 1987.

Комарова 1989 – Комарова Г.А. Современная чувашская женщина в семье и в обществе (по материалам этностатистических обследований). М.: ИЭА РАН, 1989.

Комарова 2012 – Комарова Г.А. Опыт интеграции. М.: ИЭА РАН, 2012.

Котовская, Шалыгина 1995 – Котовская М.Г., Шалыгина Н.В. Сделает ли российская женщина счастливым своего мужа? // Социологические исследования. 1995. № 4. С. 65–73.

Котовская, Шалыгина 2013 – Котовская М.Г., Шалыгина Н.В. Слом гендерных стереотипов в массовом сознании россиян // Российская гендерная история с «юга» на «запад»: прошлое определяет настоящее. М., 2013.

Маховская 2003 – Маховская О. Соблазн эмиграции, или Женщинам, отлетающим в Париж. М.: ПЕРСЭ, 2003.

Becker 1994 – G.S. Becker. Assortative Mating in Marriage Markets // Becker G.S. A Treatise on the Family. Cambridge; London: Harvard University Press, 1994.

Kotovskaia & Shalygina 1996 – Kotovskaia M. & Shalygina N. Love, Sex and Marriage – the Female Mirror: Value Orientations of Young Women in Russia // Pilkington H. (Hrsg.). Gender, Generation and Identity in Contemporary Russia. London: Routledge, 1996. P. 121–131.

Randall Collins 1989 – Randall Collins. Sociology: Proscience or Antiscience? // American Sociological Review. February 1989. V. 54.

Rubin 1975 – Rubin G. The Traffic in Women: Notes on the “Political Economy” of Sex // R. Reiter (ed.) Toward an Anthropology of Women. N.Y.: Monthly Review Press, 1975.

Раздел II
ОПЫТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭТНОГРАФИИ

В.А. Шнирельман

Междисциплинарный подход и этногенез*

При изучении этногенеза и этнической истории народов мира отечественные специалисты традиционно обращались, прежде всего, к материалам этнографии, лингвистики, археологии и палеоантропологии. Между тем в 1980–1990-е годы сравнительно-историческое языкознание сделало колоссальный рывок вперед и по праву заняло особенно важное место в кругу этих наук. Это относится в первую очередь к новейшим исследованиям по индоевропейским (В.В. Иванов, Т.В. Гамкрелидзе), афразийским (И.М. Дьяконов, А.Ю. Милитарев), австронезийским (Р. Бласт, Ю. Сирк, И.И. Пейрос), австроазиатским (П. Бенедикт, И.И. Пейрос), синотибетским (П. Бенедикт, С.А. Старостин, И.И. Пейрос), северокавказским (И.М. Дьяконов, С.А. Старостин, С. Николаев), дравидийским (Д. Макальпин, М.С. Андронов), бантусским (Д. Гринберг, М. Гасри) и некоторым другим языкам и языковым семьям. Реконструируя обширные пласты протолексики, лингвисты получают реальную возможность изучать особенности культуры, социальной организации и образа жизни народов, говоривших на праязыках в глубочайшей древности.

Все это позволило лингвистам выйти далеко за пределы собственно лингвистической тематики и подойти к решению важнейших проблем первобытной истории. Но вместе с тем, это ставит на повестку дня вопрос о взаимоотношениях лингвистов с представителями смежных дисциплин, занимающихся родственной тематикой, а также вопрос о соотношении лингвистических данных с данными других наук, в частности, этнографии. Кроме того, коль скоро реконструированная лексика начинает служить историческим источником, она должна непременно подвергаться источниковедческой процедуре, принятой для работы с любым историческим источником. Но выработка такой процедуры требует, прежде всего, понимания характера лингвистического или, шире, этнического процесса в первобытных обществах. Ведь говоря о древних индоевропейцах или, скажем, афразийцах, мы имеем в виду, прежде всего общности, члены которых общались на соответствующих праязыках. Естественно, мы при этом подразумеваем, что они обладали и единой культурой, в том числе материальной. Однако соотношение между культурной общностью (в особенности, выделенной по материальной культуре) и лингвистической общностью – вопрос особый, каждый раз требующий проведения специального анализа (Шнирельман 1993а). Вот почему невозможно говорить об индоевропейской, индоиранской, индоарийской и других подобного рода реконструкциях, опираясь исключительно на археологические материалы.

Между тем, среди нелингвистов прослеживается тенденция прямо и безоговорочно отождествлять древние археологические комплексы с теми или иными лингвисти-

* Исследование выполнено в рамках проекта РНФ № 14-18-03090.

ческими общностями, фактически почти полностью абстрагируясь от имеющихся лингвистических данных или привлекая их в минимальной степени. Итогом служат лингвоархеологические отождествления, не только кардинально расходящиеся между собой, но и почти не поддающиеся более строгой проверке, так как их авторы фактически не предлагают никаких более или менее развернутых обоснований для выдвигаемых гипотез. Так, С.А. Арутюнов считает древнейших земледельцев и скотоводов Передней Азии носителями праностратических диалектов (Арутюнов 1982: 74–75), а по П.М. Долуханову, все они говорили на индоевропейском праязыке, который будто бы распространился среди них в качестве *лингва франка*. Интересно, что гипотеза Долуханова вовсе не оставляет на Среднем Востоке места для эламодравидов, а прасемитов загоняет в Аравийскую пустыню, оживляя идею, давно отброшенную наукой (Долуханов 1989: 47; 1990: 121; Dolukhanov 1989: 273–274; 1994). Зато А. Х. Халиков, похоже, отождествлял ранних земледельцев Передней Азии с эламодравидами (Халиков 1993). Между тем, Э. Шеррэт (Sherratt, Sherratt 1988: 588–590) и К. Ренфрю (Renfrew 1989) различали среди ранних земледельцев Передней Азии три, если не четыре, лингвокультурных общности: праафразийцев (Сиро-Палестинский регион), праиндоевропейцев (Малая Азия) и праэламодравидов (Ирано-иракское пограничье) и, возможно, пракавказцев (по Шеррэту). Столь разные решения, предлагаемые известными специалистами, порождают ощущение тревоги за дальнейшую судьбу соответствующих исследований, в которых нарастает произвол, допускающий выдвижение политизированных националистических версий или в полном смысле мифов. В свою очередь последние создают идеологические основы для межэтнической конфронтации (Шнирельман 1993б, 1993в, 1995, 2003, 2006; Shnirelman 1995, 1996).

Это требует от исследователей большей серьезности в отношении лингвоархеологических построений. Прежде всего, речь может идти, естественно, о выработке более строгих междисциплинарных методик, необходимость которых уже много раз отмечалась специалистами. До сих пор наиболее распространенным методом были попытки корреляции археологических и топонимических данных (*см., например*, Членова 1984; Телегин 1992; Telegin 1990 и др.). Однако из-за невозможности четко датировать топонимические пласты такие попытки редко были удачными. Недостаток наиболее распространенных подходов к лингвоархеологическим реконструкциям заключается и в том, что они до сих пор, как правило, создавались специалистами одного профиля, т. е. либо лингвистами, либо археологами, которые, будучи профессионалами в своей области, слабо ориентировались в материалах смежной науки. Вот почему, скажем, солидная во многих других отношениях праиндоевропейская реконструкция Т.В. Гамкрелидзе и В. В. Иванова (1984) вызвала справедливые нарекания у археологов (*см., например*, Черных 1987; Алекшин 1990), а соответствующие построения К. Ренфрю (Renfrew 1987) – острую критику со стороны лингвистов (Baldi 1988; Coleman 1988; Ehret 1988; Szemerenyi 1989. См. также Yoffee 1990).

Как соотносятся археологические материалы с лингвистическими, какие именно лингвистические данные и каким образом могут использовать археологи, как лингвистические реконструкции в свою очередь отражают древние реалии, – все эти вопросы неоднократно обсуждались. И тем не менее, остается еще очень много неясного, что нередко и порождает затяжные споры между специалистами, по-разному понимающими возможности как лингвистики, так и археологии, и по-разному интерпретирующими соответствующие данные (об этом *см., напр.*,Yoffee 1990). Настоящая работа

поэтому специально посвящена некоторым вопросам интерпретации исходных данных. В ней развиваются идеи, отчасти уже обсуждавшиеся ранее в связи с конкретными лингвоархеологическими реконструкциями, посвященными афразийцам, дравидам и ряду древних этнолингвистических групп Восточной и Юго-Восточной Азии (Милитарев, Шнирельман 1984; Пейрос, Шнирельман 1987; Милитарев, Пейрос, Шнирельман 1988; Пейрос, Шнирельман 1989а, 1989б; Пейрос, Шнирельман 1992; Шнирельман 1992а; Militarev, Shnirelman 1988; Shnirelman 1997; Pejros, Shnirelman 1999). Эти реконструкции каждый раз создавались и обсуждались коллективно, причем один из авторов представлял лингвистическую науку, а другой – археологическую, что позволяло учитывать новейшие достижения каждой из них и взаимно корректировать выводы. Кроме того, реконструкция древних этнокультурных процессов в обязательном порядке требует знаний в области социокультурной антропологии, что также учитывалось нами при работе и что в последние годы все чаще признается и зарубежными специалистами (Zimmer 1990). Эти знания особенно важны при интерпретации лингвистических и археологических материалов, как это будет продемонстрировано ниже.

Предпосылкой лингвоархеологического подхода является способность как лингвистики, так и археологии своими собственными средствами фиксировать одни и те же исторические процессы или события. Только в этом случае, сопоставляя полученные независимым путем данные обеих этих наук, можно попытаться совместить лингвистическую карту с археологической и отождествить создателей определенных археологических культур или комплексов с носителями тех или иных языков. Ясно, что огромную роль в этом может сыграть реконструированная древняя культурная лексика.

С этой точки зрения наиболее плодотворным представляется изучение переломных критических периодов в жизни общества, которые могут быть хорошо засвидетельствованы и лингвистически, и археологически. Одной из таких переломных эпох был переход к производящему хозяйству, который имел глобальное значение и нашел отражение во всех сферах культуры, в том числе и в языке. Большие перспективы открывает также изучение процессов хозяйственной интенсификации в позднепервобытное время (появление пашенного земледелия, ирригации, повозки, начало садоводства и виноградарства, доместикация осла, верблюда и лошади и использование их в транспортных целях, появление молочного хозяйства и шерстоткачества, и т. д.) (Шнирельман 1980: 218 сл.; Sherratt 1988). При этом очень разные аспекты и детали этих процессов могут фиксироваться независимо как археологами, так и лингвистами. Существенно, что обе науки могут фиксировать их по нескольким параметрам, способы изучения которых в принципе не зависят друг от друга. Иными словами, это дает уникальную возможность проверки и перепроверки предварительных выводов как внутридисциплинарными, так и междисциплинарными методами. А это делает реконструкцию особенно надежной.

Известно четыре основных направления такого исследования: выработка и увязка между собой хронологических шкал; изучение особенности древней культуры; изучение межкультурных (языковых и иных) контактов; выявление особенностей распада древних лингвокультурных общностей (Милитарев, Пейрос, Шнирельман 1988). Совместное использование всех этих методов позволяет локализовать прародины определенных лингвистических общностей, описать существенные особенности их культуры, выявить пространственно-временные рамки процесса их распада, установить круг различных взаимодей-

ствующих лингвистических общностей в пределах определенных территорий и в определенные хронологические периоды, выявить особенности формирования новых лингвокультурных общностей на основе распавшихся.

Начнем с хронологии, которая может устанавливаться независимыми способами как в археологии, так и в лингвистике. Основным методом получения абсолютных датировок в археологии служит радиоуглеродный анализ. Уже было показано, что радиоуглеродная шкала дает даты, искусственно омоложенные по сравнению с календарными. Для приведения радиоуглеродных дат в соответствие с последними рекомендуется пользоваться специальными калибровочными коэффициентами (Klein, Lerman, Damon, Ralph 1982). К сожалению, калибровочная шкала разработана лишь для последних 8 тыс. лет, и остается не вполне ясным, в какой мере радиоуглеродные датировки искажают картину для более раннего времени. Так как наиболее ранние из калиброванных дат дают по сравнению с радиоуглеродными удревнение приблизительно на 1 тыс. лет, то мы условно принимаем, что для периода раннего голоцена радиоуглеродные датировки могут удревняться тоже на 1000–1500 лет (Шнирельман 1980: 5, 6).

Основным и единственным методом получения абсолютной хронологии в лингвистике служит глоттохронология. Этот метод, предложенный М. Сводешем (1960а, 1960б; Swadesh 1959; Арапов, Херц 1974), неоднократно подвергался критике (Hymes 1960; Gudschinsky 1964), отчасти вполне обоснованной. Впрочем, как справедливо отметил К. Эрет, при определенном критическом подходе, в разумных пределах этот метод может работать неплохо (Ehret 1988: 566–569). Отечественный лингвист С.А. Старостин разработал его усовершенствованный вариант, делающий глоттохронологические подсчеты для разных временных уровней достаточно надежными (Старостин 1989). При этом следует иметь в виду, что увязка праязыковых лексических реконструкций с глоттохронологическими датировками имеет свою специфику. С помощью глоттохронологических подсчетов более или менее точно датируется лишь момент распада праязыка. Что же касается реконструированной праязыковой лексики, то полученные таким образом даты дают лишь *terminus ante quem* для периода ее бытования, иначе говоря, верхнюю хронологическую границу. А нижнюю границу можно выявить только при условии обнаружения более древнего праязыка. Так, специфическая южнодравидская лексика должна была существовать, начиная примерно с XX в. до н. э. (распад центральноюжнодравидской общности) до X в. до н. э. (распад южнодравидской общности). Устанавливая в обоих случаях абсолютную хронологическую шкалу, глоттохронология и калиброванные радиоуглеродные даты дают возможность взаимной корректировки и проверки археологических и лингвистических выводов.

Особое место в лингвоархеологической методической процедуре занимает анализ реконструированной лексики и ее сопоставление с археологическими реалиями. Последнее очень широко используется в науке и порождает затяжные дискуссии, ибо, как правило, если одни лексические формы находят хорошие аналогии в археологии, то другие никак не вмещаются в узкие пространственно-временные рамки, предлагаемые археологами. В этих случаях обе стороны – и лингвисты, и археологи – склонны обвинять друг друга в неточных реконструкциях: в неверном установлении хронологии, в ошибочной пространственной локализации обсуждаемых реалий, в недоучете контактов с теми или иными культурными или лингвистическими общностями и пр. Оставляя в стороне проблематику, связанную с критикой археологических источников (Клейн 1978; Шнирельман 1983), отметим, что существует ряд объек-

тивных и субъективных причин, по которым лингвистические выводы могут расходиться с археологическими, а иногда и с историческими, либо просто разочаровывать археологов отсутствием необходимой информации. Ведь археологические и лингвистические материалы нередко по-разному характеризуют отдельные аспекты реконструируемой культуры. Так, если археологические данные дают возможность достаточно детально описать особенности орудийного набора, домостроительства, украшений, выявить источники сырья для разнообразных производств, то лингвистическая информация характеризует эти сферы гораздо более скупо, более обобщенно. Иначе говоря, археолог, намеревающийся использовать лексические реконструкции, должен четко сознавать, какие именно реалии они способны и будут освещать.

Но и это еще не все. Необходимо также учитывать своеобразное отражение определенных существенных процессов в головах людей, а значит и в лексике. Так, большое значение для развития междисциплинарных исследований имеет фиксация сложения специфической земледельческой (и скотоводческой) техники, что в принципе возможно проследить независимо как археологическими, так и лингвистическими методами. Но в этом случае может обнаружиться некоторое расхождение в выводах, так как начальные этапы становления производящего хозяйства или вообще введения какой-либо инновации улавливаются археологами и лингвистами по-разному. Ведь на этих этапах и выращиваемые растения, и разводимые животные морфологически еще не отличались от диких, а техника сохраняла доземледельческий и доскотоводческий характер. Поэтому в археологических материалах самые ранние этапы становления производящего хозяйства не могут найти четкого отражения. Иначе могло обстоять дело с языком, о чем ясно говорят следующие примеры.

На восточном побережье пва Кейп Йорк в Австралии обитали аборигенные группы, которые умели пересаживать разнообразные растения и, в первую очередь, ямс, игравший здесь большую пищевую роль. В то же время за растениями не ухаживали, и назвать эту практику земледелием в полном смысле слова было бы, по меньшей мере, неосмотрительно. Вместе с тем, сами аборигены описывали заросли ямса как «огороды» и ставили там особые знаки собственности. Если аборигены возвращались после долгого отсутствия на свою старую стоянку, они тщательно осматривали все деревья и кустарники, о которых хорошо помнили, и причитали: «Бедная старая страна стала теперь “дикой”. Никто за ней не следил» (Hynes, Chase 1982: 40–41). Аналогичная ситуация встречалась у квакиутлей на северо-западном побережье Северной Америки, где в пищу широко использовали некоторые дикие коренья. Места, где эти коренья встречались в большом количестве, имели особые названия, которые Ф. Боас переводил как «огороды» или «грядки». Там ставили особые знаки собственности. В XIX в. там даже наблюдались попытки пересадки и ухода за этими растениями. Их заросли окружали особыми изгородями (Boas 1921: 186–191; Turner, Kuhnlein 1982: 411–432). Но и это еще не было настоящим земледелием.

Не менее интересная ситуация встречалась у паюте долины Оуэнса в горах Сьерра-Невада (юго-восток США), у которых имелись свои термины для обозначения «орошения», «главного ирригатора» (организатора работ по орошению) и «палки (орудия) главного ирригатора». И это притом, что паюте оставались собирателями и орошали заросли диких растений! (Lawton, Wilke, DeDeker, Mason 1976; Шнирельман 1989: 296).

Даже термины для орудий, которые обычно связываются с земледельческим трудом, бывают иногда обманчивы. Так, у

коряков имеется свой термин для мотыги («*в›ины*»), но корякские женщины использовали мотыгу отнюдь не для земледелия, а для добычи растительной пищи из нор полевых мышей (Антропова 1971: 65).

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что формирование так называемой земледельческой лексики могло начаться в предземледельческую эпоху, но зато комплекс такой лексики в полном объеме и во всем многообразии мог возникнуть уже после образования земледелия как сложной хозяйственной системы (Brown 1985: 46). Следовательно, в ряде случаев «земледельческая» терминология, реконструированная на праязыковом уровне, может свидетельствовать о предземледельческой, а не земледельческой в полном смысле слова эпохе. Иными словами, в ряде случаев лингвистические реконструкции могут фиксировать этап, предшествовавший возникновению настоящего земледелия, а археологические данные – этап, на котором земледелие уже достигло определенного уровня развития. Собственно земледелие возникало где-то между этими крайними точками, и это следует учитывать при попытках согласовать между собой соответствующие археологические и лингвистические данные. В приложении к истории древнейших индоевропейцев такая ситуация, возможно, встречалась в отношении колеса, повозки и одомашненной лошади, в особенности, если учесть, что до сих пор нет строгих палеозоологических критериев обнаружения ранних одомашненных лошадей.

С этой точки зрения особенно интересная ситуация складывается с пахотными орудиями у индоевропейцев. Лингвистическими методами надежно установлено, что праиндоевропейцы еще не знали рала. Все же оно появилось у них относительно рано в процессе первичного распада индоевропейской общности (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 687–688). Вместе с тем, находки древнейших упряжных пахотных орудий в Европе никак не могут быть датированы ранее середины III тыс. до н. э. Поэтому очень вероятно, что в своем исконном значении самые ранние термины для пахоты и рала относились к работе бороздовыми орудиями или «ручными сохами», которые действительно встречались в Европе со второй половины IV тыс. до н. э. (Шнирельман 1980: 229; 1988: 20–23). Одна из таких находок была сделана в Литве (Rimantiene, Cesnys 1990).

По-видимому, могли наблюдаться и прямо противоположные ситуации. Об этом свидетельствуют хотя бы данные об индейцах Северо-Западного побережья Северной Америки, где в недавнем прошлом встречались ожесточенные вооруженные столкновения, которые, исходя их ряда параметров (Turney-High 1949), могут трактоваться как настоящие войны. Между тем, у южных квакиутлей имелся единый термин, обозначавший как битвы между кланами и племенами, так и межличностные схватки с целью убийства чужака. Этот же термин использовался и для брачной церемонии (Boas 1966: 108). У тлингитов такого рода термин описывал любое умышленное или неумышленное убийство как на индивидуальном, так и на групповом уровне, а также самоубийство. Иными словами, он применялся для любых действий, требовавших проведения специальной «мирной» церемонии (Laguna 1972, 2: 580, 593). В то же время терминологически тлингиты различали состояние войны и собственно стычку (Шнирельман 1991). Ясно, что в подобных случаях, исходя из археологических данных об оружии, доспехах, фортификации, исследователь сможет говорить о развитии военного дела, но в реконструированной лексике четкого обозначения для термина «война» он не найдет. Возможно, это явление было свойственно и праиндоевропейцам, судя по семантике производных от слова «война» терминов в дочерних языках (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 740). Напротив, в связи с плохой сохранностью

древнейшего оборонительного оружия в археологических комплексах не должно вызывать удивления, что термин для щита как будто бы фиксируется на общеиндоевропейском уровне, тогда как находки древнейших остатков самих щитов датируются более поздним временем (ср. Гамкрелидзе, Иванов 1984: 739; Bukowski 1971–1972. См. также Шнирельман 1994: 46–47).

Все это позволяет сделать один важный вывод. Использование единичных или изолированных реконструированных лексем может ввести исследователя в заблуждение. Повышение надежности реконструкции требует опоры на целые лексические блоки или комплексы (Абаев 1952: 48). Так, в случае с военным делом особенно показательны термины для защитного вооружения и фортификации, тогда как термины для боевого и охотничьего оружия в языке нередко не различаются. В случае же земледелия важно иметь целый набор терминов, связанных с обработкой участков, посадкой растений, уходом за ними, сбором и обработкой урожая и соответствующими орудиями.

Большое значение для локализации праязыковой прародины имеют термины для диких растений и животных. Обычно предполагают, что, обладая набором таких терминов, нетрудно реконструировать природную среду, в которой обитали носители праязыка. На практике эта задача оказывается весьма непростой, ибо народная номенклатура названий для фауны и флоры существенно отличается от научной, нередко основываясь на иных критериях. Кроме того, как известно, почти повсюду у ранних земледельцев термины, образованные на однокорневой основе, применяются именно для родовых биологических названий, а для определения видов, как правило, используются производные от них сложносоставные термины (Меркулова 1965: 72–87; Стеблин-Каменский 1982: 7; Berlin et al. 1973). Зато у охотников и собирателей преобладают видовые термины, которые после перехода к производящему хозяйству становятся родовыми путем расширения значения (Brown 1986: 5–9). Но на праязыковом уровне реконструируются именно родовые термины. Это имеет существенные последствия для междисциплинарных исследований, так как отдельные роды фауны и флоры в отличие от видов обычно занимают весьма обширные ареалы. При этом ареалы животных гораздо шире, чем ареалы растений. Поэтому, основываясь на флористической терминологии, можно выделить более узкую область, чем на основе фаунистической. И все же эта область будет слишком широка, чтобы совпадать с искомой праязыковой прародиной.

Так, при анализе экологической терминологии центральноюжнодравидского (ЦЮД) праязыка для него был выявлен ареал в пределах зоны сухого листопадного тропического леса, в которой и ныне сосредоточены все языки-потомки (Пейрос, Шнирельман 1992). Чтобы более точно выявить место предполагаемой ЦЮД прародины внутри этой обширной области, одной экологической терминологии по указанным выше причинам оказалось недостаточно, понадобилось привлечение других более специфических данных.

Многих трудностей удалось бы избежать, если бы лингвисты умели реконструировать видовые названия, для которых в народной земледельческой номенклатуре часто применяются, так называемые, вторичные лексемы (т. е. однокоренные слова с уточняющими определениями). К сожалению, такой лингвистический материал обычно в поле не собирается и в словарях не дается, а, следовательно, и недоступен для процедуры реконструкции. Поэтому представляется чрезвычайно важным проведение целенаправленных полевых исследований с целью сбора подобного рода видовой лексики. Может быть, это откроет определенные возможности для рекон-

струкции видовых названий и на праязыковом уровне?

Реконструкция древней среды обитания на предполагаемой прародине относительно проста в том случае, если языки-потомки остались в пределах изначальной экологической зоны. Если же после распада праязыка они оказались в разных зонах, то в силу переноса значений терминов задача реконструкции сколько-нибудь четкой экологической картины, которая бы характеризовала прародину, подчас оказывается совершенно безнадежным делом. В этом смысле весьма показательна праафразийская реконструкция. В ней достаточно однозначно представлены значения терминов для диких животных, которые расселены практически повсюду, где сейчас распространены языки-потомки, и почти нет однозначных терминов для диких растений, так как флористические комплексы в ареалах, соответствующих современному местоположению языков-потомков, существенно различаются. Еще менее обнадеживающей представляется ситуация с праиндоевропейской экологической реконструкцией в силу того, что языки-потомки распространились по весьма различным природным зонам. Вот почему в дочерних индоевропейских языках первичный термин для дерева получил значение где «дуба», а где «сосны» (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 612–614). По той же причине нет полной уверенности, что праиндоевропейский термин, реконструированный для бука, действительно первоначально означал «бук», а не какое-либо другое дерево (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 621–622). Аналогичные семантические сдвиги происходили в дочерних индоевропейских языках в названиях других деревьев и животных. Вот почему все ожесточенные споры вокруг «аргументов березы» и «лосося», в конечном счете, зашли в тупик (Zimmer 1990: 142).

Лингвистам известно, как трудно порой бывает реконструировать исконное значение термина. Почему это происходит? Дело в том, что некоторые термины уже изначально являлись многозначными, и это давало себя знать в ходе языковой дивергенции. Примером может служить термин *iwor* в языке айнов, который означал и священную гору, и в целом район, где имелись горы, а точнее – верховья горных рек, где айны любили устраивать охоту. Фактически же этот термин мог использоваться для любого речного или приморского района, где располагались традиционные хозяйственные угодья (Irimoto 1990). Следовательно, в гипотетической ситуации распада айнского языка этот термин в одних случаях мог бы сохранить значение «*гора*», а в других означать «*хозяйственные (охотничьи, рыболовные и пр.) угодья*».

Так, видимо, и происходило, например, в степных районах Австралии, где обитали специализированные собиратели дикого проса и других съедобных растений. Скажем, одна из северных групп австралийских аборигенов называла зерно *bodjan*, а терочник – *jamara*. Зато другая группа, жившая в 1450 км к югу от нее, использовала последний термин именно для зерна (Tindale 1977: 346).

В некоторых случаях отмеченное явление может дать ключ к пониманию первичной ситуации. Известно, что у многих этнических групп пища и основной или наиболее ценимый ее вид обозначаются одним и тем же термином. Это саго у обитателей низменностей Новой Гвинеи (Schlesier 1961: 224; Saggers, Gray 1985: 109), нерпа или тюлень – у азиатских эскимосов и рыба – у алеутов (Меновщиков 1969: 118), таро – у папуасов-маринг (Rappaport 1989), маниок – у индейцев-маку (Milton 1984: 18) и т. д. У кучинов Аляски мясо и мускусный бык – их основная охотничья добыча – обозначались тоже одним термином (Nelson 1973: 85). У абхазов понятие пищи, пира связано с термином «*ача*», означающим хлеб или мягкую пшеницу.

А вот по-убыхски «*ача*» означает молоко (Инал-Ипа 1965: 236, 343). Иначе говоря, в глубоком прошлом понятие «пища», как правило, ассоциировалось, прежде всего, с каким-либо одним главным видом пищи. В дальнейшем в ходе языковой дивергенции первичный термин мог сохранить в разных дочерних языках значение пищи вообще, а мог и получить более узкий смысл, связанный с каким-то конкретным животным, растением или видом пищи, которые имели первостепенное значение для предков данного населения. При этом надо иметь в виду, что традиционные этнические группы могли классифицировать пищу иначе, чем это принято в современных обществах. Например, австралийцы-питьянтьяра делили пищу на две категории: мясо (*kuka*) и растительную пищу (*mayi*). Получив в недавнем прошлом баранину и говядину от белого населения, австралийцы включили их в категорию *mayi*, так как термин *kuka* относился только к местной престижной пище, преимущественно, к мясу кенгуру (Palmer, Brady 1990).

Иногда термин мог использоваться расширительно. Так, аборигены Груте Айлендта, говоря «*рыба*», подразумевают не только рыбу, но и любое мясо (Worsley 1961: 162). Иногда, напротив, смысл термина в разговоре сужался. Например, произнося слово «*рыба*», тлингиты Южной Аляски имеют в виду, прежде всего лосося (Laguna 1972, 1: 50). Все это влияет на дальнейшую эволюцию семантики и затрудняет современным ученым правильное понимание исходного смысла термина.

Особую важность для лингвоархеологической реконструкции имеет восстановление древних терминов для различных видов материальной культуры, которые люди могли перемещать с места на место независимо от экологической обстановки, в частности, терминов для одомашненных животных и культурных растений. Так как при переселении в новые районы люди могли забрать их с собой, то можно предполагать, что соответствующая лексика будет более устойчивой, чем чисто «экологическая». В совокупности с данными, полученными археологическими, палеоботаническими и палеозоологическими методами, это дает реальную возможность изучать древние переселения народов или межэтнические контакты с помощью комплексной междисциплинарной методики. Такое направление исследований кажется тем более перспективным, что сейчас имеется реальная возможность очертить относительно узкие ареалы доместикации животных и растений и картографировать пути их интродукции в новые районы (Шнирельман 1980; 1989; Shnirelman 1992).

Однако и здесь существуют свои пределы, ибо в условиях господства примитивной земледельческой техники выращивание определенных культурных растений имело строгие географические границы. Для преодоления последних необходимо было либо выводить новые культурные разновидности и изменять технику их выращивания (например, использовать ирригацию), либо окультуривать иные виды флоры, более подходящие для соответствующих условий. В последнем случае изменения неизбежно отражались и в лексике, т. е. либо имевшиеся термины могли переноситься на новые виды растений и менять свой смысл, либо вводились новые термины, а старые забывались или получали какое-то новое значение. Такая картина наблюдалась у многих групп афразийцев и дравидов, которые переселились из зоны зимних дождей, где основные культурные злаки были представлены пшеницей или ячменем, в зону летних дождей, где вместо них стали выращивать просо и сорго. В результате, на общеафразийском и общедравидийском уровнях пока что не удается надежно реконструировать какие-либо термины для отдельных видов культурных злаков, кроме таких как «зерно», «злак» и пр. (Милитарев, Пейрос,

Шнирельман 1988). Описанный процесс создает порой у специалистов впечатление, что земледелие у изучаемых групп было менее важным занятием, чем скотоводство (*см., напр.*, Fairservis, Southworth 1989: 133 о ранних дравидах; Masica 1979: 68; Gimbutas 1985: 186–187 и Zvelebil, Zvelebil 1988: 581 о ранних индоевропейцах). Между тем, это впечатление, как правило, оказывается обманчивым.

По всей вероятности, именно с отмеченным явлением и связано слабое отражение терминологии для культурных злаков на общеиндоевропейском уровне, ибо позднейшие перемещения дочерних языков вызывали существенные семантические сдвиги (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 655–658). Очень странное впечатление производит реконструированная прасемитская лексема, которую принято переводить как «просо» и которая была заимствована в индоевропейские языки со значением «*зерно, хлеб*» (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 873; Dolgopolsky 1989: 5). Дело в том, что, как теперь надежно установлено, в переднеазиатском регионе проса не было ни в IV, ни в III тыс. до н.э. Следовательно, речь может идти о позднейшем переносе значения, которое современные авторы сочли за исконное. Поэтому вопрос о том, какое именно культурное растение скрывается за этим якобы общесемитским названием для проса, остается открытым.

Гораздо более устойчивой является терминология, связанная с одомашненным скотом, так как животные отличаются гораздо большей экологической пластичностью, чем растения, и имеют гораздо более широкие ареалы. Поэтому если, например, выращивание пшеницы и ячменя не проникло южнее Сахары в Африке и южнее Северного Декана в Индии, то разведение крупного и мелкого рогатого скота не испытывало там никаких сложностей. В этом смысле информация о путях диффузии одомашненных животных может оказаться для лингвоархеологических реконструкций более ценной, чем данные о культурных растениях. Действительно, праиндоевропейская лексика, связанная с одомашненными животными (лошадь, бык/корова, овца, коза, собака, свинья) оказывается много богаче, чем лексика для культурных растений (Гамкрелидзе, Иванов 1984), на основании чего многие авторы считают праиндоевропейцев скотоводами по преимуществу. Тем не менее, отмеченная лучшая сохранность лексики, связанной с одомашненными животными, по сравнению с лексикой для культурных растений заставляет подходить к решению этого вопроса более осторожно. Не менее показательным является и термин для свиньи, не позволяющий реконструировать образ жизни древнейших индоевропейцев как основанный исключительно на подвижном скотоводстве.

Судя по имеющимся данным, распространение производящего хозяйства по новым территориям очень часто происходило не столько в результате миграции ранних земледельцев, сколько в ходе заимствования навыков ведения производящего хозяйства соседними охотниками и собирателями (Шнирельман 1989; Dennell 1985; Zvelebil 1986; Zvelebil, Zvelebil 1988). Кстати, именно недооценка этого процесса К. Ренфрю (Renfrew 1987) вызвала критику его книги со стороны некоторых археологов (Barker 1988; Sherratt 1988; Sherratt, Sherratt 1988; Zvelebil, Zvelebil 1988). С этой точки зрения, огромное значение имеет вопрос о том, насколько регулярно диффузия культурных элементов сопровождалась заимствованием соответствующей лексики. Ясно, что для лингвистов именно языковой материал является главным источником для реконструкции исторического процесса. Как пишет И.М. Стеблин-Каменский, «исследование происхождения культурных слов и путей их проникновения в тот или иной язык имеет большое значение для изучения истории культуры народов, говорящих на

этих языках» (Стеблин-Каменский 1982: 10). Но всегда ли реконструированные термины адекватно отражают реальный характер исторического процесса?

Обращение к реальным фактам показывает, что рассматриваемый процесс был весьма многообразным. Действительно, в ряде случаев заимствование элементов культуры сопровождалось и заимствованием соответствующих терминов. Так, перейдя под влиянием бантуязычных соседей к земледелию и скотоводству, сандаве Танзании заимствовали у них и земледельческо-скотоводческую лексику (названия для культурных растений, земледельческой деятельности и земледельческого инвентаря, скота, приготовленной пищи), но для диких растений и животных они сохранили свою традиционную терминологию (Newman 1970: 44–45). Однако даже и в таких случаях вопрос о направлении заимствования не всегда решается достаточно однозначно. Так, при наличии четких археологических, палеоботанических и ботанических данных о диффузии батата из Южной Америки в Полинезию, что подтверждается и общностью связанной с бататом терминологии, по одним только лингвистическим материалам не удается надежно установить, в каком именно направлении (с востока на запад или наоборот) шло заимствование (O'Brien 1972; Yen 1974).

Изучение этнографических и этнолингвистических данных о заимствовании одомашненных животных и культурных растений показывает, что оно далеко не всегда сопровождалось параллельным заимствованием соответствующей терминологии (Masica 1979: 58–60; Шнирельман 1992). Во многих случаях реципиенты использовали для них иные термины, чем доноры. В целом можно назвать, по меньшей мере, пять источников таких терминов. Во-первых, простой перенос местных названий на заимствованные виды фауны и флоры (Witkowski, Brown 1983). Так, получив от белых торговцев пушниной картофель, сэлиши северо-западного побережья Северной Америки перенесли на него название, прежде относившееся к стрелолисту, который давал похожие съедобные клубни (Suttles 1951: 277–278). Будучи завезен в Индию, картофель также получил здесь древнее санскритское название, которое ранее использовалось для таро (Masica 1979: 60). Аналогичным образом, познакомившись с земледельческой практикой, коряки стали использовать местный термин «*йытва-тык*» («ставить», «устанавливать») в значении «сажать», «сеять» (Сергеев 1955: 501).

Во-вторых, название для нового интродуцированного вида иногда вырабатывалось, исходя из представления о нем как о разновидности какого-либо местного давно известного вида, и ему давалось описательное название на местном языке. Так, основывая таксономию разновидностей маиса на цветовых различиях (*k'anal? isim* «желтый маис», *sakil? isim* «белый маис» и пр.), майя-целталь образовали по этому принципу и названия для интродуцированных испанцами пшеницы (*kaslan? isim* «кастильский маис») и сорго (*moro? isim* «маврский маис»). Не зная истории этих названий и стоящих за ними реалий, можно дать им ошибочное толкование, тем более что соседние майа-чуй использовали название kaslan? isim для интродуцированного риса (Berlin et al. 1973: 222–223. *См. также* о названиях для батата и кассавы у бугов Южного Сулавеси: Visser 1986: 15). Аналогичным образом ительмены Камчатки стали называть хлеб «русской сараной» («*брыхтатын-аукч*») по названию съедобного растения, которое они собирали испокон веку (Шнирельман 1992b). Тому же правилу поначалу следовали и европейцы в Северной Америке, называя маис «пшеницей» (Will, Hyde 1964: 61).

В-третьих, для интродуцированных видов местное население могло использовать

местные описательные термины. Например, сандаве Танзании использовали для маиса термин *n/ini*, в переводе означающий «короткий», «низкорослый». Действительно, именно этим качеством маис отличался от других местных культурных растений – проса и сорго (Newman 1970: 45).

В-четвертых, реципиенты могли выработать новые названия для интродуцированных видов, основываясь на звукоподражании. Примером этому служит звукоподражательное название для кур и петухов во многих индоевропейских диалектах (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 601–602).

Наконец, еще один путь появления новых названий основан на ассоциации с какими-либо историческими событиями или реалиями. Так, кур и петухов к инкам завезли испанцы, которые казнили и последнего местного правителя по имени Ата-вальпа, отличавшегося необычайной жестокостью. Индейцы сочли, что интродуцированные петухи поют «ата-вальпа», подчеркивая вечное бесславие тирана. И постепенно термин «ата-вальпа» закрепился как название для кур и петухов. Кстати, сочтя этот термин за исконно местный, испанцы поначалу решили, что куры имелись в Перу до конкисты (Вега 1974: 608–613). Той же логики иной раз придерживаются и современные исследователи, излишне полагаясь на отдельные, по видимости местные, названия культурных растений для суждения о локализации очагов доместикации последних (*см., например*, о раги: Porteres 1976).

В некоторых случаях со временем мог происходить семантический сдвиг. Так, древний санскритский термин для буйвола (*ustra*) позднее стал использоваться для обозначения верблюда (Masica 1979: 61).

Приведенные материалы свидетельствуют о том, что единичные случайно отобранные лингвистические данные могут ввести в заблуждение исследователя, пытающегося извлечь из них историческую информацию. Надежные реконструкции можно получить, только обладая массовыми материалами, сопоставляя одни термины с другими, выделяя хронологические пласты лексики и, наконец, увязывая лингвистические данные с нелингвистическими. Ведь в ходе заимствования культурных реалий лингвистическая картина бывает довольно пестрой: для одних вещей могут использоваться местные термины, для других – заимствованные (Casagrande 1954). Так, получив одомашненного оленя от самодийцев, кеты перенесли на него свое название для дикого оленя, но зато заимствовали самодийский термин для холощеного оленя (Алексеенко 1967: 69). Аналогичным образом папуасы-гадсуп, выработав на местной основе описательное название для интродуцированных коз, заимствовали извне название для крупного рогатого скота (DuToit 1975: 158). В обоих указанных случаях было бы неверным видеть в приведенных лингвистических фактах доказательство местной доместикации северных оленей или коз, хотя формально они это допускают. Следовательно, для надежных утверждений о процессах заимствования или автохтонных инноваций необходима взаимопроверка выводов с помощью данных смежных наук: в частности, особенности доместикации или, напротив, заимствования уже одомашненных животных можно проследить путем палеозоологических исследований.

Итак, рассмотренные примеры помогают сделать один важный вывод: сами по себе лингвистические данные не всегда позволяют надежно решить вопрос о происхождении тех или иных исторических реалий. Если реконструированные термины для культурных растений и одомашненных животных имеют местный характер, но, судя по палеозоологическим и палеоботаническим данным, соответствующие виды явно были заимствованы извне, то приходится говорить о том, что местные обитатели выработали свою терминологию для привнесенных элементов культуры. Ясно,

насколько важна в таких случаях тесная кооперация лингвистов с археологами, палеоботаниками и палеозоологами.

Большое значение для характеристики древнего хозяйства имеют количественные показатели. Так, скажем, об интенсивности охоты или скотоводства, о роли отдельных видов животных в хозяйстве древнего населения археологи и палеозоологи обычно судят по соотношению костей отдельных видов животных в фаунистических коллекциях. Нельзя ли получить соответствующие показатели и методами сравнительного языкознания? Очень важную в этом отношении работу провел С. Браун, показавший, что по своему объему и характеру биологические терминологии у охотников-собирателей и ранних земледельцев существенно отличались (Brown 1985, 1986). И хотя проведенная в связи с его статьями дискуссия выявила определенные недочеты в его методике, в целом начатое им исследование можно признать весьма перспективным, а основную идею о связи терминологии с социокультурными ценностями – весьма плодотворной.

Этнолингвистические данные показывают, что детально разработанная этноботаническая или этнозоологическая терминология, как правило, связывалась именно с теми видами растений и животных, которые имели большое хозяйственное значение. При этом для важнейшего растения могла существовать богатая номенклатура терминов, связанных со степенью его зрелости, с его разновидностями, различавшимися по цвету, форме, вкусу, характеру цветения и т.д., а для животных эта номенклатура могла учитывать половозрастные категории, сезонные изменения в облике, поведенческие особенности и т. д. (Nida 1958: 283). Все это, так или иначе, нашло отражение в языках многих народов мира: взять хотя бы термины для пшеницы у грузин (Брегадзе 1982), для маиса у индейцев-майя (Berlin et al. 1973: 222–223), для банана у яноама в Венесуэле (Smole 1976: 118–119), для моржа у эскимосов и северных оленей у чукчей (Меновщиков 1969: 113, 116), для верблюда у бедуинов (Штайн 1981: 43), для газели, на которую охотились бедуины-руала (Musil 1928), для крупного рогатого скота у нуэров Судана (Evans-Pritchard 1940: 41 ff.), для лошади у казахов (Тохтабаев 1992) и т. д. Все это дает основание предполагать, что такая же ситуация должна фиксироваться и на уровне праязыков, и ее выявление способно дать более точную информацию о характере хозяйства их носителей. Действительно, по данным А.Ю. Милитарева, из всех названий для – безусловно диких – животных в праафразийском языке наиболее часто встречаются термины для антилоп или газелей. Это может свидетельствовать о большой роли последних в качестве объектов охоты и в свою очередь является дополнительным аргументом в пользу отождествления праафразийцев с населением Сиро-Палестинского региона натуфийского или начала ранненеолитического периодов, когда охота на газелей являлась здесь главным источником белковой пищи (Милитарев, Шнирельман 1984; Militarev, Shnirelman 1988).

Естественно лингвоархеологические сопоставления такого рода требуют максимальной лингвистической информации о праязыковой лексике, связанной с фауной и флорой. Иначе говоря, для количественной оценки требуются не просто отдельные термины, характеризующие ту или иную сферу культуры, а максимально полные списки этих терминов, позволяющие оценить значение соответствующей сферы в общекультурном контексте. Само собой разумеется, что такая оценка возможна лишь при наличии целых списков культурной лексики (Абаев 1952: 48). Соответствующие данные далеко не всегда фигурируют в имеющихся словарях. Вот уже почти шестьдесят лет назад как раздался призыв к их тщательным полевым сборам (Nida 1958), однако и

до сих пор многое в этом отношении еще предстоит сделать.

Существует еще одна причина, по которой с одним и тем же видом животных или каким-либо другим явлением связаны два разных блока терминов. Это – распространенное в традиционных культурах деление мира на сакральную и профанную сферы. Так, у пигмеев-бака в Юго-Восточном Камеруне огромную роль играли коллективные охоты на крупных животных, в особенности, на слонов. Со слонами была связана разветвленная терминология, отражавшая половозрастные особенности, черты экстерьера и т.д. (37 разных терминов). В некоторых контекстах для слона могли просто использовать термин, означавший мясо. Однако имелся и иной блок терминов, связанных с представлениями о наделенных сверхъестественной силой особых слонах, в которых вселялись духи мертвых (прежде всего колдунов и великих охотников) (Joiris 1990). Деление объектов материального мира на священные и профанные встречалось и у некоторых групп австралийских аборигенов (Thomson 1949: 46–48). Именно по этой модели в древних индоевропейских традициях сформировались по два блока терминов для волка и для пищи (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 492–494, 697–698, 701).

Большую роль в реконструкциях играют заимствованные термины для материальной культуры, позволяющие зафиксировать появление инноваций. Однако интерпретация заимствованной хозяйственной лексики требует осторожности, ибо, как показывают этнографические данные, она не всегда адекватно описывает хозяйственную роль соответствующих реалий. Так, получив в 1960 г. от бразильцев специфическую разновидность маиса, а также фасоль, помидоры и тыквы вместе с соответствующими чужеродными названиями, индейцы-яноама начали разводить их для обмена, но сами в пищу не употребляли (Smole 1976: 125–126). И это – не уникальный случай. Подобным же образом папуасы-бонгу разводят интродуцированный крупный рогатый скот на продажу, но сами не едят говядину и не доят коров. При этом они называют крупный рогатый скот словом «бика», т. е. сохраняют термин, напоминающий об Н.Н. Миклухо-Маклае, который завез туда первого бычка и познакомил папуасов с его русским названием (Тумаркин 1975: 101). По расчетам С. Брауна, до 10% терминов в ботанической номенклатуре современных охотников и собирателей связаны с культурными растениями, но это вовсе не обязательно означает, что они сами их выращивают (Brown 1985: 62).

Этнографам хорошо известны примеры, когда местное население знало о производящем хозяйстве, которым занимались его соседи, заимствовало у последних лексику для культурных растений и одомашненных животных, но само избегало заниматься земледелием и скотоводством. Это фиксировалось, например, у индейцев-уошо в Восточной Калифорнии, которые заимствовали у испанцев лексику, связанную с одомашненными животными, но по ряду экологических и психологических причин враждебно относились к занятию скотоводством (Downs 1963: 138–150; Bright 1960). В языки некоторых памирских народов названия для ряда культурных растений попали вместе с бродячими фольклорными сюжетами, но сами эти растения к ним не проникли, что можно объяснить частично экологическими, частично общекультурными причинами (Стеблин-Каменский 1982).

В некоторых контекстах разнообразные диалектные термины для каких-либо уже имеющихся реалий могут замениться универсальным иноязычным термином. Так, в зоне интенсивных финско-русских контактов диалектные русские названия для отдельных частей орудий заменились финскими терминами, хотя это не сопровождалось соответствующими заимствовани-

ями материальной культуры (Якубинский 1926. О других примерах подобного рода *см.*Masica 1979: 61).

Вместе с тем, судя по данным С. Брауна, количественный показатель сам по себе может служить важным, хотя и косвенным, индикатором хозяйственной деятельности, ибо объем биологической терминологии в языках ранних земледельцев приблизительно втрое превышает тот, который встречается у охотников и собирателей. Это отчасти отражает неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию у ранних земледельцев, вызывающую особый интерес к лечебным травам, что в свою очередь порождает развитие соответствующей терминологии (Brown 1985: 47–50). Эта закономерность также открывает определенные перспективы для корреляции лингвистических данных с археологическими и палеоботаническими.

Есть ли возможность более или менее точно определить соотношение разных видов хозяйственной деятельности по данным языка? Да, если иметь представление о реальном таком соотношении в этнографической действительности. Например, на основании прасамодийской оленеводческой лексики Е.А. Хелимский предполагал, что уже у прасамодийцев имелось развитое оленеводство (Хелимский 1989: 6). Однако, судя по этноисторическим данным, развитое кочевое крупностадное оленеводство возникло на Севере только в XVII–XVIII вв. (Шнирельман 1980: 184), а в предшествующий период оленей было немного и их разведение имело второстепенный характер. Как согласовать эти данные? Известно, что развитое оленеводство и высокоэффективное рыболовство являются на Севере альтернативными системами. В рамках одного и того же хозяйства они сосуществовать не могут, ибо требуют различного сезонного поведения, разной степени оседлости и пр. Но прасамодийская лексика ясно указывает на наличие интенсивной рыболовецкой практики (запорное рыболовство, лабазы на четырех столбах), а это значит, что прасамодийцам была свойствена таежная модель оленеводства, при которой олени могли иметь исключительно транспортное значение.

Лингвистические лексические реконструкции имеют особое значение, когда они освещают те сферы человеческой деятельности, которые слабо отражены в археологии или не могут быть надежно реконструированы на чисто археологическом материале за отсутствием надежной методики. Одной из таких сфер, важность которой трудно переоценить, является социальная или социально-экономическая. Вместе с тем, связанная с ней терминология также требует для своей интерпретации определенных этнологических знаний о ее возможном контексте. Так, в индоевропеистике уже тривиальным стало объяснение термина «богатство» как деривата понятия, связанного со скотом (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 579; Старостин 1988: 115, 132, 133, 156). Действительно, можно привести массу примеров в поддержку этого вывода. Так, у кикуйю Кении (Routledge, Routledge 1910: 44) и тонга Замбии (Colson 1967: 37) мерой ценности и единицей стоимости была коза, у киргизов овцы служили основной денежной единицей при сделках (Погорельский, Батраков 1930: 68), в государстве Конго обменным эквивалентом служили одомашненные животные (овцы, козы, свиньи и пр.) (Ekholm 1972: 90), у туарегов Сахары термины для «*большого стада коз/овец*» и «*денег*» были тождественны, и они расплачивались, например, с кузнецами козами (Nicolaisen 1963: 34), казахи называли скот «*живым имуществом*» (Фиельструп 1927: 99), у русского населения Северного Кавказа овечья шкура служила символом овечьего стада, а значит – и богатства (Чурсин 1913: 131) и т. д.

Вместе с тем, понятие «богатство» возникло, видимо, задолго до появления про-

изводящего хозяйства, а тем более развитого скотоводства и далеко не всегда ассоциировалось с материальными ценностями, с имуществом. Есть основания полагать, что первоначально под богатством понимались многочисленные родственники, которые в случае надобности могли прийти на помощь и которыми люди гордились. Так, охотники и собиратели окиек (доробо) Кении имели особую категорию «своих людей», т. е. родственников, которыми они гордились и на которых рассчитывали (Kratz 1990), у атапасков-зайцев «бедными» считались люди, у которых было мало родных и собак (Savishinski 1974: 180), ительмены Камчатки признавали богатым того, у кого была хорошая жена, имелись собаки и было много пищи и одежды (Крашенинников 1949: 692), а у ряда атапаскских групп, где особенно ценились знания, некоторые женщины считали богатством свои рассказы (Cruikshank 1990). У аборигенов некоторых северных районов Австралии богатство ассоциировалось с материальными ценностями, но понималось, прежде всего, с точки зрения престижности, никакого социального расслоения по признаку богатства там не было (Thomson 1949).

Сходная картина встречалась и у некоторых групп ранних земледельцев. Так, у пиароа Венесуэлы богатство отождествлялось с жизнью в многолюдном доме под защитой сильного лидера (Kaplan 1975: 30), у ваиваи оно ассоциировалось с женским трудом и потомством (Mentore 1987). Эта архаическая концепция встречалась даже в достаточно развитом обществе хауса, где в категорию богатства включали не только материальные ценности, а и родичей и друзей. С ней там тесно ассоциировалось и понятие щедрости (Следзевский 1974: 14–16). Такого рода отношение к богатству сохранилось кое-где даже у народов Кавказа. Скажем, кумыки называли богачом «человека с широкой душой, в которой есть место родственникам, друзьям и гостю, конечно. Богач – это человек, у которого море чувств и мыслей, к нему, как к роднику, тянутся люди» (Аджиев 1992: 31). В такую широкую категорию со временем мог быть включен и скот. Эта линия эволюции явственно просматривается у тонга Замбии, где все движимое имущество входило в единую категорию богатства («*лубоно*»), хотя в узком смысле под богатством подразумевался именно скот (Colson 1967: 37). Возможно, близкую смысловую нагрузку на первых порах нес праиндоевропейский термин **peku* («индивидуальное движимое имущество»). Во всяком случае, как показал Э. Бенвенист, ассоциация его со скотом как частью движимого имущества возникла лишь со временем (Benveniste 1970).

Анализ праиндоевропейской лексики позволяет предполагать, что праиндоевропейцы терминологически различали уже несколько разных категорий богатства/имущества в зависимости от его происхождения и функции (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 579, 746, 747). Среди соответствующих терминов сохранился, по крайней мере, один, в котором можно проследить остатки древнейшей архаической концепции богатства, о которой шла речь выше. Это – «сирота», «ребенок, лишенный родителей и имущества». Такой человек, утративший надлежащие родственные связи, считался потерявшим благоволение богов. И именно из таких людей формировалась категория «несвободных» (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 747–748). В принципе эта линия эволюции нередко встречалась и в других регионах мира. Так, у некоторых групп Южной Африки термином «раб» обозначался не только бесправный зависимый, но и вообще безродный человек. Его, например, использовали для пришельцев извне, чужаков, путешественников, т. е. тех, кто не был связан с местным населением ни родством, ни совместным обитанием (Lancaster 1987: 115).

Еще одна важная проблема связана с интерпретацией процесса распространения

древних языков. Нередко ее решение представляется отдельным авторам слишком упрощенно в виде безусловного расселения каких-либо этнически гомогенных общностей. В принципе именно эта модель лежит в основе концепции К. Ренфрю (Renfrew 1987) и, отчасти, построений Т. В. Гамкрелидзе и В.В. Иванова о расселении индоевропейских групп по значительным территориям. Конечно, некоторые из этих авторов (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 887) хорошо сознают возможную роль субстрата и в ряде случаев упоминают о предшествующем субстрате, но специально не анализируют особенности контактов пришельцев с местным населением и возможность перехода последнего на индоевропейские языки. Вряд ли можно спорить, что в древнейшей истории наблюдались примеры расселения по девственной территории, и в этих случаях речь действительно шла о расселении гомогенных этнолингвистических групп, а лингвистический процесс сводился, в основном, к дроблению единого языка на диалекты. Однако уже для эпохи неолита и, особенно, для более поздних эпох эта картина была скорее исключением, чем правилом. Эти периоды отличались интенсивными этнокультурными контактами, обменом культурными достижениями и иной информацией, аккультурацией и ассимиляцией, что, безусловно, порождало и достаточно сложные лингвистические процессы (*ср.* Ehret 1988: 569–571). И совершенно ясно, что для указанных эпох последние нельзя рассматривать в отрыве от общекультурного контекста. Поэтому решение обсуждаемых проблем представляется мне, как и многим другим отечественным исследователям (Токарев 1949; Чебоксаров 1964; Алексеев 1986; Милитарев, Пейрос, Шнирельман 1988), комплексной задачей, требующей привлечения специалистов разного профиля и разработки на междисциплинарной основе.

Очевидно, отмеченное явление необходимо учитывать при анализе процессов образования крупных языковых семей типа афразийской, эламодравидской, индоевропейской. Такой анализ, как представляется, всегда должен допускать наличие нескольких разных процессов в зависимости от конкретной обстановки контактов (Милитарев, Пейрос, Шнирельман 1988: 30–31). Если местное население было представлено мелкими рассеянными группами бродячих охотников и собирателей, то пришельцы, как правило, поглощали их и в сформировавшемся обществе доминировали язык, культура и физические черты пришельцев, хотя в ряде случаев могли сохраняться и некоторые особенности местного населения. Примером служит расселение бантуязычных народов. О смешанном характере их южных групп говорят щелкающие звуки в языке и отдельные черты физического типа, указывающие на включение койсанского населения в состав местных обществ.

Если же местное население состояло из относительно крупных групп, ведущих высокоэффективное присваивающее хозяйство, то это могло служить серьезным препятствием для продвижения мигрантов и для распространения производящего хозяйства вширь. При определенных условиях здесь наблюдалось и этническое смешение, происходившее либо на равноправных началах, либо с некоторым перевесом той или иной стороны в зависимости от конкретной социокультурной ситуации. При этом побеждал либо местный язык, либо язык пришельцев, а культура местного населения изменялась в той мере, в какой это требовалось степенью перехода к производящему хозяйству. Первый вариант встречался, в частности, у чукчей и, по-видимому, у готтентотов, которые перешли к скотоводческому образу жизни, заимствовав скот извне, но сохранив свои язык и физический тип. Второй вариант представлен, например, современными чадцами, физические предки которых в условиях перехода к производящему хозяйству сохранили свой

прежний антропологический тип, но перешли на язык пришельцев-афразийцев.

Если же аборигенное население обитало в особой экологической обстановке, недоступной для распространения производящего хозяйства в его исконной форме, то могла наблюдаться ситуация, когда бродячие охотники и собиратели заимствовали у пришельцев язык и некоторые элементы культуры, но еще долго сохраняли свое традиционное хозяйство (пигмеи-мбути, ченчу, аэта, некоторые аслийские народы и т. д.).

Следовательно, если взять процесс распространения производящего хозяйства, то современные данные свидетельствуют о том, что во многих случаях речь шла не столько о расселении собственно земледельцев и скотоводов, сколько о заимствовании новых методов ведения хозяйства соседствующими с ними охотниками и собирателями. На этой основе достаточно часто и происходило формирование вторичных очагов производящего хозяйства, население которых, восприняв земледельческую технику извне, либо переходило на язык более развитых соседей, либо, по крайней мере, заимствовало у них целые пласты соответствующей лексики. С этой идеей, высказывавшейся мною неоднократно (Шнирельман 1980, 1989), солидаризировался и К. Ренфрю (Renfrew 1989: 118–121; 1992: 455–457).

В 1970–1980-е гг. этот процесс аккультурации неоднократно демонстрировался на материалах европейского раннего неолита, где, наряду с интродуцированными видами культурных растений и одомашненных животных, наблюдалось устойчивое сохранение некоторых элементов местных мезолитических традиций (в орудийном комплексе, домостроительстве и т. д.), а иногда там фиксировалось и сохранение местного антропологического типа (Dennell 1985; Guilaine 1987; Zvelebil, Zvelebil 1988).

Аналогичная ситуация зафиксирована в Южном Египте в оазисе Набта Плайя, где явно переднеазиатские культурные злаки (эммер) и одомашненные животные (овцы и козы) были найдены в одном комплексе с останками людей местного негроидного облика. Позднее нечто подобное (интродуцированные одомашненные животные в земледельческо-скотоводческом контексте в целом местного африканского облика, созданного людьми негроидного типа) наблюдалось в Южной Сахаре и Сахеле в позднем неолите (Шнирельман 1980: 98–99, 104–109; 1989: 203–204, 213–222), что, возможно, позволяет говорить о сложении земледельческо-скотоводческой культуры у древних чадцев, которые именно в этот период могли перейти на афразийские языки, сохранив негроидный антропологический тип.

Еще один пример такого же процесса зафиксирован на территории США в долине р. Пекос (в юго-восточной части штата Нью-Мексико). Там в XIII–XIV вв. н. э. внезапно появились раннеземледельческие поселки, родственные более западной культуре могольон. И по остаткам материальной культуры можно было бы говорить об интрузии сюда создателей этой культуры, если бы физический тип погребенных в могильнике Хендерсон резко не отличался от них. Поэтому исследователи резонно предполагают, что речь шла не о миграции, а о диффузии культуры могольон, которая была усвоена местным населением долины р. Пекос (Rocek, Speth 1986). Сходные процессы этнического смешения происходили и в Южной Африке в ходе расселения бантуязычных народов. О смешенном характере некоторых их групп говорят отдельные черты физического типа и, возможно, щелкающие звуки в языке, указывающие на ассимиляцию местного более древнего койсанского населения (Hiernaux 1974: 187; Murphy 1974: 22).

К сожалению, в истории встречались и примеры другого рода, когда межэтнические контакты не находили никакого отражения в материальной культуре контакти-

ровавших обществ. В этих случаях они порой могут фиксироваться только средствами лингвистики, при том что археологические данные хранят полное молчание. Так, несмотря на общение коренного населения некоторых районов Аляски с русскими на протяжении двух поколений, эти контакты по археологическим данным проследить не удалось (Oswalt, van Stone 1967).

Таким образом, многообразие возможных вариантов в ряде случаев создает большие сложности для лингвоархеологических реконструкций. В этом отношении едва ли не хрестоматийной является до сих пор окончательно не решенная проблема ранних индоевропейско-финноугорских контактов, в ходе которых финноугры познакомились с навыками ведения производящего хозяйства. Предполагается, что эти контакты имели место в восточной части Восточно-Европейской равнины (Готье 1930: 133). Установлено, что в лесные районы Среднего Поволжья, где тогда обитали древнейшие финноязычные группы, первые элементы производящего хозяйства начали проникать с рубежа III–II тыс. до н. э. Археологически эти находки представлены домашними животными и, прежде всего, свиньями (Петренко 1984: 119–120). Можно предполагать и знакомство с самыми зачаточными формами земледелия, хотя прямых данных о нем еще нет (Краснов 1971: 157 сл.), и местные предки финнов описываются, прежде всего, как охотники, рыболовы и собиратели (Патрушев 1992: 11–15). Как бы то ни было, на первый взгляд все это хорошо увязывается с раннеиранскими (Абаев 1972; Гамкрелидзе, Иванов 1984: 933–934. *Ср*. Георгиев 1958: 245–246; Dolgopolsky 1989: 20–21) или, что менее вероятно, с ранними индоарийскими (Redei 1986: 24) заимствованиями в прафиннском языке типа **porsas* «свинья» и **juva* «злак, ячмень». Но, судя по археологическим данным, навыки раннего производящего хозяйства в Среднее Поволжье принесли фатьяновцы и балановцы, которых никто никогда с индоиранцами не ассоциировал. В то же время степные обитатели рассматриваемой эпохи, которых разные авторы идентифицируют с индоиранцами или иранцами, не разводили свиней. Следовательно, данная проблема нуждается в дополнительном междисциплинарном исследовании.

Более детально картину этнических контактов и этнокультурного обмена подобного рода можно представить, исходя из этнографических данных о контактах охотников и собирателей с соседними земледельцами и скотоводами (Шнирельман 1982а, 1982б). Материалы о пигмеях Заира, бушменах Намибии, сандаве и хадза Танзании, аэта о. Лусон (Филиппины), семангах Малаккского п-ова свидетельствуют о том, что результаты таких контактов могли быть очень разными (иногда охотники и собиратели заимствовали различные элементы культуры у соседних земледельцев, но сохраняли прежний образ жизни; в ряде случаев под влиянием последних они сами переходили к производящему хозяйству), но, как правило, охотники и собиратели утрачивали свой исконный язык и переходили на язык соседних земледельцев. При этом встречались и такие случаи, когда такой язык сохранялся до наших дней только у заимствовавших его охотников и собирателей, тогда как потомки его исконных носителей утрачивали его. Такова, например, судьба южнокушитского языка дахало (Ehret 1976: 8). О неоднозначности результатов контактов между охотниками-собирателями и земледельцами свидетельствует пример пигмеев-мбути и их соседей-земледельцев. Мбути заимствовали много элементов культуры и перешли на языки соседей, сохранив при этом исконный охотничье-собирательский образ жизни и физический тип. Зато их соседи суданцы-лезу и банту-бира сохранили свои языки и культуру, но несколько изменили свой физический тип. Последнее было связано с тем,

что земледельцы иногда брали в жены пигмеек, причем дети от таких браков оставались в общинах отцов. Зато мужчины-пигмеи вступали в брак только с пигмейками (Turnbull 1965: 161, 229).

Одним словом, очень часто язык менял свои пространственные границы не столько в ходе миграции населения, сколько в результате заимствования его одними группами у других (Дьяконов 1983: 13–14). Но если это так, то огромное значение приобретает изучение многих языков мира с точки зрения наличия и сочетания в них субстратных и суперстратных явлений. В методологическом смысле огромное значение имеет характеристика субстрата, данная в свое время В.И. Абаевым: «язык, помимо того, что он связан с определенной артикуляционной базой, имеет слишком глубокие корни в жизни народа, слишком глубоко и интимно связан с его хозяйственными и социальными навыками и традициями, с его психологическим складом. Поэтому переход с одного языка на другой есть процесс сложный и трудный. Как бы велико ни было субъективное желание овладеть новым языком в точности и совершенстве, это желание не реализуется полностью. Какие-то качества родного языка в фонетике, лексике, семантике, типологии удерживаются помимо воли и сознания говорящих и продолжают “просвечивать” сквозь наложившуюся оболочку новой речи. В результате воспринятый чужой язык приобретает в данной среде особый своеобразный характер, отличный от того, какой он имел в исходной среде. Это своеобразие мы и объясняем наличием здесь иноязычной подпочвы, или... субстрата» (Абаев 1956: 57).

Исследования субстратных явлений в сравнительном языкознании ведутся, и уже сейчас можно твердо говорить о наличии австронезийского субстрата в японском языке (Lewin 1976; Murayama 1976), центральнокушитского в эфиосемитском (Ehret 1979), абхазо-адыгских в сванском (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 881). Следы какого-то неясного субстрата были обнаружены в лексике индоарийского и раннего дравидийского языков (Fairservis, Southworth 1989: 137). В последние годы лингвисты все чаще пишут о доиндоевропейском субстрате в индоевропейских языках: урартском в армянском (Дьяконов 1989: 21), каких-то доиндоевропейских языков в греческом (Откупщиков 1988), а также в языках Центральной и Северной Европы (Polome 1990) и т. д. (Problemi 1983). Сам В.И. Абаев отмечал, что, так как индоевропейские языки распространялись не на пустом месте, то многие из них (например, романские, осетинский, армянский и др.) испытали воздействие субстрата (Абаев 1956: 57, 58, 61, 62). Однако, несмотря на всю их перспективность, пока что таких исследований было проведено еще очень немного.

Как и при каких условиях древние этносы могли переходить с одного языка на другой? Моделированию этого процесса, как мне представляется, могли бы содействовать детальные исследования в странах третьего мира, где в недавнем прошлом или же буквально на глазах у ученых отдельные этнические группы переходили с одного языка на другой (Ehret 1988: 569–571). Пример такого исследования дает работа Дж. Уинтера, который проследил соответствующий языковой процесс у охотников и собирателей Северной Танзании, которые в XVIII–XIX вв. говорили на южнокушитском языке аасакс (Winter 1979). В XIX в. аасакс находились в тесных контактах с масаями, обменивались с ними элементами культуры и человеческими ресурсами и в качестве второго языка активно использовали восточнонилотский язык маа. В 1890-х гг. скотоводство у масаев было подорвано эпизоотией, и многие масаи поселились вместе с аасакс. Обладая среди них привилегированным положением, масаи без труда добились господства своего языка, на котором с этих пор полагалось говорить всем обита-

телям поселков, независимо от их этнического происхождения. На этом этапе язык аасакс превратился в мужской охотничий язык, и мужчины-аасакс говорили на нем только вне поселков. Этому способствовало то, что среди масаев существовало табу на охоту. Третий этап наступил в самом начале XX в., когда из-за резкого уменьшения поголовья диких животных немецкая администрация территории ввела запрет на охоту, и масаи вместе с аасакс были помещены в резервацию. В этих условиях аасакс перешли к скотоводству, а язык аасакс получил статус мужского языка. Поддержанию своей культуры и некоторой обособленности от масаев аасакс в эти годы помогал административный контроль, спасавший их от набегов масаев. Последний этап наступил в 1916–1918 гг., когда в связи с переходом местных территорий под надзор британских властей контроль над местными племенами ослабел, начались войны и аасакс потеряли весь свой скот. Вернуться к охоте они уже не могли, и их главари решили распустить людей племени. Так пришел конец аасакс как отдельной этнической группы, и ее язык окончательно исчез. Весь процесс смены языка занял, таким образом, около тридцати лет.

Разумеется, некоторые своеобразные черты рассмотренного примера вызывались конкретной исторической обстановкой, связанной с колониальной ситуацией. Вместе с тем, здесь проявились и достаточно общие закономерности, подтверждающиеся и другими материалами. Это – неспособность бродячих охотников и собирателей сколько-нибудь долго сохранять свой язык в условиях интенсивных контактов с более сильными соседями, в особенности, если сами эти охотники и собиратели под влиянием последних переходили к земледелию и скотоводству. Думаю, что из этой рабочей гипотезы можно исходить, фиксируя археологическую картину интенсивных контактов между первобытными земледельцами и бродячими охотниками и собирателями. Вместе с тем, чтобы представить процесс перехода с одного языка на другой во всей его вариативности, необходимы новые исследования, подобные тому, которое провел Д. Уинтер. Такие исследования, проведенные, например, в Папуа Новой Гвинее, подтверждают тот факт, что в обстановке очень тесных этнокультурных контактов, усугубленной военной угрозой, у небольших этнических групп не оставалось иного выбора, кроме перехода на языки более могущественных соседей (Dutton 1982: 251–252).

Резюмируя все вышеотмеченное, я должен еще раз подчеркнуть, что лингвистические реконструкции могут использоваться для исторических построений только после соответствующего источниковедческого анализа. При этом следует учитывать, что лингвистические и археологические источники могут отражать исторический процесс весьма по-разному, и это создает почву для некоторых противоречий, возникающих при работе по корреляции этих данных друг с другом. Так, лингвистические и археологические материалы могут отражать разные стадии одного и того же процесса, либо разные его стороны. В частности, если по археологическим данным фиксируется проникновение каких-либо элементов культуры извне, то лингвистически этот процесс может и не улавливаться в силу переноса старых названий на новые реалии. Возможен и противоположный случай, когда названия могут заимствоваться без соответствующих реалий. Нет и жесткой связи между распространением языка и миграцией населения. Может быть, поэтому в последние годы лингвисты гораздо чаще делают вывод о переселениях, чем археологи и палеоантропологи, нередко отдающие предпочтение выводу о местной автохтонной эволюции. Мне представляется, что вопрос об объективных предпосылках несоответствий между лингвистическими и археологическими выводами заслуживает

пристального внимания. Думаю, что здесь смогут помочь интенсивные исследования в области этно- и социолингвистики, а также лингвистики контактов, чему и была посвящена данная работа.

Библиография

Абаев 1952 – Абаев В.И. История языка и история народа // Вопросы теории и истории языка в свете трудов И.В. Сталина по языкознанию. М., 1952.

Абаев 1956 – Абаев В.И. О языковом субстрате // Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР. Вып. 9. М., 1956.

Абаев 1972 – Абаев В.И. К вопросу о прародине и древнейших миграциях индоиранских народов // Древний Восток и античный мир. М., 1972.

Аджиев 1992 – Аджиев М.И. Мы – из рода половецкого! Рыбинск, 1992.

Алексеев 1986 – Алексеев В.П. Этногенез. М., 1986.

Алексеенко 1967 – Алексеенко Е.А. Кеты. Л., 1967.

Алекшин 1990 – Алекшин В.А. Происхождение халафской культуры и проблема локализации индоевропейской прародины // Междисциплинарные исследования культурогенеза и этногенеза Армянского нагорья и сопредельных областей. Ереван, 1990.

Антропова 1971 – Антропова В.В. Культура и быт коряков. Л., 1971.

Арапов, Херц 1974 – Арапов М.В., Херц М.М. Математические методы в исторической лингвистике. М., 1974.

Арутюнов 1982 – Арутюнов С.А. Этнические общности доклассовой эпохи // Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе. М., 1982.

Брегадзе 1982 – Брегадзе Н.А. Очерки по агроэтнографии Грузии. Тбилиси, 1982.

Вега 1974 – Вега Г. де ла. История государства инков. Л., 1974.

Гамкрелидзе, Иванов 1984 – Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы: В 2-х тт. Т. 2. Тбилиси, 1984.

Георгиев 1958 – Георгиев В.И. Исследования по сравнительно-историческому языкознанию. М., 1958.

Готье 1930 – Готье Ю.В. Железный век в Восточной Европе. М.; Л., 1930.

Долуханов 1989 – Долуханов П.М. Экология и этнические процессы на территории древней Передней Азии // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Материалы к дискуссиям на международной конференции. Ч. 3. М., 1989.

Долуханов 1990 – Долуханов П.М. Палеоэтнические процессы на территории Передней Азии и Кавказа по данным археологии и смежных дисциплин // Междисциплинарные исследования культурогенеза и этногенеза Армянского нагорья и сопредельных областей. Ереван, 1990.

Дьяконов 1983 – Дьяконов И.М. Типы этнических передвижений в ранней древности // Древний Восток. Т. 4. Ереван, 1983.

Дьяконов 1989 – Дьяконов И.М. Языковые контакты на Кавказе и Ближнем Востоке // Кавказ и цивилизации Древнего Востока. Орджоникидзе, 1989.

Инал-Ипа 1965 – Инал-Ипа Ш.Д. Абхазы. Сухуми, 1965.

Клейн 1978 – Клейн Л.С. Археологические источники. Л., 1978.

Краснов 1971 – Краснов Ю.А. Раннее земледелие и животноводство в лесной полосе Восточной Европы. М., 1971.

Крашенинников 1949 – Крашенинников С.П. Описание земли Камчатки. Л., 1949.

Меновщиков 1969 – Меновщиков Г.А. О некоторых социальных аспектах эволюции языка // Вопросы социальной лингвистики. Л., 1969.

Милитарев, Шнирельман 1984 – Милитарев А.Ю., Шнирельман В.А. К проблеме локализации древнейших афразийцев: опыт лингвоархеологической реконструкции // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Тезисы и доклады конференции. Ч. 2. М., 1984.

Милитарев, Пейрос, Шнирельман 1988 – Милитарев А.Ю., Пейрос И.И., Шнирельман В.А. Методические проблемы лингвоархеологических реконструкций этногенеза // СЭ. № 4. 1988.

Меркулова 1965 – Меркулова В.А. О некоторых принципах этимологии названий растений // Этимология. М.: Наука, 1965. С. 72–87.

Откупщиков 1988 – Откупщиков Ю.В. Догреческий субстрат. Л., 1988.

Патрушев 1992 – Патрушев В.С. Финно-угры России. Йошкар-Ола, 1992.

Пейрос, Шнирельман 1987 – Пейрос И.И., Шнирельман В.А. Об особенностях формирования раннего земледельческого комплекса в Южной Азии // Десятая авторско-читательская конференция «Вестника древней истории» АН СССР. Тезисы докладов. М., 1987.

Пейрос, Шнирельман 1989а. – Пейрос И.И., Шнирельман В.А. Происхождение рисоводства и

проблемы междисциплинарных лингвоархеологических исследований // Становление региона: интеграционные процессы в Юго-Восточной Азии. М., 1989.

Пейрос, Шнирельман 1989б – Пейрос И.И., Шнирельман В.А. Возникновение рисоводства по данным междисциплинарных исследований // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Материалы к дискуссиям на международной конференции. Ч. 1. М., 1989.

Пейрос, Шнирельман 1992 – Пейрос И.И., Шнирельман В.А. В поисках прародины дравидов // Вестник древней истории. 1992. № 1.

Петренко 1984 – Петренко А.Г. Древнее и средневековое животноводство Среднего Поволжья и Предуралья. М., 1984.

Погорельский, Батраков 1930 – Погорельский П., Батраков В. Экономика кочевого аула Киргизстана. М., 1930.

Сводеш 1960а – Сводеш М. Лексико-статистическое датирование доисторических этнических контактов (на материале племен эскимосов и североамериканских индейцев) // Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1960.

Сводеш 1960б – Сводеш М. К вопросу о повышении точности в лексико-статистическом датировании // Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1960.

Сергеев 1955 – Сергеев М.А. Некапиталистический путь развития малых народов Севера. М.; Л., 1955.

Следзевский 1974 – Следзевский И.В. Хаусанские эмираты северной Нигерии. Хозяйство и общественно-политический строй. М., 1974.

Старостин 1988 – Старостин С.А. Индоевропейско-северокавказские изоглоссы // Древний Восток: этнокультурные связи. М., 1988.

Старостин 1989 – Старостин С.А. Сравнительно-историческое языкознание и лексико-статистика // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Материалы к дискуссиям. Ч. 1. М., 1989.

Стеблин-Каменский 1982 – Стеблин-Каменский И.М. Очерки по истории лексики памирских языков. Названия культурных растений. М., 1982.

Телегин 1992 – Телегин Д.Я. Опыт комплексного изучения археологических и лингвистических данных при решении этнокультурных вопросов по материалам Поднепровья // XVII Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа. Махачкала, 1992.

Токарев 1949 – Токарев С.А. К постановке проблем этногенеза // СЭ. 1949. № 3.

Тохтабаев 1992 – Тохтабаев А. Коневодство казахов в XIX – начале XX в. Алма-Ата, 1992.

Тумаркин 1975 – Тумаркин Д.Д. Хозяйство папуасов бонгу // На берегу Маклая. М., 1975.

Фиельструп 1927 – Фиельструп Ф. Скотоводство и кочевание в части степей Западного Казахстана // Казаки. Антропологические очерки. Л., 1927.

Халиков 1993 – Халиков А.Х. Уральцы и дравидийцы на севере центральной части Евразии // Археологические культуры и культурно-исторические общности большого Урала. Екатеринбург, 1993.

Хелимский 1989 – Хелимский Е.А. Самодийская лингвистическая реконструкция и праистория самодийцев // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Материалы к дискуссиям. Ч. 2. М., 1989.

Чебоксаров 1964 – Чебоксаров Н.Н. Проблемы происхождения древних и современных народов. М., 1964.

Черных 1987 – Черных Е.Н. Протоиндоевропейцы в системе циркумпонтийской провинции // Античная балканистика. Т. 5. М., 1987.

Членова 1984 – Членова Н.Л. О времени появления ираноязычного населения в Северном Причерноморье // Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. М., 1984.

Чурсин 1913 – Чурсин Г.Ф. Очерки по этнологии Кавказа. Тифлис, 1913.

Шнирельман 1980 – Шнирельман В.А. Происхождение скотоводства. М., 1980.

Шнирельман 1982а – Шнирельман В.А. Этнокультурные контакты и переход к производящему хозяйству (по материалам Африки и Азии) // СЭ. 1982. № 2.

Шнирельман 1982б – Шнирельман В.А. Инновации и культурная преемственность (на примере афроазиатских обществ с присваивающим и производящим хозяйством) // Народы Азии и Африки. 1982. № 5.

Шнирельман 1983 – Шнирельман В.А. Археологические источники // История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза. М., 1983.

Шнирельман 1988 – Шнирельман В.А. Производственные предпосылки разложения первобытного общества // История первобытного общества. Эпоха классообразования. М., 1988.

Шнирельман 1989 – Шнирельман В.А. Возникновение производящего хозяйства. М., 1989.

Шнирельман 1991 – Шнирельман В.А. Полевые данные о тлингитах Аляски. 1991.

Шнирельман 1992а – Шнирельман В.А. Этнокультурные контакты и лингвистические процессы

в Северной Америке // Америка после Колумба: взаимодействие двух миров. М., 1992.

Шнирельман 1992б – Шнирельман В.А. Полевые записи, сделанные на Камчатке. 1992.

Шнирельман 1993а – Шнирельман В.А. Археологическая культура и социальная реальность (проблема интерпретации керамических ареалов). Екатеринбург, 1993.

Шнирельман 1993б – Шнирельман В.А. Наука об этногенезе и этнополитика // Историческое познание: традиции и новации. Ч. 1. Ижевск, 1993.

Шнирельман 1993в – Шнирельман В.А. Злоключения одной науки: этногенетические исследования и сталинская национальная политика // ЭО. 1993. № 3.

Шнирельман 1994 – Шнирельман В.А. У истоков войны и мира. М., 1994.

Шнирельман 1995 – Шнирельман В.А. Националистический миф: основные характеристики // Славяноведение. 1995. № 6.

Шнирельман 2003 Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье. М.: ИКЦ Академкнига. 2003.

Шнирельман 2006 – Шнирельман В.А. Быть аланами. Интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в XX веке. М.: НЛО. 2006.

Штайн 1981 – Штайн Л. В черных шатрах бедуинов. М., 1981.

Якубинский 1926 – Якубинский Л. Несколько замечаний о словарном заимствовании // Язык и литература. 1926. № 1.

Baldi 1988 – Baldi P. Review of C. Renfrew. Archaeology and Language // Current Anthropology. 1988. Vol. 29. No. 3.

Barker 1988 – Barker G. Review of C. Renfrew. Archaeology and Language // Current Anthropology. 1988. Vol. 29. No. 3.

Benveniste 1970 – Benveniste E. Les valeurs économiques dans le vocabulaire indo-européen // Cardona, G., Hoeningswald, H.M., Senn, A. (édd.), Indo-European and Indo-Europeans. Papers presented at the Third Indo-European conference at the University of Pennsylvania [21–23 avril 1966], Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1970. P. 307–320.

Berlin et al. 1973 – Berlin B. et al. General Principles of Classification and Nomenclature in Folk Biology // American Anthropologist. 1973. Vol. 75. No. 1.

Boas 1921 – Boas F. Ethnology of the Kwakiutl, Based on Data Collected by George Hunt // Bureau of American Ethnology, Annual Report, no. 35. Washington, 1921.

Boas 1966 – Boas F. Kwakiutl Ethnography. Chicago, 1966.

Bright 1960 – Bright W. Animals of Acculturation in the California Indian Languages // University of California publications in linguistics. Berkeley, Los Angeles, vol. 4, no. 4. 1960.

Brown 1985 – Brown C.H. Mode of Subsistence and Folk Biological Taxonomy // Current Anthropology. 1985. Vol. 26. No. 1.

Brown 1986 – Brown C.H. The Growth of Ethnobiological Nomenclature // Current Anthropology. 1986. Vol. 27. No. 1.

Bukowski 1971–1972 – Bukowski Z. Studies on the Oldest Shields in Europe // Archeologia. Wrocław, 1971–1972. T. 22.

Casagrande 1954 – Casagrande J.B. Comanche Linguistic Acculturation, II // International Journal of American Linguistic. 1954. Vol. 20. No. 3.

Coleman 1988 – Coleman R. Review of C. Renfrew. Archaeology and Language // Current Anthropology. 1988. Vol. 29. No. 3.

Colson 1967 – Colson E. Social Organization of the Gwembe Tonga. Manchester, 1967.

Cruikshank 1990 – Cruikshank J. Women's Life Histories from Northern Canada: Explaining New Changes with Old Stories // A paper presented to the Sixth International Conference on Hunting and Gathering Societies. Fairbanks. 1990.

Laguna 1972 – Laguna F. de. Under Mount St. Elias: The History and Culture of the Yakutat Tlingit. Pt. 1–2. Washington, 1972.

DuToit 1975 – DuToit B.M. Akuna. A New Guinea Village Community. Rotterdam, 1975.

Dennell 1985 – Dennell R.W. The Hunter-Gatherer/Agricultural Frontier in Prehistoric Temperate Europe // The Archaeology of Frontiers and Boundaries. Orlando, 1985.

Dolgopolsky 1989 – Dolgopolsky A.B. Cultural Contacts of Proto-Indo-European and Proto-Indo-Iranian with Neighbouring Languages // Folia Linguistica Historica. 1989. Vol. 8. No. 1–2.

Dolukhanov 1989 – Dolukhanov P.M. Cultural and Ethnic Processes in Prehistory as Seen through the Evidence of Archaeology and Related Disciplines // Archaeological Approaches to Cultural Identity. London, 1989.

Dolukhanov 1994 – Dolukhanov P.M. Environment and Ethnicity in the Ancient Middle East. Avebury: Ashgate. 1994.

Downs 1963 – Downs J.F. Washo Response to Animal Husbandry // The Washo Indians of California and Nevada. Salt Lake City, 1963.

Dutton 1982 – Dutton T. The Melanesian Response to Linguistic Diversity: the Papuan Example // Melanesia: Beyond Diversity. Canberra, 1982. Vol. 1.

Ehret 1976 – Ehret C. Linguistic Evidence and its Correlation with Archaeology // World Archaeology. 1976. Vol. 8. No. 1.

Ehret 1979 – Ehret C. On the Antiquity of Agriculture in Ethiopia // Journal of African History. 1979. Vol. 20. No. 2.

Ehret 1988 – Ehret C. Language Change and the Material Correlates of Language and Ethnic Shift // Antiquity. 1988. Vol. 62. No. 236.

Ekholm 1972 – Ekholm K. Power and Prestige: the Rise and Fall of the Kongo Kingdom. Uppsala. 1972.

Evans-Pritchard 1940 – Evans-Pritchard E.E. The Nuer. Oxford, 1940.

Fairservis, Southworth 1989 – Fairservis W.A., Southworth F.C. Linguistic Archaeology and the Indus Valley Culture // Old Problems and new Perspectives in the Archaeology of South Asia. Madison, 1940. Vol. 2.

Gimbutas 1985 – Gimbutas M. Primary and Secondary Homeland of the Indo-Europeans // The Journal of Indo-European Studies. 1985. Vol. 13. No. 1–2.

Gudschinsky 1964 – Gudschinsky S.C. The ABC's of Lexicostatistics (Glottochronology) // Language in Culture and Society. N.Y., 1964.

Guilaine 1987 – Guilaine J. Les néolithiques européens: colons et/ou créateurs? // L'Anthropologie. 1987. T. 91. No. 1.

Hiernaux 1974 – Hiernaux J. The Peoples of Africa. L., 1974.

Hymes 1960 – Hymes D.H. Lexicostatistics So Far // Current Anthropology. 1960. Vol. 1. No. 1.

Hynes, Chase 1982 – Hynes R.A., Chase A.K. Plants, Sites and Domiculture: Aboriginal Influence upon Plant Communities in Cape York Peninsula // Archaeology in Oceania. 1982. Vol. 17. No. 1.

Irimoto 1990 – Irimoto T. Changing Patterns of Ainu Land Use and Land Rights in a Historical Context // A Paper Presented to the Sixth International Conference on Hunting and Gathering Societies. Fairbanks. 1990.

Joiris 1990 – Joiris V. Ritual Participation by Baka Woman of Southern Cameroon in Activities Considered Exclusively Masculine // A paper presented to the Sixth International Conference on Hunting and Gathering Societies. Fairbanks. 1990.

Kaplan 1975 – Kaplan J.O. The Piaroa. A People of the Orinoco Basin. A Study in Kinship and Marriage. Oxford, 1975.

Klein, Lerman, Damon, Ralph 1982 – Klein J., Lerman J.C., Damon P.E., Ralph E.K. Calibration of Radiocarbon Dates // Radiocarbon. New Haven, 1982. Vol. 24. No. 2.

Kratz 1990 – Kratz C.A. Follow the Family, Follow the Husband: Preliminary Thoughts on Gender, Agency, Ideology and Politics in Okiek Marriage // A Paper Presented to the Sixth International Conference on Hunting and Gathering Societies. Fairbanks. 1990.

Lancaster 1987 – Lancaster C.S. Political Structure and Ethnicity in an Immigrant Society: the Goba of the Zambezi // The African Frontier. Bloomington. 1987.

Lawton, Wilke, DeDeker, Mason 1976 – Lawton H.W., Wilke P.J., DeDeker M., Mason W.M. Agriculture among the Paiute of Owens Valley // The Journal of California and Great Basin. 1976. Vol. 3.

Lewin 1976 – Lewin B. Japanese and Korean: the Problem and History of a Linguistic Comparison // Journal of Japanese Studies. 1976. Vol. 2. No. 2.

Masica 1979 – Masica C.P. Aryan and Non-Aryan Elements in North Indian Agriculture // Aryan and Non-Aryan in India. Ann Arbor. 1979.

Mentore 1987 – Mentore G.P. Waiwai Women: the Basis of Wealth and Power // Man. 1987. Vol. 22. No. 3.

Militarev, Shnirelman 1988 – Militarev A.Yu., Shnirelman V.A. The Problem of Proto-Afrasian Home and Culture (An Essay in Linguoarchaeological Reconstruction). A paper presented at the 12th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Zagreb, 1988. Moscow.

Milton 1984 – Milton K. Protein and Carbohydrate Resources of the Maku Indians of North-Western Amazonia // American Anthropologist. 1984. Vol. 86. No. 1.

Murayama 1976 – Murayama S. The Malayo-Polynesian Component in the Japanese Language // Journal of Japanese Studies. 1976. Vol. 2. No. 2.

Murphy 1974 – Murphy E.J. The Bantu Civilization of South Africa. N.Y., 1974.

Musil 1928 – Musil A. The Manners and Customs of the Rwala Bedouin. N.Y., 1928.

Nelson 1973 – Nelson R. Hunters of the Northern Forest. Chicago, 1973.

Newman 1970 – Newman J.L. The Ecological Basis for Subsistence Change Among the Sandawe of Tanzania. Washington, 1970.

Nicolaisen 1963 – Nicolaisen J. Ecology and Culture of the Pastoral Tuareg. Copenhagen, 1963.

Nida 1958 – Nida E.A. Analysis of Meaning and Dictionary Making // International Journal of the American Linguistic. 1958. Vol. 24. No. 4.

O'Brien 1972 – O'Brien P.J. The Sweet Potato: its Origin and Dispersal // American Anthropologist. 1972. Vol. 74. No. 3.

Oswalt, Stone 1967 – Oswalt W.H., Stone J.W. van. The Ethnoarchaeology of Crow Village, Alaska. Washington, 1967.

Palmer, Brady 1990 – Palmer K., Brady M. Diet and Lifestyle of Aborigines in the Vicinity of the Atomic Test Sites in Southern Australia. A paper presented to the 6th International Conference on Hunting and Gathering Societies. Fairbanks. 1990.

Pejros, Shnirelman 1999 – Pejros I.I., Shnirelman V.A. Rice in Southeast Asia: a Regional Interdisciplinary Approach // R. Blench and M. Spriggs (eds.). Archaeology and Language, 2. Correlating Archaeological and Linguistic Hypotheses. London and New York: Routledge. P. 379–389.

Polome 1990 – Polome E.C. The Indo-Europeanization of Northern Europe: the Linguistic Evidence // The Journal of Indo-European Studies. 1990. Vol. 18. No. 1–2.

Porteres 1976 – Porteres R. African Cereals: Eleusine, Fonio, Black Fonio, Teff, Brachiaria, Paspalum, Pennisetum, and African Rice // Origins of African Plant Domestication. The Hague–Paris, 1976.

Problemi 1983 – Problemi di sostrato nelle lingue indoeuropee / Ed. by E. Campanile. Pisa, 1983.

Rappaport 1989 – Rappaport R. Личное сообщение.

Redei 1986 – Redei K. Zu den indogermanisch-uralischen Sprachkontakten. Wien, 1986.

Renfrew 1987 – Renfrew C. Archaeology and Language. The Puzzle of Indo-European origins. London, 1987.

Renfrew 1989 – Renfrew C. Change in Language and Culture: a Special Meeting // Transactions of the Philological Society. 1989. Vol. 87. No. 2.

Renfrew 1992 – Renfrew C. Archaeology, Genetics and Linguistic Diversity // Man. 1992. Vol. 27. No. 3.

Rimantiene, Cesnys 1990 – Rimantiene R., Cesnys G. The Late Globular Amphora Culture and its Creators in the East Baltic Area from Archaeological and Anthropological Points of View // The Journal of Indo-European Studies. 1990. Vol. 18. No. 3–4.

Rocek, Speth 1986 – Rocek Th.R., Speth J.D. The Henderson Site Burials: Glimpses of a Late Prehistoric Population in the Pecos Valley. Ann Arbor. 1986.

Routledge, Routledge 1910 – Routledge W.S., Routledge K. With a Prehistoric People. The Akikuyu of British East Africa. Londo, 1910.

Saggers, Gray 1985 – Saggers S., Gray D. The "Neolithic Problem" Reconsidered: Human-Plant Relationships in Northern Australia and New Guinea // Asian Perspectives. 1985. Vol. 25. No. 2.

Savishinski 1974 – Savishinski J.S. The Trail of the Hare. Life and Stress in an Arctic Community. N.Y., 1974.

Schlesier 1961 – Schlesier E. Zum Problem einer Sago-verwertenden Kulturschicht auf Neu-Guinea // Zeitschrift für Ethnologie. Bd. 86. Hf. 2.

Sherratt 1988 – Sherratt A. Review of C. Renfrew. Archaeology and Language // Current Anthropology. 1988. Vol. 29. No. 3.

Sherratt, Sherratt 1988 – Sherratt A., Sherratt S. The Archaeology of Indo-European: an Alternative View // Antiquity. 1988. Vol. 62. No. 236.

Shnirelman 1992 – Shnirelman V.A. The Emergence of a Food-Producing Economy in the Steppe and Forest-Steppe Zone of Eastern Europe // The Journal of Indo-European Studies. 1992. Vol. 20. No. 1–2.

Shnirelman 1995 – Shnirelman V.A. Who Has Priority: Ethnogenetic Myth as an Ideology of Confrontation. A paper presented to the Symposium on Ideology, Warfare and Indoctrinability held in Ringberg Castle, Germany, 9–13 January.

Shnirelman 1996 – Shnirelman V.A. Who Gets the Past? Competition among Non-Russian Intellectuals in Russia. Woodrow Wilson Center Press. 1996.

Shnirelman 1997 – Shnirelman V.A. Linguoarchaeology: Goals, Advances and Limits // R. Blench and M. Spriggs (eds.). Archaeology and Language I. Theoretical and Methodological Orientations. London and New York: Routledge, 1997. P. 158–165.

Smole 1976 – Smole W.J. The Yanomama Indians: a Cultural Geography. Austin. 1976.

Suttles 1951 – Suttles W. The Early Diffusion of the Potato among the Coast Salish // South-Western Journal of Anthropology. 1951. Vol. 7. No. 3.

Swadesh 1959 – Swadesh M. Linguistics as an Instrument of Prehistory // Southwestern Journal of Anthropology. 1959. Vol. 15. No. 1.

Szemerenyi 1989 – Szemerenyi O. Concerning Professor Renfrew's Views on the Indo-European Homeland // Transactions of the Philological Society. 1989. Vol. 87. No. 2.

Telegin 1990 – Telegin D.Ya. Iranian Hydronyms and Archaeological Cultures in the Eastern Ukraine // The Journal of Indo-European Studies. 1990. Vol. 18. No. 1–2.

Thomson 1949 – Thomson D.F. Economic Structure and the Ceremonial Exchange Cycle in Arnhem Land. Melbourne, 1949.

Tindale 1977 – Tindale N.B. Adaptive Significance of the Panara or Grass Seed Culture of Australia // Stone Tools as Cultural Markers. Canberra, 1977.

Turnbull 1965 – Turnbull C.M. The Mbuti Pygmies: an Ethnological Survey. N.Y., 1965.

Turner, Kuhnlein 1982 – Turner N.J., Kuhnlein H.V. Two Important "Root" Foods of the North-West Coast Indians: Springbank Clover (*Trifolium wormskioldii*) and Pacific Silverweed (*Potentilla anserina ssp. pacifica*) // Economic Botany. 1982. Vol. 36. No. 4.

Turney-High 1949 – Turney-High H.H. Primitive War. Its Practice and Concepts. Columbia, 1949.

Visser 1986 – Visser L.E. Comment on Brown, 1986 // Current Anthropology. 1986. Vol. 27. No. 1.

Will, Hyde 1964 – Will G.F., Hyde G.E. Corn among the Indians of the Upper Missouri. Lincoln, 1964.

Winter 1979 – Winter J.C. Language Shift among the Aasax, a Hunter-Gatherer Tribe in Tanzania (a Historical and Sociolinguistic Case Study) // Sprache und Geschichte in Afrika. Hamburg, Bd. 1. 1979.

Witkowski, Brown 1983 – Witkowski S.R., Brown C.H. Marking-Reversals and Cultural Importance // Language. 1983. Vol. 59. No. 3.

Worsley 1961 – Worsley P. The Utilization of Natural Food Resources by an Australian Aboriginal Tribe // Acta Ethnographica. Budapest, 1961. T. 10. Fasc. 1–2.

Yen 1974 – Yen D.E. The Sweet Potato and Oceania. Honolulu, 1974.

Yoffee 1990 – Yoffee N. Before Babel. A review article // Proceedings of the Prehistoric Society. 1990. Vol. 56.

Zimmer 1990 – Zimmer S. On Indo-Europeanization // The Journal of Indo-European Studies. 1990. Vol. 18. No. 1–2.

Zvelebil 1986 – Zvelebil M. Postglacial Foraging in the Forests of Europe // Scientific American. 1986. Vol. 254. No. 5.

Zvelebil, Zvelebil 1988 – Zvelebil M., Zvelebil K.V. Agricultural Transition and Indo-European Dispersals // Antiquity. 1988. Vol. 62. No. 236.

О.Е. Казьмина

Интеграция этнологии и религиоведения при изучении религиозной ситуации в России

Одна из особенностей религиозной ситуации в России заключается в тесной связи религиозной и этнической идентичности. Без учета этой связи невозможно понять многие важные ее аспекты и для правильной оценки современной религиозной ситуации необходима интеграция исследовательского потенциала этнологии и религиоведения.

Хотя этнические и конфессиональные общности – это два разных вида социальных объединений людей, они нередко функционируют на одном территориальном пространстве и представлены в одной и той же совокупности людей, а границы между этими видами общностей иногда пересекаются между собой (Пучков 2006: 29). Религиозная принадлежность человека может определяться не только его/ее свободным выбором, но и этническими традициями и фактом рождения в определенной этнической среде.

Изучая роль религиозной принадлежности в этнической идентичности и, наоборот, влияние этнического фактора на религиозную идентичность, необходимо помнить о культурной составляющей религии. С одной стороны, религиозная практика всегда впитывает в себя этнические особенности культуры, а этническая идентичность, будучи механизмом, отбирающим и транслирующим социальные ценности, в число этих ценностей включает и религию. С другой стороны, некоторые религиозные предписания формируют особенности образа жизни и этнической культуры. Связь религии и этнической культуры прослеживается в литературе, словарном фонде, музыке, семейном быте, выборе жизненных ценностей, политической культуре и многих других сферах. Важно и то, что религиозная традиция всегда консервативна. Это делает ее своего рода «хранилищем» коллективной памяти народа (или его части). Иногда религия может играть роль «маркера» этнической идентичности. В таких случаях этническое самосознание нередко фокусируется на религиозной принадлежности. В связи с этим религиозная идентичность часто важна не только для верующих, но и для тех, кто себя таковыми не считает в плане мировоззренческого выбора, но ассоциирует себя с определенной религиозной традицией, прежде всего в силу культурных причин. Известный российский религиовед М.П. Мчедлов отмечал, что «сколь бы ни был сложен процесс приобщения этноса к определенной религии, последняя, став для него “своей”, его в полном смысле духовной пищей, входит во все поры национальной культуры начинает во многом определять национальное самосознание, стиль и образ жизни народа» (Мчедлов 1996: 11–12). М.П. Мчедлов также подчеркивал, что многообразный и сложный процесс этнизации религии зачастую порождает весьма вольное отношение к теолого-догматическому ригоризму. Тут проявляется своеобразная диалектика: благодаря этнизации увеличивается популярность религии среди данного народа, но одновременно и возрастает возможность ее неортодоксальной трактовки. Сюда же можно отнести небрежение некоторыми предписаниями. М.П. Мчедлов разъясняет, что соединение христианской религии с повседневной жизнью русского народа, ее этнизация вылились в то, что реально бытующая религия в ряде вопросов имеет некоторые особенности, не свойственные официальному православию. И дело не только в сохранении элементов

так называемого двоеверия (например, крещенские гадания), но и в известном безразличии к сугубо богословским проблемам (например, к теологической трактовке сущности Троицы), в выдвижении на первый план и большей популярности доступных для восприятия простыми верующими образов и представлений (Страшного Суда, посмертного воздаяния), в доминировании в сознании масс верующих религиозно-нравственных норм (Мчедлов 1996: 10).

Исторически с течением времени сопряженность этнической и религиозной идентичности постепенно уменьшалась как из-за усиления религиозного многообразия среди многих народов, так и из-за отхода части населения мира от религии. Секуляризация была характерной тенденцией XX века. Однако на рубеже XX и XIX веков в мире произошло усиление религиозной идентичности и возрастание роли религии в обществе. Современный период все чаще называют постсекулярным. Это подразумевает, что религия и религиозное сознание все более уверенно признаются неотъемлемой частью существования человечества.

Рост интереса к религии произошел в 1990-е годы и в России. Более того, в нашей стране данные тенденции были усилены еще и тем, что религиозная свобода стала возможной после нескольких десятилетий подавления религиозной жизни. В 1990-е годы в России увеличили свою активность все издавна существовавшие в стране религиозные организации, восстановили свою деятельность конфессии, ранее действовавшие в России, но прекратившие функционировать в советское время, появилось много новых деноминаций.

В результате увеличения религиозного многообразия корреляция между этнической и религиозной принадлежностью в России в первой половине 1990-х годов снизилась по сравнению с началом XX в. Наблюдалась определенная «деэтнизация» некоторых конфессий, равно как и ослабление конфессиональной однородности этнических групп. Но начиная с середины 1990-х годов происходит усиление позиций Русской Православной Церкви и других традиционных для России религиозных организаций. Одновременно роль религии в этническом самосознании стала заметно возрастать. Этническая и религиозная идентичности остались тесно взаимосвязанными. Несмотря на увеличение случаев перехода в другие конфессии, религиозная принадлежность людей в значительной степени продолжала предопределяться принадлежностью этнической. Более того, даже при отходе от религии в смысле личной веры люди сохраняют связь со своей «исторической» конфессией.

В условиях усиления связи между этнической и конфессиональной самоидентификацией, причисляя себя к традиционной конфессии, люди выражают и свое этническое самосознание, то есть имеется тенденция к совмещению религиозной и этнической идентичности. Такой вывод можно сделать, интерпретируя данные социологических опросов.

Все социологические опросы, проведенные в России в постсоветское время и направленные на выявление уровня и характера религиозности, стабильно показывают одну особенность: разрыв между числом тех, кто себя ассоциирует с той или иной традиционной для страны конфессией, и числом тех, кто называет себя верующими. Так, последователями православия называют себя в разных опросах от 60 до 80% россиян, из них верующими заявляют себя лишь около 60%.

Такую внешне парадоксальную особенность определяют несколько факторов. Во-первых, это характерная для России тесная связь между религиозной идентичностью и другими видами культурной идентичности, прежде всего этнической идентичностью. Ассоциируя себя с православием (или другой исторически традиционной для России конфессией), люди зачастую выражают не

только (а иногда не столько) мировоззренческую позицию, но и этническое и гражданское самосознание. Некоторые вообще, будучи неверующими, ассоциируют себя с конкретной конфессией в силу культурно-исторических связей и традиций. Таким образом, религиозный фактор является важным и значимым компонентом этнической идентичности, в том числе неверующих. Отсюда, в частности, и такое с точки зрения мировоззренческой позиции не вполне логичное, но, тем не менее, нередко встречающееся определение своих отношений с религией, как «Я неверующий из православных». Тесная связь религиозной идентичности с этнической объясняет и формально непоследовательное (или даже нелогичное) поведение части неверующих, когда они отмечают религиозные праздники, порой посещают храмы или даже участвуют в религиозных обрядах. Очевидно, такое поведение воспринимается ими как следование этническим традициям, соответствие культурной норме своего народа, то есть религиозные действия рассматриваются как черты этнической культуры, религиозные обряды воспринимаются этническими. Такое слияние религиозного и этнического, с одной стороны, помешало осуществлению советского проекта по искоренению религии, с другой стороны, оно же не допустило приватизации религии. Из-за сильной связи религиозной идентичности с этнической восприятие других конфессий также часто происходит сквозь призму этничности. Этим объясняется, например, почему у Русской Православной Церкви в 1990-е годы легче налаживались отношения с так называемыми традиционными религиями России, к которым стало принято наряду с православием относить ислам, буддизм и иудаизм (четко ассоциирующимися с определенными этносами), чем со многими из инославных христиан. В этом восприятии последователи «традиционных религий» – это «наши соседи», представители народов, традиционно живущих в стране, а инославные христиане – конкуренты, реально или потенциально претендующие на окормление тех, кто должен быть православной паствой. Таким образом, религия здесь выступает и символом этнической (национальной) идентичности, и мерилом на шкале «мы» – «наши соседи» – «чужие».

Пытаясь объяснить видимый парадокс, заключающийся в разрыве между числом ассоциирующих и верующих, следует помнить о том, что религия/религиозность – это комплексный феномен, имеющий разные составляющие. Здесь полезно обратиться к статье американского религиоведа и юриста Т.Дж. Ганна. «Комплексность религии и определение религии в международном праве» (Gunn 2003) Исходя из того, что религия – многомерный феномен, он выделяет три основные грани религии (фактически три основных вида личной связи с религией): религия как вера, религия как идентичность и религия как образ жизни (Gunn 2003: 200–205). Религия как вера имеет отношение к убеждениям. В случае православия эта грань означает, как человек понимает сущность Троицы, природу Иисуса Христа, что знает о других доктринальных положениях и принимает ли их. При проявлении этой грани важно, что человек воспринимает догматические положения в соответствии с учением. Таким образом, религия как вера подчеркивает доктринальную сторону. Что же касается религии как идентичности, то эта грань отражает связь с конкретной группой, определенную общность, в каком-то смысле родство. Механизм связи схож с причислением себя к этнической группе. В этом случае человек верит в свою принадлежность к конфессии по фактам рождения в данной группе, связи с данной культурной средой и может даже не задумываться над сутью доктринальных положений (человек знает, что рожден в традиционно православной среде, был крещен в младенчестве,

и уже этого ему достаточно, чтобы называть себя православным). Важен факт принадлежности к группе независимо от личных представлений о тех или иных догматах (опять можно провести параллель с отнесением себя к определенному народу – для чего можно и не быть знакомым со многими элементами традиционной этнической культуры). В этом случае существенно, прежде всего, не то, что человек имеет такие же представления о религиозном учении, что и другие члены группы, а то, что все члены группы связаны общей историей, культурой, этничностью и традициями (Gunn 2003: 200). Знание догматики отнюдь не обязательно характерно для всех верующих. С.А. Токарев писал об этом еще в ходе дискуссии, развернувшейся на страницах журнала «Советская этнография» в 1979–1981 гг. Он, в частности, подчеркивал, что если вспомнить, что религии «включают в себя … строгую догматику, разные “символы веры”, богословские учения и пр., то странно даже и подумать, что все это может требоваться от простого мирянина-“верующего”. Ведь чтобы убедиться в том, что вполне можно «иметь верования и не знать их», достаточно произвести нехитрый эксперимент: задать прихожанину любой церкви два-три вопроса по православному катехизису. Спор решится сам собой» (Токарев 1981: 55). При этом С.А. Токарев не ставил под сомнение отнесение таких прихожан к категории «православные». Да и вряд ли в тот период неверующие люди стали бы ходить в церковь. Люди могут считать себя православными на основе принадлежности к русскому этносу и культуре и несмотря на то, что редко ходят в церковь, не помнят Символа веры и плохо знают Библию. И именно из-за такой ассоциации порой православными называют себя те, кто сознательно с точки зрения мировоззрения относит себя к неверующим, то есть не признает догматическую сторону религии. Быть настоящим русским для них – значит быть членом или хотя бы сочувствующим традиционной – православной – церкви. Именно в этой – идентификационной – грани религия тесно переплетается с этничностью и порождает самоопределения типа «русский значит православный». Эта ассоциация религии и этничности, заложенная в идентификационной грани религии, может усиливаться, когда «своей» религии грозит реальная или гипотетическая опасность, например, миссионерская/прозелитическая деятельность других конфессий, что произошло в России в 1990-е годы. И тогда «опасная» для религии ситуация рассматривается одновременно и как атака на этническую группу или нацию, поскольку привычной идентичности, вобравшей в себя и этническое и религиозное, угрожает новая, конкурирующая с ней. Защищаясь от прозелитизма, традиционные церкви обращаются не только к религиозным, но и к этническим чувствам своих реальных или потенциальных чад. Третья грань религии, по Дж. Ганну, – религия как образ жизни. Как считает этот исследователь, и с его мнением можно согласиться, для конкретного человека эта грань связана с одной из двух других упомянутых граней (Gunn 2003: 204), являясь как бы производной от одной из них. Имеется в виду, что религия предписывает выполнение определенных обрядов и других действий, что формирует следование определенной традиции и обычаям. Конкретный человек может все это соблюдать либо из-за признания определенной догматики, либо из-за связи с конкретной группой, в которой так принято, либо из-за того и другого одновременно. В случае православия религия как образ жизни мотивирует людей не есть мясо в пост, красить яйца и печь куличи на Пасху и т. п. Сюда же можно отнести венчание, когда оно совершается в первую очередь потому, что так было принято. Когда человека связывает с православием именно третья грань, религиозность проявляется прежде всего по опре-

деленным случаям: самые большие праздники и значимые события жизненного цикла (свадьба, рождение ребенка, похороны).

В тех обществах, где религия рассматривается, прежде всего, как личное дело человека, характерен упор на первую грань (религия как вера), то есть на личные убеждения человека. В обществах же, где религия воспринимается прежде всего на общественном уровне, наиболее значимы две другие грани.

В России религия традиционно воспринимается прежде всего на общественном уровне. И в этом кроется второе объяснение внешне парадоксальных результатов социологических опросов. Особая значимость идентификационной составляющей религии, определенное слияние религии и этничности связаны с тем, что в России практически не было традиции воспринимать религию как личное дело. В дореволюционный период религия была частью государственной идеологии. В советский период она рассматривалась как враждебная идеология, но по-прежнему никак не личное дело человека. Лишь с принятием в 1990 г. Закона «О свободе вероисповеданий» (Закон 1990) была сделана попытка приватизации религии, т. е. трактовки религии как личного дела человека. Философия этого закона базировалась на идеях индивидуального религиозного выбора и государственного нейтралитета по отношению ко всем религиозным организациям. Такая философия закона, естественно, снижала связь религии и этничности, которая исторически была сильной в России. Но этот закон, как известно, «не прижился» и был сменен новым, более соответствующим исторической традиции. Принятый в 1997 г. Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (Закон 1997) подчеркивал тесную связь между религиозной жизнью и историей и традиционной культурой, усиливал позиции религиозных организаций, издавна существовавших в России, и ограничивал возможности для зарубежных миссий. Тенденция приватизации религии вновь сменилась тенденцией восприятия религии как дела общественного.

В современной России на такое восприятие религии как дела общественного, а не личного оказал влияние и особый опыт советской секуляризации. Хотя секуляризация не только советское явление, а глобальная тенденция в XX в., советская секуляризация имела качественное отличие: насильственное насаждение атеизма, т. е. это была жесткая секуляризация сверху. В западном обществе, где тоже в XX в. шли процессы секуляризации и уменьшалась роль религии в общественной жизни, религия не вытеснялась насильственно из личной сферы, т. е. сохранялась «приватизированная» религия. В личной сфере религия зачастую оставалась, приобретая даже новые формы выражения, но становясь гораздо меньше связанной с другими видами культуры, чем это было в прошлом. Иными словами, в западном секуляризованном обществе религия сохраняется именно на индивидуальном уровне. Религия предлагала освоение другого мира ради спасения от тягот технологического порядка и от тоски, являющейся побочным продуктом все более запрограммированного мира (Wilson 1966: 14). В западном секуляризованном обществе религия становилась прежде всего личным делом человека. В Советском Союзе в отличие от западного мира происходила не просто активная и стремительная общественная секуляризация, но и насильственная атеизация населения. Религию стремились вытеснить не только из общественной сферы, но и из частной жизни. Даже на индивидуальном уровне религия рассматривалась как угроза системе. Личным делом религия могла быть разве что для бабушек, уже вышедших из активной социальной деятельности, да и то, если они не пытались оказывать религиозного воздействия на внуков. Религия идеологизировалась, трактовалась исключительно как общественное явление

и именно так воспринималась людьми. Во многом это предопределило и те пути, какими религия стала вновь входить в жизнь людей в 1990-е годы. Как справедливо отмечал российский религиовед и юрист А.Г. Залужный, изменения в религиозной сфере, произошедшие в России в начале 1990-х годов, «в гораздо большей степени сфокусировались на социальном, чем на индивидуальном уровне» (Залужный 2002: 51). Культурный компонент религии оказался наиболее понятным людям, выросшим в сильно секуляризованном обществе. Хотя советский проект насильственной секуляризации «сверху» провалился и число участвующих в религиозной практике на протяжении последних десятилетий постепенно увеличивалось, десекуляризация тоже в значительной степени пошла «сверху», на общественном уровне.

Надо также помнить, что в самом православном учении заложены идеи национальной или иной коллективной культурной идентичности, которые народами впитывались на протяжении столетий. Организационное устройство православия – в виде поместных церквей также способствует переплетению религиозной и национальной или этнической идентичностей и оказывает влияние на особенности религиозности. То, что исторически Православные Церкви были тесно связаны с государством, способствовало их еще большей вовлеченности в конструирование коллективных идентичностей (Prodromou 2004: 30–31). В принятой на Соборе 1917–1918 гг. вероучительной формуле о положении Православной Церкви в Российском государстве говорилось: «Православная Российская Церковь, составляя часть единой Вселенской Христовой Церкви, занимает в Российском государстве первенствующее среди других исповеданий публично-правовое положение, подобающее ей, как величайшей святыне огромного большинства населения и как великой исторической силе, созидавшей Российское государство» (Шведов 2003: 103).

Третье, на что надо обратить внимание при анализе особенностей современной российской религиозности, это коннотация слова «верующий». Понятие «верующий» порой толкуется весьма своеобразно. Фактически в представлении людей происходит подмена понятий, слияние с понятием «религиозный», практикующий. Люди полагают, что верующий – это не просто тот, кто верит в Бога, а тот, кто также активно участвует в богослужебной практике и выполняет предписания Церкви относительно повседневной жизни, а таких, естественно, меньше не только, чем людей, ассоциирующих себя с конфессией по этнокультурным причинам, но даже и меньше, чем верящих в существование Бога, т. е. принимающих (хотя бы в той или иной степени) религиозное мировоззрение.

Если теперь вернуться к предложенной Дж. Ганном схеме и попытаться применить ее к людям, которые так или иначе связывают себя с православием в России, то их можно разделить на три условные группы: верующие (но не обязательно практикующие), ассоциирующие и практикующие. Понятно, что эти три группы не обособлены друг от друга и взаимно пересекаются. Один и тот же человек может относиться к двум, а то и ко всем трем группам. Тех, кто верующие и практикующие (обычно они и ассоциирующие, за исключением принявших православие неофитов из нетрадиционной среды), часто называют воцерковлёнными, и их весьма немного: они обычно неплохо знают догматику, часто ходят в церковь, соблюдают религиозные предписания, участвуют в таинствах, выполняют обряды, отмечают религиозные праздники. Но вряд ли есть основания не связывать с православной церковью и тех, кто верит, но не очень соблюдает, или кто не очень вдаваясь в догматику, выполняет обряды и/или только ассоциирует себя с православной традицией. Скорее, следует говорить

об особенностях религиозной ситуации, о тесной связи религии и этничности.

Рассматриваемый разрыв между ассоциирующими и практикующими или между принадлежностью и верой совершенно очевидно демонстрирует, что религиозная грань «идентичность», тесно связанная с этничностью, наиболее значима в российском контексте. Но этот же парадокс соотношения принадлежащих с переменными значениями верующих и неверующих одновременно представляет собой потенциал для увеличения числа верующих. Именно на этот потенциал возлагает надежды Русская Православная Церковь, придавая особую значимость культурной составляющей религии, призывая возвращаться к корням, чтить традиции и пр. Как сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в одном своем интервью греческой газете «ВИМА» в 2010 г., «Перед нами стоит огромная задача вернуть людям их собственное наследие – православную культуру» (Святейший 2010). Именно в культурном измерении религии Церковь видит средство, с помощью которого люди могут быть переориентированы к вере и религиозной практике. Этот разрыв между ассоциирующими и верующими, фиксируемый социологическими опросами, представляет собой и парадокс, и вызов, и ресурс.

Религия в России воспринимается не только как личное дело, но и как сила культурной и этнической традиции, и плодотворное изучение этого феномена требует кооперации этнологии и религиоведения.

Библиография

Закон 1990 – Закон Российской Советской Федеративной Социалистической Республики «О свободе вероисповеданий». Ведомости Съезда Народных Депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. № 21. 25 октября 1990 г.

Закон 1997 – Российская Федерация. Федеральный Закон о свободе совести и о религиозных объединениях от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ. Принят Государственной Думой 19 сентября 1997 года. Одобрен Советом Федерации 24 сентября 1997 года. Подписан Президентом РФ 26 сентября 1997 г. Вступил в силу 1 октября 1997 г. // Российская газета. 1997. 1 окт.

Залужный 2002 – Залужный А.Г. Законодательство о свободе совести и миротворческая деятельность религиозных организаций // Многонациональная Россия: диалог культур. Роль религиозных объединений в миротворческой деятельности, укреплении межрелигиозного согласия и дружбы народов. Материалы круглого стола / Под ред. М.П. Мчедлова. М.: Библиотека Ассамблеи народов России, 2002. С. 51.

Мчедлов 1996 – Мчедлов М.П. Взаимосвязь религиозного и национального // Национальное и религиозное. М.: Российский независимый институт социальных и национальных проблем. Исследовательский центр «Религия в современном обществе». Международный фонд духовного единства российских народов, 1996. С. 107–110.

Пучков 2006 – Пучков П.И. Соотношение этнического и конфессионального в России // Религиозная ситуация в ЮФО. Пути совершенствования законодательства в области государственно-конфессиональных отношений (по материалам семинара 29 августа – 1 сентября 2006 г.). Геленджик: Аппарат полномочного представителя Президента РФ в ЮФО. Администрация Краснодарского края Управление по взаимодействию с общественными объединениями, религиозными организациями и мониторингу миграционных процессов администрации Краснодарского края, 2006. С. 29.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Мы не хотим стать государственной Церковью» // Сайт московской патриархии. http://www.patriarchia.ru/db/text/1165090.html. 05.03.2010.

Токарев 1981 – Токарев С.А. Еще раз о религии как о социальном явлении (ответ моим критикам) // СЭ. 1981. № 1. С. 51–65.

Шведов 2003 – Шведов О.В. Энциклопедия церковного хозяйства. Экономика и право в Церкви. М.: Ковчег, 2003. С. 103.

Gunn 2003 – Gunn T.J. The Complexity of Religion and the Definition of “Religion” in International Law // Harvard Human Rights Journal. 2003, spring. Vol. 16. P. 189–215.

Prodromou 2004 – Prodromou E.H. Orthodox Christianity and Pluralism. Moving beyond Ambivalence? // The Orthodox Churches in a Pluralistic World. An Ecumenical Conversation / Ed. by E. Clapsis. Geneva, Brookline (Massachusetts): WCC Publications, Holy Cross Orthodox Press, 2004. P. 30–31.

Wilson 1966 – Wilson B. Religion in Secular Society. London: Watts, 1966.

А.Д. Коростелев, В.В. Степанов

Этническая статистика в России: исторический опыт и взгляд в будущее

Статистический учёт этнического состава населения в России в настоящий период характеризуется двумя тенденциями. С одной стороны, согласно статье 26 Конституции Российской Федерации, определение гражданином своей национальности перестало быть обязательным, из гражданского паспорта и других документов исключена графа о национальности, принят Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», ограничивающий возможности получения сведений о национальности граждан. С другой стороны, усиление интенсивности миграционных процессов, в которые вовлечены жители различных регионов России и других государств, ведёт к увеличению этнического и языкового разнообразия, к возникновению новых общественных явлений. Это делает необходимым существенное улучшение знаний об этническом составе населения и с точки зрения фундаментальной науки, и для целей государственного управления. Потребность в таком знании есть и у рядовых граждан (Степанов 2007а; Степанов 2007б).

На протяжении последних трёхсот лет в России неоднократно возникал интерес к «этнической» статистике. Желание больше знать о своих подданных особенно усилилось в правительственных кругах в XIX в. В терминах того времени пытались через подсчёты выяснить численность «русских и инородцев». Сто с лишним лет назад горячо обсуждались вопросы о государственной важности знаний «племенного состава» населения. И до сих пор учёные и управленцы спорят, как получить эти сведения при меньших затратах, и как для этих целей наиболее эффективно использовать источники информации – переписи населения, административный учёт, сведения миграционных органов и другие данные.

Для современной науки уже является очевидным, что численный учёт этнического и культурного разнообразия населения возможен, но на системной основе (Степанов, Тишков 2007). Опыт развития государственных статистик за рубежом показал, что несистематические сведения обладают меньшей ценностью и по этой причине исключаются из программ сбора официальной информации. Чтобы, подобно некоторым европейским странам, Россия не лишилась важных статистических знаний, необходимо изучать собственный исторический опыт и стремиться к поиску новых методов статистики – менее затратных и в то же время поставляющих актуальную и адекватную информацию для государства и науки (Степанов 2006).

Этническая статистика в мире

Существует огромный пласт мировой статистической информации о культурном разнообразии населения, есть и международные стандарты. Ошибочным является мнение о том, что за пределами России – в других странах государственная статистика не интересуется этнической принадлежностью, языками и прочими культурными характеристиками населения. Сегодня подсчёт культурного разнообразия осуществляют, причём через переписи, почти половина государств земного шара.

Своеобразным исключением предстают страны Западной Европы (не все), где считается «правилом дурного тона» выяснять и фиксировать этническую идентичность

персоны. Однако и в этих странах потребности в подобном статистическом знании существуют, и для учёта культурных характеристик населения государственные органы используют косвенные методы (Simon 2007; Степанов 2011). Например, в Норвегии, где учёт населения ведётся не на основе переписных опросов, а по административно-полицейским данным, статистика «этнического» и «языкового» состава формируется через отслеживание миграционных историй людей. Если персона – внешний мигрант или потомок мигранта, значит, статистика волюнтаристски приписывает ему определённые культурные характеристики. Не будем здесь комментировать эффективность подобного метода подсчёта – важно, что есть потребность в соответствующей статистической информации.

Хороший пример представляют собой программы переписей населения США или Великобритании. Они напрямую ориентированы на учёт культурной идентичности населения, причём в современном переписном листе респонденты могут указывать свою множественную идентичность. В структурах ООН в течение ряда лет обсуждались, а теперь и приняты рекомендации, которые не препятствуют подобным формам государственного статистического учёта, а наоборот – стимулируют их развитие (Этнологический мониторинг, 2011).

В международных рекомендациях сформулированы подходы в отношении статистического сбора сведений о языках и этнической принадлежности населения. Статистический отдел ООН указывает среди демографических и социальных характеристик, помимо пола, возраста, семейного положения, также «вероисповедание, язык, этническую принадлежность, коренные народы» (Принципы, 2009). Уже разработаны и официально приняты международные стандарты оценки численности категорий населения, которые относятся к культурным и языковым меньшинствам. Это продиктовано требованиями международных норм о защите прав меньшинств, и многие из таких норм признаны и действуют на территории Российской Федерации.

Старая и новая этническая статистика

Тем не менее, до настоящего времени в мире и в отечественной науке этническая статистика не сформировалась как научное направление. При очевидной актуальности и длительной истории, этническая статистика не сложилась как систематическое знание, не выработаны его её фундаментальные основы, а обширный опыт практического приложения не получил должной оценки. Наше исследование ориентировано на то, чтобы привлечь внимание академической аудитории к данной теме, поскольку потребность систематизации знаний по этнической статистике уже давно назрела.

Важно сказать о самом термине. Словосочетание «этническая статистика» можно отыскать в отечественной этнологической и демографической литературе, встречается оно и в аналогичных дисциплинах за рубежом, но с разным смысловым наполнением. Ещё в 1970–1980-е гг. в советской науке этническая статистика была названа разделом демографической статистики (Козлов 1994), но фактически же такого «раздела» в тот период не было. Не появился он и до настоящего времени. Во многих странах используют термины «ethnic statistics», «ethnic group statistics», «ethnicity statistics» в основном в значении сбора данных об этнической принадлежности, идентичности, происхождении населения (ethnic data collection).

И всё же речь идет пока не о научном термине, а о научном … сленге, который обозначает специфику статистических данных и характерные методы. В наших исследованиях мы стремимся преодолеть узкие рамки цеховых понятий и перейти к термину через систематизацию накоплен-

ных исторических знаний о предмете. На нынешнем (дотеоретическом) уровне, этническая статистика может быть определена как совокупность методов получения численных данных об этнокультурном составе населения. Эти методы, частью не адекватные и наивные, складывались на протяжении длительного времени, причём в России их активное развитие началось с середины XIX века. Современные методы всё ещё далеки от совершенства.

Ключевые вехи

В истории России имелись периоды, когда создавались более или менее полные источники сведений об этнокультурном составе населения. Но были периоды и почти полного отсутствия таких данных, что само по себе сильно затрудняло эволюцию этнической статистики и осознание её важности.

История изучения этнического разнообразия населения в России распадается на отдельные «истории» – о расселении и миграции; об изменении представлений о том, что такое этническое сообщество и этническая идентичность («народность», «национальность» и проч.); о технических способах статистической фиксации этнокультурного разнообразия; о развитии знаний и понимания этнокультурной дифференциации населения на карте России.

Для XVIII и первой половины XIX вв. источником сведений об этническом (в тот период – «племенном») составе населения России выступают государственные ревизии («народные переписи»), цель которых, впрочем, не была познавательной, но фискальной. Ещё ранее проводились различные исчисления дворов и жителей с целью определения размеров взимаемой подати, и в некоторых исчислениях учитывались сведения, которые ныне назвали бы «этнокультурными». Возможно, первым актом статистического учёта, при котором фиксировались «этнические» характеристики населения, была «переписка Белгородского полка», произведенная по указу царя Алексея Михайловича от 6 марта 1672 г. В этом указе среди категорий населения, подлежавших переписи, особо указывались черкасы, как тогда называли жителей восточной Украины (ПСЗ, 1830).

Самой массовой формой статического учёта населения были именно ревизии, из которых первая прошла в 1719–1721 гг., а последняя десятая – в 1857–1858 гг. Их организаторы неохотно включали в перечень собираемых сведений такие, которые не имели прямого отношения к фискальным задачам. Поэтому отражение в материалах ревизий «этнографического» состава населения не было ни регулярным, ни методически последовательным. Каждая следующая ревизия XIX в. содержала сведения о таком составе населения даже хуже, чем предыдущая (Кабузан 1992).

Другая группа документов, которые отчасти могут служить ресурсом исторических данных об этническом составе населения России, – это материалы конфессиональной статистики. В 1782 г. Сенат своим указом обязал губернские администрации получать соответствующие сведения у духовенства и направлять в свой адрес.

В России XIX столетия действовал административно-полицейский учёт. Его материалы часто неточны и не всегда содержат сведения об этническом составе населения, а качество материалов заслуживает доверия лишь для пореформенного периода.

Вместе с тем, ценным источником, содержащим такие сведения, являются уникальные, собранные в ряде губерний материалы исследователей, работавших над составлением этнографических карт (П.И. Кёппен в 1830-е – 1840-е гг., А.Ф. Риттих в конце 1860-х – начале 1870-х гг. и др.).

Особая роль, как зачинателя этнической статистики, принадлежит выдающемуся ученому Петру Ивановичу Кёппену (1793–1864), создавшему «Этнографическую

карту Европейской России» и некоторые списки населённых мест. Он был поборником идей систематического проведения в России переписей на научной основе и включения в переписные формы графы об «этнографической» принадлежности. Ему принадлежит инициатива собирания сведений о «населённых местах» России, о «племенной» структуре их жителей силами приходских священнослужителей различных исповеданий. В результате был создан беспрецедентный для России источник, известный как «приходские списки».

В 1859 г. Министерством внутренних дел принято решение составить полный список всех населённых мест Империи, при работе над которыми были использованы материалы «приходских списков». Далее в 1861–1879 гг. Центральным статистическим комитетом этого ведомства был выпущен 41 том «Списков населённых мест Российской империи», которые охватывают территорию Европейской части России (за исключением Новгородской губернии), Сибирь до Енисейской губернии включительно, восток и юг Украины, Молдавию, а также Ставропольскую и Бакинскую губернии. Почти в каждом томе имеются сведения об этническом составе населения, причём в ранних томах они даны по «приходским спискам», а в более поздних – по другим источникам, и объём обзорных статей постоянно возрастал. В 17 из 41 томов содержатся также сведения о конфессиональной принадлежности жителей.

«Списки» отразили состояние научного уровня того времени, когда не было единого понятия о статистических категориях, не было согласованных представлений о значении применявшихся терминов «племя», «народ», «народность». Конкретные материалы различных томов в значительной мере разнородны, при этом сведения даны, как правило, только по сельскому населению губерний, но не по городам. Если ранние тома «Списков» опирались в определении этнического состава в первую очередь на «приходские списки», то в дальнейшем, ввиду того, что издание затянулось, а «приходский» источник всё более устаревал, статистики использовали другие источники. В том случае, если между источниками обнаруживались расхождения, редактор тома решал проблему по своему усмотрению, и это увеличивало разнородность публикуемого материала.

На том историческом этапе «этнографический» состав населения определяли без учёта самоопределения населения. Это соответствовало господствовавшим натуралистическим представлениям о «народах» и «племенах» и «естественном» характере различий между ними. В то же время подобные воззрения сочетались с конкретным знанием о ситуации в разных регионах России и протекавших там процессах. Например, было известно, что группы населения могут переходить на другой язык и меняться в культурном отношении. Это нашло отражение в особенном интересе редакторов «Списков» к категории «обрусевшие инородцы».

В России XIX в., при колоссальном развитии административной бюрократии, её методы ещё не довлели в статистике. В ходе работы над «Списками» никакой общий перечень «народов» заранее не разрабатывался, и набор этнических категорий, который учитывался при работе над каждым томом, определялся под влиянием местных представлений о соответствующих группах населения и собственных взглядов редакторов. Поэтому набор «этнических категорий» варьировал от тома к тому. Например, редакторы разных томов различным образом решали вопрос о том, представляют ли собой «великорусы» и «малорусы» отдельные народы или «ветви» одного народа.

Если ранее, до «Списков», публиковались в основном суммарные показатели численности населения, то благодаря указанным томам, география и этнография

населения предстала на пространствах России. Начиная с того периода, формируется своеобразная норма, согласно которой сведения об этнографическом составе жителей населённых пунктов должны присутствовать в официальных публикациях – списках населённых мест, материалах земских исследований губерний, в итогах местных и сельскохозяйственных переписей.

Проблемы методологии

В то время в России начинает оформляться методология «выявления этнографического состава» – на основании родного языка. В 1850–1870-е гг. интенсивно развивались связи между статистиками разных государств. Состоялось девять международных статистических конгрессов, на которых совместными усилиями специалистов вырабатывались научные принципы организации статистических исследований, в том числе статистики населения. Обсуждался вопрос о том, какой показатель способен наилучшим образом отразить «национальный» состав населения – показатель «родного языка» или показатель «национального самосознания». Точка зрения прусского статистика Р. Бёка, выступавшего в пользу языка, нашла отражение в том же XIX веке в переписях ряда европейских стран, где этнический состав населения выяснялся именно с помощью вопросов о языке (часто в сочетании с вопросами о вероисповедании). В России этот подход нашёл отражение в инструментариях сначала ряда городских переписей (Гозулов 1941), а затем и Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года. Подход австрийского статистика Е. Глаттера, который отстаивал значение самосознания, был принят только в некоторых европейских странах и притом значительно позже (Гозулов 1951; Кушнер 1951).

Но и после Первой всеобщей переписи в России, в списках населённых мест и в материалах земских исследований сведения об этническом составе жителей, если имелись, то именно на основе представлений о «племенной» и «этнографической» принадлежности, а не о языке. То же было и в подворных переписях. Лишь много позже оба подхода оказались объединены в советских переписях населения, в которых сведения об этнокультурном разнообразии населения собирались посредством вопросов и о национальности, и о родном языке.

Сопоставлять несопоставимое

Изучение исторических источников по этнической статистике позволяет прийти к заключению, что среди них не имелось таких, которые были бы свободны от методических, технических и фактических ошибок, и тем более – погрешностей, пропусков и лакун. Поэтому для целей этнической статистики при проведении ретроспективного анализа недостаточно использовать какой-либо один источник, но, по возможности, необходим корпус источников, которые к тому же должны изучаться комплексно.

Несмотря на кажущуюся простоту задачи – анализировать цифры по таким-то категориям населения – большинство исторических источников по этнической статистике разнородны, т. е. сформированы по разным основаниям, и, следовательно, их трудно, а порой и невозможно сопоставлять. Методика комплексного анализа этностатистических данных ещё ждет своего развития.

Проблема довольно сложна, поскольку даже применительно к одному и тому же населённому пункту сведения разных источников зачастую противоречат друг другу, и исследователю приходится искать ответы на многочисленные вопросы. Важно, например, выяснить, менялось ли за конкретный отрезок времени местное население в результате миграции. Нужно знать, менялись ли представления статистиков (и властей) того периода о принципах иденти-

фикации местных жителей, изменялась ли методика и практика учёта. Нужно знать и о том, как именно были собраны сведения – персональный опрос, информация от представителей местной администрации, или что-то другое. Следует учитывать и вероятность смены этнической и религиозной идентичности местных жителей. Роль играет и фактор локальных элит, подчас оказывающих прямое воздействие на фиксацию статистиками местного населения (Роднов 2004). Важно разобраться, пользовались ли авторы разных источников сопоставимыми учётными категориями. Естественно, необходима оценка полноты анализируемых статистических данных, оценка вероятности их какой-либо утраты, нужно знать, каковы могли быть ошибки на этапе обработки первичных данных и на этапе подготовки итогов к публикации. Все эти трудности составляют далеко не исчерпывающий перечень.

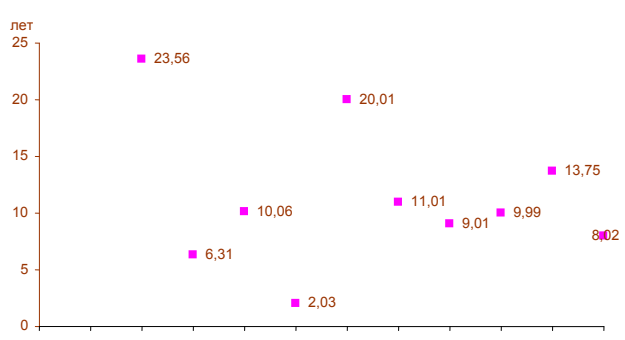
Новый этап в развитии этнической статистики в России должен был наступить с началом проведения всеобщих переписей населения и появления стандартов сопоставимой информации. Но переписи так и не стали регулярными. После 1897 г. существовало намерение вскоре повторить переписную процедуру с учётом приобретённого опыта. Но не было найдено финансового обеспечения, и помешала Первая мировая война. Далее, в советское время, всеобщие переписи населения были проведены в 1920, 1926, 1937 (перепись объявлена дефектной, а её руководители были репрессированы), 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 гг. После исчезновения СССР проведены всероссийские переписи в 2002 и 2010 гг.

В итоге переписная история России характеризуется спонтанностью. Начиная с даты Всеобщей переписи 1897 г. и заканчивая датой Всероссийской переписи 2010 г., из всех 16 эпизодов (включая выборочные переписи) средний межпереписной интервал составил 7,6 лет. При этом, например, между переписью 1897 г. и Всероссийской сельскохозяйственной переписью 1916 г. прошло 19,2 лет, между переписями 1939 и 1959 гг. – даже два десятилетия. Усреднённый интервал между всеобщими переписями составил 11,4 лет при ещё большей неравномерности последовательных дат.

Хотя в переписях есть подробные данные о культурных характеристиках населения, их нерегулярное проведение снижает ценность и сопоставимость материалов.

Рис. 1

Интервалы между датами всеобщих переписей в России



Список переписей населения на диаграмме:
1 – Первая всеобщая 1897
2 – Всероссийская 1920
3 – Всесоюзная 1926
4 – Всесоюзная 1937
5 – Всесоюзная 1939
6 – Всесоюзная 1959
7 – Всесоюзная 1970
8 – Всесоюзная 1979
9 – Всесоюзная 1989
10 – Всероссийская 2002
11 – Всероссийская 2010

Дореволюционная, советская и современная Россия являют собой характерный пример неаккуратного отношения к переписям и неверия в их возможности. Большинство переписей проводилось спорадически, средства на них выделялись в удельном исчислении незначительные, а сами переписи зачастую организовывались именно тогда, когда нужда в информации становилась острейшей.

В перспективе ситуация с переписями в России остается неясной. Логично было бы провести следующую всероссийскую перепись в 2020 г., а в половинном интервале – осуществить микроперепись. Но для того чтобы микроперепись была проведена в 2015 г., необходимо, чтобы уже с 2013 г. полным ходом шли подготовительные мероприятия. Но таковых нет. Вновь, как и сто с лишним лет назад, статистикам указывают на отсутствие средств...

Технические различия неизбежны

Адекватный анализ результатов всеобщих переписей в России невозможен без учёта различий техники подсчёта, прежде всего, изменений в составе этнических и языковых категорий. Таковые изменения имели место при проведении каждой переписи. Мы изучили инструментарий всех переписей населения с 1926 по 2010 гг. В т. н. списках национальностей мы проанализировали все случаи появления новых и исчезновения прежних категорий статистического учета. Оказалось, что количество первичных учётных категорий, включённых в технические «словари» переписи, составляло различные величины, что не было напрямую связано ни с миграциями населения, ни с какими-то массовыми переменами в общественном сознании. В 1926 г. в «словаре» имелось 329 наименований, в 1939 г. – 745, в 1959 г. – 740, в 2002 г. – 879, в 2010 г. – 923. В официальных итогах переписи 1926 г. представлены 175 народностей; в переписи 1939 г. – 57 национальностей; 1959 г. – 109; 2002 г. – 182; 2010 г. – 193.

Что касается учётно-статистических языковых категорий, то в переписях изменялся не только их состав, но менялись даже цели сбора информации. Соответственно различались формулировки вопросов в переписных анкетах. В частности, менялись представления статистиков о соотношении понятий «национальность» и «родной язык». Если на начальном этапе вопросы о родном языке являлись главным инструментом выявления «этнографического» состава населения, то затем их использовали как дополнительные и уточняющие, а позднее «родной язык» рассматривали как источник сведений о бытующих языках. Еще позднее вопрос о родном языке дополнен (начиная с переписи 1970 г.) вопросом о владении другим языком. В постсоветский период проявилось ещё большее стремление охватить в переписном листе различные аспекты языковой ситуации (микроперепись 1994 г. и всероссийские переписи 2002 и 2010 гг.).

Список статистически учитываемых языков также расширялся, что было обусловлено отчасти успехами языковедов в исследовании прежде малоизученных языков, отчасти политическими причинами. Но это было на начальном этапе. Затем происходило сокращение списка, и это отвечало идеологическим установкам на консолидацию «наций и народностей». Наконец, на нынешнем этапе, на волне возрождения этничности и стремления к возможно более полному охвату языковых особенностей населения, произошло новое расширение списка языков. В 2010 г. ответы о языках сгруппированы в 171 категорию.

Различаются, и порой радикально, способы представления результатов в переписях. Так, данные по этническому составу смешанных населённых пунктов по итогам 2002 г. продемонстрировали, что материалы прежних переписей были не достаточно точны. Исходя из формата новых данных, наши исследования показали, что этниче-

ски смешанные сельские поселения играли и играют в структуре расселения более значительную роль, чем это предполагалось ранее, а многие населённые пункты, которые прежде виделись специалистам как моноэтнические, таковыми в действительности не являлись (Коростелев 2007).

Перспективы

Этнологические, социологические и другие исследования углубляют научные представления о сложном характере этнической идентичности, о совмещении у человека разных идентичностей – внутренней, декларируемой, приписываемой, общественно поощряемой, официально признаваемой (Коростелев, 2002). Очевидно, что в будущих переписях необходимо учитывать факты множественной идентичности. Существует немало примеров из российской повседневности, демонстрирующих разнообразие ситуаций нечёткой и изменчивой этнической и языковой идентичности. Разнообразны и причины их формирования – это и смешанные браки, и результат переселения из одной этнокультурной среды в другую, и официальная политика признания и поддержки или непризнания каких-либо групп населения. Среди представителей этнических категорий, которые в научных публикациях рассматриваются как части более крупных народов, нередко самосознание одних индивидов как бы «подтверждает» идею, согласно которой выбор этнической категории автоматически означает и причисление себя к более крупной, тогда как самосознание других эту идею «отвергает». В Дагестане, к примеру, часть представителей андо-цезских групп населения склонна причислять себя к отдельным народам (андийцам, цезам, годоберинцам и др.), но немалая их часть одновременно причисляет себя и к более многочисленным аварцам.

Имеет место и ситуация, когда внутри гомогенной в культурном отношении группы происходит процесс дивергенции этнической идентичности, но люди с различной идентичностью рассматривают друг друга как одну группу населения. Так, в Пермском крае (Бардымский район) одна и та же территориальная группа, в зависимости от местожительства, возраста и социальных характеристик, частью причисляет себя к башкирам, частью – к татарам, частью – и к тем, и к другим одновременно. В иных случаях культурная отличительность не описывается в статистических категориях, либо население не согласно с официальными статистическими классификациями (Коростелев 2005; Коростелев 2007; Коростелев 2008).

Современный методический аппарат российских переписей очень мало учитывает феномен сложных этнокультурных ситуаций и почти не приспособлен для их адекватного отражения. Выходом из этого является именно развитие техники этностатистического учёта. Если при переписи человек заявляет о своей множественной этнической идентичности, то такие ответы должны в полном объёме фиксироваться и затем в полном объёме подсчитываться в статистических итогах.

Имеются возможности дальнейшего совершенствования и языковых вопросов переписного инструментария. Как и в вопросе о национальной принадлежности, давно назрела необходимость учёта ситуации, при которой человек считает родным не один, а несколько языков, по крайней мере, два. Далее, как показали результаты микропереписи 1994 г., ценную информацию дают ответы на вопрос о языке домашнего общения (о котором в «больших» переписях до сих пор не спрашивают), и здесь также важно предусмотреть возможность для опрашиваемого указать более одного языка. При подсчете результатов имеет смысл выявлять не только число лиц, владеющих тем или иным языком, но также число лиц, на которые приходятся характерные сочетания языков.

Таким образом, даже при существенном улучшении переписного инструментария,

официальный статистический учёт не сможет адекватно отразить картину состава населения России. Это, конечно, не означает, что нужно отказаться от переписей и этнической статистики. Но фундаментальные и прикладные исследования в этом направлении должны быть радикально усилены, ведь для понимания этнической ситуации потребуются механизмы верификации статистических данных с использованием точных методов и новых экспертных технологий.

Библиография

Гозулов 1941 – Гозулов А.И. Местные переписи населения до революции (1861–1917) // Ученые записки Ростовского-на-Дону финансово-экономического института. Т. 1. Ростов-на-Дону, 1941. С. 249–307.

Гозулов 1951 – Гозулов А.И. Переписи населения СССР и капиталистических стран (опыт историко-методологической характеристики производства переписей населения). М.: Ред.-изд. Упр-ние ЦУНХУ Госплана СССР и В/О Союзгоручет, 1936. С. 117–118.

Кабузан 1992 – Кабузан В.М. Народы России в первой половине XIX в.: Численность и этнический состав. М.: Наука, 1992. С. 69, 75, 78.

Козлов 1994 – Козлов В.И. Демографический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1985.

Коростелев 2002 – Коростелев А.Д. Парадоксы этнической идентичности // Идентичность и толерантность. Сб. статей. М., 2002. С. 86–110.

Коростелев 2005 – Коростелев А.Д. Диаспора или локальная общность? (По материалам этносоциологического исследования тюркского населения Бардымского района Пермской области) // Диаспоры Урало-Поволжья: Материалы Межрегиональной научно-практической конференции (Ижевск, 28–29 октября 2004 г.). Ижевск, 2005. С. 45–52.

Коростелев 2007 – Коростелев А.Д. Свои и чужие: когда «не работает» этническая идентичность // VII Конгресс этнологов и антропологов России: доклады и выступления. Саранск, 9–14 июля 2007 г. Саранск, 2007. С. 47–48.

Коростелев 2007 – Коростелев А.Д. Этнически смешанные селения Башкортостана: типы и проблема источников // Мы и как удмурты, и как чуваши…: Взаимная социально-культурная адаптация в этнически смешанных селениях. Сб. статей. М., 2007. С. 28–62.

Коростелев 2008 – Коростелев А.Д. Тюрки Бардымского района Пермской области – диаспора или локальная общность? // Этносоциология и этносоциологи. Исследования, поиски, воспоминания. М.: Старый Сад, 2008. С. 74–79.

Кушнер 1951 – Кушнер (Кнышев) П.И. Этнические территории и этнические границы // Труды Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР. Новая серия. Т. XV. М.: Изд-во АН СССР, 1951. С. 42, 56–57.

Принципы 2009 – Принципы и рекомендации в отношении переписей населения и жилого фонда. Второе пересмотренное издание. Статистические документы Серия М № 67/Rev. 2. (ST/ESA/STAT/SER.M/67/Rev. 2) Департамент по экономическим и социальным вопросам. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2009.

ПСЗ № 509 // Полное собрание законов Российской империи, повелением Государя Императора Николая Павловича составленное. Собрание первое. С 1649 года по 12 декабря 1825 года. Том 1. С 1649 по 1675. От № 1 до 618. СПб., 1830. С. 875–876.

Роднов 2004 – Роднов М.И. Административный ресурс в этнографических исследованиях // ЭО. 2004. № 6.

Степанов 2006 – Степанов В.В. Участие этнологов в развитии государственной статистики // Этнология обществу. Прикладные исследования в этнологии / Ред. С.В. Чешко. М.: ИЭА РАН, 2006.

Степанов 2007а – Степанов В.В. Сохранение и развитие культурного многообразия в России. Правовой аспект // Образовательная политика, № 4. М.: Минобразования РФ, 2007. С. 13–18.

Степанов 2007б – Степанов В.В. В защиту этнической статистики // ЭО. 2007. № 5.

Степанов 2011 – Степанов В.В. Механизм переписи: баланс бюрократического и научного мышления // Антропология социальных перемен. М.: РОССПЭН, 2011. С. 632–654.

Степанов, Тишков 2007 – Степанов В.В., Тишков В.А. Этническое измерение России // Этнокультурный облик России. Перепись 2002 года / Ред. В.В. Степанов, В.А. Тишков. М.: Наука, 2007.

Этнологический мониторинг 2011 – Этнологический мониторинг переписи населения / Под ред. В.В. Степанова. М.: ИЭА РАН, 2011.

Simon 2007 – Simon P. “Ethnic” Statistics and Data Protection in the Council of Europe Countries. Strasbourg: Council of Europe, 2007.

Г.А. Комарова

Опыт статистико-этнографических исследований в советской этнографии*

Использование статистических данных в отечественной этнографии имеет давнюю историю. Ещё в 1927 году С.П. Толстов ратовал за применение статистических методов при исследовании народного жилища (Толстов 1927). В дальнейшем этнографы в своих работах неоднократно пытались характеризовать изучаемые явления с количественной стороны (Маторин 1934; Абузов 1935). Например, в Чувашии в 1930-е гг. активно работала Комплексная экспедиция, изучавшая социально-культурное состояние деревень Чувашии методом анкетного опроса. Чувашские ученые провели в ноябре–декабре 1933 г. массовое обследование населения 21 деревни (23 032 чел.) в 18 районах Чувашии (Кузнецов, Кутяшов 1934). Материалы обследования 1933 г. в дальнейшем послужили основой для лонгитюдного изучения культуры и быта сельского населения Чувашской АССР в тех же населенных пунктах в 1960, 1970 и в 1980-м гг. (Иванов и др. 1987).

П.И. Кушнер (Кнышев) был одним из первых в послевоенный период, кто привлек внимание этнографов к необходимости использовать статистический материал для изучения процессов, происходящих в колхозной семье. Под руководством П.И. Кушнера были осуществлены крупные коллективные работы: монография «Село Вирятино в прошлом и настоящем» и историко-этнографический атлас «Русские». Разрабатывая методологию исследования современного быта колхозного крестьянства, современной семьи, принципы картографирования и составления историко-этнографических атласов, Кушнер пропагандировал и внедрял в экспедиционную практику анкетирование и исследование семейных бюджетов (Алымов 2006: 212). Разработанной им посемейной анкетой пользовались многие отечественные этнографы. Разнообразие процессов, исследование которых проводилось на больших группах населения, стало причиной того, что использование различных вопросников и анкет стало широко вводиться в практику работы полевых этнографов уже в начале 1950-х годов. Этот факт в 1956 г. отмечали Т.А. Жданко, В.Ю. Крупянская, Л.Н. Терентьева (Жданко и др. 1956: 30), а в 1966 году Л.А. Анохина и М.Н. Шмелева поделились опытом анкетирования населения городов Центральной России (Анохина и др. 1966: 63–66). Вслед за П.И. Кушнером этнографы пришли к выводу о том, что этнографическое изучение современности требует «широкого привлечения статистики, применения сплошных посемейных анкетных обследований, изучения бюджетов колхозных хозяйств» (Жданко и др. 1956: 30).

Особое внимание на использование количественных (статистических) методов советские этнографы обратили в 1950–1960-е годы. И одним из ярчайших среди них был этнограф и антрополог М.В. Витов (1923–1968), много сделавший в области исторической этнографии и этнической антропологии. В 1950-е годы он руководил экспедицией, изучавшей этнографические особенности и антропологический состав севернорусского населения и его соседей. М.В. Витов при участии Т.В. Пучковой (Лукьянченко) создал специальный бланк – анкету для фиксации материалов по народному жилищу («Бланк по народному жили-

* Исследование выполнено в рамках проекта РГНФ № 13-01-00043а.

щу»). Материалы экспедиции, собранные по единой методике в разноэтничной среде на одно и то же время, носили характер сплошного в территориальном отношении описания с учетом количественных характеристик. И в своей научной деятельности, и в экспедиционной практике, и в лекциях для студентов истфака МГУ М.В. Витов постоянно и последовательно стремился «ввести Число в этнографию» и призывал к этому своих коллег. Очень важной заслугой М.В. Витова в отечественной этнографии и антропологии явился разработанный им метод обработки статистических материалов и составление на их основе оригинальных картосхем. Основными принципами его метода были определение географии изучаемых явлений, установление их таксономической ценности, нанесение обработанных данных на карты специальными техническими средствами, затем анализ картографического материала, заключительным этапом которого становилась типология форм народной культуры или антропологическая классификация. М.В. Витов доказал, что метод этнографического и антропологического картографирования не иллюстративный прием, а способ исследования, ибо он предполагает анализ и синтез материалов, положенных в основу исследования. М.В. Витов явился создателем целой школы и новых направлений в науке, которые в 1960–1980-е гг. развивали далее его ученики.

Обращаясь к истории, необходимо назвать имена таких исследователей как И.В. Власова, Ю.В. Гагарин, О.А. Ганцкая, В.Ю. Крупянская, Т.В. Лукьянченко, Л.Ф. Моногарова, В.В. Пименов, А.Е. Панян (Тер-Саркисянц), С.Б. Рождественская, Л.Н. Терентьева, Л.Н. Чижикова, М.Н. Шмелева и многие другие, кто, наряду с традиционными этнографическими методами изучения материальной и духовной культуры, использовал статистические материалы для учета и характеристики количественной стороны изучаемых явлений. Особенно активно подобное стремление проявилось в деятельности участников Всесоюзной комплексной экспедиции по изучению современности в 1950–1960-е гг. (Бромлей 1981: 114–151). Оно нашло отражение в широко известных работах отечественных этнографов: П.И. Кушнера, В.Ю. Крупянской, Л.А. Анохиной, О.Р. Будины, Т.А. Жданко, Н.С. Полищук, М.Н. Шмелёвой, Н.В. Юхневой и др.

Однако, хотя в подобных работах статистические данные уже занимали существенное место, их применение носило скорее иллюстративный характер. В.Р. Кабо, указывая на «методическую беспомощность советских этнографов, которые в 1960-е годы взялись за совсем несвойственное, чуждое им дело – изучение рабочего класса и колхозного крестьянства», утверждает, что его совместная статья о методологической роли статистического метода в этнографических исследованиях (Кабо, Кабо 1964) была ими отвергнута. «Этнографы так и не решились ее напечатать – статистическая методология, единственно возможная при изучении массовых социальных явлений, была им непонятна и не нужна. Статья вышла в философском журнале» (Кабо 2008: 34–35).

Использование собственно количественных (статистических) методов в советской этнографии началось лишь на рубеже 1960–1970-х гг. и, прежде всего, под влиянием этносоциологии. Этот процесс происходил постепенно, и в нем можно выделить, по крайней мере, два этапа. На первом этапе развития этого процесса целый ряд советских этнографов (Ш. Аннаклычев, Ю.В. Аргудяева, К.Д. Басаева, Ю.В. Гагарин, О.А. Ганцкая, А. Даниляускас, В.Т. Зинич, Л.А. Ефремова, В.Ю. Крупянская, С.А. Макарчук, С.М. Мирхасилов, Л.Ф. Моногарова, А.С. Морозова, А.Е. Панян (Тер-Саркисянц), Т.И. Сорока, Л.Н. Терентьева, П.П. Фокин, М.Н. Шмелёва и др.) обраща-

лись в своих исследованиях к массовым источникам, получая их в ходе полевой работы с помощью анкет, интервью и другого инструментария, но, не ставя при этом перед собой задачу строгой представительности первичной информации.

Затем, когда в рамках новой дисциплины – этносоциологии – стал широко применяться собственно выборочный метод, многие советские этнографы (Г.П. Белорукова, В.Н. Белявина, В.И. Бойко, В.К. Бондарчик, Д.Г. Брагина, И.Н. Браим, В.Ф. Вавилин, У.А. Винокурова, Р.А. Григорьева, Т.С. Гузенкова, Э.-Б.М. Гучинова, А.Б. Дзадзиев, З.И. Етоева (Строгальщикова), В.П. Иванов, Д.М. Исхаков, П.П. Кальнюс, Г.А. Комарова, Г.Б. Матвеев, Н.Ф. Мокшин, А.Е. Пахутов, И.Г. Петров, В.Ф. Разживин, М.Б. Рогачев, Г.Р. Столярова, Н.А. Томилов, Е.Я. Трофимова, Р.К. Уразманова, Л.С. Христолюбова, Т. П. Федянович, Д.Д. Шалхаков, Н.С. Шаляев, В.Д. Шаров, Н.И. Шатинова, Г.К. Шкляев, М.Я. Эндзеле и др.) широко использовали его в своих исследованиях, успешно решая тем самым проблему представительности данных в массовых этнографических обследованиях.

Нелишне также напомнить, что и академик В.А. Тишков был «пионером» применения статистического метода в научных исследованиях. В одной из своих ранних монографий («История и историки в США») он одним из первых применил очень важную новаторскую для российских историографических исследований инновацию – обработку и выстраивание статистических данных при помощи ЭВМ. Интерес к новой методике у В.А. Тишкова возник не без влияния основателя отечественной школы применения количественных методов в исторической науке академика И.Д. Ковальченко. «Альянс двух исследователей, обладавших незаурядными организаторскими способностями, поспособствовал реальной подвижке в освоении отечественной историографией, как количественных методов исследования, так и междисциплинарной методологии в целом. Речь, в первую очередь, должна идти об установлении ими самых тесных связей со школой американской клиометрии. И.Д. Ковальченко и В.А. Тишков были инициаторами и организаторами серии коллоквиумов отечественных и американских клиометристов, которые, с учетом того, что американские исследователи обратились к использованию новой методики раньше и обладали большим опытом, оказались для отечественных историков в высшей степени полезны» (Согрин 2011: 6–7).

Важно подчеркнуть, что еще в годы становления этносоциологии её методики уже не только начали «…проникать и в «собственно» этнографические исследования современности» (Бромлей 1973: 251), но и оказали плодотворное воздействие на их дальнейшее развитие. Поступательное развитие этносоциологии и дальнейшая кооперация этносоциологических и этнографических научных исследований потребовали в 1970–1980-е гг. совершенствования методик сбора и обработки массовых данных. Этносоциология, адаптировав совокупность социологических методов, сыграла в этом процессе роль передаточного звена этих методик из социологии в этнографию.

Наиболее творчески настроенные этнографы, понимая, что возможности количественных методов не исчерпываются простым привлечением массовых данных или использованием методов изучения статистических связей, корреляционного анализа и другой техники, уже вошедшей в их употребление, не ограничивались уже накопленным методическим капиталом. Вслед за этносоциологами, они вели разработку новых для них методов, необходимых для более углубленной интерпретации массовых данных и нацеленных не только на статистическую представительность, но и на глубину понимания отдельных ситуаций. По мере возможностей, этнографы вносили свой вклад в комплексное использование

количественных и качественных методов исследований, в разработку математических методов анализа эмпирических данных (латентный анализ, вторичный анализ, контент-анализ и др.).

Таким образом, именно ко второй половине 60-х годов XX столетия в советской этнографической науке возникла особая потребность в более широком использовании количественных методов. В значительной степени это было связано с тем, что основное внимание немалой части этнографов в то время было направлено на изучение изменений, которые происходили в различных сферах жизни всех народов страны в советский период. И этот опыт, эти тенденции, возникшие в русле самой этнографии, послужили одним из источников нового направления, возникшего в 1960-е гг. и получившего название статистико-этнографических, а позже – статистико-этнологических исследований (далее – СЭИ).

Становление и развитие статистико-этнографических исследований в отечественной этнографии связано, прежде всего, с именем Владимира Владимировича Пименова (Комарова 2005; 2009; 2011; 2012; Коростелев 1997; Пименов 1986; Пименов 1995; Филиппов 2006; 2010). Под научным руководством В.В. Пименова с конца 1960-х и до конца 1980-х гг. Институтом этнографии АН СССР совместно с научными учреждениями Урало-Поволжья был осуществлен целый ряд массовых статистико-этнографических исследований, посвященных изучению современных этнических процессов в республиках Поволжья и Приуралья. Такие исследования проводились в Удмуртии (1968 г. и 1979–1980 гг.), в Мордовии (1973 г.), Чувашии (1981 г.), Марийской республике (1984–1985 гг.), Калмыкии (1985 г.), Башкирии (1986 г.). В их подготовке, проведении, а также в обработке и анализе полученных материалов помимо этнографов участвовали этносоциологи и представители других наук: историки, филологи, психологи, социологи, математики и др. Необходимо особо отметить тот факт, что на становление системного подхода к исследованию этнических процессов, в ходе которого использовались новейшие на тот период времени методы математической статистики, значительное влияние оказали работы А.Ф. Фелингера и В.А. Устинова (Устинов 1973).

Наряду с этим важно указать, что практика построения выборки для статистико-этнографических опросов сложилась, прежде всего, благодаря Эвелине Карловне Васильевой, проектировавшей выборку для первого статистико-этнографического обследования 1968 года и многих последующих подобных исследовательских проектов отечественной этнографии. Известный советский статистик, зав. кафедрой статистики Ленинградского финансово-экономического института Э.К. Васильева в течение долгих лет активно сотрудничала с В.В. Пименовым, его единомышленниками, этнографами, использующими статистические методы в своих исследованиях. Наряду с Э.К. Васильевой огромный вклад в разработку и подготовку научного аппарата, а также в обработку и анализ полученных материалов статистико-этнографических исследований народов Урало-Поволжья внесли этносоциологи А.Д. Коростелев и В.С. Кондратьев.

Удмуртская АССР была выбрана первым исследовательским полем для осуществления статистико-этнографического обследования. Изучение современных этнокультурных процессов в Удмуртии началось в 1968 году, когда под руководством В.В. Пименова было проведено массовое статистико-этнографическое обследование удмуртского населения. В ходе обследования изучались традиционные культурно-бытовые явления; степень знания их представителями разных социально-профессиональных и демографических групп удмуртского населения республики; а так-

же соотношение традиционного и нового в живом бытовании с целью выяснения устойчивости отдельных компонент этноса и общей тенденции развития удмуртского этноса. Выборку для первого статистико-этнографического исследования (СЭИ) проектировала, как уже выше сообщалось, Э.К. Васильева. Опрос с использованием формализованного инструментария охватил 1220 сельских и 919 городских жителей удмуртской национальности на территории Удмуртской АССР и 94 представителя удмуртской творческой интеллигенции. Анкета включала 60 вопросов, на базе которых было сформировано 50 переменных, включенных в анализ.

Результаты обследования были изложены в монографии В.В. Пименова «Удмурты: Опыт компонентного анализа этноса», в его совместной с Л.С. Христолюбовой брошюре «Удмурты: этносоциологические очерки», двух защищенных диссертациях и ряде статей. В 1970-е годы в Удмуртском НИИ при Совете Министров УАССР (ныне УИИЯЛ УрО РАН) сложилась группа этносоциологов, прошедших аспирантскую подготовку под руководством В.В. Пименова в Институте этнографии АН СССР. В частности, в 1976 году Г.К. Шкляев провел выборочное обследование сельских населенных пунктов УАССР. Проект выборки для этих обследований был также осуществлен проф. Ленинградского финансово-экономического института Э.К. Васильевой. Цель исследования – изучение истории заселения и типов сельского расселения, планировочной структуры современных сельских поселений, выяснения их типологии, выявления этнических, региональных и хронологических различий. Статьи по его материалам были опубликованы в двух сборниках Удмуртского НИИ: «Этнокультурные процессы в Удмуртии» и «Сельские поселения Удмуртии в XIX–XX вв.».

В том же 1976 году была начата подготовка к проведению повторного массового обследования населения республики по сопоставимой с обследованием 1968 года программе. Для получения сопоставимого материала за основу был взят разработанный В.В. Пименовым инструментарий 1968 года, но с учетом накопленного в Институте этнографии опыта он был значительно дополнен. В 1979–1980 гг. повторное обследование с охватом удмуртского, русского и татарского населения республики было проведено совместными силами НИИ при Совете министров Удмуртской АССР, Удмуртского государственного университета и ИЭ АН СССР под руководством В.В. Пименова и Л.С. Христолюбовой. Полученные материалы были переработаны на ЭВМ. Цели повторного обследования состояли в том, чтобы изучить соотношение традиционного и нового в сфере материальной и духовной культуры удмуртов и других народов Удмуртии; выявить региональные и этнические особенности в их культуре; исследовать условия развития общесоветских черт в образе жизни населения УАССР. Это обследование позволило проследить динамику социальных и этнических процессов среди удмуртского населения, а одновременное обследование русского и татарского населения республики – проанализировать аналогичные процессы у разных этнотерриториальных групп нетитульного населения.

По материалам обследования сельского населения в 1983–1985 гг. было издано три сборника статей, в написании которых участвовали как ижевские, так и московские этнографы – сотрудники Института этнографии Т.С. Гузенкова, Г.А. Комарова, Т. П. Федянович. В этих сборниках давалась общая характеристика социальной структуры сельского населения, исследовались новые черты в его культуре и в быту; рассматривалось влияние типов сельских поселений на поведение в быту и сохранение традиций удмуртов, на степень интернационализации общественного сознания, интересы и установки в сфере этнических

ценностей, на социальные и демографические характеристики населения, изменения в традиционной обрядности. Предметом исследования также стали проблемы взаимодействия этнических культур, общественно-политическая и культурно-досуговая деятельность, территориальная и социальная подвижность сельских жителей, особенности современной сельской семьи и семейного быта, тенденции социального и этнокультурного развития.

В первом сборнике В.В. Пименов дал краткий обзор состояния статистической этнографии как нового раздела (направления) этнографической науки в нашей стране. Л.С. Христолюбова проследила этнокультурные процессы у удмуртов в 1970-е годы, а также провела региональный анализ процессов, происходивших в сфере духовной культуры сельских удмуртов. Г.П. Белорукова исследовала социальную структуру сельского населения, межпоколенные и внутрипоколенные перемещения в национальных группах сельского населения. Г.А. Комарова проанализировала особенности этнокультурных ориентаций мужчин и женщин, Т.П. Федянович изучала изменения в семейной обрядности русского населения Удмуртии, Т.С. Гузенкова – особенности межэтнических контактов в Удмуртии и Чувашии. Специальный сборник был посвящен этносоциальным и этнокультурным процессам в среде городского населения Удмуртии. В статьях были прослежены особенности формирования городского населения Удмуртии и общественная активность современных горожан (Г.К. Шкляев), рассмотрены социально-профессиональный состав и межнациональные отношения в среде городского населения (Г.П. Белорукова), свободное время и духовная культура (Л.С. Христолюбова, Н.В. Перевощикова), традиционное и новое в материальной культуре городского населения (Г.А. Никитина, Е.Я. Трофимова, Г.К. Шкляев).

Результаты названных опросов нашли отражение в коллективной монографии «Удмурты: историко-этнографические очерки», в книге Л.С. Христолюбовой «Семейные обряды удмуртов: традиции и процессы обновления» и в других научных изданиях. Они также были широко представлены и обсуждены в ходе регионального научного совещания этнографов и этносоциологов на тему «Современные этнические и культурно-бытовые процессы у народов Урало-Поволжья и Европейского Севера СССР», состоявшейся в октябре 1985 года в г. Устинов (ныне – Ижевск). Его результатом стало решение издать обобщающий научный труд по итогам массовых статистико-этнографических исследований в Урало-Поволжье. Коллективный труд «Этнокультурные процессы в Поволжье и Приуралье» был издан в 1991 году в г. Чебоксары.

Мордовская АССР. В 1973–1974 годах в ряде сел и городов Мордовии НИИЯЛИЭ при Совете министров Мордовской АССР совместно с Институтом этнографии АН СССР по программе, разработанной В.В. Пименовым, провел одно из крупнейших в истории республики этностатистическое исследование. Оно охватило 41 населенный пункт, а также 10 поселков городского типа. Структура репрезентативной выборочной совокупности была следующей: сельское население – 2390 человек и городское – 2580 человек. Выборка опроса была спроектирована профессором Ленинградского финансово-экономического института Э.К. Васильевой. Программу и вопросник исследования разработал В.В. Пименов. При подготовке «Мордовского этнографического вопросника» был использован опыт этносоциологических исследований Ю.В. Арутюняна, Е.И. Клементьева, О.И. Шкаратана. В подготовке и проведении первого в Мордовии обследования с использованием этносоциологических методик, а также в обработке

и анализе полученных данных, принимали участие под руководством В.В. Пименова московские, саранские и ижевские этнографы: Н.Ф. Мокшин, А.С. Лузгин, Л.С. Христолюбова, Т. П. Федянович, В.А. Балашов, В.Ф. Вавилин, Н.С. Шаляев и др.

В 1985–1986 годах было проведено статистико-этнографическое обследование сельского населения Мордовии. Инструментарием сбора первичной информации была анкета, разработанная В.Ф. Вавилиным. В 45 населенных пунктах республики (12 мокшанских, 8 эрзянских, 21 русских и 4 татарских) было опрошено 2000 человек. Итоги этносоциологического исследования этнических процессов в Мордовии, проведенного под руководством В.Ф. Вавилина мордовскими этнографами В.А. Балашовым, Н.С. Беляевой, А.С. Лузгиным нашли свое отражение в коллективных и авторских (В.Ф. Вавилина и В.А. Балашова) монографиях. Научная работа В.Ф. Вавилина «Количественная оценка современных этнокультурных процессов в Мордовской АССР (сельское население)» стала единственным в своем роде исследованием, выполненным по методике компонентного анализа.

В последующие годы анализ информации, собранной в ходе нескольких этностатистических обследований мордовского и русского населения Мордовии, позволил прояснить целый ряд теоретических вопросов, связанных с функционированием и развитием этнокультурных процессов, а также решить некоторые практические задачи их планирования и управления. Собранные материалы легли в основу ряда научных публикаций и диссертационных исследований. В 1991 году проводились массовые этносоциологические исследования в Мордовии и в районах компактного проживания мордвы за пределами республики. Они были проведены Мордовским госуниверситетом и НИИ регионологии при участии сотрудников МНИИЭЛИЭ, преподавателей и студентов МГПИ им. Евсевьева под руководством В.А. Балашова, В.Ф. Вавилина, Г.П. Кулешовой. Полученные материалы были обработаны и проанализированы и опубликованы НИИ регионологии в сборниках, посвященных межнациональным отношениям в Мордовии.

Методологические подходы мордовских этносоциологов к началу 1990-х гг. претерпели существенные изменения, основная суть которых заключалась в перемещении фокуса внимания с изучения отдельных этносов на исследования межэтнических отношений в таком полиэтническом районе как Мордовия.

Чувашская АССР. В Чувашии первое массовое статистико-этнографическое исследование было организовано и осуществлено в 1981–1982 гг. ИЭ АН СССР совместно с НИИЯЛИЭ Чувашской АССР (ныне ЧГИГН) по теме «Современные этнические и культурно-бытовые процессы в Чувашской АССР». Цель исследования состояла в системном изучении этноса и функциональном анализе его основных компонент: языка, фольклора, профессиональной духовной культуры, обрядов и обычаев, традиционной материальной культуры и т. п., а также в исследовании механизма их взаимодействия. При этом особое внимание было уделено изучению процессов этнической консолидации и межэтнического взаимодействия и разработке на его основе ряда прикладных задач.

В анализе и подготовке к публикации полученных в результате обследования материалов, принимали участие как чебоксарские (В.П. Иванов, Г.Б. Матвеев, П.П. Фокин, В.Г. Родионов), так и московские этнографы и этносоциологи (В.В. Пименов, А.Е. Пахутов, Р.А. Григорьева, Т.С. Гузенкова, А.Д. Коростелев, В.С. Кондратьев, Г.А. Комарова, Т.П. Федянович) и др. Выборку первого в ЧАССР массового ста-

тистико-этнографического исследования подготовила д.э.н., проф. Ленинградского финансово-экономического института Э.К. Васильева. В результате было опрошено около 4200 человек в возрасте от 16 лет и старше. Списки лиц, подлежащих обследованию, составлялись в селах по хозяйственным книгам местных Советов, а в городах – по картотекам паспортных столов. Принятая в исследовании районированная механическая выборка, обеспечивая высокую репрезентативность полученных данных, вместе с тем поставила перед исследователями весьма сложные проблемы практического плана. Необходимо было опросить жителей 58 сельских населенных пунктов, разбросанных по всему 21 району республики, 7 городов (Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Алатырь, Шумерли, Козловка, Ядрин) и поселка городского типа – Ибреси. В результате обследование проводилось в три этапа: летом (июль 1981 г.) опрашивалось сельское население, осенью–зимой (ноябрь–декабрь 1981 г.) – городское и в январе–феврале 1982 г. – национальная творческая интеллигенция, которая изучалась в ходе СЭИ и в других республиках Урало-Поволжья.

Технический и логический анализ заполненных вопросников, а также кодировка содержащейся в них информации осуществлялись в основном чувашскими участниками исследования. Сотрудники Института этнографии АН СССР А.Д. Коростелев и Т.С. Гузенкова занимались вторичной, более детальной проверкой вопросников и особенно качества кодировки, т. е. фактически полной перепроверкой всех массивов обследования. Обработку информации на ЭВМ осуществил А.Д. Коростелев. Полученный богатейший этностатистический материал предоставил возможность многоплановой разработки разнообразных научных тем, в том числе таких, как социально-демографические процессы (В.В. Пименов, В.С. Кондратьев, А.Д. Коростелев, Г.А. Комарова), этнические процессы и образ жизни (В.В. Пименов, В.П. Иванов, А.Д. Коростелев), современные этноязыковые процессы (Р.А. Григорьева, А.Д. Коростелев), тенденции изменений в современной материальной и духовной культуре (А.Д. Коростелев, Г.Б. Матвеев, А.Е. Пахутов, Т. П. Федянович), этнические процессы и семья (В.П. Иванов, Г.А. Комарова, П.П. Фокин), религия и обрядность (Г.Б. Матвеев, Т. П. Федянович) межэтнические контакты (В.П. Иванов, Т.С. Гузенкова, А.Д. Коростелев), роль фактора пола в этнокультурных процессах (Г.А. Комарова), вопросы этнопсихологии (С.К. Жидкова) ит. д.

Результаты статистико-этнографического исследования 1981–1982 гг. впервые обсуждались на научной конференции в г. Чебоксары в 1982 г., но особенно широко и развернуто они были освещены и обобщены на научно-практической конференции «Культурно-бытовые процессы в современном селе Чувашской АССР», состоявшейся 22 ноября 1983 г. в Чувашском НИИЯЛИЭ. В последующие годы результаты данного исследования были изложены в целом ряде публикаций, тематических сборников, диссертаций. Итогом исследований стала коллективная монография «Чуваши: современные этнокультурные процессы», вышедшая в 1988 г. в издательстве «Наука». Следует особо отметить, что программа и инструментарий (вопросники, инструкции, принципы репрезентативной выборки) были опубликованы в виде методических указаний («Современные этнические процессы в Чувашской АССР. Методические указания и рекомендации по программированию, технике и организации статистико-этнографических исследований». Чебоксары, 1984).

Кроме двух совместных с ИЭ АН СССР этностатистических исследований Чувашский НИИЯЛИЭ провел несколько массовых обследований с охватом меньшего количества опрошенных. Так, в 1988 г. для

выяснения оценки межнациональных отношений в республике было проведено анкетирование лиц нетитульных национальностей (русских, татар, мордвы). Серия массовых обследований была также осуществлена чебоксарскими и московскими учеными в сельских районах Чувашии в 1982–1983 и 1987–1989 годах. Т.С. Гузенкова по материалам статистико-этнографических исследований в ЧАССР защитила кандидатскую диссертацию. Г.А. Комарова (ИЭА РАН) в 1980-е гг. провела в Чувашии специальный опрос сельских и городских женщин, а также организовала несколько других этностатистических обследований, результаты которых были использованы в диссертационной работе, защищенной ею в 1989 году. А.Д. Коростелев (ИЭА РАН) в 1980-е гг. широко использовал в своей работе данные статистико-этнологического обследования русского населения ЧАССР и защитил в 1992 году кандидатскую диссертацию на тему «Русское население Чувашии: этносоциальные и этнокультурные процессы в начале 1980-х гг.».

Отметим, что по примеру проведения СЭИ в 1981 году в Чувашской АССР, выборка по каждой исследуемой в дальнейшем республике целенаправленно проектировалась таким образом, чтобы создать пять массивов данных: два по титульной национальности (сельский и городской массивы), два по русскому населению (также сельский и городской массивы), и массив по творческой интеллигенции титульной национальности (НТИ). По такой схеме были проведены исследования в Марийской АССР и в Калмыцкой АССР.

Марийская АССР и Калмыцкая АССР. В 1984–85 годах Институт этнографии АН СССР совместно с научными учреждениями Урало-Поволжья провел сразу два крупных статистико-этнографических исследования, посвященные изучению современных этнических процессов в республиках Поволжья и Приуралья (руководитель – В.В. Пименов). Такие исследования состоялись в Марийской АССР (1984–1985 гг.) и Калмыцкой АССР (1985 г.). В их организации и проведении принимали участие этнографы и этносоциологи из Москвы, Йошкар-Олы, Элисты, Уфы и других городов Урало-Поволжья.

В Марийской АССР ко времени проведения статистико-этнографического обследования уже был накоплен определенный опыт социологических исследований под руководством В.А. Соловьева, кстати, успешно продолжаемых местными учеными и в наши дни (Н.В. Орлова и др.). Однако в целом СЭИ, посвященное изучению современных этнических процессов в МАССР, было по своим задачам и масштабам для республики уникальным. В его подготовке и проведении, а также в обработке и анализе полученных материалов, помимо йошкар-олинских этнографов (Т.Л. Молотова, Н.С. Попов, В.Д. Шаров и др.), самое активное участие приняли их коллеги из Москвы (В.В. Пименов – руководитель проекта, Р.А. Григорьева, Т.С. Гузенкова, Г.А. Комарова, А.Д. Коростелев, Т. П. Федянович), а также аспиранты из Уфы (Н.Ф. Гайнуллина, Ю. Юлдашбаев). На материалах Марийского статистико-этнографического исследования был написан целый ряд статей, разделов в коллективных монографиях, защищены несколько диссертаций. По его итогам вышли в свет два выпуска серии «Археология и этнография Марийского края»: «Этнические и культурно-бытовые процессы в Марийской АССР» (Йошкар-Ола, 1989) и «Современные этнокультурные процессы в марийском селе» (Йошкар-Ола, 1991). Этнографы с позиций системного подхода изучали очень широкий круг проблем: семью и семейно-брачные отношения, пищу, жилище и поселения, одежду, социолингвистическую ситуацию, обрядность, этнодемографические процессы, межэтнические отношения, профессиональные формы духовной культуры.

В организации, проведении, обработке и анализе материалов уникального для Калмыкии массового статистико-этнографического исследования совместно с московскими коллегами (В.В. Пименов, Т.С. Гузенкова, Г.А. Комарова, А.Д. Коростелев, А.Е. Пахутов) участвовали элистинские ученые: Л.С. Бурчинова, Э.Б.М. Гучинова, А.Г. Митиров, Д.Д. Шалхаков, Т.Б. Бадмаева, Г.М. Красильникова, З.Э.Г. Гоголданова, В.Д. Дамбинова и др. В ходе Калмыцкого СЭИ было получено 5 массивов информации – 2 сельских (калмыки и русские, соответственно 1200 и 800 человек) и 2 городских (калмыки и русские – 1200 и 800 человек), а также массив по творческой интеллигенции титульной национальности. По результатам обследования в КАССР были изданы научные сборники «Современные этнические процессы в Калмыкии» и «Калмыки. Перепутье 80-х. Проблемы этнокультурного развития». В 1989 году Э.Б.М. Гучинова с использованием результатов Калмыцкого статистико-этнографического исследования защитила кандидатскую диссертацию «Семейные обряды калмыков».

Башкирская АССР. Массовое статистико-этнографическое исследование «Современные этнические процессы в Башкирской АССР», посвященное изучению современных этнических процессов в Башкирии и совместно проведенное ИЭ АН СССР и ИИЯЛ БНЦ в 1986 году, стало завершающей частью комплексной программы, осуществляемой в республиках Поволжья и Приуралья с 1968 года под научным руководством В.В. Пименова. И вместе с тем, это было первое для Башкирии столь масштабное междисциплинарное обследование. В ходе Башкирского СЭИ было опрошено 5600 человек (русских, башкир, татар) в 13 городах, поселках городского типа и в 80 сельских поселениях. Выборка обеспечивала представительство трех наиболее многочисленных национальностей (башкир, русских и татар) во всех экономико-географических районах Башкирии. Она позволила получить семь массивов данных: к обычным пяти добавились еще массивы по татарам (по сельскому и городскому населению), что связано с большой долей лиц этой национальности в составе населения республики. В ходе исследования в Башкирии было опрошено 1199 сельских башкир, столько же городских башкир, 799 сельских жителей русской национальности, по 800 – городских русских, сельских татар и городских татар, а также 163 представителя башкирской творческой интеллигенции. Инструментарий исследования – «Вопросник Башкирской этнографической экспедиции», составленный под руководством В.В. Пименова большим коллективом авторов из Уфы, Казани, Москвы включал 193 вопроса. На базе их, а также с учетом данных «Поселенческого паспорта Башкирской этнографической экспедиции» было сформировано 237 переменных, включенных в анализ. К моменту проведения массового этностатистического обследования населения в БАССР в 1986 году уфимские этнографы (В.Я. Бабенко, Н.В. Бикбулатов, М.Д. Киекбаев, М.Г. Муллагулов, М.В. Мурзабулатов, Р.Г. Кузеев, С.Н. Шитова, Н.Ф. Гайнулина, Ю.Х. Юлдашбаев и др.) уже имели собственный опыт массового анкетного обследования сельского населения.

Статистико-этнографическое исследование «Современные этнические процессы в Башкирской АССР» 1986 года способствовало развитию в БАССР этнологических исследований с использованием количественных статистических и социологических методов. В результате его проведения были собраны и обработаны уникальные материалы. Впоследствии они легли в основу научных сборников «Современные этнические процессы в Башкортостане: состояние проблемы и перспективы исследования» (1992 г.) и «Вопросы этнографии город-

ского населения Башкортостана» (1992 г.). На основе этносоциологического обследования 1986 года был составлен статистический свод по материальной культуре башкир, татар и русских, служащий источником для сравнительного изучения изменений в культуре этих этнических групп. Проект должен был завершиться изданием коллективной монографии «Башкиры, татары, русские Башкортостана: этнокультурные процессы». Однако наступили очередные переломные годы, и не всем планам суждено было осуществиться. Между тем, в результате массового этносоциологического опроса был сформирован большой корпус научных материалов и статистических данных. Материалы обследования в БАССР были обобщены не только в тематических сборниках, но использовались при написании статей, научных обзоров, а также в ряде диссертаций. В частности, И.Г. Петров проанализировал в сравнительном плане данные обследования сельского массива в своей кандидатской диссертации «Сельское чувашское население Башкирского Приуралья: современные этнокультурные процессы». Позднее, в 1990–2000-е гг., используя количественные статистические и социологические методы, свои исследования провели И.М. Габдрафиков, М.Дж. Киекбаев, Р.И. Якупов, Р.Р. Галлямов, Ф.Г. Сафин, Г.Ф. Ахметова, А.С. Щербаков и другие.

Использование статистических методов и приемов в этнографических исследованиях

В 1960–1980-е гг. по методике и инструментарию, впервые апробированным в Удмуртии в 1968 году, статистико-этнографические исследования были проведены почти во всех республиках Урало-Поволжья, а также в других регионах страны. По итогам массовых СЭИ неоднократно проводились региональные рабочие совещания, научные конференции, устраивались секции в ходе научно-полевых сессий, участие в которых принимали и этнографы, и этносоциологи. Итоговое региональное совещание этнографов и этносоциологов на тему «Современные этнические и культурно-бытовые процессы у народов Урало-Поволжья и Европейского Севера СССР» прошло в г. Устинове (Ижевске) в 1985 году. На нем было принято решение создать обобщающий научный труд. Материалы статистико-этнографических исследований, осуществленных в ряде автономных республик СССР, нашли широкое отражение в коллективной монографии «Этнокультурные процессы в Поволжье и Приуралье», написанной с участием исследователей из Москвы (ИЭ АН СССР), Башкирии, Татарстана, Карелии, Калмыкии, Коми, Мордовской, Марийской, Удмуртской, Чувашской республик и выпущенной Чувашским НИИЯЛИЭ в 1991 г. В монографии рассматривались общие закономерности и местные специфические особенности этнокультурного развития народов обширного региона страны.

В результате этих и последующих обследований советские этнографы сделали попытку изучения очень широкого круга проблем с позиций системного подхода. Этнографы ИЭ АН СССР в сотрудничестве с исследователями из институтов и университетов Казани, Ижевска, Саранска и Чебоксар, Уфы, Йошкар-Олы и некоторых других городов проводили серию массовых многоаспектных обследований, в программах которых учитывались самые различные проблемы: семья и семейно-брачные отношения (Н.Ф. Беляева, В.Н. Бирин, Р.А. Григорьева, Э.Б.М. Гучинова, В.П. Иванов, Г.А. Комарова, Н.Л. Лештаева, М.В. Мурзабулатов, М.Б. Рогачев, И.Н. Смирнов, Г.Р. Столярова, Т.П. Федянович, П.П. Фокин, Л.С. Христолюбова, Р.К. Уразманова и др.), пища (Н.Ф. Гайнуллина, Р.А. Григорьева, А.С. Лузгин, П.М. Мезин, А.Е. Пахутов,

В.Н. Петров, Е.Я. Трофимова, Л.С. Христолюбова), жилище и поселения (В.Ф. Вавилин, А.Д. Коростелев, Г.Б. Матвеев, Г.К. Шкляев, И.И. Флерова), одежда (Г.М. Красильникова, Г.Б. Матвеев, Т.Л. Молотова, Г.А. Никитина, С.В. Суслова, Л.С. Христолюбова), языковые процессы (Р.А. Григорьева, В.П. Иванов, В.Д. Дамбинова, А.Д. Коростелев, М.Б. Рогачев), обряды (Э.Б.М. Гучинова, Н.И. Шатинова, Л.С. Христолюбова, Т.П. Федянович), этнодемографические процессы (Д.М. Исхаков, Г.А. Комарова, Н.Н. Моисеева, Н.С. Попов, Х.Х. Сарв), межэтнические отношения (В.А. Балашов, Т.С. Гузенкова, В.П. Иванов, А.Д. Коростелев, В.Д. Шаров, Г.К. Шкляев), профессиональные формы духовной культуры (В.А. Балашов, В.П. Иванов, Л.С. Христолюбова, Н.В. Перевощикова, Б.Б. Дякиева). Начиная с 1973 года, в качестве объекта статистико-этнографических исследований, наряду с титульной национальностью республик, выступало и местное население других национальностей. В итоге был накоплен опыт исследования статистическими методами этнотерриториальных групп, живущих в условиях иноэтничного окружения (И.В. Борисенко, Р.А. Григорьева, З.Э.Г. Гоголданова, Т.С. Гузенкова, В.П. Иванов, М.Д. Киекбаев, А.Д. Коростелев, О.В. Котов, И.Г. Петров, В.Д. Шаров, Г.К. Шкляев).

В период проведения массовых обследований населения Урало-Поволжья раз от разу усложнялся инструментарий обследования, постоянно расширялся круг изучаемых тем и, соответственно, росло число вопросов в анкете. Так, если удмуртский вопросник содержал в себе 60 вопросов, калмыцкий вопросник включал в себя 161 вопрос, то в башкирском было уже 193 вопроса. Усложнялся не только инструментарий обследования, но главное, совершенствовались методика и техника проводимых исследований, уточнялись их теоретико-методологические принципы и т. п. При этом В.В. Пименов и его единомышленники считали, что осуществление «многочисленных и разнообразных исследований, использующих опросы и применяющих статистические процедуры, создает ситуацию, в рамках которой исследователи, сознающие свою научную ответственность, должны ясно и определенно высказать, какие принципы и методы положены в основу их трудов, иначе говоря, сделать свои программы доступными для изучения и научной критики» (Пименов 1984: 4). С этой целью они опубликовали и сделали научным достоянием «Программу этносоциологического исследования этнических процессов в Советской Мордовии» (1978 г.), «Методические указания и рекомендации по программированию, технике и организации статистико-этнографического исследования в Чувашской АССР» (1984 г.) и т. п.

Как уже упоминалось ранее, методике проведения массовых обследований населения Урало-Поволжья уделялось особое внимание. Инструментарий строился с расчетом на получение как формализованных данных для переработки их на ЭВМ, так и протокольно фиксированной информации, пригодной для традиционной разработки, разнообразия описания и т. п. Переработка данных на ЭВМ позволяла преобразовать информацию и получить ее в форме промежуточных и окончательных результатов. Промежуточные результаты давали возможность исследовать связи между переменными (признаками) и охарактеризовать каждый из показателей, заложенных в инструментарий исследования, получить представление о динамике, определить тенденции в развитии изучаемых явлений. После осуществления сбора информации (во время которого особое внимание было обращено на обеспечение достоверности) и ее переработки на ЭВМ наступал этап собственно научного анализа. «Разработка данных обследования, таким образом,

включала не только получение одномерных и многомерных статистических таблиц, но и исчисление коэффициентов связи между переменными. Важно подчеркнуть, что этот последний прием использовался радикально и в полном объеме, т. е. исчислялись связи между всеми переменными» (Пименов 1988: 15).

Как утверждали сторонники системного подхода в этнографии, «собственно системно-статистический анализ этноса, включающий выявление внутренней структуры отношений между его компонентами и более мелкими таксономическими единицами, образующими “живую ткань” изучаемого этноса, начинается лишь с переходом к его структурному моделированию» (Иванов 1985: 89). Такое моделирование осуществлялось путем исчисления т. н. информационных коэффициентов связи, выражающих меру связи каждого фактора со всеми остальными. В результате довольно сложных исследовательских процедур строились «вполне обозримые и пригодные для дальнейшего анализа модели этноса в виде графов». Анализ общей модели этноса, по мнению В.В. Пименова, выявляет ее принципиальную структурную композицию. Дальнейший анализ связей, вскрытие их характера и особенностей, определение меры их существенности и ролей в системе отношений, иначе говоря, познание логики отношения между факторами – таков главный путь исследования модели (Иванов 1985: 90). Использование структурного моделирования давало возможность исследования общих свойств этноса, выступающего как целостность.

По мнению исследователей, для системно-статистического подхода свойственны такие черты и особенности, как использование статистических процедур при сборе, переработке и анализе этнографической информации, применение соответствующих приемов, открывающих возможности моделирования структуры этноса, логический анализ моделей, их интерпретация на основе всей суммы этнографических знаний, определение детерминирующих «начал» и выявление системного характера детерминации этнических структур и процессов (Иванов 1985: 97). В целом, системный подход в этнографии, по мнению В.В. Пименова, выражал тенденцию к изучению этноса как целостности с ее внутренними и внешними связями, отношениями и взаимодействиями (Пименов 1978: 4).

К концу 1980-х гг. в различных этнографических центрах СССР (Москва, Ленинград, Петрозаводск, Новосибирск, Тарту, Минск, Казань, Львов, Саранск, Сыктывкар, Ижевск, Чебоксары, Уфа, Йошкар-Ола, Горно-Алтайск, Элиста и др.) не только отдельные исследователи, но и целые научные группы работали с применением различных статистических методов и приемов. В это же время при кафедре этнографии МГУ под руководством В.В. Пименова была организована лаборатория этносоциологии, которую возглавил известный этносоциолог А.А. Сусоколов. К сожалению, деятельность лаборатории по независящим от ее руководителя причинам оказалась малоуспешной (Соколовский 2012).

В целом, степень и характер использования различных статистических методов и приемов в этнографических исследованиях имели большой диапазон: от элементарного соблюдения требований статистических методик и арифметических подсчетов тех или иных характеристик до анализа качественных изменений и использования системного анализа и моделирования структур при изучении этноса и его отдельных компонент (Пименов 1985: 5).

Проблема целостного (системного) компонентного анализа этноса

На примере становления и развития статистического направления в этнографии можно наблюдать достаточно типичную

ситуацию, когда дисциплина, возникшая в недрах одной или нескольких дисциплин, обычно вызывает дискуссии о предмете появившейся науки, о ее принадлежности и статусе. Эти дискуссии становятся особенно острыми в тех случаях, когда вновь возникшая наука является «нетрадиционной» для этнографии. Так, в частности, случилось и со статистическим направлением в этнографии, и с этносоциологией, и с этнической картографией, т. е. с научными направлениями, возникшими в лоне этнографии и связанными с такими науками (статистикой, социологией, картографией и т. п.), которые не изучают объекты, как обычные науки, а разрабатывают методы и выполняют в некотором смысле, обслуживающую функцию. Как известно, статистический метод сложился вначале как метод анализа таких массовых демосоциальных явлений, как брак, развод, рождаемость и т. д. И в рефлексии исследователей, которые не просто развивали и совершенствовали этот метод, но также рассматривали вопрос о том, что такое статистика, как ее разместить на «карте» наук, можно выделить, по крайней мере, две точки зрения, свидетельствующие о двух разных тенденциях осознания ее сущности и предназначения. Одни считали статистику социально-экономической наукой, наукой об обществе (Сычева 1999: 148–149). Другие полагали: «Все, что исследует статистика, – законная собственность других наук; статистика остается без собственного предмета, и ее особенностью является только метод» (Дружинин 1964: 27).

Скорее всего, подобная дискуссия была вызвана различным пониманием дисциплинарных границ самой статистики. К сожалению, представители статистического направления в этнографии также не дают окончательного ответа на закономерный вопрос о том, как они осознают знание – исследование явлений с помощью статистического метода: как знание об этих явлениях (прежде всего общественных, ибо статистический метод использовался ими при анализе именно этих явлений) или как знание о методе исследования массовых явлений и процессов. В их работах также нет терминологической ясности и определенности.

Еще в 1976 году казанские этнографы, работающие под руководством Е.П. Бусыгина и Н.В. Зорина, предложили называть исследовательское направление в этнографии, использующее количественные (преимущественно статистические) методы сбора и анализа этнографической информации, «статистической этнографией» (Очерки статистической 1976). Н.В. Зорин в этом сборнике предложил серию конкретных разработок массовых статистических материалов для освещения традиционных аспектов этнографии, что было признано важным этапом в формировании нового методического направления в этнографии. В дальнейшем в работах В.В. Пименова и его последователей речь идет уже о «системном или, точнее, системно-статистическом подходе» (Пименов 1978), затем – о «системно-структурном» подходе (Пименов 1985: 156) и т. п. Позднее эти же исследователи в некоторых своих работах (Кондратьев 1985) обозначали его то «статистической этнографией», то «системно-статистическим подходом» (Иванов 1987). В 1990–2000-е гг. В.В. Пименов говорит то о «компонентной концепции этноса», то о «компонентной теории этногенеза», то о «системно-статистической (компонентной) теории этноса» или просто «компонентной теории» и т. д. К сожалению, после единственной монографии «Удмурты: Опыт компонентного анализа этноса», вышедшей в свет в 1977 году, какого-либо другого обобщающего монографического исследования, посвященного системно-статистическому подходу и статистико-этнологическим исследованиям в отечественной этнографии, В.В. Пименов не публиковал.

Между тем проблема целостного (системного) компонентного анализа этноса

с помощью статистических методов была поставлена и рассмотрена именно в его работах в 1970-е гг. (Пименов 1977, 1978). В.В. Пименов рассматривал исследования подобного рода как попытку дальнейшего развития идей и принципов, ранее сформулированных советскими этнографами, социологами, этносоциологами, психологами. Решая подобные задачи, он, прежде всего, стремился расширить понятийный аппарат этнографии путем введения в научный оборот новых терминов: «компонента этноса», «этнофор», «демосоциальное основание этноса», «социально-этническая ситуация» и др. По определению Пименова, «этнофор» – это личность, выступающая в качестве носителя этнических черт и характеристик; «компонента этноса» – это его структурная единица высшего порядка, его существенная сторона, имеющая (в свою очередь) сложное строение и членящаяся на элементы (признаки, переменные, факторы) более низкого таксономического порядка; «социально-этническая ситуация» – совокупность характеристик объекта на момент его исследования и т. д. (Пименов 1977).

В.В. Пименов и его ученики априори определяли теоретическую модель этноса как «относительно обособленную динамическую самовоспроизводящуюся социальную систему чрезвычайно высокой степени сложности, структурные компоненты которой входят в нее «на правах» также весьма сложных подсистем, а последние «подвижно скреплены» между собою многочисленными и разнообразными связями, имеющими характер отношений числа, порядка, направления, силы, координации и субординации». Сторонники СЭИ считали «…этнос сложным сочетанием следующих компонент: демографической структуры данной общности, ее экономики, территориального размещения (расселения), социальной структуры, языка или языков, функционирующих среди членов данной общности, материальной и духовной культуры (фольклорной и профессиональной), быта (иначе говоря, стереотипных форм поведения) членов данной общности, их этнического самосознания и некоторых (этнических) черт психики. Другими словами, этносы суть большие группы людей, “взятые” в реальном контексте социальных, культурных, языковых и иных отношений и характеристик» (Пименов 1978). Структурными образованиями высшего порядка, по мнению Пименова, являются компоненты, имеющие сложное строение: расселение этноса; его воспроизводство как части населения и свойственная ему демографическая структура; производственно-экономическая деятельность; система социальных отношений и институтов; язык; быт; обычаи; обряды; система личностного контактирования. Таким образом, одним из фундаментальных общенаучных методов в работах Пименова служил системный подход к этносу (Пименов 1984: 12; Чуваши 1988: 87).

По словам В.В. Пименова, СЭИ как новое направление в этнографии «формировалось частью во взаимодействии, а частью параллельно с этносоциологией» (Пименов 1985: 5). При значительном сходстве этносоциологии и статистико-этнографического направления в отношении изучаемых проблем и методов исследования между ними с самого начала существовали и отличия. От этносоциологии, позиционировавшей себя как направление социологии, СЭИ отличались большим вниманием к вопросам, которые были традиционными для этнографии – материальная и духовная культура в том их аспекте, который обычно интересует этнографов, обычаи и обряды, фольклор и др. Можно сказать, что это было исследование этнографических проблем методами количественной социологии. Однако при этом значительное внимание уделялось также демографическим и социальным характеристикам населения.

В рамках этих двух направлений при построении выборки с самого начала обращалось внимание на этническую принадлежность респондентов. Однако в дальнейшем алгоритм обработки полученных данных был различным. При том подходе к обработке данных, который практиковался в работах этносоциологов, основное значение придавалось таким демографическим и социальным переменным как пол, возраст, социально-профессиональная группа опрашиваемого, его образование и т. п. и выяснению зависимости от них остальных переменных (языковых, культурных, психологических).

В отличие от этого в СЭИ был принят иной подход, в соответствии с которым допускается возможность существования значимых связей между любыми переменными из числа включенных в анализ. Считается, что до опроса исследователь не знает, какие из связей между переменными окажутся для исследуемой группы наиболее существенными. Поэтому рассчитываются значения связи любой включенной в анализ переменной со всеми остальными. При этом наряду с теми результатами, которые получают этносоциологи, становится возможным оперировать и с той частью информации, которая при первом подходе была бы утеряна» (АА 2012).

Подобный алгоритм обработки данных является следствием развиваемой В.В. Пименовым методологии исследования, называемой им системным подходом к этносу (Пименов 1986). Этнос в рамках этой методологии характеризуется как «относительно автономная, исторически возникшая, динамическая, самовоспроизводящаяся и саморегулирующаяся сложная социальная система, компоненты которой – демографическая, пространственно-географическая, экономическая, социальная, языковая, культурная, бытовая и психологическая – связаны отношениями числа, порядка, направления, интенсивности, координации и субординации, система, функционирование и развитие которой, в конечном счете, экономически детерминировано» (Пименов 1977: 14). Отсюда следует необходимость исследования взаимосвязи и взаимовлияния компонент этноса между собой, а на операциональном уровне – выявления наличия, направленности и меры связей между переменными, представляющими компоненты в данном конкретном исследовании.

Один из самых последовательных единомышленников В.В. Пименова, А.Д. Коростелев, проведя комплексное статистико-этнологическое исследование этносоциальных и этнокультурных процессов среди русского населения Чувашии в начале 1980-х годов, развил и дополнил целый ряд теоретических положений Пименова. В частности, в своей диссертации А.Д. Коростелев делает следующие выводы: «Анализ рассчитанных коэффициентов связи позволяет выделить относительно тесно сплоченные группы переменных, объединяющиеся уже непосредственно на уровне модели в целом. Для каждой переменной, входящей в такую группу, большинство наиболее существенных связей реализуется в пределах той же группы. За этими группами (будем называть их относительно автономными субсистемами) стоят более абстрактные понятия, не поддающиеся непосредственной эмпирической проверке. Относительно автономные субсистемы, по-видимому, соответствуют относительно автономным сферам действительности в реальной системе этноса. При этом два понятия – компонента (вычленяемая в ходе предварительного теоретического анализа объекта) и относительно автономная субсистема (выделенная путем эмпирического изучения реальности) – не исключают, а дополняют друг друга» (Коростелев 1992: 12).

Системно-статистический или системно-структурный подход, родоначальником которого стал В.В. Пименов, получил в советской этнографии 1970–1980-х гг. ши-

рокую известность. Он был связан с формированием системных представлений об этносе, что определялось распространением системного подхода, идеями общей теории систем, но, прежде всего, господствующей в тот период в СССР «марксистско-ленинской теорией этноса», сформулированной Ю.В. Бромлеем (Бромлей 1983). Как известно, советская этнографическая наука представляла этнические общности реально существующими объектами, которым свойственно диалектическое развитие. Сегодня в зависимости от аспекта исследования и методологического подхода в отечественной этнологической науке выделяют несколько теорией этноса, в том числе и системно-статистическую (компонентную) теорию В.В. Пименова. В соответствии с этой теорией этнос рассматривается как исторически возникшая и эволюционирующая сложная самовоспроизводящаяся и саморегулирующаяся социальная система, обладающая многосоставной композицией (структурой).

Критика статистико-этнологического направления

Между тем, было немало и таких сторонников применения количественных методов в этнографии, которые считали, что возможности количественных методов не исчерпываются простым привлечением массовых данных или использованием методов изучения статистических связей, корреляционного анализа и другой техники, уже вошедшей в употребление этнографов. Для решения новых содержательных задач, по их мнению, необходимо «накопление эмпирических данных в рамках сходных статистических методик (построение графов связей, конструирование индексов) по различным этносам», что «позволило бы перейти к типологизации» (Старовойтова 1987: 85).

Как уже упоминалось выше, среди советских этнографов были те, кто, прекрасно понимая ценность и необходимость количественных научных методов, полагали, что исследования, основанные исключительно на статистических материалах, порой заметно искажают историко-этнографическую реальность. Отмечая односторонность этносоциологических методов, они подчеркивали необходимость учета историко-этнологических аспектов формирования изучаемой проблематики, ратовали за сохранение таких традиционных этнографических методов, как включенное наблюдение, длительное пребывание исследователя в изучаемой этнокультурной среде, предлагая соотносить данные синхронных этносоциологических исследований с материалами этнографии, данными исторической этнографии и других дисциплин. Например, известный отечественный этнограф Р.Г. Кузеев, который сам широко применял комплексный подход в своих этнографических исследованиях и активно способствовал внедрению количественных научных методов, был одним из первых, кто отмечал «односторонность этносоциологических методов» и подчеркивал «необходимость учета историко-этнологических аспектов формирования изучаемой проблематики» (Кузеев 1974; 1994: 115). При этом он всегда рассматривал комплексный подход в науке не как совмещение в одном исследовании разнородного материала, а как принцип взаимной проверки и корреляции смежными науками достоверности фактов и объективности полученных оценок и выводов (Кузеев 1974).

Один из учеников В.В. Пименова – В.Р. Филиппов – в статье «Теория этноса Л. Гумилева», упрекает не только Л.Н. Гумилева в научных ошибках, но и критикует своего учителя: «…такие ошибки присутствуют и в работах оппонентов Л. Гумилева. Например, В. Пименов, трактуя этнос как систему, пишет: “В этом смысле слова, можно сказать, что этнос есть процесс”». Далее В. Филиппов от-

мечает: «Одним из главных достижений своей научной деятельности Л. Гумилев считал применение в этнологии системного подхода. (Заметим, что системный подход пытались привнести в этнологию и до него (С. Широкогоров), и наряду с ним (В. Пименов), однако и в том, и в другом случаях – с отрицательным результатом). Именно благодаря системному подходу, как полагал Л. Гумилев, только и можно дать строгое определение понятию “этноса”. К сожалению, мы так и не нашли его на страницах этого исследователя. Так же, как и в трудах его последователей или оппонентов» (Филиппов 2006: 40).

И в целом, по мнению В.Р. Филиппова, «компонентный анализ этноса» В. Пименова был, по сути, неудачной попыткой количественной интерпретации того мифологизированного социального феномена, который пытались описать посредством выявления объективных признаков Ю. Бромлей, его предшественники и последователи» (Филиппов 2010: 153).

Идеи В.В. Пименова критикуют и другие его оппоненты (Соколовский 1996; Кабо 2006; Напольских 2011 и др.). Критике подвергается как «компонентная» теория В.В. Пименова, так и метод компонентного анализа этноса. С.В. Соколовский, в частности, находит, что «в его (В.В. Пименова – ГК) увлечениях системными подходами и теорией информации были случаи надуманности или просто незнания достоверной статистики» (Соколовский 1996: 11).

В.В. Напольских делает вывод, что «в доперестроечное время «компонентная» концепция, кажется, вполне вписывалась в официальную теорию этноса, выступала просто как исследовательский метод, и не противопоставлялась взглядам Ю.В. Бромлея, которые в те времена, кстати, не называли дуалистическими» (Напольских 2011: 162). Оценивая подобные теории, В.А. Тишков справедливо отмечает, что «более социально ориентированными, но от этого не менее эссенциалистскими являются доминирующие в российском обществознании типологические конструкции этносов, субэтносов, метаэтносов, а темы экзогамии этносов как признака и условия их существования или “компонентные” теории этноса присутствуют на уровне учебной литературы (Ю.В. Бромлей, В.И. Козлов, В.В. Пименов, Ю.И. Семенов)» (Тишков 2012).

Критики статистико-этнологического направления, отрицая его общие положения, как правило, не сопровождают свои высказывания и претензии каким-либо детальным анализом и конструктивной критикой «пименовского» подхода в отечественной этнографии. Они солидарны в том, что попытки В.В. Пименова и его последователей применить метод компонентного анализа к изучению этноса были неудачными, а стремление привнести в этнологию системный подход имело только отрицательный результат (Филиппов 2010: 204). К сожалению, никто из оппонентов В.В. Пименова не рассмотрел по существу и не обосновал на конкретных материалах и фактах их научную несостоятельность.

Конечно же, в истории СЭИ наряду с успешными результатами, порой встречались и неудачи. В частности, недостаточно корректное использование отдельными исследователями математических методов, их чрезмерное увлечение «этническим» моделированием, квазинаучные поиски «ядра этноса», конструирование «структуры наций и народностей» и др. Как известно, В.В. Пименов считал важнейшей задачей этностатистических исследований «имитационное моделирование этнических и этнокультурных процессов», создание моделей «движущегося, функционирующего этноса» (Пименов 1985: 16), но его попытки применить метод компонентного анализа к изучению этноса как определенной динамической системе были не всегда оправданными и удачными. Между тем необходимо напомнить, что и сам Пименов, и

его единомышленники при огромной увлеченности количественными методами всегда осознавали, что, изучая модели, те или иные статистические тенденции, нельзя забывать, что «за формальными построениями скрыты живые люди и их реальные судьбы» (Иванов 1985). Они отмечали, что системно-статистический подход к этносу имеет не только достоинства, но и значительные ограничения. «Мы научились выявлять и изучать структуры, но еще плохо умеем воспроизводить движение, процессы (в частности, этнические). Наши модели пока статичны» (Пименов 1988). Важно отметить, что еще в 1984 году ученик и ближайший соратник Пименова А.Д. Коростелев предостерегал о том, что на заключительном этапе переработки и анализа информации, – а именно на этапе интерпретации статистических данных, «особенно важную роль играет логический и содержательный анализ, опирающийся на всю совокупность имеющихся данных, относящихся к изучаемой теме» (Коростелев 1984: 84).

На мой взгляд, участникам массовых этностатистических обследований народов Урало-Поволжья, в которых я в течение многих лет принимала участие, в целом удавалось не только сохранить чувство меры в оценке как методов классической этнографии, так и статистических методов, но и удачно интегрировать их в своей работе, сочетая результаты традиционных этнографических исследований с анализом этностатистических материалов и данных. К числу несомненных научных достоинств команды В.В. Пименова следует отнести, наряду с повышенным научным интересом к изучению современных этнокультурных и этносоциальных процессов, приверженность к традиционной этнографической тематике; тщательную последовательную разработку научной программы исследования; а также возможность межэтнического сравнения полученных в ходе СЭИ данных и анализа взаимодействия этнических и социальных процессов. Несомненно, отечественные статистико-этнографические исследования выделялись на фоне большей части этнографических работ 1960–1980-х гг., прежде всего, систематическим использованием статистики и анкетирования. В месте с тем, от этносоциологических исследований они отличались большим вниманием к вопросам, которые были традиционными для этнографии – материальная и духовная культура в том их аспекте, который обычно интересует этнографов, обычаи и обряды, фольклор и др. Таким образом велось исследование этнографических проблем методами количественной социологии, но при этом значительное внимание постоянно уделялось также демографическим и социальным характеристикам населения. В результате все эти достижения позволили новому направлению СЭИ не превратиться в простой способ получения массовых данных, а постоянно оставаться в рамках этнологической науки.

По мнению А.Д. Коростелева, современным российским этнологам необходимо представлять себе, «что дало статистико-этнологическое направление для понимания сферы этнического, для накопления такого знания которое инвариантно по отношению к тому, в рамках какого научного направления мы работаем. Простой пример. Сегодня нередко говорят о том, что культура и идентичность очень мало связаны между собой. Но когда мне нужно обосновать это на конкретном материале, я обращаюсь к материалам пименовских исследований республик Поволжья и Приуралья, где такой вывод непосредственно следует из анализа статистических моделей, которые демонстрируют это хотя и в несколько иных терминах, но настолько убедительно, как никакой другой материал» (АА 2012).

В любом случае, обращаясь к проблеме междисциплинарных исследований в отечественной этнографии, нельзя отрицать, что именно В.В. Пименов был одним из тех

советских этнографов, кто в 1960–1980-е гг. пытался раздвинуть рамки исследовательского поля и разнообразить методико-методологические границы исследований, а также настойчиво прививал своим коллегам и ученикам любовь и интерес к изучению современности.

Естественно, что в истории кооперации этнографов и этносоциологов, наряду с успешными результатами, порой встречались и неудачи. Например, недостаточно корректное использование отдельными исследователями математических методов, их чрезмерное увлечение «этническим» моделированием, квазинаучные поиски «ядра этноса», конструирование «структуры наций и народностей» и многое другое, что могло дискредитировать достижения этносоциологии. Однако, подобные экспериментально-исследовательские опыты, как правило, существовали недолго, не получив одобрения, прежде всего, со стороны этносоциологов.

Библиография

АА 1986 – Авторский архив Г.А. Комаровой (1986 г.)

АА 2012 – Авторский архив Г.А. Комаровой (2012 г.)

Абузов 1935 – Абузов С.С. Комплексная экспедиция по изучению Мордовии // Революция и современность. 1935. № 5.

Алымов 2006 – Алымов С.С. П.И. Кушнер и развитие советской этнографии в 1920–1950-е гг. М.: ИЭА РАН, 2006. 256 с.

Анохина, Шмелева 1966 – Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Задачи и методы этнографического изучения культуры и быта русского городского населения (Опыт изучения городов средней полосы РСФСР) // СЭ. 1966. № 6. С. 57–67.

Бромлей 1981 – Бромлей Ю.В. Современные проблемы этнографии. М.: Наука, 1981.

Бромлей 1983 – Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983.

Витов 1962 – Витов М.В. Историко-географические очерки Заонежья XVI–XVII вв. М.: Изд-во МГУ, 1962.

Дружинин 1964 – Дружинин Н.К. Некоторые вопросы теории статистики. М.: МИНХ, 1964.

Жданко и др. 1956 – Жданко Т.А., Крупянская В.Ю., Терентьева Л.Н. Об организации и методике полевых этнографических исследований // СЭ. 1956. № 3. С. 25–34.

Иванов 1985 – Иванов В.П. Современная чувашская городская семья. М.: НАИЭА, 1985.

Иванов 1987 – Исследования по древней и современной культуре чувашей / Под ред. В.П. Иванова и др. Чебоксары, 1987.

Кабо 2008 – Кабо В.Р. Дорога в Австралию: воспоминания. М.: Восточная литература, 2008.

Кабо, Кабо 1964 – Кабо Е.О., Кабо В.Р. Методологическая роль статистического метода в этнографических исследованиях // Научные доклады Высшей школы. Философские науки. 1964. № 6.

Комарова 1987 – Комарова Г.А. Современная чувашская женщина в семье и в обществе (по материалам этностатистических обследований в ЧАССР). М., 1987.

Комарова 2005 – Комарова Г.А. Этническая социология как междисциплинарное направление в советской этнографии // Bulletin of the National Museum of Ethnology. 2005. 30(1) . С. 121–139.

Комарова 2009 – Комарова Г.А. Междисциплинарная интеграция отечественной этнографии и этносоциологии // Этносоциология в России: научный потенциал в процессе интеграции полиэтнического общества. Казань: ИИ АН РТ, 2009. С. 42–52.

Комарова 2011 – Комарова Г.А. Отечественная этнография и этносоциология: опыт междисциплинарной интеграции. В: Феномен идентичности в современном гуманитарном знании. М.: Наука, 2011.

Комарова 2012 – Комарова Г.А. Опыт интеграции: междисциплинарное взаимодействие этнографии и этносоциологии. М.: ИЭА РАН, 2012.

Кондратьев и др. 1986 – Кондратьев В.С. и др. Статистика в этнографии. М.: Наука, 1986.

Коростелев 1984 – Коростелев А.Д. Методика и техника обработки информации // Современные этнические процессы в Чувашской АССР. Методические указания и рекомендации по программированию, технике и организации статистико-этнографического исследования. Чебоксары, 1984.

Коростелев 1992 – Коростелев А.Д. Русское население Чувашии: Этносоциальные и этнокультурные процессы в начале 1980-х гг. М.: ИЭА РАН, 1992.

Коростелев 1997 – Коростелев А.Д. Рец. на: В.В. Пименов, В.Р. Филиппов. Массовые этнологические исследования. Методы и техника. М., 1995 // ЭО. 1997. № 2. С. 146–147.

Кузеев 1974 – Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. Этнический состав, история расселения. М.: Наука, 1974.

Кузеев 1994 – Кузеев Р.Г. История и социология в понимании современной этнокультурной ситуации // Доклад на конференции по бывшим социалистическим мусульманским обществам (Турция, Анкара, 15–18 сентября, 1994 г.) (препринт). Уфа.

Кузнецов, Кутяшов 1934 – Кузнецов И.Д., Кутяшов С.С. Чувашская колхозная деревня на пути культурного подъема. Чебоксары, 1934.

Маторин 1934 – Маторин Н.Н. Мордовия на путях культурной революции // СЭ. 1934. № 3.

Напольских 2011 – Напольских В.В. Проблемы создания вузовского учебника этнографии (размышления по поводу книги: Основы этнологии: Учебное пособие. Под ред. В.В. Пименова. М., 2007) // ЭО. 2011. № 6. С. 158–177.

Очерки 1976 – Очерки статистической этнографии Среднего Поволжья. Казань, 1976.

Пименов 1977 – Пименов В.В. Удмурты. Л.: Наука, 1977.

Пименов 1978 – Этнокультурные процессы в Удмуртии / Под ред. В.В. Пименова и др. Ижевск, 1978.

Пименов 1984 – Статистика в этнографии / Под ред. В.В. Пименова и др. М.: Наука, 1984.

Пименов 1985 – Пименов, В.В. О статистической этнографии // Статистико-этнографические исследования в Удмуртии (Материалы к изучению образа жизни сельского населения). Устинов, 1985. С. 3–18.

Пименов 1986 – Пименов, В.В. и др. Системный подход к этносу (к постановке проблемы) // Расы и народы. Вып. 16. М.: Наука, 1986. С. 12–30.

Пименов 1988 – Чуваши. Современные этнокультурные процессы / Под ред. В.В. Пименова и др. М.: Наука, 1988.

Пименов 1995 – Пименов, В.В., Филиппов, В.Р. Массовые этнологические исследования. Методы и техника. М.: МГУ, 1995.

Согрин 2011 – Согрин В.В. Ученый и гражданин в меняющейся стране // Феномен идентичности в современном гуманитарном знании: к 70-летию академика В.А. Тишкова М.: Наука, 2011. 670 с.

Соколовский 2012 – Соколовский С.В. Социология vs. антропология: запоздалые заметки на полях к дискуссии «физики vs лирики» // АФ. 2012. № 16. С. 130–139.

Соколовский 1996 – Соколовский С.В. Этническая социология. М., 1996. 263 с.

Старовойтова 1987 – Старовойтова Г.В. Этническая группа в современном советском городе. Л.: Наука, 1987.

Сычева 1999 – Сычева Л.С. Формирование научных дисциплин и «социальная наследственность» // Науковедение. 1999. 2. С. 144–157.

Тишков 2012 – Тишков В.А. Этнос или этничность. <valerytishkov.ru/cntnt/…/etnos_ili_.html> 2012.

Толстов 1927 – Толстов С.П. Русские крестьянские постройки (Критический обзор литературы) // Этнография. 1927. № 2.

Устинов, Фелингер 1973 – Устинов В.А., Фелингер А.Ф. Историко-социальные исследования, ЭВМ и математика. М.: Наука, 1973.

Филиппов 2006 – Филиппов В.Р. Теория этноса Л. Гумилева // Этнопанорама. 2006. № 3–4. С. 36–44.

Филиппов 2010 – Филиппов В.Р. Советская теория этноса. М.: Институт Африки РАН, 2010.

Чуваши 1988 – Чуваши. Современные этнокультурные процессы. М.: Наука, 1988.

Л.В. Остапенко

Междисциплинарный подход к изучению социальной структуры народов в отечественной этнологии*

Исследование социальной структуры народов, представляющей собой важнейший индикатор уровня их экономического, социального и культурного развития – одна из центральных тем в предметной области этносоциологии. Анализ сходства и различий в социальном составе контактирующих этносов позволяет выйти на выяснение причин мира, согласия и межэтнических конфликтов, на решение ряда этнодемографических проблем, в том числе связанных с миграционным поведением, экономических вопросов, в частности, касающихся характеристики трудовых ресурсов и межэтнической трудовой кооперации и т. п. Особую значимость названная программатика приобретает в странах, отличающихся полиэтничностью, многокультурностью, к которым относился Советский Союз, а сегодня – Россия.

Пионерами, начавшими исследование данной проблемы в советский период, следует назвать, прежде всего, таких крупных специалистов, как Ю.В. Арутюнян и О.И. Шкаратан – сотрудников Института этнографии АН СССР, – которые, занимаясь изучением социальной структуры советского общества, попытались в своих исследованиях совместить социально-дифференцированные поля с этническими, сделать этнические группы объектом изучения социальной стратификации.

Особенностью подхода этносоциологов к анализу социальной структуры было рассмотрение ее через призму этнической культуры, с учетом народных традиций, специфики исторического развития и т. п. В период 1960–1970-х гг. прошлого века, когда происходило становление отечественной этносоциологии, разработка теоретико-методологических вопросов социальной структуры народов сталкивалась с серьезными трудностями, в том числе, наряду с идеологическими табу, связанными с тем, что отечественным ученым был весьма затруднен доступ к исследованиям зарубежных авторов, которые уже довольно далеко продвинулись в этом направлении. Западные теории считались буржуазными, не пригодными для объяснения явлений и процессов советской действительности.

До развертывания в конце 1960-х годов конкретно-социологических исследований в отечественной науке господствовал социально-классовый подход. Социальный состав населения раскрывался главным образом на уровне основных общественных групп – рабочего класса, колхозного крестьянства и служащих. В 1960-е годы был поставлен вопрос о недостаточности характеристики социальной структуры населения классовым составом. Опираясь на зарубежный опыт (в той мере, как это было возможно в то время), отечественные социологи разработали основные критерии внутриклассовой стратификации населения. В качестве таковых выступили содержание и характер трудовой деятельности человека и связанные с ними характеристики – квалификация, заработок, образование, участие в управлении.

Для изучения социальной структуры этнических общностей такой новый подход, включающий анализ изменений, как в классовом, так и во внутриклассовом составе, имел особое значение. Благодаря ему удалось показать, что во многих случаях в этнических группах с примерно

* Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 10-01-00105.

сходным классовым составом существуют весьма серьезные внутриклассовые различия. Это, в свою очередь, провоцировало сохранение дистанции и во всем социально-культурном облике этих этнических общностей, которую иначе трудно было бы объяснить.

С самого начала деятельности сектора конкретно-социологических исследований Института этнографии АН СССР, в стенах которого и зародилась этносоциология, практически ни одно проведенное им крупное исследование не обходилось без анализа вопросов социальной структуры. В одной из первых коллективных монографий «Социальное и национальное. Опыт этносоциологических исследований» (М., 1972) первая глава посвящалась вопросам социально-этнической структуры населения Татарской АССР. Одну из своих последних книг «Постсоветские нации» (М., 1999) Ю.В. Арутюнян также начал с главы «Социальная структура наций».

Помимо родоначальников данного направления Ю.В. Арутюняна и О.И. Шкаратана проблемы социальной структуры народов интересовали и многих других исследователей из разных регионов Союза. В русле названной тематики, помимо сотрудников упомянутого Института, в том числе Л.В. Остапенко, А.А. Сусоколова, В.С. Кондратьева, успешно работали и работают ученые Центра этносоциологии при Институте социологии, возглавляемого Л.М. Дробижевой, Института социально-политических исследований, Института народнохозяйственного прогнозирования и ряда других московских институтов, а также отдельные специалисты, в том числе А.Н. Белокопыт (Ставрополье), В.И. Бойко (Новосибирск), Р.М. Валиахметов, Р.Р. Галямов (Башкортостан), В.И. Ильин (Сыктывкар), Т.Р. Калимуллин (Беларусь), Ю.Ю. Кахк (Эстония), Е.И. Клементьев (Карелия), А.В. Кудрин (Пермь), Р.А. Кузьмина (Якутия), И.И. Подойницына (Якутия), В.А. Тураев (Владивосток), К. Халлик (Эстония), Л.А. Шатрова (Татария), М.М. Юсупов (Чеченская Республика), и др.

Заслугой этносоциологов Института этнографии АН СССР стало, наряду с теоретическими разработками, создание огромной эмпирической базы для работы по названной проблематике. Благодаря возросшим к началу 1970-х гг. возможностям (как материальным, так и организационным), проведению крупномасштабных этносоциологических опросов населения по репрезентативной выборке, появилась обширная информация о характере занятости представителей разных этнических общностей, живущих в различных регионах Союза, их социальной мобильности, развитии трудовой карьеры, профессиональных предпочтениях и ориентациях, самооценках социально-экономических позиций.

Следует отметить, что в советское время развитие этносоциологии в той или иной мере поощрялось партийными и государственными органами, а итоги этносоциологических исследований были весьма востребованы ими, и несколько раз в год сотрудники Института этнографии были обязаны подавать в «вышестоящие» органы специальные докладные записки по тем или иным насущным проблемам. Во время проведения этносоциологических экспедиций работники местных советских и партийных аппаратов обычно курировали работу приезжавших из Москвы научных сотрудников, стараясь оказывать им поддержку.

Без ведома партийно-советского руководства невозможно было провести и опросы экспертов, также дававшие необходимую информацию по вопросам социальной структуры этносов, осуществить сбор документации отделов кадров различных предприятий и организаций с целью выяснения социально-профессионального и этнического состава работников, их трудового пути, карьерного роста и т. п.

Помимо названных источников важнейшее значение в изучении социальной

структуры народов принадлежит материалам переписей населения. В 1960–1970-е гг. сведения о занятиях советских граждан с учетом этнического фактора являлись закрытой информацией, на них стоял гриф «для служебного пользования». Тем не менее, этносоциологам удавалось получать такие материалы, хотя публиковать сделанные на их основе выводы было довольно сложно. В настоящее время доступность данного источника расширилась (при наличии достаточных материальных средств), однако его достоверность стала гораздо проблематичнее из-за того, что далеко не все респонденты сообщали верные сведения о характере своих занятий, особенно предприниматели.

В сельской местности информацию о национальности человека, его занятии и образовании можно было почерпнуть из похозяйственных книг, в которых обычно фиксируется весь трудовой путь местных жителей.

Примерно до конца 1990-х гг. весьма информативным источником по названной проблеме выступали материалы высших и средних специальных учебных заведений о национальном составе студентов и абитуриентов. Эти данные позволяли выяснить механизмы формирования кадров работников интеллектуального труда в разных этнических группах, выяснить наличие или отсутствие элементов этнического неравенства при приеме в вузы и техникумы, определить профессионально-отраслевые предпочтения молодежи той или иной этнической принадлежности, очертить перспективы развития отрядов «национальной» интеллигенции. К сожалению, в дальнейшем графа «национальность» была изъята из заполняемого будущими студентами бланка.

Методы интервью и включенного наблюдения широко использовались этносоциологами при изучении спроса и предложения рабочей силы в бюро по трудоустройству и информации населения. Фиксировались национальность, профессия, квалификации обратившихся в бюро граждан, причины их ухода с прежней работы, претензии к новому месту занятости, что давало разнообразный материал по вопросам перемещения трудовых ресурсов с учетом этнического фактора, о процессах социальной мобильности и равенстве ее шансов у представителей разных этнических групп, мотивации труда и т. п.

Можно было бы назвать и немало других источников прямо или косвенно касающихся вопросов социальной структуры народов, например, материалы СМИ, сборники «Кто есть кто?», различные статистические справочники и ежегодники, данные о национальном составе различных профессиональных союзов, например, Союза писателей (в разных республиках), предпринимательских структур и т. п.

Использование широкого круга источников давало возможность этносоциологам ставить и решать разнообразные, в том числе достаточно сложные и актуальные проблемы, связанные с особенностями социальной структуры этнических общностей в разные периоды.

В первые годы существования этносоциологии одним из основных аспектов изучения социально-профессиональной структуры этнических общностей выступали вопросы развития и сближения этнических групп, что соответствовало главной идеологической доктрине того времени. В первом крупном научно-исследовательском проекте, разрабатываемом сектором конкретно-социологических исследований Института этнографии АН СССР под руководством Ю.В. Арутюняна «Оптимизация социально-культурных условий развития и сближения наций в СССР» особое внимание уделялось выявлению черт сходства в социальной структуре изучаемых этнических общностей. В то же время этносоциологи не могли обойти своим вниманием и те значительные различия, которые суще-

ствовали в социально – профессиональном и отраслевом составе этнических групп, в том числе живущих в одной республике, в одном городе.

Первым крупным полигоном, где проводились этносоциологические исследования, позволившие сделать подобные наблюдения, стала Татария. По итогам этого исследования была подготовлена коллективная монография «Социальное и национальное, опыт этносоциологических исследований по материалам Татарской АССР» (ответственный редактор Ю.В. Арутюнян; М., 1973 г.), перечитывая которую нетрудно осознавать, как тяжело приходилось исследователям, изучающим современность, интерпретировать собранные эмпирические, в том числе полевые материалы. Им необходимо было, с одной стороны, «вписаться» в общую идеологическую концепцию, иначе книга не будет опубликована (в отличие от докладных записок, где не требовалось особой «завуалированности» действительности), с другой, – донести до читателей достоверные данные о реальных процессах и явлениях тогдашней жизни.

В качестве примера подобной гибкости имеет смысл привести небольшую выдержку из текста главы этой книги «Социальная структура и социальные перемещения городского населения», подготовленной О.И. Шкаратаном. Для того, чтобы показать сходство социально-профессиональной структуры татар и русских, автор разбивает весь городской массив респондентов на 8 возрастных групп, в каждой из которых дается деление на занятых умственным и физическим трудом. В 7 группах из 8 доля работников умственного труда у русских была в 1,5–2 раза выше, чем у татар. Только в группе 23–27 лет показатели оказались примерно равными. Все эти данные приведены в таблице и внимательный читатель, конечно, понимает их смысл. В тексте же автор пишет: «Для простоты картины ограничимся сравнением двух возрастных групп: 23–27 лет, как представителей молодежной группы, профессионально уже определившейся, и от 50 до 54 лет, отражающих ситуацию предвоенного периода…» (Социальное 1973: 50). Далее, естественно, делается вывод о том, что идет процесс сближения социально-профессионального состава татар и русских за счет его выравнивания в молодежных группах.

В заключение книги уже Ю.В. Арутюнян отмечает, что «в условиях социально-политической общности, высоких темпов развития экономики и культуры пока еще сохраняются различия в социально-профессиональной структуре татар и русских, проживающих в Татарской АССР. Но различия эти определяются не национальной спецификой, а, главным образом, неодинаковыми пропорциями тех и других в составе городского и сельского населения республики». Как видно, этот вывод не совсем ложился в контекст книги, где фиксировались этнические различия между горожанами (Социальное 1973: 313).

В последующих работах при интерпретации полученных данных авторы чувствовали себя уже более уверенно. В коллективной монографии «Опыт этносоциологического исследования образа жизни (по материалам Молдавской ССР)» (автор программы и руководитель исследования Ю.В. Арутюнян; М., 1980), было показано, например, что даже в составе только городского населения среди молдаван было примерно на треть меньше работников умственного труда, а физического, соответственно, больше, чем среди местных русских. Облик самих рабочих молдаван, украинцев, русских, гагаузов, болгар – основных по численности национальностей Молдавии – отличался еще заметнее, так как среди рабочих молдаван и гагаузов было меньше квалифицированных кадров и за счет этого ниже уровень образования и приобщения к культуре (Опыт 1980: 181).

Отмечая подобные диспропорции, ученые старались показать динамику развития социально-профессионального и образовательного состава населения, чтобы выйти на тенденции сближения национальных общностей. К этому времени стало возможным сопоставление материалов Всесоюзных переписей населения 1959, 1970, 1979 гг. И это сравнение подтверждало тот факт, что названный процесс, хотя и не так быстро и всесторонне, как хотелось бы, все же происходил. В основном за счет того, что рост квалифицированных кадров рабочих и специалистов у отстававших в прошлом народов имел несколько более быстрые темпы. Тем не менее, процесс социально-культурного развития в той или иной мере охватывал всех народы Союза, в том числе и сравнительно развитые, поэтому, несмотря на немалые усилия партийно-правительственных органов, дистанция в социально-культурном облике этнических общностей сохранялась.

В очередной коллективной монографии (1986 г.) Ю.В. Арутюнян писал: «Материалы книги убедительно говорят о четком доминировании уже на данном этапе сходных черт советских наций во многих “базовых” сферах социальной жизни… Вместе с тем очевидно, что, несмотря на довольно заметные сдвиги в неуклонном выравнивании социальной структуры наций, становление их социальной однородности еще не завершено. Процесс преодоления социально -профессиональных различий не быстротечен и не однозначен. Эти различия обозначены не только соотношением социальных групп, отличных друг от друга по качеству труда, роду деятельности и функциям, но и их прикладными социальными чертами, как бы сопутствующими основным, “трудовым” социально-профессиональным характеристикам» (Социально-культурный 1986:420). Далее следует еще более емкая и важная, на наш взгляд, парадигма, имеющая прогностический характер: «Между тем достижение полного фактического равенства в обществе – величайший результат в процессе очеловечивания человека – превосходит по своему значению многие победы человеческого разума в отношениях с природой» (Социально-культурный 1986: 67–68).

Этот вывод, сделанный 20 лет назад, очень четко укладывается в канву нынешней жизни, богатой, с одной стороны, значительными техническими достижениями, с другой, – обостряющимися социальными конфликтами на фоне социально-экономического неравенства этнических общностей.

Материалы последних переписей населения наглядно показывают, что различия в социально-профессиональном составе этнических групп в ряде случаев просматриваются достаточно ярко. В качестве примера вновь приведем Молдавию (табл. 1), где, согласно итогам переписи населения 2004 г. заметно выделяются на общем фоне своими более высокими социальными позициями не только русские, но и румыны, а молдаване и гагаузы, как и раньше, сосредоточены преимущественно в сфере физического труда.

Подобная ситуация была свойственно далеко не только одной Молдавии. По данным Всероссийской переписи населения 2002 г., например, в Москве руководители различного уровня и отраслевой принадлежности составляли среди русских и украинцев примерно по 14%, среди татар около 13%, а среди евреев – более 26%. Занимающая противоположную позицию на социальной лестнице группа неквалифицированных рабочих была равна у русских и украинцев 6–7%, у евреев – 2,5%, а у татар – 11%.

Можно сказать, что задача выявления сходства и различий в социально-профессиональной структуре народов ныне уже не Советского Союза, а постсоветского пространства, заявленная на заре становления

Таблица 1

Социально-профессиональный состав населения Республики Молдова (по материалам переписи 2004 г.,%)

Социально-профессиональные группы	Всего	Национальности					
		Молдаване	Румыны	Украинцы	Русские	Гагаузы	Болгары
Руководители	6,7	5,8	13,3	9,4	11,9	7,1	8,7
Специалисты высшего уровня квалификации	11,4	10,0	35,3	12,4	19,4	7,3	11,6
Специалисты среднего уровня квалификации	9,5	8,9	11,3	11,1	12,5	9,7	11,9
Служащие	13,3	12,5	10,1	15,4	19,6	14,8	14,3
Квалифицированные рабочие	43,9	47,2	22,2	37,7	25,1	46,4	38,5
Неквалифицированные рабочие	13,3	13,9	0,5	12,6	9,5	13,7	13,9
Не указавшие	1,9	1,7	7,3	1,4	2,0	1,0	1,1
Итого	100	100	100	100	100	100	100

отечественной этносоциологии, остается актуальной и в настоящее время и, видимо, в ближайшей перспективе. По словам же Л.М. Дробижевой, «вокруг принципов и границ социальной дифференциации идут научные и политические дискуссии. Применительно к национальностям они приобретают дополнительную остроту. Если границы между социальными слоями оказываются особенно подвижными и неустойчивыми в переходном обществе, то этнические границы в этот период, напротив, становятся более рельефными, обращающими на себя внимание» (Социальное 2002: 15).

Правда, в одной из последних своих работ «Москвичи глазами этносоциолога» Ю.В. Арутюнян пишет уже о том, что «… динамичные этнокультурные процессы в глобальном плане пока только наметились, хотя и по первичным их симптомам в какой-то мере уже можно судить о посылках межнациональной идентификации и реальности преодоления этносоциальных дистанций». Но это характерно пока лишь для некоторых групп москвичей, преимущественно старожилов (Арутюнян 2006: 8).

Следует отметить, что пореформенное время внесло принципиальные перемены в социальную структуру. Среди критериев социальной стратификации, в том числе и этнических общностей, на первый план выдвинулся экономический – показатель материальной обеспеченности людей, а появление частной собственности на средства производства породило и такой индикатор как владение собственностью. Таким образом, в этносоциологических исследованиях последних лет стала преобладать тематика, связанная с вопросами социально-экономического неравенства этнических общностей, этническими аспектами формирования нового социального слоя предпринимателей, социально-экономическими вопросами адаптации этнических общностей к постсоветским реалиям и т. п.

Вполне понятно, что одним из ключевых вопросов при анализе различий в социаль-

ной структуре этносов, выступает вопрос о причинах этого явления, факторах, сдерживающих процесс сближения социально-профессионального состава этнических общностей. В первых этносоциологических трудах основной акцент делался на таких факторах, сохраняющих свою значимость и в настоящее время, как особенности расселения этнических общностей в городе и селе, своеобразие их исторического развития. В то время говорить, например, о специфике этнического менталитета или о нередко губительно действующих мерах центрального руководства страны было нельзя.

В дальнейшем все большее внимание стало уделяться различиям в степени вовлеченности народов в разные отрасли хозяйства, прежде всего, в промышленность. В начале 1970-х гг. в отечественной науке сформировалось направление, названное этноэкономикой (НТР 1987: 9), исследующее особенности трудовой занятости народов, в том числе их трудовых традиций, профессиональных ориентаций, во многом объясняющих различия в отраслевом составе этнических общностей и их социально-профессиональной структуре.

Исследование вопросов хозяйственной деятельности этносов всегда находилось в поле зрения этнографической науки. Отечественными учеными были достигнуты в этом отношении значительные результаты, особенно в связи с задачами развития малых народов Севера. Однако, имеющиеся изыскания во многих случаях носили ретроспективный характер, не решая проблем, связанных с научно-техническими преобразованиями, начавшимися в нашей стране в 1980-е гг., и участием в них людей разной этнической принадлежности.

Между тем, игнорирование своеобразия трудового опыта, накопленного народами за многие поколения, сложившихся трудовых традиций становилось тормозом в социально-экономическом развитии страны. Без учета особенностей этнической культуры экономисты и социологи не могли выработать программу по активному вовлечению представителей ряда этнических общностей к труду в условиях перехода к новым, более современным технологиям, к новым видам трудовой деятельности.

Одним из первых, кто обратился к исследованию данных вопросов, был директор Института этнографии АН СССР, академик Ю.В. Бромлей, работы которого, изданные в 1983 г., – «Совершенствование национальных отношений в СССР», «Национальные трудовые традиции – важный фактор интенсификации производства» (в соавторстве) и «Национальные традиции в социалистической экономики» (в соавторстве) – заложили теоретическую основу в изучении этнических аспектов трудовой занятости советских людей.

У истоков этого направления стояли такие известные ученые, как Ю.В. Арутюнян, Э.А. Баграмов, М.Н. Губогло, Л.М. Дробижева, О.И. Шкаратан. Разработка этнических аспектов трудовой занятости нашла продуктивное продолжение в трудах В.В. Коротеевой, Л.В. Остапенко, Л.С. Перепелкина, А.А. Сусоколова и других.

Анализ итогов этносоциологических исследований по проекту, возглавляемому Ю.В. Арутюняном, «Оптимизация условий развития и сближения наций в СССР», проведенных в ряде союзных и российских республик позволил прийти к важным выводам об устойчивом сохранении традиций в трудовой деятельности многих народов Союза, о трудовых ориентациях молодежи разной этнической принадлежности, о межэтнической трудовой кооперации, о ее позитивных и негативных сторонах. На основе этих выводов, как уже отмечалось, разрабатывались докладные записки и практические рекомендации в директивные органы.

В частности, было обращено внимание на сохраняющиеся этнические различия в профессиональных предпочтениях лю-

дей. Русские, например, в большей мере сосредотачивались в производственных отраслях, преимущественно в тяжелой промышленности, среди ИТР и руководителей производства, титульные народы – среди массовой и художественно-творческой и сельскохозяйственной интеллигенции, в легкой и пищевой промышленности.

Приверженность к определенным видам трудовой деятельности продолжает оказывать воздействие на социально-профессиональный состав населения и в настоящее время. Например, несмотря на многочисленные и разнообразные меры по вовлечению якутов в сферу тяжелой индустрии, в квалифицированные рабочие профессии, в городах Якутии до последних лет к станку встают, как и раньше, в основном местные русские и украинцы.

О таком факторе, влияющем на особенности социально-профессионального состава народов, как государственное регулирование, этносоциологи говорили уже давно. Пытаясь объективно оценить последствия национально-кадровой политики государства, они все же были вынуждены делать акцент на ее позитивных сторонах, которые, несомненно, были. Однако, о многом приходилось умалчивать. Между тем, центральные власти Союза практически без каких-либо экспертиз постоянно вмешивались в сферу труда советских граждан. Одним из последних (в советский период) подобных масштабных мероприятий можно назвать массовые перемещения трудовых ресурсов из трудообеспеченных в трудонедостаточные регионы, в том числе, например, туркмен в Амурскую область, из которой они бежали на свою теплую родину в первую же зиму. В середине 1980-х гг. на эту тему было написано немало статей и докладных записок, в том числе и этносоциологами (например, А.А. Сусоколовым), которые, досконально изучив ситуацию на местах, указывали как на позитивные, так и на негативные стороны данного процесса. В конце концов, этот эксперимент был прекращен.

Наиболее роковую роль сыграла деятельность союзных властей по регулированию кадрового состава населения страны в первые десятилетия Советской власти, когда форсированными темпами готовились работники управления и массовой интеллигенции из представителей ряда народов, считавшихся отстающими, а русские из центральных областей Союза переселялись в, так называемые, национальные окраины для развития там индустриального производства.

Последствия этой политики этносоциологи фиксируют до сих пор. В коллективной монографии «Русские» на основании анализа материалов Всесоюзных переписей населения за 1959, 1979, 1989 гг. по 15 союзным республикам автором данной статьи был сделан вывод о том, что между относительной численностью интеллигенции у титульного народа и местных русских сложилась обратнопропорциональная зависимость, что участие русских в тех иных отраслях во многом определялось степенью включенности в них лиц титульной национальности и т. п. (Русские 1992: 99).

Сложившаяся исторически и воспроизводимая в дальнейшем концентрация русских, живущих в иноэтнической среде, в индустриальных отраслях, с одной стороны, обусловливала достаточно хорошие условия их труда и быта – работа на крупных индустриальных предприятиях была более автоматизированной, более высокооплачиваемой, такие предприятии имели ведомственные жилые дома, санатории, детские сады и т. п.

С другой стороны, серьезный перекос в сторону производственной интеллигенции лишал русских возможности достаточно широко пользоваться услугами врачей, учителей, юристов своей национальной принадлежности. В начальный период распада Союза и суверенизации бывших союзных

республик русские остались практически без политических и идеологических лидеров из среды гуманитарной интеллигенции, которые могли бы научно и законодательно обоснованно защищать их интересы. В годы, когда во многих новых суверенных странах русские были объявлены оккупантами, которым предлагалось немедленно покинуть ставшие им родными республики, этносоциологи пытались показать тот вклад, который внесли русские в развитие этих республик, объяснить, что моноэтничное республиканское руководство вовсе не обязательно должно привести к процветанию той нации, представители которой в нем доминируют. Было доказано, что именно русские наиболее пострадали от начавшейся экономической перестройки и промышленного кризиса, так как в первую очередь «развалились» те отрасли хозяйства, где они были заняты сравнительно широко.

В постсоветский период различия в отраслевом составе контактирующих этнических групп приобрели особое значение, так как возросла разница в оплате труда работников отдельных отраслевых групп. Как показали последние исследования сотрудников ЦИМО Института этнологии и антропологии РАН, самооценки людей своих социально – экономических позиций в большей мере зависели от занятости их в той или иной отрасли экономики, нежели от профессиональной принадлежности и уровня образования (Постсоветская 2005: 67).

Важнейшим фактором, регулирующим социально-профессиональный состав этнических общностей, является миграционный. И.А. Субботина, в течение многих лет занимающаяся вопросами демографии в этническом аспекте, постоянно подчеркивала связь миграционных и социальных процессов. Влияние миграций на социальную структуру этносов стало особенно сильным в постсоветский период, когда открылись границы, а различия в уровне жизни населения разных регионов увеличились в разы. На базе изучения гагаузов, живущих в Молдавии и отличающихся в настоящее время весьма высоким уровнем трудовой миграции, И.А. Субботина сделала вывод о том, что высокий уровень миграции гагаузов, особенно людей в трудоспособном возрасте, молодежи создает серьезную угрозу «снижения демографического, социального и интеллектуального потенциала гагаузского общества (Субботина 2006: 86).

В последние годы в центре внимания этносоциологов Института этнологии и Института социологии РАН были вопросы адаптации в Москве приезжих из других бывших союзных республик, в том числе азербайджанцев, армян, грузин. В числе основных выводов этих исследований было заключение о снижении социального статуса этнических мигрантов после переезда в Москву по сравнению с прошлым местом жительства при одновременном росте их материального уровня.

Анализируя процессы развития социально-профессионального состава этнических общностей, этносоциологи не могли не выйти на вопросы межэтнического взаимодействия. В зарубежной социологии существовало две группы теорий, которые прямо противоположным образом объясняли экономические причины этнических конфликтов. Первая из них – теория этнической сегрегации, а также «расколотого» рынка труда. Вторая – многообразные теории этнической конкуренции.

В советской этносоциологии присутствовали обе позиции по поводу сходства-различия социальной структуры народов. Первая – о выравнивании социально-культурного уровня народов как механизме улучшения межэтнических отношений – едва ли не аксиоматически была близка к официальной идеологии и не требовала доказательства. Вторая позиция, согласно которой сходство не всегда означает солидарность, а, наоборот, может усилить соперничество, звучала непривычно, поэто-

му этносоциологи формулировали ее очень осторожно, но все же достаточно определенно (Арутюнян 1972: 7).

Особое внимание исследователи обращали на сферу интеллектуального труда. В условиях, когда темпы подготовки специалистов опережали рост потребностей в таких кадрах, обострялась конкурентная ситуация на трудовом рынке за социально продвинутые места, в том числе имеющая этнический характер. Представители, так называемых, «догоняющих» этносов требовали свое место под солнцем, а старые кадры не испытывали особого желания «подвинуться».

В годы давления идеологии КПСС подобные выводы считались крамольными, тем не менее, в той или иной форме этносоциологи пытались донести их до общественности и предложить свои варианты сглаживания остроты ситуации (Социально-культурный 1986: 83).

В зарубежной социологии не было недостатка в попытках установить, что же именно, этническая сегрегация или этническая конкуренция в большей степени связано с национализмом. В зависимости от того, как измерялась социальная дифференциация, что подразумевалось под этничностью и национальной мобилизацией, результаты получались прямо противоположными. В работах отечественных этносоциологов на базе отечественных материалов было показано, что и при этнической изоляции, и при этническом соперничестве вероятны конфликты и мобилизация для отстаивания этнических интересов.

В книге «Экономические интересы и национализм» В.В. Коротеева, проводившая исследования в Татарстане и Якутии, писала, например, что, «если конкуренция на рынке труда происходит на групповом уровне и индивидуальные жизненные шансы зависят не столько от профессиональных качеств, сколько от принадлежности к той или иной этнической категории, то эта ситуация чревата межэтническим конфликтом» (Коротеева 2000: 191). В то же время самих по себе структурных условий (занятости разных национальностей в одних и тех же отраслях) недостаточно для развития конфликта. Изоляция этнических общностей в отдельных профессиональных нишах, на первый взгляд, устраняет саму возможность межэтнических противоречий из-за отсутствия прямого контакта между ними. Но подобная ситуация может быть следствием затрудненного доступа одной из групп в сферу деятельности, где преимущественно занята другая группа, что нередко вызывает соответствующее чувство обиды и возмущения. Примером этому может служить положение русского населения в ряде республик бывшего Союза после их суверенизации, характеризующееся почти полным отстранением русских от сферы управления.

Особенности социальной стратификации этносов занимают достаточно важное место в научной литературе последних лет, посвященной вопросам конфликтологии и социально-экономического неравенства, разрабатываемым уже не только этносоциологами, но и политологами, историками, социологами и др.

В связи с данной проблемой встает еще один вопрос, рассматриваемый в этносоциологии с начала ее формирования, интерпретация которого в советские времена расходилась с официальной идеологией. Это вопрос о равенстве шансов социальной мобильности. В СССР, как известно, не должно было существовать ни социальных, ни демографических, ни национальных различий в условиях социального роста людей. Однако, этносоциологические исследования показали, что они все же были и остаются сейчас в рамках новой социально-экономической системы.

В первых этносоциологических работах основной акцент был сделан на проблеме перехода в группу интеллигенции, в те го-

ды возглавлявшую социальную структуру советского общества. Было доказано, что этническое неравенство формируется в основном на уровне высших учебных заведений, куда чаще имеют доступ горожане, дети из семей интеллигенции, а в союзных республиках – представители титульного народа. Подобная ситуация наблюдалась, например, в Грузии, где в течение нескольких лет сотрудники сектора конкретно-социологических исследований Института этнологии и антропологии РАН изучали этнический состав студентов и абитуриентов ведущих вузов республики. На основании собранных материалов был подготовлен ряд докладных записок в директивные органы, в которых, в частности, отмечалось, что процесс формирование кадров будущей интеллигенции из среды осетин и особенно абхазов шел с явным ущемлением их интересов. Хотелось бы думать, что открытие университета в Сухуми (Абхазия) стало определенным итогом и труда московских этносоциологов.

После распада Советского Союза новая постсоветская реальность породила много новых проблем и потребовала новых подходов к их решению. Наиболее актуальными вопросами социальной мобильности стали проблемы равенства шансов людей разной этнической принадлежности повысить свой материальный уровень, занять руководящую должность или стать предпринимателем. Согласно итогам массовых опросов, как в российских республиках, так и в странах нового зарубежья, интересы национальных меньшинств в этом отношении в той или иной мере бывают ущемлены. И все же целесообразно сказать, что, несмотря на все сложности современного периода, изучение этнических аспектов социальной стратификации населения постсоветского пространства и связанных с ними вопросов успешно продолжается.

Библиография

Арутюнян 1972 – Арутюнян Ю.В. Социально-культурные аспекты развития и сближения наций в СССР. Программа, методика и перспективы исследования // СЭ. 1972. № 3.

Арутюнян 2006 – Арутюнян Ю.В. Москвичи глазами этносоциолога. М., 2006.

Коротеева 2000 – Коротеева В.В. Экономические интересы и национализм. М., 2000.

НТР 1987 – НТР и национальные процессы. М., 1987.

Опыт 1980 – Опыт этносоциологического исследования образа жизни (по материалам Молдавской ССР). М. 1980.

Постсоветская 2005 – Постсоветская Хакасия: трансформационные процессы и этнорегиональные модели адаптации. Этносоциологические очерки. М., 2005.

Русские 1992 – Русские. Этносоциологические очерки. М., 1992.

Социальное 1973 – Социальное и национальное. Опыт этносоциологического исследования. М., 1973.

Социальное 2002 – Социальное неравенство этнических групп: представления и реальность. М., 2002.

Социально-культурный 1986 – Социально-культурный облик советских наций. (По материалам этносоциологического исследования). М., 1986.

Субботина 2006 – Субботина И.А. Новые миграционные стратегии и трансформация расселения гагаузов // Гастарбайтерство. Факторы выталкивания и притяжения / Отв. ред. М.Н. Губогло. М., 2006.

М.В. Рабжаева

Изучение феноменов пола в отечественной антропологии

Если говорить о путях развития антропологии, то следует отметить, что с конца XIX в. и в течение всего XX в. антропология как самостоятельный академический проект, изучающий фундаментальные проблемы существования человека в природной и искусственной среде, активно развивалась в Западной Европе и США, то есть в тех странах и регионах, которые в XIX в. и вплоть до середины XX века имели колонии, а значит, имели потребность в осмыслении опыта взаимодействия европейских и неевропейских народов. Вообще история становления антропологии как самостоятельной области научного познания связана с процессами рефлексии и изучения европейскими исследователями неевропейских обществ в эпоху «промышленного» колониализма, когда потребовалось «научное» объяснение существования иных обществ, с иной социальной организацией, иными ценностями и приоритетами. Институализация антропологии как научной дисциплины связана с «научной» реализацией идей эволюционизма, прогрессизма и европоцентризма на историческом и социальном материале колониальных практик европейцев. Российская антропология берет свое начало от первых исследований и описаний новых земель, осваиваемых русскими, и последующей рефлексией этой информации в узких научных кругах, имевших место в XVIII – начале XIX вв. Развитие и накопление знаний в российской антропологии происходило по двум основным направлениям: с одной стороны, изучались и фиксировались, с помощью антропометрии, особенности физического типа неевропейского населения Российской империи, а с другой, – происходило постепенное развитие теоретических представлений об эволюции человека и антропогенезе.

История становления отечественных антропологических исследований не была непосредственно связана с практиками и нуждами государственного управления неславянскими (инородческими) народами имперской России. Дело в том, что российская государственность складывалась и институциализировалась в ходе непрерывной колонизации: «Русская история есть в сущности история непрерывно колонизующей страны» (Любавский 1996: 73). Практики имперского управления колонизуемыми территориями анализировались и прогнозировались имперскими политиками и чиновниками, а не исследователями (Семенков, Рабжаева 1998: 163–168). Как указывает В.В. Бочаров, в России «государственная практика, связанная с организацией инородческими народами, не стимулировала возникновения в этнографии новых теоретических подходов к осмыслению материала» (Бочаров 2000).

Собственно история антропологии как отдельного научного проекта в России, как и в других европейских странах, начинается в середине XIX века (Левин 1960), когда в популярных журналах «Современник» и «Отечественные записки» стали публиковаться первые работы по антропологии. В значительной степени институализация антропологии связана с учреждением в 1863 году при Московском университете «Общества любителей естествознания». В рамках деятельности этого общества в 1864 г. был создан антропологический отдел, которой и провел знаменитые Этнографическую (1867 г.) и Антропологическую (1879 г.) – выставки

(Найт 2001: 111–131). Эти грандиозные проекты не только привлекли внимание широкой публики и правительства, но и способствовали становлению антропологии как отдельной и самостоятельной дисциплины. Первый в истории России курс лекций по антропологии читался Д.Н. Анучиным с 1880 г. по 1884 г. студентам московского университета. А в 1907 году при кафедре географии и этнографии на физико-математическом факультете Московского университета впервые в России была открыта специальность «антропология» (Гладкова 1993: 10).

Российская антропология изначально развивалась в рамках традиционной для середины XIX века эволюционистской парадигмы и была ориентирована прежде всего на изучение вопросов о происхождении человека и человеческих сообществ, а также на изучение и описание физически фиксируемых различий между неевропейскими и европейскими народами. Так, в Антропологический выставке 1879 г. (первой в истории России) были представлены следующие разделы: краниологический, геолого-палеонтологический, медико-антропологический, этнографии народов России, отдел масок и бюстов (Гладкова 1959: 12). Собственно в этом разделении материалов и экспонатов антропологической выставки зафиксированы разделы новой, институализировавшейся в XIX веке науки антропологии.

Эти направления были актуальны в отечественной антропологии в течение всего XX века. Речь идет о реализации следующих научных направлений: антропометрии, эволюционной антропологии (изучает проблемы антропогенеза – происхождения человека как вида) и популяционной антропологии, изучающей проблемы антропогенеза, расогенеза, и этногенеза. В отечественной научной традиции исследования в этих направлениях были сосредоточены на вопросах медицинской антропологии, приматологии, этнографии и фольклористике, палеоантропологии, краниологии, соматологии, одонтологии, дерматоглифике и т. д. Другими словами, отечественных антропологов в наибольшей степени интересовали вопросы генезиса человеческих обществ, а не анализ его социальных структур и модусов коммуникаций. Так В.П. Алексеев указывает, что «…изучение антропологического состава России и СССР постоянно имело этногенетическую направленность, проводилось в теснейшей связи с археологическими и историко-этнологическими исследованиями» (Алексеев 1987: 17). Таким образом, научная традиция в отечественной антропологии предполагала изучение истории возникновения и развития человеческих культур, при этом отечественные исследователи фиксировали свой взгляд только на культурах конкретных народов (существующих, исчезающих и исчезнувших), в то время, как реальные локальные культуры и субкультуры, вплоть до последнего времени, оставались за рамками научного антропологического анализа. Научный анализ изучаемых антропологом «миров» детерминирован идеологическими проекциями и конструктами общества, породившего данную науку.

Как нельзя лучше данный тезис иллюстрирует ситуацию с изучением гендерных приоритетов, структур и стереотипов. Проблема пола в отечественных антропологических исследованиях не проблематизировалась, хотя и изучалась. Более того, отечественная этнография и фольклористика традиционно изучали и изучают половозрастные стратификации и инициации, брачные и семейные обряды, выделяя и описывая женские и мужские роли и практики, в так называемых «традиционных» обществах и культурах. Такого рода исследования сосредоточены на выявлении, описании и анализе бытовых форм полоролевой стратификации и ее последующей символизации в национальной культуре/ах. Однако,

собранный многообразный и чрезвычайно богатый этнографический материал, интерпретируется в рамках традиционных представлений о «женщинах» и «мужчинах» как представителях противопоставленных дифференцированных миров. В своих аналитических построениях исследователи (этнологи, фольклористы, антропологи) редукционистски использовали аксиоматический метод, когда за аксиому в антропологических исследованиях эксплицитно принимали легитимную, в современном исследователю обществе, систему гендерной дихотомии. То есть в антропологических исследованиях, с самого начала существования этой науки, категория пола не осмыслялась и не проблематизировалась ни в антропометрических, ни в этнографических исследованиях, ибо предполагалось «естественное» разделение и существование двух полов в человеческой культуре/ах. Это привело, с одной стороны, к фиксации традиционалистской оппозиции «мужское» – «женское» в социальных и гуманитарных науках, к тому же освященной авторитетом самой науки. С другой стороны, – это не способствовало становлению традиции научной рефлексии сферы социальных отношений полов в изучаемых обществах и культурах (Келли 2002: 23–24.).

Автор данной работы исходит из того, что такой аксиоматический редукционизм в антропологии и этнологии был связан, как ни парадоксально это может звучать, с общей традицией отсутствия рефлексии категории пола/полов в XIX веке, когда происходила институализация антропологии как науки. Речь идет не о философской традиции метафизической онтологизации пола от Платона до Батая, в рамках которой привычно противопоставляются духовное и телесное, и постулируется значимость общепринятых легитимных сексуальных отношений (Зиневич 2002: 75–85.). Речь идет о том факте, что отношения между полами, как и сама категория пола, не становились предметом научного анализа в антропологии вплоть до 70-х гг. XX века и интерпретировались как естественное природное явление, а не социальный феномен. Категория пола в системе отечественных этнографических и антропологических исследований считалась и до сих пор (судя по подавляющему большинству этнографических работ) считается сугубо природным, биологическим феноменом, не требующим специальной категоризации и анализа. Считалось, что полов только два – женский и мужской – и их наличие обеспечивает биологическое воспроизводство человека. С позиций полового диморфизма феномен социальной дифференциации труда по признаку пола объяснялся сугубо с биологических позиций (физиологические особенности женщин ограничивают их сферу деятельности, и именно поэтому во всех культурах труд, обеспечивающий воспроизводство, выполняется женщинами). Такой вполне традиционный, не противоречащий обыденной логике подход к феномену пола в антропологии привел к исследовательскому невниманию и замалчиванию всех не укладывающихся в модель полового диморфизма социальных феноменов пола.

Исследования, посвященные сексуальности, гомосексуальности, трансвестизму и другим, связанным с гендером и сексуальностью феноменами, всегда были маргинальными, находились на периферии исследовательского внимания этнографов и антропологов в отечественной науке. Ситуация изменилась, начиная с 50–70-х гг. XX века, когда для исключения и преодоления биологического детерминизма, выводящего все социокультурные различия полов из биологических факторов, стало использоваться понятие gender. Работы ряда западных антропологов – А. Рич, Г. Рубин, Э. Ликок, М. Розалдо и др., использующих инструментарий и методологию гендерных исследований, позволили по-новому интерпретировать уже описанные исследователями XIX в., XVIII в. и ранее, феномены социального пола.

В отечественной этнографической традиции также существуют исследования, описывающие феномены социального конструирования пола. Однако эти феномены до сих пор не получили должной интерпретации. Так, например, в классической работе В.Г. Богораз-Тана «Чукчи» (Богораз-Тан 1934) описан феномен «шаманов превращенного пола» с указанием стадий и последовательности социального изменения пола шаманами. Это описание дано с пометкой «половые извращения чукотского шаманства» (Богораз-Тан 1934: 130–136). Применение гендерной теории, теории социального конструирования пола позволяет по–разному интерпретировать и развести описанные В.Г. Богораз-Таном случаи. С одной стороны, им описаны случаи институализированного трансвестизма в шаманской культуре чукчей, выражающиеся в символическом гермафродитизме некоторых шаманов. С другой стороны, описанные В.Г. Богораз-Таном случаи изменения пола не шаманами свидетельствуют о гибкости гендерной системы в традиционной культуре чукчей, позволяющей индивидам изменить свой пол (гендер) в случае гендерной дисфории. Индивиды могли менять свой пол (гендер) в ходе пубертата. Фиксация изменения пола происходила путем соответствующей возрастной инициации (соответствующей достигаемому полу). Гибкая гендерная система традиционного чукотского общества позволяла индивидам избежать жесткой гендерной дихотомии, ибо легитимировала «третий пол» в культуре. Богораз-Тан называет их людьми «превращенного пола», указывая, что для обозначения этого феномена у чукчей существовал специальный термин «jьrka-laul-vaьrgьn», который можно перевести как «мягко-человеческое бытие». Богораз-Тан указал, что «мягкий мужчина» – «женоподобен», а «мягкая женщина» – «мужеподобна». Таким образом, даже сам термин «jьrka-laul-vaьrgьn» – «мягко-человеческое бытие» – свидетельствует о достаточной гибкости гендерной системы и о наличии людей «третьего пола» в традиционной чукотской культуре.

Однако, современные антропологические и этнографические справочники сосредоточены на фиксации антропометрических различий изучаемых народов и вопросах этногенеза (Евстигнеев 2002, 2003), а социальные отношения между полами трактуются как естественные и природные феномены, не требующей отдельной самостоятельной категоризации и рефлексии. При этом все случаи, не укладывающиеся в систему гендерной дихотомии и противоречащие легитимной системе сексуальных отношений (гомосексуальность, трансвестизм, и т. д.) находятся на периферии исследовательского внимания этнографов и антропологов. Приведенный выше пример с исследованием В.Г. Богораз-Тана показывает, что в рамках отечественной антропологической традиции происходила маргинализация тем и исследовательских локусов, противоречащих легитимной системе гендерной дихотомии. Преодолеть указанную маргинализацию представляется возможным, используя инструментарий и методологию современной гендерной теории, ибо они не только применимы к традиционным этнографическим и антропологическим источникам, но и позволяют по-новому проанализировать и изучить известные ранее сюжеты и феномены, а также способствуют становлению новой отрасли антропологического знания – гендерной антропологии.

Гендерная антропология – научная дисциплина, выделившаяся из комплекса антропологических дисциплин во второй половине XX века, изучает взаимосвязанный круг проблем: проблемы андроцентризма в современных культурах и проблемы признания человека в культуре и в обществе через привнесение категории пола в научный анализ. Такого рода научный проект

стал возможен благодаря феминистской рефлексии антропологических полевых исследований, и становлению гендерных исследований как самостоятельного научного проекта. Гендерные исследования представляют собой многоаспектное и многоуровневое, принципиально междисциплинарное поле исследований практик социального неравенства полов в обществах. Идеологическим импульсом и обоснованием становления гендерных исследований стала феминистская рефлексия, предполагающая концептуализацию и анализ социальных аспектов половых различий. Такого рода теоретические концепты нацелены на критику и объяснение механизмов и условий социального неравенства женщин и мужчин в обществах.

В принципе, в современном академическом знании в течение второй половины XX века достаточно активно создавались подобные междисциплинарные проекты: Ethnic Studies, Black Studies, Peasant Studies и т. д. Такого рода академические проекты вырастали вокруг академического интереса к актуальной теме, требовавшей ее всестороннего осмысления как отдельного самостоятельного феномена. Перспективы гендерной антропологии и гендерного подхода в антропологии и этнографии, не смотря на все сложности и разночтения, достаточно оптимистичны: такой научный проект не только расширяет поле исследовательских практик (за счет включения прежде маргинальных сюжетов и тем), способствует целостному осмыслению практик гендерного взаимодействия, но и позволяет представить в научном проекте «точки зрения «действующего субъекта» на его языке» (Готлиб 2002: 311), изменить иерархический характер отношений между исследователем и информантом. А такие исследовательские подходы, в целом, изменяют конфигурацию антропологии как научной дисциплины, способствуют детальному познанию и более глубокому пониманию человеческих обществ и контекста человеческих действий.

Библиография

Алексеев 1987 – Алексеев В.П. Антропология в СССР: некоторые итоги и перспективы исследований // СЭ. 1987. № 5.

Алексеев 1989 – Алексеев В.П. Историческая антропология и этногенез. М., 1989.

Бочаров 2000 – Бочаров В.В. Антропологическая наука и общество // Журнал социологии и социальной антропологии. 2000. Том II. № 1.

Богораз-Тан 1934 – Богораз-Тан В.Г. Чукчи. Ч. I. Л., 1934.

Гладкова 1959 – Гладкова Т. Д. Антропологическая выставка 1879 г. и основание Музея антропологии // Советская антропология. 1959. № 2.

Гладкова 1993 – Гладкова Т. Д. Музей антропологии МГУ // Антропология и история культуры (по материалам коллекций НИИ и Музея антропологии МГУ им. Д.Н. Анучина). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993.

Готлиб 2002 – Готлиб А. Введение в социологическое исследование: Качественный и количественный подходы. Методология. Самара, 2002.

Евстигнеев 2002 – Евстигнеев Ю.А. Коренные народы Сибири: Справочник. СПб., 2002.

Евстигнеев 2003 – Евстигнеев Ю.А. Российская Федерация. Народы и их подразделения: Краткий этнологический справочник. СПб., 2003.

Зиневич 2002 – Зиневич О.В. Философские исследования пола как социального феномена. Новосибирск, 2002.

Келли 2002 – Келли Дж. Социальные отношения полов и методологическое значение истории женщин // Женщины. История. Общество: Сб. научных работ под общ. ред. В.И. Успенской. Вып. 2. Тверь, 2002.

Левин 1960 – Левин М.Г. Очерки по истории антропологии в России М., 1960.

Любавский 1996 – Любавский М.К. Обзор истории русской колонизации с древнейших времен и до XX века. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996.

Найт 2001 – Найт Н. Империя напоказ: Всероссийская этнографическая выставка 1867 г. // Новое литературное обозрение. 2001. № 51.

Семенков, Рабжаева 1998 – Семенков В.Е., Рабжаева М.В. История российской колонизации // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. I. № 1.

Г.А. Комарова

Отечественные традиции этнологического изучения мира детства*

Изучение мира детства в первой половине XX века

Англо-американское издание «Children in Historical and Comparative Perspective», делая в 1991 году подробный историографический обзор всех европейских исследований мира детства на различных языках, сообщает: «В России не существует истории детства. И сами русские, и иностранцы, занимающиеся ее изучением, если и обращали внимание на детство как на предмет исследования, то лишь мимоходом» (Children… 1991: 471). Справедливо ли мнение о том, что в конце XX века наши отечественные исследователи не изучали мир детства? Если бы речь шла о ситуации в российской этнографии конца XIX–начала XX вв., подобный вывод был бы в целом корректен. Действительно, во многих обобщающих трудах того периода, посвященных народному быту, встречаются материалы, посвященные воспитанию детей, обычаям и обрядам детского цикла, детским играм, детскому фольклору и т. д. Однако отечественная этнография, как правило, включала проблемы воспитания и социализации детей и подростков лишь в общее описание традиционных форм жизни и поведения у разных народов и в описание повседневности. В целом российские этнографы конца XIX – начала XX вв. не проявляли достаточного внимания к проблемам народных представлений, путей и средств воспитания и обучения детей.

В общих этнографических описаниях той поры встречались отдельные замечания, сведения о детях «отсталых» народов. Но, исходя, как правило, из принципов классического эволюционизма, дореволюционные исследователи расчленяли культуру народа на отдельные элементы и, детально описывая их, менее всего интересовались местом и ролью этих элементов в общей системе культуры, их соотношениями, рассматривая отдельные части культуры вне их связи с целым. Например, подробно описывались условия и обстановка родов, способы ношения или укутывания ребенка, детская люлька, детские игры и игрушки, детский цикл обычаев и обрядов и т. п. Однако положение детей в семье и в обществе, их взаимоотношения со взрослыми, вся общественная сторона проблемы детства обычно не были объектом специального анализа. В дореволюционной российской науке целенаправленные исследования в этой области знания проводили лишь немногочисленные ученые: Е.А. Покровский, В.Н. Харузина, Н.Н. Харузин, В.В. Богданов. Неслучайно В.Н. Харузина сделала вывод о том, что в русской дореволюционной этнографической литературе «мир детей пользовался незаслуженным пренебрежением» (Харузина 1912: 85).

В 1920-е гг. советские этнографы включили изучение воспитания детей в программы своих полевых исследований, выдвинув исследование народной педагогики, детского фольклора и т. д. в качестве важных научных направлений (Виноградов 1925, 1926; Заглада 1929; Капица 1928). Подобный всплеск интереса к детской проблематике был обусловлен задачей «“создания человека будущего”, который должен был кардинально отличаться от “человека прошлых веков”. “Взращивание новых поколений”

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта №13-01-00043.

было невозможно без изучения познавательных и творческих особенностей ребенка и его психики, способов формирования личности и механизмов ее социализации» (Морозов 2009: 197).

Но даже специализированные отечественные исследования отдельных аспектов мира детства в 1920-е гг. принесли мало результатов. Во всяком случае, широкой научной общественности они остались неизвестными. Конечно, можно говорить о том, что трудности изучения мира советских детей в 1920–1930-е гг. состояли в том, что не был установлен предмет исследования и не определены его содержание, источники, методы разработки и т. д. Однако это была не единственная и далеко не основная проблема. Главная причина, из-за которой в те годы было невозможно вести комплексные исследования мира детства, носила скорее не методико-методологический, аполитический характер и затрагивала практически всю советскую науку, в том числе этнографию, социологию, психологию, педагогику и другие науки, на стыке которых было возможно междисциплинарное исследование мира детства. Как известно, в начале 1930-х гг. после бурных дискуссий этнология превратилась в этнографию и обрела статус отрасли исторической науки. В 1930-е гг. она была низведена до изучения пережитков первобытнообщинного строя методом этнографического наблюдения. Приоритетным научным направлением в советской этнографии стало монографическое описание этнографически малоизученных или неизученных народов СССР. В результате долгие годы этнография в СССР воспринималась как наука об архаике, и вплоть до 1960-х гг. о её соединении с другими научными подходами не могло быть и речи.

Подобная ситуация сложилась в советской педагогике и психологии после известного постановления ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г. «О педологических извращениях в системе наркомпросов» и дальнейших событий, последовавших за ним. Изъятые на десятилетия из научного оборота как «лженаучные» труды Л.С. Выготского, М.Я. Басова, П.П. Блонского, И.А. Соколянского и многих других ученых долгие годы сдерживали развитие советской детской и педагогической психологии. «Изучение того, что есть ребенок, все более заменялось декларированием того, каким он должен быть. В результате складывалось и сейчас препятствующее решению многих практических педагогических задач положение, при котором представление о том, каким должен быть ребенок, превращается в утверждение, что таков он и есть» (Петровский 1991). Именно в этот период выносились многие категорические оценки и приговоры в истории педагогики, психологии, возрастной физиологии, социологии детства, дефектологии и ряда других смежных отраслей знания, которые оставались практически неизменными до начала 1960-х гг. и давали о себе знать и в последующем, вплоть до нынешнего времени.

Таким образом, в 1930-е гг. в стране практически прекратились любые исследования мира детства. Неслучайно в отечественной литературе вплоть до 1960-х гг. единственным исследованием, целиком посвященным проблемам детства, была брошюра Г.Н. Виноградова «Народная педагогика». Она имела подзаголовок «Отрывки и наброски», что характеризовало не только ее форму, но и незавершенность концепции автора, нечеткость самой постановки вопроса, определения главных понятий, развития затрагиваемых тем и т. д. Сам автор отмечал, что, предложив эту брошюру в качестве программы при сборе материала по народной педагогике, он преследовал цель «побудить других, более сведующих, разработать вопрос в желательно более полном объеме» (Виноградов 1926: 5).

В послевоенные годы возобновляются работы по изучению детской тематики и

педагогической культуры народов СССР. И, в отличие от педагогической литературы, в которой народная педагогика рассматривается в основном в социологическом аспекте, а классовый подход поглощает ее этническую специфику (Христова 1988: 45), в советской этнографической литературе появляется ряд работ, целенаправленно посвященных проблемам воспитания детей у различных народов СССР (Абрамзон 1949; Амитин-Шапиро 1946; Косвен 1948; Богораз 1949; Пещерева 1957; Рейнсон-Правдин 1949).

В работах советских этнографов 1960–1970-х гг. уже содержится значительный объем информации по различным проблемам народного воспитания. Один лишь анализ научных статей, в которых можно встретить описание родильных обрядов, обрядов имянаречения и первых этапов жизненного цикла, магических обрядов апотропейного характера, потребовал бы специального обзора. Достаточно сказать, например, что для подавляющего большинства народов бывшего СССР существует описание обрядов детского цикла, как в дореволюционный период, так и в первую половину минувшего столетия. Однако, степень изученности и тщательность освещения их весьма различны. Наиболее детально обычаи и обряды детского цикла были изучены в эти годы у туркмен (Аннаклычев 1961; Васильева 1969), казахов (Востров 1956), тувинцев-тоджинцев (Вайнштейн 1961), удмуртов (Христолюбова 1969), народов Севера (Гурвич 1960; Долгих 1954; Таксами 1967) народов Северного Кавказа (Бесаева 1976; Гаджиева 1961; Сергеева 1967; Смирнова 1968) и др.

Вместе с тем, последующие этапы жизненного цикла детей почти не исследовались. В советской этнографии тех лет не было специальных работ по вопросам умственного, нравственного, эстетического воспитания детей, разработанных на конкретных материалах какого-либо народа. Слабо освещалась в этнографической литературе народная система физического воспитания детей и подростков. По этой проблеме имелось лишь считанное количество работ (Турсунов 1968; Элашвили 1959). В значительно большей степени изучалась проблема трудового воспитания детей. Пальма первенства в разработке этого направления принадлежит Ю.Б. Стракачу. В своих трудах, в частности, на примере эвенков, кетов, хантов и других народностей Севера (Стракач 1959; Стракач 1962; Стракач 1966), этот автор не только описывал процессы трудового обучения детей, но и стремился выявить механизм передачи производственного опыта от поколения к поколению. Вслед за работами Стракача появились специальные исследования приемов трудового воспитания у чувашей (Волков 1970), эстонцев (Эланго 1970), народов Дагестана (Пашаева 1971) и др.

Предметом наиболее внимательного научного исследования отечественных этнографов в 1960–1980-е гг. были семья и семейный быт различных народов СССР. Характеризуя современное состояние семьи, исследователи показывали те глубокие изменения, которые коснулись в советский период не только ее формы, но и внутренних взаимоотношений, в частности отношений родителей и детей, методов и систем их воспитания. Так, проследив процесс изменений в семейном быту русских, В.Ю. Крупянская сделала вывод о том, «что новые методы воспитания детей – один из наиболее ярких показателей культурного роста населения» (Народы мира 1964: 480). В эти же годы советские этнографы весьма активно изучали влияние народных обычаев и традиций на процесс воспитания детей и молодежи. Сводка работ по этой тематике приводится в исследовании казахской исследовательницы А.Х. Мухамбаевой «Национальные обычаи и традиции казахского народа и их влияние на воспитание детей и молодежи» (Мухамбаева 1974). В це-

лом, к середине 1980-х гг. в отечественной этнографической науке был накоплен большой объем информации по различным вопросам воспитания детей у многих народов СССР. В частности, ярким примером тому служит обобщающий труд Л.С. Былеевой и В.М. Григорьева «Игры народов СССР» (1985 г.). Игра как историко-культурное явление издавна привлекала внимание этнографов. Еще классики эволюционизма пытались интерпретировать игры с точки зрения теории пережитков. Э. Тейлор, изучая игры народов Центральной Америки и Индии, сделал попытку доказать их происхождение из единого центра. Играми занимались К. Уисслер, А.Р. Радклифф-Браун, Б. Малиновский, Г.-х. Миди др. В дореволюционной России большую работу по изучению народных игр проводили Русское антропологическое общество при Петербургском университете, Восточное отделение Русского антропологического общества и другие общества, а также отдельные ученые. Определенную лепту в изучение, систематизацию и использование народных игр как средства физического развития подрастающего поколения внесли советские этнографы в 1920–1940-е годы (Комарова 1980). В послевоенные десятилетия роль игры в контексте этнической культуры в нашей этнографической литературе почти не освещалась. Детские игры рассматривались в отдельных отечественных монографиях и статьях лишь как иллюстративный материал при описании быта тех или иных народов (Комарова 1980), в то время, как зарубежные исследователи занимались этой тематикой много и плодотворно (*см., например,* Lancy D.E. The Role of Games in the Enculturation of Children. San Francisco, 1975. Schwartzman N.B. Transformations: the Anthropology of Children's Play. New York & London, 1979. Chanan G., Francis H. Toys and Games of Children of the World. P., 1984. Blanchard K., Taylor Cheska A. The Anthropology of Introduction. South Hadley, 1985.). Сборник «Игры народов СССР» стал результатом кропотливой работы по сбору, изучению и систематизации народных игр, осуществленной большим научным коллективом, организовавшим более 30 экспедиций, в ходе которых было собрано около 3000 игр разных народов. В работе участвовало более 50 авторов – представителей различных научных дисциплин,– в том числе этнографы из всех союзных и автономных республик страны. Этот крупнейший за послевоенные десятилетия труд, посвященный играм народов СССР, представил большой междисциплинарный интерес.

Обобщая вклад отечественных этнографов в исследование мира детства в эти годы, необходимо отметить, что им удалось в этом исследовательском поле провести не только бережный сбор и описание сохранившихся традиционных черт и элементов, но также выявить и проанализировать целый спектр различного рода инноваций. И все же, исследованием коллективного педагогического опыта у разных народов этнографы в эти годы по-прежнему занимались крайне мало. А богатый этнографический материал, как правило, служил лишь дополнением, частной иллюстрацией при раскрытии и изучении какой-либо другой генеральной темы. Специальных работ по изучению систем воспитания в различных обществах в отечественной литературе тех лет практически нет. Можно назвать лишь единицы работ, специально посвященных отдельным направлениям народной педагогики азербайджанцев (Гашимов 1957), грузин (Хинтибидзе 1961), армян (Арутюнян 1962).

В связи с вышесказанным, необходимо отметить, что и в целом мировая этнологическая наука обратила особое внимание на изучение мира детства сравнительно недавно. Различные системы, методы и стили, проблемы воспитания детей и подростков, допускающие многочисленные этнические,

культурно-групповые, региональные, семейные и другие вариации стали предметом самостоятельных исследований лишь благодаря трудам Л. Леви-Брюля, Э. Тэйлора, Дж. Фрэзера и др. Важным этапом в исследовании детства, с которого собственно и начинается его современная история, принято считать классическую работу «Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке» Филиппа Арьеса, опубликованную в 1960 году (Арьес 1999). Новаторская концепция Арьеса состояла в том, что понятие «детство», по его мнению,– это не данная на все времена реальность, а социальный конструкт, наполняемый различным содержанием, различной ценностью и материальным «сопровождением» в разных культурах и эпохах (Арьес 1960). Напомню, что русский перевод некоторых ее разделов, был опубликован еще в советские времена благодаря усилиям И.С. Кона, однако этот труд долгие годы был не востребован отечественными исследователями. Целиком книга «Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке» Филиппа Арьеса на русском языке увидела свет в 1999 году в Екатеринбурге. Труд Арьеса в 1960-е годы совершил своеобразный прорыв в мировой практике исследования мира детства. В итоге за последние полвека в мировой научной литературе появилось множество различных исследований, изучавших детство комплексно на стыке наук, интегрируя этнографию, историю, педагогику, социологию, психологию, педиатрию, детский фольклор, литературу и многие другие научные направления и дисциплины. Таким образом, в зарубежной науке детство стало предметом активного междисциплинарного изучения в 60-е гг. минувшего века.

В советской науке оно не воспринималось как предмет специальных исследований, по крайней мере, до1980-х годов. А в некоторых, прежде всего, региональных научных сообществах мир детства как предмет междисциплинарного комплексного изучения игнорируется и по сей день. И одной из основных причин подобной ситуации, на мой взгляд, стало повальное увлечение представителями советских обществоведческих наук так называемой «этнопедагогикой».

Этнопедагогика

Первым исследованием, посвященным проблемам этнопедагогики, в советской литературе стала книга Г.Н. Волкова «Этнопедагогика чувашского народа», вышедшая в свет в 1966 году. В 1974 году этот же автор издал монографию «Этнопедагогика», в которой, представив этнографические и фольклорные материалы различных народов СССР, он сделал заявку на создание «общей этнопедагогики». Необходимость создания новой науки Г.Н. Волков мотивировал тем, что «нельзя оставаться равнодушным к проблемам особенности психического склада и национального характера», т. к. они – «результат влияния системы воспитания» той или иной этнической общности (Волков 1974: 9–10). Этнопедагогические исследования Г.Н. Волкова были восприняты советскими учеными крайне неоднозначно. Его работы подвергались критике за несоблюдение принципа историзма при анализе этнографического материала; за смешение методологии познания с методами, способами и приёмами, даже с методикой, которые применяются отдельными науками в процессе исследования и разработки той или иной проблематики; за фальшивую идеализацию «национального воспитания, призванного не допустить исчезновения национальной самобытности» (Волков 1974: 107) и многое другое.

Но главная претензия многочисленных критиков состояла в том, что Г.Н. Волков слишком преувеличивает роль и значение этнопедагогики. Постоянный оппонент Г.Н. Волкова – И.Д. Кузнецов, – профес-

сиональный историк, блестящий архивист, прекрасно владеющий чувашским языком, внимательно изучив работы Волкова, сделал заключение о том, что «о педагогике этноса в целом говорить не приходится». В статье, посвященной анализу этнопедагогического творчества Г.Н. Волкова, И.Д. Кузнецов приводит многочисленные примеры, «рекомендуемые исследователем как образчики народной мудрости, якобы бытующие так или иначе и поныне, не утрачивая своего воспитательного значения, и будто бы являющиеся средствами сохранения и упрочения национальной самобытности, отражающие чувашский национальный характер, специфический "психический склад" чувашской этнической общности». Автор статьи доказывает, что на самом деле, они «не являются таковыми или же вообще переданы искажённо» (Кузнецов 1981: 118–127). И.Д. Кузнецов упрекает Волкова не только в языковой неграмотности, но и в преднамеренном манипулировании «образчиками народной педагогической мудрости» с целью подтверждения выстроенных «этнопедагогом» заранее выводов и теорий. И.Д. Кузнецов считал, что и сам термин «этнопедагогика» не выдерживает никакой критики. «Если "этнопедагогика", по представлению Г.Н. Волкова, – педагогика отдельного этноса, то науки под таким же названием, исследующей методы воспитания всех этносов, не может быть» (Кузнецов 1981: 116). Тем не менее, вслед за «Этнопедагогикой» Г.Н. Волкова в советской литературе появились десятки и сотни работ-клонов, написанных по тому же «образу и подобию», лишь с заменой названия народа, этноса, республики, края, региона. В этом поле особую активность проявили в свое время краеведы, затем – педагоги, отчасти психологи, философы. В постсоветские времена к ним присоединились различного толка «культурологи», в частности, бывшие преподаватели истории партии, марксизма-ленинизма, обществоведения и т. д. Именно в 1990-е гг. в отечественной научной, околонаучной, псевдонаучной и даже паранаучной литературе было произведено великое множество таких работ.

Их анализ не входит в задачи этого очерка. Однако, приходится констатировать, что и сегодня по-прежнему очень верно и злободневно звучит оценка подобных работ, высказанная в своё время И.С. Коном. «Почти все "этнопедагогические" исследования описательны и посвящены педагогическому опыту какого-либо одного народа. Сравнительные исследования практически отсутствуют, так что педагогика разных народов выглядит очень похожей, а то и одинаковой. Кроме того, многие авторы, особенно педагоги, не различают социально-нравственные идеалы, нормативные представления народа и его реальную воспитательную практику, что, конечно, не одно и то же. Не всегда достаточно глубок и социологический анализ фактов: как дифференцируется та или иная норма или обычай в зависимости от классовой принадлежности семьи, особенностей среды обитания, пола ребенка, разделения мужских и женских функций в семье и в обществе и т. д. Без такого конкретно-исторического анализа понять национальные особенности детства практически невозможно» (Кон 1983: 18–19). «Описания реально существующих взаимоотношений и методов воспитания подчас не отграничиваются от культурных стереотипов, образов детства, бытующих в идеологии и в массовом сознании народа» (Кон 1988: 18). К вышесказанному можно добавить лишь то, что за минувшие 20–25 лет научный уровень подавляющего большинства «этнопедагогических» творений не только не возрос, а оказался полностью утраченным. Они, к сожалению, все чаще носят мифологический, псевдонаучный, а иной раз и заказной шовинистический характер.

Этнологическое изучение темы детства в 1960–1980-е гг.

Период 1960–1980-х гг. в отечественной этнографии характеризовался значительно возросшим интересом к теоретическому осмыслению вопросов формирования этнического в культуре. Развитие теории этноса привело советских этнографов (вслед за лингвистами) к формированию представления о двух важнейших типах внутриэтнических связей – синхронных и диахронных (Арутюнов, Чебоксаров 1973; Алексеев 1980). Они утверждали, что синхронные типы внутриэтнических связей обеспечивают пространственную гомогенность этнической культуры и ее целостность, а диахронные – временную преемственность. Вторые типы внутриэтнических связей – диахронные – при этом считались более значимыми и существенными с точки зрения исторической стабильности этноса. В этом контексте важная роль отводилась изучению процессов социализации детей. Так, Ю.В. Бромлей, считал, что одной из задач дальнейшего этнографического изучения современной семьи является раскрытие этнической стороны социализации (Бромлей 1981). Но если ранее, в 1960-е гг., традиционные системы воспитания не становились предметом специальных исследований и упоминались этнографами только в связке с другими темами, например, описаний семейных отношений и семейной обрядности, то более целенаправленное и пристальное внимание к этнографическому изучению темы детства как таковой связано с публикациями 1980-х годов.

Обращаясь к обзору источников и научной литературы по этой тематике, необходимо, прежде всего, особо выделить очень интересные и глубокие исследования И.С. Кона, в которых он ещё в 1960–1970-е годы рассматривал различные аспекты проблемы социализации. Представителям самых разных наук гуманитарного цикла широко известны такие его работы, посвященные социологии личности и процессам социализации, как «Социология личности», «Открытие “Я”», «Психология юношеского возраста» и др. Важное методологическое значение также имели такие исследования советских этнографов, как труды Д.А. Ольдерогге, посвященные проблемам африканской семьи и системы родства; работы Н.М. Гиренко о традиционных социальных институтах и соотношении терминов родства и социальных категорий; М.М. Громыко, изучавшей половозрастные аспекты механизмов функционирования крестьянского общества; исследования К.П. Калиновской возрастных групп у народов Восточной Африки и др. В целом, в отечественной этнографической литературе тех лет все больше осознавалась значимость изучения содержания и форм межпоколенной передачи этнической информации.

Однако подавляющее большинство отечественных исследований проблем детства вплоть до 1980-х гг. если и проводились, то как правило, вне связи с аналогичными работами зарубежных ученых, например, представителей этнопсихологической школы (М. Мид, Дж. и Б. Уайтинг, И. Чайлд, Дж. Хансен и др.). В советской историографической литературе, конечно же, упоминались как эти, таки другие имена. Однако до И.С. Кона отечественные исследователи уделяли свое внимание лишь критике работ зарубежных авторов (Р. Бенедикт, М. Мид, Дж. Горера, Дж. и Б. Уайтинг и др.), якобы, испытавших влияние неофрейдистских концепций и искавших в традиционной педагогике объяснения особенностей «национального характера». Подобный подход – односторонняя неконструктивная критика методологических позиций зарубежных коллег, вероятно, был причиной того, что советские ученые вообще не разрабатывали то же самое исследовательское направление – этнография детства, пусть даже и исходя из других мировоззренческих представлений.

Огромная несомненная заслуга И.С. Кона состоит в том, что он был одним из первых, кто познакомил своих советских коллег с работами зарубежных, по большей части американских ученых, давая объективную оценку их просчетам и научным достижениям (Кон 1977; 1981). Выше уже упоминалось о деятельности И.С. Кона, связанной с популяризацией классического труда Филиппа Арьеса в отечественном научном сообществе. Монография Кона «Ребенок и общество: историко-этнографическая перспектива» (Кон 1988) ввела русскоязычного читателя в мир зарубежной литературы по истории детства и показала огромный и сложный спектр всех проблем, связанных с его исследованием. Автор книги теоретически и на конкретном материале рассматривал такие проблемы, как особенности социализации мальчиков и девочек; взаимодействие стиля социализации и принятого в культуре нормативного канона человека («имплицитной теории личности»); природа возрастных категорий; специфические особенности и закономерности развития отцовства и материнства и др. Кстати, именно в этом исследовании И.С. Кона проблемы антропологии и психологии родительства обсуждались впервые в отечественной науке. Столь же оригинальной частью книги стала теория возрастного символизма и многое другое. И.С. Кон был инициатором, редактором-составителем и автором послесловия первого издания на русском языке избранных произведений Маргарет Мид (1901–1978), посвященных этнографии детства «Культура и мир детства» (Мид 1988). Эта работа дала советскому читателю достаточно полное представление об оригинальных полевых исследованиях и теоретических взглядах М. Мид, оказавшей значительное влияние на развитие зарубежной этнографии и психологии XX века.

И.С. Кон справедливо отмечал, что вплоть до середины I960-х гг. многие западные психологи, социологи, этнографы и другие ученые занимались изучением социализации преимущественно с частных позиций своих научных дисциплин. «Одни авторы изучают детство в связи с системой возрастных классов и групп первобытного общества, другие – в связи со структурой семьи, третьи – в связи с принятой в данной культуре периодизацией индивидуального жизненного пути, отраженной в языке (возрастные категории) и специфических обрядах перехода, четвертые – в связи с теорией инициации, пятые – в связи с проблемой формирования и закрепления этноспецифических черт личности (национального характера), шестые – в связи с процессами взаимодействия различных институтов социализации и межпоколенной трансмиссии культуры» (Кон 1983). Вместе с тем Кон убедительно показывал, что в конце 1960-х гг. формы и традиции воспитания в зарубежной науке выступали уже как самостоятельный объект анализа; что работы В. Уэмбли, Н. Миллера, Р. Бенедикт, Б. Малиновского, М. Мид, Дж. и Б. Уайтинги др. содержали обширный эмпирический и теоретический материал; а также то, что в работах зарубежных авторов постоянно растут точность наблюдения, широта охвата, четкость сравнения разных форм социализации; совершенствуются методы сбора и обработки данных. Многогранная плодотворная деятельность И.С. Кона активно способствовала междисциплинарной кооперации отечественных ученых – представителей различных дисциплин социогуманитарного цикла в дальнейших исследованиях проблем детства. И это неслучайно. Игорь Семенович Кон всю жизнь работал на стыке разных общественных и гуманитарных наук: социологии, истории, антропологии, психологии и сексологии. С его именем тесно связано рождение в России таких дисциплин как история социологии, социология личности, психология юношеского возраста, этнография детства, сексология. Многие его иссле-

дования ломали привычные представления отечественного научного сообщества.

Этнография детства как научное междисциплинарное направление

Закономерно, что именно И.С. Кон и команда его единомышленников стали первыми, кто совершил в отечественной этнографии 1980-х гг. прорыв в исследовании мира детства. Именно они сыграли огромную роль в формировании методологии исследований этнографии детства и в определении его содержательных задач. После опубликования их трудов понятие «этнография детства» прочно укоренилось в отечественной науке. Это ключевое понятие для нашей тематики обозначает междисциплинарную отрасль знания, возникшую на стыке этнографии, социологии, психологии и педагогики и занимающуюся сравнительным изучением традиционных способов воспитания детей и самого мира детства, включая детские игры, фольклор и т. д.

Первое в советской науке комплексное исследование, посвященное этнографии детства, вышло в свет в 1983 г. Этот коллективный труд «Этнография детства. Традиционные формы воспитания детей и подростков» был издан в двух сборниках, подготовленных сектором этнографии народов Зарубежной Азии ленинградской части Института этнографии АН СССР. Ответственный редактор сборников – И.С. Кон, им же написаны историографический очерк, введение и заключение. Большой коллектив авторов, объединенных общностью замысла, работал по единой этносоциологической программе. Первый сборник был посвящен традиционным формам воспитания детей и подростков у народов Восточной и Юго-Восточной Азии, второй – воспитанию детей и подростков у народов Передней и Южной Азии. Как известно, в Азии проживает около тысячи этносов, каждый из которых обладает самобытным опытом традиционного воспитания и вполне заслуживает внимания исследователей. Естественно, что в таком случае сделать представительную выборку составителям сборников было непросто, к тому же вопросы традиционных способов социализации детей у народов Азии плохо разработаны, воспитательная практика малых народов не изучалась совершенно. Тем не менее, в издании были представлены все основные географические регионы, языковые семьи и конфессиональные общности Зарубежной Азии. Особо отметим тот факт, что народы, чьи традиционные методы воспитания рассматриваются в сборниках, весьма различны по культуре и стоят на разных ступенях социально-экономического развития: тут и эпоха разложения первобытнообщинного строя, и феодализм, и разные стадии капиталистического развития и социализм.

Рамки исследования были определены главным образом материалами, имеющимися в распоряжении авторов: обобщенные литературные материалы, разбросанные в многочисленных и труднодоступных источниках, данные текущей статистики, периодики, прессы, неизвестные ранее полевые материалы и труды, хранящиеся в архиве Ленинградского отделения Института этнографии АН СССР, а также личные полевые материалы и наблюдения.

Основополагающую ценность для исследования проблем детства представляет блестящий и чрезвычайно информативный историографический очерк исследований по «этнографии детства», открывающий первый сборник и написанный, как и введение, И.С. Коном. В нём дан глубокий анализ истории и методологии изучения детства в искусстве, этнографии, этнопсихологии, а также сформулирована единая программа, которой предлагалось следовать авторам всех самостоятельных статей обоих книг. Бесспорное достоинство сборников заключалось именно в том, что при их подготовке авторы руководствовались

единой этносоциологической программой социализации детей и подростков, составленной И.С. Коном. Само по себе ее появление (Кон 1981) в свое время вызвало большой теоретический и практический интерес этнографов.

Предложенная И.С. Коном программа, действительно, послужила своего рода общим ориентиром в работе авторов сборников, придала четкость и стройность изложению материала. Представление о жизненном цикле и его этапах, система институтов социализации, роль семьи как фактора социализации, особенности ценностного отношения к ребенку в обществе, способы ухода за младенцами, формы поощрения и наказания, трудовое и половое воспитание, межпоколенные отношения – вот тот далеко не полный перечень проблем, который лег в основу сбора информации. В результате получилось целенаправленное исследование, охватывающее большой круг народов, стоящих на разных ступенях социально-экономического развития и расселенных в нескольких историко-культурных провинциях Азии. Единство исследовательской программы в большой мере помогло специалистам по разным азиатским народам преодолеть фрагментарность, характерную для старых этнографических работ, в которых говорилось в той или иной степени о методах народной педагогики и отношении к детям.

Статьи сборников реализовали предложенную программу в разной степени в зависимости от состояния источников, выбранных методов и специфики интересов авторов. И сам ее составитель справедливо предполагал, что «такая этносоциологическая программа представляется весьма широкой и неизбежно будет корректироваться в конкретном исследовании» (Кон 1981: 12). Естественно, «ни один из авторов не мог исчерпывающе ответить на все вопросы, предусмотренные планом исследования» (Кон 1983а: 186). Вместе с тем материалы первых сборников позволяли внести некоторые поправки в предложенную программу, в чем-то уточнить и дополнить её в дальнейшем.

Приведу несколько примеров. Так, сквозной темой почти всех статей стал возрастной символизм. В них широко представлены материалы по нормативным критериям физической и социальной зрелости, правовым нормам, обрядам перехода и т. п. При рассмотрении всех этих вопросов у исследователя невольно возникает потребность указать на отражение их в материальной и духовной культуре, что весьма характерно для традиционных обществ. Ведь при переходе человека из одной возрастной группы в другую меняются не только его место в социальной структуре, отношение к нему окружающих, но и характер одежды, украшений, прическа. Интересные данные по этому вопросу приводят в своих статьях Ю.В. Ионова, Ю.Д. Михайлова, В.И. Мазурина, Е.И. Васильева и Дж. Хайдари, Р.Р. Рахимов, Г.С. Асатрян, С.Л. Маретина. Вероятно, был смысл внести возрастной символизм особым разделом в блок вопросов «Представления о жизненном цикле и его этапах» (пункт «Символические границы возрастной периодизации»). В этот же блок можно было вставить и вопросы, связанные с погребальным обрядом для детей. Материалы, приведенные в статьях Р.Р. Рахимова, Ю.В. Меновой, Ю.Д. Михайловой, М.Н. Серебряковой, свидетельствуют о большом значении, придаваемом в традиционных обществах обрядам детского погребения, которые отличались от погребального обряда для взрослых.

В обоих сборниках встречается обширный материал и о других обычаях, не нашедших места в программе исследования. Например, А.И. Мухлинов и Ю.Д. Михайлова рассказывают о гражданском и религиозном удочерении и усыновлении; А.К. Оглобин и В.Н. Мазурина – о

временной, полной и безусловной адопции. Интересные данные о правовом статусе и положении приемных, законных и незаконнорожденных детей приведены в статье М.В. Станюкович; детей от полигамных браков, детей-слуг, детей-рабов – в статьях А.К. Оглоблина, Н.Г. Краснодембской; сирот и тех детей, родители которых состоят в разводе, в работе Н.Г. Краснодембской. Г.С. Асатрян приводит данные об аталычестве у персов. В связи с этим возникает желание обозначить эти универсальные институты отдельными пунктами программы, например, ввести пункт «Характер адопции детей» и, может быть, отдельным пунктом выделить правовой статус детей не только разного возраста и пола, но и разных социальных категорий. Отметим, что в программе исследования в специальные блоки были выделены лишь две сферы воспитания: трудовое и половое, кстати, нашедшие подробное освещение в большинстве статей сборников. Но наряду с ними, некоторые авторы (М.Н. Серебрякова, Г.С. Асатрян, Р.Р. Рахимов, Н.Г. Краснодембская) приводят также материалы по вопросам физического и нравственно-эстетического воспитания.

Известно, что для «отсталых» обществ в силу феномена культурного синкретизма характерна нерасчлененность различных сфер духовной деятельности человека. Тем более достойны внимания попытки авторов отдельных статей разобраться в том, как в процессе социализации наряду с другим жизненным опытом детям передаются традиционные эстетические ценности и прививаются художественные вкусы, проявляющиеся в прикладном искусстве, музыке, фольклоре. Фольклор всегда был мощным средством социализации. Достаточно вспомнить, как отзывались о воспитательной роли русских народных сказок А. С. Пушкин и А. М. Горький. Эту же идею подтверждают и авторы рецензируемых изданий: М.Н. Серебрякова, Г.С. Асатрян, Р.Р. Рахимов, М.В. Станюкович, В.Н. Мазурина, Н.Г. Краснодембская и др. Конечно же, фольклор как средство воспитания требует междисциплинарного исследования. Тем не менее, включение этой темы в программу исследования могло бы дать весьма важные результаты, как, например, это произошло с играми. Детские игры широко представлены в исследовании: почти все авторы приводят материалы, подтверждающие, что игры наряду с игрушками всегда были первым средством воспитания, формирования определенных ценностных ориентации, навыков социального поведения.

В отечественной науке этого периода уже сформировался взгляд на ребенка как на сравнительно самостоятельного и активного социального индивида, представляющего не только объект воспитательных воздействий со стороны взрослого, но и субъект познания и общения, носителя и творца собственной культуры. К проявлениям этой субкультуры И.С. Кон относил детский фольклор, игру и общение (Кон 1983: 14). Однако из всех этих аспектов в исследовательскую программу внесены были только игры. Попутно хотелось бы заметить, что процесс воспитания детей не является однонаправленным, так как и сами взрослые, в нем участвующие, испытывают его обратное воздействие. В этом смысле правомерно говорить о взаимном обогащении двух субкультур – взрослой и детской.

Почти во всех статьях детально описываются карпогонические обряды, представляющие в целом большой научный интерес и для изучаемой проблематики. Но, вероятно, для большей четкости эти обряды, как и обрядность, связанную с самыми ранними периодами жизни ребенка, было бы правильнее выделить в специальный блок, называемый условно «периодом протосоциализации». Наряду с этим на страницах сборников, на наш взгляд, неоправданно подробно освещена свадебная обрядность

изучаемых народов. Конечно, свадьба – один из важнейших институтов социализации, но не детей и подростков.

Большое внимание на страницах изданий по этнографии детства отводится такому институту социализации, как семья. И это неслучайно. По общепринятому в советской этнографии мнению, именно семья считалась «одной из основных ячеек функционирования традиционно-бытовой культуры и ее межпоколенной трансмиссии» (Бромлей 1981: 361). «Именно в семье, являющейся микроячейкой этнических процессов, младшее поколение воспринимает от старшего родной язык, нормы поведения, обычаи» (Кон 1983: 138). Другие исследователи также делают вывод о том, что семья является одним из основных социализирующих институтов. Вместе с тем известно, что в традиционных обществах среда социализации не ограничивается только семьей. И действительно, в «Этнографии детства» приводятся разнообразные материалы и о других институтах социализации, характерных для описываемых этносов: своеобразных формах возрастных классов и мужских и женских домов – «*агаманги*» у ифугао, «*ариджу*» у ао нага и «*нок-панте*» у гаро, пережиточных формах мужского дома «*дала*» у афганцев, мужских, а иногда и женских объединениях молодых людей «*вакамоногуми*», а также о «ночных домах для юношей и девушек» в Японии периода Токугава, о своеобразных клубах молодежи у гурунгов Непала и т. д.

Почти все авторы уделяют большое внимание проблеме школы и ее прообразов. При анализе всех этих материалов возникает интереснейший вопрос о соотношении семейных и внесемейных институтов социализации детей. В целом, авторскому коллективу удалось сопоставить способы социализации ребенка в ряде азиатских культур, что позволило И.С. Кону выделить три главных этапа в развитии институтов социализации: «В обществах первичной формации социализация детей осуществляется совместными усилиями всей общины... древнейшие институты социализации, например возрастные группы, полифункциональны». На следующем этапе развития важнейшим институтом социализации становится большая семья, но наряду с ней сохраняются и трансформируются традиционные формы общинной социализации (возрастные группы, тайные общества и т. п.), и на их основе, а иногда и в противовес им возникают новые общественные институты: школы, особые формы ученичества и т. п. Эти новые институты дополняют семейные воздействия, не подрывая их решающего значения. В дальнейшем «социализация становится общественным, общенациональным делом, требующим систематического государственного планирования, управления, координации усилий отдельных институтов (семья, школа, общество сверстников, средства массовой коммуникации и т. д.)» (Кон 1983: 187–188).

В последнее время в ряде работ проводится мысль о том, что семья как фактор социализации в высокоразвитых обществах все более теряет свое значение. Конечно, роль современной семьи в социализации детей не следует преувеличивать, но вместе с тем, как представляется (и это наглядно доказывают материалы трудов по этнографии детства), речь должна здесь идти, прежде всего, о смещении акцентов в соотношении разных институтов социализации: с усложнением воспитательного процесса их роль становится весьма многообразной, а оказываемое ими воздействие – многозначным. При этом в разных сферах их влияние тесно переплетается и взаимно коррелирует. В результате анализа всех вышеизложенных проблем была выявлена четкая зависимость характера социализации от социально-экономического уровня развития общества.

В архаических обществах социализация была закреплена жесткими нормами, огра-

ничивалась строгими временными и пространственными рамками и обладала четко запрограммированным внутренним содержанием, т. е. набором тех навыков и ценностей, которые должны были усваиваться индивидом. Социализация в традиционных крестьянских обществах имела немало общего с архаическими: следование заветам предков, копирование и воспроизводство прошлого опыта, существование единого набора предписаний, распространявшихся на поведение, мысли и чувства, в результате чего люди привыкали к определенной пище, одежде, церемониям, разделяли те же взгляды, воспитывали детей также, как и их родители. В более развитых обществах общие сроки социализации увеличивались, цикл жизни детализировался, росло число возрастных категорий, воспитательный процесс становился более многообразным. По мере урбанизации и позднее – в условиях индустриализации и научно-технической революции – происходили дальнейшая дифференциация и специализация институтов социализации, расширялись её временные и пространственные рамки, стирались четкие границы этапов, увеличивалась, усложнялась та информация, которую индивид должен был усвоить в ходе формирования своей личности. В этой ситуации уже не могла задаваться строгая регламентация поведения человека на все случаи жизни, задавались лишь общие, социально принятые в рамках данной общности или класса рамки-нормы, где индивид обладал определенной свободой выбора, набором моделей допустимого поведения для какой-то конкретной ситуации. К сожалению, авторы сборников, ограниченные объемом, не имели возможности глубоко проанализировать зависимость характера социализации от социально-экономического уровня развития конкретного общества, но уже то, что они обратили внимание на эту проблему – их несомненная заслуга.

Во введении к первому сборнику И.С. Кон оговаривает, что в издании речь идет не о мире детства и социализации детей вообще, а лишь о традиционных институтах и методах социализации (Кон 1983: 4). Да и в целом в те годы этнографическое изучение современности концентрировалось в основном на традиционно-бытовой культуре (Бромлей 1977: 6), но ограничиваться только ею, представить ее в «чистом» виде исследователи не захотели. Неслучайно И.С. Кон ввел в свою программу анализ процесса проникновения инноваций в традиционную сферу воспитания детей, и отдельные авторы приводят интересные данные по этой проблеме.

К сожалению, в программе исследования не была отражена специфика воспитания детей в условиях межэтнических контактов и, прежде всего, в межнациональных семьях. А ведь эта проблема существовала издавна. Межэтнические браки были характерны почти для всех периодов истории человечества. В связи с этим возникает и необходимость изучения языковых проблем: язык раннего детства, языковое поведение родителей и детей в семье и т. п. О том, как традиционная модель воспитания сохраняется и трансформируется в современных условиях, говорится в статьях Ю.Д. Михайловой, Л.Л. Викторовой, Р.Р. Родионова. В целом создается впечатление, что заявленный на титулах сборников подзаголовок «Традиционные формы воспитания детей и подростков» гораздо уже представленного в статьях материала. Авторы смело могли бы озаглавить свою работу «Традиционные формы социализации детей и подростков» или дать ей подзаголовок «Этнические аспекты социализации детей и подростков».

Первые сборники, увидевшие свет в 1983 году, стали удачным опытом широкого, коллективного многоаспектного исследования проблем детства. Их издание вызвало большой научно-общественный резонанс (Азаров 1984; Комарова 1985; Старовойтова 1985; Субботский 1984; Michalicka 1985) и

послужило началом целой серии подобных исследований. Под редакцией И.С. Кона в 1980–1990-е гг. вышли в свет ещё несколько сборников «Этнография детства. Традиционные формы воспитания детей и подростков» по различным регионам мира, содержащие интересные и уникальные материалы (Кон 1988; 1988а; 1992). Например, авторы сборника «Традиционное воспитание детей у народов Сибири» обобщили материалы об особенностях традиционного воспитания детей у многих представителей аборигенного населения Сибири – кетов, коряков, манси, нганасан, ненцев, нанайцев, нивхов, тувинцев, теленгитов, хакасов, чукчей, якутов, представив систематическое исследование проблем социализации детей и подростков в этом регионе. Коллективные труды «Этнография детства. Традиционные формы воспитания детей и подростков у народов Южной и Юго-Восточной Азии» и «Этнография детства. Традиционные формы воспитания детей у народов Австралии, Океании и Индонезии», подготовленные и изданные сектором этнографии народов Зарубежной Азии ленинградской части Института этнографии АН СССР, продолжили всестороннее и комплексное исследование проблем социализации детей и подростков у самых разных народов Азии, Австралии и Океании. Их авторы исходили из того, что исследование этнографии детства «позволит всесторонне изучить культуру и быт народов обширного региона, понять их психологию, раскрыть механизмы передачи этнокультурных традиций в процессе воспитания ребенка, выявить определенные рациональные стороны традиционной народной педагогики, а в дальнейшем провести специальные историко-культурные типологические исследования» (Кон 1988: 4).

Как уже упоминалось, все издания серии «Этнография детства» были написаны на основе общей этносоциологической программы И.С. Кона, впервые использованной при изучении традиционной социализации детей и подростков у ряда народов зарубежной Азии, что предопределило целостность исследования и сопоставимость полученных материалов. При этом программа исследования изначально носила междисциплинарный характер. Естественно, в процессе работы в неё вносились коррективы, дополнения, уточнения и т. д. (Комарова 1985: 160). Одним словом, наблюдалось постоянное стремление к более высокому уровню научной интеграции – проведению «серии исследований по одной и той же детально разработанной программе, в которой новая, более ёмкая, по сравнению с предыдущими, концептуальная схема дополняется последовательной системой четко сформулированных и допускающих эмпирическую проверку гипотез» (Кон 1988: 59).

Важно также отметить, что авторы более поздних изданий этой серии не только рассматривают мир детства в разных этнических сообществах, но ставят и разрабатывают различные теоретические проблемы, что, бесспорно, способствует развитию теоретико-методологической рефлексии в таком междисциплинарном исследовательском направлении, как этнография детства. Но самой главной и несомненной, на мой взгляд, заслугой авторских коллективов является то, что проблема детства в отечественной этнографической литературе этих лет была представлена в тесной связи с культурой и бытом народа как неотъемлемая часть его жизни, а проблемы социализации детей изучались в единстве с анализом образа жизни всего общества. В итоге большой работы, проделанной советскими этнографами/этнологами в 1970–1990-е гг., в отечественной науке сформировалось новое междисциплинарное исследовательское направление – этнография детства.

Этнография детства – научное направление, возникшее в этот период в лоне отечественной этнографии, стало ярким и заметным явлением отечественной эт-

нографической науки рассматриваемого периода. И.С. Кон и его коллеги совершили настоящий прорыв в новом для отечественной этнографии междисциплинарном исследовательском направлении – этнографии детства. Достижения советской этнографии детства высоко оценивали многие научные рецензенты – представители различных наук и научных школ, как отечественные, так и зарубежные (Азаров 1984; Комарова 1985; Кукаркин-Шапиро 1989; Старовойтова 1985; Субботский 1984; Michalicka 1985; Greenfeld 1988; Valsiner 1988 и др.). Авторитетный американский ученый Ян Вальсинер посвятил специальный раздел своей широко известной книги «Психология развития в Советском Союзе» «этнографическому подходу Кона к развитию ребенка». Высоко оценивая работы И.С. Кона, выполненные в рамках этносоциологии, он писал о том, что этот научный подход, разрабатываемый в ИЭ АН СССР, «более эрудирован, чем его западные аналоги», поскольку «интегрирует историческое, семиотическое, этнографическое и социально-психологическое знание», что редко делается в западноевропейской и североамериканской психологии (Valsiner 1988:306). Вальсинер отмечал, что «интернационально-ориентированное и высоко философски эрудированное мышление, пронизывающее работы Кона, напоминает русские психологические традиции Вагнера, Выготского, Басова и Северцова и очень отличается от стиля мышления, господствовавшего в советской психологии между 1930 и 1970 гг.» (Valsiner 1988: 303–306). Американская исследовательница Лия Гринфельд, описывая примеры этносоциологического подхода в советской этнографии, также подчеркивает «большой научный вклад сотрудника ИЭ АН СССР И.С. Кона, который в 1983 году предложил и сделал первую теоретическую попытку применить это в исследовании гендерной стратификации» (Greenfeld 1988: 120). Труды И.С. Кона и его коллег по этнографии детства по-прежнему высоко оцениваются зарубежными и отечественными специалистами, утверждающими, что подобное исследовательское направление и ныне остается весьма значимым и перспективным для современной и будущей науки.

Тема детства в отечественных исследованиях 1990–2000-х гг.

Тему детства в культурах разных народов мира в той или иной степени в 1990–2000-е гг. исследовали многие отечественные этнологи и антропологи, в том числе и сотрудники института этнологии и антропологии РАН. В 1997 году в ИЭА РАН была издана коллективная монография «Рождение ребенка в обычаях и обрядах. Страны зарубежной Европы». Отдельные разделы, посвященные обрядам детского цикла, были опубликованы в многочисленных томах серии «Народы и культуры». Проблемам детства и молодежных субкультур в постсоветские годы посвятили целый ряд интересных работ С.Ю. Неклюдов, Т.Б. Щепанская, А.К. Байбурин, М.Л. Бутовская, Д.В. Громов, Д.Б. Писаревская, А.А. Белик, Д.А. Баранов, Е.Н. Галкина, А.К. Закурдяев, И.А. Морозов, М.В. Осорина, Н.Д. Пчелинцева; И.С. Кызласова (Слепцова), Л.Т. Соловьева; М.В. Тендрякова и др.

Особое место в этом исследовательском ряду занимает С.Б. Борисов, создавший двухтомный «Энциклопедический словарь русского детства» (Борисов 2008), в котором наиболее важное место он уделяет, различным социокультурным практикам и реалиям, связанным с половозрастной социализацией детей и подростков. Невозможно не согласиться с И.А. Морозовым, который считает, что «Энциклопедический словарь русского детства» С.Б. Борисова «можно отнести к числу исследований, стремящихся к комплексному и целостному описанию культурно-исторического контекста той или иной эпохи, «истории

повседневности». На самом деле в отечественной науке пока очень немного работ такого рода. Что касается русской культуры, то близким аналогом данного издания можно считать серию энциклопедических словарей (Русский праздник 2001; Русский народ 2003; Мужики и бабы 2005 и др.), издаваемую Государственным Российским этнографическим музеем под общей редакцией И.И. Шангиной. Их отличительной особенностью является стремление к комплексному анализу культурно-бытового контекста от различного рода занятий и связанных с ними реалий до системы идеологических и мировоззренческих установок, определяющих круг чтения, оформление интерьера, мораль и многое другое (Морозов 2009:198). Рассматривая «Энциклопедический словарь русского детства» как «очень серьезный и важный вклад в «этнографию детства», хороший пример эффективного сочетания современных и традиционных источников и методов исследования, И.А. Морозов подчеркивает, что «ее актуальность и востребованность подтверждаются все возрастающим в последнее время вниманием научного сообщества к проблематике семьи и детства, поскольку именно в этих социальных институциях наиболее ярко отражаются общие тенденции развития современного постиндустриального общества» (Морозов 2009: 199).

Многочисленные исследования мира детства отечественными этнографами, этнологами и антропологами в целом представляют собой фундаментальный труд по истории и этнографии детства – труд, значение которого выходит далеко за рамки сугубо этнографических проблем. Психологи, педагоги, социологи, историки, практические работники находят в этих изданиях богатые материалы для своей работы. Вот мнение психолога: «Материалы эти имеют для психолога отнюдь не только теоретическое значение. Они обогащают его творческую фантазию эмпирическими данными, инициируют замыслы новых экспериментальных исследований в области обучения и воспитания детей, при изучении механизмов их психического развития, могут подсказать и конкретные методические приемы. Ведь история культур – своеобразный естественный эксперимент, апробирующий различные варианты развития психики ребенка, который, однако, нуждается в специальной рефлексии и моделировании на современном научном уровне. Пропущенные сквозь призму научного эксперимента, материалы эти придут и к психологу-практику, к педагогу, обогащая арсенал наших средств воздействия на личность ребенка. Впрочем, и в непосредственном изложении они интересны практическим работникам: знакомство с разнообразными методами воспитания и обучения позволит глубже осознать преимущества и недостатки тех методов, которые применяют в своей практике психолог и педагог» (Субботский 1984).

Доктор педагогических наук Ю. Азаров также высоко оценил исследования отечественных этнографов: «Этнографическая уникальность, пропущенная через научное знание, способна, сохранив свои особенности, служить всеобщему, обогатить общечеловеческую культуру. Своеобразие этнографического материала, <…> думается мне, в том, что он в чистом виде дает нередко такое первичное эмпирическое знание, которое самым неожиданным образом высвечивает всеобщее, по-новому ставит некоторые психолого-педагогические проблемы» (Азаров 1984: 267). Эти мнения как нельзя лучше определяют ценность, которую представляют для представителей разных наук социогуманитарного цикла исследования отечественных этнографов/этнологов по этнографии детства. Они также имеет и большое прикладное значение, помогая адаптировать современные методы воспитания и обучения к специфическим особенностям традиционной культуры народов, а

также сохранять и использовать ценные методы народной педагогики.

Благодаря научным достижениям отечественных этнографов/этнологов/антропологов – И.С. Кона, А.К. Байбурина, Т.А. Бернштам, С.Б. Борисова, В.В. Бочарова, Н.А. Бутинова, М.Л. Бутовской, И.А. Морозова, М.В. Осориной, С.Ю. Неклюдова, Т.Б. Щепанской и многих других постоянно растет научный интерес к теме детства у представителей самых различных направлений отечественной гуманитарной науки. Активно формируется междисциплинарный подход в исследованиях детства, возникший на стыке социальной, визуальной, исторической, философской этнологии/антропологии с остальными областями гуманитарного знания. Появились оригинальные отечественные исследования по истории русского детства, разрабатывается социология детства, эта тематика востребована при разработке самых различных проблем педагогики, культурно-исторической психологии, философии, физической антропологии, педиатрии, истории, конструировании образов детства в литературе, искусстве и в других социокультурных сферах.

В РГГУ активно и плодотворно работает семинар профессора С.Ю. Неклюдова «Культура детства: нормы, ценности, практики». Его основная тематика: детство в традиционных культурах; образы современного детства, визуальная антропология детства, эволюция понятия «детство», обряды детского цикла и ранняя социализация ребенка, антропология школы и школьная ритуальная практика, школьные и домашние обряды и уставы. Проблемная область исследований участников семинара необычайно широка и многогранна.

Проблемы для обсуждения на сессиях семинара формулируются следующим образом:

– основные проблемы отечественной и зарубежной антропологии, этнографии, истории и психологии детства; междисциплинарный подход в исследованиях детства, рождающийся на стыке социальной, визуальной, исторической, философской антропологии с остальными областями гуманитарного знания;

– современные направления исследования развития ребенка; неоднозначность понимания в различных культурах в различные исторические эпохи таких универсальных явлений как детство, взросление, семья, институт родительства, традиционные и новые стратегии социализации;

– детство в современном мире, а именно – отношения между поколениями; обучение и воспитание в многонациональных детских коллективах; воспитание толерантности; права ребенка; право общества вторгаться и регламентировать внутрисемейные отношения; молодежные субкультуры и их роль в жизни современного общества;

– образы детства в различных культурах и социальных средах (городская – сельская среда, различные регионы и страны, как индустриальные и постиндустриальные, так и аграрные и традиционные); соционормативная культура традиционного и современного общества (в том числе, ценностное отношение к ребенку); визуальная антропология детства;

– сохранение социокультурной идентичности в информационном обществе, передача культурных и поведенческих образцов в медиасреде, эволюция образов детства в условиях глобализации, «компьютеризация» детства, влияние новых компьютерных технологий на социализацию детей и подростков, детское информационно-культурное пространство, гендерная социализация в традиционной и современной культуре.

Участники семинара «Культура детства: нормы, ценности, практики» видят одну из основных целей данного научного сообщества в том, чтобы институализировать исследования детства как самостоятельное научное направление в системе российской

гуманитаристики, объединив под ее эгидой усилия ученых из разных областей: этнографов/этнологов/антропологов, психологов, социологов, фольклористов, историков, филологов, педагогов, культурологов.

Детство как историко-культурный феномен все более привлекает к себе внимание психологов, социолингвистов, фольклористов, филологов, социологов, культурологов и др. Его изучение сопровождается значительными методологическими сложностями и требует систематической междисциплинарной кооперации, междисциплинарного подхода, рождающегося на стыке многочисленных областей научного знания. В современной отечественной науке при исследовании детства используются различные методические подходы, связанные, прежде всего, с отношением к проблеме социализации ребёнка. Разнообразна и методология таких исследований: это и детальные монографические описания, массовые статистические исследования, исследования, опирающиеся на наблюдения, исследования комплексного типа и т. д. И совершенно правы те исследователи, кто утверждает, что «пока существуют дети на Земле как особое «сословие» в обществе, мир детства будет актуальной и важной проблематикой наук о человеке и обществе» (Неклюдов 2008).

Библиография

Абрамзон 1949 – Абрамзон С.М. (с материалами Н.П. Дыренковой). Рождение и детство киргизского ребенка // Сб. МАЭ XII. Л., 1949.

Азаров 1984 – Азаров Ю.Н. Рец. на: Этнография детства // Новый мир. 1984. № 7. С. 263–267.

Алексеев 1980 – Алексеев В.П. О различии синхронного и диахронного сравнения этнографических явлений / Фольклор и историческая этнография. М.: Наука, 1980.

Амитин-Шапиро 1946 – Амитин-Шапиро Э.Л. Верования и обряды, связанные с материнством и ранним детством // СЭ. 1946. № 4.

Аннаклычев 1961 – Аннаклычев Ш. Быт рабочих-нефтяников Небит-Дага и Кум-Дага. Ашхабад, 1961.

Арутюнов, Чебоксаров 1972 – Арутюнов С.А., Чебоксаров Н.Н. Передача информации как механизм существования этносоциальных и биологических групп человечества // Расы и народы. М.: Наука, 1972.

Арьес 1999 – Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при старом порядке / Пер. Я.Ю. Старцев, В.А. Бабинцев. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1999.

Байбурин 1991 – Байбурин А.К. Обрядовые формы половой идентификации детей // Этнические стереотипы мужского и женского поведения / Отв. ред. А.К. Байбурин, И.С. Кон. СПб., 1991. С. 257–265.

Бартрем 1912 – Игрушка. Ее история и значение / Ред. Н.Д. Бартрем. М., 1912.

Бернштам 1988 – Бернштам Т.А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX – начала XX в. Л.: Наука, 1988. 277 с.

Бесаева 1976 – Бесаева Т.З. Обряды и обычаи осетин, связанные с рождением и воспитанием ребенка (конец XIX – начало XX вв.). НА ИЭА РАН, 1976.

Богданов 1912 – Богданов В.В. К изучению игрушки: программные заметки // ЭО. 1912. № 1–2.

Богораз 1949 – Богораз В.Г. Игры малых народностей Севера // Сборник МАЭ. Т. XI. 1949.

Борисов 2002 – Борисов С.Б. Мир русского девичества: 70–90-е годы XX века. М., 2002.

Борисов 2006 – Борисов С.Б. Энциклопедический словарь русского детства. Щадринск: Исеть, 2006. 548 с.

Бромлей 1981 – Бромлей Ю.В. Современные проблемы этнографии (очерки теории и истории). М.: Наука, 1981. 390 с.

Бронфенбреннер 1977 – Бронфенбреннер У. Два мира детства. Дети в США и СССР. М.: Наука, 1977. 166 с.

Вайнштейн 1961 – Вайнштейн С.И. Тувинцы-тоджинцы. М.: Наука, 1961.

Василевич 1969 – Василевич Г.М. Эвенки. Историко-этнографический очерк. Л.: Наука, 1969.

Виноградов 1922 – Виноградов Г.С. К изучению народных детских игр у бурят. Программа. Иркутск, 1922.

Виноградов 1925 – Виноградов Г.С. Детский фольклор и быт. Программа наблюдений. Иркутск, 1925.

Виноградов 1926 – Виноградов Г.С. Народная педагогика. Иркутск, 1926.

Виноградов 1928 – Виноградов Г.С. Детские игровые прелюдии // СЖС: Вып. VIII. Иркутск, 1928.

Волков 1958 – Волков В.Г. Чувашская народная педагогика. Очерки. Чебоксары, 1958.

Волков 1966 – Волков В.Г. Этнопедагогика чувашского народа. Чебоксары. 1966.

Волков 1974 – Волков В.Г. Этнопедагогика. Чебоксары, 1974. 376 с.

Выготский 1932 – Выготский Л.С. Проблемы речи и мышления ребенка в учении. Критическое исследование // Пиаже К. Речь и мышление ребенка. М.; Л., 1932.

Выготский 1987 – Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Педагогика, 1987.

Галкина 1993 – Галкина Е.М. Этническая идентичность подростков из национально-смешанных семей. М.: ИЭА РАН, 1993.

Дети 1995 – Дети в обычаях и обрядах народов зарубежной Европы: В 3-х тт. М.: ИЭА РАН, 1995.

Дбар 1985 – Дбар С.А. Обычаи и обряды абхазов, связанные с рождением и воспитанием детей (вторая половина XIX – начала XX в.). М.: Архив ИЭ АН СССР, 1985.

Зеленин 1991 – Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М., 1991.

Игры народов 1985 – Игры народов СССР / Сост. Л.В. Былеева, В.М. Григорьев. М.: Физкультура и спорт, 1985.

Капица 1928 – Капица О.И. Детский фольклор. Песни, потешки, дразнилки, сказки, игры. Изучение, собирание, обзор материала. Л.: Прибой, 1928.

Кашуба, Мартынова 1997 – Рождение ребенка в обычаях и обрядах: страны зарубежной Европы / Ред. М.С. Кашуба, М.Ю. Мартынова. М.: Наука, 1997.

Комарова 1972 – Комарова Г.А. Традиции воспитания абазинских детей // Традиционная культура народов СССР. Л., 1972.

Комарова 1980 – Комарова Г.А. О понятии «этнопедагогика» в советской этнографической и педагогической науке // Изучение преемственности этнокультурных явлений / Ред. И.И. Крупник. М.: ИЭ АН СССР, 1980. С. 203–212.

Комарова 1981 – Комарова Г.А. Рецензия на: M. Koller, W. Oskar. Sociology of Childhood. Prentice Hall, 1978 // Расы и народы. 1981. № 11. С. 284–286.

Комарова 1982 – Комарова Г.А. Программа исследования «Проблемы социализации детей и подростков в современной Литве». М., НАИЭА, 1982. 38 с.

Комарова 1983 – Комарова Г.А. Игры современных литовских детей. М.: НАИЭА, 1983.

Комарова 1985 – Комарова Г.А. Рецензия на: «Этнография детства: традиционные формы воспитания детей и подростков у народов Восточной и Юго-Восточной Азии» / Отв. ред. И.С. Кон. М., Наука, 1983 // ЭО. 1985. № 2. С. 158–161.

Комарова 1986 – Комарова Г.А. Рецензия на: Игры народов СССР // СЭ. 1986. № 5.

Комарова 2004 – Комарова Г.А. Воспитание детей в первобытном обществе // Педагогическая энциклопедия. М.: Российская энциклопедия, 2004.

Комарова 2014 – Комарова Г.А. Этнография детства: междисциплинарные исследования. М.: ИЭА РАН, 2014.

Кон 1967 – Кон И.С. Социология личности. М.: Наука, 1967.

Кон 1977 – Кон И.С. Проблема детства в современной американской этнопсихологии: об исследованиях Беатрисы и Джона Уайтингов // СЭ. 1977. № 5. С. 148–158.

Кон 1978 – Кон И.С. Возрастные категории в науках о человеке и обществе // Социологические исследования. 1978. № 3. С. 76–88.

Кон 1981 – Кон И.С. Этнография детства (проблемы методологии) // СЭ. 1981. № 5. С. 3–14.

Кон 1983 – Кон И.С. (отв. редактор и соавтор). Этнография детства: Традиционные формы воспитания детей и подростков у народов Восточной и Юго-Восточной Азии. М.: Наука, 1983. 231 с.

Кон 1983а – Кон И.С. (отв. редактор и соавтор). Этнография детства: Традиционные формы воспитания детей и подростков у народов Передней и Южной Азии. М.: Наука, 1983а. 192 с.

Кон 1985 – Кон И.С. Этнография детства: состояние и перспективы // Вестник АН СССР. 1985. № 8.

Кон 1988 – Кон И.С. (ред. совм. с А.М. Решетовым). Этнография детства: Традиционные формы воспитания детей и подростков у народов Южной и Юго-Восточной Азии. М.: Наука, 1988. 190 с.

Кон 1988а – Кон И.С. Ребенок и общество: историко-этнографическая перспектива. М.: Наука, 1988а. 270 с.

Кон 1988б – Кон И.С. (ред. совм. с Ч.М. Таксами, соавтор). Традиционное воспитание детей у народов Сибири. Л.: Наука, 1988. 250 с.

Кон 1988в – Кон И.С. Этнопедагогика // Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы / Свод этнографических понятий и терминов. Вып. 2 / Под общ. ред. Ю.В. Бромлея, Г. Штробаха. М.: Наука, 1988.

Кон 1988г – Кон И.С. Маргарет Мид и этнография детства // Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения. М.: Наука, 1988.

Кон 1989 – Кон И.С. Психология ранней юности. М.: Просвещение, 1989. 255 с.

Кон 1992 – Кон И.С. (ред. совм. с Н.А. Бутиновым, автор). Этнография детства. Традиционные

формы воспитания детей у народов Австралии, Океании и Индонезии. М.: Наука, 1992. 191 с.

Кон 2003 – Кон И.С. Ребенок и общество. Учебное пособие для ВУЗов. М.: Академия, 2003.

Кон 2006 – Кон И.С. Междисциплинарные исследования. Социология. Психология. Сексология. Антропология. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 605 с.

Косвен 1935 – Косвен М.О. Аталычество // СЭ. 1935. № 2.

Косвен 1946 – Косвен М.О. Проблемы воспитания и психологии ребенка в свете этнографического материала // СЭ. 1946. № 2. С. 227–229.

Косвен 1948 – Косвен М.О. Авункулат // СЭ. 1948. № 1.

Киржинов 1975 – Киржинов С. Система воспитания адыгов – черкесов. Тбилиси, 1975.

Кузнецов 1981 – Кузнецов И.Д. Об изучении этнопедагогики чувашского народа / Вопросы историографии историко-этнографического изучения чувашей. Чебоксары: НИИЯЛИЭ, 1981. С. 114–130.

Кукаркин-Шапиро 1989 – Кукаркин-Шапиро А.З. Методологические проблемы детства в историко-этнографической перспективе // Вопросы психологии. 1989. № 3: 176–178.

Мид 1988 – Мид М. Культура и мир детства: Избранные произведения. М.: Наука, 1988. (Редактор-составитель и автор послесловия И.С. Кон).

Морозов 2009 – Морозов И.А. Рец. на: С.Б. Борисов. Энциклопедический словарь русского детства: В 2-х тт. Щадринск, 2008. Т. 1: А – Н. 520 с. Т. 2: О–Я. 520 с. // ЭО. 2009. № 3. С. 197–200.

Мухамбаева 1974 – Мухамбаева, А.Х. Национальные обычаи и традиции казахского народа и их влияние на воспитание детей и молодежи. М., 1974.

Осорина 1983 – Осорина М.В. Современный детский фольклор как предмет междисциплинарных исследований (к проблеме этнографии детства) // СЭ 1983. № 3. С. 34–35.

Осорина 1985 – Осорина М.В. О некоторых традиционных формах коммуникативного поведения детей // Этнические стереотипы поведения. Л.: Наука, 1985. С. 47–64.

Осорина 1999 – Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве взрослых. СПб., 1999.

Певгова 1939 – Певгова Л.В. Национальные игры детей народов Севера. Л.: Наука, 1939.

Петровский 1991 – Петровский А.В. Запрет на комплексное исследование детства // Репрессированная наука, Л.: Наука, 1991. С. 126–135.

Пещерева 1957 – Пещерева Е.М. Игрушки и детские игры у таджиков и узбеков // Сб. МАЭ. 1957. Т. XVII.

Покровский 1884 – Покровский, Е.А. Физическое развитие детей у разных народов, преимущественно России. М., 1884.

Покровский 1887 – Покровский Е.А. Детские игры, преимущественно русские (в связи с историей, этнографией, педагогикой и гигиеной). М., 1887.

Рейнсон-Правдин 1949 – Рейнсон-Правдин А.Н. Игра и игрушка народов Обского Севера // СЭ. 1949. № 3. С. 109–132.

Русский детский фольклор 1998 – Русский детский фольклор. От “вызываний” Пиковой дамы до семейных рассказов / Составитель – А.Ф. Белоусов. М., 1998.

Русские дети 2006 – Русские дети. Основы народной педагогики: Иллюстрированная энциклопедия / Авт. Д.А. Баранов, О.Г. Баранова, Т.А. Зимина и др. СПб., 2006.

Русские крестьяне 2005 – 2007 – Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Материалы «Этнографического бюро» князя В.Н. Тенишева. Т. 1–5. СПб., 2005–2007.

Русский народ 2003 – Русский народ. Будни и праздники: Энциклопедия / Авт.-сост. И.И. Шангина. СПб., 2003.

Русский праздник 2001 – Русский праздник: Праздники и обряды народного земледельческого календаря: Иллюстрированная энциклопедия / Авт. О.Г. Баранова, Т.А. Зимина, Е.Л. Мадлевская и др. СПб., 2001.

Рыкин 2005 – Рыкин П.О. Интервью редколлегии АФ // АФ. Специальный выпуск к VI КЭАР. СПб., 2005. С. 105–108.

Рюриков 1977 – Рюриков Ю.В. Дети и общество // Вопросы философии. 1977. № 4.

Сирина 1993 – Сирина А.А. Выдающийся этнограф и фольклорист Г.С. Виноградов (1887–1945) // ЭО. 1993. № 1. С. 115–128.

Смирнова 1962 – Смирнова Я.С. Воспитание ребенка у абхазов. КСИЭ XXXV. М., 1962.

Смирнова 1967 – Смирнова Я.С. Воспитание ребенка в адыгейском ауле // Уч. зап. Адыгейского НИИЯЛИ. Майкоп. 1967.

Стракач 1959 – Стракач Ю.Б. К вопросу о производственных традициях эвенков. КСИЭ АН СССР XXXVII. М., 1959.

Стракач 1962 – Стракач Ю.Б. Традиции трудового воспитания народов Таймыра в наше время // СЭ. 1962. № 3.

Стракач 1966 – Стракач Ю.Б. Народные традиции и подготовка современных промыслово-сельскохозяйственных кадров. Новосибирск, 1966.

Субботский 1984 – Субботский Е.В. История детства: этнография и психология // Вопросы психологии. 1984. № 3. С. 162–164.

Таксами 1967 – Таксами, Ч.М. Нивхи. Л., 1967.

Турсунов 1968 – Турсунов П. Таджикские национальные виды спорта и игры и их педагогическое значение. Душанбе, 1968.

Троицкая 1935 – Троицкая А.Л. Рождение и первые годы жизни ребенка у таджиков долины Зеравшана // СЭ. 1935. № 6.

Ушинский 1948 – Ушинский К.Д. Собрание сочинений. Т. 2. М.; Л.: АПН РСФСР, 1948.

Харузина 1991 – Харузина В.Н. Об участии детей в религиозно-обрядовой жизни // ЭО. 1991. № 1–2. С. 1–78.

Харузина 1912 – Харузина В.Н. Игрушка малокультурных народов // Игрушка. Ее история и значение / Ред. Н.Д. Бартрем. М., 1912.

Ширбаев 1957 – Ширбаев М.Ш. Роль народных традиций в воспитании культуры поведения у детей // Труды Узбекского гос. университета им. А. Навои. 1957. № 70. Самарканд.

Элашвили 1973 – Элашвили Э.И. Традиции грузинской народной физической культуры и современность. Тбилиси, 1973.

Эланго 1971 – Эланго А.Ю. О трудовом воспитании в эстонской народной педагогике // Единство национального и интернационального в коммунистическом воспитании. Орджоникидзе, 1971.

Эльконин 1978 – Эльконин Д.Б. Психология игры. М., 1978.

Эпштейн 1979 – Эпштейн М. Образы детства // Новый мир. 1979. № 12. С. 242–257.

Children 1991 – Children in Historical and Comparative Perspective. An International Handbook and Research Guide / Joseph M. Hawes and N. Ray Hiner (eds.) N.Y., Westport, Connecticut, London, 1991.

Gerd 1993 – Gerd K. Ethnographica. Helsinki, 1993.

Greenfeld 1988 – Greenfeld L. Soviet Sociology and Sociology in the Soviet Union // Annual Review Sociology. 14. 1988. P. 99–123.

Keith 1963 – Keith T. History and Anthropology // Past and Present. 1963. No. 24. P. 3–24.

Michalicka 1985 – Michalicka M. Pedagogika. Praha, 1985.

Whiting 1975 – Whiting B.B., Whiting J.W. Children of Six Cultures. A Psycho-Cultural Analysis. Cambridge, 1975.

Valsiner 1988 – Valsiner J. Developmental Psychology in the Soviet Union. Bloomington: Indiana University Press, 1988. P. 303–306.

Раздел III
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЭТНОЛОГИЯ КАК ПРАКТИКА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В.В. Степанов

Электронное этническое картографирование: теоретические и практические подходы

Академические понятия размещение / расселение народов, этническая территория, компактность / дисперсность / чересполосность возникли именно в результате картографического «взгляда» на объект исследования. Отечественные этнографы, воспитанные на учебниках и фундаментальных изданиях 1950–1960-х гг., просто обязаны были вести дискуссии (и вели их в 1970–1980-е) об этнографических «очагах», «центрах», «периферриях», «ойкуменах», «ареалах». Распространились академические клише и суждения типа «основная территория этноса или этнической группы», «своя территория», «за пределами своей территории», «переселение на территорию соседних народов». Терминология государственной статистики тех лет оперировала понятием «национальности СССР», за рамки которого были выведены сотни тысяч граждан страны, чья национальность была как бы чужой – немцы, греки, поляки и мн. др. (еще более 50 названий). Закономерен и термин «коренной народ / национальность», вошедший в лексикон современной политики.

Представления об «этнической территории» возникли не из теоретических рассуждений, и затем, как думают, это получило отражение на картах, а как раз наоборот – обобщенные карты с покрытой штриховкой территориями, составленные еще в XIX и начале XX вв., стали в дальнейшем основой академических обобщений. Логика и строгость картографического «изложения» и по сей день требует определения «этнических иерархий», т. е. определения того, как те или иные этнические категории соподчиняются между собой и каковы между ними территориальные границы, даже если таких соподчинения и границ в действительности нет или они трудно различимы. Таковы легенды карт, опубликованных не только 10–20 лет назад, но и публикаций, которые еще только готовятся к тиражированию. Характерным в этом отношении является пример «Атласа народов России», представленный автору данной статьи для рецензирования. В этом атласе есть и «этносы», и «субэтносы», и четкие пространственные «границы» между ними. Глядя на такие выверенные «подробные» карты, начинает казаться, что так называемые этнические территории, несмотря на чересполосицу, действительно могут быть обозначены с большой точностью. Это порождает иллюзию географической разделённости этнических групп, что в подавляющем большинстве случаев не соответствует действительности.

Как известно, уровень картографической подробности напрямую определяется техническими возможностями картографирования. До появления компьютеров технические возможности были слабыми, поэтому даже современные этнографические карты, выполненные по старинке, страдают излишним обобщением и не могут отразить

этнокультурное многообразие населения. Поскольку карта воспринимается как самостоятельный и ответственный источник информации и служит стимулом для развития научных понятий и концепций, очень важно перейти от упрощенных («по техническим причинам») схем к более совершенным изображениям.

По мере совершенствования компьютеров, коренным образом улучшаются технические возможности этнического картографирования. По сути, в этнографическом картографировании сегодня происходит тихая революция, ведь электронная карта, сохраняя и даже повышая уровень подробности, способна теперь отражать и неопределенные состояния, столь характерные для этнической идентичности.

Помимо изменчивости собственно феномена этнической идентичности, связанного, как известно, с динамикой брачных отношений, миграциями, демографическими переменами, политикой властей, ассимилятивными явлениями и иными причинами, неопределенность этнического состава населения происходит еще и от трудностей статистического учета. В исторической ретроспективе практически любой регион России отражен в статистических сводках различного происхождения – это и переписи, и всевозможные варианты текущего учета, и частные обследования. Не будет преувеличением сказать, что разнородные источники статистической информации об этническом составе населения в значительной мере несопоставимы из-за различных методик учета и несовпадения представлений тех, кто проводит учет, об объектах учета. В результате по различным временным интервалам и территориям картографы имеют, как правило, разнородную и разнокалиберную информацию, именуемую собирательно «статистические данные об этническом составе населения». Бумажные карты практически не учитывали нестыковку информационных ресурсов и зачастую попросту принимали их на веру, как бы исходя из того, что все источники, преподносящие «цифру», верны. Некий усредненный вариант, отраженный на карте, являл собой упорядоченную «этническую реальность». Такая «реальность» оказала недобрую услугу нашему обществу, когда с распадом СССР амбициозные политики разыгрывали по таким картам свои сценарии национального «самоопределения» и «отделения».

С появлением компьютера подробность электронного изображения теперь зависит не от толщины чертежного пера и масштаба картографического листа, а от подробности и точности источника информации (статистической или иной). Если данные разнородны и несопоставимы по объективным причинам, то и серия электронных картографических слоев в состоянии целиком отразить сей факт. Если сведения об этническом составе населения даны по субъектам Российской Федерации (высокий уровень обобщения), то в этом случае можно создать грубую (генерализованную) схему, и такая схема легко поместится на машинописном листе. При картографировании данных в разрезе административных районов, а их в России тысячи, для печати на бумаге не хватит и объемистого географического атласа. Но и в этом случае, полученные изображения останутся довольно грубыми. Если же использовать в качестве первичной информации сведения об этническом составе жителей населенных пунктов, тогда карты соответствующей подробности невозможно напечатать из-за их огромного количества. А вот компьютерная этнографическая карта России может быть сколь угодно подробной.

Факторы, определяющие варианты электронного картографирования этнического состава населенных пунктов, находятся в непосредственной зависимости от типа расселения и длительного существования этих населенных пунктов во времени (повторяемость в данных, представляющих

различные временные срезы). Компактные группы имеют больше шансов сохраниться. Характер соседства с «иноэтническим» окружением существенно влияет на темп укрупнения, дробления, упразднения населенных пунктов, в которых проживает этническое меньшинство. При этом картина расселения отражает многие социальные процессы, происходящие в локальной общности, такие, например, как миграция.

В отечественной этнологии под расселением этнической общности чаще всего понимают взаимное расположение населенных пунктов, где проживают представители данной общности. Конкретный принцип взаиморасположения относится к определенному типу расселения. Чаще всего различают сплошное (непрерывное на какой-то территории) расселение, чересполосное, очаговое (ареальное) и точечное. Эти термины возникли из эмпирических исследований и существуют в науке конвенциально. Между тем нет жестких критериев, отличающих один термин от другого.

Наблюдая то или иное территориальное размещение населения, относящегося к конкретным этническим категориям, мы стремимся понять, насколько сложно или, наоборот, легко этим людям между собой общаться. Что означают эти контакты? По сути – обменные процессы самой различной природы: биологической, социальной, экономической, культурно-бытовой. Направления потоков информационного взаимодействия также очень различны: «сообщения» могут происходить синхронно (то есть «ежедневно», «рутинно» между членами общности) и диахронно (от поколения к поколению). Те же потоки распространяются «горизонтально» (от соседа к соседу) и «вертикально» (управленчески). Заметим также, что внутриэтническое взаимодействие может воплощаться во множество форм (посредством разных материальных и «смысловых» носителей информации) и нести на себе бремя самых разнообразных функций. Все это означает, что даже небольшая этническая общность представляет собой информационную сеть с очень сложной структурой.

Даже сравнительно небольшие этнические общности расселены на десятках и сотнях тысяч квадратных километров. Это означает, что от характера занимаемой территории во многом зависит качество информационного обмена, и вообще прочность связей. Дисперсная этническая общность со слабым внутренним обменом более подвержена разрушительным воздействиям.

Удобно оценивать устойчивость групп, руководствуясь принципиальной моделью расселения.

В разных отраслях науки существует множество моделей территориальных систем. Для целей экспертизы наиболее удобны эмпирические модели, созданные популяционными генетиками (Жизнеспособность популяций 1989). Причин тут несколько. Во-первых, миграция генов – важнейший атрибут демографического воспроизводства этнической общности. Во-вторых, модели «дрейфа» генов появились именно как результат изучения процессов обмена, тогда как другие концепции расселения (например, большинство моделей территориальных систем в географии) возникли на основе анализа пространственной морфологии объектов.

В популяционной генетике различают три вида территориальной изоляции: серия соседств, плавно переходящих одно в другое; ступенчатые взаимосвязи; изолированные острова. Под соседствами подразумеваются территориально примыкающие друг к другу популяции без жестких границ. Это характерно и для этнической общности с непрерывным (сплошным) географическим расселением. Любые взаимосвязи в ней, начиная с брачных, если рассматривать большую статистическую совокупность индивидов, чаще всего действуют по принципу ближайшего соседства. Чем дальше члены

общности проживают друг от друга, тем, как правило, меньше взаимных контактов между ними.

Второй вид расселения – ступенчатая взаимосвязь – возникает в ситуациях, когда популяция состоит из отдельных пятен – субпопуляций. Внутри пятен взаимосвязь осуществляется как в первом случае – по принципу ближайшего соседства, или вообще с равновероятной возможностью (вне зависимости от расстояния), а между пятнами взаимосвязи менее регулярны и убывают с расстоянием.

Третий вариант – это островная модель, представляет собой изолированную популяцию, внутри которой контакты не ограничены расстоянием.

Простота перечисленных вариантов расселения позволяет использовать их применительно к картографическим ситуациям и локальным группам населения.

МОДЕЛЬ I. «Точечное соседство» или «этнокультурная непрерывность». Этническая общность расселена более или менее равномерно в пределах конкретного ареала. Ограничением контактов между членами общности служит расстояние (модель с изоляцией расстоянием).

Фактически это двумерная модель и информационные процессы, происходящие в ней, можно представить в плоской системе координат.

МОДЕЛЬ II. «Очаговое соседство» или «расселение группы несколькими ареалами». Общая схема расселения группы в данном случае представляет собой отстоящие друг от друга достаточно отчетливые очаги («колонии», «локальности», «кусты»), между которыми частота взаимосвязей носит ступенчатый характер, то есть локальные связи преобладают над межлокальными. Внутренние (внутри очагов) связи рассматриваются как равновозможные (расстояние на них не влияет), а контакты между очагами осуществляются по принципу изоляции расстоянием как в модели I.

МОДЕЛЬ III. «Остров». Этническая общность в значительной степени изолирована от внешних контактов, внутри общности контакты статистически равновероятны вне зависимости от расстояния.

МОДЕЛЬ IV. «Очаговое расселение с избирательными контактами». Взаимодействие между локальными очагами общности зависит не только от расстояния, но и от размеров занимаемой территории или шире – «емкости» мест заселения.

Сложнее обстоит дело, когда сосуществуют малые и крупные очаги в модели II. Внешне это выглядит как соседство мелких и относительно крупных локальных групп, т. е. фактически это отдельная модель. Контакты между очагами осуществляются избирательно. При этом нередко малые локальные группы предпочитают дальние контакты с большими группами, нежели с близко расположенными такими же малыми. Они же, как известно, быстрее ассимилируются в иноэтническом окружении.

В то же время большие группы интенсивнее взаимодействуют между собой по моделям II и III, а не с малыми группами, хотя последние могут быть территориально ближе. Характерных примеров на сей счет довольно много. Так, находясь в иноэтническом окружении вепсы Вологодской области (Бабаевский район) в брачном отношении довольно мало взаимодействуют на межселенном уровне, однако в направлении районного или областного центра такие связи более активны. Похожая ситуация наблюдается среди татар-мишарей Сергачского района Нижегородской области, татар в Рязанской области и др. В результате создается система центров и периферии, и общая тенденция такова, что малые группы физически исчезают, распадаясь или поглощаясь большими или иноэтническим окружением.

Иерархическая модель избирательных внутриэтнических контактов еще ближе подводит нас к действительности. Она в

значительной степени отражает процессы, происходящие в общностях, имеющих свои «филиалы» в сельской и городской среде. Возьмем в качестве примера вепсов. Часть их расселена мелкодисперсно и мелкоочагово в сельской местности, часть – в районных центрах, а также в Петрозаводске и Санкт-Петербурге. Мелкие сельские очаги, как правило, чаще ориентируются на контакт с соплеменниками-горожанами, нежели между собой.

Перечисленные модели, конечно, довольно условны, однако они удобны для постановки задачи картографирования социокультурного взаимодействия. В качестве фактора ограничения контактов в этих моделях можно использовать не только понятие «территория» в буквальном смысле, но и вообще самые разные свойства разделяющих сред. Ограничение расстоянием – это простейший случай. В реальной жизни действует еще множество «ограничителей» – инокультурная среда, политические границы, социальная стратификация и проч., не говоря уже о физических препятствиях. Представим, что модель I – это модель национально-смешанного города, где переселенец ищет «контакт» со своими соотечественниками. Вероятность успеха его деятельности во многом зависит от численности иноэтнического большинства.

Чем выше доля этого большинства, тем меньше вероятность установления контакта со «своими». Точно также и в других двух моделях – разделительной средой может служить не только физическое пространство, но и инокультурное окружение. В реальной жизни одновременно действует комплекс разделительных факторов. Ассимиляция малой поселенной группы в этих условиях весьма возможна (центробежный распад общности). И наоборот, в резко отличной или даже в агрессивной инокультурной среде количество внутригрупповых контактов максимально, что, в частности, характерно для сообществ с недавним мигрантским прошлым (например, сельские группы казахов на юге Урала).

Для создания электронных этнографических карт высокой подробности требуются новые технологии. Но пока в отечественной этнологии нет ни принципов, ни методики электронного картографирования. Отсутствуют готовые рецепты создания электронных карт аналогичной тематики и в зарубежных дисциплинах. Примеры электронных публикаций довольно редки (Aasax 2003; Цуциев 2006), а исследования в этом направлении представляют собой пока что очень спорные результаты.

Перспективными представляется подходы нового поколения отечественных и зарубежных географов. Под новым поколением в данном случае подразумевается не столько физическая молодость упоминаемых исследователей, сколько тот социально и культурно ориентированный взгляд, который со второй половины 1990-х стал все более привлекательным для этой смежной и даже родственной для этнографии дисциплины. Приведу лишь несколько примеров. В диссертационной работе С.А. Караваева «Этногеографические процессы на Кавказе в XX в.» (Караваев 2006) исследуется проблема выявления пространственных закономерностей и взаимосвязей между этническими, социально-демографическими и политическими процессами. Естественно, исследование было сопряжено с большим количеством карт, в т. ч. карт высокой степени подробности, анализ которых позволяет по-новому взглянуть на культурно-географические явления (такие как изменения этнического состава жителей целых ареалов за исторически кратковременный период), более адекватно интерпретировать современные процессы общественно-политического устройства как в российской части Кавказа, так и в его зарубежном секторе. В серии подробных картосхем, но отнюдь не упрощенно, предстает этномиграционная картина последних десятилетий по обе

стороны Кавказского хребта. Сочетание локальных вариантов картографирования демографических и этнических показателей, а также социально-экономических данных посредством системы точных («очаговое соседство») и размытых ареалов придает подобного рода пространственным исследованиям далеко не только наглядность и ощущение полноты и разносторонности взгляда. Благодаря такому системному и в то же время детализированному подходу читателю становится понятно, почему миграционное неподвижное в недавнем прошлом население Азербайджана со второй половины 1990-х «вдруг» превратилось в одну из самых мобильных категорий мигрантов в странах бывшего СССР; почему столь интенсивен приток из Закавказья армян не вообще на Северный Кавказ, а именно в определенные его районы; почему затормозился объем миграционных перемещений населения Грузии, хотя в советское время эта республика была одним из самых активных очагов миграции.

Продолжительный период, начиная со времен первой всеобщей переписи 1897 г. и до конца 1950-х гг., представлен в виде серии аналитических описаний всех субрегионов по обе стороны Кавказского хребта. Интересным является показанный автором процесс формирования и пространственной перегруппировки условно выделяемых категорий населения – местного и пришлого. Миграционный приток в 1920–30 гг. в значительной степени состоял из русского населения, частично – украинского. В некоторых предкавказских регионах «славянизация» произошла уже в последней четверти XIX века. На том историческом этапе сформировались все основные «национальные» территории, которые в советские годы обрели статус автономий. В пределах кавказских автономий расселение русских мигрантов было редким, значительная масса концентрировалась в городах. Но славянская городская среда имела и сельскую округу («мелкоочаговое соседство»), и сельскую периферию («острова»). Традиционными методами картографирования такую систему этнической «интрузии» показать трудно, даже невозможно без специальных комментариев в сопроводительном тексте. Однако электронный вариант представления пространственных данных позволяет это сделать в виде наглядной модели. Скажем, применительно к ситуации в Кабардино-Балкарии, ареальные очаги славянского (в основном русского) населения в Майском районе этой республики в «доступном отрыве» от локального, но вместе с тем крупного очага – столичного города Нальчик. Такая ситуация расселения отражается в серии картографических электронных слоев в виде временных срезов с интервалом в 10–12 лет, начиная с 1950-х гг. Последовательная презентация этих слоев (компьютерная анимация) позволяет увидеть первоначально кристаллизацию славянского расселения в упомянутом районе, далее – поредение сети сельских поселений и частичное перетекание в направлении столичного очага, а позднее уменьшение и этого очага. Процесс разрежения сети русских поселений продолжается в республике по сию пору.

Картографируя подобные процессы в совокупности с экономическими и административно-политическими, выявляя за счет сопряжения картографических слоев различные факторы, влияющие на изменение доли славянского населения в составе жителей административных территорий, Караваев приходит к выводу о возможности разработки региональной типологии, фактически – районирования Кавказа по признакам моно- или полиэтничности жителей. Замечу: получившаяся типологическая схема на основе исторических данных в значительной степени совпадает с картиной отлива славянского населения из регионов Кавказа на современном этапе. Со времен советской индустриализации и до

1970-х гг. автором выявлен «цикл усиления», а затем «спада» этнической мозаичности многих кавказских территорий, прежде всего, закавказских республик и северокавказских автономий. И действительно, с 1980-х гг. до настоящего времени процессы, происходящие там, более всего напоминают моноэтнизацию. В то же время в русской части Кавказа, т. е. на Ставрополье, в Краснодарском крае, в Ростовской области этническая мозаичность на современном этапе нарастает. Все эти сложные процессы необходимо показывать «динамическими» средствами, так как их нельзя отразить традиционными картографическими «штрихами» и «заливками». А неспособность картографического отражения превращает карту не только в упрощенную иллюстрацию, но и в источник искаженных данных, поскольку на ее основе нельзя строить гипотезы и получать новую информацию.

Исследователи, также заслуживающие упоминания как новаторы в сфере прикладного научного картографирования культурных явлений, – А. Гуня, Я. Кёлер и К. Цюрхер (Гуня и др. 2008). Привлекая обширную научную базу по кавказским и азиатским материалам, они осуществили исследование природы общественного конфликта в его локальных формах проявления и для достижения своей цели применили серию приемов подробного картографирования компонентов конфликта, в том числе его культурных и социальных предпосылок. В итоге получились карты нового типа – не иллюстрации, а источники анализа. На этих картах местные общественные противоречия рассматриваются в совокупности с оценкой пространственного сопряжения условий и факторов этих противоречий. Такой подход позволил авторам перейти на новый уровень (точнее, опуститься на более подробную ступень видения проблемы). Между тем, современная конфликтология и у нас в стране, и на Западе все еще тяготеет к анализу общественно-политических факторов напряженности на уровне региона, государства или в международном масштабе. Соответственно картографические материалы при таком подходе могут носить только лишь иллюстративный, обобщающий (схематизирующий) характер.

Конфликтная ситуация, по мысли авторов, представляет собой не что иное, как системное проявление хозяйственно-культурных и управленческих процессов, сложившихся в рамках конкретного территориального ареала, а также частично – за его пределами. Авторы показывают, что, применяя картографический метод в качестве классификационного способа обобщения «местного» материала, среди массы событий возможно выявить системообразующие факторы, и далее сосредоточить исследовательские усилия именно на этих факторах. Авторы ставили перед собой нелегкую задачу: методом полевых исследований общественного конфликта, абстрагируясь от частных житейских стратегий его участников, попытаться представить в возможно полном объеме характер межгруппового, а не индивидуального взаимодействия. Система таких взаимодействий, как правило, имеет свои пространственные закономерности и свою эволюционную логику, но до сего времени другим исследователям не удавалось настолько убедительно представить эту систему в двумерном картографическом измерении. Группировка исходных полевых данных позволила авторам выявить именно тот уровень обобщений, который позволяет составить «портрет» конфликта, выраженный и в сочетании природно-хозяйственных объектов, и в системе социальных отношений.

Метод авторов сродни схематизирования предпосылок и процессов конфликта, распространившемуся в науке, начиная с так называемого треугольника конфликта И. Галтунга (Galtung 1969). Стремление экспертов-конфликтологов оценить текущее состояние конфликта и найти рецепт для его

урегулирования привело к появлению логических схем (их даже называют «картами»), на которых исследователи пытаются отразить важнейшие, с их точки зрения, предпосылки и противоречия и на основе таких схем осмыслить сумму различных фактов, составляющих «тело» конфликта. Нет нужды говорить о том, что создание так называемых блок-схем, якобы раскрывающих причинно-следственную логику конфликта, в большинстве случаев представляет собой не что иное, как умозрительные построения. Сама по себе ситуация конфликта, как правило, не укладывается в одну или две парадигмы, представленные к тому же в виде «квадратиков» и «стрелочек». Задача схематизирования оказывается тем сложнее (и невыполнимее), чем более подробный уровень анализа избирает исследователь. А. Гуня, Я. Кёлер и К. Цюрхер предложили нечто новое – вместо анализа умозрительных блок-схем они делают попытку «по-настоящему» картографировать, т. е. буквально отразить на подробных картах, говоря военным языком, всю полноту оперативной обстановки: базовые условия и предпосылки конфликта, диспозицию «игроков», а также многие детали, включая этническую принадлежность отдельных домохозяев. Конфликт и его составляющие приобретают, таким образом, наглядное пространственное измерение. Авторы показали, что для понимания сути процесса требуется схематизировать не только «ментальные предметы разногласий», но и вполне конкретные географические объекты, причем имеется возможность использования новейших технологий глобальной спутниковой навигации даже в тех условиях, в которых мониторинг конфликтной ситуации по той или иной причине затруднен (авторы приводят пример отдаленного горного района в Афганистане). На этой основе появляется возможность анализировать принципиально новые данные о конфликте, связанные с территориальной сопряженностью стимулирующих его факторов. Благодаря данному исследованию, построение конфликтологической модели становится еще более достижимой научной целью.

И все же достижение цели электронного картографирования этнографических явлений с высокой степенью подробности сопряжено со значительными трудностями. Для их преодоления, прежде всего, необходим выбор значительного исторического интервала, иными словами, необходим диахронный подход в создании электронных карт (в этом их сила, но и одновременно – слабость из-за неполноты исходных данных). Диахронный подход – важнейший принцип данного вида картографирования. Этническая статистика (а также любая другая информация об этническом составе населения) всегда сопряжена с неточностью, нерегулярностью и неполнотой данных. Погрешности первичной информации возрастают при уменьшении территориальных единиц наблюдения. Т. е., если информация представлена на уровне административных районов, то от переписи к переписи вероятность радикального изменения этнического состава жителей из-за ошибок учета низка. А на уровне отдельных населенных пунктов, особенно небольших, вероятность погрешности повышается. Опыт показывает, что карты с обозначением этнического состава жителей сети мелких поселений не обладают высокой достоверностью, если основываются на данных только одной переписи.

Возможен дробный способ картографирования, условно именуемый «лоскутным». Смысл его заключается в том, чтобы выявить по какому-либо критерию территории вокруг населенных пунктов, т. е. как бы принадлежащие этим населенным пунктам. Такая территория, как правило, входит в понятие «хозяйственная округа» или «жилая округа» и представляет собой многоугольник сложной конфигурации, часть площади которого, чаще всего меньшую, занимает площадь самого населенного пункта, а большую часть покрывает площадь земель-

ных угодий и ближайших к населенному пункту территорий, используемых местным населением в хозяйственных целях. Такие ареальчики – «лоскутки», имеющие общие (смежные) границы должны покрывать все заселенные районы за исключением труднодоступных мест. Тем не менее, и этот способ отражения этнокультурной ситуации оказался не вполне удобным, поскольку выявление границ хозяйственной округи сопряжено с большими дополнительными исследованиями и сбором подробной землеустроительной информации. В итоге предпочтение следует отдать точечному методу картографирования, т. е. оцифровке на электронной карте профилей застройки населенных пунктов. Для этого в качестве источника информации применяются карты масштабов 1 : 200 000 и 1 : 100 000. Однако для целей отражения качественных вариаций исследуемых характеристик, в частности, этнического состава населения, точечный метод оказывается самым неудобным, поскольку получаемые при оцифровке ареалы не только примитивны по конфигурации (чаще это неправильной формы многоугольники), но и очень малы по своим линейным параметрам. Соответственно, картографическая нагрузка, как-то штриховка, отмывка, заливка таких ареальчиков практически невыполнима. Неизбежным становится дополнение к цветовой или тоновой раскраске специальных значков, определяющих этническую принадлежность жителей данного населенного пункта.

Тем не менее, выбранный вариант картографирования представляется наиболее приемлемым в том случае, если диахронно устойчивой является общность с расселением, соответствующим модели IV (иерархическое соседство). В этом случае принципиальные возможности различны для конкретных вариантов.

Как показывают наблюдения, наиболее устойчивыми оказываются комбинированные варианты расселения. Перечислим их в порядке усиления «жизнеспособных» свойств: «Остров» или большой очаг в пределах мелкодисперсного ареала (I + III); «остров» или большой очаг среди мелких групп (III + IV; IV); «остров» или большой очаг среди мелких локальных групп и в пределах мелкодисперсного ареала (почти иерархическая система расселения) (III или IV + I + II). Такие сочетания «жизнеспособных», т. е. существующих в течение длительного времени поселенческих ареалов уместнее реализовывать в послойных моделях «лоскутной» и «точечной» комбинации картографирования.

Библиография

Гуня и др. 2008 – Гуня А., Кёлер Я., Цюрхер К. Эмпирические исследования локальных конфликтов. Ч. 1. Введение в методологию и методы полевых исследований. М., 2008.

Жизнеспособность популяций 1989 – Жизнеспособность популяций. Природоохранные аспекты. М., 1989.

Караваев 2006 – Караваев С.А. Этногеографические процессы на Кавказе в XX в. / Рук. дисс. на соиск. уч. степ. канд. геогр. наук (25.00.24 – Экономическая, социальная и политическая география). М., 2006.

Панин 2005 – Панин А.Н. Атласная информационная система «Этнодемографические процессы в Ставропольском крае». Автореф. канд. дисс. Ставрополь, 2005.

Цуциев 2006 – Цуциев А. Атлас этнополитической истории Кавказа. М., 2006.

Atlas 2003 – Lalas du Monde diplomatique. Paris, 2003.

Dowdle 1991 – Dowdle N.B. Ecological Constraints and Demographic Adaptation in the Liangshan Yi Autonomous Prefecture of China (Ethnic Minorities) / Ph. D. Dissertation, University of Hawaii (USA), 1991.

Galtung 1969 – Galtung J. Conflict as a Way of Life // Progress in Mental Health, 1969.

L'Huillier 1989 – L'Huillier M.-A. The Metropolitan Concentration of Minorities in the United States and Britain / Ph. D. Dissertation, University of Washington (USA), 1989.

Shu 1989 – Shu J. Minority Nationalities in China: Their Social Formation, Geographical Location, and Differentiation from the Han Majority / Ph. D. Dissertation, The University Texas at Austin (USA), 1989.

Н.А. Дубова

Как описать развитие отечественных исследований по физической антропологии: синусом, арксинусом или интегральным синусом?

Как поется в некогда популярной песне, «без расставания не было бы встреч», так и серьезные подъемы того или иного явления обычно сменяются замедлением развития, а часто и резкими падениями. Эти закономерности описываются, как правило, спиралью, т. е. постепенным подъемом явления на более высокий уровень. Но многие циклические процессы скорее соответствуют синусоиде – т. е. сменяющими друг друга взлетами от некоей «нулевой» точки, а затем падениями с точки наивысшего развития сначала до того же «нуля», а потом и ниже. Синусоидальное изменение какой-либо величины называется еще и гармоническим колебанием, которое тесно связано с волновыми процессами. Какое-то явление может, конечно, и постоянно развиваться, не задерживаясь, тогда его можно описать скорее функцией арксинуса. Но если процесс сначала находится на подъеме, бурно развивается, а затем переходит в стадию то ускорения, то замедления, колеблясь и стремясь к некоей прямой, то таковая закономерность ближе всего к графическому выражению интегрального синуса. Этим закономерностям подвержены не только природные, но и социальные процессы, хотя конечно, их развитие редко можно назвать, например, гармоничными колебаниями.

Критерием восходящего или нисходящего развития области знания (в нашем случае физической антропологии) могут быть количественные оценки числа исследовательских центров, самих специалистов, публикаций, а также модное в наши дни (и, с моей точки зрения мало о чем говорящее, кроме как о корпоративном сговоре и/или финансовом положении оцениваемого) число цитирований. Бесспорно, более весомым является качественная сторона научных разработок, в том числе проблематика, охват возможных «болевых точек» направления, профессионализм в применении методов и т. д. Этот критерий формализовать крайне сложно, т.к. только специалисту понятно, насколько полно в той или иной работе затронута проблема, на все ли имеющиеся факты и данные опираются выводы, известны ли автору другие исследования на близкие темы и т. д. Да и стоит ли вообще лирику оценивать «весомость» труда «физика» и наоборот?! Тем не менее, считая себя уже несколько десятков лет причастной к развитию отечественной антропологии, все же попытаюсь в самых общих чертах охарактеризовать ее современное положение. Одно из изречений Конфуция звучит так: «Если название не соответствует сути, то и со словами неблагополучно. Если со словами неблагополучно, то и дела не будут ладиться. Когда дела не ладятся, то правила и музыка недейственны. Если правила и музыка недейственны, то и наказания не достигают своей истинной цели. А когда наказания не достигают своей истинной цели, то народ не знает, как с пользой распорядится силой своих рук и ног. Поэтому благородный муж, вводя названия, должен произносить (объяснять, растолковывать) их правильно. А то, что произносит, непременно осуществлять. В словах благородного мужа не должно быть и грана неточности» (Конфуций. Лунь Юй. XIII глава. § 3 – Переломов, 1998: 88). С этим нельзя не согласиться, учитывая, в том числе и современное состояние научного знания, поэтому уделю некоторое внимание самому термину.

Вопросы о том, когда и как начала оформляться отечественная антропология, история изменения смыслового значения и употребления термина рассматривались многими исследователями, в том числе и автором данной статьи (*см., например*: Бэр 1822; Тэйлор 1882; Вишневский 1928; Бунак 1941: 5–12; Левин 1946; Левин, Рогинский 1955; Рогинский, Левин 1963, 1979; Рогинский 1966; Алексеев 1972, 1979, 1989; Акинщикова 1973: 3; Зубов 1982; Дубова 1983, 2011: 299–302; Дерягина 1994: 4; Хрисанфова, Перевозчиков 1991, 1999: 6–7; Хомутов 2002: 3–4; Тегако, Марфина 2003: 3–5; Эванс-Причард 2003; Харитонов и др. 2004: 4–5; Тегако, Кметинский 2004: 4–5 и др.). Поэтому здесь останутся в стороне даже упоминания о разных значениях этого термина. Но нельзя не задать вопрос о том, стоит ли употреблять один и тот же термин для обозначения разных научных направлений и их совокупностей? Каждая сторона, видимо, будет приводить свои доводы «за» и «против». Увы, но прекрасное предложение Б.Г. Ананьева, обосновавшего, в частности, необходимость интеграции научных дисциплин и междисциплинарных связей для изучения целостной, комплексной концепции человека, о введении для описания этого интегрированного знания вместо термина «антропология» более широкого – «человекознание» (Ананьев 1977), не получило ничьей поддержки. Как было не раз показано, сам термин переживал и периоды расширительного, и периоды «суженного» понимания. Сейчас явно имеет место широкое его толкование. Характерно также, что, пытаясь противодействовать смысловой замене термина, сами «биологические» или «физические» антропологи все чаще резко сужают предметные границы своей специальности, подчеркивают сугубо биологические ее интересы. Не всегда текстуально, но нередко фактически игнорируются исследования антропологических общностей, сформированных на основе социальных связей. Исследователи по какой-то причине на деле стараются дистанцироваться от работ, затрагивающих пограничные с гуманитарными науками проблемы, хотя в даваемых определениях подчеркивают специфику науки по сравнению с другими биологическими дисциплинами. Но «оторвать» от человека его социальность также невозможно, как и игнорировать биологические процессы, как в организме самого человека, так и в человеческих популяциях. Как представляется, под антропологией надо понимать отрасль знания, опосредствующую «переход от морфологии и физиологии человека и его рас к истории» или науку «о человеке как биологическом виде: его происхождении и биологической изменчивости во времени и пространстве» (Хрисанфова, Перевозчиков 1999: 7), иными словами науку на стыке гуманитарных и естественных наук.

Автор данной статьи ни в коей мере не претендует на какой-либо охват и анализ всех антропологических работ, ведущихся в России. Задачи намного скромнее – наметить современные направления и тенденции развития исследований в этой области знания прежде всего тех проблем, которые касаются изучения разнообразия человеческих популяций, образующихся в связи с социально-культурными общностями.

Для того чтобы понять, куда мы ныне движемся и движемся ли, наверное, стоит все же сказать, хотя бы вкратце, кто такие «мы» и что было «до нас». Если принять за поколение биологически стандартные 25 лет, то словом «мы» можно объединить не менее трех ныне трудящихся на ниве антропологии поколений: старшее, среднее и молодое. Старшие коллеги – это наиболее молодые специалисты из тех, кто уже имел отношение к науке в 1960-е – середине 1980-х годов, а младшие – те, которые начали свои исследования на рубеже тысячелетий, т. е. в 2000-х гг. Именно к 1960-м годам, благодаря подвижническим усилиям

многих ярких фигур, отечественная антропология, так же как этнография и археология, создала общую картину антропологического разнообразия страны во времени и пространстве. Причем, надо отметить, что проработка многих вопросов была намного глубже, чем это было сделано для других частей света. Свидетельством этому такие серии как 20 томов «Археологии СССР» под общей редакцией Б.А. Рыбакова (http://archaeolog.ru/?id=117), 18 книг серии «Народы мира. Этнографические очерки» под общей редакцией С.П. Толстова (http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/''Narody_mira._Etnograficheskie_ocherki''/_''Narody_mira''.html), а также фундаментальные публикации результатов Русской антропологической под редакцией В.В. Бунака (Происхождение 1965), Прибалтийской комплексной под редакцией М.В. Витова и Н.Н. Чебоксарова (Этническая антропология 1959), Киргизской комплексной археолого-этнографической экспедиции (т. 1–5) и др.

Эти исследования, казалось бы, заложили прочный фундамент для дальнейшего совершенствования знаний об истории развития как культуры человечества, так и его биологических особенностей. Но уже в 1970-х (значительно более благополучных, чем послевоенные 1940–1950-е) годах эти исследования стали терять свои масштабы, а также становится все более частными. Популярным становилось «представление» о том, что «все основные вопросы, проблемы антропологии (и археологии, и этнографии) уже в целом решены». Правда, усилиями Валерия Павловича и Татьяны Ивановны Алексеевых еще были организованы такие крупные комплексы как Чукотская и Камчатская антропологические экспедиции (см. публикацию сводных результатов работ: Антропоэкология Центральной Азии, 2005; Антропоэкология Северо-Восточной Азии, 2008). Эти исследования включали и этнографические, и собственно антропологические, и лингвистические, и археологические, и генетические, и физиологические методы анализа. Можно с уверенность говорить о том, что подобных им нет до сих пор. Активно работали Среднеазиатская этнографическая (рук. Т.А Жданко) и Северная (рук. Б.О. Долгих, И.С. Гурвич) экспедиции. Но они становились все более «чисто этнографическими». В них не участвовали ни археологи, ни антропологи.

В.П. Алексееву принадлежит также попытка (увы, практически так и не реализованная, в первую очередь, из-за его раннего ухода из жизни) произвести обобщение всех накопленных к концу 1970-х годов антропологией данных в серии книг «Антропология СССР». Кроме согласования авторских коллективов, составления планов и графиков работы над томами, дело далее не пошло. Только Т.И. Алексеева сумела в определенной степени воплотить часть замыслов, касающихся восточнославянских народов, в жизнь (Восточные славяне, 1999).

Начиная с середины 1960-х годов, в антропологии развивается несколько новых методических направлений, в том числе одонтология (Зубов, 1968, 1973), дерматоглифика (Гладкова 1966; Гусева 1969; Хить 1983; Хить, Долинова 1990 и др.), изучение антропогенетических, в том числе дискретно-варьирующих признаков (Мовсесян, Мамонова, Рычков 1975; Козинцев 1988; Мовсесян 2005), физиологическая антропология (Алексеева 1977, 1986) и ряд других. Ни в коей мере не желая увидеть в этом нечто негативное, все же нельзя не сказать, что образно выражаясь, «человека начали разбирать на мелкие составные части, не всегда обращая внимание на то, что эти части образуют». Видимо, синтез результатов больших наработок в этих областях еще впереди.

Научные антропологические центры в современной России

Обратим внимание на тех, кто сегодня в России профессионально занимается изуче-

нием антропологии. Самый крупный и один из самых «старших» центров – Научно-исследовательский Институт и Музей антропологии МГУ им. Д.Н. Анучина[1]. С ним тесно связан научный коллектив кафедры антропологии Биологического факультета МГУ – ныне единственное в стране учебное заведение, где готовятся специалисты в этой области. Основные направления научной работы НИИ и Музея антропологии обозначены так: Биологическая и социальная эволюция человека; Временная и этнотерриториальная изменчивость современного человека; Музей в системе наук о человеке и университетском образовании. Но в целом, исследования его все же больше нацелены на проблемы биологии человека, даже еще уже – только морфологии, морфофизиологии человека.

Важно отметить, что после значительного промежутка времени, когда отсутствовал профильный рецензируемый антропологический журнал, усилиями нового директора Института член-корр. РАН А.П. Бужиловой, свершившей не одно важное преобразование, с 2008 г. начал выходить «Вестник МГУ. Сер. XXIII. Антропология», включенный в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК и изданий по специальности «антропология».

В составе отдела теории и методики Института археологии РАН академиком В.П. Алексеевым в 1990 г. с целью развития экологического направления в археологических и палеоантропологических исследованиях была создана группа физической антропологии[2], которую до 2007 г. возглавляла академик Т.И. Алексеева. Исследования в ней ведутся по двум основным направлениям: историческая экология человека и методика биологических исследований. Проводятся исследования биологии палеопопуляций, воссоздаются особенности демографической ситуации, социальной стратификации внутри общества, состояния здоровья людей, показателей их физического развития, видов физических нагрузок, характера питания и др. Усилиями группы с 2000 г. было издано несколько выпусков журнала «Opus. Междисциплинарные исследования в археологии».

Один из старейших в Европе научно-исследовательских центров по изучению антропологии древнего и современного человечества, получивший свое название в 1878 г. – Отдел антропологии Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН[3]. Область основных научных интересов сотрудников отдела – антропогенез, этническая антропология и происхождение народов России и мира, методика антропологических исследований, приматология. Среди главных направлений, разрабатываемых в отделе – этническая краниометрия и краниоскопия, интеграция данных различных систем антропологических признаков, а также исследование биологических и культурных факторов человеческого поведения. Самое видное место у сотрудников Отдела занимают антропологические проблемы, связанные с северо-западом Европейской части России. Последние годы развиваются и дерматоглифические исследования. Особое внимание уделяется вопросам антропологической методики.

Пожалуй, самый крупный региональный антропологический центр организовался ныне в Тюмени в Институте проблем освоения Севера, благодаря усилиям В.А. Дремова, А.Р. Кима и А.Н. Багашова (лаборатория антропологии, куда перешел на работу Д.И. Ражев, ранее трудившийся в Екатеринбурге), но его круг интересов ограничивается палеоантропологией и палеопатологией. К нему «тяготеет» и каби-

[1] http://www.antropos.msu.ru.

[2] http://www.archaeolog.ru/index.php?id=52.

[3] http://www.kunstkamera.ru/museums_structure/nauchnye_otdely/otdel_antropologii.

нет антропологии (зав. М.П. Рыкун), восстановленный на Историческом факультете Томского государственного университета в 2005 г., а также Научно-образовательный центр «Морфология и физиология здорового человека» Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Т.М. Савенкова). Также на палеоантропологии (хотя там предпринимались и попытки изучения дерматоглифики и одонтологии современного населения Башкортостана) сконцентрировала свое внимание антропологическая лаборатория Института истории УНЦ РАН в г. Уфе. После неожиданного и раннего ухода из жизни в 2011 г. Р.М. Юсупова, создавшего и много лет возглавлявшего это подразделение, здесь работает А.И. Нечвалода[1]. Его главным научным интересом является использование и развитие методики восстановления внешнего облика людей по их костным останкам, создание портретных галерей населения разных эпох.

В Институте археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск) работает сектор антропологии (рук. Т.А. Чикишева). Приоритетным направлением работы сектора является изучение общих закономерностей и региональных тенденций процесса расообразования в Западно-Сибирском ареале Северной Евразии[2]. В последние годы там расширяются исследования (в частности, А.В. Зубовой) в области палеоодонтологии.

Сохраняются и развиваются «очаги» антропологии в Самарском (Волго-Уральская палеоантропологическая лаборатория – А.А. Хохлов), Алтайском (кабинет антропологии Музея археологии Алтая, С.С. Тур[3]) университетах. В Башкирском государственном педагогическом университете им. Акмуллы (г. Уфа) в тесном сотрудничестве с ИЭА РАН работает В.В. Куфтерин, большое внимание уделяющий биоархеологии и палеопатологическим изысканиям. В ЮНЦ РАН в г. Ростове-на-Дону в 2007 г. был создан кабинет физической антропологии, которым руководит Е.Ф. Батиева. С этим подразделением активно сотрудничает В.Ф. Кашибадзе, живущая в станице Вешенской и занимающаяся, прежде всего, одонтологией. Есть антропологическое подразделение при Волгоградском государственном университете (НИИ археологии нижнего Поволжья), которое возглавляет М.А. Балабанова, уже имеющая ряд учеников, в том числе хорошо зарекомендовавшего себя молодого специалиста по палеопатологии Е. Перерву.

В Институте общей генетики РАН (Москва) действуют организованная в 1979 г., благодаря усилиям Ю.Г. Рычкова, лаборатория генетики человека, а ныне – несколько подразделений, изучающих популяционную генетику человека (О.Л. Курбатова, О.В. Жукова, Н.К. Янковский и др.). В Медико-генетическом Научном центре РАМН исследования по выявлению географической изменчивости генофондов и системы «генетического родства» различных групп народонаселения проводит лаборатория популяционной генетики человека (зав. лаб. – Е.В. Балановская)[4]. В новосибирском Институте цитологии и генетики СО РАН создана и ведет активные исследования лаборатория молекулярной и эволюционной генетики человека (зав. лаб. – Л.П. Осипова). Эти работы, по мысли В.В. Бунака, должны привести к слиянию антропологического и генетического направлений изучения человека. В НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМН, в Российской Государственной Академии Физической Культуры (рук. лаборатории в РГАФК – Е.З. Година), в некоторых других научных

[1] См., например, http://old.archeo-news.ru/2014/ 11/ blog-post_28.html.

[2] http://archaeology.nsc.ru/Lists/List36.

[3] http://hist.asu.ru/faculty/museum.shtml.

[4] http://med-gen.ru/science/staff/popgen.

учреждениях г. Москвы существуют антропологические «островки» разного размера. Молодые ученые, интересующиеся антропологией, появляются в Воронеже, Симферополе, других городах России. Вновь после небольшого перерыва успешно ведутся антропологические изыскания в Казани (И.Р. Газимзянов). Есть интерес к ауксологии – в Иваново, к изучению этнической антропологии – в Ижевске…

Поскольку только в 2007–2008 гг. крайне медленно после почти двадцатилетнего перерыва начала возрождаться диспансеризация школьников, уже давно перестали существовать подавляющее большинство санитарно-гигиенических кабинетов разного подчинения, о которых говорил В.В. Бунак в своей известной работе на симпозиуме «Антропология 70-х годов», перечисляя научно-исследовательские и учебные кабинеты, лаборатории, кафедры страны (Бунак 1972). Хотя, конечно, исследования проблемы роста и развития детей и подростков продолжают занимать видное место среди антропологических работ как в НИИ антропологии МГУ, так и в РАМН.

Хуже обстоит дело с прикладными исследованиями. В 1970–1980-х годах при многих заводах, фабриках, в соответствующих ведомственных НИИ и подразделениях Министерства обороны, Министерства гражданской авиации, Министерствах текстильной и легкой промышленности и др. активно проводились работы по эргономичности и стандартизации производимой продукции легкой промышленности (обуви, одежды, мебели, рабочих мест и пр.). Развал отечественного производства, приток продукции из зарубежных стран (в большинстве своем низкокачественной, не в малой степени из-за падения покупательной способности населения) за прошедшие 30 лет привели к тому, что большинство таких лабораторий перестали существовать. Соответственно перестали проводиться и массовые договорные работы по подобным темам, в том числе и в НИИ и Музее антропологии МГУ. Учитывая отсутствие заинтересованных структур, сильно сокращены и исследования в этом направлении[1].

В странах СНГ антропологические исследования продолжают проводиться. Расширился и переместился из Института искусствоведения, этнографии и фольклора в Институт истории Национальной академии наук Республики Беларусь отдел антропологии в г. Минске, долг развивавшийся, благодаря неутомимой энергии Л.И. Тегако. Там и сейчас трудятся И.И. Саливон, Т.И. Полина, О.В. Марфина, А.И. Микулич и многие их коллеги, ученики. В весьма сократившемся составе, но разделившийся на две части, функционирует академический антропологический центр в г. Киев на Украине (С.И. Круц, С.П. Сегеда, И. Потехина и др.). В Армении, в г. Ереване, работает несколько антропологических групп, разместившиеся как в Академии наук, так и в государственном университете. Организованный в Институте истории академии наук Грузии в г. Тбилиси и великолепно оборудованный в 1970-е годы усилиями М.Г. Абдушелишвили отдел антропологии также продолжает свою деятельность, к сожалению, правда, в сильно усеченном виде (рук. Л. Битадзе).

Во всем среднеазиатском регионе остался один антрополог – О. Бабаков, являющийся сотрудником Института истории (г. Ашхабад) восстановленной в 2010 г. Академии наук Туркменистана, сохранивший и систематизировавший богатейшую краниологическую коллекцию с территории этой страны. Возможности его работы, увы,

[1] В этой связи нельзя не упомянуть колоссальные материалы, собиравшиеся регулярно во всех регионах СССР, дающие возможность, в том числе и проанализировать динамику изменения физического типа человека на данной территории на протяжении многих десятилетий: см. работы Ю.С. Куршаковой и Т.Н. Дунаевской, В.Е. Дерябина, А.Л. Пурунджана и мн. др.

жестко ограничены границами республики. В последние годы вместе с О. Бабаковым проводит антропологические исследования О. Сапармамедова, недавно подключившаяся к этой тематике. В гг. Алма-Ата и Астана Республики Казахстан в таком же «ограниченном» режиме занимается антропологией несколько более многочисленная группа сотрудников (О. и А. Исмагуловы, а также их молодые начинающие ученики).

В Литовской республике все большее развитие получают исследования по экологии человека (Р. Янкаускас и его коллеги) и сокращаются историко-антропологические направления. Центр антропологических исследований Эстонии переместился из г. Таллинна в Университет г. Тарту. Большинство исследований посвящено проблемам ауксологии и изучению физического развития человека (Х. Каарма с большой группой коллег). В Тартуском университете издается ежегодное серийное издание «Papers on Anthropology» (опубликовано более 20 выпусков).

Этот беглый обзор пунктирно очертил географию антропологических точек на пространстве бывшего СССР. Конечно, в его задачи не входила подробная характеристика проблематики, над которой работают антропологи стран СНГ и Балтии. И в других регионах также есть отдельные исследователи, которые вносят весомый вклад в антропологию как науку об изменчивости человека во времени и пространстве.

Антропология в ИЭА им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН

Сознательно не упомянутые выше антропологические подразделения Института этнологии и антропологии (ИЭА) РАН занимают среди этих антропологических центров особое место. Именно здесь М.М. Герасимовым была создана и ныне плодотворно трудится уникальная Лаборатория пластической реконструкции (рук. – Е.В. Веселовская), чьи работы успешно сочетают восстановление облика исторических личностей, людей древнейших эпох с более повседневной – криминалистической – практикой. В 2002 г. в ИЭА, благодаря инициативе М.Л. Бутовской, организована группа – Центр эволюционной антропологии, со своими особыми задачами, которая в 2008 г. была объединена с Сектором этнической психологии и преобразовалась в Сектор кросскультурной психологии и этологии человека. Основными задачами этой группы являются исследования эволюции социальных отношений с использованием, в том числе, и данных физической антропологии.

Остановлюсь также на истории этноэкологических исследований, теснейшим образом связанных с собственно антропологическими, т. к. будучи антропологом, я в меру своих возможностей прилагаю усилия в направлении экологии человека в рамках сектора этнической экологии.

Подобно антропологии, осуществляющей взаимосвязь целого спектра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, этническая экология также является «научной дисциплиной, расположенной на стыке этнографии с экологией человека (социальной экологией) и имеющей зоны перекрытия с этнической географией, этнодемографией и этнической антропологией». Ее основополагающие принципы были изложены В.И. Козловым (Козлов 1983: 8; Этническая экология 1991). Особое внимание российскими этнологами в этой концепции уделяется теме адаптации и жизнеобеспечения этноса. Серьезный вклад в разработку теоретических положений в этом направлении сделано А.Н. Ямсковым (Ямсков 2004, 2005, 2009, 2009а и др.), являвшимся в 1998–2005 гг. руководителем сектора этнической экологии, созданного еще в 1992 г. В.И. Козловым.

Заметный толчок для оформления этнической экологии как науки и формулировки

ее задач сыграла, начатая с 1977 г. разработка силами многих учреждений России, Украины, Грузии, Абхазии и США темы «Комплексное биолого-антропологическое и социально-этнографическое исследование народов и этнических групп с повышенной долей долгожителей» под общим руководством Ю.В. Бромлея, С.И. Брука, В.И. Козлова и А.А. Зубова (Абхазское долгожительство 1987; Долгожительство в Азербайджане 1989; Феномен долгожительства 1982; Proceedings 1982; и др.). Функции головного учреждения для работы в этом направлении взял на себя Институт этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР (ныне ИЭА РАН). Над этим проектом, в том числе осуществляя и сбор полевого материала, работали специалисты многих, в том числе медицинских, учреждений России, Грузии, Украины, да и большая часть сотрудников Института этнографии.

Опыт этих работ сектор этноэкологии во второй половине 1980-х – 1990-е годы использовал при изучении постсоветских трансформаций в Пермской области (см., например: Дубова, Комарова, Ямсков 1995; Дубова, Лопуленко 1995; Этнические проблемы регионов России 1999), а также для изучения взаимосвязанной исторической динамики в областях культуры, демографии и биологии человека у переселенцев (комплексная программа «Этническая экология переселенческих групп. Русские старожилы в Закавказье», осуществлявшаяся в ходе экспедиций 1986–1992 гг. к русским крестьянам-старожилам Закавказья, молоканам, духоборам, субботникам) (Духоборцы и молокане в Закавказье 1992; Русские старожилы Азербайджана 1989, 1995; и др.). Последняя из оригинальных разработок – социально-этнографическое и медико-антропологическое изучение сельских населенных пунктов Абхазии восполняет явные лакуны в наших знаниях о направлениях и масштабах трансформации условий жизни населения стран СНГ в постсоветский период (*см., например*: Современная сельская Абхазия 2006; Этноэкологические аспекты духовной культуры 2008; Этнос и среда обитания 2009; и др.). В последние годы сотрудники сектора уделяют внимание этнокультурными аспектами взаимодействия отдельных обществ и окружающей среды (Этнос и среда обитания 2012), а также анализу расселения, миграции и адаптации в проблемном поле этнической экологии и этнической демографии (Этнос и среда обитания, 2014).

Экологические исследования в ИЭА РАН не ограничиваются вышеперечисленным. Надо упомянуть также и серьезное монографическое исследование, правда, раскрывающее несколько другой аспект экологии: это – работа Г.А. Комаровой, посвященная анализу динамики систем жизнеобеспечения разных этносов, попавших в зону повышенной радиации (Комарова 2002, 2002а и др.).

Еще один пример – проект «Историческая антропологии и экология населения Туркменистана с эпохи бронзы до современности». Это исследование отличается от предыдущих, прежде всего тем, что в нем данные антропологии древнего и современного населения анализируются вместе с археологическими сведениями. В основе работы – новейшие уникальные материалы эпохи бронзы с памятника Гонур Депе (Южная Туркмения, раскопки В.И. Сарианиди). Цель исследований – выяснение характера связей между экологическими событиями и развитием системы жизнеобеспечения древнего населения Гонурского оазиса (*см., например*: У истоков 2004; Труды Маргианской археологической экспедиции 2008, 2012, 2014; На пути открытия цивилизации 2010 и др. исследования). С использованием методов разных наук (географии, геологии, зоологии, ботаники, одонтологии, кефалометрии, кефалоскопия, палеоантропологии,

палеопатологии, остеологии и др.) проводятся исследования в направлении реконструкции динамики палеоэкологических условий Гонурского оазиса; реконструкция динамики структуры жизнеобеспечения населения; оценка благоприятности экологической обстановки для жителей населения; описания процесса сложения антропологического облика населения региона с эпохи бронзы до современности с учетом демографических процессов и экологической ситуации; изучение мировоззрения населения эпохи бронзы[1].

Финансовую поддержку РФФИ получили такие междисциплинарные проекты, выполняемые сотрудниками сектора этнической экологии в содружестве с коллегами из Уфы, Туркменистана и Таджикистана, как «Природная среда и система жизнеобеспечения населения эпохи бронзы» (№ 10-06-00263) и «Биологическая и социальная адаптация древнего и средневекового населения южных районов Средней Азии к среде обитания» (№ 13-06-00233).

Я перечислила, с моей точки зрения, наиболее крупные проекты, но список, конечно же, может быть расширен[2]. В ИЭА РАН выполнялись и более частные проекты. Так, тема «Взаимодействие этносов на Южном Урале в X–XX вв. Комплексное этнолого-антропологическое исследование», получившая поддержку РГНФ (№ 01-01-

[1] Здесь также следует оговориться, что исследования на стыке археологии с естественными науками пользуются все большей популярностью. Правда, анализируются, в отличие от вышеперечисленных проектов, только древние периоды. Достаточно упомянуть хотя бы такие: работу, получившую высокую оценку как на государственном уровне (Государственная премия России), так и научном (премия РАН им. акад. В.П. Алексеева), посвященную подробнейшему изучению алтайских мумий (см., например, Феномен 2000 и др. работы); Хвалынские энеолитические могильники и хвалынская энеолитическая культура. Исследования материалов. Самара, 2010, а также и другие издания.

[2] Было бы несправедливо считать, что комплексному изучению проблемы взаимодействия человеческих коллективов между собой, с окружающей природной и социальной средой не уделяется внимание в других учреждениях. Так, например, на кафедре этнографии и музееведения Омского государственного университета (зав. каф. Н.А. Томилов) с 1993 г. действует ежегодный Международный научный семинар *«Интеграция археологических и этнографических исследований»*. Цель работы семинара состоит в выработке новых методологических и методических подходов к проблеме реконструкции и исследования ранних этапов человеческой истории, культуры и социума через развитие комплексных, взаимодополняющих и согласованных методов и методик археологии и этнографии, а также смежных с ними научных дисциплин. См., например, одно из последних изданий: (Интеграция 2010).

Междисциплинарная, на стыке гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, тематика является основной для тюменского Института проблем освоения Севера (г. Тюмень). В нем, наряду с уже упоминавшейся группой антропологии и этнографии, работают лаборатории археологии, палеоэкологии человека, социально-исторических исследований, устойчивости биоценозов, а также ландшафтных и фитоценотических исследований. В г. Горно-Алтайске в 2008 г. была, например, проведена международная конференция «Биоразнообразие, проблемы экологии Горного Алтая и сопредельных регионов: настоящее, прошлое, будущее» (см: Биоразнообразие 2008). В ее рамках работала секция IV. «Интегративная антропология (Integrative Anthropology)», на которой были представлены, например, такие доклады как «Специфика среды существования и развития человека»; «Концептуальный комплекс “человек – природа – культура” в контексте культурно-экологического дискурса»; «Эколого-виктимологические аспекты поведения преступника и агрессии»; «Влияние факторов окружающей среды на организм подростков Республики Алтай» и многие другие. На этой же базе регулярно проводятся экологические конференции. Нельзя не напомнить и про те усилия, которые предпринимались членом-корреспондентом РАМН Б.А. Никитюком в направлении интеграции медицинского, анатомического и антропологического знаний (см., например: Кузин, Никитюк 1996; Материалы 2002; и др.).

00375а, руководитель Р.И. Якупов), предполагала изучение истории формирования населения Южного Урала (прежде всего, северной части Республики Башкортостан и прилегающих областей), исторических контактов народов, живших на данной территории и современных этнических процессов по антропологическим и этнокультурным характеристикам. Особый аспект проблемы – изучение древнейшей истории взаимодействия финно-угорских и тюркских народов (Взаимодействие этносов 2006; Дубова и др. 2004б). Было проведено и небольшое комплексное исследование (результаты которого, к сожалению, пока не увидели публикации) по проекту «Историческая антропология Молдавии», которое также получило поддержку РГНФ (№ 02-01-00297а). Главная цель проекта состояла в комплексном антрополого-генетическом, этнодемографическом и социологическом исследовании населения Молдавии (Дубова и др. 2004а; Varsahr et al. 2003; Varzari et al. 2009).

Можно упомянуть и еще один проект, попадающий в рамки такого рода исследований. Это обобщение имеющегося материала по антропологии ногайцев. В подготовленной книге нашли место и палеоантропологические данные, и результаты изучения современных жителей, одонтология древнего и современного населения, демографические, остеометрические и генетические сведения (Антропология ногайцев 2003).

Подобное перечисление можно продолжать, но важно подчеркнуть, что с одной стороны, речь идет о понимании необходимости интеграции разных знаний о человеке, а с другой – о том, что в большинстве случаев собственно синтеза данных даже внутри самой антропологии, увы, не происходит – специалисты разных специальностей работают самостоятельно, не координируя свои исследования с «соседями».

В ИЭА РАН уже более 80 лет назад был создан отдел антропологии, некогда объединявший всех антропологов Института. Сейчас им руководит С.В. Васильев и в его состав входит Кабинет-музей им. акад. В.П. Алексеева (рук. М.М. Герасимова). Отдел имеет богатую историю. Его лицо представляли крупнейшие отечественные ученые, снискавшие широкую мировую известность – В.В. Бунак, М.Г. Левин, Г.Ф. Дебец, В.П. Алексеев, М.М. Герасимов, Т.А. Трофимова, А.А. Зубов, И.М. Золотарева, Г.Л. Хить.

Как-то принято считать, что главной задачей этого подразделения являются исследования по этнической антропологии. К тому же некоторые (и их немало!) полагают, что этническая антропология – это использование антропологических данных в этногенетических реконструкциях. Мне думается, что это – суженное понимание задач данного направления. Цель этнической антропологии – изучение всего многообразия взаимосвязей биологических совокупностей – человеческих популяций – и социально-культурных, культурно-языковых, историко-культурных общностей – народов, этносов, национальностей… Кроме всего прочего, и изучение самой проблемы, как и почему в одних случаях границы популяции совпадают с этническими, а в других – с языковыми, а в третьих – с этнокультурными, а в четвертых – с государственными.

Но и в таком расширенном понимании целей и задач этнической антропологии, ею не ограничивались никогда и не могут быть ограничены теперь направления развития антропологии в ИЭА РАН. Главная их специфика, как мне видится, состоит в комплексности разработки проблем, именно пограничных, антропологических, будь то в исследовательском поле истории или биологии. Благодаря комплексному подходу к изучаемым проблемам, отдел долгое время был единственным подразделением такого рода в нашей стране.

Антропологические исследования всегда составляли заметную часть в деятель-

ности Института[1]. В некогда триединстве археология–антропология–этнография именно антропология занимала особое место, дополняя знания двух гуманитарных дисциплин естественнонаучными достижениями. Если десятилетия назад динамика особенностей внешнего облика населения использовалась смежными науками практически лишь для прояснения спорных вопросов сложения народов, то ныне, благодаря успехам экологии, геохимии, почвоведения, палеопатологии и др., антропология помогает обрисовать образ жизни, систему питания, состояние здоровья, окружающую среду древних популяций, т. е. полнее представить всю их систему жизнеобеспечения. Представляется, что именно комплексный, многосторонний подход к изучению исторического процесса может объективнее охарактеризовать его. Такой подход прекрасно зарекомендовал себя в разных ситуациях: и при исследовании этногенеза народов Средней Азии, когда энергией С.П. Толстова уже в 1940-е годы были организованы археолого-антрополого-этнографические экспедиции в разные ее регионы (см. программную статью С.П. Толстова 1947 г., а также серии: Труды ХАЭЭ; Материалы ХАЭЭ и мн. др.); и в процессе изучения народов Прибалтики, когда М.В. Витов предпринимал попытки сочетать широкомасштабные антропологические изыскания с применением количественного анализа в этнографической работе (*см., например*, работу М.В. Витова, изданную, к сожалению, лишь в 1997 г., а также в уже упоминавшихся Трудах Прибалтийской экспедиции); и в многоплановых выездах также уже помянутых выше Чукотской, Камчатской, Тувинской и др. экспедиций, организованных, благодаря содружеству Института этнографии АН СССР и НИИ и Музея антропологии МГУ, успешно сочетавших археологические и этнографические работы не только с антропометрическими, одонтологическими, дерматоглифическими, физиологическими обследованиями, но и с генетико-демографическими и антропогенетическими, серологическими исследованиями. По-своему уникальное, но также, увы, не доведенное до этапа синтеза данных исследование группы под руководством Ю.Б. Симченко и Г.М. Афанасьевой по медико-генетическому, генеалогическому и этнографическому изучению обособленных популяций Крайнего Севера в содружестве с СО РАН (*См. ряд их публикаций*: Афанасьева 1990; Афанасьева, Симченко 1992; Сукерник и др. 1996; и др.).

Упомянутый коллектив под руководством М.Л. Бутовской проводит также комплексные исследования межкультурного взаимодействия среди хадза Танзании с использованием этологических, антропологических и психологических методов (*см., например:* Бутовская, Драмбян 2007; Бутовская, Мабулла 2008).

Перспективы

Одним из крайне негативных явлений в развитии современного антропологического знания и в мире в целом, и в России в частности, с моей точки зрения, является то обстоятельство, что исследования по этнической антропологии, особенно касающиеся изучения современного населения, практически прекращены. Более того, они по каким-то, явно не научным обстоятельствам, получают в последнее время разную оценку не только специалистов смежных

[1] Далее в работе основное внимание уделяется исследованиям по этнической антропологии. Это не означает, однако, что автор считает проблемы антропогенеза, конституционологии, морфологии человека и др. менее важными. Переживания за будущее этой области знания (в том числе уникальной, наработанной не одним поколением отечественных специалистов методики описания внешнего облика современных популяций, «носителями» которой ныне является всего несколько человек) заставили автора сконцентрироваться именно на ней.

специальностей, но и самих антропологов. Причин этому, конечно, много. И среди них главная – именно то, о чем уже говорилось: сужение границ научных направлений, узкая углубленная специализация, непонимание языков даже близких смежников[1].

Тем не менее, исследователи, накопившие к настоящему времени большой объем специализированных знаний, чтобы в полной мере их оценить и осмыслить, обращаются к достижениям пограничных дисциплин. Очень показательна в этом отношении, например, генетика человека, которая в начале своего бурного развития пыталась отрицать многие концепции морфологии, антропологии, физиологии, но сейчас поворачивается именно к этим направлениям, чтобы от атомизированного гена, кодирующего синтез того или иного белка, подойти к представлениям о передаче по наследству системных особенностей.

Представляется весьма печальным тот факт, что направления комплексных исследований, основой которых являются антропологические, развиваются крайне слабо. Так, например, перспективы развития отдела физической антропологии в Институте этнологии и антропологии видятся его руководителями ныне лишь «в развитии традиционных исследований антропологии народов России и в изучении проблем эволюции человека, а также в развитии новых перспективных направлений физической антропологии: палеоэкологии человека, палеопатологии человека, палеодемографии и гендерных исследований»[2]. Именно поэтому хотелось бы хотя бы в форме пожелания наметить несколько более широкие возможности данного направления, в том числе и в ИЭА РАН.

Первое, что важно подчеркнуть – это необходимость сохранения именно комплексности и антропогенетических, и этногенетических исследований. Безусловно, целесообразно сохранить все многообразие подходов к изучению человеческой изменчивости – дерматоглифики, одонтологии, остеологии, соматологии, кефалометрии, краниометрии и проч., пытаясь дополнять их современными методами – молекулярно-генетическими, физиологическими, биохимическими, микроморфологическими... Уже сейчас антропологи ИЭА обладают уникальными материалами, собранными с применением многих из перечисленных методик в одной и той же популяции, на одних и тех же индивидуумах: это результаты только что упоминавшихся многоплановых Чукотской, Камчатской, Тувинской и др. экспедиций, проекта по изучению обособленных популяций Крайнего Севера и по исследованию популяций с повышенным процентом долгожителей в Абхазии и Азербайджане. Еще раз хочу обратить внимание на то, что в каждой из перечисленных экспедиций были собраны и в значительной степени обобщены, данные, позволяющие уже сейчас попытаться от изучения наследования отдельных генов подойти к представлениям о передаче по наследству системных особенностей, причем не у весьма «поднадоевшей» генетикам мушки-дрозофилы, а у человека. Мне представляется, что в настоящее время это – одно из передовых направлений науки, в которое именно антропологи, в том числе и нашего института, сотрудничая с генетиками, могли бы внести весьма весомый вклад.

Не менее важно и более узкое, глядя с определенной стороны, направление исследований, нередко считающееся единственной задачей этнической антропологии, – изучение антропологического состава населения земного шара. Широко распространено представление, что все главные проблемы в этой сфере знаний решены, основные группы народов на всех континентах изучены, и, в общем-то оригинального предмета у этнической антропологии, да и у расоведе-

[1] Немаловажную роль играет здесь и политика. Подробнее см., например: Дубова 2009.

[2] http://www.iea.ras.ru/cntnt/levoe_meny/struktura/struktura_1/otdel_antr/otdel_antr1.html.

ния в целом, как бы и нет. Думается, что на таком же основании вполне могут быть «закрыты» и география, и геология, ряд фундаментальных биологических дисциплин (например, ботаника, зоология) и т. д., в которых тоже уже давным-давно так называемые основные проблемы решены…

Одним из оснований для создания подобного рода иллюзий в области изучения антропологического состава народов мира был, как отмечалось выше, широкий размах исследований в нашей стране в 1950–1970-х годах, осуществленный в значительной мере усилиями сотрудников именно Института этнографии АН СССР. И, тем не менее, кефалометрия, кефалоскопия, одонтология и др. системы даже аборигенного населения большинства стран мира, в том числе Европы, не говоря уж о современных городских жителях или, например, мигрантах, не могут считаться изученными даже в первом приближении. Все имеющиеся зачерпывания или безнадежно устарели (относятся, например, к 1920–1930 гг. А это – не менее трех поколений до современности, Вторая мировая война, развал СССР, политические изменения на Африканском, Европейском, Южноамериканском, Азиатском континентах, все усиливающаяся урбанизация…), или подробно характеризуют лишь популяции отдельных государств или их регионов (например, Болгарии, Польши, Японии, Китая и др.). Каковы антропологические особенности, например, современных французов или итальянцев разных областей, чем отличаются французы-парижане от французов-жителей Алжира или Корсики, чем современное население Осло отличается от такового в начале века и проч. не знает в настоящее время никто. Путем логических заключений, вероятно, можно предположить возможные направления различий, но реальные показатели (по большинству антропологических систем) в публикациях отсутствуют. А ведь в архиве ИЭА РАН уже более 60 лет хранятся результаты обследования представителей почти всех народов Европы, проведенные крупнейшими антропологами нашей страны – В.В. Бунаком, Г.Ф. Дебецем, М.Г. Левиным, Н.Н. Чебоксаровым и др. Данные по населению Японии были проанализированы М.Г. Левиным (1975), а вот европейские материалы, будучи даже в значительной степени статистически обработанными, до сих пор ждут своей очереди.

Можно привести и более частные примеры. Антропологический состав коми описан Н.Н. Чебоксаровым в 1946 г. на основании изучения студентов сельскохозяйственного института г. Сыктывкара (!) (Чебоксаров 1946). К специальному изучению этого народа обратилась лишь Советско-финляндская комплексная экспедиция 1976 г. (Somatology 1986), и ряд локальных их групп были исследованы в качестве сравнительных. Изданная не так давно книга «Антропология коми» (2005) обобщила все данные, которые имеются в настоящее время. Ответственный редактор тома Г.А. Аксянова сама отмечает, что локальные группы этого народа неравномерно изучены по разным системам признаков. Тем не менее, эта публикация обобщила материалы, собранные в разное время, не всегда, увы, представляющие одни и те же популяции по разным системам признаков, и ввела в оборот данные по антропоэстетике, новые палеоантропологические и генетико-демографические сведения.

То же можно сказать о многих народах Поволжья и Приуралья, включая даже такие крупные, как татары и башкиры. Заканчивая описание антропологии современного населения Башкортостана, М.С. Акимова в своих последних работах конца 1960-х гг. писала, что для окончательного решения очень сложной проблемы этногенеза народов этой территории необходимо иметь значительно большие антропологические материалы (Акимова 1974). Некоторое движение в этом направлении, конечно, имеются

(Башкиры-гайнинцы 2008; Антропология башкир 2010), но с сожалением приходится говорить о том, что новые полевые исследования крайне скудны.

Работа Т.А. Трофимовой 1949 года, являвшаяся ее кандидатской диссертацией, до сих пор остается основной по этнической антропологии татар Поволжья. В научной литературе практически нет сведений о женщинах и детях Африки. Да и по отношению к мужчинам данные уже устарели. Пока сводка Ж. Ерно 1968 г., охватывающая лишь часть мужского населения континента, остается практически исчерпывающей характеристикой степени изученности антропологии всего этого региона (Hiernaux 1968). Думаю, что исследователь любого уголка мира может продолжить этот список.

Классические антропологические исследования – гордость отечественной науки. Сравнимыми с ними объемами материалов не может похвастаться практически ни одна другая страна мира. Но сейчас такого рода работы практически приостановлены в силу иных, прежде чем существовали ранее, принципиальных подходов к научным исследованиям.

Увы, но проведению таких расоведческих работ и опубликованию ранее собранных уникальных материалов мешает, скорее всего, ложное представление о том, что измерения головы и лица людей, даже с их согласия, является посягательством на «права личности». Поэтому «публичное признание» в виде публикации, что такие измерения проводились и изредка (увы!) проводятся в нашей стране до сих пор, может, дескать, повредить международному имиджу страны. «На вооружение» взят даже такой принцип как «биоэтика», названная ныне «особой наукой», родившейся не с Человеком разумным, а почему-то в США в начале 1960-х годов… Ученые мужи и дамы, развивающие это «направление» почему-то забывают, что этические вопросы всегда стояли перед многими исследователями. И решались ими! Как, например, хирург в полевом госпитале во время боевых действий определял, кому надо делать операцию в первую очередь, кому первому оказывать помощь? Исходя из своего опыта и знаний. А современные «гуманисты» должны созвать заседание комиссии, в которую будут входить и уважаемые люди, и священнослужители, и юристы, и еще кто-то (подозреваю, что и финансисты…), чтобы определить кому первому пересадить почку… Но это, собственно, уже вопрос из другой темы.

По собственному, достаточно богатому опыту кефалометрических, кефалоскопических, дерматоглифических и одонтологических полевых исследований[1], последние из которых проводились зимой 2009 г., могу сказать, что при разумно организованной информации об исследованиях, разъяснении в каждом конкретном случае их целей и задач, полной добровольности обследования представители самых разных народов не просто «разрешали» себя измерять, но нередко в прямом смысле слова требовали, чтобы измерили именно их, даже тогда, когда сам измеритель от значительной нагрузки в течение дня почти «валился с ног». Представляется, что показная «забота о правах личности» в научной среде приводит к закрытию целых научных направлений, потере уникальных, разрабатывавшихся и уточнявшихся десятилетиями методик измерения и описания биологического разнообразия человечества. И, в конечном счете, – к деградации науки.

Не в такой ли «полной изученности» коренится нерешенность многих основных проблем антропологии: например, полового диморфизма, закономерности возрастной динамики кефалометрических признаков, наличия или отсутствия иерархии челове-

[1] Начиная с 1970 г. автором в разных районах СССР и в других странах мира по кефалометрической и кефалоскопической программам измерено более 30 тыс. человек.

ческих популяций, расового разнообразия современного и древнего человечества и многие другие!? Кто-то, видимо, может сказать, что «да и не надо это никому!» Но когда одни и те же лекарства оказывают разное воздействие на людей, родившихся на разных континентах, когда успешность того или иного хода глазной операции зависит от того, есть ли у человека эпикантус, наверное врачи должны иметь хотя бы приблизительное представление о территориальной приуроченности антропологических особенностей1. Поэтому, как мне представляется, важнейшая задача – изучение антропологического состава народов мира, заполнение белых пятен на антропологической карте – остается приоритетной среди прочих, стоящей ныне перед антропологией.

Представляется также, что для выделения в этой большой задаче «генеральных направлений» необходимо продолжить и завершить начинание В.П. Алексеева по подготовке многотомной, справочной, богато иллюстрированной и написанной доступным для специалистов разных дисциплин языком, сводки «Антропология народов России и сопредельных стран». По степени изученности и готовности данных в ближайшее время могли бы быть, наверное, доведены до публикации аналогичные сводки как раз по Приуральско-Поволжскому региону и по Сибири.

Следует обратить внимание и на то, что «полностью и окончательно» изучить антропологический состав народов земного шара вообще невозможно. Через любой, даже очень незначительный, промежуток времени внешний облик земных жителей изменяется – в этом и заключается историчность многих антропологических категорий, тем более так или иначе увязанных с социально-культурными, культурно-языковыми и другими общностями, которые сами не менее изменчивы. И в этом «всеобщем движении и изменении» антропология может сказать свое слово. Так, в разделе «Общий обзор расообразовательного процесса» одной из своих работ В.П. Алексеев выделил четыре этапа расообразования или, как можно было бы сказать шире – формирования внутривидовой изменчивости (Алексеев 1985: 281–284). Первый отнесен им к эпохе нижнего или среднего палеолита и связан с выделением первичных очагов расообразования, сложением основных расовых стволов – западного (объединяет европеоидов, негроидов и австралоидов) и восточного (азиатские монголоиды и американоиды); второй – к эпохе верхнего палеолита и частично мезолита и связан с выделением вторичных очагов и расширением ойкумены; третий – к концу мезолита и неолиту, связан с увеличением численности человечества, более интенсивной хозяйственной эксплуатацией уже освоенных районов, с освоением новых экологических ниш в пределах ранее заселенных территорий, с формированием третичных очагов расообразования и в их пределах – локальных рас и, наконец, четвертый – к эпохе бронзы и частично раннего железа, связан с оформлением той картины расового состава человечества, которую мы застаем в настоящее время. Важными характеристиками всех этих этапов В.П. Алексеев считает демографическую ситуацию (в том числе плотность населения и миграции), давление факторов среды и смешение. Но эти факторы существенно изменяют свое влияние и на формирование историко-культурных общностей, и на популяционную структуру

[1] Например, трансплантологи сталкиваются с тем, что почки представителей одной расы имеют большую вероятность отторжения представителями другой; делаются попытки разработки (даже в США!) лекарственных средств, более эффективных для применения, например, только афроамериканцами (см., напр., http://www.americaru.com/news/7151); техника микрооперации на глазах у населения Ближнего Востока, например, отлична от таковой для средней полосы России, т.к. практически выявлены групповые отличия в расположении мышц века и глаза; и т. д.

человечества, начиная уже с IV тыс. до н. э. (а может быть и ранее), когда важнейшую роль начинают играть населенные пункты с особой структурой населения – города. Мне приходилось специально останавливаться на антропологических аспектах процесса урбанизации. Эта тема и направление исследования были подсказаны автору А.А. Зубовым. Автором была высказана мысль, что города, которые являются очагами нового типа формообразования внутри вида Homo sapiens, где происходит интеграция генетической информации с определенной территории (Дубова 1989, 2014), можно считать новым, в рамках концепции, предложенной В.П. Алексеевым, этапом формообразования внутри вида Homo sapiens. Ведущими факторами этого этапа следует считать: а) процесс метисации различных генофондов, особенностью которого по сравнению с предыдущими эпохами является смешение между собой не различных целых (или крупных частей) популяций, а только отдельных представителей таковых, и б) формирование нового морфофункционального комплекса особенностей (по-видимому, сопряженного и со своеобразными психосоматическими и психологическими характеристиками), наиболее приспособленного к городской среде обитания, в значительной степени созданной самим человеком.

Население города на современном этапе представляет собой сложную систему популяций, находящихся между собой в тесном взаимодействии. Результатом этого взаимодействия являются появление и закрепление новых своеобразных, свойственных только городскому населению, особенностей физического типа. Поэтому, с другой стороны, вполне возможно говорить о выделении, наравне с тропическим, арктическим, аридным и другими адаптивными типами в рамках концепции, предложенной Т.И. Алексеевой, и особого – городского адаптивного типа. Но, как справедливо отмечено Т.И. Алексеевой, «антропология городских популяций, как проблема современной науки, пока еще находится в стадии становления» (Урбоэкология 1990). Здесь не место подробно останавливаться именно на этом аспекте антропологических исследований, но важно подчеркнуть, что как экологические сюжеты в целом, так и урбанистические, в частности, могли бы занять достойное место в тематике специалистов этой отрасли знания, в том числе и в ИЭА РАН. Кроме всего прочего, именно экологическая тематика могла бы быть серьезным продолжением и развитием идей академика В.П. Алексеева, имя которого носит кабинет-музей института.

Развивая эту же идею, в более общем плане можно было бы остановиться также на возможности кооперации и проведения коллективных прикладных исследований с физиологами, психологами, медиками разных специальностей, т. к. именно в этих областях, как показывает участие в совместных научных мероприятиях, специалисты уже вплотную подошли к осознанию вариабельности нормы, т. е. фактически к необходимости применения антропологических наработок в своих отраслях. Другими словами повторю то, что уже было сказано – перспективы развития антропологии вообще и в ИЭА РАН в частности, мне видятся не просто в сохранении комплексных пограничных исследований на стыке разных разделов знания, а в расширении объема работ именно такого рода. Можно по-разному организационно решать эти проблемы.

Увы, коммерциализация всего и вся в стране, отсутствие реального финансирования фундаментальных исследований, изменение приоритетов приводят к невозможности расширения или хотя бы продолжения в том же масштабе работ, как это было, например, в 1950-е или 1970-е годы. Соответственно происходит и снижение реальной ценности фундаментальных научных изысканий в целом. Можно, конечно,

говоря о перспективах развития антропологии, исходить только из весьма ограниченных кадровых возможностей, которые ныне имеют многие научные коллективы. Будут ли это собственно перспективы – большой вопрос. Не формулируя для себя актуальных проблем науки, не обрисовывая каких-либо ориентиров, к которым можно было бы стремиться, не предпринимая усилий для улучшения ситуации (в том числе кадрово-возрастной), вряд ли можно успешно преодолеть явно имеющие место кризисные явления.

Однажды в обычной беседе один из ведущих антропологов России д. б. н. Илья Васильевич Перевозчиков сказал очень важные слова: «Мы – антропологи – владетели уникального знания. Нас очень мало и мы должны сделать все, чтобы сохранить это знание и передать следующим поколениям». Я целиком согласна с тем, что нельзя терять достижения предыдущих поколений, нельзя забывать классики. Но сохранить знания путем их «консервации» можно, но со временем они могут потерять свою «всхожесть». Мне кажется, мы должны не только сохранять достигнутое основателями, но и преумножать, развивать это, переходя на новые иерархические уровни, применяя современные знания, используя вновь открываемые, в том числе и в пограничных биологических и гуманитарных дисциплинах, закономерности. Используя подходы современного постмодернизма в науке, игнорируя фактические данные, собранные и проанализированные несколькими поколениями специалистов, говоря о том, что мы должны «отряхнуть с себя прах» старых концепций, даже не пытаясь понять, что там было ценного, потому, что другие (особенно авторитетные заокеанские) специалисты, анализируя совершенно другую реальность, пришли к иным выводам и концепциям (Соколовский 2015: 216–217), мы уже сейчас попадаем в хаос. И будем падать в него дальше. Опираясь все больше на теоретические построения, оторванные от реальности, и наука делается бессодержательной. Только взвешенный анализ множества доступных фактов может привести к обоснованным выводам как теоретического, так и практического характера. И исследования на стыке разных дисциплин, в том числе естественнонаучных и гуманитарных, могут в это смысле быть весьма полезными.

Возвращаясь в заключение к началу данной работы, приходится констатировать, что современные антропологические исследования, если под ними понимать изучение человека в многообразных связях его социальных и биологических качеств, в настоящее время находятся в состоянии затухающих колебаний. Преодолеть эту тенденцию, как представляется, можно лишь мобилизацией и объединением усилий всех здоровых сил научного сообщества.

Библиография

Абхазское долгожительство 1987 – Абхазское долгожительство / Отв. ред. В.И. Козлов. М., 1987.

Акимова 1974 – Акимова М.С. Антропологические исследования в Башкирии // Антропология и геногеография. М., 1974.

Алексеев 1979а – Алексеев В.П. Горизонты антропологии // Будущее науки. Вып. 5. М., 1972.

Алексеев 1979б – Алексеев В.П. Историческая антропология. М., 1979.

Алексеев 1985 – Алексеев В.П. Человек. Эволюция и таксономия. Некоторые теоретические вопросы. М., 1985.

Алексеев 1987 – Алексеев В.П. Антропология СССР: некоторые итоги и перспективы исследований // СЭ. 1987. № 5.

Алексеев 1989 – Алексеев В.П. Историческая антропология и этногенез. М., 1989.

Алексеев 1977 – Алексеева Т.И. Географическая среда и биология человека. М., 1977.

Алексеева 1986 – Т.И. Адаптивные процессы в популяциях человека. М., 1986.

Ананьев 1977 – Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977.

Антропология башкир 2010 – Антропология башкир / Ред. Н.Х. Спицына, Н.А. Лейбова (Суворова). СПб., 2010.

Антропология коми 2005 – Антропология коми / Отв. ред. Г.А. Аксянова. М., 2005.

Антропология ногайцев 2003 – Антропология ногайцев // Материалы по изучению историко-культурного наследия северного Кавказа. Вып. IV / Отв. ред. выпуска М.М. Герасимова. М., 2003.

Антропоэкология Центральной Азии 2005 – Антропоэкология Центральной Азии / Ред. Т.И. Алексеева, Р.М. Мунчаев, О.М. Павловский, Б.Б. Прохоров, В.А. Спицин. М., 2005.

Антропоэкология Северо-Восточной Азии 2008 – Антропоэкология Северо-Восточной Азии / Ред. Т.И. Алексеева, А.П. Бужилова, М.Б. Медникова, М.В. Добровольская. М., 2008.

Афанасьева 1990 – Афанасьева Г.М. Традиционная система воспроизводства нганасан (Проблемы репродукции обособленных популяций). Ч. 1–3. М., 1990.

Афанасьева, Симченко 1992 – Афанасьева Г.М., Симченко Ю.Б. Методика генеалогических описаний и использование их для сбора сведений о номенклатурах родства и брачных нормах. Материалы к серии «Народы и культуры». Вып. XXI: Методика этнологических и антропологических исследований. Кн. 1. М., 1992.

Башкиры-гайнинцы 2008 – Башкиры-гайнинцы Пермского края / Под общ. ред. Р.М. Юсупова. Уфа, 2008.

Биоразнообразие 2008 – Биоразнообразие, проблемы экологии Горного Алтая и сопредельных регионов: настоящее, прошлое, будущее. Материалы Международной конференции [22–26 сентября 2008 г.]. Горно-Алтайск, 2008.

Бунак 1972 – Бунак В.В. О перспективах развития антропологии как особой науки // Антропология 70-х годов. М., 1972.

Бутовская, Драмбян 2007 – Бутовская М.Л., Драмбян М.Ю. Хадза Танзании: традиции и современность // Азия и Африка сегодня. 2007. Вып. 7. С. 105–110.

Бутовская, Мабулла 2008 – Бутовская М.Л., Мабулла А. Процессы социальной трансформации в сообществах охотников-собирателей (по материалам антропологического исследования племени хадза, Северная Танзания) // OPUS: Междисциплинарные исследования в археологии. Сборник статей. Вып. 6. М., 2008.

Бэр 1822 – Бэр К.М. О происхождении и распространении человеческих племен. СПб., 1822.

Взаимодействие этносов 2006 – Взаимодействие этносов на Южном Урале. Комплексные этнолого-антропологические исследования / Отв. ред. Р.И. Якупов Уфа, 2006.

Витов 1997 – Витов М.В. Этнография Русского Севера. М., 1997.

Вишневский 1928 – Вишневский Б.Н. Естественная история человека (Очерк исторического развития антропологии) // Вселенная и человечество. Кн. 6. Л., 1928.

Восточные славяне 1999 – Восточные славяне. Антропология и этническая история / Под ред. Т.И. Алексеевой. М., 1999.

Герасимова 2015 – Герасимова М.М. Увлеченность наукой была фантастической // http://polit.ru/article/2014/11/08/ps_pamyati_mamonovoi/ – обращение 26.07.2015.

Гладкова 1966 – Гладкова Т. Д. Кожные узоры кисти и стопы обезьян и человека. М: Наука, 1966.

Гусева 1969 – Гусева И.С. К изучению наследуемости и морфогенеза билатерально симметричных и гомологичных лучевых структур (на примере формирования и наследования тактильного узора конечной фаланги пальцев человека) // Генетика. 1969. Т. 5. № 1. С. 144–153.

Долгожительство 1989 – Долгожительство в Азербайджане / Отв. ред. В.И. Козлов. М., 1989.

Дубова 1983 – Дубова Н.А. О некоторых аспектах содержании антропологической науки // СЭ. 1983. № 6.

Дубова 1989 – Дубова Н.А. Антропологические аспекты урбанизации // СЭ. 1989. № 6. С. 76–89.

Дубова 2009 – Дубова Н.А. Биологическая и социально-культурная дифференциация человечества. (История, экология и политика) // Расы и народы. Вып. 34. М., 2009.

Дубова 2011 – Дубова Н.А. Антропологические и этноэкологические исследования на рубеже тысячелетий // Феномен идентичности. 2011. С. 298–317.

Дубова 2014 – Дубова Н.А. Может ли урбанизация быть фактором формообразования внутри вида Homo sapiens? // Этнос и среда обитания. Вып. 4 / Ред.: Н.И. Григулевич, Н.А. Дубова (отв. ред.), И.А. Субботина, А.Н. Ямсков. М.: ИЭА РАН, 2014. С. 155–181.

Дубова, Комарова, Ямсков 1995 – Дубова Н.А., Комарова О.Д., Ямсков А.Н. Факторы формирования межэтнических отношений в среде сельского населения южных районов Пермской области. Исследования по прикладной и неотложной этнологии. Вып. 81. М., 1995.

Дубова, Лопуленко 1995 – Дубова Н.А. Лопуленко Н.А. Современные этносоциальные проблемы Кизеловского района Пермской области. Исследования по прикладной и неотложной этнологии. Вып. 87. М., 1995.

Дубова, Варзарь и др. 2004 – Дубова Н.А., Варзарь А.М., Суворова Н.А., Рожанская Е.А. Антропологические исследования на юге Молдавии // ПИИЭ. 2002. М., 2004.

Дубова, Нечвалода и др. 2004 – Дубова Н.А., Нечвалода А.И., Рожанская Е.А., Суворова Н.А., Якупов Р.И. Комплексные этнолого-антропологические исследования в Башкортостане // ПИИЭ. 2002. М., 2004.

Духоборцы и молокане 1992 – Духоборцы и молокане в Закавказье / Ред. В.И. Козлов, А.П. Павленко. М., 1992.

Зубов 1968 – Зубов А.А. Одонтология. Методика антропологических исследований. М.: Наука, 1968.

Зубов 1973 – Зубов А.А. Этническая одонтология. М.: Медицина, 1973.

Зубов 1982 – Зубов А.А. Содержание понятия «антропология» на современном уровне развития и интеграции науки в СССР // СЭ. 1982. № 5. С. 21–33.

Интеграция 2010 – Интеграция археологических и этнографических исследований: Сб. науч. трудов / Гл. ред. Н.А. Томилов; отв. ред.: К.Н. Тихомиров, М.Н. Тихомирова, С.С. Тихонов. Омск, 2010.

Козинцев 1988 – Козинцев А.Г. Этническая краниоскопия: Расовая изменчивость швов черепа современного человека. Л., 1988.

Козлов 1983 – Козлов В.И. Основные проблемы этнической экологии // СЭ. 1983. № 1.

Комарова 2002 – Комарова Г.А. Предтеча Чернобыля. М., 2002.

Комарова 2002 – Комарова Г.А. Этнокультурные аспекты техногенной катастрофы. М., 2002.

Кузин, Никитюк 1996 – Кузин В.В., Никитюк Б.А. Интегративная биосоциальная антропология. М., 1996.

Левин 1946 – Левин М.Г. А.П. Богданов и русская антропология // СЭ. 1946. № 1.

Левин 1960 – Левин М. Г. Очерки по истории антропологии в России. М., 1960.

Левин 1975 – Левин М.Г. Этническая антропология Японии. М., 1975.

Материалы 2002 – Материалы IV Международного Конгресса по интегративной антропологии. СПб., 2002.

Мовсесян 2005 – Мовсесян А.А. Фенетический анализ в палеоантропологии. М.: Университетская книга, 2005. 272 с.

Мовсесян, Мамонова, Рычков 1975 – Мовсесян А.А., Мамонова Н.Н., Рычков Ю.Г. Программа и методика исследования аномалий черепа // Вопросы антропологии. Вып. 51. 1975. С. 127–150.

На пути открытия 2010 – На пути открытия цивилизации / Ред. П.М. Кожин, М.Ф. Косарев, Н.А. Дубова. СПб., 2010 и др. исследования.

Переломов 1998 – Переломов Л.С. Конфуций. Лунь Юй. М., 1998.

Происхождение 1965 – Происхождение и этническая история русского народа / Под ред. В.В. Бунака. М.: Издательство Академии наук СССР, 1965.

Рогинский 1966 – Рогинский Я.Я. Методологические основы антропологии // Научные доклады высшей школы. Биологические науки. 1966. № 3.

Русские старожилы Азербайджана 1989 – Русские старожилы Азербайджана. Материалы по этнической экологии / Ред.: Н.А. Дубова, В.И. Козлов. Ч. 1, 2. М., 1989.

Русские старожилы Закавказья 1995 – Русские старожилы Закавказья: молокане и духоборцы / Ред. В.И. Козлов. М., 1995.

Современная сельская Абхазия 2006 – Современная сельская Абхазия: социально-этнографические и антропологические исследования / Ред.: Н.А. Дубова, В.И. Козлов, А.Н. Ямсков. М., 2006.

Соколовский 2015 – Соколовский С.В. Бремя традиции: прошлое в настоящем российской антропологии // АФ. № 15. СПб., 2015. С. 205–220.

Сукерник, Шур и др. 1996 – Сукерник Р.И., Шур Т.Г., Стариковская Е.Б., Уоллес Д.С. Изменчивость митохондриальных ДНК у коренных жителей Сибири в связи с реконструкцией эволюционной истории американских индейцев // Генетика. 1996. Т. 32. № 3.

Толстов 1947 – Толстов С.П. Основные проблемы этногенеза народов Средней Азии// СЭ. 1947. Вып. VI–VII. Сб. статей. М.; Л., 1947.

Трофимова 1949 – Трофимова Т.А. Этногенез татар Поволжья в свете данных антропологии // ТИЭ. Т. VII. М., 1949.

Труды Маргианской 2008 – Труды Маргианской археологической экспедиции / Отв. ред. В.И. Сарианиди. М., 2008.

Труды Маргианской 2012 – Труды Маргианской археологической экспедиции / Отв. ред. В.И. Сарианиди. Т. 4. М., 2012.

Труды Маргианской 2014 – Труды Маргианской археологической экспедиции / Отв. ред. В.И. Сарианиди. Т. 5. М., 2014.

Тэйлор 1882 – Тэйлор Э.Б. Антропология: Введение к изучению человека и цивилизации. СПб.: Издание И.И. Билибина и Ко., 1882.

У истоков цивилизации 2004 – У истоков цивилизации / Ред. М.Ф. Косарев, П.М. Кожин, Н.А. Дубова. М., 2004.

Урбоэкология 1990 – Урбоэкология. М., 1990.

Феномен 2000 – Феномен алтайских мумий / В.И. Молодин, Н.В. Полосьмак, Т.А. Чикишева и др.; отв. ред. А.П. Деревянко, В.И. Молодин. Новосибирск, 2000.

Феномен долгожительства 1982 – Феномен долгожительства: Антрополого-этнографический аспект исследования / Отв. ред. С.И. Брук. М., 1982.

Хить 1983 – Хить Г.Л. Дерматоглифика народов СССР. М.: Наука, 1983. 280 с.

Хить, Долинова 1990 – Хить Г.Л., Долинова Н.А. Расовая дифференциация человечества (дерматоглифические данные). М.: Наука, 1990.

Хомутов 2002 – Хомутов А.Е. Антропология. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, 2002.

Чебоксаров 1946 – Чебоксаров Н.Н. Этногенез коми по данным антропологии // СЭ. 1946. № 2.

Эванс-Причард 2003 – Эванс-Причард Э.Э. История антропологической мысли / Отв. ред. В.А. Тишков. М., 2003.

Этническая антропология 1959 – Этническая антропология Восточной Прибалтики. Труды Прибалтийской объединенной комплексной экспедиции / Под ред. М.В. Витова, Н.Н. Чебоксарова. Т. 1, 2. М.: Издательство Академии наук СССР, 1959.

Этническая экология 2008 – Этническая экология: народы и их культура / Ред. Н.А. Дубова, Л.Т. Соловьева. М., 2008.

Этническая экология 1991 – Этническая экология: теория и практика / Ред.: В.И. Козлов, Н.А. Дубова, А.Н. Ямсков М., 1991.

Этнические проблемы 1999 – Этнические проблемы регионов России. Пермская область / Ред. Н.А. Дубова, Н.А. Лопуленко. М.: Старый сад, 1999.

Этнос и среда обитания 2009 – Этнос и среда обитания. Сборник этноэкологических исследований к 85-летию В.И. Козлова. Вып. 1, 2. / Ред. Н.И. Григулевич, Н.А. Дубова (отв. ред.), А.Н. Ямсков. М.: Старый сад, 2009.

Этнос и среда обитания 2012 – Этнос и среда обитания. Вып. 3 / Ред. Н.И. Григулевич, Н.А. Дубова (отв. ред.), Л.Т. Соловьева, А.Н. Ямсков М.: ИЭА РАН, 2012.

Этнос и среда обитания 2014 – Этнос и среда обитания. Сборник статей по этноэкологии. Вып. 4 / Под ред.: Н.И. Григулевич, Н.А. Дубовой (отв. ред.), И.А. Субботиной, А.Н. Ямскова. – М.: Старый сад, 2014.

Этноэкологические аспекты 2005 – Этноэкологические аспекты духовной культуры / Ред. В.И. Козлов, А.Н. Ямсков, Н.И. Григулевич. М., 2005.

Ямсков 2004 – Ямсков А.Н. Экологические функции основных компонентов традиционной культуры // Этноэкологические исследования. Сборник статей к 80летию со дня рождения В.И. Козлова / Ред. Н.И. Григулевич, Н.А. Дубова, Н.А. Лопуленко, А.Н. Ямсков. М., 2004.

Ямсков 2005 – Ямсков А.Н. Концепция экологической ниши в этноэкологии // Вестник МГПУ. 2005. № 2(9) – Географический выпуск.

Ямсков 2009 – Ямсков А.Н. Этноэкосистема: содержание понятия и история его развития в отечественной этноэкологии // Расы и народы. Вып. 34. «Проблемы этнической экологии» / Ред. Н.А. Дубова, Л.Т. Соловьева. М., 2009.

Ямсков 2009 – Ямсков А.Н. Трактовки понятия «жизнеобеспечение» в этнической экологии и возможный подход к изучению культурной адаптации // Этнос и среда обитания. Т. 1. Сборник этноэкологических исследований к 85-летию В.И. Козлова / Ред.: Н.И. Григулевич, Н.А. Дубова (отв. ред.), А.Н. Ямсков. М.: Старый сад, 2009: 73–94.

Hiernaux 1968 – Hiernaux I. La diversité humaine en Afrique subsaharienne. Bruxelles, 1968.

Proceedings 1982 – Proceedings of the First Joint US–USSR Symposium on Aging and Longevity. Vol. 1, 2. N.Y., 1982.

Somatology 1986 – Somatology and Population Genetics of the Bashkirs / Kajanoja P., Zoubov A.A. (Eds.). Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Series A. V. Medica. 175. Helsinki, 1986.

Varsahr et al. 2003 – Varsahr A.M., Dubova N.A., Kutuyev I.A. Serological Researches in the South of Moldavia in Connection with the Problem of the Ethnogeny of the Gagauzes, the Moldavians and the Bulgarians // Anthropologische Anzeiger. 2003. Dec; 61(4). P. 395–411.

Varzari et al. 2009 – Varzari A., Kharkov V., Stephan W., Dergachev V., Puzyrev V., Weiss E.H., Stepanov V. Searching for the Origin of Gagauzes: Inferences from Y-chromosome Analysis // Am. Journal of Human Biology. Vol. 21. #3. May/June 2009.

С.В. Чешко

Перспективы и ретроспективы междисциплинарности в этнологии: новое или почти забытое?

Выскажу, наверное, банальное и «архаическое» (в контексте «контрпозитивистских» концепций XX – начала XXI вв.) суждение в духе гегельянской диалектики, подхваченной марксистами, о переходе количественных изменений в изменения качественные. Конкретно я имею в виду междисциплинарный вектор развития науки. Я вовсе не претендую на роль знатока в области науковедения и не собираюсь делать обобщения на этот счет касательно всего многообразия существующих ныне научных дисциплин. Однако на кое-какие замечания я все же отважусь. Это – замечания научного сотрудника с сугубо гуманитарным образованием и тридцатилетним стажем работы в этнологии, который, в силу этой специализации, не должен судить о чем-то большем, выходящим за рамки его профессиональной компетенции. Но ведь и коллеги-«естественники» зачастую не стесняются высказываться по проблемам развития общества, в которых они не очень компетентны.

Открытия в сферах электричества, радио, атома, генетики, кибернетики, а ныне, и нано, придали внушительные и резкие стимулы развитию науки и технологий и преобразованию всего образа жизни человечества. Мое поколение прошло несколько критических «межцивилизационных» границ – от пишущей машинки (обладание ею, а если еще и машинка с латинским шрифтом, было тогда верхом технологической «продвинутости») до персональных компьютеров и Интернета.

Сегодня одним из главных ориентиров, лозунгов, «брэндов», как ныне принято говорить, в развитии науки и технологий заявлена междисциплинарность. Честно говоря, я не очень понимаю эту «инновацию». Мне всегда казалось, что, – по крайней мере, в Новое и Новейшее время – наука развивалась во взаимодействии близких отраслей, вторгавшихся в сферу влияния соседок. Физика, химия, математика, биология, медицина (и многое еще чего, о чем я не имею понятия) – как они сегодня могут существовать друг без друга? Но ведь этот симбиоз сложился не только что! Другое дело, что сегодня справедливо ожидать очередной научный и технологический прорыв на основе не только «междисциплинарности», но и, действительно, симбиоза наук – их методик и результатов прикладных разработок.

А теперь – **о наших этнолого-антропологических** изысканиях. У нас «междисциплинарность» в последнее время тоже стала тем самым «брэндом». Позволю себе высказать на этот счет некоторые соображения – всего лишь некоторые и без претензий на всесторонний анализ проблемы. В последние лет двадцать я наблюдаю в публикациях многих коллег, особенно молодых, тенденцию изобретать для себя велосипеды, на которых наука о народах (этнология/этнография/антропология) ездит практически с момента своего конституирования в первой половине XIX в. и на протяжении всего прошлого столетия. Это я объясняю плохим знанием истории мировой этнологии и чрезмерным увлечением «открытиями» западных ученых, которые зачастую тоже неважно знают эту историю. Если говорить о советской/российской этнографии/этнологии, то она, видимо, и сама в этом виновата. У нас не было принято помпезно объявлять о каких-то новых научных концепциях и методиках. Впрочем, советские этнографы и не имели возможно-

стей на такую «саморекламу» в силу давления «историко-партийной науки», за которой в сталинскую эпоху стоял бдительный охранный аппарат.

Основная же проблема заключается, на мой взгляд, в том, что в понимании междисциплинарности нет ясности. Это понятие давно существует в отечественном и зарубежном обществознании (interdisciplinary studies) и до сих пор никому не мешало и не помогало и, по существу, ни к чему особенному не обязывало. Однако ныне междисциплинарность все больше заявляется в качестве генерального направления в дальнейшем развитии гуманитарных исследований, этнологических, в частности.

Собственно, понятие-то существовало, но, скорее, как «представление», а не как четкая методологическая категория, обозначающая некий определенный, новый, специфический исследовательский принцип, отличный от тех приемов, которые использовались в науке прежде. Показательно, например, что в трудах многолетнего лидера советской этнографии академика Ю.В. Бромлея эта тема серьезно и не затрагивалась. Правда, именно в его бытность директором Института этнографии АН СССР формировались новые, смежные субдисциплины, связанные с этнографией: этносоциология, этнопсихология, этногеография, этнозоология, этнодемография, этноэкология, этноархеология и др. (Этнография 1988). Позднее появились, например, этносексология (которая, впрочем, свелась к трудам И.С. Кона, который предпочитал употреблять термин «сексология»), медицинская антропология, этноэтология. Число таких субдисциплин постоянно растет: к чему угодно можно приставить «этно-», чтобы получилась новая «субдисциплина». Вопрос только – надо ли?

По сути, под междисциплинарностью обычно и понимается использование методов смежных, а теперь зачастую и вовсе и не смежных наук для нужд этнологии. Но это характерно именно для этнологов. А вот один из ведущих этносоциологов Л.М. Дробижева с таким «потребительским» подходом этнологов к возможностям других наук не согласна. Позволю себе полностью привести одно ее пространное высказывание, поскольку оно заслуживает комментария.

«В.А. Тишков считает, что мы утвердили этническую социологию “почти отдельной дисциплиной на стыке двух наук – этнологии и социологии” (Интервью 2001: 16). При этом В.А. Тишков думает, что этносоциология – изучение этничности методами социологии. С этим трудно согласиться не только потому, что и этнографы используют массовые этностатистические опросы (В.В. Пименов и др.), а этносоциологи, как и в других направлениях социологии, используют отнюдь не одни методы опросов – интервьюирование и анкетирование, но и гибкие (или, как их иначе называют, качественные) методы: глубинные интервью, изучение текстов, наблюдения, в том числе включенные наблюдения. При этом включенным наблюдением в социологии называется не просто полевое наблюдение, как это может быть у этнографов, например, увиденная система отношений мужчин и женщин, старших и молодых, что продают на рынках и т. п. Включенным наблюдением в социологии в строгом значении считается, если исследователь вступает в сетевые отношения социальных акторов на объекте исследования, например, начинает работать в цехе, изучая трудовые отношения, или трудится на торговых точках вместе с мигрантами, исследуя, есть ли этническая мотивация в производственных отношениях или ее нет» (Дробижева 2005: 15–16).

Понять социолога (хотя и проработавшего много лет в Институте этнографии) можно. Кто же признает подчиненность своей науки какой-либо другой? Да и действительно, ту же этносоциологию социолог может с равным успехом назвать чем-ни-

будь вроде «социоэтнологии». Все дело в том, как понимать исследовательские цели и соответствующие им методы. Можно так, как это звучит в приведенной цитате относительно позиции В.А. Тишкова. А можно и так, как считает сама Л.М. Дробижева: «В самом широком смысле предметом этносоциологии выступают социальные события, процессы, связи, явления, происходящие *в этнически маркированном* [курсив мой – С.Ч.] социальном пространстве…» (Дробижева 2005: 16).

Вызывает только недоумение освещение вопроса о методе включенного наблюдения. Этот метод – и именно в трактовке Л.М. Дробижевой, – характерный как раз для классической этнографии, использовался еще русскими дореволюционными учеными и, уж конечно, намного раньше возникновения этносоциологии. Он нечасто применяется, но считается идеальной формой стационарных этнографических экспедиционных исследований. Кстати, было бы интересно узнать, кто из социологов работал в жанре включенного наблюдения. Не думаю, что в данном случае мною руководит цеховой патриотизм.

Я бы поспорил и с другим утверждением Леокадии Михайловны: «В социологии междисциплинарность присутствует чаще, чем в иных гуманитарных науках. Политическая социология граничит с политологией, государствоведением, политической психологией, социология семьи – с демографией, социальной психологией и т. д.» (Дробижева 2005: 15). А вот у этнологии подобные связи установились уже с несколькими десятками наук – другое дело, насколько реально и продуктивно. Но это, опять-таки, – к вопросу о том, что понимать под междисциплинарностью.

Показательно, что и тот сборник статей, который я упоминаю в сносках («Междисциплинарные исследования…») не проясняет этот вопрос. Он включает статьи авторов, которые написали просто о том, что они смогли или захотели написать. Объединяет их только работа в русле (этно)социологии, а проблема междисциплинарности никем из этих авторов, за исключением Л.М. Дробижевой, и не ставится. Конечно, издание к юбилею маститого ученого, которого вполне можно считать классиком этносоциологии (напоминаю – Ю.В. Арутюняна), и не обязано являть некий прорыв в науке. Но других публикаций с заявленной темой очень мало. Подобные названия сборников статей попадаются, но сути дела они тоже не проясняют.

И этот же недостаток (или обреченная особенность?), кстати говоря, характерен для огромного большинства тематических сборников, если они касаются конкретных проблем, а не регионов или народов. Издатели оказываются просто вынужденными принимать такие тексты, которые хотя бы номинально подходят к объявленной теме, поскольку других авторов нет. Случай с междисциплинарностью лишь подчеркивает отсутствие или недостаточность концентрации мысли на проблемах, которые сами же ученые и заявляют в качестве исследовательских объектов. Это можно отчасти объяснить стереотипным мышлением, привычкой мыслить «по умолчанию». А отчасти – теми условиями, в которых ученые вынуждены работать. Чтобы получить грант, чтобы вписаться в какую-то финансируемую «сверху» программу НИР, надо соответствовать предписаниям на научные разработки, спускаемые оттуда же. Очень сочувствую коллегам, мучающимся в конце года с отчетами о проделанной работе по таким амбициозным по их названию проектам.

С сожалением приходится отметить, что такая манера творить научные тексты заложена в саму систему производства научных сотрудников. Соискатели ученых степеней, повинуясь нормам ВАК, в своих диссертациях с увлечением повествуют о том, что они используют в своем исследовании ком-

плексный подход, применяют разнообразные методы (подозреваю, что некоторые из таких методов оказываются неведомыми и для членов диссертационного совета – у меня, во всяком случае, это бывает), работают в духе междисциплинарности. Такие пассажи мне напоминают советские времена, когда диссертант был обязан хоть что-то процитировать из трудов «классиков марксизма-ленинизма», даже если они ничего не писали на данную тему. Но это – à propos, хотя, полагаю, и «в тему».

Критиковать не так уж сложно, – проблемы обычно возникают у тех, кого критикуют по причине некорректности критики, с чем мне самому приходилось сталкиваться неоднократно. Коль скоро я обращался к статье Л.М. Дробижевой, то приведу характерный пример к сказанному из этой же статьи. «Во многом методологические споры, приписывания или даже порой “прописывания” по направлениям связаны с политической заданностью или собственной диспозицией авторов. Посмотрите, как распределились ученые в своем выборе принятия или отрицания коллективного права, участия культурных групп в принятии решений. Политика поощрения этнокультурного плюрализма в России чревата самыми тяжелыми последствиями как для общества, так и для государства, как считает последовательный конструктивист В. Воронков и признает справедливым В. Малахов. Негативной позиции придерживаются и другие исследователи из Санкт-Петербурга и Москвы – О. Бердникова, О. Паченков, В. (так в оригинале – *С.Ч.*) Чешко» (Дробижева 2005: 21).

Обычно я публично не реагирую на подобные случаи, чтобы не тратить время и силы на бесполезную перепалку. Да и книга, на которую я ссылаюсь, вышла уже довольно давно – сам виноват: видимо, в свое время я прочитал ее недостаточно внимательно или просто забыл. Но здесь я не могу промолчать – иначе читатели сочтут, что, коль скоро я ссылаюсь на статью Л.М. Дробижевой, то принимаю и ее критику в свой адрес.

Не берусь судить о мнениях других авторов, которые упомянуты Л.М. Дробижевой. А вот мою позицию она переиначила очень радикально. Я всегда выступал против приоритета коллективных (этнических) прав перед индивидуальными правами человека, хотя никогда не отрицал значения коллективных прав вовсе. Я всегда выступал и продолжаю выступать против системы так называемого «социалистического федерализма», означавшего создание субъектов федерации по этническому признаку, но всегда выступал за неполитические формы этнокультурного самоопределения, что и зафиксировано в Законе РФ «О национально-культурной автономии». Я критиковал имевшую хождение в период «перестройки» идею создания в рамках СССР русской этнической республики, – а Л.М. Дробижева была сторонницей этого очень опасного, на мой взгляд, проекта, – но никогда не высказывал каких-либо антирусских идей. Моя принципиальная позиция состоит в необходимости деполитизации этнокультурной области жизни общества. Л.М. Дробижева в своем вердикте в мой адрес (и других упомянутых ею авторов) не дает никаких ссылок. А мне придется привести перечень своих работ, чтобы не быть голословным. Привожу, кажется, все, где я писал на эти темы, чтобы не быть заподозренным в сокрытии улик (Идеология распада 1993; Распад 1996; Экономический 1989; Этнические 1989; Национальное 1990; Философия 1990; Доктрина 2002; Современные 1991; Конституционная 1993; Cheshko 1997; Этнические меньшинства 1997; Стратегия 2003; Этническая политика 2014).

Вернемся к основной теме. Каков результат моего критического анализа? Критика малопродуктивна без попытки сделать позитивные выводы.

Начинать разговор о междисциплинарности надо, видимо, со времен, которые задолго предшествовали официальному становлению этнологии. В сочинениях древних авторов (Египет, Греция, Рим), в трудах раннесредневековых авторов информация и мифологизированные представления о чужих для них народах включали данные о природных условиях соответствующих стран, языков, обычаях, социальных отношениях, экономике, военном потенциале. Чем это не комплексность, которая в этнологии называется страноведением? Той же схеме следовали и описания Сибири русскими землепроходцами.

Далее. Сама первоначальная парадигма этнологии (эволюционизм) складывалась под влиянием эволюционистских взглядов И. Канта и П.С. Лапласа (о строении и развитии Вселенной), К. Линнея (об эволюции живой природы), А. Гумбольдта в области геологии и географии.

Непосредственно же этнология выросла, как известно, из географии. Становление этнологии (в Новое время) происходило в контексте географических открытий, которые обусловливались вполне практическими целями – присоединение и освоение новых территорий, поиски источников золота и серебра, пушнины, пряностей, восточных предметов роскоши. Попутно собирались и сведения о населявших эти земли народах. В России связь этнографии с географией вообще была институализована посредством создания в Императорском Русском географическом обществе Отделения этнографии (1945 г.). Среди «ортодоксальных этнографов» до сих пор бытует справедливое, на мой взгляд, мнение о том, что этнография начинается с географии – с изучения природно-климатических, ландшафтных, ресурсных условий жизни людей, да просто с карты расселения народов.

Родовая связь этнологии с географией особенно четко прослеживалась в антропогеографической методологии Ф. Ратцеля и всего диффузионистского направления, да, пожалуй, и во всех других значительных этнологических школах.

Вся история мировой этнологии проникнута методологией междисциплинарности. Известную «анучинскую триаду» можно, видимо, считать первой концепцией междисциплинарности в этнологии. Д.Н. Анучин (1843–1923) обосновал необходимость соединения данных физической антропологии, археологии и этнографии для изучения этногенеза и этнических процессов. К разработкам в области этнологической междисциплинарности можно отнести, например, следующее.

1. «Биолого-этнологический» [мое вольное определение] подход к пониманию этноса и механизмов его развития С.М. Широкогорова.

2. Комплексный подход Ф. Боаса, который в исследованиях по североамериканским индейцам привлекал этнографические, лингвистические и физико-антропологические данные.

3. Концепция культурных ареалов К. Уисслера и А. Крёбера, совмещенная с пищевыми ареалами.

4. Концепция хозяйственно-культурных типов Н.Н. Чебоксарова и М.Г. Левина.

5. Изыскания З. Фрейда, привнесшего в этнологию свои наблюдения в области психиатрии.

6. Американская «школа культуры и личности» (М. Мид, Р. Бенедикт, Э. Сэпир, Кора Дюбуа др.), тесно связанная с идеями З. Фрейда и А. Кардинера.

7. «Космическо-энергетические» объяснения развития человечества Л. Уайта и Л.Н. Гумилева.

8. «Теория этноса» Ю.В. Бромлея и его соратников.

Я привел только то, что общеизвестно. Но перечень, конечно, может быть значительно больше. Сама этнологическая работа предусматривает использование комплексных источников и методов, харак-

терных для многих научных дисциплин: пожалуй, нет таких общественных наук, научно-методический аппарат которых не использовался бы в этнологии. Возможно, исключение составляют лишь узкоспециальные этнографические темы. А для этногенетических исследований междисциплинарность категорически необходима.

Из личного опыта

А личный опыт показывает, что в ходе полевых исследований приходится применять просто такие методы, которые необходимы в силу поставленных задач, и задумываться, в какой дисциплинарной (или междисциплинарной) парадигме ты работаешь, нет необходимости.

Вообще-то этот параграф я не задумывал, поскольку ничего сверхъестественного для читателей я сообщить не могу. Любой полевик скажет, наверное, то же самое. Но я повинуюсь предложению Галины Александровны Комаровой описать что-либо из собственного опыта конкретных изысканий, связанного с темой междисциплинарности. Впрочем, мои заметки, возможно, будут интересны начинающим исследователям. Кстати говоря, именно для них в журнале «Вестник антропологии / Новая серия» открыта специальная рубрика «Для студентов и аспирантов» (Герасимова 2014: 149–157; Громов 2015: 122–143; Чешко 2014: 144–149).

В 1986 г. заместитель директора Института этнографии АН СССР Л.М. Дробижева вызвала меня, тогда еще совсем «свежего» младшего научного сотрудника, и поставила задачу обследовать немецкое население Казахстана. Тогда, в силу потепления отношений с ФРГ, тематика, связанная с немцами СССР, была легализована и, видимо, поступил заказ «из инстанций» на ее изучение. Для меня это задание было полной неожиданностью, тем более что предстояло начинать с чистого листа. Я только что защитил кандидатскую диссертацию о североамериканских индейцах и неожиданно для себя был зачислен в сектор Средней Азии и Казахстана.

Пришлось заняться той самой «междисциплинарностью»: прочитать всю доступную тогда историческую и этнографическую литературу о немцах в дореволюционной литературе и СССР, включая вопросы об их переселении в пределы Российской империи, правовом статусе, культуре, немецких диалектах, а также заняться чем-то вроде этнического картографирования расселения немцев в Туркестане и, затем, в Казахстане с помощью всевозможных статистических публикаций с целью прокладки экспедиционных маршрутов и составить вопросник для этнографических интервью.

В течение трех лет экспедиционный отряд сектора (в него входили еще О.Б. Наумова, О.И. Брусина, О.М. Машкина и приглашенный фотограф) осуществлял классические маршрутные экспедиции (Наумова 1989). Мы облетели около половины областей Казахстана (цены на авиабилеты и бюджет института тогда это позволяли!), на территории каждого сельсовета останавливались не более чем на неделю, при этом умудрялись выезжать в отдаленные от центральной усадьбы соответствующего колхоза (или совхоза) села и аулы.

Методы исследования применялись традиционные для полевой этнографии – изучение похозяйственных книг сельсоветов, на основе которых делалась предварительная выборка, обстоятельные и, если получалось войти в контакт с информантами, долгие (по 2–3 часа) беседы, наблюдения, фиксирование элементов материальной культуры и типажей на фотопленку, пояснения «экспертов», в качестве которых выступали представители местных властей.

Для меня эти выезды оказались отличной тренировкой памяти. Запасшись официальной бумагой института (московского,

на бланке, с печатью!), я, как начальник отряда, первым делом отправлялся к третьему секретарю соответствующего обкома КПСС. Третьи секретари тогда отвечали за «культурный сектор» и рекрутировались, как правило, из партийцев славянского происхождения. Видимо, с моей стороны это было большой дерзостью – входить в кабинеты столь высоких чиновников в «полевой форме» с потертой офицерской сумкой на боку, унаследованной от отца. Но поместить приличный костюм в рюкзак было невозможно, поскольку туда еще надо было впихнуть тушенку и другое продовольствие, которого не было в продаже и которым по этой причине экспедиционников обеспечивал институт.

Дальше было сложней. Из обкома партии нас передавали по цепочке в определенный район и, далее, – в сельсовет, т. е. туда, где нам хотелось провести исследования. Другой пример комплексности исследовательских методик – наш с О.Б. Наумовой выезд в поселок «Серебряные Ключи» Тульской области в 1987 г. (Наумова 1990). Мы туда попали по приглашению одного из идеологов движения меннонитов за этнокультурное развитие (отличное от немцев!) Владимира Ивановича Фризена, который был тогда организатором – и весьма талантливым организатором – переселения меннонитов из Оренбургской области в Тульскую. К сожалению, этот проект, кажется, сошел на нет в силу последовавших политических пертурбаций в стране. А осуществлялся он успешно: в Тульской «глубинке» мы обнаружили очень симпатичный поселок, выстроенный в каком-то европейском стиле и заселенный работящими и практически непьющими людьми.

Работали мы в режиме «полувключенного» наблюдения, поскольку всю неделю прожили в местной семье. Использовали традиционный метод этнографического интервью, но успели провести еще и анкетирование.

И что дальше?

Полагаю, надо признать, что междисциплинарность – это традиционный и характерный способ этнологических исследований. Это и естественно, поскольку этнология по своей природе – наука комплексная. Она исследует абсолютно все стороны жизни этнокультурных коллективов, от хозяйства до духовной культуры. Такая констатация не исключает, однако, необходимости корректировать свои представления об использовании междисциплинарного подхода, особенно с учетом изменяющегося в условиях «постиндустриальной эпохи» исследовательского поля.

Возможно, перспектива практически полного слияния наук действительно маячит на горизонте естественных наук, но она едва ли реальна в обозримом будущем для наук общественных. Человечество представляет собой совокупность чрезвычайно разнообразных типов сообществ, различающихся по своим функциям, механизмам и факторам воспроизводства и развития. Тенденции к слиянию этих общностей (этнических, религиозных, социально-экономических, общественно-политических и пр.) не наблюдается. Поэтому сохранится и специализация существующих общественных наук, хотя, разумеется, какие-то изменения в их номенклатуре возможны. Это уже произошло с отечественной этнографией, превратившейся в «этнологию и антропологию» в результате включения в круг ее интересов проблематики западной социально-культурной антропологии и, отчасти, применяемых в ней методов.

Междисциплинарность в этнологии иногда сводится к изданию сборников статей с приглашением специалистов, представляющих другие научные дисциплины, чтобы осветить этнологические темы с точки зрения этих наук (фольклористика, языкознание, медицина, экономика, философия и др.). И это, действительно, в известном

смысле – «междисциплинарность». Но каких-то существенных научных достижений такой подход не дает, поскольку еще надо суметь синтезировать данные разных наук в какой-то понятный результат. Это удавалось делать энциклопедистам XVIII в. (М.В. Ломоносов, французские энциклопедисты), В.И. Вернадскому – уже в XX в. Однако с лавинообразным приращением научных знаний и, соответственно, отраслевой дифференциацией науки такой тип ученого возможен сегодня не более чем в штучном варианте.

Мне кажется, что повышение уровня междисциплинарности в принципе возможно на пути существенных преобразований в системе подготовки этнологов в высших учебных заведениях. Эта система должна, во-первых, включать более основательные курсы по истории этнологии с целью просвещения студентов на предмет методов, применявшихся предыдущими поколениями ученых, и, во-вторых, расширять кругозор студентов относительно достижений и методов других наук, полезных в этнологических исследованиях. Но потребуются хорошие учебные пособия, которых мало, и соответствующие преподавательские кадры. И, главное, понимание проблемы и желание ее решить со стороны государства, которое, к сожалению, демонстрирует в последнее время явный приоритет развитию технологий в ущерб гуманитарным знаниям.

А, может быть, оставить заманчивую цель о достижении плодотворной междисциплинарности и вспомнить о полноценной методической комплексности в этнологических исследованиях?

Библиография

Герасимова 2014 – Герасимова М.М. Молодым коллегам о современном состоянии палеоантропологии // Вестник антропологии / Новая серия. 2014. № 2(28). С. 149–157.

Громов 2015 – Громов Г.Г. Методика этнографических экспедиций // Вестник антропологии / Новая серия. 2015. № 1(29). С. 122–143.

Доктрина 2002 – Доктрина самоопределения: иллюзии и реальность / Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ. М.: ИЭА РАН, 2002. С. 233–244.

Дробижева 2005 – Дробижева Л.М. Этносоциология сегодня. Проблемы методологии междисциплинарных исследований // Междисциплинарные исследования в контексте социально-культурной антропологии: Сборник в честь Юрика Вартановича Арутюняна / Отв. ред. М.Н. Губогло. М.: Наука, 2005. С. 14–25.

Идеология распада 1993 – Идеология распада / Библиотека российского этнографа. М.: ИЭА РАН, 1993.

Интервью 2001 – Интервью с профессором В.А. Тишковым // Журнал социологии и социальной антропологии. 2001. Т. IV. № 4(16). С. 5–36.

Конституционная 1993 – Конституционная реформа и национальные проблемы в России // ЭО. 1993. № 6. С. 25–49.

Наумова 1989 – Наумова О.Б., Чешко С.В. Современные этнокультурные процесс у казахов и немцев Казахстана: опыт сравнительного исследования // Этнокультурные исследования в национально-смешанной среде. М.: Институт истории АН СССР, 1989. С. 30–77.

Наумова 1990 – Наумова О.Б., Чешко С.В. Формирование этнической субкультуры мигрантов (меннониты в Тульской области) // Этносоциальные проблемы сельских миграций. М.: ИЭА РАН, 1990. С. 78–95.

Национальное 1990 – Национальное государство или демократическое общество? // Вестник АН СССР. 1990. № 1. С. 25–36.

Распад 1996 – Распад Советского Союза: этнополитический анализ. М.: ИЭА РАН, 1996.

Современные 1991 – Современные мифологемы, или национальный вопрос в СССР // Национальные процессы в СССР. М.: Наука, 1991. С. 83–104.

Стратегия 2003 – Стратегия и практика этнополитики в Российской Федерации // Государственная национальная политика в Российской Федерации. Материалы Всеросс. науч.-практич. конференции. Пермь, 2003. С. 21–26.

Философия 1990 – Философия и мистика национального вопроса // Общественные науки и современность. 1990. № 3. С. 103–114.

Чешко 2014 – Чешко С.В. Как писать научные тексты // Вестник антропологии / Новая серия. 2014. № 2(28). С. 144–149.

Этнические 1989 – Этнические проблемы в СССР // Общественные науки и современность. 1989. № 4.

Этнические меньшинства 1997 – Этнические меньшинства и национальная политика Российской Федерации // Расы и народы. 1997. Вып. 24. С. 170–173.

Этническая политика 2014 – Этническая политика в Российской Империи и СССР: исторические, политические и правовые аспекты // Вестник антропологии / Новая серия. 2014. № 1. С. 4–22.

Этнография 1988 – Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы. М.: Наука, 1988.

Экономический 1989 – Экономический суверенитет и национальный вопрос // Коммунист. 1989. № 5. С. 97–105.

Cheshko 1997 – Cheshko, Sergei V. Some Considerations on Ethnonationalism in Russia / Quest for Coexistence of Nationalities Sapporo: Hokkaido University, December 1997. Pp. 3–12.

Д.В. Громов

Этноювенология: всегда ли оправдана междисциплинарность?

Междисциплинарные исследования позволяют выйти за границы частных научных дисциплин и с помощью комплексного применения инструментария разных наук более эффективно решать различные исследовательские задачи. В связи с этим появляются новые направления, в названиях которых совмещены названия уже существующих, институализированных наук, научных направлений, философских систем. Так, например, на стыке этнологии и социологии возникла этносоциология.

Однако всегда ли «кентавры», совмещающие в себе различные науки, жизнеспособны? Критерий правомерности совмещения здесь очевиден: объединение наук имеет смысл только в тех случаях, когда оно позволяет достигнуть цель, недостижимую для частных наук по отдельности. Каждая наука имеет собственный объект (та сторона реальности, на изучение которой направлена наука) и предмет (то, какими сторонами представлен в науке изучаемый объект), решает свои задачи. Если уже существующие науки в состоянии решить свои задачи сами, ни к чему множить сущности, создавая их гибриды.

В данной статье постараемся определить, для решения каких задач корректно было бы применить научную дисциплину под названием этноювенология. Я не ставлю перед собой цель заявить о существовании этноювенологии как очередного междисциплинарного направления; скорее хочу порассуждать, насколько необходимо создание новых междисциплинарных направлений в каждом конкретном случае, каковы критерии необходимости введения новых терминов в антропологические исследования.

Ювенологией (от лат. *juvenilis* – «юный»; греч. *logos* – «учение, знание») называется междисциплинарная область знаний, направленная на изучение молодежи как социально-возрастной группы. В ювенологии (ювентологии, юнологии, молодёжеведении) объединяются научные подходы социологии, психологии, политологии, юриспруденции, медицины и т. д. Объединение разных исследовательских подходов предусматривает «создание целостного представления о молодежи путем преодоления односторонности, узости исследовательского аспекта и ограниченности средств получения информации, ее интерпретации и анализа, имеющей своим источником границы между различными науками» (Луков 2008а: 239–240). Разработка ювенологического направления не только имеет научное значение – оно востребовано в сфере социальной работы с молодежью; поэтому работы по ювенологии часто затрагивают тематику молодежной политики, ювенального права, ювенальной юстиции, решения социальных проблем молодежи (Слуцкий 1999). Ювенология представляет собой «комплексное междисциплинарное знание о становлении молодого поколения в диалектическом единстве социального, духовного и биологического начал. <…> Ювенология представляет собой системное знание о развитии человека как живого организма (физиологический аспект), становлении Homo sapiens с развитым мышлением (психоэмоциональный аспект), формировании его как члена общества посредством социализации (социальный аспект). Объектами исследования ювенологии являются и молодой человек, и социальная общность – молодежная популяция (дети,

подростки, молодежь) в возрасте от 11 до 25 лет» (Слуцкий).

Идеи о создании интегративной дисциплины о молодежи высказывались в научном мире с начала 1970-х годов (Луков 2008b: 592–593). В России в конце 1990-х годов о создании интегративной науки о молодежи говорил философ В.В. Павловский, который предложил в качестве базовой дисциплины для этой науки использовать философию (Павловский 1997, Павловский 2001). Большое внимание внедрению термина уделял доктор экономических наук Е.Г. Слуцкий и исследователи его круга (Основы 2002, Ювенологический 2002, Ювенология 2004, Ювенология 2007). Однако надо отметить, что за полтора десятилетия своего существования важная и перспективная идея создания интегративной науки о молодежи не закрепилась в сознании ученых; многие исследователи, работающие в данном направлении, прекрасно обходятся без термина «ювенология» и ему подобных, а если при исследовании требуется привлечение инструментария других наук, делают это, оставаясь на позициях собственной частной науки.

В противовес мнению В.В. Павловского, считающего базовой дисциплиной для ювенологии философию, мы считаем наиболее «удобной» для выработки междисциплинарного дискурса социальную антропологию. Это интегративная наука, включающая в себя элементы социологии, психологии, филологии, истории и других наук о человеке и обществе. Находясь на позициях социальной антропологии, наиболее удобно привлекать инструментарий других дисциплин для решения конкретных исследовательских задач. И наоборот, позиционирование исследования в рамках одной из «более узких» наук приводит к тому, что различные аспекты темы упускаются из виду. Так, филологи концентрируются на текстах и не всегда уделяют должное внимание рассмотрению социально-психологического контекста. Социологи склонны проявлять невнимание ко многим частным проявлениям социальной реальности – одежде, фольклору, стереотипам поведения, ритуалам и т. д. Психологи неохотно выходят за рамки рассмотрения личностных характеристик (и напротив, личность обычно оказывается за пределами внимания не-психологов).

Предполагая использование термина «этноювенология», мы еще более сужаем поле нашего исследования; речь идет о молодежи, организованной по этническому признаку. То есть, о группах молодых русских, армян, евреев и т. д. Здесь мы сталкиваемся с некоторыми проблемами.

Первая из них состоит в том, что в современном городе этничность нивелируется; этническая специфика оказывается малозначимой и теряет свою функциональность в сопоставлении с современным укладом жизни, с правилами, диктуемыми законом, экономической жизнью, массовой культурой и социальными институтами: системой образования, занятости, здравоохранения, социального обеспечения и т. д. Например, студент-калмык, живущий в общежитии университета, мало отличается от русского студента, живущего в соседней комнате: он учится по той же программе, одевается в похожую одежду, смотрит примерно те же фильмы и т. д.; этническая специфика отходит на второй план, проявляясь, например, в отношении к религии или интимной жизни. Таким образом, на первое место выступает изучение не этничности, а социальных сообществ (Арутюнов, Рыжакова 2004: 16–20).

Такие сообщества прекрасно «видны» при помощи социальной антропологии, однако «невидимы» с точки зрения этнолога. Например, уличные молодежные компании в российском городе не предполагают этнической составляющей (в них входят местные жители независимо от национальности), однако если в такую компанию в

этом же городе объединятся, скажем, приезжие азербайджанцы, такая компания будет «этнической».

Интересно, что ювенологические исследования уделяют не очень-то большое внимание этничности; чаще всего она выходит на поверхность в связи с национализмом и межнациональной напряженностью как актуальной тематикой. Нам кажется, что невнимательное отношение к этничности в исследованиях молодежи обусловлено, в первую очередь, нивелировкой этничности в современных городах, в том числе в России. Показательно, что в западной антропологической традиции упор делается на изучение не этничности, а социальных групп (Арутюнов, Рыжакова 2004: 15).

Вторая проблема заключается в том, что даже в тех случаях, когда декларируется объединение по национальному признаку, не всегда можно говорить об этнической специфике сообщества; его строение может быть обусловлено не этническими традициями, а опять же, социальным устройством современного города. Например, российские скинхеды-наци формально декларировали себя как объединение, построенное по национальному признаку и преследующее цель межэтнической борьбы; однако антропологически им близки не какие-либо традиционные русские сообщества, а аналогичные скинхедские субкультуры Запада (США и Европы), то есть, при декларации «национальных» целей мы имеем «глобализированное» молодежное мужское сообщество, построенное по логике современной цивилизации.

Отдельно стоит упомянуть о городских сообществах, которые берут за основу «этническое», хотя сами участники никакого отношения к этносу не имеют; их интерес – чисто эстетический, являющийся хобби. Таковы, например, клубы любителей восточного танца (Ефимова-Соколова 2009) или индейской культуры (Година 1999), объединяющие россиян, не имеющих никакого отношения ни к арабскому миру, ни к аборигенам Северной Америки.

Есть и другие проблемы, переходящие «по наследству» от более ранних исследований молодежи; в частности, отсутствие устоявшегося понятия о том, что такое молодежь и каковы возрастные рамки молодости (тем более что в различных культурах процессы взросления проходят неодинаково).

В исследованиях современности можно выделить по крайней мере три сферы, в которых применим этноювенологический подход.

1. Анализ неких специфически этнических явлений в молодежной среде

При историческом или этнографическом рассмотрении различных «традиционных» обществ (например, в русской деревне (Бернштам 1988)) молодежь рассматривается как часть общества, обладающего самобытностью. Здесь не вызывает сомнения применение этнографии или этнологии как науки. Однако, подходя с этнологическим инструментарием к рассмотрению современного города, мы сталкиваемся с тем, что этничность исчезает, будучи нивелированной социальными отношениями, лишенными этнической окраски; важна не национальная принадлежность человека, а совокупность его социальных (гражданских, профессиональных, возрастных и т. д.) статусов.

Этническая составляющая может проявляться в укладе жизни. Она наиболее заметна при сопоставлении молодых людей разных национальностей. Так, Т.М. Полякова в конце 1990-х годов отмечала отличие молодых адыгейцев от представителей других национальностей Республики Адыгеи: «Психологическое состояние русской молодежи характеризуется более высоким уровнем тревожности. Русская молодежь и представители других национальностей ис-

пытывают больше затруднений в реализации своих базовых потребностей, чем представители адыгейской национальности, у которых сильнее родственные связи, бытовая взаимовыручка и поддержка. <…> Представители адыгейской национальности большое значение придают соблюдению обрядов, традиций в общении со старшими. Обращает на себя внимание тот факт, что у представителей адыгейской национальности почти не бывает недопонимания с родителями по отношению к соблюдению обычаев народа, по отношению к религии, не много респондентов, которые указали на проблемы в отношении политических вопросов, выбора профессии. Для представителей всех национальностей значимо согласие родителей на брак, для большинства адыгов указанное является обязательным и не подлежит сомнению, что брак не должен заключаться без согласия родителей» (Полякова 1998: 34–35).

Очень часто этнический колорит на самом деле является не столько этническим, сколько конфессиональным: внешний вид, поведение, одежда могут обусловливаться религиозным выбором молодых людей (например, мусульман). Не случайно при рассмотрении этнической специфики она часто расширяется до этноконфессиональной (Гафуров 1998).

Большой интерес представляют собой явления, имеющие аналоги в традиционной культуре. По этнографической литературе известно о существовании на Кавказе долгой традиции молодежных воинских союзов (Карпов 1996), распространенной практикой был уход молодых мужчин из общества с целью обретения жизненного опыта в ходе экстремальной деятельности. Некоторые современные исследователи видят возрождение этого этнического стереотипа поведения в современных практиках отъезда молодых кавказских мужчин в города и даже в участии в бандформированиях (Карпов 2004, Текуева 2007).

Однако надо сказать, что при рассмотрении современных молодежных практик бывает трудно выявить, обусловлены они этнопсихологической составляющей или социальными условиями. Так, в среде российских футбольных фанатов, практикующих «спортивные» коллективные драки, бытует мнение, что эти драки генетически восходят к русским кулачным боям. Указывается на щадящий характер боя, на ограничение агрессии правилами, на общую доброжелательность противников по отношению друг к другу («биться без злобы»), такое толкование часто поддерживается на уровне руководителей фанатских клубов, заинтересованных в легитимизации драк и снижении их деструктивности. Однако вызывает сомнение преемственность традиции, если учесть, что активное бытование кулачных боев закончилось в 1920–1930-х годах, а институализированные фанатские драки возникли в начале 1990-х; видимо, речь идет скорее о воспроизводстве социальных форм поведения, типичных для молодежных мужских сообществ (в том числе зарубежных фанатских клубов), а не о «проявлениях русского духа» (хоть участникам драк никто не мешает воспринимать их именно так).

2. Исследование этнической идентичности и сообществ, предполагающих некую этническую идентичность

Различные междисциплинарные научные направления отечественной этнологии (этносоциология, этнополитология, этнопсихология, этнография детства и др.) традиционно уделяют внимание исследованиям этнической идентичности молодых людей (Кон 1978; Кон 1988; Комарова 2012; Комарова 2014). И это закономерно, т. к. «именно к юношескому возрасту завершается первоначальный процесс накопления интериоризованных, то есть, приобретенных этнических ценностей, символов, сте-

реотипов, навыков поведения, благодаря которым закладывается фундамент этнической идентичности и обретается осмысленная этническая идентичность» (Губогло 1998: 9). В частности, согласно исследованию И.А. Снежковой, проведенному на Украине в начале 1980-х годов, этническое самосознание у индивида формируется в интервале от 6–10 до 16–17 лет (Снежкова 1982).

В ходе исследования современных проблем этнической самоидентификации молодежи этносоциологами был проведен сравнительный анализ этнической самоидентификации молодых русских, марийцев и татар, проживающих в республике Марий Эл. Участникам обследования было предложено определить мотивы, по которым они идентифицируют себя в этническом отношении. В результате среди этих мотивов наиболее значимыми оказались (примерно в убывающем порядке по количеству ответов): язык, народные обычаи, историческое прошлое, религия, черты внешнего облика, черты характера, «одинаковое отношение к другим народам», общая участь и одинаковое социально-общественное положение (Шабыков 2012). Далее значимость факторов самоидентификации конкретизируется. В частности, определяется значимость для респондентов критериев, по которым определяется их этническая принадлежность (национальность отца, матери; родной язык родителей, место проживания, язык общения между родителями и детьми, индивидуальное решение человека); показательно, что вариант «индивидуальное решение человека», по оценкам респондентов, лидирует (русские – 38,6%, марийцы – 34,0%, татары – 46,7%). С разрывом в 4–8 раз различается значимость национальности отца и матери для определения собственной национальности, влияние материнской национальности иногда оказывается даже нулевым. Подчеркнуто заниженным оказывается интерес русских к «национальной культуре». Эти и некоторые другие результаты исследования дают возможность сопоставлять представителей молодежи трех национальностей и делать на основе этого сопоставления определенные обобщения (хотя и на уровне предположений). В то же время на значимость для себя национальной самоидентификации указал довольно малый процент респондентов: среди татар – 36,7%, русских – 11%, марийцев – 9%; таким образом, опять же видна незначительность этнической составляющей для современного горожанина, хотя из этого ряда и выбивается татарская молодежь с ее сравнительно высоким уровнем национальной идентичности (Шабыков 2012).

Не вызывает сомнения, что этническая идентификация во многом обусловлена политической конъюнктурой: «В условиях развития этнополитического процесса в связи с государственным строительством в республике Адыгея иные характеристики, как выяснилось, приобретает процесс социализации личности. Если в бывшем Советском Союзе было престижно говорить по-русски, вести себя «по-русски», в 90-е годы становление личности, ее социализация получает этническую окрашенность. Адыги возвращаются не только к своему национальному языку, но и к нормам поведения, обычаям и традициям» (Полякова 1998: 32–33).

В тесной связи с идентификацией обсуждается тема языковой политики. Так, например, в Петрозаводске «языковая сфера является единственной областью взаимоотношений карельской и русской молодежи, где их национальные интересы существенно различаются» (Бирин 1998: 78).

Исследования часто показывают, что в республиках Российской Федерации молодежь из местного, национального населения в качестве родины воспринимает преимущественно республику, а русские как родину воспринимаю Россию в целом (Полякова 1998: 34; Бирин 1998: 84). Это

различие идентификации: «Представители титульной национальности острее чувствуют свою национальную принадлежность. Они выше ценят свою национальную государственность» (Бирин 1998: 90).

Формирование этнической идентичности еврейской молодежи постсоветского пространства подробно рассматривается в книге В. Ханина, Д. Писаревской и А. Эпштейна (Ханин и др. 2013). При этом учитывается множество факторов, обусловливающих идентичность: наличие родителей-евреев (двух или одного), знание языка, религиозность, социальная включенность в еврейскую среду, знание еврейской истории и культуры, отношение к государству Израиль и др.

Но и при рассмотрении данной тематики нужно учитывать, что часто разница между этнической и просто социальной (гражданской) идентичностью трудноуловима. В качестве примера возьмем статью Н.М. Лебедевой и А.Н. Татарко, посвященную отношению московской молодежи к мигрантам (Лебедева, Татарко 2007). В общем-то, поставлен вопрос о взаимодействии не этнических, а социальных групп: с одной стороны, жителей Москвы (а также, для сравнения, жителей Пензы и Балашова), а с другой – приезжих мигрантов. Однако в реальности «принимающая сторона» – это преимущественно русские (предположительно, их доля в числе опрошенных равна доле русских среди молодежи Москвы в целом), а мигранты – представители «неславянских» народов, поскольку, как известно, приезжие русские (и шире – представители европеоидных народов, внешне мало отличимые от славян) незаметны для глаза среднего москвича и не вызывают раздражения, хоть их среди мигрантов и больше, чем кавказцев и среднеазиатов. Таким образом, проблема, выстроенная на основе территориальной идентичности (москвичи – приезжие) приобретает этнологические черты, что усиливается характером вопросов, задаваемых респондентам.

3. Кросс-культурный анализ молодежной жизни; сравнение реалий бытия молодежи в различных культурах

Одним из направлений антропологических исследований является кросс-культурный анализ – сопоставление типологически сходных элементов разных культур. В рамках такого анализа возможно и сопоставление закономерностей протекания молодости. Молодежь в различных культурно-исторических ситуациях, в принципе, имеет сходные социально-антропологические характеристики, поскольку всё ее существование обусловлено биологическими и социально-психологическими факторами: физическим взрослением, социализацией, формированием новых социально-возрастных характеристик, приобретением нового статуса. Выявление констант социокультурного развития молодежи – это важная и интересная задача, до конца не решенная современными науками о человеке и обществе. Сопоставление позволяет выявить различия в формах социализации (обучения, профориентации, приобретения специальности), учебной и трудовой деятельности, взаимодействия полов (знакомства, ухаживаний, получения сексуального опыта, вступления в брак), проведение досуга, творческой самореализации; в религиозности, мобильности, системах ценностей; в закономерностях формирования сообществ сверстников, собственных коммуникативных пространств; во взаимоотношениях с родителями и старшими родственниками, и т. д. Анализ может проводиться в гендерном разрезе – при этом сопоставляются характеристики юношей и девушек в разных культурах, выявляются особенности гендерной композиции (Кон 1988).

Общепринятый способ сопоставительного анализа – сравнение молодежи разной этнической принадлежности того или иного общества. В качестве примера на российском материале, можно указать ис-

следование М.Л. Бутовской, Ю.Н. Феденок и В.Н. Бурковой, посвященную межэтническим школьным коллективам (правда, речь идет не о молодежи, а о детях и подростках). Сравнивается поведение русских и нерусских мальчиков и девочек (количество контактов, расположение друг относительно друга и др.), темы разговоров; сопоставляются традиции поведения в семье, восприятие гендерных отношений, стратегии агрессивности и примирения и т. д. Например, выявляется разница расположения тел по отношению друг к другу – русские разговаривают преимущественно лицом к лицу, нерусские – под углом в 90 градусов, при разговоре с русским нерусские (мигранты) подстраиваются под них (Бутовская и др. 2007: 347–350); русские мальчики отличались более высоким уровнем вербальной агрессии, а нерусские – чаще затевают драки (Бутовская и др. 2007: 363).

Этническая специфика может проявляться при конфликтном взаимодействии разных этнических групп. Так, рассматривая межэтнические конфликты на улицах Москвы, можно выявить две противоборствующие группы, активность каждой из которых основывается на национальных традициях поведения. С одной стороны, это кавказские мужчины с определенными стереотипами брутальной маскулинности, с другой – местная русская молодежь, агрессивность которой диктуется стереотипным поведением молодежных сообществ, в целом конфликты имеют характер «соревнования маскулинностей» (Громов 2008).

Однако применимость кросс-культурного подхода к этноювенологии также предполагает оговорки по той причине, что зачастую сравниваются далеко не обязательно этнические, а скорее социокультурные различия. Как уже неоднократно упоминалось выше, проблема состоит в том, что этническая специфика в современных городах, как правило, нивелируется.

Заключение

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что предполагаемая дисциплина под названием «этноювенология» имеет в качестве предмета своих исследований довольно узкий круг явлений и тем: специфические этнические явления, бытующие в молодежной среде, этническая идентичность; кросс-культурный анализ молодежной жизни, сравнение реалий бытия молодежи в различных культурах. Именно в данной сфере совмещение ювенологического и этнологического подходов может дать эффект и привести к получению нового научного знания.

Однако, по моему мнению, все исследовательское поле проблем, находящихся на пересечении этнологии и ювенологии, можно охватить, оставаясь на позициях одной из этих наук и при этом используя инструментарий обеих, а также, при необходимости, инструментарий других дисциплин. Создание принципиально нового исследовательского направления, построенного как наука, кажется нам здесь излишним.

Библиография

Арутюнов, Рыжакова 2004 – Арутюнов С.А., Рыжакова С.И. Культурная антропология. М.: Весь мир, 2004.

Бернштам 1988 – Бернштам Т.А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX – начала XX в.: Половозрастной аспект традиционной культуры. Л., 1988.

Бирин 1998 – Бирин В.Н. Этнополитические представления молодежи Карелии (по материалам этносоциологического исследования 1997 г.) // Идентификация идентичности. Т. II. Этнополитический ракурс / Сост. и отв. ред. М.Н. Губогло. М.: ЦИМО, 1998. С. 69–90.

Бутовская и др. 2007 – Бутовская М.Л., Феденок Ю.Н., Буркова В.Н. Взаимопонимание и толерантность в поведении детей и подростков в условиях многоэтничных школьных коллективов // Молодежь Москвы: адаптация к многокультурности / Под ред. М.Ю. Мартыновой, Н.М. Лебедевой. М.: РУДН, 2007. С. 314–366.

Гафуров 1998 – Гафуров А.М. Некоторые аспекты этноконфессиональной идентификации молодежи Республики Башкортостан (по материалам этносоциологических исследований) // Идентификация идентичности. Т. II. Этнополитический ракурс / Сост. и отв. ред. М.Н. Губогло. М.: ЦИМО, 1998. С. 209–219.

Година 1999 – Година А.И. Взаимодействие субкультуры и культуры (на примере движения индеанистов) // Молодежные движения и субкультуры Петербурга / Под ред. В. Костюшева. СПб., 1999. С. 51–67.

Громов 2008 – Громов Д.В. Межнациональная напряженность в Москве: возрастной и гендерный аспекты // Свободная мысль. 2008. № 2. С. 135–148.

Губогло 1998 – Губогло М.Н. На перекрестке этнической и молодежной политики // Идентификация идентичности. Т. II. Этнополитический ракурс / Сост. и отв. ред. М.Н. Губогло. М.: ЦИМО, 1998. С. 6–16.

Ефимова-Соколова 2009 – Ефимова-Соколова О.Л. Субкультура увлекающихся арабским танцем // Молодежные субкультуры Москвы. М., 2009. С. 476–503.

Карпов 1996 – Карпов Ю.Ю. Джигит и волк. СПб., 1996.

Карпов 2004 – Карпов Ю.Ю. «Горские сезоны» в современном большом городе // «Мужское» в культурном контексте города. Материалы научной конференции (СПб., 22–24 апреля 2004 г.). М.; СПб., 2004. С. 24–25.

Комарова 2012 – Комарова Г.А. Опыт интеграции: междисциплинарное взаимодействие этнографии и этносоциологии. М.: ИЭА РАН, 2012.

Комарова 2014 – Комарова Г.А. Этнография детства: междисциплинарные исследования. М.: ИЭА РАН, 2014.

Кон 1978 – Кон И.С. Возрастные категории в науках о человеке и обществе // Социологические исследования 1978. № 3. С. 76–88.

Кон 1988 – Кон И.С. Ребенок и общество. М., 1988.

Лебедева, Татарко 2007 – Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Социально-психологические установки московской молодежи по отношению к мигрантам // Молодежь Москвы: адаптация к многокультурности / Под ред. М.Ю. Мартыновой, Н.М. Лебедевой. М.: РУДН, 2007. С. 230–273.

Луков 2008a – Луков Вал.А. Междисциплинарные исследования молодежи // Социология молодежи. Энциклопедический словарь / Отв. ред. Ю.А. Зубок, В.И. Чупрова. М., 2008. С. 239–240.

Луков 2008b – Луков Вал.А. Ювенология // Социология молодежи. Энциклопедический словарь / Отв. ред. Ю.А. Зубок, В.И. Чупрова. М., 2008. С. 592–593.

Основы 2002 – Основы ювенологии: опыт комплексного междисциплинарного исследования / Науч. ред. Е.Г. Слуцкий. СПб.: БИС-принт, 2002.

Павловский 1997 – Павловский В.В. Ювенология: становление науки о молодежи. Красноярск, 1997.

Павловский 2001 – Павловский В.В. Ювентология: проект интегративной науки о молодежи. М., 2001.

Полякова 1998 – Полякова Т.М. Молодежная политика в условиях трансформации российского общества (Опыт Республики Адыгея) // Идентификация идентичности. Т. II. Этнополитический ракурс / Сост. и отв. ред. М.Н. Губогло. М.: ЦИМО, 1998. С. 19–41.

Слуцкий – Слуцкий Е.Г. Ювенология // Энциклопедический фонд России. http://www.russika.ru/ef.php?s=2018.

Слуцкий 1999 – Слуцкий Е.Г. Молодежная политика: История. Проблемы. Перспективы. СПб., 1999.

Снежкова 1982 – Снежкова И.А. К проблеме изучения этнического самосознания у детей и юношества (по материалам Киевской и Закарпатской областей) // СЭ. 1982. № 1. С. 80–88.

Текуева 2007 – Текуева М.А. Корпоративные мужские объединения на Кавказе сегодня: от экстремальности к экстремизму // Мужской сборник. Вып. 3 / Сост. И.А. Морозов. М., 2007. С. 135–141.

Ханин и др. 2013 – Ханин В., Писаревская Д., Эпштейн А. Еврейская молодежь в постсоветских странах. М.: Институт востоковедения РАН, 2013.

Шабыков 2012 – Шабыков В.И. Проблемы этнической самоидентификации молодежи Республики Марий Эл // Молодежь Республики Марий Эл. Материалы Республиканской научно-практической конференции «Реализация государственной молодежной политики в Республике Марий Эл: проблемы и перспективы». Вып. 6. Йошкар-Ола, 2012. С. 204–215.

Ювенологический 2002 – Ювенологический словарь: 300 терминов / Сост. Е.Г. Слуцкий, И.В. Скомарцев, В.К. Криворученко. СПб., 2002.

Ювенология 2004 – Ювенология и ювенальная политика в XXI веке. Опыт комплексного междисциплинарного исследования / Под ред. Е.Г. Слуцкого. СПб., 2004.

Ювенология 2007 – Ювенология в XXI веке: комплексное междисциплинарное знание о молодом поколении / Под ред. Е.Г. Слуцкого, В.В. Журавлева. СПб., 2007.

Е.В. Холлер

Туризм: от коммерческой индустрии до системного объекта исследования*

> В туризме тесно переплетаются технически-индустриальный рационализм и сентиментальный романтизм, а также модернизация и критика модернизации.
>
> (Schäfer 2015: 21)

Антропология туризма – относительно молодая ветвь научных исследований во всем мире, но в России эта отрасль только начинает свое развитие. Интересно, что в некоторых актуальных темах этнологического знания российская школа ни в чем не отстает от западных направлений, как например, в сфере гендерных исследований, однако область туризма до недавнего времени находилась за пределами ее объектов антропологического изучения. Попробуем разобраться, в чем же причина столь долгого и незаслуженного игнорирования этой увлекательной научной сферы в России и проследить путь туризма от истинно коммерческой деятельности до социальной системы, пригодной для изучения. С этой целью чрезвычайно важно деконструировать это понятие для этнологии и социологии. В данной статье будет предпринята попытка выделить уже существующие направления «антропологии туризма», а также уделено внимание новым взглядам на предмет с точки зрения междисциплинарного подхода.[1]

Туризм: «трудности перевода» и изучения

Для начала нужно понять, что туризм, действительно, относительно молодая область. Ведь еще до XX века туризм был элитарной сферой деятельности. Во всех странах мира, включая Россию, ни крестьяне, ни рабочие не могли позволить себе путешествовать ради удовольствия. В Германии рабочие получили право на полноценный отпуск, только начиная с 1928 года (Keitz 1993: 184). Вначале туризм в Европе ограничивался только альпийским, а лишь с 1970ых годов институализировался. По данным Всемирной туристической организации, в 1950 году общий поток туристов в мире насчитывал 25 миллионов, на 2014-ый год эта цифра достигла одного миллиарда 133 миллионов человек (WTO 2015: 2).

Однако, несмотря на его сегодняшнюю институализированность, само понятие «туризм» довольно сложно ограничить и дать ему определение. Так некоторые исследователи, в частности, американская антропологиня Valene L. Smith пытались выделить три критерия туризма, которые должны проявляться одновременно: временный досуг, наличный доход в свободном распоряжении и определенная этика путешествий (Smith 1981: 475). Но даже эти, казалось бы, универсальные критерии не абсолютны. Такой подход исключает из системы туристов, путешествующих по системе «все включено» в отели-оазисы в Египте и Турции, которые, как раз, избегают особой этики путешествующих, перенося собственный жизненный уклад в другой климат, лишь минимально соприкасаясь с местной культурой.

Американский исследователь гостеприимства и туризма Jan H. van Harssel пишет, что сложность обобщений в сфере туризма

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта № 16-01-00287а.

заключается именно в том, что в ней замешаны интересы многих сторон (van Harssel J. 1994: 3). Не стоит забывать о том, что изначально туризм – это индустрия, где каждое звено преследует свою цель: так, туризм с точки зрения туристов – одно, туризм с точки зрения предоставляющих услуги гостеприимства (отели, рестораны, казино и даже музеи) – это совершенно другое. К тому же, есть еще и посредники туриндустрии (турагентства, туроператоры, онлайн системы бронирования и авиакомпании), которые зарабатывают деньги, обеспечивая связь между первыми и вторыми. Согласитесь, что каждое из этих звеньев само по себе является полноценным и комплексным объектом изучения антропологов. Туризм же становится неким суперобъектом, или, назовем его, системным объектом. Сложность понятия отражается в определениях туризма известными учеными-исследователями гостеприимства: большинство концентрируется только лишь на видении туризма с точки зрения путешествующего (Leiper, Middleton, McKean) (Burns 1999: 27), забывая о том, что эта индустрия (пока что мы ее охарактеризуем именно так) включает в себя и других акторов. Импонирующий нам Урри тоже концентрируется на одной стороне медали – консюмеризме – что вполне типично для постмодерниста: туризм – это как и почему люди покидают свои привычные места обитания и работы на короткий период времени. Туризм для него связан с потреблением товаров и услуг, которые не всегда необходимы. Они потребляются, поскольку являются источником приятного опыта, отличающегося от повседневности» (Urry 1990: 12).

Правильно заметил К.Л. Банников в своей статье «Антропология туризма», являющейся чуть ли ни единственной русскоязычной работой о сущности и истории туризма с точки зрения антропологии, что «Туризм не всегда легко определить <…>, так как любое путешествие, перемещение в пространстве, как то деловые командировки, религиозное паломничество, научные конференции предполагают туристические формы отношений человека с внешним миром» (Банников 2012). Действительно, содержание термина слишком обширно и энтропично, а главное, обладает размытыми границами, что создает трудности в его изучении: часто трудно понять, где, например, заканчивается работа и начинается туризм в командировках, можно ли считать туризмом выезды за город жителей столицы или еженедельные походы в горы альпинистов?

В одном можно быть уверенными: туризм – это антипод рутины. И поскольку рутина у людей разная, то и туризм будет совершенно разный. Так для занятого бизнесмена, крутящегося как белка в колесе, идеальным противовесом его повседневности может быть расслабленный отдых на пляже. Для жителя Лазурного побережья, работающего в туристической сфере, туризмом будет поход на высокогорья в скромной компании.

Сущность туризма составляют не только процессы, происходящие во время путешествия, но и предвкушения, начинающиеся задолго до начала вояжа. Поэтому сюда входят книги, фильмы, путеводители и журналы, посвященные месту назначения. Туризм со временем все больше увеличивает свою собственную продолжительность. Благодаря интернету и путеводителям, в которых уже на первых страницах прописана рекомендуемая литература и фильмография для «погружения в локальный мир», отдыхающие начинают знакомиться с областью заранее. Туризм сегодня – это не просто природа и достопримечательности, это и тематические туры по местам съемок знаменитых фильмов (например, прогулка по местам съемки фильма «Третий человек» в Вене), это полное погружение в чужую романтизированную повседневность (агротуризм на фермах в Европе), а также новые

и набирающие популярность виды: секс-туризм, шоппинг-туризм, религиозный туризм, рабочий туризм (*aupair, work&travel*) и даже репродуктивный туризм. Дорога домой, а также последующие составление и демонстрация тематических фотоальбомов, отзывы о посещенных местах и отелях, оставленные в интернете, тоже входят в область туризма. Поэтому уже и так размытые и обширные границы понятия становятся еще больше, далеко выходя за рамки отдыха и отпуска.

Еще одним камнем преткновения в изучении туризма является то, что он не по праву был дискредитирован в качестве научного объекта. Долгое время, а особенно в России, туризм считался чуть ли не врагом этнологии, неким способом профанации и «диснейфикации» культуры, который был противопоставлен аутентичности. Есть предрассудки, будто бы субъект, попадающий на туристический рынок, тут же теряет свою самобытность и оказывается в цепких лапах глобализации и коммерции. Американский антрополог Дэннисон Нэш – специалист по антропологии туризма – в своих ранних работах вообще видел в современном туризме проявление империализма, делающего из культуры сервис-платформу и культивирующего неравенство в отношениях хозяин – гость (Burns 1999: 74), а Бурстин утверждал, что туристы ищут не аутентичности, а «псевдо-событий», чтобы оставаться в привычных условиях и наблюдать местную жизнь из «окна климатизированной комнаты» – своего рода, «культурные миражи в туристических оазисах» (Boorstin 1964: 114). Но оба варианта отношения к туризму уже устарели. Чтобы понять это, вернемся к понятию аутентичности, которое само по себе является отголоском модерна, ведь даже касательно слова «аутентичность» возникают споры. С нашей точки зрения, самым рациональным и актуальным является объяснения термина с точки зрения постмодернизма. Так согласно словарю Merriam-Webster, под аутентичностью понимается два значения: во-первых, – это признак чего-то подлинного, исконного и нефальшивого, а во-вторых, – соответствие оригиналу, если сохраняются все значимые признаки объекта или что-либо сделано по образцу оригинала (*Authentic*). В эпоху постмодерна нет признаков исконности и аутентичности, так же, как и нет границы традиции, а поэтому туризм не может «испортить» культуру, поскольку он тоже является ее составной частью. Постмодерн не отменяет правил и канонов, а лишь ставит под сомнение их абсолютизм, их мощь. Весьма компактным и сущностным нам видится определение искусствоведа Андрея Ерофеева: «постмодернизм – возможность и свобода использовать весь арсенал имеющихся у человечества образов, знаков, слов, эмблем и смыслов вне зависимости от исходного содержания, которыми они были когда-то наполнены» (Культура после постмодерна). К исходному содержанию можно смело добавить и изначальные функции. Культура в современном понимании – это в своем роде *patchwork*, в переводе с английского – комбинирование новых и старых образов в виде лоскутного одеяла, релятивизм ценностей и значимость символов. И, хотя сами антропологи, принявшие этот релятивизм, уже осознают «безобидность» туризма, те же туристы порой находятся на стадии ранних фольклористов, пытаясь отделить «зерна от плевел» и найти ту самую аутентичность, ведь до сих пор в отзывах путешественников на всевозможных форумах главным положительным признаком того или иного объекта или места является понятие «аутентичный» (Форум Винского). Сегодня опасения, относящиеся к деструктивным функциям туриндустрии, идут на спад, однако встречаются ученые, которые по-прежнему приписывают ей подобные свойства: «туризм стремится превратить культуры в музеи <…> само существование туризма исключает возможность существо-

вания аутентичного культурного опыта» (Turner 1994: 185). В нашей стране до сих пор сильны идеи позитивизма, и одна из причин, по которым туризм как объект этнологии находится только на стадии становления, кроется именно в пережитках былого научного подхода. Сегодня многие элементы культуры рассматриваются в качестве коммерческого ресурса, подразумевающего под собой возможность их комодитизации (от англ. commodity – предмет потребления), или консюмеризации. Именно этот пункт подвергается критики со стороны противников постмодернизма. Нужно, однако, учесть, что консюмеризм именно тем и отличается от потребления, что востребованы не необходимые блага цивилизации, а гедонистические. Действительно, туризм – один из ярких примеров проявления комодитизации культуры, ведь если раньше путешествия рассматривались как способ необходимого передвижения из точки «А» в точку «Б», то теперь средство становится целью, причем не необходимой, а относящейся к роскоши. Еще одно значимое отличие «потребителя» от «покупателя» предлагает Bayley, говоря об отдаленности первых от процесса производства товара (Bayley 1991: 47). Так скупающий одежду на распродаже в H&M едва ли задумывается о способе ее производства, о низком уровне жизни рабочих на фабриках и т. д. Так же и массовый турист, потребляя культуру, потребляет ее достаточно поверхностно, можно сказать, ограничиваясь потреблением ее символов. Ставший одним из символов консюмеризма туризм, однако, нельзя рассматривать как врага «аутентичности» и «истинной культуры», а нужно понимать, что мировая антропология уже давно отошла от изучения «необходимых составляющих» культуры, вроде «пищи-жилища-одежды», что объектами антропологии могут и должны быть совершенно разные процессы и феномены. На самом деле, цели туризма и антропологии схожи в том, что «обе области стремятся идентифицировать и осмыслить культуры» (Burns 1999: 67). Да, может быть, туриндустрия делает это, скажем так, наотмашь, не столь аккуратно, символизируя и упрощая культурные элементы и придавая им более глубокое или, наоборот, более поверхностное значение, но, приобретая новый смысл, те или иные элементы не становятся менее важными, интересными и полноценными. В этом и есть суть постмодернистского подхода к изучению туризма, который, естественно, не является единственным правильным и подвергается критике в излишнем евроцентризме (Burns 1999: 61). Но в его оправдание нужно сказать, что сегодня туризм – это международный системный процесс, в котором законодателем мод, все же, является Запад, поскольку именно европейские туристы составляют больше половины от общемирового потока туристов (WTO 2015: 12). Комодитизация культуры является неотвратимым признаком не только туризма, но и всего современного капиталистического общества, поэтому не стоит обвинять туризм в «растлении» традиционной культуры, нужно изучать его, чтобы понять принципы его функционирования и определить степень влияния на многие сферы жизни, чем, как мы с вами увидим, и занимаются современные междисциплинарные исследования.

Феномен российского туризма

Причина непопулярности туризма как объекта антропологии в России кроется не только в научном скептицизме, но и в самой туриндустрии. Дело в том, что, с одной стороны, сам туризм в России и в Советском Союзе был ограничен. В первую очередь, это были географические границы, поскольку именно за пределы нынешнего СНГ и Прибалтики большинство наших граждан не выезжали. Соответственно это затормаживало процесс развития туризма как системы. С другой стороны, советский номенклатур-

ный туризм, будучи линейно-конвейерным, являлся уникальным для мировой туриндустрии процессом, поскольку сам стал рутинным для всей страны, противореча основному признаку туризма – «досугу, отличному от повседневности и от организованной и регулярной работы» (Urry 1990: 2), а главное, исключает момент свободы, которая лежит в основе мифа о «правильном» туризме: «Путешествие – „идеальная свобода“», как утверждает Американская Администрация по туризму (Burns 1999: 12). Советский туризм не являлся международным, поэтому был системой в себе, еще не подверженной глобализации, а, следовательно, изучение такого туризма было бы интересно для науки.

Отсталость от мировых тенденций в самой индустрии прослеживается по сей день, ведь в России до сих пор наибольшей популярностью пользуется массовый туризм: два первых места по популярнейшим зарубежным туристическим направлениям занимали Турция и Египет. Это наиболее популярные направления по выезду россиян за рубеж в 2014 году, куда россияне, как правило, ехали в составе организованного тура, когда в странах Запада эта тенденция сходит на нет, и все большую популярность набирает индивидуальный туризм. Кроме того, у нас до сих пор большую роль на туристическом рынке играют так называемые посредники в виде турагентств и туроператоров, в то время остальной развитый мир все больше переходит на услуги «электронных посредников» в виде порталов airbnb.com, booking.com и couchsurfing.com, которые являются атрибутами современных и «прогрессивных» туристов и тоже заслуживают отдельного исследования. К.Л. Банников в своей статье выделяет два типа советского туризма: системный и несистемный. Оба они могли существовать практически только в рамках внутреннего туризма, когда внешний туризм был прерогативой немногих (Банников 2012). Нужно дополнить, что и внесистемный туризм едва ли был сильно распространен, поэтому советскому гражданину оставались только варианты с санаториями в Крыму по путевке из профсоюза. Самое главное, что в советской туриндустрии практически отсутствовала коммерческая составляющая, которая, в принципе, дает толчок к развитию и видоизменениям в любой сфере, поэтому этот феномен даже не вполне можно обозначить как туризм, а скорее, как «системный досуг».

Обоснование междисциплинарного подхода к изучению туризма

Исследовать туризм актуально всегда, поскольку это быстро изменяющийся процесс, который подвергается все большей трансформации и систематизации с помощью Интернета и динамичных социальных связей, которые набирают все большую скорость. Процессы видоизменения и взаимовлияния в туризме происходят в считанные часы. Он, подобно финансовой бирже, может возродить и разрушить экономику целого региона. Например, вспомним недавнее нападение террористов на отдыхающих в Тунисе: новость тут же попала в СМИ и социальные сети, люди испугались, и поток туристов не только в Тунис, но и в близлежащий Египет, резко сократился. Это, в свою очередь, может повлиять на экономику страны, потерю рабочих мест и т. д. Противоположный процесс: ничем особо не примечательный город на юго-западе США Альбукерке стал намного популярнее среди туристов после выхода в свет культового сериала «Во все тяжкие» (Breaking Bad), снятого там. Сейчас туры по местам сериала весьма востребованы (Albuquerque). Из этого следует, что туризм развивается и трансформируется с безумной скоростью и в разных направлениях, что под силу изучить именно посредством междисциплинарного подхода к системе.

Субъект исследования в туризме также довольно сложен. Дело в том, что исследователи туризма изначально обременены практически стопроцентной сопричастностью с объектом, ведь едва ли ни каждый из нас хоть раз в жизни являлся туристом, а скорее всего, и является и будет продолжать идентифицировать себя как турист время от времени. Этого факта не избежать, но нужно понимать увеличенные риски предвзятого отношения к объекту. Это является еще одним доводом для применения междисциплинарности во избежание субъективности.

Туризм уже является объектом изучения для многих смежных антропологии дисциплин. Вот некоторые примеры: в рамках изучения феномена мобильности особый интерес к туризму проявила социальная теория. Как мы упоминали, туризм существует ради самого процесса путешествия, а не ради цели в виде места назначения. Поэтому специалисты по социальной теории сравнивают путешественников с кочевниками, у которых отсутствует определенный маршрут, и с бродягами, у которых отсутствует место назначения. Только отличие туриста от предыдущих двух в том, что «они платят за свою свободу и за право оставаться равнодушными к проблемам и чувствам местных, право сплести свою индивидуальную паутину значений (Bauman 1993: 241). Исследователи теории мобильности видят в движении основу современного общества: «Нет статичности – только процессы создания и трансформации. Нет ничего до движения, движение выражает сущность вещей» (Urry 2009: 486). Более того, движение в мире становится все быстрее и быстрее, а туризм воплощает собой все более ускоряющееся движение людей, денег, образов и информации, символизируя переход состояния общества из твердого и тяжелого к жидкому и легкому (Urry 2009: 486). Сегодня мобильность становится признаком престижа. Туризм также стал статусным развлечением. Чем больше индивид путешествует, тем солиднее (наличие дополнительных денежных средств) и интеллектуальнее (интерес к просвещению) он становится для общества и в своих собственных глазах. С этой точки зрения туризм будет интересен социопсихологам, некоторые из которых уже обратили свое внимание на психологию туристов, их мотивацию и отношения с местным населением Психология туризма на Западе уже давно отстояла свое право на существование и является также прекрасным соратником этнологии в междисциплинарных исследованиях. Существует много книг и статей о мотивации туристов, их поведении в новых местах, а также о влиянии группы на индивида, находящегося на отдыхе, и анализе поведения принимающей стороны (Ross G.F., Mayo E.J. и Jarvis L.P., Pearce P. и т. д.). Весьма интересна работа Дэвида Азела (Uzzell 1984) “An Alternative Structuralist Approach to the Psychology of Tourism Marketing”, посвященная анализу и декодированию способов привлечения туристов путем семиотики: приуменьшая значимость рекламных брошюр и уже имеющихся туристических символов, автор пишет о ценной роли культуры в процессе фантазии и мифотворчества. Чтобы было понятнее, приведу пример эффекта «мифотворчества культуры» из собственного туристического опыта: будучи в Иордании, я купила билет на ночную экскурсию по Петре, при этом уже осмотрев памятники культуры днем. Преподносилось это как нечто мистическое и одухотворенное, сопутствовалось эпитетами «сказочная арабская ночь», «прикосновение к неизведанному Востоку» «дух бедуинов» и т. д. По сути, людям раздали по свечке, которые также были расставлены вдоль извилистой дороги к главному храму. Придя на место, мы угостились чаем каркаде в традиционных чашках, а затем уселись на заранее приготовленные «бедуинские» подстилки и слушали игру приглашенного музыканта на рабабе. Впечатление у меня

были незабываемые. Это типичный пример, когда туристу продаются иллюзии, мифы и фантазии, которые создаются практически из ничего.

Не только антропология, психология, социология, но и негуманитарные науки занимаются изучением туризма в рамках междисциплинарного подхода. Уже упомянутая нами все большая вовлеченность интернета и современных технологий в сферу туризма способствовали этому. «Туризм часто становится идеальной площадкой для применения информационных систем, поскольку именно эта индустрия очень насыщена информацией» (Li et al. 2013: 307). Авторы Li, Buhalis и Zhang проводят в своей статье обзор хоть пока и немногочисленной, но значимой научной литературы по междисциплинарным исследованиям туризма и информатики: уже имеются работы по изучению так называемого онлайн-поведения туристов, по изучению динамики развития вебсайтов и приложений, по бизнес стратегиям и онлайн-маркетингу в туризме, по влиянию дигитализации сервисов на эту сферу и даже роли геолокационных систем и виртуальной реальности (Google street view) в туриндустрии.

Туризм становится чуть ли не обязательной частью жизнедеятельности среднестатистического индивида, появляются не только телепередачи, посвященные путешествиям, но и целые телеканалы. Для некоторых туризм, хотя они предпочитают другие термины, вроде путешествий, становится образом жизни и философией. Немецкий социолог и историк Хассо Шподе пишет «В восемнадцатом веке появился Homo Touristicus: образованный, чувствительный подросток, который научил нас смотреть на мир другими глазами» (Spode 2002: 135). Следовательно, можно сказать, что туризм развивается не только экстенсивно, распространяясь на разные области человеческой жизни, но и интенсивно, обретая все большую значимость для людей – все эти процессы также способствуют появлению почвы для междисциплинарности.

Современная антропология туризма

Междисциплинарность может предполагать, однако, не только кросс-научный подход, но и разнонаправленный подход в рамках антропологии. Valene L. Smith пишет о том, что именно человеческие взаимоотношения, а не маркетинг и бизнес, являются ключевыми факторами в туризме (Smith 1981: 475). Из этого следует, что антропология должна прежде всех наук обратить внимание на изучение туризма. Также английский исследователь туризма Питер Бернс предлагает объединить сравнительный подход (выявление различных туристических феноменов в разных уголках Земли) и холистический подход (глубокое изучение туризма в одном месте, но учитывая экономические, социальные и экологические факторы) (Burns 1999: 67). Туризм как объект изучения антропологии является очень глубоким и многогранным понятием, используемым во многих теоретических подходах. Тот же Бернс приводит удачные примеры разнонаправленных концепций антропологии туризма: так Дюркгейм, а с его наследием и Ван Геннеп, и Граберн дали предпосылки рассматривать туризм как ритуально-сакральное действие, противопоставленное реальности, которое может быть как ритуалом перехода (в случае, например, совместной поездки выпускников на Ибицу), так и заменой религии (например, дауншифтинг – современный «аскетизм») (Burns 1999: 69–70). Обе тенденции приобретают все большую популярность, поскольку все больше институализируются под натиском туриндустрии, при этом не теряя сакральную значимость для потребителей подобного отдыха.

Современные тенденции в туризме меняют его изначальную цель: теперь турист не только стремится узнать и «покорить»

объекты извне, но и узнать и найти себя в окружении определенных условий, ландшафтов и чувств. Недаром все большую популярность набирает экстремальный туризм, а также спортивный или просто активный туризм. Люди говорят о преодолении собственных границ, страхов, об удовольствии от сильных физических нагрузок или эмоциональных всплесков. Культуролог и профессор ландшафтной архитектуры Дин МакКэннел находчиво сравнил туриста с каннибалом, потребляющим культуру как свою жертву. При этом, как и каннибал, турист надеется завладеть силой и выносливостью жертвы (MacCannell 1992: 66). Тем самым, турист ищет даже не аутентичность в других, а свою собственную аутентичность в условиях глобализации. Турист предстает не искателем приключений, а искателем себя, своей индивидуальности и особенности. Возвращаясь к постулатам Дюргейма многие услеживают в современном туризме формы паломничества, способствующего социальному единению (Burns 1999: 91).

Отталкиваясь от темы аутентичности, немецкий социолог Роберт Шэфэр, ссылаясь на своего американского коллегу МакКэннела, приводит пример анализа туризма с точки зрения знаменитой теории Ирвинга Гофмана об играх и театрализации социальной жизни, а в частности с точки зрения дихотомии “frontstage” (главная сцена) и “backstage” (кулисы), сравнивая туризм с возможностью заглянуть за кулисы культуры. Но, открывая кулисы, появляется риск того, что они превратятся в главную сцену, которая, в свою очередь, будет стремиться выдать себя за “backstage” (Schäfer 2015: 24). Отсюда и появляются спекуляции на тему аутентичности и туризма, благодаря которым, однако, рождаются новые теории его изучения.

Многие антропологи концентрируются на одном виде туризма, например, в Австрии и Германии существует немало научных работ, посвященных экстремальному туризму, в частности, горнолыжному (Steininger 1993, Telesklav 2004).

Постмодернистский подход стимулировал исследователей, уже не критикуя пагубное влияние туризма на образ жизни местных, объективно изучать культурные изменения, вызванные туризмом – ассимиляцию, аккультурацию, симбиоз, культурный дрейф и т. д. Этим занимаются, например, Г.В. Докси, который даже создал схему, отображающую изменение реакции местных жителей на туристов, назвав ее «индексом раздражительности» (irridex), когда чувства варьируются от эйфории до антагонизма (Beeton 2006: 40). Некоторые ученые, как американские этнологи Селвин и Дэн изучали антропологию маркетинга туристических брошюр. Последний с помощью контент-анализа выделил несколько видов «туристического рая», который рекламируется туристам (Burns 1999: 104), что доказывает нам целесообразность не только научной, но и методологической междисциплинарности.

Итак, мы видим, что туризм как объект является даже не феноменом или процессом, а комплексной системой. А как для любой системы есть смысл применять мульти- или междисциплинарный подход к ее изучению. Сегодня смежные и даже не смежные (информатика) науки успешно сотрудничают в целях освоения этого комплексного объекта. Также с точки зрения антропологии, как мы увидели, уже существует множество подходов в рамках многочисленных школ по изучению туризма. Некоторые ученые весьма неплохо старались их категоризировать, как Крик, который выделил три составляющих изучения антропологии туризма: в рамках семиотики (символы культуры, потребляемые знаки, маркетинг, образы), в рамках политической экономики (структуры власти и контроля, а также развитие экономики под влиянием туризма) а также в рамках социальных и культурных изменений (поиск аутентичности и т. д.) (Burns 1999: 80). Другие антропологи удачно ведут дискуссии по по-

воду деконструкции туризма в антропологической науке, принимая его за империализм или ритуал, поиск аутентичности или способ потребления культуры. Важно то, что, имея множество работ по теоретическому толкованию сферы, до сих пор существует мало эмпирических работ по антропологии туризма, что лишает потоки теоретизирования научных доказательств. Бёрнс пишет о том, что туризм, хоть и не является первопричиной изменения культур, но явно ускоряет процесс трансформации, именно поэтому необходимы не просто полевые, а лонгитюдные полевые исследования (Burns 1999: 84, 89). Но для того чтобы продуктивно исследовать туризм эмпирически, вернее, помимо ориентации на разные предметы исследования при лонгитюдном изучении, нужно подключать не только разнонаправленные теоретические концепции и методы, но и другие науки, ведь туризм – это одна из немногих систем, на которые влияет и культура, и политика, и экономика, а также музыка, кулинария, развитие технологий, экология и даже религия, поэтому наш объект является уникальным в своем роде и многообещающим для антропологии, как и для других наук.

Библиография

Банников 2012 – Банников К.Л. Антропология туризма. http://www.travel-journal.ru/cultural-antropology/10/254/ Дата обращения: 27.08.2015.

Культура после постмодерна – «Культура после постмодерна» // «Тем временем» с Александром Архангельским // Телеканал «Культура». http://tvkultura.ru/anons/show/episode_id/156138/brand_id/20905/ Дата обращения: 27.08.2015.

Наиболее популярные 2014 – Наиболее популярные направления по выезду россиян за рубеж в 2014 году // Федеральное агентство – Федеральное агентство по туризму. http://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-pokazateli-vzaimnykh-poezdok-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-i-grazhdan-inostrannykh-gosudarstv/naibolee-populyarnye-napravleniya-po-vyezdu-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-za-rubezh/ Дата обращения: 03.08.2015.

Форум Винского – Форум Винского. http://forum.awd.ru/result.php?cx=partner-pub-2496907726444939:bcoki96oan5&cof=FORID:11&ie=UTF-8&q=%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 Дата обращения: 27.08.2015.

Albuquerque – Albuquerque. Convention & Visitors Bureau. http://www.visitalbuquerque.org/ Дата обращения: 27.08.2015.

Authentic – Authentic // Merriam Webster Dictionary. http://www.merriam-webster.com/dictionary/authentic. Дата обращения: 27.08.2015.

Bauman 1993 – Bauman Z. Postmodern Ethics. London: Routledge, 1993.

Bayley 1991 – Bayley S. Taste: the Secret Meaning of Things, London: Faber and Faber, 1991.

Beeton 2006 – Beeton S. Community Development through Tourism, Australia: Landlinks Press, 2006.

Boorstin 1964 – Boorstin D. The Image: a Guide to Pseudo-Events in America, New York: Harper and Row, 1964.

Burns 1999 – Burns P. An Introduction to Tourism and Anthropology, London: Routledge, 1999.

Li et al. 2013 – Li N., Buhalis D., Zhang L. Interdisciplinary Research on Information Science and Tourism // Information and Communication Technologies in Tourism 2013. Proceedings of the international conference in Innsbruck, Austria, January 22–25, 2013 / Ed. L. Cantoni, Z. Xiang, Berlin: Springer, 2013. P. 302–314.

MacCannell 1992 – MacCannell, D. Empty Meeting Ground: the Tourist Papers. – New York: Routledge, 1992.

Mayo, Jarvis 1981 – Mayo E.J. Jarvis L.P. The Psychology of Leisure Travel. Effective Marketing and Selling of Travel Services. Boston: CBI, 1981.

Pearce 1982 – Pearce P. The Social Psychology of Tourist Behavior. Oxford: Pergamon, 1982.

Ross 1994 – Ross G.F. The Psychology of Tourism, Melbourne: Hospitality Press, 1994.

Smith 1981 – Smith, V. Response to Nash, D. ‘Tourism as an Anthropological Subject’ // Current Anthropology, 22 (5). 1981. P. 461–481.

Spode 2002 – Spode, H. Der Tourist // Der Mensch des 20. Jahrhunderts / Ed. H. Frevert. Frankfurt am Main: Campus, 2002. P. 113–137.

Steininger 1993 – Steininger, M. Psychologische Aspekte im Tourismus unter besonderer Berücksichtigung des Sports im „sanften Tourismus“. [Дипломная работа. Венский университет, 1993].

Telesklav 2004 – Telesklav K. Die Sehnsucht des Skifahrers: Skifahren als Ritual und Industrie. [Ди-

пломная работа. Университет Клагенфурта Alpen-Adria, 2004].

Schäfer 2015 – Schäfer R. Tourismus und Authentizität. Zur gesellschaftlichen Organisation von Außeralltäglichkeit, Bielefeld: Transcript, 2015.

Turner 1994 – Turner B. Orientalism, Post-Modernism and Globalism. London: Routledge, 1994.

Uzzell 1984 – Uzzell D. An Alternative Structuralist Approach to the Psychology of Tourism Marketing // Annals of Tourism Research, Выпуск 11, Издание 1, Elsevier, 1984: 79–99.

Van Harssel, J. 1994 – Van Harssel, J. Tourism: an Exploration (3rd edition). Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1994.

Keitz 1993 – Keitz C. Die Anfänge des modernen Massentourismus in der Weimarer Republik // Archiv für Sozialgeschichte, Band 33, Bonn, J.H.W. Dietz Nachf., 1993. P. 179–209.

Urry 1990 – Urry, J. The Tourist Gaze, London: Sage Publications, 1990.

Urry 2009 – Urry, J. Mobilities and Social Theory // Turner B. The New Blackwell Companion to Social Theory. West Sussex: Blackwell Publishing Ltd, 2009.

WTO 2015 – WTO 2015// UNWTO Tourism Highlights, 2015 Edition. http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899. Дата обращения: 08.08.2015.

А.В. Буганов

Об антропологическом изучении большого спорта*

Большой спорт, т. е. спорт высших достижений, является одним из самых значимых социокультурных феноменов в современном мире. По степени массовости вовлечения больших людских масс спорт не имеет, пожалуй, сколько-нибудь равноценного аналога среди прочих массовых практик. Крупные соревнования включают в свою орбиту непосредственных участников (спортсменов, тренеров, судей), спортивных чиновников (только в международную федерацию футбола ФИФА входят 209 ассоциаций), представителей СМИ (журналистов, комментаторов), экспертов, громадную зрительскую аудиторию, в том числе болельщиков и спортивных фанатов, а также огромное количество обсуживающего персонала, призванного организовать проведение мероприятий.

Системного антропологического исследования спорта как явления общественной жизни и массового сознания в СССР и России не проводилось. Однако справедливости ради нужно отметить, что отечественные этнографы регулярно изучали народные системы физического воспитания детей и подростков и, в частности, процессы взаимопроникновения народной игры и спорта. В дореволюционной России большую работу по изучению народных игр проводили Русское антропологическое общество при Петербургском университете, Восточное отделение Русского антропологического общества и другие общества, а также отдельные ученые. Определенную лепту в изучение, систематизацию и использование народных игр как средства физического развития подрастающего поколения внесли и советские этнографы. Отмечая использование народных игр как средства физического развития подрастающего поколения, они стремились изучить и использовать из всего многообразия народных подвижных игр те, которые наиболее соответствуют педагогическим требованиям и сравнительно легко могут быть применены в физическом воспитании советских детей (Комарова 2014).

Отечественные научные исследования физической культуры и спорта начались после окончания Второй мировой войны. Велись они вполне в духе эпохи и, прежде всего, рассмотрения спорта как средства коммунистического воспитания и пропаганды достижений социализма (см., напр., Кукушкин 1953; Аксельрод 1954). Нашло отражение в историографии расширение международных спортивных связей (см. Соболева 1958). Основное внимание было уделено футболу, который стал спортом № 1 в СССР (см. Перель 1958.) В условиях «холодной войны» спорт стал объектом соперничества двух систем за мировое господство, что обусловило не только повышенное внимание авторов к данной проблеме, но соответствующую направленность исследований – спорт начинает рассматриваться как инструмент внутренней и внешней политики (Романов 1968). Изучение советского спорта в зарубежной историографии в этот и последующий период также проводилось, в основном, сквозь призму международной политики (Riordan 1977).

Характерной особенностью исследований отечественного спорта являлся приоритет изучения мемуаристики и спортивной

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта № 12-01-00376а «Российский спорт XX – начала XXI в.: антропология, этнические и этнополитические аспекты».

публицистики. В меньшей степени осуществлялись анализ архивных документов и непосредственные контакты со свидетелями и участниками событий. В последние годы ситуация в некоторой степени изменилась в лучшую сторону. В отечественной науке можно выделить, например, диссертации С.В. Бутова «Развитие советского футбола в 1921–1941 гг.» и В.О. Назарова «Становление и развитие футбола на Ставрополье в конце XIX – начале XXI вв.», статью С.С. Толстого «Футбол как регулятор общественных настроений». Определенное внимание отечественному спорту как компоненту общественного сознания (правда, скорее, не в строго научном, а в публицистическом ключе) уделено в книге П. Вайля и А. Гениса «60-е. Мир советского человека». М., 2001. В начале XXI в. в «Этнографическом обозрении» вышли в свет две содержательные статьи С.А. Абдулкаримова (Абдулкаримов 2004, 2007). В зарубежной историографии выделим интересную попытку антропологического видения футбольного мира, осуществленную Д. Моррисом (Morris 1983). Я попытаюсь очертить некоторые существенные направления антропологического изучения современного, прежде всего российского спорта, как синтеза спортивного, социально-политического и этнокультурного явлений. Многие проблемы, которые характерны для жизни современных народов и государств и находятся в ракурсе этнологического и антропологического изучения, отчетливо проступают в спортивной сфере.

До настоящего времени остается актуальным политический подход к изучению спорта. Несмотря на то, что к началу 1990-х гг. накал политического противостояния в мире значительно снизился, спорт активно используется политиками для распространения своей идеологии, выполняет такие социальные функции, как активизация протестной активности народных масс или же, напротив, мобилизация граждан на те или иные политические акции. Громадную роль играет современный спорт в создании образа страны и, следовательно, в международных отношениях. Большинство крупных международных соревнований воспринимаются как состязания народов и государств.

Очевидная политизация спорта повлекла за собой постоянно продуцирование образа врага. В период противостояния капиталистической и социалистической систем, особенно во время «холодной войны», роль спорта возросла, определяющая для национальной идентичности антиномия мы – они стала проступать наиболее отчетливо. Спорт был той легальной формой войны, в которой уместно было употреблять агрессивно-наступательную лексику.

Спортивные противоборства, особенно футбольные и хоккейные, вызывают сильные эмоции, подчас примитивные и племенные. Конечно, этому способствует и характер игры: скорость, коллективная агрессия. Эффект «большого спорта» порой бывает схож с военным противостоянием, ощущением или «великой победы», или бедствия и катаклизма. Неслучайно, многие репортажи со спортивных «битв» облекаются в форму сообщений с театра военных действий, в них сильна военная риторика.

Вероятно, можно говорить об особом виде национализма – спортивном национализме, который ощущается весьма глубоко. Спортивный национализм, как и любой другой, имеет и культивирует традиционных врагов, старые обиды и унижения, которые надо компенсировать, пусть даже символически. По накалу и символической значимости противостояния спортивные битвы (военная терминология вполне закономерна), особенно решающие футбольные и хоккейные матчи, часто сравнивают с войной. Именно так – «футбол – это война» – высказался покойный Ринус Михелс, также известный как «генерал», тренер голландской команды, которая проиграла Германии финальную встречу мирового чемпионата в 1974 году. Когда голландцы взяли реванш в

1988 году и победили Германию, на улицах Голландии танцевало не меньше людей, чем в день, когда закончилась настоящая война в мае 1945 года. Происходившее очень хорошо понятно футбольным болельщикам Старого Света, но, вероятно, трудно понять, допустим, американцам, которые не так хороши в футболе и не «прокляты великой исторической ненавистью» – памятью о немецком военном вторжении в Голландию.

Репрезентация врага часто происходит и на внутренней спортивной арене разных стран. Особенности этнической ситуации в Испании остро проявляются в футбольных противостояниях кастильского королевского «Реала» и каталонской «Барселоны», баскского «Атлетика» и других испанских команд. В футбольном чемпионате России специфика (меж)национальных противоречий порой проступает в столкновениях русских и кавказских болельщиков.

Эволюция советского (российского) спорта шла от спорта военизированного к спорту профессиональному. В 1920–1930-х годах слово спортсмен было почти синонимично слову физкультурник. Спортсмены и физкультурники, как и болельщики, были призваны быть прежде всего защитниками Родины. Болельщики по своему социальному положению мало чем отличались от спортсменов. Материальные возможности, спортивная экипировка (длинные «семейные» трусы, майка с глубокими проймами) были схожими и у тех, и у других.

Пожалуй, только с начала 1960-х годов спорт начал делиться на массовый и большой. Большой спорт все больше становился производством. Советский спорт активно включился в международные состязания и оказался не только не хуже, но даже лучше западного спорта. Вместе с космосом это стало наглядным показателем успехов советского строя. Не зря эти две сферы деятельности так часто и охотно сопоставлялись. Олимпийский лозунг «Быстрее! Выше! Сильнее!», который так модно было повторять в 1960–1970-е годы, относился, конечно, не только к спорту. Сильнее всех была миролюбивая советская держава, выше всех взлетели советские космонавты, быстрее всех будет достигнут коммунизм – финиш прогресса. Не случайно в 1956 году, в год XX съезда Советский Союз впервые выиграл Олимпиаду (Вайль, Генис 1998). В это время появились спортивные звезды и кумиры – Брумель, Власов, Яшин. В прессе и в массовом сознании они были наделены физическим и нравственным совершенством, перед соотечественниками они представали не только ловкими и сильным, но и мужественными, великодушными, честными, умными.

Для советского профессионального спорта долгое время был характерен сформировавшийся еще в довоенный период лжелюбительский характер. Вспоминаю свои походы на футбольные и хоккейные матчи в 1970-е – начале 1980-х гг. Все болельщики на трибунах прекрасно знали, что спортсменам ЦСКА и «Динамо» лишь номинально присваивались военные и милицейские звания, а футболисты моего любимого «Торпедо» вовсе не работали на ЗИЛе (московском Заводе имени И.А. Лихачева). Тем не менее, все они как военные, служащие и рабочие получали заработную плату, денежные премии, квартальные, командировочные, а сверх того подъемные, квартирные и т. д. Данные, обнаруженные С.В. Бутовым в фонде Всесоюзного комитета физической культуры ГАРФа, позволили получить информацию о реальных суммах заработков советских футболистов уже в 1930-е гг. (Бутов 2007). Лицемерное декларирование непрофессионального статуса игроков было этаким секретом Полишинеля советского спорта и продолжалось вплоть до 1980-х годов. Слово «профессионал» по идеологическим причинам официально оставалось запретным, его предпочитали не произносить. Советские люди должны были знать, что «профессионалы» были

только на Западе, где спорт давал прибежище социальным аутсайдерам. Там, за занавесом, успехов в спорте могли добиться только те, для кого спорт был делом всей жизни – профессией. Естественно, по мере профессионализации спорта во главу угла ставился результат, что соответствовало самой соревновательной сути спорта. Для его достижения требовались конкретные голы, очки и секунды. Ключевым стало слово «победа». Установка на победу культивировала идею ответственности перед товарищами по команде, тренерами, спортивным обществом, болельщиками, страной.

Расцвет советского спорта неслучайно пришелся на послевоенное время. Великая Победа в Отечественной войне предопределила последующие спортивные успехи. Не будет преувеличением сказать, что в историческом и антропологическом плане их истоки – в духе победителей. Народу, победившему на Куликовом поле, в Полтавской и Бородинской битвах, создавшему «мирный атом», запустившему первый спутник и первого человека в космос, органически необходимо поступательное движение от победы к победе. Спорт, несомненно, был нужен господствовавшей идеологии, но и она, в свою очередь, трудилась на его благо.

Череда побед (особенно в хоккее, лыжах, гимнастике, фигурном катании) воспринималась в обществе как должное, но не приедалась. А в два последних десятилетия еще и потому, что стало меньше поводов гордиться чем-то другим. Россиянами, и не только спортсменами, почти утрачена психология победителей. Мы гордимся былым величием и празднуем нынешние отдельно взятые победы, пусть яркие, но все же редкие, эпизодические. Успех России на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году имел уже более системный, продуманный характер, и, хотелось бы верить, будет способствовать обретению победной психологии спортсменами и болельщиками. В спорте, как и на войне, подвиг совершает не тот, кто потенциально способен, а тот, кто готов «ковать победу» и сражаться за нее. Именно подвигами прирастают национальное самосознание и патриотизм.

Основой поступательного процесса в этом направлении является работа с молодежью. Здоровье национального хоккея, футбола, как и любого другого вида спорта, начинается с внимания к молодежи. Это и есть воспитание национализма и патриотизма. Показателен и, пожалуй, даже уникален, с точки зрения воспитания молодого поколения пример хоккейной Канады. Для канадцев чемпионат мира среди молодежи по значимости идет вровень с Олимпиадой. Олимпиада, конечно, престижнее, но она бывает редко, а «о молодежке Канада говорит 12 месяцев в году» (Спорт Экспресс 2007).

Отметим, что в последнее десятилетие ситуация выправляется, спорт действительно становится частью более последовательной государственной политики. После проведения в 2013 году Универсиады в Казани, сочинской Олимпиады, невиданных ранее объемов телетрансляций значительно увеличилось количество детей, записывающихся в спортивные секции. Да и «наследие» крупных соревнований в виде различных объектов казанской и сочинской инфраструктуры, – также несомненный плюс проведения спортивных форумов.

Особое внимание в контексте этнолого-антропологических исследований следует обратить на субкультуру спортивных болельщиков. Воздействие спорта на массовое сознание является приоритетной темой. «Боление» российских болельщиков тоже можно назвать видом спорта. Приход и утверждение профессионального спорта меняли и феномен боления: болельщик тоже становился профессионалом. Посещение спортивных мероприятий становилось стилем жизни, почти способом существования. Приверженность люби-

мой команде давала ощущение причастности, чувство «своего».

Постепенно формировался спектр болельщицких пристрастий. В условиях, когда отдельные команды получили поддержку со стороны государственных органов, например, столичное «Динамо» патронировалось НКВД, а ЦДКА (впоследствии – ЦСКА) – армией, большая часть болельщиков перешла на сторону московского «Спартака», который не поддерживался силовыми структурами. В матчах между «ведомственными» командами и «Спартаком» в некоторой степени прослеживался скрытый социальный протест, они имели оттенок борьбы власти с оппозиционно настроенной общественностью. Вплоть до сегодняшнего дня противостояние «Спартака» и ЦСКА остается самым непримиримым дерби в футбольном российском чемпионате.

В советское время для многих болельщиков футбол был одной из очень немногих территорий свободы. В условиях жесткой регламентации не только общественной, но и частной жизни, получалось так, что несколько раз в неделю во время матчей чемпионатов и розыгрышей кубков по футболу советский человек (в спортивной сфере, конечно) становился свободным в своих предпочтениях и эмоциях (хочешь – болей за «Динамо», хочешь – за «Днепр» и т. д.). Более того, футбол (а еще, хотя бы частично, хоккей) – это была единственная форма свободных выборов на альтернативной основе, которая была у гражданина СССР. Каждый матч становился наглядным уроком того, что успех человека зависит не от членства в партии, а от собственного мастерства, волевых качеств и сыгранности с коллегами. Спорт представал, да и в наши дни остается, одной из немногих объективных сфер нашей жизни, где «не проходит» жонглирование фактами и прочие манипуляции.

Футбол был, безусловно, более демократичным, чем хоккей. В дополнение к этому в поздние брежневские времена вокруг футбольных клубов стали собираться довольно примитивные, но все же структуры гражданского общества – объединение «фанатов», их ячейки. Попытки комсомола взять этот процесс под свой контроль не удались. В поздние времена существования Советского Союза клубы болельщиков были едва ли не институтами гражданского общества. Конечно же, их реальные возможности в условиях коммунистического общества оказались крайне ограниченными: они никогда не выступали против советских официальных ценностей и функционировали в определенном госаппаратом периметре.

Интервью с болельщиками показывают, что в наши дни в регионах, так или иначе, выделяются группы активных болельщиков, которые ездят на матчи, устраивают совместные просмотры в барах, футбольные турниры. С этими группами активно общаются и помогают фан-клубы. Вокруг них обычно формируется представительство в регионе. Тем самым, болельщики могут централизованно через фан-клуб обращаться к клубу со своими идеями и пожеланиями. На сегодняшний день подписано более 40 меморандумов с официальными региональными представительствами – от Томска до Берлина и от Архангельска до Кишинева, – и их число постоянно растёт.

Из форм боления можно выделить болельщицкие акции, перформансы, выезды с командой в другие города и страны. Один из интересных и показательных с мировоззренческой точки зрения аспектов боления – создание и размещение на трибунах баннеров – громадных плакатов-полотнищ в поддержку своей команды. Характерными стали знаменитые баннеры, например, во время матча футбольных сборных Эстония–Россия: «1940. Хозяева вернулись» или спартаковский в Праге – с танком и цифрами 1968. Из интервью с фанатами можно сделать вывод, что авторы

этих посланий далеки от просоветских настроений. Для них важно то, что это были наши, была проявлена русская сила. После присоединения Крыма к России на баскетбольном матче белградского «Партизана» с киевским «Будивельником» сербские болельщики развернули на трибунах громадный флаг России и баннер «Старший брат, скажи, правда ли, что матушка Россия просыпается?».

В «болении», как и в спорте в целом, сказываются ментальные и национальные особенности. Несмотря на сегодняшнюю разобщенность, атомизацию общества, русским исторически присущи устойчивые общинные стереотипы, чувство сопереживания; в них живет командный дух. Поэтому они часто и с удовольствием готовы болеть за соотечественников, даже преодолевая большие расстояния. Русские заранее готовятся к тому, чтобы прийти на стадион и болеть за любимую команду. Они покупают флаги, которые иногда достигают огромных размеров. На шарфах, шапках, и даже на лицах можно увидеть цвета российского флага.

Потенциально объединяющая для сегодняшней России роль спорта ярко проявилась во время чемпионата Европы по футболу 2008 года. Когда Россия обыграла Голландию, был праздник по всей стране, от Москвы до Владивостока, на улицы России для победного шествия вышли 700 тыс. человек. Тогдашний тренер сборной, видавший футбольные виды, голландец Гус Хиддинк был впечатлен: «Потом я смотрел документальный фильм о той ночи, это было что-то потрясающее. Почувствовал я значимость победы и когда мы всей командой встречались с президентом Медведевым» (Спорт Экспресс 2008: 5). После того как в Москве люди высыпали на Тверскую с флагами, Государственная Дума на ближайшем заседании специально принимала законопроект, разрешающий использовать государственную символику в массовых праздничных гуляньях.

Футбольные трибуны вполне можно считать лакмусовой бумажкой процессов, происходящих в обществе. Если на футбольном, особенно международном матче, стадион полупустой, то это явный признак разобщённости, атомизации общества. И напротив, полные трибуны, болеющие за команду своей страны, являют собой и стимулируют далее процесс национального единения.

Вопрос культуры «болельщицкого боления», как одной из чрезвычайно заметных массовых практик современной России, несомненно, важен для нормализации спортивной и общественной жизни. В последние годы в Москве, и в России в целом, помимо походов на стадионы, широкое распространение получило совместное «боление» в специально выделенных фанзонах, спортбарах и т. д. На территории Российской Федерации для просмотров видеотрансляций матчей Евро–2012 было выделено 19 таких фанзон, работали и принимали болельщиков более чем 2,4 тыс. спортбаров. За эти дни вместе смотрели футбол и «болели» более 180 тысяч россиян. Только в Москве около 31 тысячи болельщиков совместно посмотрели футбол в день открытия чемпионата Европы. Судя по сообщению РИА «Новости», нарушений общественного порядка, за который отвечали более 26 тысяч полицейских, при этом зафиксировано не было. В столице порядок оберегали 2 тысячи сотрудников МВД.

Высокая культура боления россиян неоднократно отмечалась в ходе сочинской Олимпиады 2014 года. Среди приехавших болельщиков были широко представлены российские регионы. Плакаты, баннеры с указанием на них свидетельствовали не только о гордости за свою малую родину, но и о восприятии Олимпиады как общенационального проекта. В эти дни, по свидетельствам участников, очевидцев и зрителей, Мы – были одна команда. В массовом сознании произошла актуализация ключевого

для национального самосознания термина мы, который в связи с Олимпиадой наполнялся, прежде всего, гражданским содержанием, осознанием гордости за принадлежность к своей стране.

В многочисленных интервью, в спортивной и общественной периодике неоднократно подчеркивались также доброжелательность российских болельщиков, поддержка не только своих спортсменов, но и соперников, не только победителей, но и проигравших.

На Олимпиаде удачно проявил себя институт волонтёрства (первый опыт волонтёрства был отработан годом раньше на Универсиаде в Казани). В качестве волонтеров были отобраны 25 тысяч человек, которые прошли обучение в 26 российских центрах подготовки, действовавших на базе ведущих образовательных учреждений страны. Подключились и частные компании. Например, компания Pro Sports Management в течение 3 лет организовала и профинансировала ежегодное обучение иностранным языкам около 50 человек, которым предстояла работа на Олимпиаде. Следует признать, тем не менее, что резерв работы в этом направлении значителен. В России волонтерское движение развито не настолько сильно, как в Европе или США. Против российских 9% у них задействовано от 30% до 35% населения в среднем. Поразительные цифры зафиксированы в Китае: на Олимпийские игры в 2008 году были отобраны 500 тысяч волонтеров. По сути, волонтёрство – это вклад каждого конкретного жителя страны в подготовку и проведение крупнейших форумов.

Отношение общества формирует социальную составляющую спорта, проявляющуюся в посещаемости соревнований, в общественном мнении, в стратификации общества в зависимости от болельщицких пристрастий. Несомненно, как любые массовые акции, спортивное «боление» имеет и свои минусы – вандализм на трибунах, драки между фанатами, другие нарушения общественного порядка. Радикальные клубные фанаты уважают лишь цвета своего любимого клуба. Мы всегда правы, и футболисты нашего клуба всегда правы. А судья на поле не прав, болельщики команды соперников – неправы. И победы мы добьемся даже ценой нарушения правил игры (своего рода «государственный патриотизм» – права или не права моя страна, но эта моя страна). Для некоторых болельщиков в процессе игры «чужими» становятся команды-соперники и все те, кто за них болеет, на волне спортивного ура-патриотизма возникают различные расистские и ксенофобские выступления. Спортивная агрессия все чаще переносится со стадионов на улицы и площади городов. Радикальная часть фанатов футбольных клубов (а по сути – нефутбольных ультра, правых провокаторов) создает конфликтные ситуации и беспорядки.

По мнению самого, пожалуй, публичного и откровенного в своих высказываниях футболиста России, игрока сборной Романа Широкова, «создается впечатление, что радикальные движения кого-то отправили работать с фанатами «Спартака», кого-то – в «Динамо», кого-то – в ЦСКА. Вот они там свои темы и двигают… Разговоры, увещевания уже бессмысленны. Потому что их распустили изначально, когда начали с ними заигрывать. А сейчас, когда они набрали силу, и радикалы их под себя подмяли, они сами уже не будут никого слушать. Эти люди понимают исключительно силу. И помогут против них только сверхжесткие меры» (http://football.ya1.ru/brovka/100831-roman-shirokov-kodeks-chesti-v-matche-so-slovakiej-vypolnil.htm).

В какой-то мере остроту темы снимает создание объединений болельщиков, официальных фанклубов. По опросу, проведенному газетой «Спорт Экспресс» 23 июля 2013 года, 32,97% болельщиков заявили: «да, это оптимальная поддержка команды»;

35,17% считают, что «да, уж лучше организованные болельщики, чем стихийные»; «нет, от них – никакой пользы» – ответили 20,95%; «не знаю» – 10,91%.

В июле 2014 года Госдумой был принят Закон о болельщиках, направленный на обеспечение общественного порядка и безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. В законе четко разграничены права и обязанности двух субъектов футбольных матчей – зрителей и тех, кто во время встречи отвечает за их безопасность. Непонятно, правда, почему к разработке и обсуждению закона не были привлечены представители самых массовых болельщицких движений – ЦСКА, Спартака, Зенита (т. е. есть самые проблемные группы). Участие в процессе приняли только представители Всероссийского объединения болельщиков, в которое поклонники названных выше клубов не входят. Стоит напомнить также о наличии соответствующих статей против хулиганства и вандализма в административном и уголовном кодексах, необходима и исправная работа полиции по соблюдению уже существующих норм. Главным же, безусловно, остается последовательная просветительская работа в среде болельщиков.

Удачным примером взаимодействия с болельщиков и команды можно считать пример самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Клубу удалось сохранить на трибунах того болельщика, которого другим клубам скоро придется заносить в красную книгу. Большинство посетителей стадиона «Металлург» – люди, у которых нет проблем с законом «О болельщиках». «Крылья» многое делают для того, чтобы болельщики чувствовали себя единым целым с командой, а не вспоминали о ее существовании только в дни матчей. На гостевой книге сайта «Крыльев» бросаются в глаза возмущенные высказывания: «мол, куда это годится – вот уже пару дней нет ни одной новости про главную команду!» (а ведь в это время, насколько известно, в «Крыльях» действительно не происходило ничего существенного). В Самаре происходят конкурсы на стадионе, на сайте и в социальных сетях, мероприятия и встречи, рассчитанные на разные категории болельщиков. Все это делает команду интересной для них, и даже до некоторой степени снижает остроту от восприятия результатов, далеко не всегда положительных.

Как резервы усиления работы в этом направлении могут быть лицензирование специалистов клубов РФПЛ (Российской профессиональной футбольной лиги) по работе с болельщиками, развитие различного рода программ лояльности (как, например, в фан-клубе «Спартака»).

Подобно тому, как вся монополия русского национализма оказалась у махровых агрессивных радикалов и сам феномен национализм в общественном сознании приобрел преимущественно отрицательные коннотации, так и фанатская культура остается малоизвестной, трактуется поверхностно негативно. Фанатов частенько сопоставляют со скинхедами. Точки пересечения, безусловно, имеются, однако это разные субкультуры. По стилю, по отношению к миру. Упрямая идеологическая ориентация бритоголовых заменяется у фанатов жизненным активизмом и, как правило, стихийным, не казённым патриотизмом.

Основные победы в футболе добываются на футбольных полях, а репутация клуба создается в основном за его пределами, где идет непрекращающаяся информационная война. Важнейший этнолого-антропологический тезис о войнах идентичностей в современном мире находит свое зримое подтверждение в спортивном и околоспортивном мире. Чемпионат России в этом плане недалеко ушел от своих западных коллег. Футбольные клубы премьер-лиги решают свои внешние задачи и достигают целей благодаря победам в информационных во-

йнах. Работа с болельщиками – основная в методах ведения таких войн.

Антропология «большого спорта» как крупного общественного феномена имеет и свои этноконфессиональные проявления (Зачем спорт 2007: 10–27). Спорт и, особенно его «культовые» виды, по степени своего влияния на общественную атмосферу нередко сравниваются с религией. Крупные состязания становятся своего рода священнодействием, погружают в особую атмосферу мощного эмоционального подъема, не говоря уже об отвлечении от повседневной жизни. С одной стороны, коммерциализация и десакрализация спортивной культуры берут верх над иррациональным началом, принцип честной игры уступает место зрелищности и деньгам. С другой, в спортивных противостояниях парадоксальным образом происходит актуализация иррационального сверхчувственного начала, реанимируются сакральные образцы поведения, вполне сопоставимые с религией. Необходимо отметить объединяющий ресурс спорта в военных и религиозных конфликтах (Абдулкаримов 2007: 160).

Чрезвычайно важен экономический аспект большого спорта. Все развитые страны борются за проведение крупнейших спортивных форумов. Доходы от Зимних Олимпийских игр в Сочи превысили расходы на 1,5 миллиарда рублей. На Олимпиаду было потрачено 214 миллиардов рублей, при этом из федерального бюджета были выделены 100 миллиардов, остальные средства составили частные инвестиции.

485 спортивных объектов, которые были построены и реконструированы перед Олимпиадой, будут в дальнейшем использоваться и переданы новым правообладателям.

По расчетам оргкомитета «Россия–2018» подготовка к «домашнему» чемпионату мира по футболу дополнительно увеличит ВВП России на 527 млрд. руб., проведение ЧМ позволит создать в стране 810 тыс. рабочих мест, а бюджеты всех уровней получат дополнительные 96 млрд. руб. налогов.

Еще один важный аспект антропологии спорта – проявления расизма. В спорте заметны психофизиологические, биохимические, морфологические и другие различия (точно зафиксированные, а не придуманные) между людьми разных рас. В финальных легкоатлетических забегах на 100 м на старт выходят, за очень редким исключением, одни темнокожие спринтеры. А в финальных заплывах на Олимпийских Играх очень редко можно увидеть темнокожего пловца. Но эти расовые различия, как и религиозные, в обычном их понимании не существенны для общественного сознания. Французские футболисты, выигравшие чемпионат мира в 1998 году, включали людей африканского и арабского происхождения, и они этим гордились. Более того, как отмечалось во французской прессе, решающий гол, забитый французом арабского происхождения Зиданом и решивший в пользу Франции исход чемпионата, был, в сущности, голом, забитым в ворота французского шовинизма и антиарабского дискриминационного национализма (см.: Арутюнов 2012: 47).

В последние годы в России (особенно в футбольном чемпионате) были зафиксированы проявления расизма. Опрос «Спорт-Экспресса» 24 апреля 2013 года показал: на вопрос «Существует ли расизм в российском футболе?» 70% опрошенных ответили «да», 30% – «нет». В России, как, впрочем, и на Западе, далеко не все в восторге от иммиграционной политики и изменений в этническом составе населения, вот только несогласие, опять же, не должно выражаться в оскорбительных и противоправных действиях.

Чрезвычайно важный аспект в изучении общественно и спортивной сферы России – тесная взаимосвязь Большого и массового спорта, высоких достижений и занятий физкультурой. Взирая на спор-

тивные рекорды как труднодостижимые образцы, вводящие новые точки отсчета, нация оздоровляется, поскольку тем самым стимулируется и массовая спортивная культура. Успехи в том или ином виде спорта, особенно на международной арене, не только повышают престиж страны, но и способствуют культивации тех или иных видов спорта, побуждают к занятиям физкультурой, – например, субкультура дворового хоккея в СССР 1970–1980-х годов основывалась на успехах «Красной машины» (сборной по хоккею) и культе этого вида спорта.

В этой связи следует также подчеркнуть роль спортивных кумиров для различных этапов жизни общества. Если подвижники идеи задают духовный ориентир, то подвижники спорта – физический. При этом спортивные кумиры для большинства людей понятнее других – политиков, писателей, ученых. В отношении к спортивным кумирам отчетливо проявляются этические и эстетические требования к Личности. Вполне можно констатировать, что в России сегодня снова входит в моду здоровый образ жизни. Люди стали интересоваться спортом. Россияне начали открывать для себя новые виды спорта. Если эта тенденция продолжится, то вскоре это не сможет не отразиться на результатах соревнований самых разных уровней.

С точки зрения логики антропологического исследования целесообразно преимущественное обращение к вершинным достижениям, «пиковым» моментам большого спорта. Именно победы на крупнейших спортивных мировых соревнованиях (Олимпиады, чемпионаты мира и Европы, Универсиады, Параолимпийские игры) способствуют созданию позитивной идентичности как в общегражданском, так и в этническом вариантах, являются существенным нациоконсолидирующим фактором.

Библиография

Абдулкаримов 2004 – Абдулкаримов С.А. Спорт и культурная идентичность в обществе: история и современность // ЭО. 2004.

Абдулкаримов 2007 – Абдулкаримов С.А. Спорт в культурно-исторической ретроспективе: между сакральным и профанным // ЭО. 2007. № 4.

Аксельрод 1954 – Аксельрод С.Л. Физическая культура и спорт / Сб. материалов в помощь пропагандисту. М., 1954.

Арутюнов 2012 – Арутюнов С.А. Силуэты этничности на цивилизационном фоне. М., 2012.

Бутов 2007 – Бутов С.В. Развитие советского футбола в 1921–1941 гг. Автореф … к.и.н. Красноярск, 2007. 23 с.

Вайль, Генис 1998 – Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М., 1998.

Комарова 2014 – Комарова Г.А. Этнография детства. М.: ИЭА РАН, 2014.

Кукушкин 1953 – Кукушкин Г.А. Советская физическая культура – важное средство коммунистического воспитания. М., 1953.

Назаров 2007 – Назаров В.О. Становление и развитие футбола на Ставрополье в конце XIX – начале XXI вв. Автореф … к.и.н. Ставрополь, 2007. 24 с.

Зачем спорт 2007 – Зачем спорт // Нескучный сад. Журнал о православной жизни. 2007. № 7: 10–27.

Перель 1958 – Перель А.С. Отечественному футболу – 60 лет. М., 1958.

Романов 1968 – Романов О.А. Международные спортивные связи. М., 1968.

Соболева 1958 – Соболева П.А. Международные связи советских спортсменов. М., 1958.

Спорт Экспресс 2008 – Спорт Экспресс. 29 декабря 2008 г.

Толстой 2009 – Толстой С.С. Футбол как регулятор общественных настроений // Проблемы отечественной истории. Сборник аспирантов и докторантов. М., 2009. С. 44–50.

Morris 1983 – Morris D. The Soccer Tribe and Soccer Rituals. Granada, 1983. 320 c.

Riordan 1977 – Riordan J. Sport in Soviet Society. Cambridge, 1977.

А.С. Курленкова

Социальные исследования биомедицинской науки и практики в современной России*

Понятие «биомедицина» используется для обозначения доминирующей медицинской теории и практики, появившихся в евро-американских обществах и широко распространившихся по всему свету. В качестве синонимов этого понятия также называют западную, аллопатическую, научную, модерновую, космополитическую медицину. Основной фокус биомедицины – «человеческая биология, или, если быть точным, физиология, даже патофизиология» (Hahn, Kleinman 1983: 305). Антропологи Р. Хан и А. Клейнман интерпретируют биомедицину как социокультурную систему, состоящую из пяти частей: особый домен и система знаний, называемых «медицина»; разделение труда (т. е. медицинские специальности); соответствующие роли, правила практики и взаимодействия, а также институциональная среда; способы социализации, через которые этот домен и его процедуры усваиваются и воспроизводятся; а также деятельность по конструированию знания (т. е. биомедицинские исследования) (*Там же*: 306).

Исследователи замечают, что эстафету в изучении биомедицины антропологи переняли у социологов: «Антропологи вернулись из других стран (где они изучали другие этномедицинские традиции – прим. А.К.), чтобы пойти по следам, оставленным социологическими пионерами» (*Там же*: 305). Среди важных социологических вех авторы цитаты отмечают работы Т. Парсонса (1951), Р. Фокс (1979), Э. Фрейдсон (1970). Одним из знаковых книг по антропологии биомедицины стал сборник «Врачи западной медицины» под редакцией Р. Хана и Э. Гейнса (1982), объединивший статьи разнообразной тематики: от меняющихся объяснительных моделей менопаузы, используемых гинекологами, семейными врачами и другими людьми (М. Лок) до этиологической теории и терапевтического подхода «христианских психиатров» (Э. Гейнс). Р. Хан, Э. Гейнс и А. Клейнман показали биомедицину как легитимное поле для социальных исследований, в котором можно искать и анализировать те же объекты, что и в других (экзотических) (этно)медицинских системах.

С учетом вышесказанного, в данной статье мне было интересно подвести некоторую промежуточную черту под теми социоантропологическими исследованиями, которые проводились в поле отечественной биомедицины с начала 1990-х годов: попытаться выделить ключевые исследовательские объекты, темы, а также, по возможности, теоретические рамки, через которые авторы смотрят на мир сегодняшней биомедицинской науки и практики в России. Выбор проектов является, скорее, делом личных предпочтений, чем результатом строгого методического отбора. Важными опорными точками в этом обзоре для меня стали работы по историографии зарубежных социальных исследований биомедицины (Ярская-Смирнова; Романов 2004; Михель 2010, 2011, 2013; Харитонова 2011; Ожиганова 2011).

Поле российской биомедицинской науки и практики можно охарактеризовать как пока что плохо обжитое. Наиболее освоенной его частью можно назвать область репродуктивной медицины, которая с 2000-х гг. расширяется, благодаря усилиям исследо-

* Работа подготовлена в рамках ПФИ «Историческая память и российская идентичность» и гранта РГНФ № 16-01-00136.

вателей гендера. В теоретическом плане их работы опираются на подходы феминисток, занимавшихся проблемами материнства и деторождения (R. Davis-Floyd, A. Oakley, C. Davies, E. Martin); авторов, разрабатывающих понятие медикализации культуры (M. Foucault, I. Zola, P. Conrad, D. Lupton); социологию профессий (T. Parsons, E. Freidson).

Векторными темами гендерных исследований становится медикализация и технологизация родов и репродуктивной медицины. Анализируется развитие этих понятий в западной литературе (Михель 2011; Темкина 2014): показывается рост экспертного медицинского знания и медицинских категорий в немедицинских сферах жизни, увеличение власти биомедицины как инструмента биополитики национальных государств. Отмечается, что сфера репродукции особенно политизирована, что проявляется, например, в законодательном ограничении на аборт, которое должен соблюдать врач (до 22ой недели беременности). «Государство требует от гинекологов реализации его политической воли, ориентированной на прирост населения» (Здравомыслова, Темкина 2011: 28). Отмечается также, что использование концепта медикализации на российской почве имеет ряд ограничений: в России врачи не обладают достаточными ресурсами и автономией, в то время как объем бюрократической ответственности, «бумажной работы», лежащей на них, высок (Новкунская 2015; Здравомыслова, Темкина 2011). «Женщины обеспокоены не столько избыточным доминированием медиков (хотя и этим тоже), сколько возможностью получить доступ к новым высокотехнологичным комфортабельным сервисам здравоохранения, развивающимся в последнее десятилетие, а также поиском “своих”, “доверенных” врачей, которые могут обеспечить надежное и эффективное обслуживание во время беременности и родов» (Темкина 2014).

В связи с технологизацией медицины рассматриваются значения, придаваемые врачами, акушерками и пациентами различным биомедицинским технологиям: эпидуральной анестезии (Мельникова 2014), контрацепции (Темкина 2013), вспомогательным репродуктивным технологиям (Ткач 2013, Исупова и др. 2015).

Объектом внимания становятся стратегии де-медикализации репродукции: мифология и практики «естественных» родов как способа вывести опыт беременности и родов из-под экспертного знания профессионалов и нормализирующего контроля биомедицинских институтов «назад» в зону «локального, интуитивного, практического знания будущей матери» (Бороздина 2014: 34) (Beloussova 2002; Мельникова 2012). Обращение к альтернативным родам связывается с неудовлетворенностью женщин системой родовспоможения в государственных больницах (разделением матери и ребенка, игнорированием ее мнения при обсуждении методов лечения, запретом на встречи с мужем и родственникам, грубым обращением), а также особым «духовным» значением сексуальных отношений, зачатия и родов (Beloussova 2002).

Отдельной темой становится кризис доверия к медицинским профессионалам в современной России и индивидуальные стратегии его преодоления (Здравомыслова, Темкина 2009, 2011; Rusinova, Brown 2002). Под редакцией Е. Здравомысловой и А. Темкиной вышло два издания, подробно раскрывающие проблему доверия в репродуктивной сфере: «Здоровье и доверие: гендерный подход к репродуктивной медицине» (2009) и «Здоровье и интимная жизнь: социологические подходы» (2011). Недоверие к миру биомедицины проявляется в недоверии к самому экспертному знанию, институциональной среде, отказе от ряда фармацевтических препаратов, в первую очередь сильнодействующих, антибиотиков, «синтетических препаратов»

(Аронсон 2006; Rusinova, Brown 2002). Отсутствие доверия приводит к поиску стратегий преодоления недоверия: в частности, поиск «врача по знакомству», неформальные платежи (Здравомыслова, Темкина 2009; Бредникова 2009), практики самолечения (Аронсон 2006, 2009), избегание контакта с медицинскими учреждениями, мониторинг репутации учреждений и специалистов, привлечение посредников, являющихся «инсайдерами медицинского поля» (Здравомыслова, Темкина 2011). Установлению доверия способствуют личные качества врача, эмоциональный персонализированный контакт (Бороздина 2011). Подчеркивается, что отношения доверия – это реципрокные отношения; недоверие, проявляемое пациентами, тревожит также и врача: оно воспринимается как барьер для общения и комплаентности пациентов (Здравомыслова, Темкина 2011).

Отношения между медперсоналом в роддомах и женских консультациях и пациентами рассматриваются, вслед за работами феминисток, через призму категории заботы (Бороздина 2011; Мельникова 2014). Эффективность профессиональной работы гинеколога, по мысли Е. Бороздиной, во многом зависит от того, выстраивает ли он(а) свои отношения с пациентом по модели заботы. При этом модель заботы противоречит институционально продвигаемой модели взаимодействия врача и пациента, основанной на медицинских стандартах, министерских приказах и внутренних правилах (Бороздина 2011: 69). В некоторых случаях заботливое, более личное отношение врача связано с тем, что прием ведется по договоренности за деньги (Красильникова 2011).

Отдельное место занимает анализ государственной политики в отношении семьи и деторождения, реформ здравоохранения, направленных на стимулирование рождаемости (Rivkin-Fish 2005; Бороздина и др. 2014). Подробно рассматривается влияние национального проекта «Здоровье» на современную обстановку в российских медицинских учреждениях (Ярская 2011; Присяжнюк 2012). Реформа здравоохранения, по замечанию Л.В. Пановой и Н.Л. Руссиновой, привлекла внимание исследователей к проблеме социального неравенства в доступе к медицинской помощи, так как сопровождалась «резким дефицитом финансирования отрасли и масштабным привлечением средств самого населения к оплате медицинских услуг» (2005: 127; *см., например*, ряд исследований о различиях в доступности медицинских услуг для разных групп в сборнике статей под ред. С.В. Шишкина, 2008). В сборнике «Здоровье населения и национальные реформы: социально-антропологический анализ» под ред. В.Н. Ярской (2011) отмечается, что модернизация системы здравоохранения спровоцировала усиление сегрегации населения по признаку дохода, что привело к изменению ценностей и поведения различных групп населения, появлению тактик деконструкции статуса медицинского профессионала, развитию практик неформальных платежей в больницах (*Там же*: 10–11), лечения «по знакомству». Результаты исследований показали бреши и недостатки современной медицинской системы в России, которая во многом продолжает оставаться патерналистской, т. е. «субъект-объектной», несмотря на законодательно закрепленную необходимость информированного согласия.

Авторами «Здоровья населения...» был, помимо прочего, затронут вопрос о необходимости взаимного сотрудничества врачей и пациентов, развиваемого в рамках идеи так называемой нарративной медицины. Было отмечено, что в отечественной медицине «врачи уделяют минимальное значение перцептивной стороне общения, которая заключается в процессе восприятия и познания друг друга партнерами по общению и установлении на этой основе

взаимопомощи» (Там же: 130). Один из авторов сборника, А.С. Готлиб, социолог, руководитель исследовательского проекта «Субъективные смыслы болезни и их реализация в медицинских практиках» (Самара, 2008–2010 гг.), попыталась проанализировать «экзистенциальное» измерение опыта хронически больных людей. В современном обществе, пишет А.С. Готлиб, разрушаются четкие границы между болезнью и здоровьем, происходит «хроникализация современного общества» – то есть пациент не выздоравливает и не умирает, а находится «в или вне состоянии ремиссии». Человек живет с болезнью, при этом современная медицина к этому «абсолютно глуха» (Готлиб 2011: 147). На основе собранных материалов исследовательница составила классификацию смыслов, придаваемых жителями Самары своим хроническим болезням, а также проанализировала, как они представлены количественно в сознании разных демографических групп хронических больных города.

Важнейшая идея А.С. Готлиб – необходимость утверждения в российской медицине новой модели отношений «врач-пациент», реализуемой в практике нарративной медицины – «“этике заботы” о конкретном больном человеке», живущем с болезнью и наделяющем ее конкретными смыслами. В рамках своего проекта исследовательница также провела анализ отношения самарских врачей к нарративной медицине, который показал, что большинство опрошенных готово выслушать больного, но не использует эту информацию в своей практике. Аналогично, было показано, что пациенты не склонны рассказывать врачам о своих переживаниях. Этот «заговор молчания», согласно А.С. Готлиб, есть «результат торжества биомедицинской модели в отечественной медицине с ее абсолютной глухотой к экзистенциальному контексту болезни» (Там же: 159).

Идеи нарративной медицины как пути дальнейшего развития отечественной медицины и преодоления последствий медикализации развивает В.Л. Лехциер. Опираясь на книгу антрополога А. Клейнмана «Нарративы болезни: страдание, лечение и человеческое состояние», В.Л. Лехциер говорит не только об этической, но и о прагматической важности принятия во внимание субъективных интерпретаций, придаваемых людьми опыту болезни. Хронически больные, пишет исследователь, проживают «жизни-в-интерпретации», то есть исследуют свои состояния, подмечают мельчайшие изменения в своих ощущениях, изо всех сил пытаются понять опыт своей болезни, придать ему смысл, связать его с другими жизненными событиями. В признании этих субъективных опытов переживания болезни заключены новые возможности для медицины: эмпатическое слушание пациента, понимание модели, с помощью которой он объясняет хроническую болезнь, поможет сделать существующую терапию более эффективной (Лехциер 2009). Исследователь, вслед за западными коллегами, говорит не только о необходимости «нарративизации взаимоотношений врач-пациент, но и о нарративном будущем медицины в целом, нарративном видении здравоохранения» (Лехциер 2010: 9). Вопросам нарративной медицины, обыденных представлений людей о своих хронических заболеваниях посвящен сборник статей под его редакцией «Общество ремиссии: на пути к нарративной медицине» (2012).

Еще один объект социальных исследований – профессиональная идентичность медицинских специалистов. В русле неовеберианской социологии профессий исследуется профессионализация российских врачей (Мансуров, Юрченко 2011; Присяжнюк 2012). Показано, что «социальный институт врачебной профессии практически на протяжении всей истории своего существования был включен в институт государства»; важное исключение составил период с середины XIX века по 1917 г., когда происхо-

дило складывание профессиональных ассоциаций враче, а также время после реформ 1990-х гг., «вновь открывшее перспективы саморегулирования для врачей» (Мансуров, Юрченко 2011: 172). В целом отмечается, что до настоящего времени в системе здравоохранения сохраняется чрезмерный государственный контроль; врачи контролируют содержание и программу обучения по медицинским специальностям, однако их автономия и саморегуляция ограничены медицинскими стандартами, бюрократическим контролем (Присяжнюк 2012). Помимо профессиональной группы врачей, в фокусе исследовательского внимания оказывается также средний медицинский персонал: в частности, движение за независимое акушерство, конструирующее собственную профессиональную юрисдикцию в противовес врачебной (Бороздина 2014).

Оригинальный подход к концептуализации объектов в поле биомедицины предлагается в рамках современных подходов в исследованиях науки и технологий (STS). Внимание исследователей перестает быть обращенным на «тело», «заболевания», «профессиональные идентичности», «модели взаимодействия» как объекты медицинского вмешательства и потенциальные предметы социального анализа; интересны становятся медицинские практики и вещи, которые делают (от англ. enact – букв. «приводят в действие») медицинские «сущности», благодаря чему эти некогда константные объекты рассыпаются в руках, так что каждый раз мы имеем дело уже с новой сущностью. Так, в книге «Множественное тело» голландской АСТ-исследовательницы АннМари Мол, перевод отрывка из которой был представлен в недавнем выпуске «Социологии власти» (№ 1, 2015)[1], атеросклероз, диагностируемый сосудистым хирургом через общение с пациентом и пальпацию стопы, отличается от атеросклероза, который устанавливается под микроскопом патологоанатома. Вместе с утратой медицинскими объектами их онтологического статуса, теряют смысл традиционные иерархии этих объектов – клетка как часть органа, орган как часть тела, тело как часть эпидемиологической единицы (популяции). Согласно Мол, «поворачивая камеру и фокусируя её на другом объекте», врач «приводит в действие» различные реальности болезни: когда хирурги обсуждают, следует ли лечить атеросклероз инвазивно, «пораженной сущностью» является пациент в целом; на хирургическом столе атеросклероз находится в больной артерии, которая при этом существует не внутри, а «параллельно» с пациентом, в другом репертуаре работы врача (Мол 2015: 237). Аналогично, не только больной человек «включён» в медицинскую статистику, но и сама статистика «случается» с пациентом – например, когда врач принимает решение не обсуждать с пациентом уровень холестерина в крови, видя, что показатель его холестерина ниже, чем средний показатель у «данной группы населения» (*Там же*: 244).

Современные исследователи медицины в духе STS занимаются, среди прочего, анализом развития медицинских инноваций, жизни научных лабораторий по производству биомедицинских знаний. Исследователи науки и технологий пытаются понять значение деятельности, мифологию, культуру «странного племени» сотрудников научной лаборатории, подобно антропологам, изучающим верования и культуры народа; они описывают науку в процессе ее создания, *science-in-the-making* (Латур, Вулгар 2012: 179, 184, 191). В то время как в целом проектов по изучению жизни лабораторий и клинических исследований (как на животных, так и на людях) в России пока почти нет, следует отметить появляющийся интерес в этом направлении. Так, особенности отношений пациентов и исследователей в

[1] См. также рецензию на книгу в том же номере журнала, выполненную Д. Сивковым.

рандомизированных контролируемых исследованиях, посвященных сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ), анализируется в работе О. Звонаревой (Zvonareva et al. 2015). Глубинные интервью с участниками и исполнителями исследований в 3-х российских регионах показали, что их интерес в участии связан с персонифицированной, долгосрочной заботой, которую они получают в рамках клинических исследований ССЗ – фактически, недоступной для них во время рутинного визита к терапевту или кардиологу.

Другие исследования особенностей производства биомедицинского знания – это, скорее, исторические и литературные реконструкции, не подразумевающие собственно включенного наблюдения в лабораториях. Так, Д. Михель проводит исторический анализ развития микробной теории в России на фоне эпидемий холеры начала века, описывая особенности работы Одесской бактериологической лаборатории, открытой в 1886 году (Михель 2012). М. Кожевникова показывает линии споров о нравственной и биологической границах между человеком и животным, разворачивавшиеся в мировой и отечественной науке в связи с экспериментами И.И. Иванова в 1930-х гг. по скрещиванию человека и человекоподобных обезьян, современными экспериментами по ксенотрансплантации, созданию трансгенных животных (Кожевникова 2015).

Заключение

Представленные исследовательские статьи основаны по большей части на включенном наблюдении и глубинных интервью с пациентами и медицинскими работниками; они выполнены преимущественно в качественной методологии. Основными объектами интереса социальных исследований биомедицины на данном этапе являются профессиональные идентичности медицинских специалистов; модели взаимодействия между старшим и средним врачебным персоналам и пациентам; субъективные значения, которые пациенты связывают со своими заболеваниями; роль и значение биомедицинских технологий. Важными для понимания современной ситуации в биомедицине, в глазах исследователей, становятся такие понятия, как «медикализация», «социальное неравенство», «доверие», «забота», «нарративная медицина». Последние три понятия могут заключать, по мысли авторов, пути возможного преодоления кризиса в отечественной биомедицине: установление диалогичных, доверительных отношений, создание «модели заботы» в отношениях врач-пациент, включение объяснительной модели пациента в терапевтический процесс. Появляются также первые работы, анализирующие практики и роль биомедицинских исследований как части производства биомедицинского знания.

В качестве теоретической базы отечественные социологи используют феминистские работы по деторождению и репродуктивному здоровью, неовеберианский подход в социологии профессий. Субъективные смыслы хронических болезней (В. Лехциер, А. Готлиб) рассматриваются через призму феноменологического подхода, а также идеи нарративной медицины, развиваемой А. Клейнманом, Ч. Маттингли и Л. Гарро. Социальное неравенство в доступе разных групп населения к медицинским ресурсам, распределение власти и доверия среди медицинских профессионалов и других людей проблематизируются в духе критического (политэкономического) подхода. Перспективным для этого поля также представляется аналитический потенциал акторно-сетевой теории.

Можно сказать, что постепенно происходит консолидация сообщества исследователей, занимающихся социальными исследованиями в поле российской биомедицины переводом литературы по социологии и антропологии медицины на русский

язык, историографическим анализом важных теоретических понятий и подходов. Важными платформами, обеспечивающими возможности такой консолидации, являются научные журналы: «Журнал исследований социальной политики» (см. спецвыпуски «Медикализация общества: теория, история, микрополитика», № 3, 2009, «Репродуктивная медицина: социальный контроль и родительская ответственность», № 3, 2014), «Медицинская антропология и биоэтика», «Журнал социологии и социальной антропологии», «Социология власти», «Этнографическое обозрение» (см. спецвыпуски «Медицинская антропология: история, теория и практика», № 3, 2011, «Биоэтика, медицинская антропология и антропологическое знание», № 3, 2013). Научные дискуссии по проблемам антропологии / социологии биомедицины происходят в рамках ежегодных симпозиумов, проводимых Ассоциацией медицинских антропологов и группой медицинской антропологии на базе Института этнологии и антропологии (к настоящему моменту проведены три мероприятия), конференций по исследованию науки и технологий (организуемых Центрами STS при Томском государственном университете и Европейском университете), разнообразных конференций и семинаров по социологии медицины.

Библиография

Аронсон 2006 – Аронсон П. Утрата институционального доверия в российском здравоохранении // Журнал социологии и социальной антропологии. № 2. 2006. С. 120–131.

Бороздина 2014 – Бороздина Е. Язык науки и язык любви: легитимация независимой акушерской практики в России // Laboratorium. № 1. 2014. С. 30–59.

Бороздина 2011 – Бороздина Е. Медицинская помощь беременным: в поисках заботы // Здоровье и интимная жизнь: социологические подходы. Сборник статей / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011. С. 54–83.

Бороздина, Здравомыслова, Темкина 2014 – Бороздина Е., Здравомыслова Е., Темкина А. «Чтобы выдрать клок, нужно приложить максимум усилий». Семейная политика поддержки материнства: как ей воспользоваться // Пути России. Новые языки социального описания / Ред. М. Пугачева, В. Жаркова. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 280–294.

Бредникова 2009 – Бредникова О. Покупая компетенцию и внимание: практики платежей во время беременности и родов // Здоровье и доверие: гендерный подход к репродуктивной медицине: Сборник статей / Ред. Е. Здравомыслова, А. Темкина А. СПб: Издательство ЕУСПб. 2009. С. 211–233.

Готлиб 2011 – Готлиб А.С. Современные отечественные медицинские практики в экзистенциальном измерении // Здоровье населения и национальные реформы: социально-антропологический анализ / Ред. В.Н. Ярская. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2011. С. 146–158.

Здравомыслова, Темкина 2009 – Здравомыслова Е., Темкина А. «Врачам я не доверяю», но… Преодоление недоверия к репродуктивной медицине // Здоровье и доверие: гендерный подход к репродуктивной медицине: Сборник статей / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб: Издательство ЕУСПб, 2009. С. 179–210.

Здравомыслова, Темкина 2011 – Здравомыслова Е., Темкина А. Доверительное сотрудничество во взаимодействии врача и пациентки: взгляд акушера-гинеколога // Здоровье и интимная жизнь: социологические подходы. Сборник статей / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011. С. 23–53.

Исупова, Белянин, Гусарева 2015 – Исупова О., Белянин А., Гусарева А. Модернизация «устоев и корней»: семья и новые репродуктивные технологии // XV апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: В 4-х книгах / Ред. Е.Г. Ясин. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015. С. 19–30.

Кожевникова 2015 – Кожевникова М. Гибриды и химеры человека и животного в науке: история и современное состояние исследований // Инновации в антропологии: новые направления, объекты и методы в российских антропологических исследованиях / Отв. ред. С. Соколовский. М.: ИЭА РАН, 2015. С. 14–34.

Комарова 2006 – Комарова Г.А. Человек и радиация: опыт исследования аспектов жизни людей в условиях повышенной радиации // Acta Slavica Iaponica. Sapporo, Tomus. № 23. 2006. P. 124–145.

Лехциер 2009 – Лехциер В.Л. Субъективные смыслы болезни: основные методологические различия и подходы к исследованию // Социологический журнал. 2009. № 4. С. 22–40.

Лехциер 2010 – Лехциер В.Л. Раненый рассказчик: на пути к нарративной медицине // Вестник Самарского государственного университета. 2010. № 5. С. 5–18.

Лехциер 2012 – Общество ремиссии на пути к нарративной медицине: сб. науч. тр. / Ред. В.Л. Лехциер. Самара: Изд-во «Самарский университет». 2012. 296 с.

Мельникова 2012 – Мельникова О. Переопределение родовспоможения в родительских интернет-дискуссиях (на примере томского форума) // Журнал исследований социальной политики. 2012. № 10(3). С. 377–392.

Мельникова 2014 – Мельникова О. Медицинская помощь во время родов: забота и технологии // Журнал исследований социальной политики. 2014. № 12(3). С. 337–352.

Мансуров, Юрченко 2011 – Мансуров В., Юрченко О. Российские врачи: профессионализация «сверху» или саморегулирование профессии // Антропология профессий, или посторонним вход разрешен / Под ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2011. 356 с.

Михель 2010 – Михель Д.В. Социальная антропология медицинских систем: медицинская антропология: учеб. пособ. для студентов. Саратов: Новый Проект, 2010. 80 с.

Михель 2012 – Михель Д.В. Из лаборатории в поле: анализ кейса развития микробной теории в России // Социология власти. 2012. № 6–7. С. 52–66.

Михель 2011 – Михель Д.В. Медикализация как социальный феномен // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2011. Т. 4. № 2. С. 256–263.

Михель 2013 – Михель Д.В. Изучая культуру, здоровье и болезнь: медицинская антропология как область знания // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2013. № 2(70). Выпуск 1. С. 205–217.

Ожиганова 2011 – Ожиганова А.А. Антропология и медицина: перспективы взаимодействия (дискуссия 1980-х – 2000-х годов) // ЭО. 2011. № 3. С. 10–21.

Панова, Руссинова 2005 – Панова Л.В., Руссинова Н.Л. Неравенства в доступе к первичной медицинской помощи // Социологические исследования. 2005. № 6. С. 127–136.

Присяжнюк 2012 – Присяжнюк Д.И. Трансформация профессии врача в условиях реформы здравоохранения. Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук. Москва, Высшая школа экономики. 2012.

Романов, Ярская-Смирнова 2010 – Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Образ власти и власть образа. Больное тело в культуре // Теория моды. № 18. 2010. С. 91–116.

Темкина 2013 – Темкина А. Советы гинекологов о контрацепции и планировании беременности в контекст современной биополитики в России // Журнал исследований социальной политики. Т. 11. № 1. 2013. С. 7–24.

Темкина 2014 – Темкина А. Медикализация репродукции и родов: борьба за контроль // Журнал исследований социальной политики. Т. 12. № 3. 2014. С. 321–336.

Ткач 2013 – Ткач О. «Наполовину родные»? Проблематизация родства и семьи в газетных публикациях о вспомогательных репродуктивных технологиях // Журнал исследований социальной политики. Т. 11 (1). 2013. С. 49–68.

Харитонова 2011 – Харитонова В.И. Медицинская антропология на Западе и в России // ЭО. 2011. № 3. С. 3–10.

Шишкин 2008 – Российское здравоохранение: мотивация врачей и общественная доступность / Ред. С.В. Шишкин. М.: Независимый институт социальной политики. 2008. 288 с.

Шишкин, Потапчик, Селезнева 2013 – Шишкин С., Потапчик Е., Селезнева Е. Частный сектор здравоохранения в России: состояние и перспективы развития // Вопросы экономики. № 4. 2013. С. 94–112.

Ярская 2011 – Здоровье населения и национальные реформы: социально-антропологический анализ / Ред. В.Н. Ярская. М.: Вариант, ЦСПГИ. 2011. 175 с.

Ярская-Смирнова, Романов 2004 – Ярская-Смирнова Е.Р., Романов П.В. Социальная антропология. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 387 с.

Beloussova 2002 – Beloussova E. The ‘Natural Childbirth’ Movement in Russia: Self-Representation Strategies // Journal of the Slavic and East European Folklore Association. 2002. 7(2). P. 50–77.

Fox 1979 – Fox R. Essays in Medical Sociology: Journeys into the Field. New York, Wiley, 1979.

Freidson 1970 – Freidson E. Profession of Medicine. New York, Dodd, Mead, 1970.

Hahn, Kleinman 1983 – Hahn R.A., Kleinman A. Biomedical Practice and Anthropological Theory: Frameworks and Directions // Annual Review of Anthropology. Vol. 12. 1983. P. 305–333.

Komarova 2001 – Komarova G.A. Musliumovo Syndrome: To Be Alive on the Dead River // Bulletin of the National Museum of Ethnology, 2001. Vol. 26. № 2. Osaka.

Parsons 1951 – Parsons T. The Social System. Glencoe, III: Free Press, 1951.

Rivkin-Fish 2005 – Rivkin-Fish M. Women's Health in Post-Soviet Russia: The Politics of Intervention. Bloomington: Indiana University Press, 2005.

Rivkin-Fish 2010 – Rivkin-Fish M. Pronatalism, Gender Politics, and the Renewal of Family Support in Russia: Toward a Feminist Anthropology of "Maternity Capital" // Slavic Review. Vol. 69. Iss. 3. 2010. P. 701–724.

Zvonareva, Engel, Martsevich, de Wert G, Horstman 2015 – Zvonareva O., Engel N., Martsevich S., de Wert G., Horstman K. International Clinical Trials, Cardiovascular Disease and Treatment Options in the Russian Federation: Research and Treatment in Practice// Social Science & Medicine Vol. 128. 2015. P. 255–262.

В.А. Шнирельман

Междисциплинарный подход: соблазны и реалии*

Сегодня вновь говорится, и вполне справедливо, о больших возможностях, которые открывает междисциплинарный подход. И раздаются призывы к совместным исследованиям специалистов смежных дисциплин. Все это, разумеется, нельзя не приветствовать. Но хотелось бы напомнить, что еще в советское время был накоплен большой опыт междисциплинарных исследований, и не стоило бы его игнорировать. Ведь этот опыт позволяет оценить всю сложность такого рода исследований и, возможно, избежать ошибок, которые по неопытности допускали предшественники.

Здесь пойдет речь о подходах к изучению этногенеза, что десятилетиями привлекало специалистов очень разного профиля – лингвистов, археологов, этнологов, физических антропологов, а сегодня еще и генетиков. И именно в этой области наблюдалось неизбывное стремление к сотрудничеству, хотя призывов к нему всегда было неизмеримо больше, чем реального желания к совместным исследованиям. Ведь последние требовали выработки специальных методов, отвечавших задачам междисциплинарного исследования, а до этого дело, как правило, не доходило. Поэтому в реальности речь шла не столько о междисциплинарных исследованиях, сколько об использовании данных смежных наук для выстраивания этногенетической картины. Но это каждый автор делал по-своему в зависимости от своего понимания проблемы, эрудиции и поставленных целей. Не секрет, что такие построения иной раз страдали выраженным этноцентризмом.

Ведь надо иметь в виду, что от участников междисциплинарного исследования прежде всего требуются хотя бы элементарные знания о методах и инструментарии смежной науки. Но иметь такие знания очень непросто в силу сложности современной науки – иной раз не хватает жизни даже для того, чтобы овладеть всеми тонкостями своей собственной науки. Что уж тут говорить о смежной! Поэтому, как мне представляется, время энциклопедистов-одиночек прошло. Кажется тривиальным напоминать, насколько критически археологи относятся к лингвистам, которые пытаются использовать археологические данные, и с каким сомнением лингвисты воспринимают попытки археологов опираться на лингвистику.

Поэтому междисциплинарные исследования представляются мне элитным знанием, доступным очень немногим, – причем я имею в виду не только проведение этих очень сложных исследований, но даже восприятие их результатов. Кто сегодня в условиях массового общества способен адекватно это воспринимать и оценивать? В 1980-х гг. мне посчастливилось работать вместе с нашими ведущими лингвистами-компаративистами, и мы занимались именно междисциплинарными исследованиями. Некоторые результаты (о них ниже) были весьма удачными. Но выясняется, что об этих наших работах не знают (или не хотят знать) даже наши ведущие специалисты по этногенезу, хотя результаты публиковались в ведущих журналах. За пределами нашей небольшой группы не было ни обсуждения этих работ, ни каких-либо критических замечаний. И до сих пор никаких ссылок на эти работы я не встречаю.

* Исследование проведено при поддержке гранта РНФ № 14-18-03090.

Это стало одной из причин, почему я резко сменил область исследований. И с тех пор мне стало интересно, что же нужно широкой публике, чего она ждет от ученых. Так я и вышел на проблемы национализма.

Но сначала немного об археолого-лингвистическом синтезе. Пытаясь найти какие-то общие точки опоры, мы очень скоро поняли, что речь должна идти о серьезных исторических трансформациях, которые вели к кардинальным культурным изменениям и лингвистическим инновациям. При этом надо было еще согласовать методики, чтобы иметь дело с одними и теми же синхронными процессами в одних и тех же регионах. На счастье, я тогда занимался возникновением производящего хозяйства, и оказалось возможным фиксировать эти процессы как археологически, так и лингвистически (опираясь на реконструированную лексику, а это само по себе требует большого искусства). В результате стало возможным как разработать методику, так и предложить ряд интересных реконструкций. Мне кажется, наиболее удачная касалась Индии. Но и наша с А. Милитаревым реконструкция, связанная с Ближним Востоком, тоже представляется небезынтересной.

Сложность таких реконструкций связана с тем, что они требуют очень высокого профессионализма и обширных знаний в самых разных областях. Ведь, помимо археологических и лингвистических, нам пришлось учитывать биологические и палеогеографические данные, да еще и «путешествовать» с одного континента на другой. И выискивать редкие публикации, которые было очень непросто раздобыть. Но было и немало методических трудностей. Сошлюсь на простой пример. Археологам очень важно знать, о каком именно каменном сырье идет речь, ибо его точное установление может дать важную информацию об источниках сырья и «торговых путях», т. е. о взаимоотношениях между древними обществами. Но на уровне праязыков иной раз реконструируется только термин «камень», и это, конечно, может разочаровать археолога.

Теперь о самих процессах. Мне представляется, что невозможно судить о древних процессах, не имея глубоких знаний о том, что собой представляют традиционные общества и традиционные культуры. Здесь мы уже вступаем в область этнографии, или сегодня – этнологии (но я предпочитаю термин «культурная антропология»). Такие знания иной раз способны поставить в тупик представителя смежных наук, занимающихся тем, что у нас называется «этногенез» (в 1923 г. Ефименко называл это «этногенией»).

Приведу простой пример. В 1991 г. мне довелось проводить исследования среди индейцев-тлингитов на Аляске. По моим данным, уже во второй половине XX в. процент межэтнических браков у них достигал 60%. Но это нисколько не размывало их самосознание – они продолжали считать себя тлингитами. Мне могут возразить, что это, мол, результат современных процессов. Но я побывал в семье, где женщина пожилых лет происходила из атапасков и, между прочим, узнав, что я из России, продемонстрировала мне свое генеалогическое древо, составленное американским антропологом, где обнаруживалась и парочка русских (и это на уровне середины XIX в.). Сын этой женщины был женат на белой американке, а их дети были тлингитами.

Является ли все это результатом именно современности? Массовые материалы показывают, что в традиционных обществах были очень распространены обычаи адопции (т. е. усыновление или удочерение, причем речь шла не только о детях, но и о взрослых). И родство там имело социальный, а не генеалогический, характер. Иными словами, чтобы стать членом клана, надо было пройти обряд инициации. Сегодня таким образом в члены племени нередко прини-

мают белых американцев. Но в прошлом речь могла идти о представителях соседних племен (хайда и др.).

Как это соотносится с языком и культурой? В таких обществах нередко встречается ситуация билингвизма. А при переселении в иную общину люди могут переходить и на другую культуру. В 1992 г. на Камчатке я встретил молодую корячку, которая ненадолго вернулась к родителям в свое родное село, и я видел, как она радовалась, надевая свои девичьи платья. Но она вышла замуж в отдаленную общину, где должна была уже носить совершенно иную одежду и следовать иным нормам. Стремление завести себе свойственников в отдаленных и, нередко, инокультурных общинах – едва ли не повсеместная практика в традиционных обществах, которая объясняется социальными и экономическими факторами. Специалистам это хорошо известно, и мне приходилось об этом писать.

У тех же коряков я наблюдал обряд захоронения, для которого шили особые платья и изготавливали особые украшения, которые покойники при жизни никогда не носили. Но ведь, раскапывая древние захоронения, археологи могут встретиться именно с таким обрядом – каковы же будут их выводы? Все такие парадоксы обнаруживает этноархеология (этнографическая археология, а вовсе не этническая, как у нас иной раз ее подают). Она способна повергнуть археолога в шок, ибо ломает все стереотипы, и ее данные не соответствуют «здравому смыслу». Возможно, поэтому она и не получила у нас широкого применения, хотя, на мой взгляд, она способна дать очень много для совершенствования методик и для более глубокого и дифференцированного подхода к интерпретации полученного археологами материала. Когда-то я об этом писал, но мало кто обратил на это внимание.

Главный мой вывод – в традиционных обществах не было ничего подобного тому, что сегодня понимается под «этносом». И многие современные этносы были сконструированы политиками и чиновниками при опоре на ученых-романтиков сравнительно недавно. При подходе к этничности следует учитывать сложность психологического фактора, что заставляет говорить о множественной, ситуационной, плавающей или символической этничности. Никакого сплоченного этноса из этого не получается. И, например, то, что профессиональные лингвисты называют диалектами аборигенов Австралии, сами аборигены называют отдельными языками. А, например, та общность, которая у нас называется коряками, распадается на чавчувенов и нымылланов. Первые были оленными и вели подвижный образ жизни, а вторые занимались прибрежным рыболовством и морским промыслом и жили в значительной мере оседло. Следовательно, археолог в этом случае обнаружит существенные различия в образе жизни и культуре. И ему вряд ли придет в голову объединять это в некое единство.

Далее, возьмем Северную Африку и Сахель, где керамическим производством и металлургией занимались небольшие оседлые иноязычные группы, снабжавшие своей продукцией большую массу окружающего кочевого населения. Археолог в этом случае обнаружит достаточно гомогенный керамический ареал и, если ему повезет, установит место производства этой керамики. Но он вряд ли придет к выводу о том, что речь идет о культурно разнородных группах! А ведь для эпохи неолита археологические культуры выделяются, прежде всего, именно по керамике.

В связи с этим встает и более общий вопрос о том, по каким критериям выделяются археологические культуры. И обнаруживается, что в зависимости от эпохи и от региона, по очень разным, – где-то по керамике, где-то по руководящим типам, где-то по целым комплексам материальной культуры, где-то приходится руководствоваться толь-

ко погребальным инвентарем, а где-то материалами с поселений. Но в таком случае, насколько сопоставимы такие культуры? А ведь сегодня наблюдается ярко выраженная тенденция отождествлять их с «этносами», что, на мой взгляд, весьма сомнительно.

По всем этим причинам широкие построения типа «теории этногенеза» Льва Гумилева не имеют серьезных методических оснований и только порождают новые мифы о «предках». Мало того, если идентичность связана с психологией, то не приходится говорить об этносе как о каком-либо «социальном организме». Да, люди, владеющие общим языком, могут легко общаться друг с другом. Но означает ли это, что у них будут общие культурные предпочтения (а если и будут некоторые, то в какой именно области) или политические пристрастия? И о каком «самовоспроизводстве» этноса в традиционных обществах может идти речь, если обычаи экзогамии требовали искать супругов в других общинах или племенах, нередко с иной культурой? Во всяком случае сами люди причисляли своих свойственников к «чужакам» и именно поэтому подозревали своих жен в колдовстве.

А иной раз между такими общностями велись постоянные войны (как у энга Новой Гвинеи). Кстати, и с точки зрения демографии (сегодня имеется множество интересных исследований по демографии в традиционных обществах. Я детально обсуждал эти данные еще в 1986 г.), трудно говорить об «обособленной и самодостаточной» жизни отдельных общин или неких устойчивых общностях в традиционных условиях. Тем более, имея в виду высокую динамику традиционных обществ, трудно представить себе некий «социальный организм», живущий обособленно, где более половины браков заключается в его пределах. А как же с обычаями экзогамии? Поэтому о сопряженности популяции с этносом для традиционных условий можно говорить с большой натяжкой. Ведь изоляты, если и встречались, то крайне редко в исключительных случаях. Да и ту общность, которую генетики сочтут популяцией, вряд ли можно назвать «этносом», если исходить из эмного подхода, т. е. того, как это осознается самими людьми, а не внешними наблюдателями.

И что означает «этническая солидарность»? Да, она может возникать в определенных ситуациях и в определенные исторические периоды. Но охватывает ли она всех членов этноса? И насколько долго это длится? И о какой солидарности может идти речь у тех же энга, когда они постоянно воевали друг с другом?

Ведь этнос – это не государство с его институтами, которые действительно являются работающими организмами. А понятие «социального организма» возвращает нас в XIX век с его органицистской теорией, которая, как хорошо известно, создала основу для появления «научного расизма». К сожалению, основанные на этом рецидивы «научного расизма» расцветают и в России.

Можно было бы порассуждать и о культуре, которая сегодня вовсе не выглядит закрытой гомогенной со строго определенным набором признаков и четкими границами, как это представлялось в эпоху модерна. Уже более четверти века назад культурным антропологам стало ясно, что культура – это открытое дискурсивное динамичное явление. Поэтому-то она доступна всевозможным интерпретациям и в зависимости от подхода может выстраиваться и осознаваться очень по-разному. Но у нас этот взгляд прививается с трудом, в особенности, в кругах, увлеченных исследованиями этногенеза.

Поэтому сегодня у профессионалов наблюдается тенденция говорить скорее о лингвогенезе и культурогенезе, чем об этногенезе. Думаю, такой подход более корректен. Выше я показал, что сегодня само понятие об этногенезе далеко не бесспорно, так как мы толком не знаем, когда именно

появились современные этносы и как их надо понимать. И мне представляется, что, приписывая этнические названия людям, которые давно ушли в мир иной и не могут нам ответить, мы фактически нарушаем их права. Это мне напоминает недавнюю советскую практику, когда этнографы убеждали людей в том, что они лучше знают, кем те являются этнически, чем сами эти люди. Так думать мне позволяет огромный накопленный к сегодняшнему дню массив этнографических данных, говорящих о том, как внешние наблюдатели конструировали крупные этнические общности из отдельных традиционных групп, которые сами никогда так друг друга не определяли.

Во всяком случае, у культурных антропологов сегодня просматривается тенденция говорить не об этносах, а об этнической идентичности, и даже об идентичности вообще. Это, разумеется, более правильно. Но вряд ли это устроит тех, кто хочет по-прежнему заниматься этногенезом.

Думаю, не меньше сложностей встречается и у генетиков, если обращаться не столько к результатам их исследований, сколько к методикам и к тому, как и где именно собирался материал и как он обрабатывался и интерпретировался. В эту кухню непрофессионалу трудно проникнуть. Но, чтобы иметь надежные данные, мы должны хорошо понимать, чем именно мы занимаемся и как именно мы этим занимаемся. Кстати, сегодня это является особым предметом исследований в рамках таких направлений как «антропология профессии» и «антропология академической жизни». И уже имеются весьма впечатляющие результаты таких исследований, позволяющие судить о социальной роли науки и о том, что она вовсе не является полем, полностью закрытым от влияний извне. Поэтому сегодня настало время подумать о научной рефлексии. В любом случае меня радует, что генетики готовы отказаться от термина «этногенетика», вводившего в заблуждение и порождавшего определенные иллюзии, далекие от реальности.

И это позволяет мне перейти к другой не менее важной теме о том, для чего мы занимаемся научными исследованиями, кто именно заинтересован в нашем знании и как именно оно используется. К сожалению, специалисты («научные мандарины»), как правило, не обращают на это внимания. Между тем, сегодня рядом с академической наукой возникла альтернативная наука (самого разного толка), причем, иной раз в ее развитии участвуют и некоторые из тех, кто считается учеными. Речь идет о массе энтузиастов, для которых главным являются не научные методики и не верифицированное знание, а стремление любыми способами наделить свой народ славными предками. Для этого имеется различные мотивации, и я неоднократно обсуждал это в ряде своих книг.

К сожалению, на этот путь людей нередко толкает современная политика, и эти сложные процессы надо хорошо понимать, прежде чем писать о «лженауке». В любом случае перед нами целая новая область научных исследований, связанная с общественными настроениями, социально-политическим контекстом научных исследований и социальной ролью местной интеллигенции. Все это, как это ни странно, тоже не привлекает большого внимания наших специалистов. На Западе это направление исследований давно развивается в рамках изучения националистических мифов или социальной (исторической) памяти. Причем эти исследования повлияли и на саму науку, заставив поставить вопрос об этике научных исследований. Но и об этом у нас говорить не принято. А между тем, сегодня имеется немало данных о том, как между соседними народами происходит борьба за престижных предков и как в некоторых случаях она создает «научную основу» для идеологии конфронтации вплоть до взаимной ненависти и межэтнических войн.

Поэтому, на мой взгляд, специалистам по этногенезу было бы полезно интересоваться, кто именно, в каких контекстах и с какими целями использует их данные, как и почему эти данные интерпретируются тем или иным образом – т. е. вовсе не так, как этого ожидают ученые. Это побудило бы специалистов проявлять больше осторожности при интерпретации и публикации своих данных. Напомню, что вот уже полвека западные биологи при публикации общих трудов по биологии человека обязательно включают туда главу о расизме, чтобы показать, что наука не имеет к нему никакого отношения, и объяснить, почему именно. Думаю, в нынешней очень сложной международной обстановке, способствующей возвращению расизма (причем в очень разных формах), специалисты по этногенезу, публикующие свои обобщающие работы, тоже должны обращать внимание на этот фактор, дистанцируясь от расизма и национализма. Причем это должны быть не общие формальные рассуждения, а хорошо обоснованные позиции, причем озвученные доступным и убедительным для простого читателя языком.

Н.И. Новикова

Прикладная антропология: на стыке наук*

Существует разделение антропологии на теоретическую и прикладную, но границы между этими вариантами исследований достаточно гибкие. Новое теоретическое знание может быть использовано на практике так же, как и специально выполненное прикладное исследование. Прикладная антропология или антропология действия служит обеспечению лучшего понимания потребностей людей и проведению в жизнь административных решений в соответствии с культурными потребностями человека. В современных условиях антропологические знания востребованы обществом в различных сферах политики, практики и повседневности. Прикладная антропология преподается в некоторых вузах. Как учебная дисциплина она показывает, как и какие исследования могут проводиться для выработки механизмов изменения этнокультурных и этносоциальных процессов в современном обществе, и в первую очередь, снижения негативных последствий развития, а также какую роль может играть антропология в повседневной жизни.

Прикладные исследования организованы разными способами. Это может быть специальное полевое исследование по четко составленной программе, в результате которого появляются новые антропологические знания, стандартизированные и сопоставимые. Такое исследование становится основой практических действий. Типичным примером подобной работы является этнологическая экспертиза влияния промышленного проекта (нефтепровода, дороги, промышленных вырубок леса и т. п.) на традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера. Для выполнения такой экспертизы должно быть проведено специальное исследование, которое покажет современное состояние сообщества (социально-демографическая характеристика, система жизнеобеспечения, занятость, здравоохранение, образование, традиционная культура, язык и т. п.) и позволит дать прогноз развития ситуации при выполнении проекта. Так как нет специального закона об этнологической экспертизе и возможности на ее основе прекратить какую-то деятельность, то эксперты могут предложить меры по минимизации отрицательных последствий или альтернативные варианты развития (Опыт проведения 2002; Люди Севера 2008 и др.).

Другим вариантом прикладных исследований может служить экспертное заключение, например, на какой-то текст – программу, законопроект или публикацию в СМИ. Или же специалисты по этнографии определенных народов могут подготовить концепцию музейной экспозиции или выставки, которая готовится в «непрофильном» музее. Этнографические знания могут быть полезными в школьном и дошкольном образовании, организации досуга и т. д. В этом случае мы не проводим новые исследования, а используем имеющиеся у нас знания для выполнения работы. Специальное направление экспертизы как этнологического мониторинга разработано В.А. Тишковым в рамках проекта «Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов», эксперты которого проводят исследования по 46 условным индикаторам (Тишков 2004: 15–16). И, наконец, по-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта 13-01-00043. Републикация статьи: Прикладная антропология как научное направление // Антропология социальных перемен. М., РОССПЭН. 2011.

литики или различные организации могут воспользоваться уже опубликованными книгами и с их помощью обосновать свои планы. В последнем случае у антрополога почти нет возможностей воздействовать на процесс принятия решений.

Прикладные исследования играли, во всяком случае, в течение XX в., значительную роль в развитии мировой антропологии, но в научной литературе их значение недостаточно осмыслено. В последние годы появились работы, рассматривающие непростые вопросы взаимодействия антропологии с политикой и бизнесом (Тишков 2001, Этнология обществу 2006, Никишенков 2008 и др.). В конце 2010 г. проблема соотношения теоретических и прикладных исследований в антропологии и смежных дисциплинах обсуждалась в журнале «Антропологический форум» (Теоретические и прикладные исследования 2010: 7–144). Во всех этих работах в той или иной степени объясняется, почему проводятся прикладные исследования, почему академические ученые ими занимаются, несмотря на то, что академическая наука более престижна. Пожалуй, именно для сотрудников Института этнологии и антропологии характерен больший интерес к таким исследованиям и большее осознание значения нашей науки для практики. В значительной степени это связано с подходами к этой проблеме директора ИЭА РАН В.А. Тишкова, который отметил в предисловии к одной из своих книг: «Я уже давно пришел к выводу, что “научное управление обществом” есть химера, но и управление обществом без добротной научной экспертизы – безответственная импровизация» (Тишков 2001: 5).

В Институте этнологии и антропологии РАН накоплен большой опыт сотрудничества с органами государственной власти, с общественными и другими организациями. Ученые ИЭА осуществляют консультативно-экспертную деятельность по всему спектру этнических и этнокультурных проблем. Этот опыт и послужил несколько лет назад основой для учреждения Этноконсалтинга. Деятельность Этноконсалтинга основана на сотрудничестве экспертов Сети этнологического мониторинга, Института этнологии и антропологии РАН и более широкого профессионального сообщества для проведения прикладных исследований. Сегодня возможно уже говорить о некоторых итогах нашей деятельности в этом направлении и тех сложностях, с которыми сталкиваются специалисты при выполнении заказных работ. В данной статье рассматриваются некоторые аспекты прикладной антропологии на основании проектов, выполненных Этноконсалтингом в отношении коренных малочисленных народов Севера. Это лишь одно из направлений его работы.

Сохранение культурного многообразия населения страны и мирных отношений между разными группами населения – это сложная, но значимая для стабильного развития общества задача государственной политики. Но и повседневная жизнь людей, обеспечение возможностей для развития их языков и культуры, воспитания детей, решения проблем занятости и здравоохранения, развития декоративно-прикладного искусства и т. п. часто требуют специальных знаний и умений, рекомендаций со стороны экспертного сообщества. Прикладная антропология используется сегодня и в правозащитной деятельности. Вся эта работа может быть успешной именно благодаря знаниям, полученным в ходе активных полевых исследований, постоянной вовлеченности в жизнь изучаемых сообществ, мониторинга ситуации. Антрополог становится действующим политиком, но политиком «с одной речки», для которого первостепенное значение реформ, проектов определяется тем, стали ли люди на «его речке» счастливее. Прикладные исследования как раз и направлены на улучшение жизни людей, потому что существует определенный зазор между полезными с

социальной точки зрения новыми техническими знаниями и их использованием населением (Клакхон 1998: 210–215). Для того чтобы создать благоприятный климат для инноваций и/или защитить от них группы, образ жизни которых, возможно, будет подвергнут серьезной деформации, необходимы антропологические знания. Проведение экспертных работ требует овладения наиболее современными идеями и технологиями познания. Вопрос же о том, как академическое знание становится политическим действием, юридической нормой, элементом культурного ландшафта современных городов остается дискуссионным. Но, безусловно, существует связь фундаментальных и прикладных исследований и это повышает меру ответственности всех, работающих в нашей сфере знаний, так как на основании текстов антропологов могут приниматься общественно значимые решения.

В разных странах и, особенно, в разные периоды истории прикладная антропология ставила перед собой различные цели, их выполнение зависело не только от академических знаний. Одной из главных проблем являются традиции науки, «которая со времен классиков эволюционизма была обращена в прошлое, а настоящее воспринимала преимущественно как “живую старину”. <…> Поэтому многие антропологи питали симпатии к “вчерашнему” африканцу, меланезийцу, австралийцу, идеализировали его общинные и племенные порядки и почти совсем не замечали новых веяний, появлявшихся на надобщинном и надплеменном уровнях политической культуры, либо считали их вредной аномалией», – так пишет о классической британской социальной антропологии А.А. Никишенков (Никишенков 2008: 369–370). Необходимо признать, что подобная характеристика применима ко многим отечественным исследованиям, особенно коренных малочисленных народов.

Прикладная юридическая антропология коренных малочисленных народов Севера

Среди североведов никогда не проводилось резкой грани между прикладной и теоретической антропологией. Основы этого единства были заложены в первые десятилетия XX в. В.Г. Богораз предлагал, чтобы органы государственного управления включали в себя «ученых и исследователей, специалистов этнографов и лингвистов, которые одни компетентны судить об особенностях быта и духа инородцев и притом, по самому роду своих занятий привыкли подходить к туземцам вдумчиво и с любовью» (Богораз 1922). Однако этот гуманистический посыл сегодня может приобрести патерналистский оттенок, когда заказчики сначала конструируют музейную экспозицию, а затем ожидают выполнения исследования в соответствии с ее целями. В современных условиях и для органов государственной власти, и для промышленных компаний более удобным является взгляд на сообщество аборигенов как на памятник культуры. Ведь гораздо проще занять освоенные под традиционное природопользование территории и дать деньги на музей, чем выстраивать партнерские отношения с охотниками, рыболовами и оленеводами при промышленном освоении Севера. Нам при проведении прикладных исследований приходилось объяснять заказчикам, что аборигены в современном мире выделяются благодаря традиционному природопользованию и знаниям о природном и социальном мире, а вовсе не потому, что живут в чумах или кочуют по тайге и тундре.

Прикладные исследования требуют постоянного совершенствования, поиска и интерпретации новых этнографических фактов. Кроме того, при проведении прикладных исследований нужно, как минимум, не навредить изучаемому сообществу, помочь представить их взгляд на ситуацию. Это

создает этические проблемы. С одной стороны, эксперты должны быть объективны и независимы, а с другой – выразить наиболее важные для сообщества задачи, подчас непонятные при непосредственном контакте с аборигенами для органов власти или промышленных компаний. Так, я наблюдала процесс Общественных слушаний по проекту строительства газопровода в долине реки Макензи в Канаде. При обсуждении вопроса о качестве питьевой воды основное внимание участников слушаний было сосредоточенно на очистных сооружениях. А Дж. Клинек, адвокат, работающая с одной из общин Де чо (Deh Cho), спросила: «Что будет с аборигенами, которые берут воду из открытых источников, то есть пользуются неочищенной водой?» Если бы не она, этот вопрос вообще бы не возник. В Канаде в качестве таких экспертов могут выступать и антропологи, и адвокаты, так как в этой стране в гораздо большей степени, чем у нас развита юридическая антропология. Роль эксперта в данном случае заключалась в привлечении внимания министерств и промышленных компаний к специфическим вопросам, к особенностям положения аборигенных народов, если они занимаются традиционным природопользованием и живут «в буше».

У нас в стране не только в аналогичных ситуациях, но и в суде сказать о подобных особенностях могут только антропологи, давно работающие с участниками процесса и пользующиеся их доверием. Так, во время одного судебного процесса его участники не сказали о том, что во время совершения правонарушения с ними был маленький ребенок (в возрасте до года, т. е. «не имеющий зубов»). По представлениям ненцев и хантов, такой ребенок занимает пограничное положение между миром духов и людей, т. е. принадлежит и тому, и другому. Поэтому он и не был упомянут в суде, т. к. нельзя говорить чужим и при чужих о таком ребенке, чтобы не причинить ему вреда. Вместе с тем, именно эти сведения могли бы способствовать иному решению суда, как объясняющие и оправдывающие поведение ответчика. Ненцам нельзя говорить, а эксперта-антрополога на суде не было. Согласно статье 14 Закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», в суде могут учитываться обычаи и традиции этих народов, но в данном случае некому было привлечь внимание суда к этому обстоятельству. В России почти нет адвокатов, знакомых с жизнью аборигенов, поэтому необходимо участие антропологов, знающих подобные тонкости культуры коренных народов. Однако применение знаний об обычаях и культурах народов в судебной защите требует серьезных междисциплинарных исследований. В рамках юридической антропологии могут быть предложены принципы обычного права как правила для суда, определенные критерии для определения того, какие обычаи могут стать основой для принятия справедливого судебного решения. Для использования обычая в суде он должен обладать признаками юстициабельности, потенциально соответствовать праву. Наиболее очевидными в этом смысле являются обычаи природопользования, основанные на неистощительном характере традиционного природопользования. В случае неоспоримого доказательства в суде, подобные обычаи могут быть использованы при защите прав аборигенов.

Необходимо исходить из того, что государство должно быть заинтересовано в сохранении северной природы, биоразнообразия, должно стремиться к устойчивому развитию, и поэтому поддерживать тех людей, образ жизни которых создает возможности для такого развития. Но на эту поддержку государства имеют право и моральное, и юридическое только те люди, которые ведут традиционный образ жизни. Именно поэтому нормы обычного права, регулирующие защиту исконной среды обитания,

традиционного образа жизни, вошли в правовую систему государства – значит, они ей соответствуют. В суде, в этом случае, может быть доказана целесообразность применения подобной нормы, ее соответствие гуманистической и экологической направленности современного законодательства и, в первую очередь, Конституции РФ.

В комментарии к закону «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ» указывается, что в нем конкретизируются нормы, закрепленные в статье 46 Конституции РФ, в соответствии с которыми каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Это право является особенно актуальным для коренных народов, так как их свободное существование в современном мире затруднено в виду разницы принципов и методов природопользования, мировоззрения, организации семейной жизни и часто самих основ существования и хозяйствования. В комментарии к закону подчеркивается: «В судебной практике значение традиций и обычаев как оснований для оценки юридических фактов практически общепризнанно, однако трудность состоит в том, что нередко судьи недостаточно осведомлены о традициях и обычаях участников судебного процесса. Это имеет особенно большое значение в тех случаях, когда речь идет об обычаях и традициях малочисленных народов, которые не общепризнанны и не закреплены в письменных источниках». Эта правовая норма «дает возможность исследовать обстоятельства дела с необходимой полнотой и объективностью. Надо обратить внимание и на то, что Закон дает судам право принимать во внимание традиции и обычаи малочисленных народов при рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел» (Комментарий 1999: 146–148).

Необходимо учитывать, что применение обычного права для защиты прав коренных малочисленных народов не может рассматриваться как архаизация. Ведь в суде будут учитываться только те обычаи и традиции, которые «живы» сегодня, в тот момент, когда их применяют. Например, при возникновении конфликта с недропользователями из-за территории, можно апеллировать к обычаям только в том случае, если живущие на ней люди следуют этим обычаям и могут это доказать. Только тогда они будут оправданными в глазах судьи. Возникает обратная связь. Современное законодательство, учитывая обычаи и традиции народов, создает новые возможности для сохранения и развития их культуры, в первую очередь их знаний. А знания как раз и определяют их статус в государстве и международном сообществе. Для использования в суде обсуждаемый обычай должен быть действенным, осуществляющимся в настоящее время и должны быть четкие доказательства этого.

Использование обычного права позволит существенно усовершенствовать современную правовую систему государства. Позволю себе в этом вопросе сослаться на авторитетное мнение С.С. Алексеева: «В противовес распространенным представлениям об обычном праве как о примитивном, архаичном и исторически преходящем явлении, есть достаточные основания рассматривать обычное право в качестве рожденного самой жизнью классического образца совместимости, казалось бы, несовместимых качеств права: его свойства жесткого организма (институционности) и особенностей живого права. Ведь нормы обычного права являются нормативной основой правовых решений жизненных ситуаций <…> вот оно реальное соединение твердых основ поведения (обычаев в их основательном понимании) и “мгновения”, “повседневности” (решение дела, опирающееся на особенности данной ситуации, ее правовую суть)» (Алексеев 2000: 107).

Определение «принципов обычного права» при этом позволит найти компромисс между традиционным и государственным правосудием.

В разных странах предлагаются свои модели использования обычного права в суде. Например, в Канаде Верховный суд постановил, что при юридической проверке прав аборигенов должно быть доказано, что «искомое право основывается на практике, обычае или традиции, являвшихся неотъемлемой частью особой культуры конкретной группы аборигенов до контакта с европейцами» (Крибл 2002: 143). Кроме того, интерес представляет изданный в этой стране под эгидой Министерства юстиции на английском и французском языках своеобразный справочник – книга с иллюстрациями, посвященная традиционным ценностям коренных народов (Native Spirituality Guide 1993). Наблюдения над деятельностью судов в России показывают, что судьям подчас не хватает знаний, а признаться в этом им не позволяет статус или политическая целесообразность принятия тех или иных решений. Очевидно, что в нашей стране никто кроме антропологов не может написать такое руководство для судей. К тому же понадобится время для изменения правосознания юристов, понимания ими того, что, несмотря на традиционный образ жизни, аборигены являются гражданами государства и при возникновении судебных конфликтов обстоятельства их дела должны быть рассмотрены во всей полноте.

Одним из направлений прикладной антропологии является участие ученых в выработке социальной политики промышленных компаний. При этом их посредническая роль оказывается особенно важной. В этом случае, «антропологи должны выступать в роли переводчиков и посредников при интерпретации культур, будучи переводчиками не только языков и их диалектов, но также различных ценностей, мировоззрений и нужд (т. е. западных и коренных, поселковых и корпоративных). Опыт показал, что сложные вопросы успешно решаются там, где отзывчивые и энергичные представители компании, особо связанные с группой коренных народов, выполняют роль посредников между данной общиной и приезжими разработчиками. Важно, чтобы в общинах знали таких людей и доверяли им. Долгосрочное этнологическое исследование, проведенное в конкретном сообществе или общине, важно не только для развития антропологической научной теории, но также и для государственной политики и корпоративной стратегии» (Уилсон, Свидерска 2008: 27).

Прикладная антропология бизнеса

Прикладная антропология исходит из того, что необходимы знания всех акторов социального процесса, т. к. для того, чтобы способствовать установлению диалога между промышленными компаниями и коренными народами, нужны исследования тех норм, которые выработаны в этих сообществах. Особенно продуктивными становятся исследования в рамках антропологии организаций, в первую очередь, государства, суда, промышленных компаний (Романов 2003; Лапаева 2005: 200–222). Индикатором социально ответственной деятельности нефтяных компаний в мире часто становится их политика в отношении коренных народов. Основополагающими в этом вопросе выступают как документы Всемирного Банка и Европейского Банка реконструкции и развития, так и более общие международные нормы, а также корпоративное право. Такие нормы, выработанные внутри промышленных компаний или финансовых корпораций, могут рассматриваться как своеобразная форма обычного права.

Именно изучение корпоративных норм позволило выполнить один из проектов Этноконсалтинга. В 2009 г. группой экспертов по заданию Министерства регионального развития РФ был подготовлен проект «Российский стандарт социальной и экологической политики промышленных компаний, осуществляющих деятельность в местах традиционного проживания и тра-

диционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» [www.ethnoconsulting.ru]. Хотя этот документ еще не получил официального статуса, мы собираемся его обсуждать и пропагандировать среди всех заинтересованных лиц. При составлении проекта стандарта использовались международные документы, принятые для регулирования деятельности бизнеса в сфере прав человека, коренных народов, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией. К ним, в первую очередь, относятся Глобальный договор, документы Международной Финансовой корпорации, Всемирного банка и Банка реконструкции и развития, Принципы Экватора, а также стандарты и руководящие принципы в отдельных отраслях – лесной, нефтегазовой и т. п. Большое значение для выработки стандарта имеют также Конвенция 169 МОТ и Добровольные руководящие принципы Агуэй-гу.

В Российской Федерации разработаны документы различной степени обязательности: Российский национальный стандарт добровольной лесной сертификации по схеме Лесного попечительского совета, Совместные экологические требования общественных и природоохранных организаций к нефтегазовым компаниям, Основные положения политики экологической и социальной ответственности горнодобывающих компаний, Социальная хартия российского бизнеса (РСПП), документы, принятые отдельными промышленными компаниями. Они также были учтены при подготовке данного документа.

По разработанному стандарту предложены критерии оценки эффективности деятельности промышленных компаний в соответствии с ним. Разработчики этого документа исходили из того, что он станет основой определения рейтинга компаний, работающих в районах проживания коренных малочисленных народов Севера, имеющих особый правовой статус в государстве. Хотя ничто не помешает компаниям расширить сферу действия документа на все местное население, что станет безусловным свидетельством социальной ответственности бизнеса.

Для придания проекту большего значения необходимо, как минимум, начать процесс оценки деятельности компаний в соответствии с заявленными принципами или в рамках объединений их профессиональных или профсоюзных организаций, или со стороны организаций коренных малочисленных народов. Какую роль в этом процессе может играть государство, пока не ясно.

Для целей защиты окружающей среды, коренных народов, местных сообществ и продвижения социальной ответственности промышленных, в том числе нефтяных компаний, все эти стандарты и рекомендации имеют большое значение, но действительными регуляторами скорее выступят внутренние документы корпораций. Как отмечается в одном из учебников по корпоративному праву, «внутренние документы, или локальные нормативные акты, в корпоративной сфере – это нормативные акты, принимаемые субъектами частного права и обязательные для всех участников (акционеров), членов корпорации не в силу публичного принуждения, а исходя из самой сущности корпоративной формы организации предпринимательской деятельности, заключавшейся в том, что участники корпорации при вступлении в нее добровольно приняли на себя бремя подчинения воли большинства, которая, в частности, выражается в принятии внутренних документов» (Корпоративное право 2008: 48). Именно задачу внедрения норм в отношении аборигенов в корпоративную культуру компаний и ставили перед собой разработчики российского стандарта. Мы исходим из того, что добровольно взятые на себя обязательства являются наиболее действенными. Но для претворения этого и других подобных стандартов в жизнь потребуется

развитие иной, чем сложилась внутри нефтяного сообщества, культуры: компании в этом случае должны стать сопричастными жизни местного сообщества. Интересно, что аборигены также считают, что для того, чтобы им соседствовать на Севере с нефтяниками, нужно, чтобы те чувствовали в них соседа. Многие нефтяники не приветствуют такую политику, так как считают ее навязанной, они позиционируют себя инженерами и рабочими, которые получили специальные знания для добычи, транспортировки нефти, а не для того, чтобы заниматься политикой и социальной работой.

В компании «Лукойл» большое внимание уделяется развитию корпоративной культуры, рассматриваемой как «сочетание норм, ценностей и убеждений, которые определяют способ решения организацией проблем внутренней интеграции и внешней адаптации, направляют и стимулируют ежедневное поведение людей, а также сами преобразуются под его воздействием» (Политика управления персоналом ОАО «Лукойл», сайт www.lukoil.ru). В 2004 г. компания «Лукойл» подписала Глобальное соглашение с международной профсоюзной федерацией (ICEM), которая объединяет в своих рядах профсоюзы, работающие в химической, горнодобывающей промышленности, энергетике и ряде других отраслей (штаб-квартира в Брюсселе). Глобальные соглашения представляют собой набор принципов, норм, стандартов, согласованных в ходе переговорного процесса, которые компания обязуется выполнять на всех своих предприятиях. В некоторых компаниях приняты специальные кодексы, например, Кодекс деловой этики компании «Роснефть» (2008), где прописаны не только принципы и нормы, но и санкции за их нарушения: «Нарушение норм Кодекса может привести к наложению административных санкций, снижению эффективности деятельности Компании и возникновению убытков, что прямо отразится на благополучии всех ее сотрудников. Каждый сотрудник несет ответственность за соблюдение этических норм. Строгое соблюдение данного кодекса обязательно для всех сотрудников, независимо от положения и занимаемой должности в Компании…» (Кодекс 2008: 16, www.rosneft.ru). Подобные документы будут, вероятно, приняты и в других компаниях. В августе 2010 года ОАО «Лукойл» приняло также аналогичный документ. В пресс-релизе на сайте компании указывается: «Кодекс является сводом наиболее важных правил делового поведения Компании и ее работников, этических норм внутрикорпоративных взаимоотношений, социальной ответственности, а также других наиболее приоритетных вопросов этики бизнеса». Пока трудно сказать, насколько эти нормы окажутся эффективными и повлияют на субкультуру нефтяников, внимания заслуживает тот факт, что в соответствии с положениями кодекса в Компании создана комиссия по деловой этике, которая регулирует корпоративные этические отношения. Таким образом, предусматривается процедура рассмотрения возможных конфликтов в этой сфере и создан орган, полномочный разбирать такие ситуации. Вместе с тем, есть и некоторая избыточность провозглашаемых норм. В частности, «Кодекс исключает дискриминацию работников по признакам пола, возраста, расы или национальности, религии и политических убеждений» (www.lukoil.ru). Создается впечатление, что для работников компании нормы корпоративных документов более значимы, чем нормы государственного права, и для того, чтобы они выполняли последние, им нужны дополнительные инструменты.

Этнологическая экспертиза как вид прикладных междисциплинарных исследований

Особый интерес сегодня представляет обсуждение вопросов, вызываемых этнологической экспертизой как важнейшей фор-

мой прикладной антропологии. Понятие этнологическая экспертиза появилось в законодательстве Российской Федерации в 1999 г.: «Этнологическая экспертиза – научное исследование влияния изменений исконной среды обитания малочисленных народов и социально-культурной ситуации на развитие этноса» (ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»). При отмечаемых многими специалистами недостатках этого определения, в настоящее время этнологическая экспертиза стала уже элементом общественного правосознания на Севере, где она представляется как экспертное заключение о влиянии хозяйственных проектов на сохранение и развитие образа жизни коренных народов. Вместе с тем, требуется более широкое ее применение – и в экспертизе законодательства, и в судебной деятельности, в оценке СМИ, различных социальных программ, организации образования, здравоохранения. Пожалуй, трудно назвать те сферы жизни, которые не могут быть подвергнуты этнологической экспертизе. Однако в законе не определен механизм проведения такой экспертизы. Можно отметить, что в разрабатываемом Государственной думой законопроекте «О защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» предлагается процедура проведения этнологической экспертизы: определение стартовой ситуации, моделирование ситуации с учетом общих закономерностей и отношения населения, предложения по оптимизации решений и минимизации отрицательных последствий, предложения альтернативных путей развития.

Проведение этнологической экспертизы предполагает диалог: между антропологами и представителями изучаемого сообщества, между антропологами и политиками и чиновниками, между антропологами и промышленными компаниями и т. п. При ее проведении учитываются и традиционные знания исследуемых групп, в первую очередь, в сфере экологии и природопользования, и обычное право, и существующие юридические практики, создается механизм учета их мнения. Основой такого подхода является изучение изменений образа жизни, причем антропологические методы позволяют исследовать и социально-экономические, и политические, и культурные, и демографические аспекты.

Этнологическая экспертиза рассматривается как поле пересечения историко-культурных, археологических, этнологических и юридико-антропологических исследований. Для демонстрации необходимости междисциплинарных исследований можно обратиться к проблемам, обусловленным разницей государственного и обычно-правового регулирования охраны священных мест как одного из ключевых элементов культуры. Согласно обычному праву народов Севера, они являются священными именно потому, что люди постоянно (иногда мысленно) совершают определенные действия в отношении таких мест для обеспечения благополучия своих семей и неразрывности культурного пространства. Специалистам известно, что священные места могут быть выявлены только этнографическими методами, к тому же люди часто не хотят привлекать к ним внимание посторонних, справедливо опасаясь негативных последствий. Однако сегодня такие места и другие элементы нематериального культурного наследия нуждаются в правовой защите.

Статус таких мест не определен в федеральном законодательстве, а требуемая историко-культурная экспертиза ограничивается археологическими исследованиями. Эта ситуация требует незамедлительного изменения, так как разрушение священных мест ведет, по представлениям аборигенов, к серьезным нарушениям их картины мира, сложившихся связей с духами. При

проведении этнологических экспертиз на Сахалине и в Ямало-Ненецком автономном округе мы сталкивались с ситуациями, когда заявлений аборигенов бывает недостаточно для защиты их прав на свою культуру, почитание священных мест (Обзор документации 2008; Василькова, Евай, Мартынова, Новикова 2011).

В таких случаях необходима работа антропологов, включающая проведение исследования, написание экспертного заключения и привлечение общественного мнения к таким вопросам.

При проведении экспертизы в описываемых ситуациях мы сталкиваемся с правовой коллизией. Процесс экспертизы регулируется двумя федеральными законами: «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», определяющим процедуру государственной историко-культурной экспертизы, и «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», дающим определение этнологической экспертизы. В законе «Об объектах…» представлен государственный взгляд, по определению не учитывающий все, что не имеет материального воплощения. В результате процесс проведения этнологической экспертизы еще недостаточно урегулирован, и антропологи могут воспользоваться не юридическими, а общественными средствами. Мы можем в такой ситуации привлекать общественное мнение в расчете на добровольное изменение позиции компаний, либо опираться на протестные акции аборигенов. Складывается ситуация, при которой «вместо иерархического проекта ученых, изучающих Другого, возникает совместный проект, в рамках которого ученые оказываются более жестко встроенными в те сообщества, которые они исследуют». Для целей прикладной антропологии тогда используются средства воздействия на более широкую аудиторию, выступления в СМИ или участие в общественных акциях (Калдвел 2010: 51–52). Интересно отметить, что с такой ситуацией антропологи сталкиваются как в России, так и в США. Еще одним средством продвижения антропологических исследований является популяризация международных документов. Речь идет о важнейшем в доктринальном плане документе, хотя и не ратифицированном Российской Федерацией, – Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального наследия (2003 г.). В статье 2 Конвенции дается определение нематериального культурного наследия – «обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, – а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, – признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия». Такое нематериальное культурное наследие, передаваемое от поколения к поколению, постоянно воссоздается сообществами и группами в зависимости от окружающей их среды, их взаимодействия с природой и их истории и формирует у них чувство самобытности и преемственности, содействуя тем самым уважению культурного разнообразия и творчеству человека. Как видим, этот документ исходит из признания права определять значение культурного наследия исходя из традиций. Такой подход в России нашел подтверждение в законодательстве некоторых субъектов федерации, но мало известен экспертному и политическому сообществу.

Наиболее комфортные условия создаются для экспертов в работе с сообществами коренных народов, так как именно здесь есть и опыт, и связи, и внятные общие цели работы. В Этноконсалтинге под общим руководством В.А. Тишкова в 2010 г. завершена работа по проведению этнологической экспертизы договора аренды общиной удэгейцев участка леса в Приморском крае. Инициаторами работы, финансируемой Всемирным фондом дикой природы, высту-

пала сама община. Она активно участвовала в выполнении экспертизы. Результатом исследования стала книга. В ее предисловии, которое написал председатель общины, сказано: «Исследование, которое проводилось учеными в поселениях Красный Яр и Олон, показало, в первую очередь нам самим, что живы наш образ жизни и наша культура. Ничто не утрачено, и аренда лесного участка для собирательства, безусловно, поможет не только сохранению традиционного образа жизни, но и социально-экономическому развитию местного населения» (Звиденная, Новикова 2010: 6). Этнологическая экспертиза в данном случае проводилась в тесном сотрудничестве с удэгейцами, они были заинтересованы в ней и в том, чтобы их ценные знания о лесе и его обитателях были учтены в планах лесоустройства Уссурийской тайги. Наша задача заключалась в том, чтобы представить максимально полную картину жизни местного сообщества, продемонстрировать их зависимость от природных ресурсов и показать, что их природопользование не приведет к разрушительным последствиям. Опыт деятельности общины показал нам, что именно эти люди в современных условиях занимаются защитой леса от незаконных вырубок, браконьеров и от пожаров и их деятельность не нанесет ущерба природным ресурсам.

Некоторые прикладные исследования складываются сложнее. Определенным эталоном в отношении политики взаимодействия промышленных компаний и коренных народов стали документы Всемирного Банка. Хотя сама политика Всемирного Банка и не всегда соответствует этим стандартам, они могут рассматриваться как ориентиры при проведении этнологической экспертизы. Политика банка в отношении коренных народов регламентируется документом «Операционная директива 4.10. – Коренные народы», который содержит требования к оценке воздействия проектов любой деятельности, осуществляемых на территории традиционного проживания коренных малочисленных народов. Документы Всемирного Банка предназначены для его сотрудников и не претендуют на рассмотрение данного вопроса в полном объеме. В настоящее время на основании этих документов Всемирного Банка разрабатывается концепция политики Европейского Банка реконструкции и развития в отношении коренных народов.

Необходимо отметить, что директивные документы ЕБРР были разработаны под влиянием конфликтов, возникающих между коренными народами и промышленными компаниями, в частности, на Сахалине между «Сахалин энерджи» и коренными малочисленными народами Севера. Этот затянувшийся конфликт зимой 2006 г. подтолкнул компанию к проведению этнологической экспертизы документов по «Плану содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалина», которая явилась первым опытом проведения экспертизы сотрудниками Этноконсалтинга. В подготовленном заключении были отмечены недостатки документации и сделаны предложения по улучшению работы компании для минимизации конфликтогенности в отношениях с коренными народами.

Можно рассмотреть некоторые аспекты применения документов Всемирного Банка при осуществлении проектов на Сахалине. Политика Банка предполагает проведение консультаций с представителями коренных народов, чьи интересы будет непосредственно затрагивать проект, социологическую оценку возможных положительных и отрицательных последствий проекта для коренных народов, рассмотрение альтернативных вариантов его осуществления в случае неблагоприятного воздействия на коренные народы, осуществление надзора за реализацией проекта. Проводится идентификация проекта, т. е. определяется, про-

живают ли в районе осуществления проекта коренные народы. При этом используются консультации с квалифицированными социологами, знакомыми с проблемами социальных и культурных групп в районе осуществления проекта.

Подобный подход, может быть, подвергнут критике, потому что, как показывает опыт, консультации уже с первых этапов должны строиться на научном анализе. Для подтверждения данного положения можно привести пример из опыта проведения этнологической экспертизы по Плану содействия развитию коренных малочисленных народов Севера о. Сахалин (по проекту Сахалин II). На первых этапах подготовки Плана проводилась «оценка возможностей развития, воздействия и рисков». В документации среди проблем названа «генетическая (или иная) неспособность или отсутствие предрасположенности к обучению у детей из числа коренных народов». Авторы документа указали, что такая информация была получена ими от «пожилых нивхских женщин, учителей, ногликской общественной организации». Эти данные были опубликованы в подготовленном компанией «Сахалин энерджи» «Плане содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалина. Первый пятилетний план (2006–2100 гг.)». Когда мы проводили этнологическую экспертизу плана и побывали в п. Ноглики, выяснилось, что на встречах с представителями компании жители заявляли лишь о трудностях, с которыми сталкиваются дети при обучении в современной школе в поселке. Они говорили о необходимости улучшить систему образования, сделать ее более эффективной для детей аборигенов, а не об их «генетической (или иной) неспособности». Этот пример является наиболее одиозным, но не единственным. Любая полученная информация нуждается в научной интерпретации, анализе, она не может быть просто сама по себе использована как «этнологическая экспертиза».

Индикаторы качества жизни

Работа 2006 г. была первым шагом в нашем сотрудничестве с компанией «Сахалин энерджи». Следующим этапом явилась разработка Этноконсалтингом индикаторов качества жизни коренных малочисленных народов Севера Сахалина (Новикова, Степанов 2010). Выработка индикаторов качества жизни коренных малочисленных народов Севера – актуальная задача, так как они могут представить реальную картину положения этих народов в современном обществе, на индивидуальном уровне и на уровне общин и других форм самоорганизации. Такие индикаторы явятся наиболее общими и измеряемыми социальными параметрами, которые будут сочетать объективные и субъективные показатели, анализ их будет осуществляться как качественными, так и количественными методами. Казалось бы, в такой работе должны быть заинтересованы, в первую очередь, органы власти, но пока нам не удалось их в этом убедить. На необходимость выработки таких индикаторов откликнулась промышленная компания.

Результатом выполнения проекта явится исследование качества жизни коренных малочисленных народов севера Сахалина на основании индикаторов, позволяющих выявить сравнимые и репрезентативные данные. Предусматривается, что разработанные индикаторы можно будет использовать при проведении государственного мониторинга – статистического наблюдения положения коренных малочисленных народов Севера и дополнения его социологическими и антропологическими исследованиями. Внедрение и использование качественных переменных, характеризующих положение коренных малочисленных народов Севера, будет способствовать развитию эффективного взаимодействия коренных малочисленных народов с органами власти, организациями и частными лицами, осуществляющими свою деятельность в районах проживания и хозяйствен-

ной деятельности коренных малочисленных народов Севера. Система индикаторов расширит информационную базу для проведения этнологической экспертизы состояния исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, их современного социально-экономического развития. Принципиально важным для нашего подхода является сочетание формально-статистических показателей и данных, полученных в результате полевых этнографических исследований. В современных условиях это представляется особенно важным, так как государственная политика сегодня все больше строится на формальных «списочных» показателях. Импульсом для проведения данного проекта стали несколько факторов: изучение качества жизни в международном сообществе в рамках ООН, знакомство с канадским опытом в отношении коренных народов и необходимость дополнить существующие в России «списочные» данные. Перечень коренных малочисленных народов Севера (хотя и под другим названием) существовал в России уже в начале XIX в. Но принципиально важным является тот факт, что по «Уставу об управлении инородцев» статус групп этих народов не был жестко детерминирован, как сегодня. В случае изменения занятий и условий проживания они могли переходить из одной группы в другую, то есть «с переменой образа жизни и степени образования» возникала необходимость изменения «образа самого их управления» (Устав 1999: 11–12).

В современных условиях такой список принимается Постановлением Правительства и сегодня насчитывает 48 позиций. Он не только строго указывает народы, в него входящие, но и привязан к списку «Мест проживания и традиционной хозяйственной деятельности» этих народов, который также принимается нормативным актом. В результате, отдельный гражданин или община коренных народов могут пользоваться своими законными правами только, если они включены в список народов и проживают в определенной правительством местности и занимаются определенными видами деятельности. Причем, если какой-то абориген, числящийся за одной местностью, переезжает, то он теряет свои права. Для разрешения этой коллизии должны быть приняты специальные документы на федеральном уровне.

Таким образом, принят не только список народов, но и отдельным распоряжением правительства «перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации; перечень видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации» (Устав 1999). В результате уже сегодня у некоторых общин коренных малочисленных народов возникают трудности при государственной регистрации. Складывается впечатление, что политика в отношении этих народов строится на очень формализованных, классификационных данных и не учитывает всего спектра особенностей жизни сообщества коренных малочисленных народов в современных условиях. Задача прикладной антропологии – дать более широкий взгляд, строящийся на действительных научных исследованиях. Система индикаторов качества жизни – один из таких подходов.

Отдельной проблемой является взаимодействие антропологов и заказчиков. Сегодня до принятия специального закона об этнологической экспертизе план ее проведения составляется учеными и согласовывается с заказчиком. Особенностью итоговых текстов, пожалуй, является лишь обязательный раздел с выводами и рекомендациями, предложениями альтернативных вариантов. Можно сказать, что теоретические и прикладные исследования – это разные жанры, тексты, по-разному написанные. Если говорят, что информант превращает туриста в этнографа, то антрополога делает экспертом заказчик.

Библиография

Алексеев 2000 – Алексеев С.С. Право на пороге нового тысячелетия: Некоторые тенденции мирового правового развития – надежда и драма современной эпохи. М.: Статут, 2000. 256 с.

Богораз 1922 – В.Г. О первобытных племенах (Наброски к проекту организации управления первобытными туземными племенами) // Жизнь национальностей. 1922. № 1.

Звиденная, Новикова 2010 – Звиденная О.О., Новикова Н.И. Удэгейцы: охотники и собиратели реки Бикин (Этнологическая экспертиза 2010 г.) М.: Стратегия, 2010. 154 с.

Василькова, Евай, Мартынова, Новикова 2011 – Василькова Т. Н., Евай А.В., Мартынова Е.П., Новикова Н.И. Коренные малочисленнее народы и промышленное освоение Арктики: этнологический мониторинг в Ямало-Ненецком автономном округе / Москва–Шадринск, ОГУП «Шадринский дом печати». 2011. 268 с.

Калдвелл 2010 – Калдвелл М. Прикладная антропология в Соединенных Штатах: ангажированность, обязательства, этика // АФ. 2010. № 13. С. 47–58

Клакхон 1998 – Клакхон К. Зеркало для человека. СПб.: Евразия, 1998. 352 с.

Корпоративное право 2008 – Корпоративное право / Отв. ред. И.С. Шиткина. М.: Волтерс Клувер, 2008. 312 с.

Крибл 2002 – Крибл Р. Нормативно-правовые основы положения аборигенов Канады // Обычай и закон. Исследования по юридической антропологии / Отв. ред. Н.И. Новикова, В.А. Тишков. М.: Стратегия, 2002. С. 135–147.

Комментарий 1999 – Комментарий к Федеральному закону «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» / Под ред. Б.С. Крылова. М.: Изд. г-на Тихомирова М.Ю. 1999. 153 с.

Лапаева 2005 – Лапаева В.В. Российская социология права. М.: РАП, 2005. 251 с.

Люди Севера 2008 – Люди Севера: права на ресурсы и экспертиза / Отв. ред. Н.И. Новикова. М.: Стратегия, 2008. 510 с.

Никишенков 2008 – Никишенков А.А. История британской социальной антропологии. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2008. 496 с.

Новикова, Степанов 2010 – Новикова Н.И., Степанов В.В. Индикаторы качества жизни коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области / Исследования по прикладной и неотложной этнологии. Вып. 217. М., 2010. 46 с.

Обзор документации 2008 – Обзор документации проекта «Сахалин–2», касающейся коренных малочисленных народов Севера острова Сахалин // Люди Севера. Права на ресурсы и экспертиза / Отв. ред. Н.И. Новикова. М.: Стратегия, 2008. С. 288–311.

Опыт проведения этнологической экспертизы 2002 – Опыт проведения этнологической экспертизы. Оценка потенциального воздействия программы ОАО «Газпром» поисково-разведочных работ в акваториях Обской и Тазовской губ на компоненты устойчивого развития этнических групп коренных малочисленных народов Севера / Ред. О.А. Мурашко. М.: Радуница. 2002. 134 с.

Романов 2003 – Романов П.В. Власть, управление и контроль в организациях: антропологические исследования современного общества. Саратов: Издательство Саратовского университета, 2003. 402 с.

Теоретические и прикладные исследования 2010 – Теоретические и прикладные исследования // АФ. 2010. № 13. С. 7–144.

Тишков 2001 – Тишков В.А. Этнология и политика. М.: Наука, 2001. 240 с.

Тишков, Степанов 2004 – Тишков В.А., Степанов В.В. Измерение конфликта. Методика и результаты этноконфессионального мониторинга Сети EAWARN в 2003 году. М.: ИЭА РАН, 2004. 322 с.

Уилсон, Свидерска 2008 – Уилсон Э., Свидерска К. Горнодобывающая промышленность и коренные народы в России: регулирование, участие и роль антропологов // ЭО. 2008. № 3. С. 17–28.

Устав об управлении инородцев 1999 – Устав об управлении инородцев. Гл. VIII. О законах и обычаях // Статус малочисленных народов России. Правовые акты. Кн. 2. М.: Изд. г-на Тихомирова М.Ю. 1999. С. 11–12.

Хигс 2006 – Хигс Ф. Принципы созидания обратить в реалии и факты жизни // Социальное партнерство. 2006. № 1. С. 12–13.

Этнология обществу 2006 – Этнология обществу. Прикладные исследования в этнологии. М.: Оргсервис–2000. 2006. 384 с.

Native Spirituality Guide 1993 – Native Spirituality Guide. Royal Canadian Mounted Police; Department of Justice Canada; Minister of Supply and Services Canada, 1993. 11 p.

Электронные источники:

<www.ethnoconsulting.ru>

<www.lukoil.ru>

<www.rosneft.ru>

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АА	–	архив автора
АРАН	–	Архив Российской академии наук (СПб.)
АФ	–	Антропологический форум
БАССР	–	Башкирская автономная советская социалистическая республика
БФ СИ РАН	–	Биографический фонд Социологического института Российской академии наук (СПб.)
ВАН СССР	–	Вестник Академии наук СССР
ВИ	–	Вопросы истории
ИИ РАН	–	Институт истории Российской академии наук
ИИЯЛ БНЦ РАН	–	Институт истории, языка, литературы Башкирского научного центра Российской академии наук
ИК	–	информационные карты
Имп. РГО	–	Императорское Русское географическое общество
ИС АН СССР	–	Институт социологии Академии наук СССР
ИСЭПН	–	Институт социально-экономических и правовых наук Академии наук Республики Татарстан
ИЭ АН СССР	–	Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР
ИЭА РАН	–	Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской Академии наук
ИЯЛИ КНЦ АН СССР	–	Институт языка, литературы, истории Казанского научного центра Академии наук СССР
КГУ	–	Казанский государственный университет
КИС	–	Культурологические исследования в Сибири
Коми АССР	–	Коми автономная советская социалистическая республика
КСИЭ	–	Краткие сообщения ИЭ АН СССР
КЭТ	–	Кунсткамера. Этнографические тетради
ЛЧ ИЭ АН СССР	–	Ленинградская часть Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР
МАПРЯЛ	–	Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы
МАССР	–	Марийская автономная советская социалистическая республика
МАССР	–	Мордовская автономная советская социалистическая республика
МГПИ	–	Мордовский государственный педагогический институт
МГУ	–	Московский государственный университет
МКАЭН	–	Международный конгресс антропологических и этнографических наук
МОНФ	–	Московский общественный научный фонд
МТС	–	машинно-тракторная станция
НАИЭА	–	Научный архив ИЭА РАН

НИИЯЛИЭ	–	Научно-исследовательский институт языка, литературы, истории, экономики
НТИ	–	национальная творческая интеллигенция
ОИ	–	Отечественная история
ОмГУ	–	Омский государственный университет
ОСУ	–	программа «Оптимизация социально-культурных условий развития и сближения советских наций»
ПИИЭ	–	Полевые исследования Института этнографии АН СССР
ПМА	–	полевые материалы автора
РГГУ	–	Российский государственный гуманитарный университет
РГНФ	–	Российский государственный научный фонд
РГО	–	Русское географическое общество
РФ	–	Русский фольклор
Сб. МАЭ	–	Сборник Музея антропологии и этнографии АН СССР
СИ РАН	–	учреждение Российской академии наук «Социологический институт» (СПб)
СМИ	–	средства массовой информации
СОЦИС	–	Социологические исследования
СПб ФИС РАН	–	Санкт-Петербургский филиал Института социологии РАН
СПбГУ	–	Санкт-Петербургский государственный университет
СЭ	–	Советская этнография
СЭИ	–	статистико-этнографические (статистико-этнологические) исследования
ТАССР	–	Татарская автономная советская социалистическая республика
УАССР	–	Удмуртская автономная советская социалистическая республика
ЦИМО	–	Центр по изучению межнациональных отношений
ЦК ВКП(б)	–	Центральный комитет Всероссийской коммунистической партии (большевиков)
ЦНСИ	–	Центр независимых социологических исследований (СПб.)
ЦСИ	–	Центр социологических исследований МГУ
ЦСПГИ	–	Автономная некоммерческая организация «Центр социальной политики и гендерных исследований» (Саратов)
ЧАССР	–	Чувашская автономная советская социалистическая республика
ЭВМ	–	электронно-вычислительная машина
ЭО	–	Этнографическое обозрение

СПИСОК АВТОРОВ

АРУТЮНЯН Юрик Вартанович – член-корр. РАН, советник РАН.

БЕЛИК Андрей Александрович (1961–2014) – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник ИЭА РАН.

БУГАНОВ Александр Викторович – доктор исторических наук, зав. отделом Русского народа ИЭА РАН (e-mail: buganov@rambler.ru).

ГУБОГЛО Михаил Николаевич – доктор исторических наук, руководитель Центра по изучению межэтнических отношений ИЭА РАН (e-mail: guboglo@yandex.ru).

ГРОМОВ Дмитрий Вячеславович – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра по изучению межэтнических отношений ИЭА РАН, руководитель Группы библиографии и подготовки изданий ИЭА РАН (e-mail: gromovdv@mail.ru).

ДАНИЛКО Елена Сергеевна – доктор исторических наук, зав. Этнографическим научно-образовательным центром ИЭА РАН (e-mail: Danja9@yandex.ru).

ДРОБИЖЕВА Леокадия Михайловна – доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИС РАН (e-mail: drobizheva@yandex.ru).

ДУБОВА Надежда Анатольевна – доктор исторических наук, зав. сектором этнической экологии ИЭА РАН (e-mail: dubova_n@mail.ru).

КАЗЬМИНА Ольга Евгеньевна – доктор исторических наук, профессор исторического факультета МГУ (e-mail: okazmina@inbox.ru).

КОМАРОВА Галина Александровна – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник ИЭА РАН (e-mail: galakom@mail.ru).

КОРОСТЕЛЕВ Александр Дмитриевич – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ИЭА РАН (e-mail: adkoros@yandex.ru).

КУРЛЕНКОВА Александра Сергеевна – кандидат исторических наук, научный сотрудник ИЭА РАН (e-mail: ask88@case.edu).

МАРТЫНОВА Марина Юрьевна – доктор исторических наук, профессор, директор ИЭА РАН, руководитель Центра европейских и американских исследований ИЭА РАН. Заслуженный деятель науки РФ (e-mail: martynova@iea.ras.ru).

НОВИКОВА Наталья Ивановна – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник ИЭА РАН, исполнительный директор ООО «Этноконсалтинг» (e-mail: natinovikova@gmail.com).

ОСТАПЕНКО Любовь Викторовна – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИЭА РАН (e-mail: lost_82@bk.ru).

РАБЖАЕВА Марина Викторовна – научный сотрудник факультета социологии СПбГУ (e-mail: ramari@mail.ru).

РОМАНОВ Павел Васильевич (1964–2014) – доктор социологических наук, профессор кафедры социально-экономических систем и социальной политики НИУ ВШЭ.

СОКОЛОВСКИЙ Сергей Валерьевич – доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИЭА РАН, главный редактор журнала «Этнографическое обозрение» (e-mail: sokolovskiserg@gmail.com).

СТЕПАНОВ Валерий Владимирович – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ИЭА РАН (e-mail: eawarn@mail.ru).

ТИШКОВ Валерий Александрович – академик РАН, академик-секретарь Историко-филологического отделения РАН, научный руководитель ИЭА РАН (e-mail: eawarn@mail.ru).

ФЕДЕНОК Юлия Николаевна – кандидат исторических наук, научный сотрудник ИЭА РАН (e-mail: fedenok.julia@gmail.com).

ХОЛЛЕР Екатерина Викторовна – кандидат исторических наук, этнолог (e-mail: ekaterina.holler@gmail.com).

ЧЕШКО Сергей Викторович – доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИЭА РАН, главный редактор журнала «Вестник антропологии» (e-mail: ieamoscow@mail.ru).

ШАЛЫГИНА Наталья Валентиновна – кандидат исторических наук, научный сотрудник ИЭА РАН (e-mail: etgender@mail.ru).

ШНИРЕЛЬМАН Виктор Александрович – доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИЭА РАН.

ЯМСКОВ Анатолий Николаевич – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ИЭА РАН (e-mail: Yamskov@iea.ras.ru).

ЯРСКАЯ-СМИРНОВА Елена Ростиславовна – доктор социологических наук, профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ (e-mail: eiarskaia@hse.ru).

Научное издание

Феномен междисциплинарности
в отечественной этнологии

Научная серия
«Отечественная этнология
как практика междисциплинарных исследований»

Утверждено к печати
Ученым советом
Института этнологии и антропологии
им. Н.Н. Миклухо-Маклая

Компьютерная верстка – О.Г. Симонова, Д.В. Громов
Макет обложки – Е.В. Орлова

Подписано в печать 28.04.2016.
Формат 18 × 26,5 $^{1}/_{5}$. Усл.-печ. л. 13,5.
Тираж 450 экз. Заказ № 93

Участок множительной техники
Института этологии и антропологии РАН
119991 Москва, Ленинский проспект 32А